

Лазарь Каретин

ТРИ РОМАНА

Лазарь  
Каретин

---

ТРИ РОМАНА

*Лазарь  
Каретин*

---

*Змеелов*

*Последний переулок*

*Даю уроки*

МОСКВА  
«СОВРЕМЕНИК»  
1987

P2  
K22

К  $\frac{47020102000 - 270}{M106(03) - 87}$  143 - 87

© Издательство «Современник», 1987 г.

# *ЗМЕЕЛОВ*

РОМАН



Скорый поезд из Ашхабада, неся на вагонах пыльную окалину пустыни, медленно завершал свой долгий путь у перрона Казанского вокзала. Еще не встал состав, а уже дохнуло откуда-то арбузом. И песочек этот, прильнувший к вагонам в Каракумах, уже вплелся в московский ветер, незнакомо-колко скользнув по лицам встречающих. Трудный путь завершал поезд, устал.

И люди, ехавшие в нем, устали. Они выходили из вагонов без особой живости, как это бывает, когда подкатывают близкие поезда. Они выходили, пригнутые поклажей, обвешанные ранними дынями и арбузами, с впившимися в руки веревками, которыми были обвязаны щелястые ящики с громадными помидорами, с молодым розовым виноградом. Уже весь перрон пах дынями, виноградом, мускатным, терпко-винным, и особенно сладко-пронзительно пахла сушеная дыня, обмереть можно было от запаха кем-то оброненного расколовшегося арбуза. Казанский вокзал ненадолго стал ашхабадским базаром, вот только гор за домами не было видно и люди тут были не гомонливы, даже те, кого встречали. Их истомил знойный путь и испугал московский зной — они ведь рвались на Север.

В числе первых, сошедших на перрон, был мужчина, почти не обремененный поклажей: маленький чемоданчик с притороченной к нему небольшой дыней — и все. С такой поклажей лететь надо, а не влачиться через Туркмению в конце июня, когда там местами спекается земля.

Приезжий знал дорогу, уверенно вошел в туннель, ведущий в метро. Приезжему было лет сорок, но, может быть, и больше, а может быть, и меньше. Его старило обожженное солнцем лицо. Его молодило то, как он легко шел, помахивая чемоданчиком, как прямо держался, вдруг удивленно, жадно взглядывая, будто узнал кого-то. На нем был немилосердно выгоревший костюм, когда-то очень хороший. Он был высок, худ, у него были сильные плечи, и сильны были его коричневые руки в грубых, будто рваных шрамах, даже издали приметных.

В вестибюле метро приезжий остановился, медленно повел глазами по сводам. Он узнавал, глаза узнавали, он сейчас себя узнавал — здесь, себя давнишнего, из былой жизни. Конечно, это был не приезжий, это был возвращающийся домой человек.

Вспоминая Москву, далеко, очень далеко от нее отъехав, он вспоминал, не неволя себя, покоряясь памяти, которая водила его по совсем неожиданным местам, не обязательно главным в его московской жизни. И метро конечно же было для него не главным, он редко ездил в метро, особенно в последние годы. А вот память все время водила его по этим станциям, давним, из первых. Наверное, потому, что они напоминали молодость. На «Комсомольской», в этом зале для празднеств, он назначил раз свидание. А она не пришла. Ее забыл, а что не пришла — помнил. Обиду ту молодую помнил, даже запах у той обиды был. Пахло мокрыми тряпками и опилками, потому что где-то рядом, почти касаясь его ног, женщина в синем халате протирала обмотанной тряпкой щеткой мраморный пол. Сутулую спину этой женщины вспомнил — вот сейчас, здесь, когда остановился, озираясь. И почему-то как о приятном вспомнилось, что та девушка, которую забыл, не пришла. Приятна была острота той боли, того мучительного ожидания, почти отчаяния. Так чувствовать теперь он не мог.

Пока ехал в вагоне до станции «Охотный ряд» — в памяти у него укоренились старые названия, — безмыслие жило в нем. Столько раз, думая о возвращении в Москву, он проезжал этот путь, стоял вот тут, в углу вагона, раскачиваясь вместе с ним. Он — здесь, его качает, стены туннеля слились за стеклами, он в Москве, он вовнутрь ее проник, вокруг люди, женщины, он слышит московский особенный говор, самоуверенный и на «а», он ловит ноздрями горьковатый запах метро, по которому тосковал — столько было всего, о чем тосковал! — и ни единой мысли в голове. И радости никакой, отлетела вдруг радость. Она стала покидать его еще в поезде, когда потянулись за окнами узнаваемые, памятные московские пригороды. Состав тормозил, подолгу стоял у семафоров, выбившись из графика, а он был рад этим остановкам, один, наверное, во всем поезде был рад, что поезд тормозит, плетется, медлит.

А так рвался в Москву все пять лет. Каждый день, каждый час, даже во сне. Сперва рвался, чтобы покви-

таться, для драки. Было с кем. Потом остыл, крепко остыл под палящим туркменским солнцем, а может быть, поумнел, а ум ценит тишину в душе, и из тишины этой стал думать о Москве уже по-иному, все чаще вспоминая свою молодость, ту Москву, из той поры, до крушения, и рвался в нее, туда, назад. Добрые сны были о давнем, когда кошмарил, вспоминалось недавнее.

Он вышел на платформу «Охотный ряд», чтобы очутиться у гостиницы «Москва», на серединном, центральном этом месте города, откуда видна была Красная площадь, уходила вверх улица Горького, вставал перед глазами Манеж. Тут тоже памятное место — у выхода на Манеж. Тут тоже назначил он однажды свидание. Условились, десять раз сказав: «Лицом к Манежу». Вышел, узрел Манеж, как вот сейчас, а ее не было. Ту женщину он помнил, она вошла в память, с ней многое потом длилось. А тогда ее не было. И быть не могло. Улица Горького в тот вечер была закрыта для прохожих в этом месте, так как тут, где Манежная площадь и улица Горького, слившись, втекают в Красную площадь, стояли войска, репетировавшие парад. Где было ее искать, у какого выхода? Избегался, но не нашел. Безмыслие кончилось, когда вспомнил тот день далекий, и снова обрадовался тому дню, вспомнив, как бегал от выхода к выходу, как мчался по эскалаторам вверх-вниз, приподнимаясь на носки, подпрыгивая, чтобы дальше видеть. Утрата, горе, настоящее горе — так это ощущалось тогда, а было радостно про это вспоминать.

Вот он, Манеж, вот Красная площадь, улица Горького. Вернулся к своим снам. Память наша быстрее всех скоростей. Стоя здесь, на ступенях гостиницы «Москва», он прыгнул глазами в утлый домик, как бы присевший под убийственным солнцем, домик в обступе деревьев; но и в нескольких шагах от барханых волн пустыни. Тамто и снились ему эти купола, Манеж, гостиница «Националь», серый куб телеграфа, и не верилось, что он жил в этих стенах. Сны потому и сны, что не явь. А явью для него стали змеи, ибо в этой жизни, поселившей его в домике на краю пустыни и на краю притихшего в субтропическом зное городка Кара-Кала, он был змееловом. Гюрзы, кобры — они никогда не снились ему, на них обрывался всякий сон. Лишь тень от них падала на сон, как он просыпался, выпрастывая руки, чтобы схватить, прижать, сунуть в мешок. Он скоро научился не бояться

змеи, не очень бояться, но только нельзя спать, когда они появляются, вот уж спать тут нельзя. И он научился не пускать их даже в свои сны.

Приехал. А зачем? А к кому? Москва была полна друзей, ну, пусть не друзей, приятелей. В Москве был его дом, ну, пусть теперь не его, но там жил его сын — это уж было не отнять. Так он к сыну приехал? Но бывшая жена просила не появляться: она вышла замуж, бывшая жена, у мальчика вот уже четыре года был другой отец, к которому следовало мальчику привыкнуть, поскольку следовало мальчику отвыкнуть от человека, который не заслужил быть ему отцом. Родная кровь? Это все пустое. Что похож на него, еще тогда был похож, в свои шесть лет, до изумления, до умиления, — и это пустое. Одно всего получил он от жены письмецо, когда отбывал срок. Это было даже не прощальное письмо, а разрывное. И там и было обо всем этом изложено, чтобы забыл о сыне, чтобы и не писал и не появлялся, когда выйдет на свободу, дабы не травмировать душу ребенка. Запомнился почерк жены в этом письме, которое искрошил в пальцах. Он не знал, оказывается, как пишет его жена, а она писала, как девочка, как старательная школьница, кругля буквы, ставя запятые с явным избытком, на всякий случай. Ему был неведом ее почерк: поженились без писем, разлучаясь ненадолго, обменивались телеграммами. А жаль, что ни единого письмеца он от нее не получил в пору, когда началось у них — что началось? любовь, что ли? — когда, словом, он решил взять в жены эту статную, с русой косой молодую продавщицу из отдела спортивных товаров, такую неожиданную среди аляповатого спортивного инвентаря, такую из былых, благонадежных времен, чистенькую, ухоженную, полнокровную, не болтливую. Будет хорошей матерью моим сыновьям — решил. Не испорченная — решил. Он тогда верил в свое умение разбираться в людях. С первого взгляда. Вообще шибко верил в себя. Он тогда даже не шел вверх, а взлетал. В двадцать восемь был заместителем директора крупного гастронома, в тридцать два стал директором. И слухи, слухи каждый день нарождались, что ему и повыше место прочат. Он знал: прочат. Друзей было — вся Москва. Нет, он не обольщался, не дураком все же был, знал, что большинство этих друзей не столько к нему тянутся, сколько к его директорским возможностям, но все-таки были ж и истинные друзья, ведь были же? Когда попал под следст-

вие, разом обмелело озеро дружбы. Когда посадили — дно каменистое у того озера открылось. Когда осудили, и дружеского ручейка среди камней не уцелело. Потом, там, в Кара-Кале, видел он такие озера по весне, которые за день-два иссыхали под палящим солнцем. Но может, не там он искал своих друзей? В пустыне, даже в зной, под иным камнем, когда отворотить его, хранится влага. Там и в адов зной жизнь живет. Это он углядел и к этой жизни проникся уважением. Красоты в ней не было, была стойкость.

Так к кому прикатил? Зачем он здесь? Затем, чтобы постоять на этих ступенях, поглядеть на эти старые стены, куполам этим поклониться, которые погорше знали судьбы, чем его судьба, занесшегося, забывшегося, зарвавшегося человека, а ныне — притихшего, поумневшего — поумнеешь! — задумавшегося?

Он так рассчитал, беря билет, чтобы поезд из Ашхабада привез его в Москву в воскресенье. Конечно же был у него кой-какой план, к кому толкнуться в первый день приезда, застать, если повезет, дома. Глаза в глаза хотелось встретиться. Из всех друзей из прошлого выбрал он двоих, только двоих, веря нетвердо, что они его приветят. Он ни с кем не переписывался в эти годы, писал лишь сестре, которая жила в Дмитрове, звала к себе. От Москвы до Дмитрова недолог путь, но это уже запасной вариант, пристанище на самый крайний случай. Не верилось, что во всей громадной Москве не найдется ему места.

У него сохранилась толстая записная книжка, заполненная фамилиями и телефонами, как какой-нибудь городской справочник. Выпускались когда-то в Москве такие справочники и так и назывались: «Вся Москва». Вот из этой «всей Москвы» два адреса, два имени еще продолжали светиться для него надеждой.

Константин Бугров, просто Костик, с которым вместе кончал Плехановский, но только тот на троечки, а он на пятерочки, который так на троечках и дальше зажил, без взлетов, но и без срывов. Бухгалтерствовал в каком-то тресте с многобуквенным, не выговорить, названием. Наверное, и сейчас в том же тресте, за тем же делом — смолоду старичок. Но добрый старичок. Отзывчивый. Влюбленный во всех своих однокурсников и однокурсниц. Собирателем их всех по каким-то там лишь ему памятным табельным институтским датам.



Нет, сперва не к нему. Сперва к человеку острому, злону, недоверчивому, хваткому, из бывалых разбивало-му. Об этого человека можно удариться, как об стену. Но он может и пустить к себе, может обернуться добрым, сочувствующим. А уж поймет все. Их связывали когда-то общие дела, но связи эти не были прослежены. Этот человек умел рубить концы. Совсем не лучший из его бывших друзей, чуть ли не самый темный, но вот в него все же верилось. Не хлипкий был человек, не трусливый, не увертливый. Сперва к нему, к Петру.

## 2

Медведково. Проезд Шокальского. А потом до десятка одинаковых домов, разбросанных на участке так, как бы это мог сделать ретивый малыш, которому наскучили его кубики. Отшвырнул рукой, отшвырнул ногой. Оказывается, малыш-то был архитектором. Это он не шалил, а так представлял некий микрорайон, некое организованное пространство. Да и малышу этому, наверное, было лет за пятьдесят, и был он руководителем архитектурной мастерской, ведавшей застройкой сих мест. Найти нужный дом среди этих кубиков было делом непростым. В адресе, который он отыскал в своей записной книжке, значился и номер дома, и номер корпуса, а вдобавок какие-то были еще указания, куда свернуть, что где на стенах прочесть, какому цвету стен верить. Он бывал в этом доме, где жил Петр Григорьевич Котов, раз десять, знал все подходы к нему, но, как в барханах, чуть углубись в них, сразу же запутался здесь в похожих, как гребни барханов, стенах. Там, в пустыне, он довольно скоро научился запоминать приметы — чахлый кустик какой-нибудь, сохлая ветвь саксаула, ювелирно обглоданная кость, которые вели его, выводили. Здешние приметы позабылись, скрылись за своей одинаковостью. Он долго блуждал от торца к торцу, на которых были крупно выведены номера корпусов, прежде чем нашел тот, что был ему нужен. Глазами он этот дом не узнал — за пять лет каким-то другим стал этот дом, не постарел, рано бы вроде, но потускнел, обжился. Про женщин говорят — обабилась, про мужчин — заматерел. Про этот дом, пожалуй, можно было сказать, что он обтек, а еще точнее — поник.

Вот в этом поникшем доме, хотя достаточно еще пред-

ставительном, длинном и многоэтажном, в его четвертом подъезде от края, в квартире на первом этаже, как войдешь по правую руку, и жил Петр Котов.

Вошел в подъезд и остановился. Что ждет его за этой дверью с тоже потускневшей обивкой? Медные шляпки нарядных гвоздей раньше блестели, теперь не блестят. Откуда он взял, что за пять лет ничего не переменялось у Котова? Дом вот — бетон и железо, и тот переменялся. Испугала эта потускневшая обивка. Надо было написать все же. Но можно и позвонить. Мол, приехал, нахожусь тут поблизости. А как же тогда с желанием нагряться и встретиться глаза в глаза? Это было яростное желание, выношенное там, под солнышком, которое жгло близко к ста градусам. Нет, глаза в глаза! Уж какие мы есть! Он резко нажал на дверной звонок. Да что там, как ни жми, звонок этот по-дамски пролопотал что-то уютное, мелодичное. И на звонок откликнулись не сильные шаги — Котов сам всегда открывал, — а шарканье тапочек. Но дверь отомкнули сразу, а Котов не сразу открывал, прикинул сперва к глазку. Раньше тут сторожились, теперь не сторожатся. Не съехал ли?

Отворилась дверь, незнакомая женщина в белом халате стояла перед ним. Какая-то без возраста, без цвета. Главным был в ней запах, она вся пропахла, пропиталась запахами лекарств, она была, как валерьяновый корень, если его потереть пальцами и втянуть в себя воздух.

Он пробормотал, принюхиваясь, оробев, изверившись в своей затее, но узнавая по верх головы женщины мебель в прихожей, узналась и зимняя шапка Петра — богатый пыжик, почему-то оставленный и на лето рядом с летней задиристой кепочкой.

— Я к Петру Григорьевичу... Он дома?

— Где же ему быть?

Теперь не только от женщины наплывал лекарственный запах, а отовсюду он наплывал — из коридора, из-за неплотно прикрытой двери в комнату, Петра комнату. Болен! Лекарства пахли дорогой вонью, незнакомой. То была зловещая, опасная вонь, так воняет беда.

— Кто ко мне? — послышался голос Петра Григорьевича, его голос, без обычного напора, но его, его голос. Отлегло! Ну, болен, с кем не бывает. А лекарства такие, потому что богат, потому что все может достать — из заморщины, хоть с самой Луны. Тогда мог и теперь может.

— Это я, Петр Григорьевич! Павел Шорохов! — Он

кинулся к двери, распахнул, увидел с порога и близко Петра, высоко лежащего на подушках, его глаза — вот они! — но то были не его глаза, не Петра, у того таких глаз, таких громадных в пол-лица глаз сроду не было, и не сумел, не решился, не получилось у него в них взглядеться.

— Ждал. Входи. Уведомлен, что срок тебе срезали за хорошую работу. Еще год назад. А где пропадал этот год? Я ждал тебя.

— В Кара-Кале. Это в Туркмении.

— Тихо небось там, в этой Кара-Кале?

— Тихо.

— Хорошо. Чего лучше, когда тихо. И тебя, значит, на тишину потянуло?

— Потянуло заработать перед Москвой.

— Что же там, в Кара-Кале, золото нашли? Уран?

— Нет, там змей отлавливают. Кара-калинский серпентарий. Не слышали?

— Слышал. Забыл. И кем ты там?

— Змееловом.

— Павел Шорохов — змеелов? Думал, больше ничему не удивлюсь, а вот ты меня, Паша, удивил. Чем это тут запахло так хорошо? А, дыня у тебя. У нас с рынка дыни не пахнут почти. Их для продажи на химии растят. Громадные выходят, но без вкуса, без запаха. А кому печаль? Лишь бы продать, схватить побольше. А ты, Паша, из своей тишины, от таких вот райских дынь, от змеек своих бесхитростных прикатил в Москву. Виноват, тут сын у тебя, виноват.

Пообвык немного Павел, стал поглядывать на это лицо, ополовиненное глазами. А голос и совсем был почти тот же, все та же усмешечка в нем жила, про что бы ни говорилось.

— Лена! — позвал Котов. — Мне бы кусочек дыни! Можно?

— Все вам можно. — Женщина вошла, приняла из рук Павла дыню и вышла, оставив после себя лекарственный шлейф.

— Вот медицинскую сестру ко мне приставили. А из больницы я сбежал. Поверишь, не думал, что столько там жулья. Врачи тебя пугают, чтобы побольше содрать. Лекарство новейшее достал, так его подменяют, перепродадут. Ну, чистая психотерапия. Сбежал. Профессура и сюда может подъехать, если соответственно вознагра-

дить. А мне не жаль, берите, но только голову не задуривайте. Ну, грыжа, знаю, что грыжа. Помнишь, я бился на мотоцикле лет с десять назад? Вот с той поры. Дурак, конечно, не придал значения.— И вдруг стоном:— Ах, какой дурак! Господи, какой дурак! От пустяковой тогда операции отказался!— Напрягся, сжался, прихватывая свой крик:— Все, все об этом, все, все. Ну, так что же мы с тобой делать будем? Вернулся? По новой начнешь? Возьми там в баре коньячку, выпей. Мне нельзя, давно нельзя, но смотреть люблю. Сейчас распоряжусь, чтобы накормили тебя. Сейчас и жена здесь будет — привезет очередного профессора. Ну, Паша, вот это люди! Куда нам! Садись, бери бутылку, рюмку и подсаживайся поближе. Так ты, стало быть, змеелов? Это что же? Как же? Хватить — и в мешок? Риск велик?

— Достаточен.

Верно, хорошо бы сейчас выпить, в самый раз бы выпить. Жаль, что коньяк предложен, стакан бы водки. Павел подошел к инкрустированному серванту, за стеклами которого в большой тесноте жили принцы и принцессы хрустальных, фарфоровых, серебряных королевств. В другом бы доме и один такой бокал был бы украшением всей комнаты, предметом особой гордости хозяев, а тут таких предметов было навалом. Эта выставка богатств была не нова в доме Петра Григорьевича, но приметно побогаче стала, иного разбора, утончились хозяева. Квартира все та же, стены те же, но вещи проникли сюда иные, другого, что ли, сословия. Из купечества как бы во дворянство шагнули. Многого достиг за пять лет Петр Григорьевич. И, похоже, не таятся, демонстрирует даже.

— Ну, ну, оглядывайся, оценивай,— услышал Павел за спиной.— Но только не завидуй. Все бы отдал, чтобы змееловом стать. Откуда шрамы на руках? Урки?

— Нет.— Павел вернулся к тахте, поставил на столик у изголовья бутылку, две рюмки, налил себе, налил Петру Григорьевичу.

— Молодец, смекалка с тобой. Хоть и нельзя мне пить, а рюмку наполнить надо. Больные народ обидчивый, мнительный. Молодец, спасибо. Так откуда шрамы? Ну и резанули. Без пощады.

— Здесь сам резанул. Укус фаланги, майской, тут медлить нельзя. Полоснул, отсосал. А в палец гюрза укусила. Когда только начинал. Спасибо Бабаш рядом оказался. Рванул ножом по пальцу, спас.

— Что за Бабаш?

— Директор змеепитомника. Это по должности.

— А не по должности?

— Удивительный человек.

— Понял, ясно объясняешь. Ну, пей, терпежу нет. Поехали!— Петр Григорьевич выпростал из-под простыни, которую до того придерживал у подбородка, руку, исхудалую, не свою будто, пожелтевшими пальцами нежно обхватил рюмку, приподнял.— Будь! С возвращением!

Павел выпил.

— Повтори!

Павел налил и снова выпил. Коньяк был маслянистый, легко проглатывался, незнакомым и пустяковым казался напитком. Отвык от этой французской дребедени. Про это и сказал, облегченно вздохнув:

— Пустяковый все ж таки напиток. Легковатый.

— Вот, вот, в этом и смысл. Полегчало? А то, смотрю, испугался за меня. Ничего, выпрыгну. Как думаешь?

— Вам ли не выпрыгнуть.

— Верю, что веришь. Попробую, попытаюсь. Мне, знаешь ли, лекарства из Швеции, из Югославии самолетами доставляют. Неужели во всем мире нет лекарства, чтобы с моей грыжей не совладало? Достану! Куплю!

Вошла сестра, неся на тарелке крошечную дольку дыни, аромат которой, как тонким лезвием, прорезал воздух, лекарственное это удушьё, и посулил надежду.

— Вот оно — чудо!— У Петра Григорьевича затряслись пальцы, когда брал дыню.— Поправлюсь, уеду в твою Кара-Калу! Не шутя говорю, уеду. Тишина, такие дыни...

— Вот еще помидоры.— Павел торопливо открыл чемодан, вынул, поднял на ладони громадный помидор, сразу же тоже заявивший себя терпким, сильным, на земле и солнце настоящим запахом.

— Можно, Лена?!— взмолился Петр Григорьевич.— Вот оно — чудо!

— Вам все можно,— сухо сказала сестра и унесла помидор.

— И верно, отчего нельзя, если душа просит. С душой надо советоваться медикам, взглядеться больному в душу, а тогда уж лечить.— Петр Григорьевич руку вскинул, когда произносил эти слова, веруя произносил. Но тут же сам себя и опроверг, усмешливо покривив губы:— Да



только где она, эта душа, где? Как ее ухватить, Паша? Ты свою нащупал, беседуешь с ней?

— Нет.

— Ты какой приехал? Злой? Смирный? Счеты будешь сводить? Или простил? Меня простил?

— У меня к вам претензий нет.

— Ну-ну. Должны быть. Ты загремел, а я даже в свидетелях не побывал. Должны быть. Да какой спрос с больного! Верно, какой с меня спрос? Но я тебе помогу, Паша. Деньгами...

— Деньги у меня есть на первое время.

— Будешь жить пока у меня. В комнате сына. Он в армии. Там, правда, мой мотоцикл стоит. Отодвинешь его к стеночке. Да, вот так, отдал сына в армию, не стал ходы искать. Может, чему и обучит эта армия, пока отец болеет. В отца сын. А когда сын в такого отца, как я, отцу болеть нельзя. Что там, в Афганистане, ты ведь из тех мест?

— Кара-Кала на иранской границе. Там, как обычно, пограничники.

— Трудная служба? Жара, змеи вот. Еще зашлют парня в твою Кара-Калу.

— А сами собрались туда ехать.

— Я — другое. Мне — доживать. Ладно, хватит обо мне. Когда сына собираешься наведать?

— Мне отписано, чтобы исчез из его жизни.

— Гляди! Какая бабеночка была робкая, уютная. Ох, бабы!

— Она вышла за другого.

— Знаю. Ох, бабы, бабы! Из нашего профсоюза паренек, но какой-то никакой. Этот бы ножом себя по руке не полоснул, а уж в змееловы бы и подавно не сунулся.

— На сына все же взгляну. Хоть издали.

— Учти, сыну твоему помогали.

— Кто?

— Неважно. А она брала. Регулярно. Учти.

— Мне сестра посылала посылки все четыре года. Щедрые посылки. С ее-то зарплатой. Вы?

— Правильно, что помогала. Сестра, родная кровь.

— А ей помогали вы, так?

— Неважно, неважно, Паша. Мой тебе совет: встанешь на ноги, отбери сына.

— Думал об этом.

— Ты за эти пять лет, наверное, обо всем подумал.

Сейчас здесь придется передумывать. Жизнь не обдумаешь. Человек предполагает, а бог располагает. Выпей-ка еще, и я с тобой... мысленно. Лена, где тот помидор? Тащи угощение!

Вошла Лена, неся на тарелочке крошечный ломтик помидора.

— А ему? Да не чинись ты, сестра милосердная. Ну, поухаживай за молодым человеком, окажи милосердие. Как же пить без закуски?

— Мне ничего не нужно,— сказал Павел.

— Мне нужно. В моем доме пьешь. Лена!

— Сейчас принесу. Может, отдельно пообедаете? Больные не всегда любят, когда рядом с ними едят.

— А я люблю.

— Да мне ничего не нужно, я сыт.

Сестра ушла, снова оставив после себя лекарственный шлейф и еще какое-то сродни запаху неудовольствие, которое исходило от нее, поскольку больной явно вел себя не по правилам.

— Уколы делает замечательно,— сказал Петр Григорьевич.— Рука крепкая, а душа добрая. Представляешь, девица.

— Точно установлено?

Впервые они рассмеялись, к мужскому потянувшись беседованию, когда вот коньячок на столе. Павел снова налил себе, хотя пить ему не хотелось. Не так, не с того все у него в Москве начиналось. К разному был готов, но не к поверженному этому человеку, к этой больнице на дому. Помнится, зарекался, что пить вообще не будет первое время в Москве, ясную сбережет голову. А только вошел в первый дом — и сразу за коньяк. И весь план разговора с Петром Григорьевичем — а план был — порушился. Так, глядишь, все и пойдет наперекосяк.

— Больше не пей, раз не хочешь,— сказал Петр Григорьевич.— И мне расхотелось. Что же, на новый виток пойдешь по старой дорожке или какую-то новую для себя жизнь наметил?

— Много чего наметил, мало чего могу. Надо начинать работать. А что я умею? Змей ловить в Москве негде. Экономист без права финансовой ответственности никому не нужен. В приказчики, может? Но тут тоже надо, чтобы захотели взять.

— Поглядим, помозгуем. Ты что-то пал духом, Паша.

Вошел в комнату одним, а сейчас другой. Неужто из-за меня? Плох так?

Вернулась Лена, неся на подносе тарелки с закуской. Павел перенял у нее поднос, радуясь, что можно отвести глаза от спрашивающих, мудро-зорких глаз больного.

— Лена, может, и вы с нами?— Павел протянул ей свою рюмку.

— Я не пью!— отпрянула от рюмки сестра.

— Она у нас девица скромная,— сказал Петр Григорьевич.

— Вся беда от водки.

Павел взгляделся: оказывается, она была еще совсем молодая, ну, лет тридцать. И что-то даже миловидное было в ее лице, сжавшемся, наперед приготовившемся к морщинам.

— Мужика бы тебе, Лена, балагура, пьяницу, рюкосу,— сказал Петр Григорьевич.— Расцвела бы. Павел, займись. Хочешь, сосватаю? На старости лет будет кому уколы делать.

— Я на вас сердиться не могу, Петр Григорьевич,— обидчиво распрямилась сестра.

— Потому что больной?

— Потому что выздоравливающий.— Явная ложь смутила ее.— Как я надеюсь...

— Спасибо. Солгала, но спасибо.

— Я на вас сердиться не могу, а на вас сержусь, Павел. Простите, что без отчества. Нас не познакомили. Сержусь. Больной устал. В больнице бы вас к нему на три минутки допустили. И никаких коньяков.

— Сергеевич он по батюшке,— сказал Петр Григорьевич.— Потому я из вашей больницы и сбежал, что там и не лечат, и свободы нет.

— Сбежали, потому что могли себе позволить. Самоуверенности в вас много.

— Избывает, Лена, избывает. Уж и не знаю, чего там во мне много, осталось ли что.

— Человек вы большой силы, Петр Григорьевич,— уважительно сказала Лена.— Я потому от вас все и терплю, что сильный вы человек.

— Добрая душа, спасибо. Вот, Паша, ты появился, и Лену не узнать. Живое к живому тянется. Леночка, взгляни на его руки, на шрамы эти. Знаешь, кто он? Змеелов! Скажи, любят бабы такие руки, таких мужиков прокаленных?

Лена серьезно, внимательно оглядела Павла, как, наверное, осматривала больных, слагая о них первое впечатление.

— Отчаянные, может, и любят,— сказала она и быстро вышла из комнаты, спеша на раздавшийся певучий звонок.

— Профессор по мою душу,— сказал Петр Григорьевич.— Паш, ты погляди на него, сложи свое мнение. Не жаль тех денег, жаль шарлатану себя вверять. Эх, подняться бы, подняться бы!

А там, в коридоре, уже властвовал уверенный, благонадежный, раскатистый бас. Там, за дверью, начинался ритуал, священнодействие, предшествующее вхождению врача к больному. Там в ванной руки мылись под громко пущенной струей, там некие отпускались шуточки, когда сестра протягивала крахмальное полотенце, там тысячи раз повторенное в кинофильмах, а все же сохранившееся и в жизни совершалось профессорское это потирание ладони о ладонь и проборматывалось профессорское это, заштампованнейшее «ну-с!».

Театральным жестом широко распахнули дверь, и в комнату вступил профессор — тот самый, ожидаемый. Он был высок, тучноват, румян, седовато лыс, у него были жизнелюбивые, сочные губы. Из-под крахмального коротковатого халата выпирал, бахвалясь, добротный костюм. Уверенность, осведомленность, благонадежность вступили в комнату.

Павлу было велено сложить свое мнение о профессоре, и он принялся его разглядывать, хотя все сразу угляделось, по поверхности этот человек себя отработал наилучшим образом. Стереотип благонадежности — как раз то самое, что необходимо больным и еще больше родственникам больных, чтобы уверовать во всемогущество врача.

— О, коньяк! — жизнелюбиво пробасил профессор. — Отлично! Убрать с глаз долой! Елена Андреевна, вы, я надеюсь, не забыли своих обязанностей?

— Помню. — Еще больше ужалось ее молодое, к старости склонявшееся лицо. Павлу показалось, что она отозвалась и без почтения, и без трепета, но заскучала.

— Вы — кто? — услышал Павел. — Родственник? Визитер? Не дела ли принялись обсуждать? Приезжий?

— Визитер, — сказал Павел.

— Друг, приехал вот из Кара-Калы,— сказал Петр Григорьевич.— Представляете, змеелов.

— Отлично, отлично. Прошу вас оставить нас, уважаемый товарищ змеелов. Елена Андреевна, проводите товарища со всем этим припасом в соседнюю комнату.— Профессор повернулся к Павлу спиной, загородил собой больного.— Ну-с, дорогой наш Петр Григорьевич, займемся-ка делом.

Павел вышел следом за Леной в коридор. Она плотно прикрыла дверь, устало приткнулась плечом к косяку.

— Какое дело?— шепнули ее губы.— Погибает человек...

### 3

В узкой комнате, во всю длину которой разместился мощный, загадочный, похожий на уссурийского тигра мотоцикл фирмы «BSA», прошла первая ночь Павла Шорохова в Москве. Мотоцикл живым представлялся существом, хотя давно застыл на деревянных креплениях и, пожалуй, изверился, что его хозяин когда-нибудь сядет в седло и рванет бесстрашно, как это только он умел, смел. От машины живой приструивался запах, теплый, не машинный. Еще, казалось, не остыло тепло рук Петра Григорьевича, собравших своего тигра, вдохнувших в него жизнь. Петр Григорьевич, обзаведясь очередным таким зверем, сперва до последней гаечки разбирал его, неделями потом совершенствовал, не веря никаким фирмам с их изощренными инженерами и мастерами, а затем собирал, и выходила из его рук машина сил лошадиных на десять сильнее, чем то было обозначено в паспорте, выходила маневренней, сбросив килограммов на пять «жирка», заполучив какие-то особенно зоркие фары, особенно цепкие тормоза. Это занятие, эти вот механические тигры, которым была отведена комната в квартире, ради которых и в первом этаже поселился, столь не престижном для москвича,— это было делом для души у Петра Григорьевича, а может быть, и вообще его делом на земле. Гонщик, механик, изобретатель. Это и осталось с ним, хотя был он, сколько Павел знал его и до того, как узнал его, директором небольшого винно-фруктово-овощного магазина. Сперва одного, потом другого, третьего. Адреса менялись, магазины были все такими же, не очень боль-



шими, не очень нарядными, с хорошим, впрочем, сколь было возможно, ассортиментом полагающихся в них товаров. Засиживаться на одном месте Петр Григорьевич не любил и друзьям не советовал. Уходил не тогда, когда «уходили», а в самый разгар успеха, налаженности в работе, когда в районе все начальство души в нем не чаяло, вот тогда-то он и уходил, «менял — его слова — шубу». И снова налаживал, улучшал работу, поднимал «торговую точку до восклицательного знака» — и снова уходил. С добрым именем, с высокой репутацией, а главное — Шорохов это потом понял, там, когда времени было много, чтобы все обдумать, — главное, что уходил Котов, не успев увязнуть в отношениях, легко порывая нити, а не тенеты, которые образуются в торговле долголетней работой на одном месте. И не хочешь, а образуются. Эти тенеты и сгубили Шорохова. Он думал, что всегда сможет сбросить с плеч все там веревочки приятельств и обязательств, а попытался — и не смог. И потащило его на дно, вот именно что запутался. Где сам виноват, где другой виноват. Вдруг все эти «надо», «должен», «обязан» подняли голоса. Вдруг сам себе перестал быть хозяином.

А Петр Григорьевич Котов, как тот известный шахматист, его однофамилец, мог бы тоже именоваться гроссмейстером. В торговле. Но точнее будет, в той игре, в той науке, имя которой — жизнь. Менял свои магазинчики, гонял на своих звереподобных мотоциклах. Сказочно богат был, но не ухватишь, как и не догонишь, когда мчал он по шоссе. Откуда такой? Как стал таким? Ходили всякие слухи про прошлую жизнь Петра Котова. Рассказывали, что он из инженеров, что действительно был когда-то изобретателем, но где-то в чем-то не повезло, но сломалась судьба, говорили, что даже сидел он, правда, недолго, а уж потом вот и толкнулся в торговлю, оставив себе для души свои мотоциклы, возможность эту рвануть по шоссе со скоростью смерти и уцелеть. Он никогда не участвовал в гонках, кроссах, ему не нужны были призы, ему нужна была скорость, это чувство одоления оробелости души. Вот каким человеком был Петр Григорьевич Котов, каким разглядел его, пытаюсь понять, Шорохов, когда раздумывал — день за днем, день за днем — о своей жизни, своей неудаче, своем провале, беде своей.

Бессонной получилась ночь. Тот завод, с которым прикатил в Москву, пружина та, закрученная им до отказа

еще в пути, раскручивалась теперь впустую, расходовалась на мысли, на спор с собой, на вопросы к себе. Не вышло, не удалось его возвращение в Москву, первый день огоршил неудачей. Человек, на которого надеялся, оказался смертельно больным, поверженным. Жена Петра Григорьевича, красивая, но, жаль, непомерно толстая женщина, почти не узнала Павла, занятая своей бедой.

— Что ж, поживите пока у нас,— сказала.— Раз Петр Григорьевич так распорядился... Верно, ему будет повеселей...— И весь разговор, и в слезы.— Лена, постели товарищу, сделай милость.— И ушла, по-старушечьи шаркая полными ногами. А Павел помнил Тамару Ивановну царственно красивой, громогласной, плывущей в шаге, легкой, поворотливой, несмотря на полноту.

Беда, несчастье жило в этом доме, где пришлось ему заночевать и, возможно, придется прожить несколько дней, если действительно Петру Григорьевичу с ним будет повеселей. Не убегать же отсюда. Но не спалось. Своих бед было предостаточно. По сути, он начинал с нуля, прикатил в родной город в сорок лет без двух месяцев, не имея работы, да и права на какую-либо путную работу, прикатил с судимостью, а еще вот со званием — бывший. Бывший директор, бывший член партии, бывший муж, бывший отец. Стоп! А почему бывший отец? Сын забыл его, наверное, но он ему отец, он Сереже отец, родная кровь, сын был похож на него, памятно похож — себя разглядывая в зеркале, Павел умел вспомнить сына, мальчугана своего, так они были похожи. Стирал как бы ластиком по зеркалу свои годы, свою прожитость, пережитость, беды свои, врезавшиеся в лицо, и проглядывал тогда в нем сын, мальчик,— такие же глаза, синие из глубины, такой же крепкий нос, пробор этот с завитком русоватых, коротко стриженных жестких волос, губы одинаковые, нет, тут ластик ничего поделать не мог, не стирались отцовские губы, не умягчались. Но такой же была шея у мальчика, крепкой, стройной, морщины на отцовской шее ластик стирал легко. В отца у паренька были плечи, сухие, сильные. Занимается ли он спортом? Отдала ли его хоть в какую-нибудь секцию мать? В двенадцать лет можно и гимнастикой, и плаваньем увлечься. Он в двенадцать лет чем только не занимался. Любил бегать на короткие дистанции, получались у него прыжки в высоту. А Сережа, подросток ли? Как его мать кормит? Занимается им? Да что там, новый муж у бабы! Как он с

мальчиком? Петр Григорьевич отозвался о нем хуже некуда. Может, все же добрый человек? Не спалось Павлу Шорохову.

Лена, дежурившая у больного по очереди с Тамарой Ивановной, на рассвете поскреблась к Павлу, принесла чай, рюмку коньяку.

— Слышу, не спите. Выпейте это. Чем нервы взбудоражили, тем и надо гасить.

Еще не рассвело даже, серым было окно. В дверях стояла тоненькая женщина в белом халате, держа в протянутых руках стакан и рюмку. Лица было не видно. Только белая одежда и эти вот дары забвения в протянутых руках.

— Вы, как святая,— сказал Павел.— Но я не пью по утрам. Зарок дал. Когда стал работать на отлове, зарок дал Бабашу. Змеелову вообще нельзя пить, а уж утром — это все равно что к смерти себя приговаривать.

— Так вы теперь не змеелов,— сказала Лена.— Но это хорошо, что зароку верны.

— Нет, я и теперь змеелов. Еще не отвык. Да и не знаю, к чему другому буду привыкать.

— Вернетесь в свою торговлю?

— Если пустят.

— Там честно-то можно работать?

— Честно везде можно... А что я еще умею? На завод, на стройку? Кем?

— Трудно вам. А все-таки выпейте хоть чаю.— Лена поставила стакан на пол у двери, чтобы не переступить порога, и исчезла.

Верно, чай помог, крепчайший этот чай, от которого и спокойный станет беспокойным, помог Павлу задремать под утро, но только до самого первого солнечного луча, заглянувшего в комнату. Привык просыпаться с первыми лучами. Привык и в яростную зарядку бросать сразу же тело. Да это и не зарядка была, это был бой, и не с одним, а с несколькими противниками, когда надо падать, прыгать, оборачиваться, и делать это все на миг быстрее, чем те, которые на тебя нападают, а те, которые на тебя нападают, умеют ловить птиц в полете. Это была наука Владимира Бабаша. Не зарядка, чтобы мускулы пели, а выучка в бою, чтобы не погибнуть уже сегодня или завтра, когда выйдешь на работу. Потому-то так и внедрилась в Павла эта наука, хотя проработал он змееловом всего год, даже меньше, если говорить о сезоне отлова, что не

было и не могло быть у змеелова выбора. Либо — либо. За год, что поработал, погибло двое парней, старший брат Бабаша погиб.

В узкой комнате, да еще служившей гаражом для мотоцикла или, вернее, клеткой для тигра, трудно было настоящему размять себя. И надо было все время помнить, что в комнате через коридор лежит тяжело больной человек. Не вышло на этот раз с зарядкой-боем. Только под душем, меняя воду с холодной на горячую — и рывками, рывками, — обрел немного бодрости Павел. Воду менял и так же, рывками, метался в мыслях от одного дела к другому, какие предстояли ему сегодня в Москве. Первым делом был сын. Взглянуть, хоть тайком. Нет, первым делом был костюм. Надо было купить костюм. Еще рубашку, галстук, ну, словом, все — он прикатил в Москву с маленьким чемоданчиком, в котором лежали четыре тысячи — змееловская его пайка, бритва, смена белья да вот еще пяток сказочно вкусных помидоров, так полюбившихся Петру Григорьевичу. И надо было свидетелься с Костиком Бугровым. Вдруг испугался, похолодев под горячей струей, а что если и с ним что-то стряслось. И надо было, надо было, сколько всего надо было. Не зря ли приехал? Москва не принимала, как в непогодь аэродром. А сын? И ведь Москва была его родным городом. Стены ее, здания ее, Василий Блаженный на Красной площади и Манеж — они его уже приняли. Метро приняло. Холодная вода, горячая вода. Загудела кровь. Ему всего сорок, даже нет сорока. Он в своей силе, он и в колонии умел постоять за себя, он змей не побоялся, пошел на их быстроту со своей быстротой, на их хитрость со своей хитростью. Так неужели? Нет, он сына украдкой рассматривать не будет, он поговорит с ним. Жена брала от его имени помощь. Стало быть, у него и право на это есть. Право! Не поймешь, что за слово. Простенькое, коротенькое, а ничего не понять. Право есть, а на самом-то деле его нету. Его надо завоевать, вырвать, это право. За что бы ни возмись, о чем бы ни подумай. Было время, было ему легко, слишком легко. Вот за это и платит. За все надо платить. Ошибка — плати. Думаешь, увернулся, забыли счет предъявить. Не надейся, предъявят. Через год, через пять лет. Хорошо бы и самому предъявить этот счет. Есть кому. Горячая вода, холодная вода — бушует кровь. Вот так! Вот так! Еще, еще круче!

По записочке от Тамары Ивановны тут же, в Медведкове, в совсем вроде невидном магазинчике, купил Павел финский отличный костюм, рубашку с кружевцами на груди, как для жениха, выбрал галстук не из худших, нашлись и хорошие туфли, тоже финские. Там же, где примерял все это, в комнатенке товароведа, переоделся во все новое, бросив в угол свой измученный туркменским солнцем костюм. Расплатился, прибавил сверху — все, как положено, выслушал от товароведа древнейшую одесскую байку про шмаровоза, который, переодевшись, превратился в лорда, и лордом, именно лордом, вышел на Полярную улицу, главный в Медведкове проспект. Высокий, поджарый, черный от загара явно не курортного, синеглазый, сильный, да, да, сильный, ловящий взгляды женщин, этих природных товароведов, а еще и оценщиц, чего вы стоите, мужички.

Лорд-то он лорд, но этот лорд робел в душе. Надо бы сейчас идти к сыну, а он все же еще вчера решил сперва повидать Костика. А что Костик? Главным был сын. Почему его вдруг так потянуло к мальчику, которого помнил совсем маленьким, да он и сейчас еще был всего лишь мальчуганом, встреча с которым сулила одну только боль? Не смог бы Шорохов, сколько бы ни думал, понять, что влекло его так властно к сыну. Инстинкт, любовь — все не то, не совсем еще то, хотя и инстинкт, и любовь конечно же владели им. Но мы хватаемся, когда нам худо, за надежду, это главное, за надежду, как за спасение, а сын сейчас был для Павла Шорохова надеждой. Когда нам худо, когда наша собственная жизнь явно не удастся, мы обращаемся к своим детям, веря, надеясь, что у них получится, что они возьмут от жизни то, чего не удалось взять нам, в детях тогда начинаем искать мы смысл своего дальнейшего существования. Но и это не все. Была вина перед сыном. Все пять лет эта вина жгла Павла. Когда нам худо, мы особенно чувствительны, мы начинаем выучиваться науке понимания, сочувствия, вины, надеясь, что и к нам так же отнесутся близкие люди. Но и это не все, еще не все. Когда тебе близко к сорока, когда разрушилась семья, померли отец и мать, когда запас твоего времени молодого почти исчерпан, вот тогда-то и начинаешь понимать, что наново зажить очень трудно, что в



прошлом, в прожитом надо искать опору. А прошлое было перечеркнуто, и только сын... Но и это не все.

Итак, он все же решил сперва ехать к Костику. От встречи с другом он ждал того подпора, который у друзей только и можно найти, помощи ждал не в делах, не в практических советах, а в неуловимости этой, в дружеском этом участии, делающем нас сильнее. А уж потом — к сыну. Шорохов почему-то верил, что в разгар лета сын остался в Москве. То была с горечью уверенность. Заброшен конечно же его Сережка, предоставлен самому себе.

Костик жил в самом центре старой Москвы, на Гоголевском бульваре, в доме из розоватого камня, туфа, кажется. Этот камень добыл для строительства дома, одного из первых довоенных кооперативов, какой-то очень ловкий человек, которого давно уже нет в живых, но который именно этим раздобытым в Армении туфом и остался в памяти потомков. Милый дом, он часто снился Павлу. Не свой, где жил, где родился, но где жила сейчас чужая и враждебная ему женщина, а дом Костика, где провел несчетно сколько времени в студенческие годы, где жило само радушие в лице Костиковой мамы. Крошечная квартира, две узенькие комнаты с окнами на могучий тополь во дворе, крошечная кухня и запах кофе и оладий. Снятся ли запахи? Снятся. Этот запах кофе и оладий иногда, очень редко, снился Павлу. То был из счастливых сон. Студентом Костик жил бедно. Отец его давно умер, мать работала счетоводом, что-то шила, вязала, Костик тоже где-то что-то пытался заработать, но многого не мог, не сильный был, болезненный. Словом, перебивались мать с сыном. Но дешевый кофе и серые оладьи всегда ждали Павла в этом доме.

Остановил такси, едва только вскинул руку. Таксист аж тормознул рывком. Таксисты, они тоже умеют распознать человека. Могут и тормознуть перед одним, могут проскочить мимо другого. Мимолетный взгляд, чего там углядишь, а углядывают — и скупого, и склочного, и вообще темноватого. Сперва ехали молча, потом завязался разговор, будто накопилось в пути доверие.

— С Севера? Геолог? — спросил таксист, когда недалеко уже осталось до Гоголевского бульвара.

— Как раз с самого что ни на есть юга.

— Геолог? — настаивал таксист. Был этот парень упрям, самонадеян, думал, видно, что все про все понимает. Павел глянул на него, было водителю пример-

но столько же лет, что и ему. Упрямый, нахмуренный лоб.

— Как живется-можется?— спросил Павел.— Четвертой в день приносишь?

Водитель помолчал, подумал, но решил довериться:

— Когда и больше. Если с аэродрома, если человеку что купить помочь. Москва большая, надо знать, где что лежит.

— Не преследуется эта деятельность?

— С умом надо действовать. А почему интересуетесь, зачем геологу наши дела?

— Я не геолог.

— Ну, свою-то жилу все же нашли. И не белоручка, не головастик. Вот потому и подумал. Кто, если не секрет?

— Змеелов, парень, слышал о такой профессии?

— О! Сила! По телеку раз смотрел. Приносит? Вижу, что приносит. Плата за страх. Нет, я бы на такую работу не пошел. Пустыня. А мне город нужен. Потом эти змеи, как на них ни гляди с медицинской точки зрения, не подарок. Конечно, ко всему можно привыкнуть, всякая профессия нужна. Да, не угадал.

— Почти угадал. Геологи рядом с нами ходят. Тот же песок, те же горы, то же небо.

— Тогда все мы геологи. Та же земля, то же небо, те же реки и моря.

— Пожалуй, так оно и есть, все мы геологи, все чего-то ищем.

— Жаль, только смену заступил. С таким товарищем, как вы, посидеть бы возле бутылочки. Ну, а за колючей все же побывали?

— А что, угадывается?

— В глазах что-то есть. Да и в змееловы не от хорошей жизни идут. Так или не так?

— Так, парень, так.

— Но знавали и другие деньки, поднимала судьба, верно говорю?

— Пожалуй.

— Вы простите, что расспрашиваю. Могу и помолчать.

— Так ведь и я расспрашиваю. Из такси никуда не тянет? Доволен?

— Такого человека нет, чтобы был доволен. На жизнь хватает, квартиру обставил, цветной телевизор купил.

Чего еще? Жена не нудит — нету, нету, давай, давай,— это когда мы красть начинаем. Чего еще?

— Ну, а за колючей все же побывал?

Таксист напрягся:

— Так спросили или тоже по глазам?

— Крап на руках.

— Ведь свел же почти.

— Почти.

— А глаза, по глазам?

— А по глазам — московский таксист. Я думаю, это тоже школа.

— Интересный вы человек. Познакомиться бы! Да что, привезу, кивнем друг другу и — навеки.

— Может, еще встретимся.

— Не исключено. А настроение не совпадает. Человек к человеку не всегда может потянуться. Я почему сегодня такой счастливый? С женой вчера помирился. Цапаемся мы с ней, но любовь еще не прошла. Уверенно говорю, не прошла.

— Дети есть? Сын?

— Дочь. В девятый перешла. Поет — заслушаешься. Боюсь, в актрисы пойдет. Вожу я этих актрис. Как повезу, так о дочери все думаю. Раз, был такой случай, спутнику одной актрисочки молоденькой морду набил. Остановил машину, велел выйти и перекрестил по морде. Знал, что всем рискую, но не сдержался. Мразь мужик. Кого только не приходится возить. Со змеями, конечно, опаснее, но и клиент иной не лучше змеи. Нас, таксистов, и бьют, и убивают. Есть случаи.

— Я пять лет не был в Москве. Гляжу, много перемен, понастроено очень много. Ну, а вот в жизни, с людьми как?

— Вопрос не на одну, на две бутылки тянет. Честно, не знаю, что ответить. Вы серьезно спрашиваете?

— Серьезно.

— Если серьезно, не отвечу. Изругать все нетрудно, мы и ругаем. Жизнь вроде бы становится лучше, а нам все не так. Верно говорю? Но если серьезно, сами разбейтесь. Для вас — одно, для меня — другое. Вот все же думаю в консерваторию дочь отдать. И ведь отдам, примут. А кто я? Таксист всего-навсего, чаевых дел мастер. И квартиру мне дали, ну, не мне, жене, по ее работе. А кто она, моя жена? Обыкновенная ткачиха на «Трехгорке», и даже без каких-то там рекордов. Вот так. Ну, сидел. От-

части сам виноват. Вот так вот. А ругать, что ж, ругать мы умеем, все умеем. Да и есть за что. Вам какой дом на Гоголевском?

— Вон тот, из розоватого камня.

— Приехали. Визитных карточек у нас с вами нет, так что до случая. Как говорится, это гора с горой не сходится, а человек с человеком... Нет, друг, на чай я со своих не беру.

Хлопнула дверца, укатило такси. Даже не спросил, как звать человека, себя не назвал. А ведь не о пустяках разговаривали. От друга не всегда такой откровенности дождешься, как вот от мимолетного спутника, таксиста, вот что подвез тебя к дому, где жил друг. А там, а с Костином, какой ждет тебя разговор? Вчера вечером он позвонил ему, счастливо вслушиваясь в взволнованно-радостный голос. По телефону не стали долго разговаривать, отложили все до встречи. Костик был в отпуске, но, к счастью, оказался в Москве, приехал с дачи за продуктами. Женился Костик, снимал дачу, двойня у него — Машенька и Дашенька, это он успел рассказать. Мама жива, включилась в бабушкины заботы, прихварывает, но счастлива — и про это Костик успел рассказать. Узнав, откуда Павел звонит, расспрашивать ничего не стал, главный разговор отложили до встречи. И вот она — встреча, сейчас она начнется. Ну, друг, даже очень хороший друг, и главное, славный, добрый парень, но так уж ли ценим мы такую дружбу, так уж ли важна она нам, когда все у нас хорошо? Живем своей жизнью, встречаемся чем старше, тем реже, пусть даже и в одном живя городе, даже на одной улице, в одном доме. Но для Павла Шорохова Костик сейчас был не таким другом. Все иное, и дружба иная, когда тебе худо, когда начинаешь жизнь с нуля. Вот тогда-то вот и нужен друг. Да, да, не для делания дел, не для конкретной там помощи, а для подпора.

Прошел через арку в доме, вошел в обветшалый подъезд со следами недавнего небрежного ремонта, вошел в старенький лифт — в первый его лифт в Москве по приезде и в первый его лифт за пять лет. Нажал на кнопку и стал возноситься к другу.

Не столько время меняет людей, сколько то, чем это время было для них заполнено. Когда отворилась, еще до звонка, едва только вышел из лифта, дверь квартиры, когда возник в дверях Костик, Павел сперва почти не узнал друга. Конечно, это был Костик, он и протягивал

навстречу руки, как Костик, как бы даря всего себя, но столько неожиданного было в этом человеке, нового во всем его облике, что Павел внутренне запнулся.

— Тебя не узнать,— сказал Костик, когда они обнялись.

— Это тебя не узнать.

— Прибавил? Убавил?

— Другой.

— Ну, женился, двух дочек отковал, станешь другим. А все-таки, прибавил в весе? В человеческом?

— Прибавил, говорю, не узнать.

— А ты какой-то дипломат, ей-богу! Нет, референт министра. Появилось нынче племя младое, незнакомое. Все про все знают, иностранцы по облику и архипатриоты в душе. Откуда ты такой? Пять лет не писал. Как отрезал! На кого обиделся? На меня? На весь мир? Но я-то не из этого мира.

— Костик, Костик, а ведь мне снилось, как выхожу из лифта, как открываешь ты дверь...

— Входи, брат, входи.

— И говоришь: входи, брат, входи.

— Ты помягчал, Павел.

— А ты повзрослел.

Они разглядывали друг друга, отыскивая в другом что-то свое, для себя.

— К сорока годам повзрослел! А раньше казался тебе мальчиком?

Они вошли в квартиру, теснясь в узком пространстве прихожей, все еще в обнимку, почти в упор разглядывая друг друга.

— Ну, здравствуй, Паша! С возвращением!

— Здравствуй.— Павел вобрал в себя воздух.— Кофе сварил?

— А как же!

— И этот запах мне снился. Еще олады.

— Олады тебе на даче будут. Входи, у нас все, как было.

— Нет, все по-другому.

— Та же мебель колченогая, богачом не стал.

— А эти игрушки по всем углам, а эти кровати. Пожалуй, ты все же разбогател, Костик. Приметы молодой женщины везде. Разбогател!

Радостно было Павлу смотреть в лицо друга, счастливо откликнувшегося улыбкой на его слова. Невысокий, еще

больше полысевший, Костик хорошел от своей улыбки, как и раньше, застенчивой, доверчивой, но и с новым, обретенным выражением, которое и меняло все в лице этого еще пять лет назад взрослого мальчика. Теперь это был взрослый человек, сложился человек. Всегда уступчивый, покладистый, этот, глядишь, не уступит, не кивнет против своей воли. Костик... Он перестал быть Костиком. Бугор... Эта кличка институтской поры теперь к нему не приникала.

А Костик свое расследование вел, рассматривал друга.

— Эти шрамы на руках где добыл?

— Сразу все за шрамы мои хватаются. Рубил укусы. Год проработал змееловом в Кара-Кале.

— Так. Ради денег?

— Конечно.

— И вот вернулся с толстой пачкой в кармане, новый, с иголки, чтобы снова в бой?

Они вошли в кухню, подсели к столу, на котором их ждал кофейник, нехитрая закуска, нераспечатанная, какая-то чужая на этом столе бутылка водки.

— Я не пью, но тебе припас. Впрочем, выпью и я за встречу.— Костик стал неумело распечатывать бутылку.

— Дай-ка.— Павел взял бутылку, вдруг удивившись собственным рукам, их силе, рваным рубцам на них, до черноты сожженной солнцем коже.— Да, в бой. Без боя разве что дается?

— Смотря какой бой, во имя чего. Я был в зале суда все три дня. Ты держался хорошо, ты казался порядочным человеком в этой, что ни говори, постыдной истории, когда дюжина умных, умнейших мужиков и баб час за часом и день за днем уличались в подлогах, приписках, в пересортице. Ты казался порядочным, потому что не валил на других. Но я-то знал, что ты укрываешь кой-кого, не рубишь концы, а стало быть, Паша, собственного суда над собой у тебя тогда не было. Проскочить через суд, не замараться сверх меры, не унизиться в собственных глазах и в глазах тех, чье мнение ценил, перед этими бабенками, набившимися в зал, перед твоим богом Петром Григорьевичем и еще там перед кем-то,— вот чем ты тогда жил. Ты был в шоке, так думаю. Ты не понимал!..

— Выпьем, Костя, выпьем, Константин, прервем на минуточку обвинительную речь.

— Хорошо, выпьем! — Обливаясь, Костик выпил, спеша, даже не закусив, заговорил снова: — Ты не пони-

мал, что тебя предают, равняя с собой, все эти жулики! Ты никогда не казался мне волком из их стаи, я считал, что опомнишься, успеешь, что это в тебе наносное пиджонство, ну, жадность молодая до больших денег, ну, кружение головы, ну, еще там что-то непрочное, чужое. А ты на суде стал играть их игру. Ты казался мне тогда ослепшим. А потом исчез. Ни строки в ответ на десяток моих писем. Ни одного письма никому. Я решил, что это молчание — добрый признак. Ты обдумывал себя. Жизнь. Врачевал себя ненавистью. К ним?

— Выпьем, Костик, выпьем. А ты все же почти не изменился.

— Нет, ты ответь — к ним?

— Сейчас, вот только выпью для трезвости.— Павел отодвинул крошечную рюмку, налил себе в стакан, почти доверху налил, и стал пить, не ощущая водки, так обжег его этот вспыхнувший разговор. Он не был готов к нему, не для такого разговора сюда пришел, к другу. Он допил, подержал пустой стакан в сильной руке, да, в сильной руке, поглядел через стеклянную муть на Костика, который чуть поплыл в стекле, забавно менялось его лицо — то ширилось, то сужалось, становилось чужим.

— Ты кто, прокурор?

— Я твой друг, Паша. Ты был в институте главным для меня человеком. И потом, я гордился тобой, тем, как ты шел. Мне не чужда зависть, тебе я не завидовал. Я гордился тобой. Даже на суде... иногда...

— Почему не писал никому?..— Павел задумался, трезвый, печальный, водка не брала.— Обдумывал там себя?.. Четыре года отбывал день за днем. Работал на лесоповале. Себя перестал узнавать. Бытовика и урки работали рядом. С год пришлось отбиваться, просто отбиваться, пока не поверили, что я не поддамся. Ты красиво говоришь, Костик, ты умно говоришь. Я верю, что ты веришь в свои слова. Не берет меня водка, гляди, не берет. Да, я верю тебе. Но вот ты мне посоветуй, куда мне податься? На сто рублей в дворники? На полторы сотни к конвейеру? в разнорабочие? Ползти лет пять до штукатура пятого разряда? Ты не понял на том суде, что меня приговорили не к сроку, а на всю жизнь.

— Нет! Это ты, гляжу, ничего не понял. Пять лет кипело в тебе, сейчас кипит так, что водка сразу выкипела, а ты не уразумел. Ну, можно же, можно прожить честным человеком! Наново им зажечь! Деньги нужны,

согласен, но не любой ценой. Ты заплатил не за всю жизнь, зря ты так, ты заплатил за ту жизнь. Верю, новая — может быть другой!

— Сколько ты имеешь на своем бухгалтерстве?

— Теперь на круг двести пятьдесят. Я главный бухгалтер треста.

— Поздравляю. А жена твоя сколько имеет?

— Она учительница. Сто шестьдесят — сто восемьдесят. Мама на пенсии.

— Еще сто двадцать?

— Нет, девяносто.

— Так, и две девочки. Их надо вырастить, поднять, жизнь им открыть. Не худо бы тебе с женой, с мамой твоей, которая, ну, не знала жизни, а все вязала да вязала, не худо бы...

— Она и сейчас вяжет. И жена вяжет.

— И девочки будут вязать?

— И они будут.

— Вот и я говорю! Слушай, давай еще выпьем немного. Не вяжется разговор!

— Давай.— Костик сам налил, поровну поделив по рюмкам все, что оставалось в бутылке. И сразу они выпили, спеша к спасительному островку, который иногда дарит нетрезвость в море трезвого отчуждения. Выпили, помолчали, вслушиваясь в гул в себе, гася гнев, обиду от непонимания. Даже пожевали что-то, а Павел наклонился к кофейнику, крышку приподнял, понюхал.

— Ну можно же, можно прожить честным человеком,— не уступчиво, хоть и тихо, почти шепотом, повторил Костик.— Мы же русские интеллигенты, советские люди. Это не слова. Стыдно! Лучше всю жизнь вязать, лучше как угодно бедствовать, но знать, что ты честен — перед собой, перед своим народом,— и знать, что твои дети растут в честной семье. Это сколько же стоит — это вот знание?

— Но девочки твои еще спросят у тебя, почему ты не можешь им купить это и это, это и это. У других есть, у них нет.

— Я у матери не спрашивал. Мои девочки поймут, что их отец и мать делают все, что в их силах. Ну, был бы я крупным инженером, художником, артистом, ну, им бы перепало больше. Я такой, какой получился. Мне не выпрыгнуть из себя. Но честным я могу быть.

— А вокруг? А другие?



— Ты себя не замарай. Страна, общество состоит из каждого из нас, а не из каких-то там других. Пусть они, другие, оглядываются и видят нас. Не знаю, как у кого, но в России, Паша, на одном брюхе никогда не умели жить. Мы странный народ. Совестьливый. А если что, мы мучаемся. Ты вот мучаешься. Рад этому. Рад, что водка тебя не берет. Мучаешься. На суде мучился. Обморочный был от стыда. Не от страха, что засудят, а от стыда. Потому я и гордился там тобой. Потому и сегодня ты мне друг. Потому и кричу так. А то бы, ну, выпили, ну, здравствуй, ну, прощай. Гляди-ка, я, кажется, опьянел. Сына повидал?

— Нет еще.

— Как же так?! Я -бы прямо с аэродрома кинулся.

— Так это ты.— Павел поднялся.— Не с аэродрома, а с Казанского вокзала. Больше трех суток добирался. Как видишь, не спешил.

— Что ж, и это понять можно.

— Все-то ты понимаешь, Костик. Счастливый. Нет, ты счастливый. Я пойду. Верно, надо взглянуть на сына.

— Но ты еще зайдешь? Позвонишь? Зайдешь? Мама не простит тебе, если... Закатимся на дачу, там лес, речка. Мы даже не поговорили как следует.

Чуть пошатываясь, все же пошатываясь, хотя голова была ясна и печаль, печаль жила в нем, Павел шел по узенькому коридору к выходу, сопровождаемый Костиком, которого качало, он плечами бился о стены.

В дверях снова обнялись, но вышло это по-заученному, не от порыва.

Пригудел лифт, старенький, знавший их студентами.

— А мы иногда и раньше ссорились, правда?— сказал Костик.— Но ведь мирились же. Не сердись на меня. Согласен, не удался разговор. Я не судья тебе. Прости.

Павел вошел в лифт, вскинул руку, прощаясь, захлопнул дверцу, нажал на кнопку, низвергаясь от друга. Он еще успел услышать громко произнесенные Костиком слова:

— Съехал бы от этого Петра Григорьевича! Ведь пустая ж у меня квартира до конца лета!..

## 5

Он решил к сыну сегодня не идти. Обезволил его этот разговор с Костиком, да и пьяноватым себя почувство-

вал, очутившись на улице. Решил просто так побродить по Москве, никакими вообще делами не занимаясь. Нелепый разговор, можно было бы усмехнуться да и забыть его. Прописные истины твердил Костик. Красть — стыдно, честно жить — хорошо. Но в жизни как-то все наоборот получается. Одни живут, другие прозябают. Вот прозябать стыдно, а хорошо жить — вот это хорошо.

Перемен за пять лет в Москве было много. На каждом шагу что-то да примечалось. Особенно переменялись женщины, втиснувшие свои бедра в узенькие брючки, откровенничающие собой. И даже те, что были в юбках, как-то так научились одеваться, так ярко, с вызовом, что и они, казалось, все время кого-то окликали. Но, возможно, это ему только мерещится, на водке ведь глаза. Женщины смотрели на него, задерживая взгляд, прочитывали его. Вот про такой знойный денек в Москве, когда бесцельно куда-то идешь, когда отлично одет, когда женщины поглядывают на тебя мимоходом, даже строго, но ты-то знаешь, что это не так, что ты им интересен, много раз мечталось Павлу, особенно там, под палящим зноем кара-калинских выжженных холмов, когда миражило вокруг, пестрые круги плыли в глазах, а слух сторожил сухое шуршание — предвѣстие змеиногo пополза.

Павел вышел к рослому Гоголю в конце бульвара, поглядел на площадь, которую взломали туннели, привычно, как всякий истинный москвич, попадающий в эти места, посочувствовал переменявшемуся в лице Гоголю и переменявшейся в лице площади и, не ведая зачем, направился к станции метро, вошел в прохладный вестибюль, спустился по эскалатору, заученно одолел переход, не выбирая, вошел в вагон того поезда, который как раз подоспел, покотил, не зная куда и зачем. Одна станция, другая, вдруг взял и вышел, поднялся по эскалатору, выбрался наверх, огляделся, узнавая эти места. Он очутился у выхода станции «Красные ворота». Перед ним машинно гудело Садовое кольцо. Он двинулся к этому гулу, к непрерывной ленте машин, к завораживающему этому движению, у которого к тому же был свой запах, будто эта лента была живым существом, ну, громадной, нескончаемой змеей. Этот запах поманил, напомнил, чем-то обрадовал, хотя пахло удушливо машинной гарью и перегретым асфальтом. Снова двинулся вперед, идя даже не куда глаза глядят, а куда ноги повели. Очутился на Садовом кольце, на правой стороне, если идти в сторону Курского

вокзала. Здесь все было затвержено, знакомо ему, так привычно, что и через пять лет не отвлекло внимания на стены домов, все тех же, все таких же, и не думалось, куда он идет, он просто шел, ноги вели, он мог тут пройти и с закрытыми глазами.

Так подошел Павел Шорохов к перекрестку, где Садовое кольцо пересекалось улицей Чернышевского и где вдруг оборвалась знакомая череда стен. Он остановился, недоумевая, куда забрел. И вообще, почему он здесь? Пригляделся: за незнакомым обширным пространством, где раньше тянулись ветхие магазинчики, один из которых по сю пору именовался по имени купца-владельца «Соловей», и где теперь белоснежно красовался в глубине кинотеатр «Новороссийск», так вот, совсем рядом с этим новожителем, через улицу, где робко возвышалась окликнувшая сердце колоколенка, встав плечом к этой колоколенке, открылся Павлу его родной дом. От рождения и до того дня, когда пришли за ним и усадили в машину, похожую на небольшой продовольственный фургон, но только с зарешеченным окном в двери, прожил Павел в этом доме. Вот куда завели его ноги. Не думая прибрел. Он даже взмок от неожиданности, нельзя утром пить, заикался не пить. Что ж, он пересек улицу с угловым под колокольной продуктовым магазином, захудалым, но очень популярным среди «солнцепоклонников», коллективистов этих «на трюх», торопливо проскочил мимо входа, мимо витринных окон, потому что все работавшие в магазине его знали и могли узнать, он был для них когда-то знатным соседом, директором гастронома, не чета этому, и очутился под сенью торцовой стены родного дома. Пять лет назад высоченная эта стена ничем не была украшена, как бы обрывалась кирпично, напоминая, где громадный дом, еще сталинской поры красавец, с этой стороны не достроен, — кто-то все же тогда не решился снести скромную колоколенку, чтобы дать дому окончательный простор. Теперь торец был укрыт громадным рисунком летящего самолета, флагмана Ил-62, и, пожалуй, дом нашел в этом самолете завершение, обрел для себя предполетную устремленность. Теперь, наверное, мальчишки, жившие в этом доме, назывались не «армянами» — в честь магазина «Армения», когда-то, очень давно, разместившегося в первом этаже, потом там был магазин «Молдавия», потом просто винно-овощной, а звались, может быть, «летунами», «крылатиками» или еще как-нибудь, за мальчишек

не сообразишь. Сын! Он каждую секунду мог выскочить из арки на Садовое кольцо, каждую секунду могла произойти их встреча, к которой Павел Шорохов не был готов. Взмокший, пьяноватый, даром что в новом костюме, без разлета он был. И с кем-нибудь еще могла случиться сейчас встреча, все равно с кем, все равно некстати. Павел повернулся было, чтобы уйти. Как раз и светофор на той стороне кольца засветился зеленым, толпа пошла по переходу на ту сторону, ничего не стоило нырнуть в толпу. Нет, а ноги вели в арку, ступили на бугристый, наплывами и с выбоинами асфальт, всегда такой, где много проезжает грузовых машин. В «Армению», а потом в «Молдавию», а потом в вино-фруктово-овощной, где, кстати, какое-то время директорствовал Петр Григорьевич, с которым тогда и познакомился, в магазины эти часто прикатывали громадные фургоны-рефрижераторы со всех виноградно-винных концов страны. Проехал здесь и тот фургончик, на котором увезли Павла пять лет назад.

Вот он, двор, самый обыкновенный для всех. Но только не для него. Да и не очень-то и обыкновенный, если знать историю этих мест. А Павел знал. Тут когда-то было архимандритское кладбище, тут, на этой когда-то московской окраине, на пяточке, приткнувшемся к Земляному валу, с незапамятных времен хоронили лиц духовного звания. Потому-то и колокольня тут стояла с пустой ныне звонницей, ставшей прибежищем для голубей. Павел еще помнил во дворе два деревянных флигеля, где доживали свой век дряхлые попы с попадьями. Один флигель обезлюдел и его снесли, один еще должен был стоять под сенью нескольких столь редких в Москве каштанов. Но там уже жили люди не духовного звания, а народец шумный, пришлый, мелькающий — кто въезжал, кто съезжал. Бывшее кладбище давно было затеснено большими домами, но двор, но этот флигель под каштанами и еще высокий, какие ныне не строят, двухэтажный дом посреди двора и в окружении вековых лип — все это было его миром, от самого рождения его, Павла, миром, полным значения, местом историческим, отчасти загадочным. Кладбище, без крестов и надгробий, но все же кладбище. Древние липы, цветущие в мае сиреневыми свечами каштаны. А сколько тут всяких было проходов, потаенных мест, лазов в подвалы. Теперь всем этим владел его сын. Это был не безопасный двор. Алкари в подъездах их дома привыкли рас-

пивать свою водяру и «бормотуху». Смешной народ, раз винные магазины тут, то, стало быть, и вся окрестность переходит во владение обладателей бутылки. Впрочем, «своих», живущих здесь, они не трогали. Но случались драки, забредали сюда пьяные женщины, орошалась эта кладбищенская земля то вином, а то и кровью. Парни, вырастая тут, с малолетства учились постоять за себя. Нужная наука, но только сжалось за сына сердце, когда вступил Павел в эти родные пределы. Без отца, без старшего брата трудно тут было расти пареньку.

Он пересек двор, спиной повернувшись к своему подъезду, прошел мимо двухэтажного дома, получившего к Олимпиаде новую, посверкивающую цинком крышу, отчего дом почему-то проиграл, как бы осел под нарядной шляпой, вышел к каштанам. Они были на месте, кое-где еще доцветали свечи. На месте каштаны! Это было доброй приметой. А флигеля за деревьями не было — снесли его, заровняли площадку, вывесив на кирпичной глухой стене объявление, запрещающее прогуливать собак. Как раз тут-то, когда в детстве была у него собака, Павел и спускал свою собачку с поводка. Теперь тут чахлая зеленела травка и собакам сюда было нельзя. Но какой-то мальчик, худой, вытянувшийся, в завидно по нынешней моде затертых джинсах, в коротковатой ему майке, все же выгуливал именно здесь своего щенка, обучал его чему-то, что положено знать эрделю. Пожалуй, рановато начал учить — у песика еще даже в лапах устойчивости не было. Но порода была видна, замечательной золотистой масти был щенок, широкогрудый, высоко держал голову, не вилял, не мотал без нужды обрубок хвоста. Отличный пес. Мальчик учил его, кидая от себя палку, досадовал, что щенок не понимает задачи, снова кидал, то приближаясь, то удаляясь от Павла. Раз-другой взглянул на него. И вдруг быстро подошел к Павлу, спросил:

— Вы мой папа?

Вот когда начинаешь платить. Родного сына не узнал. А родной сын, хоть и узнал, спросил, как чужого: «Вы мой папа?» Вот когда начинаешь платить сверх того, что уже заплачено, когда сил больше нет, никаких больше нет сил.

— Я твой папа,— сказал Павел, заставляя себя улыбнуться.— А я смотрю, Сережа мой. Здравствуй, Сережа.— Достать бы платок, вытереть бы взмокшее лицо. Нельзя. Он шагнул к мальчику, положил ладони на его худенькие

плечи — ничего драгоценнее никогда не знали его руки. — Здравствуй, сынок.

Мальчик чуть отстранился от него, от слишком горячо вырвавшихся слов. Не от водки ли, которой дохнул?

— Здравствуйте.

А щенок тянулся к Павлу, скреб мягкими лапами по ноге, встречал, как родного.

— Замечательная собака у тебя.

— Да, у него в родословной все с золотыми медалями — и по отцу и по матери. — Сережа отодвинулся, высвобождая плечи из рук отца.

— Как ты узнал меня? — спросил Павел.

— Как же не узнать? Говорят, мы очень похожи. Я у матери фотографию вашу взял. Ей зачем, а мне...

— А тебе?

— Вас сколько не было?

— Пять лет.

Щенок лизал Павлу руку, потом вспомнил о хозяине, прыгнул, нацеливаясь лизнуть его в лицо, но не достал.

— Теперь вы насовсем вернулись?

— Насовсем, Сергей, ты говори мне «ты». Условились?

— Хорошо. Я своего отчима отцом никогда не называл.

— Я твой отец. Ну, так случилось, так у меня вышло, я...

— Я знаю. Мать рассказывала.

Щенок вдруг сел, упершись твердым обрубком в землю, и принялся лаять, недоумевая, сердясь.

— По-настоящему лает! Прорезался лай! — обрадовался Сергей.

— Это он на нас. Давай хоть обнимемся...

— Давайте. Давай.

Они обнялись. Павел поднял сына, поцеловал в угретый солнцем затылок, по-звериному втягивая в себя родной запах, запах своего детеныша. Вот когда начинаешь платить. Судили, приговаривали, всякую боль сносил — не было слез, а сейчас испугался, напрягся, чтобы не пустить к глазам слезы, загнать их назад, в горло.

А щенок прыгал возле них, радовался и лаял, лаял, счастливый, что вот прорезался у него этот замечательный звук, сильный и звонкий.

— Сынок, — твердил Павел, — сынок!

Безлюдный двор — летом все ребята кто где, а с ними и все бабушки и дедушки — все же множеством глаз на-

блюдал за этой встречей отца с сыном. Много свидетелей набралось. И из окон двухэтажного дома смотрели, и из дверей во двор магазинов, с балкончиков во двор дома Шороховых, даже из кабин разгружающихся грузовиков. Вернулся Павел Шорохов. Отбыл свое. Пришел на сына взглянуть. Ну, а дома у него нет. Жена не дождалась. Она и не ждала, сразу выскочила за другого. Что-то теперь будет? И уже звонили Зинаиде соседки, те, кто знал ее рабочий телефон, вернулся, мол, с сыном твоим обнимается посреди двора. А оглянись, как это сделал Павел, никого во всем дворе, кроме него с сыном, безлюден двор. Но все же он почувствовал эти взгляды, эти шорохи, поползы, и он еще раз поцеловал сына в затылок, чтобы все знали. Потом они пошли через двор, и мальчик плечом касался руки отца, а щенок кружил, путался у них в ногах и был счастлив.

— Мать на работе?

— Да.

— А этот...

— Тоже.

— Скажи матери, что я дня через два позвоню ей, что мне надо с ней кое-что обсудить. Как ты щенка назвал?

— Тимкой.

— И у меня был Тимка.

— Я знаю. Фокс.

— А ты почему взял эрделя? Знаешь, каким он вымахает?

— С фоксом надо ходить на охоту. Ты же не ходил, и я не охотник. Эрдель сторожевая собака, друг.

— Правильно выбрал. Очень умная порода. Он и сейчас не дурак, а?

Сережа улыбнулся. В первый раз. В том зеркале, в котором стирал себя ластиком, чтобы вспомнить сына, сын его так улыбаться не умел, не получалось у Павла с улыбкой в том зеркале. А улыбался сын хорошо, но скупое, скупое. Вот когда начинаешь платить!

## 6

Все, хватит на сегодня. Больше никаких встреч, никаких разговоров. Предложи ему сейчас кто-нибудь из этих, из «солнцепоклонников», распить «на троих» или лучше на «двоих», он бы согласился. Но не предложат, не дога-

даются, что этот нарядный господин, прямой, ходко шагающий, что он почти с ними, почти ихний. Помня, что узнан, Павел круто свернул в противоположную от магазина сторону, пошел к Курскому. Вот уж кого-нибудь из магазинщиков он бы никак не хотел встретить. Пожалуй, лучше всего было вернуться к Петру Григорьевичу, к умирающему этому человеку, которому он был нужен и который ему был нужен. Но ни о чем не говорить. Сидеть рядом и молчать. Худо одному, худо другому. Веселые — к веселым, бедолаги — к бедолагам. Человечество делится на удачливых и неудачников. Только так. Все прочие деления от головы, придуманы шибко умными, но одни шибко умные среди удачников, а другие среди неудачников. Вот потому и разные у них теории. Одни хотят сохранить, другие хотят отнять. И вся наука, все там Гегели и Ницше, утописты и социалисты. Все проще простого, не выдумывайте. Не удержался в удачниках — лети к неудачникам, а там уж как угодно исхитряйся, чтобы вернуться назад, в счастливые края, к кисельным берегам. Совесть, честность, про русскую интеллигенцию разговоры — это все слова. Родного сына не узнал — вот это настоящее. И то, что он, сын, с тобой, как с чужим, заговорил — вот это беда, горе, неудача всей жизни. Любой ценой, любой ценой!.. А что он может? Куда идти? С чего начать?

Павел поднял руку, ловя такси. Зеленые огоньки проскакивали мимо него, будто угадывая, что он из племени неудачников. Наконец сжалился один частник, хмурый, небритый владелец старого «Москвича», грязно-красно-бежевого. По седоку и карета.

— Куда?

— В Медведково.

— Не пойдет.

— Червонец.

— Ну, садись.

Всю долгую дорогу проехали молча. Только уже в Медведкове процедил Павел адрес, и только тормозя, сказал ему небритый, читая в душе:

— Не горюй, парень, образуется.

Лена встретила в дверях. Всмотрелась в него, распахнув глаза, чуть принюхалась, но ничего не сказала, не стала укорять, не стала спрашивать, хотя ей известны были его планы — сперва новый костюм, потом к другу, потом к сыну.



— Каков наряд?— спросил Павел, выжимая улыбку.

— Артист, прямо артист,— сказала Лена.

— Всемогущая штука деньги.

— Верно, кто этого не знает. Вам кофеек сварить или чай?

— Чай. Крепкий. Самый крепкий. Сейчас бы зеленого чая, нацедить бы его из чайника в пиалу и без сахара, сахар не полагается. Совсем светленький чаек, а горчит, все в тебе промывает. Можно к Петру Григорьевичу?

— Заходите. Но только на минуточку.

— Я рассказывать ничего не буду, посижу, помолчу.

— Ну-ну.

Петр Григорьевич встретил слабо дернувшимися губами — это он улыбнулся.

— Слышал, про гок-чай толковал. Целебный напиток, верно. Надо будет сказать Тамаре, чтобы раздобыла. Попью и я с тобой.

— Самым лучшим номером считается сороковой. Да где в Москве его достать, он весь в Средней Азии оседает.

— Достанет. Если надо будет, в Ташкент позвонит, в Бухару. Вот только до господа бога никак не дозвонюсь. Не хочешь рассказывать?

— Не хочу.

— Помолчим тогда.

— Помолчим.

И стали молчать. Павел сел на стул в ногах, уставился в стенку, выбрав пустое место, где не было фотографий, мебели, картин, ковров. Узенькая полоска всего и отыскалась, полоска дорогих, под штоф, обоев, тоже, как и костюм, из маленькой, трудолюбивой Финляндии. А Петр Григорьевич лежал с закрытыми глазами.

— Ты не рассказывай, ты только скажи, магазинчик мой в твоём доме ещё действует?

Павел кивнул.

— Захудалый вид?

Павел кивнул.

— А мы тогда с тобой молодыми были, когда познакомились.

Павел кивнул.

— Пер ты тогда в гору, все мог, все смел. Я думал даже остеречь тебя. Да разве остережешь нас, таких? Пока сами лбом не стукнемся. Вот тогда...

Павел кивнул.

Вошла Лена, неся на подносе две чашки с чаем.

— И для вас прихватила, Петр Григорьевич. Вы, как маленький, если другой пьет или ест, и вам того же.— Она поставила поднос, стала осторожно приподнимать Петра Григорьевича, подсовывая ему под спину подушки.

— Мы все, как маленькие, а к старости и недавно.— Приподнимаясь, доверяясь рукам сестры, Петр Григорьевич вслушивался в себя, в свою боль в теле, надеясь, все надеясь, что где-то там, в нем, чуть отпустило, иначе болит, не столь грозно, что лучше ему становится. Он вползал спиной на подушки, будто трудную гору брал, и рад был, что вот берет, одолел.— Тащи и для себя, Лена, чашку, втроем помолчим,— отдышавшись, довольный собой, сказал Петр Григорьевич.

— Хорошо,— Лена поглядела, как он начал пить, похвалила, покивав, и вышла.

— Только ты ушел, мне позвонил Митрич,— сказал Павлу Петр Григорьевич, все вслушиваясь в себя, в свой голос, как он звучит, когда сел в постели, когда глотнул чаю.— Что-то ему еще нужно от меня. Я велел найти тебе работу. Он обещал. «Все сделаю! Все сделаю!» — передразнивая вдруг тоненьким голоском, повторил ответ Митрича Петр Григорьевич.— Ты подъезжай к нему. Он трусит, а с ним, с таким, только и можно дело делать. Трусит, по голосу понял. Испугался, что ты вернулся, или чего другого? Нагрень к нему сегодня же.

Вернулась Лена с чашкой, села в углу у окна, потом пересела, сообразив, что сидит на самом виду у Павла. Она успела, Павел заметил, причесаться, как-то по-иному, потуже перепоясала халат, от чая ожили ее губы. Она поменялась, похорошела, а ведь чуть дотронулась до себя.

— Молодой в дом вошел, и все ожило,— сказал Петр Григорьевич, нарочно не глядя на вскинувшуюся Лену.— Ты нас не бросай, Паша. Перетерпи мои стоны. Ты нам нужен, от тебя сила исходит.

— Сила...— Павел озяб от своих мыслей или ему холодно стало после Туркмении, он ладонями грел плечи.— Вошел во двор, вижу, мальчик с собакой играет, чужой мальчик, а это — сын. Не я его узнал, он меня узнал.

— Как ему живется?— спросила Лена.

— Плохо, уверен, что плохо. С отчимом не ладит. Не понял, ладит ли с матерью.

— Жаловался?— спросил Петр Григорьевич.

— Нет, но я понял.

— Не горюй, придумаем что-нибудь. Или еще так: придумается за нас. Бог располагает...— Он сморщился, стал сползать с подушек, Лена едва успела подхватить из его рук чашку:— Накатывает, Ленок.— Шепнул:— Уколи...

— Сейчас, сейчас! Побудьте с ним!— Она выбежала из комнаты, а Павел заступил ее место, встав у изголовья, чтобы, как и она только что, поддержать, подхватить, помочь. Но что он мог? Он сам оробел, когда дотронулся до этого сохлого тела, не узнавая, не веря, что это плечо, рука такого сильного человека, каким всегда знал Петра Котова, гонщика Котова, дельца Котова, его еще звали среди своих Петром Великим.

— Езжай, езжай к Митричу,— дергались губы Петра Григорьевича.

Вернулась Лена, неся под полотенцем шприц.

— Идите.

Павел вышел, в коридоре посмотрел на свои ладони, будто спрашивал у них, про что они узнали, коснувшись больного, есть ли надежда.

## 7

Он снова очутился на улице, снова надо было ловить такси, катить через всю Москву теперь вот к Митричу, лукавому пузану, Колобком его звали, чтобы тот, Христа ради, раздобыл ему какую-нибудь работу. Этот Митрич тогда от многого ушел, и не без помощи Павла, который мог назвать его имя на суде, а мог и не назвать. Павел не назвал, не в Митриче тогда была суть, промельком этот человек тогда был для Павла. Пусть живет, копит свои аквариумы — у него дома все стены были заставлены аквариумами с пучеглазыми золотыми, красноперыми, черными, фиолетовыми обитателями всех морей и океанов. Митрич говорил о своем увлечении: «Рыбки меня кормят, а я — рыбок».

Если Петр Григорьевич менял магазинчики, не засиживался на одном месте, то Борис Дмитриевич Мионов — Митрич, Колобок — лет двадцать работал все в одном и том же рыбном магазине. Свой метод, свою защиту он утвердил в том, что не шел ни на какие уговоры, когда его пытались выдвинуть, повысить, а работник он был знающий, про рыб знал все. Но и про людей тоже.

И не шел на уговоры, годы и годы пребывая все в той же должности заместителя директора. Директора менялись, взлетали, слетали, садились, а Колобок пребывал в неизменности. Его даже и подлавливать перестали — у него всегда все было в ажуре. Маленький человек, одна всего страстишка: рыбки. Он и в магазине завел декоративные аквариумы, чем прославил свой магазин, самый обыкновенный, впрочем, из небольших.

Вот к нему, к Колобку, и катил сейчас Павел Шорхов. Нарочно сел на заднее сиденье, чтобы не вступать с таксистом в разговор, надо было сосредоточиться. Колобок этот был из того списка, вытверженного Павлом, с кем собирался он переговорить, вернувшись, глаза в глаза. От первого разговора зависело многое. Не только в Митриче было дело. Важно было себя заявить, показать, что нет, не Христа ради просит для себя работы, что кое-кто ему обязан и не худо бы вспомнить об этом. Знал, что молва об их встрече пойдет гулять по Москве, что Митрич позвонит тому-то и тому-то, а те в свою очередь — тем-то и тем-то, нет, не самый захудалый из москвичей вернулся домой. Павел бодрил себя, сердил, будто снова встал под душ, меняя горячую на холодную, горячую на холодную, но бодрости, той, какая была утром, в себе не ощущал. Не надо было сегодня ехать к Митричу, не задался день. Но — ехал. И вот приехал.

— Здесь,— сказал он таксисту,— вон к тому «Океанчику».

— Это где аквариумы?— Таксист был не молод, и лицо такое — с усмешечкой, наверняка был коренным москвичом, все про все знающим, вот даже и про аквариумы в этом неприметном на неприметной старой улочке рыбном магазине.

— Знаете про них?

— Как же. Достопримечательность отчасти. И ваше лицо, гражданин хороший, мне припоминается.

— Тоже — достопримечательность?

— Город наш большой, а маленький. Москвича всегда могу узнать. Встречались наверняка. За рыбкой, икоркой? К Митричу? Свадьба, поминки? Я вас, если желаете, прямо к его подсобке подкачу.

— Желаю.

Машина рванулась, развернувшись, лихо вкатилась в заставленный ящиками двор, осела на тормозах у обшарпанной двери служебного входа в магазин. И сразу дверь

распахнулась, а в дверях — Колобок. Белый халат, белая шапочка, сдвинутая на ухо, круглощекий, со смешливым ртом, облысый лоб обширен, как у мыслителя.

— Встречает?— удивился таксист.— Почет! Но где же это я вас видел?

Так и укатил таксист с наморщенным думою лбом. Этот, должно быть, коллекционировал лица.

— С шиком подкатываем! Узнаем Пашу Шорохова!— Митрич пошел навстречу, блуждая маленькими зоркими глазками по сторонам.— Обнимемся?

Павел обниматься не стал, уклонился. Хотел было взглянуть Колобку в глаза, но теперь тот уклонился, бегали его глазки, всюду попевали, все замечали, но взгляд прямой Шорохова обминули.

— Нарядный. Сердитый. Чуть поддатый. Таким и ждал. Пройдем ко мне или на воздухе потолкуем?

— К тебе, рыбкой подышим.

— Прошу, прошу.— Колобок, а был он только за глаза Митричем, при взгляде же на него был он не иначе как Колобком, отворил дверь, пропуская Павла.

Еще дверь, низенькая, для низенького, и Колобок вкатился в свой крошечный кабинетик с нищим совсем письменным столиком, но зато с богатыми по стенам аквариумами, с гротами, с цветной подсветкой, с подведенными трубочками, пузырчато питающими воду кислородом. Пол в комнатке был тоже зашарканный, с истертым линолеумом. Все для страсти, ничего для себя лично. Но страсть, заметьте, не постыдная, не барское увлечение — рыбный магазин, рыбе и сердце.

— Вот, погляди, Павел Сергеевич, пять лет назад у меня этой техники тут не было. Вот, Карибское море решил воссоздать в своей подсобке.

— Потом про море. Найдется для меня место? Петр Григорьевич сказал, что ты обещал.

— Не отказываюсь. Как он?

— Еще потянет.

— А я слышал, что худ, плох.

— Еще потянет.

— Дай-то бог. Страшусь, когда такие крупные люди нас покидают. Причудливый народ. Вдруг какие-нибудь дневники после себя оставят, завещания, напутствия. Был случай, один такой целую повесть оставил. Так знаешь, следовательно потом просто зачитался этой повестью.

— Так вот что тебя страшит? Петр Григорьевич угадал, что ты чего-то трусишь.

— Он у нас — угада. Но тут он ошибся. Чего мне трусить? У меня рыбки, а они народ молчаливый. Я и людей молчаливых уважаю. Тебе, Паша, надо помочь. Ты не болтун, поможем. На арбузы, на дыни пойдешь?

— Что?

— Ну, на сезонный товар? Павильон тебе дадим, помощницу огневую. Учти, если забыл, за такую точку люди платят и платят, а тебе даром, по дружбе, как своему. Хотя, ты знаешь, я поборами вообще не занимаюсь, это я к слову. Согласен? Берешь? К концу сезона на ноги встанешь. Материально, конечно. Ну, а морально... Тут, согласен, место не из завидных. Но, Паша, материальный фактор поважнее все же морального. Ну, что уставился, что буравишь? Где я тебе с судимостью лучше место найду? Да ты глянь только, какую я тебе помощницу даю, кого дарю, слезами умываясь.— Колобок шустро выкатился из кабинета и сразу возвратился, ведя за руку рослую, яркую, нарядную-пренарядную смелоглазую женщину. Лет тридцати с небольшим, в самом торжестве зрелой красоты, молодого лета.

— О, этот мне годится!— сказала женщина. Смелость, откровенность были ее стилем. Высокая грудь вырывалась из прозрачной кофточки, из наивного плена узенького лифчика. Одна, две, три золотые цепочки змеились по стройной шее. Одна даже и замыкалась змеиной головкой. Золото было и на руках, сковывало запястья, унижало пальцы. Было и обручальное кольцо. Женщина проследила взгляд Павла, решила дать разъяснение:

— Муженька я прогнала, а кольцо ношу, чтобы не приставали разные там из робкого племени. Какие у вас роскошные шрамы! Митрич, он мне подходит. Где добывают такой загар? Правда, что вы были директором громадного гастронома?

— Веруля, не пережимай,— сказал Колобок.— Товарищ еще даже и согласия не дал с тобой работать. Так что смотри не спугни. Паша, это она от застенчивости так себя ведет. Но человек она хороший, поверь.

— Да, я человек хороший, вы ему верьте.

— И не беднячка. Но опыта нет, даже считает плохо.

— Так это ж хорошо!— усмехнулась Вера. Прощалась — шаг туда, шаг сюда — по крошечной комнатке,

шелкнула ярким ногтем по стеклу, пугая заморских рыбок.

— А они чем-то похожи на вас,— сказал Павел, не умея все же отвести глаз от этих стройных бедер, не упакованных, а вбитых в джинсы.

— Тоже во всем импортном? Но неужели я кажусь вам пучеглазой?

— Что вы, что вы.

— Досталось и ей, и Веруше нашей. А веселая такая, потому что веселость — это как визитная карточка для продавщицы сезонного товара.

— Знаток вы, Борис Дмитрич, человеческих душ. Ошибаетесь, я вообще веселая. Все при мне, а? Или не так?

— Соглашайся, Павел. Лучшего места у меня пока для тебя нет. Осенью, к зиме ближе, поглядим. Ну, доставать коньячишко? Икорку метать?

— Потом. Надо взглянуть, что за точка, где.

— Не пугайся, не в центре. Никто тебя в этих местах не узнает.

— А если и узнает, что за беда?— делаясь серьезной, спросила Вера.— Деньги человек зарабатывает, а деньги не пахнут.

— Он про это, душечка, знает. Ты с ним не взбрыкивай, как резвая кобылка, он многое знает. Сейчас, к примеру, из Туркмении прикатил, работал там змееловом. Осознаешь, змееловом! Да, да, не курортный на нем загорец. Своди Павла, покажи ваш павильон. Если сладитесь, завтра и товар начнем завозить. Поможем вам, начнете с абрикосов. Самый ходкий товар. Третий сорт хватают, как первый. И-и-и — закружитесь!

— Какой-то ты, Митрич, откровенный стал, говорливый, голосистый,— сказал Павел.

— Время откровенное. Когда это продавщицы овощных палаток в золоте ходили, а сейчас ходят. Не мелочное время. Ты чуть поотстал, Паша. Но я за тебя спокоен, за неделю-другую войдешь в курс. Счастливо! Вот телефончик мой.— Колобок порылся в нагрудном кармане и извлек оттуда визитную карточку.— Позвонишь, когда примешь решение.

— Он уже принял,— сказала Вера.— В конце концов не место красит человека...

— У тебя визитная карточка?— изумился Павел.— Ну, Колобок!

— Для подавляющего большинства я Борис Дмитриевич, — построжав, сказал Миронов. — Звони, я тут до вечера.

8

Улочки здесь разбегались по склонам холма, здесь высоко гляделось, хорошо открывалась Москва. Было время, Павел часто бывал тут, вот по этой тополиной улице проходил вон к тому, из красного кирпича, трехэтажному дому, где жила очень славная женщина. Там ли все еще живет? А вдруг придет к нему за арбузом, узнает, всплеснет руками: «Ты?! Не может быть?!» Она всегда так всплескивала руками, когда он появлялся. Телефона у нее не было, появлялся он внезапно, без уговора, чаще всего уже вечером, частенько пьяноватый. Она была рада ему, всплескивала руками: «Ты?! Не может быть?!»

Старые тополя, меньше их стало, но все же стерегли еще улицу, тишину в ней. Не думал, не гадал, что окажется здесь в качестве продавца во фруктовой палатке. Вон он, павильон этот, из пластмассы и стекла сооружение, сменившее фанерную маленькую палатку, в которой и раньше продавались фрукты и овощи, где, вспомнилось, купил он однажды килограмм очень вкусных, черных, сочащихся слив. Он вспомнил, как она ела эти сливы, сок стекал у нее по подбородку, оранжевые капельки ползли по шее. Они стояли вон у того окна, и он целовал ее, пахнущую сливой. Дом капитально отремонтировали, в окнах были новые рамы, современные, откровенные, без купеческого ужима. Когда так переделывают лик дома, жильцов куда-нибудь да переселяют. И теперь нет этой женщины здесь, и хорошо, что нет. Наверное, давно замужем, нарожала детей. Давно это было, а все вспомнилось, даже сливы вспомнились, их вкус на губах. Сколько же он понаделал ошибок в жизни! Надо было остаться в этом кирпичном, надежном доме, в этой тополиной мирной тишине, он мог тогда остаться, и тогда бы по-другому сложилась его судьба. Пойдешь направо — коня потеряешь, пойдешь налево...

Сейчас он шел, ведомый, как на поводке, вслед за бедрастой, стройной женщиной, которая все время демонстрировала ему себя, плела, плела паутинку, хорошо зная эту науку.



— Вы о чем все думаете?— спросила Вера.— Не пугайтесь, тут славное местечко. Тишина, и люди кроткие. Тут совсем еще уцелелая Москва.

— Вы не здесь ли где-нибудь живете?

— Здесь. Недавно выменялась. Вот в этом красном доме и живу.

— Господи!— вырвалось у Павла.

— А вы не пугайтесь, там внутри хорошо. Дом после капиталки. Я жила в семье мужа, ну, разменялись. Здесь у меня вполне отличная однокомнатная квартира. Не престижный район? Это как сказать, как поглядеть. Вон они у меня где, эти престижи.— Вера попилила ребром ладони по горлу. Взметнулись ее золотые цепочки, головка змейки легла на плечо. Павел скинул к себе на ладонь эту головку, всмотрелся. —

— Кобра. Раздулась. Обозлил ее кто-то. Еще миг — и она кинется.

— Неужто вы были змееловом? Какой вы занятный все-таки парень. Битый, но прочный.

— А почему вы развелись?— спросил Павел.

— Могла бы и не отвечать, но у нас сейчас пойдет все на откровенность, в один, так сказать, ящик. Развелась, потому что кончилась любовь. Это же надо, всю жизнь жестикулировать с нелюбимым мужиком! Кормить его, стирать на него, выслушивать его глупости, подлаживаться к его мамаше. Откровенно говоря, я ему просто стала изменять. Представьте, а он мне. Плюгавенький, а нате вам. Так чего же ради, спрошу я вас? Расплевались, разменялись — свобода!

— Вы чего-то не договариваете.

— Правильно. Еще договорю, будет минутка. Вот наш дворец. Любуйтеся. Новенький, красивенький. А на каком месте стоит — три улицы к нему подбегают. Как, Павел, начнем завтра, попробуем?— Она взяла его руку, сжала в горячих пальцах, подвела к двери, выхватила из кармашка ключи, вручила.— Пашенька, отворяй!

Он покорился, отомкнул один замок, другой, распахнул дверь, шагнул в пластмассовую сладкую духоту. Там, за дверью, Вера вдруг прижалась к нему, упругая и мягкая.

— Я тебе буду верной!— шепнула и отпрянула от него, будто это он к ней прижался.

— Хорошо,— охрипшим голосом сказал Павел.— Звони Колобку, согласен.

— Пойдем ко мне, от меня позвоним.

— Хорошо, пойдем к тебе. Согласен.

Та женщина жила на втором этаже, и когда Павел шел за Верой, он одного только боялся — что она остановится на лестничной площадке второго этажа. Нет, пошла дальше по лестнице, поманила чуть шевелящимися яркими ноготками. Отлегло! А, собственно, чего испугался? Да хоть бы в той же комнате. Ну, совпадение. Вот совпадения и испугался. Не складывалась та жизнь с этой, цвет был иной — у той жизни и у этой, хотя эта женщина, что смело поднималась по ступенькам, была ярче, красивее, пожалуй, что и желаннее, чем та. Но там было все честным, он и сам был тогда честным, ну, как бы всегда умытым, а сейчас он входил в удушливую муть, в неправду, в сладкую пластмассовую духоту. Он знал, все будет, сразу все будет, он хотел этого, его влекло к этой женщине, из лучших, какие когда-либо ему доставались, из худших, какие когда-либо ему доставались. Он понимал, что идет на сделку. Он знал, как это делается, это входило в их науку, в ту всеобщность и денег и тел, что хоть как-то гарантировало надежность, крепило круговую поруку. Сама догадалась или научили? Что за женщина? Через что прошла? Откровенничая, она не договаривала. Но как она шла, как она шла, как обещала себя, совсем скоро, сразу, немедленно. Путались мысли, к чертям летели все мысли, все остережения опыта, он был молод, он оголодал среди змей, в добродетельном том захолустье, он был готов, оплетен.

И здесь она вручила ему ключи, мол, отворяй, привыкай. У него тряслись пальцы, когда он шелкал замками. А она все строже становилась, будто отрешалась, в себя заглядывала. Он знал, так женщина принимает решение. Конец игре, решилась.

Вошли. Из крохотной прихожей она ввела его в большую комнату с высоким потолком — как ни перестраивали этот дом, а он все же сберег свою купеческую размахливость. Новенькие рамы были вставлены в толстые стены, мраморные сбереглись подоконники.

Павел подошел к окну, закурил, злясь, что трясутся пальцы. Он думал о женщине, которая сразу же ушла в ванную, злые, скверные находя для нее слова, а сам прислушивался, как, прерываясь, шумит душ, прикидывал, как движется сильное тело женщины, скоро ли она выйдет.

Вышла. В халатике выше колен, круглых, желанных. Встала этими коленями на край широкой тахты, достала белье, начала застилать, старательно разравнивая простыню. И следила еще, чтобы не очень открыл ее халат, засовестилась вот.

Он знал, все у них сейчас будет, все, но эта минута, когда она стелила постель, встав коленями на край тахты, такая домашняя, сосредоточившаяся, чтобы хорошо легла простыня, рождала между ними главную близость, доверчивую близость, а там, потом, через мгновение, все смешается, запутается, обезмыслит их, начнет лгать, выдумывать слова, сомкнет их и разомкнет еще более чужими.

— Иди.

Он рванулся к ней, теряя себя.

А потом, до звона в ушах пустой, лежа рядом, дивясь колотящемуся сердцу, этому высокому потолку дивясь — отвык от высокого потолка, — куря с ней от одной сигареты, так она настояла, слыша и ее колотящееся сердце за мягким, упругим и мягким, слившимся с ним телом, Павел вдруг вспомнил ту, этажом ниже, из той жизни, из высокой.

— Ты опять о чем-то думаешь, — шепнула она.

— А как же не думать.

— Разве я плоха для тебя?

— Ты — чудо.

— Правда? — Она прилегла на него, разнялись ее губы, теперь без краски, но все равно вишневые, нет, сливовые.

— Правда.

— Ты мой, мой, мой теперь, — сказала она.

«Мой! Мой! Мой!» — это был ее вскрик, ее всхлип, когда нагрянуло безмыслие. Она цеплялась за это слово и теперь.

— Что у тебя стряслось? — спросил Павел.

— Не думай, я не с каждым так.

— Я так не думаю.

— О, я могу и заледенеть! Но если уж да, то зачем тянуть?

— Верно, зачем?

— Обними меня... Мой... Мой... Мой... Ох, какой ты мой!..

Был день, когда он вошел сюда, наступила ночь, когда он спохватился.

— А ведь мне надо идти, Вера. Я обещал Петру Григорьевичу ночевать у него.

— Я знаю твоего Петра Григорьевича. Сильный был мужик, не совсем еще старый. Неужели ему конец?

— Я пойду. До завтра.

— Ну, иди. От живого к мертвому. До завтра.

Она проводила его, кутаясь в халатик, который ничего не умел утаить в ней.<sup>1</sup>

Вернуться? Остаться? Чуть было не остался. Нет, будто его кто окликнул, позвал, поторопил даже. Он сбежал по лестнице, выскочил на ночную и днем-то пустынную улицу и сразу натолкнулся глазами на зеленый огонек такси. Кто-то приехал, хлопнула дверца. Удача! Он вскочил в такси, не спрашивая у таксиста разрешения.

— Десятка. В Медведково!

## 9

Дверь в квартиру была не заперта, а Павел боялся — всю дорогу об этом думал, — что придется звонить, что потревожит Петра Григорьевича. Дверь была не заперта, лишь притворена, яркий свет выбивался из-за двери. Павел вошел. В коридор сразу вышла Лена, остро и хмуро взглянула на него.

— Где пропадали? Он вас спрашивал!

В коридоре стоял какой-то плотный коротконогий мужчина с копной седых в черноту волос. Он по-докторски крепко потирал руки, белый халат был всего лишь накинут на его сильные плечи. Он к чему-то готовился, маленькую взяв себе передышку перед броском туда, в комнату Петра Григорьевича.

— Что с ним? — спросил Павел, подходя к этому человеку в накинутом халате. Он не задал своего вопроса Лене, чтобы не встретиться с ее хмурыми глазами.

Коренастый не ответил, только развел сильные волосатые руки, признаваясь в своем бессилии.

— Он кончается, — шепнули губы Лены. Она шла за Павлом, все всматриваясь в него, виня его.

— Неужели ничего нельзя сделать? — спросил Павел шепотом у врача.

— Он опоздал с операцией года на полтора-два. Да и не уверен, помогла бы операция.

— Помогла бы! — горячо выдохнула Лена.

— Не уверен, не уверен. Саркома...

Павел не знал всего страшного смысла этого слова, но он знал, что это одно из самых страшных на свете слов, возвещающее мучительную смерть, неизбежную, как после укуса гюрзы, если прошло минут пять-шесть, а ты ничего не успел для себя сделать, потому что один, в песках, потому что тебе не добраться ножом до ранки, не располосовать себя, не отсосать яд, и кровь скоро станет в тебе застывать, схватываться, как алебастр.

Отворилась дверь, и в коридор вышел давешний румяный и рослый профессор. Беспечальным было его лицо: привык к страданиям, врут, видно, те, кто утверждает, что врачи чувствительны, они, скорее, профессионально бесчувственны, чтобы каждый день, каждый день — вот так вот.

— Ваш черед, коллега,— поклонился профессор коренастому, дотрагиваясь до него рукой, как бы передал эстафетную палочку.

— Иду! Лена, вы мне нужны.— Коренастый нырнул в комнату больного, откуда вырвался короткий, оборванный, схваченный, зажатый стон.

— Так зачем же тогда все?— спросил Павел у профессора, когда они остались вдвоем.

— Что — все?— профессор взглянул на карманные часы; прикованные к старинной золотой цепочке, и утрастился позднему времени.

— Эти вот заморские лекарства, консилиумы, вы сами? Если саркома, если время для операции упущено, если и операция бы не помогла, так зачем все это?

— Молодой человек, а ведь все очень просто. Наш долг, врачей и родных, близких, сражаться за жизнь больного до конца.

— Не пойму.

— А вы что предлагаете?

— Не пойму. Был сильный человек, умный, дерзкий, гонял на мотоциклах, рисковал, по-всякому рисковал, жил — и вот нагрянула эта саркома. Что ж, это как выстрел в спину, как укус змеи. Чего тянуть?

— Существуют и такие теории, чтобы не тянуть. Я лично за то, чтобы тянуть. Большинство медиков во всем мире разделяют мое мнение. Впрочем, теперь уже скоро. К утру... С рассветом... Вы кто ему?

— Никто.

— Тогда поторопитесь уладить с ним свои дела. Тут

уже побывали некоторые. Толпились, как перед спальной отходящего монарха. Кем он, собственно, был, наш высокочтимый Петр Григорьевич? Всего лишь директором магазинчика?!— Профессор, надевая плащ, неумело возился с рукавами. Он повернулся спиной к Павлу, расчитывая, что тот ему поможет, но тот ему не помог.

— Был?.. Он еще живой!

— Вот видите, еще живой. Еще! Позвольте откланяться.

Снова прорвался из-за двери короткий, схваченный, скомканный стон, не стон, а крик, которому не дали воли. Павел сжался от этого крика, от этого великого усилия человека остаться человеком.

Рыдая, зажимая лицо руками, валко вышла в коридор Тамара Ивановна.

— Идите к нему! Вы ему зачем-то нужны! Господи, все дела, дела! Будь они прокляты!

Пошире отворилась дверь, Лена из глубины комнаты махала Павлу рукой, зовя. Павел толкнул себя в эту дверь, в этот сочащийся лекарствами полумрак. Лампы были зажжены, но их укутали поверх абажуров марлей, и потому в комнате плыл туман, как на рассвете, на берегу широкой реки. А в окне чернела ночь.

Коренастый врач, уже сделавший что-то свое для больного, сейчас, на прощание, высчитывал его пульс, кивая довольно шевелящемуся на губах счету.

— Ночь пройдет спокойно,— сказал он, поднялся и торпливо пошел из комнаты.— Спокойно!— громко повторил он в коридоре уже для Тамары Ивановны.

Лена, отойдя к окну, где Петр Григорьевич, даже если б и открыл глаза, не смог ее увидеть, отрицательно покачала головой, когда Павел посмотрел на нее.

— Нет!— беззвучно сказали ее губы.

Павел подошел к ней.

— Он кончается... Ему что-то надо сказать вам... Подойдите к нему, наклонитесь...

Павел двинулся к Петру Григорьевичу, шел, ступая на кончики пальцев, не зная, должен ли заговорить первым, страхась заглянуть в это строгое лицо с ужатым мучительно ртом. Он наклонился над Петром Григорьевичем, как велела Лена. Это был не отец ему, даже не друг. Он уважал его за ум, за волю, за силу, за смелость. Даже умирал этот человек, не пуская себя в крик, хотя его грызла, пожирала боль. Этот человек был тем-

ным дельцом, он так распорядился своей жизнью, так ее прожил, а не иначе. Может быть, он и извелся от такой жизни, от сделанного выбора? Может быть, потому и саркома его ухватила? Он умирал, никакой доброй не оставляя по себе памяти. Он умирал, ничего не находя для себя в утешение, даже сына не сумел воспитать, отбил-ся сын от рук. Вот когда начинаешь платить!

Петр Григорьевич смотрел на Павла, из-под век мерцал его уходящий взгляд.

— Тетрадь...— произнес он невнятно, едва угадывалось слово.— Лена...— позвал он беззвучно.

Она услышала, подбежала, наклонилась. Петр Григорьевич едва приметно шевельнул плечом, но она догадалась, подсунула руку под подушки, извлекла оттуда толстую, потрепанную школьную тетрадь в клеенчатом переплете.

— Возьми... Ты поймешь...— Петр Григорьевич еще какое-то сказал слово, но уж совсем невнятно для Павла.

— Он сказал: «расшифруй»,— перевела Лена и передала тетрадь Павлу, вслушиваясь в шепот-бормотание умирающего.— Он сказал: «никому...» Он велит вам наклониться к нему, хочет что-то сказать только вам.

Павел наклонился, а Лена отошла к окну.

Зашевелились губы Петра Григорьевича, невнятное дуновение слов коснулось Павла:

— Сына жаль... Жену... Деньги ничего не решают... Обман...— Он устал, смертельно устал, он отпустил себя. Он сказал напоследок, но Павел не сумел понять, что. Короткое что-то: «Будь... Бить...» Павел не понял. Но он понял, что сейчас все оборвется, кончится человеческая жизнь. Вот сейчас! Он громко позвал:

— Тамара!

Она вбежала, наклонилась, оседая на пол.

— Петенька!

Кажется, он ей успел улыбнуться, в улыбке дрогнули его измученные губы.

Пряча тетрадь под пиджак, Павел помнил, что ее надо спрятать, он вышел в коридор. Там курил коренастый доктор в небрежно накинутом на плечи халате. Вместе с Павлом из комнаты в коридор вырвалось громкое рыдание женщины.

— Вот и все,— сказал доктор, старательно, медленно гася сигарету о край пепельницы, которую держал в волосатых сильных руках.

— А вы говорили, что ночь пройдет спокойно,— не навидя этого волосатого человека, его спокойствие, сказал Павел.

— Так легче уходить,— сказал врач.

— Вам?!

— Ему. Да не цепляйтесь вы. Лучше пойдите и что-нибудь выпейте, если он был вам дорог.

Доктор кончил крутить окурки, поставил пепельницу на полку, построжал, все же одернул на себе халат и вошел в комнату к Петру Григорьевичу, чтобы установить факт его смерти.

Павел остался в коридоре один. Теперь он мог понадежнее спрятать тетрадь Петра Григорьевича. Он знал, обучен был, и на воле и в неволе, что если велют прятать, то надо делать это незамедлительно. Павел быстро вошел в комнату, где стоял мотоцикл, этот вот осиротевший тигр, которого теперь продадут, сунут в чужие руки и который, кажется, уже догадался о своей печальной участи, сам переставая быть живым, остро запахнув мертвым бензином, мертвой смазкой. Павел добыл из-под койки свой чемоданчик, раскрыл его и положил под пачки десяток, под скомканное грязное белье и еще какое-то свое барахлишко только что завещанную ему клеенчатую тетрадь. Что в ней? Что предстояло ему расшифровать? Павел захлопнул чемоданчик, закрыл на ключи, затолкал чемоданчик поглубже под койку. Верно, не худо бы было выпить. Он пошел на кухню, спеша проскочить мимо комнаты, где лежал покойник и где рыдала вдова.

Коренастый был уже на кухне и как раз держал в руках бутылку французского коньяка, ту самую, початую вчера Павлом. Только вчера? Ну, позавчера — уже начинался в окне рассвет нового дня. Да, только позавчера он вернулся в Москву, появился в этом доме. Не поверилось, хотя твердо знал, что так оно и есть, не поверил самому себе, что с позавчерашнего лишь дня пошел отсчет его новой московской жизни. Недели, долгие недели вместились в это короткое время, могли бы вместиться. Человек умер. Он сына повидал. Он сошелся с женщиной. Страшное, главное, смутное — вот чем полнился этот короткий срок его бытия здесь.

— Выпейте.— Доктор протягивал Павлу рюмку.— За него. Не чокаясь.

Они выпили.

— И мне, и я с вами.— В дверях стоял Митрич, вка-



тился коlobком, незаметно, бесшумно.— Прослышал, причаился. Горе-то какое! Какой человек ценный ушел!— Он раздобыл в шкафу рюмку — знал, что где тут находится, мягко отобрал у доктора бутылку, мол, близким здесь пришла пора распорядиться, налил сперва Павлу, потом себе, а уж потом врачу, который, если бы спас, был бы на первом месте, а уж если не спас...

— Поехали! Вот тут яблочки. Пастила. Прошу! Помянем! Петра... Великого...

Снова выпили.

— Мне пора,— заторопился доктор.— Все формальности соблюдены, справку я вам завтра подошлю. Полагаю, вскрытие не понадобится.

— Сколько с нас?— потянул из кармана бумажник Митрич.

— Я имел дело с Тамарой Ивановной.

— Это все едино.

— Завтра, завтра,— вдруг смутился доктор, глянув на Павла, в насторожившиеся его глаза. Не понял доктор, что Павел не о нем сейчас думал, не о гонораре его за проигранное сражение, а думал о Митриче, об этом кругленьком человеке, который так по-хозяйски вел себя здесь, прикатив, не дожидаясь утра, едва узнал, что Петр Григорьевич умирает.

— Ну, завтра так завтра.— Митрич пошел провожать доктора и там, в коридоре, видимо, все же всучил ему положенный гонорар. Павел услышал, как доктор благодарил Митрича, а Митрич благодарил доктора, как доктор счел нужным что-то там объяснить, а Митрич счел нужным его утешить.

— Все мы смертны...

— Именно, именно...

Хлопнула дверь. Всё! Вот только сейчас дошло до сознания Павла, что он присутствовал при смерти человека.

Вернулся Митрич, присеменил совсем близко к Павлу, зорко заглянул в глаза. Оказывается, мог он вот так устойчиво глядеть, не блуждая взором.

— Ты прощался с ним? Он что-нибудь тебе сказал?

— «Сына жаль... Жену...»

— И все?

— Мало этого?

— И все?

— Все.— Павел чувствовал: отведи он глаза, и Митрич ему не поверит, но смотреть вот так, глаза в глаза, оказалось трудным делом.

— Эх, опоздал я!— посетовал Митрич.

— Дела у тебя с ним были?— спросил Павел.— Вы вроде разными дорожками бежали.

— Какие дела?!— Наконец-то сдвинулись, заблуждали по комнате глазки Митрича, затуманились, стерлись, а ведь только что буравили.— Какие еще дела?! Добрый товарищ умер! Ценный, ценнейший человек! С кем теперь посоветуешься? С тобой? Как там, сладилось у вас?— Митрич хмыкнул.— До вечера ждал, что позвонишь. Недосуг было? Сладкая женщина. От сердца оторвал. Ну, ну, работайте. Заявление подбрось.— Беспокойство не покидало Митрича, глазки его и раз и другой обшарили стены кухни, будто выпрашивали и стены.— Кто ему глаза закрыл?

— Тамара... Лена... Доктор этот... Меня там уже не было. Митрич, надо бы его сына вызвать из армии.

— Сделаем, сделаем. Ты побудь тут, чаек поставь, а я к вдове.— И убежал, укатился, заранее пригорюнив лицо.

Павел взялся было за бутылку, но она оказалась пустой. Он подошел к окну, закурил. За окном занимался жаркий, погожий день. Солнце двигалось за грядой домов, его не было видно за стенами, только вспыхивали стекла. Казалось, пожар перебрасывается от дома к дому, от длинных этих, протяжных зданий с бесконечным множеством окон. За каждым — жизнь. А вот за окном Петра Григорьевича — смерть. Нет человека, сгинул человек. Очень одинокий это был человек, если последнюю свою волю он доверил даже не жене и даже не сыну, а ему, Павлу Шорохову, с которым не виделся целых пять лет, который мог ведь и опоздать дня на два, на три с возвращением. Они и друзьями-то не были. Их связывала своего рода приязнь, какие-то общие дела, ну, доверие. Приязнь? Что это такое? Общие дела? Позади дела. Доверие? А это с чем едят? Все было зыбким в их отношениях, зависело от случая, от того, как на что поглядеть. На суде Павел не назвал Петра Григорьевича — это что, залог доверия? Когда сидел, Петр Григорьевич помогал его сыну, через сестру и ему помогал — а это что, плата за молчание или участие, доказательство дружбы?

В зыбком мире они жили, в странном каком-то, к которому часто не подходили и обычные слова, а особенно такие высокие, как — доверие, дружба, приязнь. Вот, оказывается, Митрич, Колобок этот, был другом Петру Григорьевичу. Не похож Колобок на друга, рыбки ему друзья. И дел раньше у них общих не было. Но ведь прошло пять лет.

— Павел, вы меня не проводите?— В дверях стояла Лена, уже в плаще, в косынке, озябшая какая-то.— Меня качает,— призналась она.— Мне бы хоть часа три поспать.

— Провожу.— Павел пошел от окна к Лене, а когда поравнялся с ней, она шепнула:

— Прихватите тетрадь. Круглый все допытывается у Тамары, что Петр Григорьевич сказал да нет ли каких записей.

— А я поеду посплю к своему приятелю, к Костику,— громко сказал Лене Павел, потому что в коридор из комнаты Петра Григорьевича выкатился Митрич.— Митрич, ты здесь остаешься?

— Обязан. Должен. Тамара просила. Сейчас понаедут, набегут плакальщики, а кому-то ведь надо печальными хлопотами заняться. Правильно, езжай, отсыпайся. Зачем к Костику? Или у тебя рядом с работой квартиры нет?— Митрич хмыкнул.— Ужель не пустит компаньона? Клянйся Веруше, поздравь...

— Нет, я к Костику!— Павел заскочил в комнату, схватил из-под койки чемоданчик, прощаясь, провел рукой по спине бензинового тигра, сказал ему:— Поверь, откупил бы я тебя, мил ты мне, да самому некуда голову приклонить.

Через открытую дверь Лена смотрела на него, слышала его слова.

— Вы сейчас, как актер,— сказала она.— Перед кем вы актерствуете? Подмененный вы какой-то. Ну, пошли, выведу вас отсюда.

Павел не решился заглянуть к Тамаре.

— Митрич, передай, я сегодня же заеду. Посплю совсем немного и вернусь.

— Управимся без тебя. К работе подключайся. На похороны позовем.— Бегали, сновали глазки Митрича, выискивали что-то. Они и на чемоданчике было задержались, но соскользнули.

Следом за Леной, придерживав для нее дверь, Павел

вышел из квартиры Петра Григорьевича. Показалось, что вырвался на свободу.

## 10

Их встретило солнце, тоже вырвавшееся наконец из-за домов.

Павел ослеп, обрадовался этому ударившему по глазам жару, цветные круги заходили в глазах. Так бывало и там, в предгорьях, в песках. А он мог бы и сейчас там бродить в кирзовых сапогах, которые не прокусишь, с палочкой-уловкой в руке,— простое дело, ясное дело. Вот она — змея, вот он — змеелов. Изловчись, прижми ее к земле, ухвати потом пальцами у головы, вскинь всю ее победно — и в мешок. За кобру — тридцатка, за гюрзу — двадцать. И дальше в путь. Один. Зной неистовый. Крутятся вдали барханные смерчи. Воды с собой много не унесешь, а достать ее тут нигде. Змеи не глупы, они и сами могут изловчиться. Трудное дело, опасное. И все же это было простое дело, ясное, честное.

— Нет, меня провожать не нужно,— сказала Лена, останавливаясь.— Вам куда-то туда, а мне совсем в другую сторону. Я было подумала, может, вы теперь по-другому захотите жить, а вы не захотели. Что за работа? Не рассказывайте, мне неинтересно. Прощайте, Павел. Прощайте, как он велел, я буду молчать. Прощайте.

— Так ведь встретимся на похоронах. Вы придете?

— Все равно прощайте. Приду, конечно.

— Давайте я вас подвезу. Сейчас поймаю такси.

— Я не люблю такси. Меня и метро домчит. Спать, спать, спать.

Она пошла от него, кутаясь в плащ, все еще не согрелась, хотя стало жарко.

Подождав немного, Павел тоже пошел к станции метро. Вот он и снова шел по Москве со своим чемоданчиком в руке, не зная, куда ему идти. Про Костика он просто так сказал, Костика дома не было, он проводил свой отпуск на даче, а где его дача, этого Павел не знал. Да если бы и знал, не поехал бы. И к Вере он не поедет. Потому как раз, что так посоветовал ему поступить Митрич. Больно вы быстрые! Конечно, он дал себя заманить, но больно вы быстрые, он еще не на крючке. О Вере вспомнилось недобро. Все лгало в этой женщине, даже

когда она целовала его. Такие, как она, умеют лгать самозабвенно. Он вообще не доверял женщинам. С одной, с еще одной лгуньей, с бывшей женой, ему предстояла скорая встреча. Страшно хотелось спать. Измучился, смешалось все перед глазами, и его тоже познабливало, хотя он понимал, что настала утренняя жара. Он присел на скамью у входа в метро, сосредоточился. Сперва надо было припрятать тетрадь. Что за тетрадь? Что в ней? Когда прятал в чемодан, не решился заглянуть, полистать, да сразу бы и не понял ничего, если там что-то надо расшифровывать. Так, сначала спрятать тетрадь. Павел поднялся, пришло решение: он отвезет чемодан на вокзал — ближайший был Рижский, — поставит его в запирающуюся личным кодом ячейку камеры хранения. Так поступают всегда. Всегда? Где? В детективных фильмах? Нет, и в жизни тоже. В той жизни хотя бы, которую он вел до суда. А чем то была не детективная жизнь? Ему казалось, что жил обыкновенно, ну бойко, ну дерзковато, а допрашивали его на следствии, как в этих фильмах приклатненных про «Знатоков». И сейчас он, с тетрадью этой, во что влезает? Не в детектив ли? А с этим павильоном фруктовым и с этой Верой, которой нет никакой веры? Чистейший детектив начинался в его жизни. Со змеями было проще, яснее.

До Рижского добрался быстро. В камере хранения, следуя законам детективных фильмов, огляделся, не следят ли за ним, смешно стало, когда оглядывался, хоть было не до смеха, просто голова кружилась от усталости. Отомкнул дверцу, опустив монету, сунул в узкое пространство чемоданчик, набрал на барабанае четыре цифры, вспомнив, что собственный год рождения набирать не рекомендуется, набрал год рождения сестры, она была на семь лет его старше, вспомнил сестру, поняв мгновенно, что вот ему к кому надо, вот кто его примет, захлопнул дверцу, запомнил ее, черкнув в своей пухлой записной книжке номер ячейки, и просто кинулся назад в метро, чтобы перебраться с вокзала на вокзал — с Рижского на Савеловский.

Все позади, он в вагоне, электричка тронулась, путь впереди почти два часа, и до конечной остановки. Он откинулся на спинку и мгновенно заснул. Два бывалых парня, сидевшие напротив, уважительно переглянулись, сойдясь взглядами на сильных, порубленных шрамами

руках этого загорелого в черноту пижона. Нет, это был не пижон, так пижоны не умеют спать, намертво, но с чутко вздрагивающими веками.

— Из своих,— сказал один парень и посмотрел на свои руки, в синем крапе, но, жаль, без шрамов и белесые.

— Из наших,— сказал другой парень, тоже поглядев на свои руки, тоже помеченные, но слабоватые и белесые.

— Отсядем?

— Отсядем.

И они оставили «своего» и «нашего» спать в одиночестве — так «паханов» не тревожат даже и близким соседством, когда они спят.

Павлу снились сны. Потом, когда он проснется от одного из них, когда попытается вспомнить, то сразу же откажется вспоминать. Это были сны из сегодня. Продолжалась, возвращалась явь. Снова помирал, невнятно досказывая последние слова, Петр Григорьевич, снова выходила из ванной в коротком халате женщина, снова мальчик учил собаку приносить палку. То были тягостные сны, пугавшие Павла, метались под веками глаза. А когда сын узнал его, когда спросил: «Вы мой папа?» — Павел вскинулся и проснулся.

Никто, пока спал, не подсел к Павлу, никто не сел и перед ним, хотя в вагоне было достаточно народу. Отчего так? Был не таким, как все? Это ранний поезд, он вез москвичей на работу не к Москве, а от Москвы, он вез на работу, к делу, а Павел в своем финском костюме, в мятой, но жениховской рубашке, небритый, сразу тяжело заснувший, он ехал либо с гулянки, за что заслуживал осуждение, либо в какой-то беде оказался человек, а тогда ему полагался покой. Ехавшие в вагоне люди были чуткими людьми, умевшими каждый на свой лад понять многое о другом, лишь глянув только. Глянув вокруг, а синева в его глазах проснулась, Павел понял, что в вагоне его не осуждают, что ему сочувствуют, придя к общему выводу, что он не с пьяной гулянки возвращается, а что худо ему. Он обрадовался этому сочувствию чужих людей. Они не чужими были, нет, не чужими. Если бы возможно было, если бы между незнакомыми людьми были протянуты тоненькие провода, по которым можно было переговариваться, он бы всем им сейчас рассказал о себе, все выложил, хотя и сам толком не знал, про что

ему говорить. Вот он едет не к чужому человеку, к родной сестре, но что он скажет ей? В своих письмах к нему она так надеялась на его возвращение, так ждала. У нее на руках была дочь на выданье, в самой той поре, когда девочке нужна отцовская защита, нужна и материальная помощь. Отца не было, он давно умер, Нина поднимала дочь одна. Участковый врач, она легко согласилась уехать из Москвы, когда ей предложили в Дмитрове место главного врача в заводском профилактории. Побольше была зарплата, решалась проблема питания, давали отдельную квартиру. Влекло Нину, что девочка будет расти поблизости от матери, в тихом городке, на чистом воздухе. Решалась и проблема с московской квартирой, оставшейся им после родителей, куда привел Павел свою молодую, статную жену, с которой почему-то не удавалось Нине ужиться, хотя была Нина покладистым, спокойным человеком. Павел вдруг понял, вот сейчас, на этой скамье в поезде, что вариант с Дмитривом был еще и жертвой сестры, во имя него, брата, жертвой. А вся ее жизнь, то, что не вышла больше замуж, объявив, что уже стара, хотя была молода, хотя по нынешним временам и старые-то бабы никак не уймутся, меняя мужей и любовников, а вся ее жизнь разве не была жертвой? Брат и сестра, даже родственно похожие, они оказались совсем разными, противоположными. Он жил для себя, всегда для себя, чего уж тут толковать, а она для других — для матери, когда жива была мать, для мужа, для дочери, для него, для сына его, наконец, для них обоих эти пять лет, одному посылая посылки, другого навещая, помогая ему. Наверное, эти деньги, которые она брала у Петра Григорьевича, были ей неприятны. Нина была гордым человеком, но она брала их, не для себя брала. Наверное, ей тяжело было бывать в доме у Зинаиды, у женщины, которая предала ее брата, в доме, где родилась и который был теперь ей чужим, но она ходила в этот дом ради мальчика, ради племянника, понимая, что она нужна ему. Ей бы теперь помочь, пора бы ей помочь, а он катит к ней опять за помощью, чтобы просто выспаться, чтобы поскулить у сестрина плеча. Как в оборвавшемся сне, в этой прикошмарившейся яви, Павел вскинулся, обрывая эту явь, нестерпимые эти мысли. Он поглядел за окно, поезд подъезжал к Дмитрову, в окно медленно, на широком полукруге, вплывал, весь в солнце, собор, стоявший в городе на высоком холме, утверждая древний за-

чин ныне небольшого города. А все же жила история и в этих одноэтажных, прихмуренных старостью домах. Жила история и в поределых могучих деревьях главной улицы. Жила история и в том, как сходились улочки к крепостным стенам, к тому центру городской обороны, который, как ни меняй его лик, хранил крепостную задачу, ибо город Дмитров стоял заслоном от врагов для самой Москвы еще в давние времена, заслонил он столицу и в недавние.

Недалеко от станции был рынок, и Павел свернул к нему, чтобы не с голыми руками явиться к сестре. Небритый, с заспанным лицом, без хоть какого-нибудь подарочка — вот так братец явился долгожданный. Деньги с собой были, рублей семьсот оставалось в пачке десятков, которую вчера сунул в карман, но промтоварные магазины еще не открылись. Мог выручить только рынок. И надо было в какой-нибудь палатке электрическую бритву купить, он забыл свою бритву в чемодане, лежит сейчас там рядом с загадочной тетрадью. Все не так сделал, надо было сюда прихватить тетрадь, здесь бы и полистать ее в тишине.

Рынок уже жил, полнился людьми. Бедноватый это был рынок после кара-калинского, где высились груды пунцовых помидоров, где благоухали горы молодого лука, рдела редиска, и уже появился молодой розоватый виноград, появились дыни, арбузы, целый ряд там был отведен продавцам мацони, продавцам верблюжьего чая — попить бы его сейчас, промыть душу! — целый ряд торговал медом, каких только он не бывает цветов — от белого до почти красного. И еще тот рынок торговал, причем задаром, таким божественным нектаром из запахов, что пьяный трезвел, а трезвый становился пьяным. Нет, дмитровский рынок уступал кара-калинскому, ну что ж, не та земля, трудней дарит, не то солнце, сегодня оно печет, а завтра нет его. Но все же и здесь рдела редиска, зеленел лук, терпко, сладко пахла совсем молоденькая, с орешек, картошка. И нате вам, какой-то замечательно предприимчивый узбек, мало что сперва до Москвы добрался, он потом и до Дмитрова добрался, и нате вам, привез сюда настоящую большущую узбекскую дыню.

— Сколько? — торопливо спросил Павел, страшась, что кто-либо перехватит у него эту дыню, наперед зная, что заплатит за нее, сколько бы ни спросил узбек, седобородый, лукавый старик.



— Всего тридцать,— прищурился узбек, разглядывая не совсем обычного для Дмитрова покупателя.— Никак не могу уступить. Откуда здесь, товарищ?

— Прямо из Туркмении.

— Сосед. Вижу, что наш человек — солнце наше на лице. Прости, ну никак не могу уступить. Сам знаешь, какая дорога.

— Беру,— сказал Павел.— Целая кобра. Ничего, беру.

— Почему кобра? Какая кобра? Мед! Нектар!

— Столько стоит одна отловленная кобра,— пояснил Павел, выкладывая деньги и принимая на руки, как ребенка, дыню, испещренную загадочным сетчатым рисунком, как поливное хлопковое поле, если смотреть на него с вертолета, поднявшегося высоко.

— Ты змеелов?— уважительно спросил узбек.— Бери назад пятерку. Черт с тобой.

— Не нужно, оставь себе. За смелость, что до Дмитрова дошел.

— Бери, говорю, я не бедней тебя!

— Оставь, говорю! Да и бывший я змеелов. Скоро сам стану дынями торговать, конкурентом твоим стану.

Все так же неся дыню, как ребенка, Павел отошел от недоумевающего узбека, довольный этим разговором, приободрил его этот разговор, будто он на базаре в Кара-Кале очутился, а там его узнавали, уважительно относясь к его работе, там-то знали, что это за работа, каков ее риск.

— Почему — бывший?— сам себя вслух спросил Павел.— Еще неделю назад по серпентарию ходил, еще ноги от кирзовых сапог не отвыкли.— Он оглянулся на узбека, подмигнул старику, и тот заулыбался в ответ, щербатый, лукавый, понимающий, очень довольный, что встретил здесь, в Дмитрове, своего человека, щедрого человека, избавившего его от товара, который тут никак не шел за такую непомерную цену.

Довольно долго надо было идти до дома, где жила Нина, где жила Оля, девочка, ставшая девушкой. И хорошо, что долго, хоть как-то мысли успеешь в порядок привести. Надо было с какими-то словами явиться к сестре и племяннице, не с жалобой, а с ободрением, не за помощью, а с помощью. Заждались, строили наверняка планы. Ну, выхватила его жизнь из их жизни, но теперь-то он вернулся. Не спать, не жаловаться, не паниковать, нет, он приехал с дыней, веселый, уверенный в

себе, с деньгами. Откроются магазины, и он пойдет с Олей, купит ей что-нибудь подороже. Пусть радуется. Он ни слова не скажет, чтобы омрачить им радость. Все хорошо, все отлично. Да, а как же весть эта о смерти Петра Григорьевича? Что ж, Нина знала, что Котов тяжело болен. Жил человек, умер человек — что тут можно сказать? О новой своей работе пока ни слова. Ну, согласился, ну, дал затянуть, но еще не решено, окончательно ничего еще не решено, даже заявления он не написал. Поглядим, поглядим, спешить особо некуда, пока пусть змейки покормят, разжился ведь на змейках, набил карманы платой за риск. Тот риск с нынешним не сравнить, этот, пополам с Верой, пострашнее будет. Но почему так подталкивает его Митрич? Почему так заторопилась женщина? Надо разобраться. Впрочем, у каждого свой резон. Надо разобраться, надо оглядеться. Это было главным в науке Владимира Бабаша: «Оглянись сперва. Не та змея опасна, которая перед тобой, а та, что за спиной». Его брат не оглянулся или не зорко оглянулся — и погиб.

Вот и дом Нины и Оли. Пятиэтажка пятидесятых годов, но не панельный дом, из кирпича, еще постоит. Осел будто, явно обветшал, но стоять ему годы, еще будут в нем рождаться люди, играть свадьбы, может, и Олина свадьба.

И сестра и племянница были дома. Еще только встали, в одинаковых были халатах, еще не причесались как следует. Повисли на нем, родные, пахнущие родным, до слез, до слез родные. Он стоял, страхась уронить дыню и страхась заплакать.

Оля, тоненькая, стройная и незнакомая красавица, загадочная какая-то, узнанная и неузнанная, взяла у него дыню, сказала:

— Мама, а это та самая, что мы вчера на рынке обнюхивали. Дядя, только не ври, пожалуйста, что ты ее привез из Туркмении. Та самая, та самая, признайся!

— Та самая, признаюсь.

— А ты ничего у меня,— сказала Оля, отходя и разглядывая своего дядю, они все еще стояли в узком коридоре.— Можно показывать.

— Кому?

— Ну, подружкам. Вот, мол, у меня какой объявился родной дядя. Еще выдам за тебя какую-нибудь. Теперь мода на стариков.

— Да разве он старик?!— всерьез обиделась за брата Нина.— Все у тебя старики да старухи!

— Только не ты, мамочка, только не ты! Смотри, дядя, какая она у нас! Верно, я правду говорю, что красавица?!

Но Нина была не красавицей, увяло ее лицо. Она и смолоду не была красавицей, но молодость долго держалась в ней, готовность эта, улыбка эта, откликающаяся каждому, а теперь все поблекло, все притихло в ней, притихшим стало лицо.

— Правду, правду,— сказал Павел.— Но только не рядом с тобой. Рядом с тобой нам действительно стоять невыгодно. Здравствуй, Нина. Спасибо за все.— Они обнялись, надолго. Не целовались, просто стояли так, обнявшись.

— Почему не побрился?— шепотом спросила Нина.— Неприятности?

Он отрицательно качнул головой.

— Потом расскажешь... А теперь к столу. Мы ведь ждали тебя, Паша. Каждый день, каждый час. Как написал, что скоро будешь, так и стали ждать. Счастье какое, у меня как раз сегодня выходной! Хорошая примета. И то, что ты эту дыню притащил, на которую мы вчера облизывались, это так хорошо, так удачно. К счастью это, Паша. Я стала верить в приметы. А ты? Какой ты? Каким стал?

— Тоже стал верить в приметы,— рассмеялся Павел.

Нина отстранилась от него, вгляделась.

— Не пойму, не пойму... Тебе и сейчас трудно... Ладно, потом о трудном, а сейчас к столу! Мы и водочки к твоему приезду запасли. Шампанское у нас с дочкой есть. Вот так-то вот! Ты не побреешься сперва? У меня есть бритва, безопаска. Побрейся, Паша.

— И побреюсь, и душ приму. Чудак я, оставил вещи на вокзале. Мне ведь сегодня назад, вот и оставил. А про бритву забыл, про чистую сорочку забыл. Одичал я все-таки.

— Костюм преотличнейший,— сказала Оля.— И загар, штучный загар. Ох, девочки, ох, подруженьки!..

— Негодница, как ты разглядываешь своего родного дядю?!

— Нельзя уж и погордиться? Если уж повезло на дядю, так и нечего скрывать.

Родные, родные голоса, родные лица, не сыскать ни-

чего дороже. Сейчас бы сюда еще сына — и вот оно, счастье, вот оно, хоть в руках его поддержи. Жаль, нельзя мужикам плакать, стыдно мужикам плакать. А Нина плакала, смеялась и плакала.

## 11

Дыню нарезают так: ставят дыню на попá, срезают одним круговым движением верхушку, нож должен быть острый, широкий, надежный, и потом, сверху вниз, сверху вниз, ударами, а главное, смело, не вымеряя, доверяя глазу и руке, раскроить всю дыню на ломти, придерживая ладонью, чтобы до срока не распалась. И вдруг отвести руку, и дыня начнет медленно разводить свои ломтики-лепестки, на глазах превращаясь в гигантский тюльпан, на глазах распустившийся. Вот так нарезают дыню. Да, а потом надо замереть всем, кто за столом, вдыхая нахлынувший аромат. Божественный аромат.

— Ну что?! — торжествуя, спросил Павел. — Недаром старики-туркмены в этот миг поминают имя аллаха! С чем сравнить это чудо? — Павел глядел на своих женщин, в их зачарованные лица. Он был счастлив. Ему было хорошо сейчас, отошел душой. Он смыл усталость под душем, потом побрился, облачившись в пижаму, оставшуюся от мужа Нины, и теперь вот, с засученными рукавами, с открытой грудью, с этим кухонным мечом в руке, стоял во главе стола, явив женщинам чудо.

Потом они ели дыню, повезло, дыня оказалась удачной. Спасибо, седобородый старик, спасибо тебе, что довез, дотащил ее аж до Дмитрова! Оля так ела, что даже уши у нее отведали дыни. Смотреть на Олю было тоже счастьем. Нина помолодела, пояснила, смотреть на нее было тоже счастьем.

— Живут же люди! — вздохнула Оля, решая, есть дальше или передохнуть. — Каждый день могут с дыни начинать!

— И еще горячий, только испеченный чурек. И чай из пиалы.

— Змейки на ветках поют! — подхватила Оля. — Кстати, а змеи не поют?

— Шипят. Но очень по-разному.

— Шипеть и мы умеем и тоже по-разному. У нас математичка только так нас к тишине и призывала: «Молодые люди, перестаньте шипеть!»

— Вот кончила школу, зубрит вот целыми днями,— сказала Нина.— Решили мы во второй медицинский сдать документы. Поступит ли? Там ужасающий конкурс. Десятя абитуриентов на место.

Счастливая минута прошла. Озаботилось лицо матери, поскучнело лицо абитуриентки, вымазанное до ушей дынным соком.

— Но ты же поступила, туда же, во второй,— сказал Павел.

— Сравнил меня и ее. Мне ставили пятерки за положительную внешность, а это же кинозвезда. Ну какой это участковый врач, чтобы в грязь, в мороз — из дома в дом, день за днем, год за годом?

— Может, сдать тогда документы во ВГИК или там еще куда?

— Мама не понимает!— вскочила Оля, измазанная и прелестная в своем гневе.— Я — врач! Ну, бывают же привлекательные врачи! Что значит по грязи? Не должно быть грязи! А хотя бы и по грязи, ну и что? Разве я у тебя белоножка? А кто тебя лечит, когда у тебя грипп или радикулит? А кто всех мальчишек в доме перебинтовывает? А наследственность? Отец ведь тоже был врачом, даже хирургом был. Не серди меня, а то пойду в хирурги!

— Ой, ну что с ней будешь делать?!— гордясь и тревожась, глядела на дочь Нина.— Уговорила. Тогда зубри, зубри и зубри.

— И плюс обаяние,— сказала Оля,— экзаменаторы тоже люди. В приемной комиссии, когда я вхожу, все умолкают.

— Там — студенты.

— Студенты, но старших курсов. Это очень влиятельный народ. Поверь!

— Верю, верю.

— И потом, мой дядя вернулся. Если что, он пойдет к ректору. Сильный, смелый, вот такой, как сейчас.

— В пижаме этой,— подхватил Павел.

— Ты найдешь в чем пойти и что сказать, я в тебя верю. И ректор тебе поверит. Ты внушаешь доверие, Павел Сергеевич. Поверь.

— Как у тебя с работой?— спросила Нина.— Что тебя так взбудоражило в Москве? Сына повидал? Я предупредила Зинаиду, что ты возвращаешься.

— Я побежала!— вскочила Оля.— Этот разговор не

вписывается в программу моей зубрежки.— И умчалась.

И погас праздник, будто кто-то выключил невидимые, но яркие светильники, по-будничному серыми стали стены.

— Сегодня на рассвете умер Петр Григорьевич,— сказал Павел.— Да, с сыном повидался. Он вырос. Не я его узнал, он меня. Разговора настоящего не вышло, я был не готов к этому разговору. Сам не знаю, как забрел во двор. Что с работой? Предлагают, даже почти согласился, можно сказать, согласился. Знаешь, что за работа?

— Ну?

— А вот дынями торговать. Такими или похуже. Арбузами, фруктами — словом, сезонным товаром.

— Работа только на сезон?

— Да. Но такой сезон может год прокормить.

— Если красть, Павел?

— Ничего другого не предлагают. Ты учти, я с судимостью, на старое место мне нельзя, я не из длительной зарубежной командировки вернулся. Хорошо, если меня вообще пропишут в Москве.

— Я советовалась с юристом. Пропишут. Ты даже имеешь право на размен квартиры. Знаю, ты на это не пойдешь, из-за сына не пойдешь, знаю. Ну, снимешь комнату, придумаешь что-нибудь. А работа, нет, Павел, сезонный этот товар не для тебя. Иначе ты должен начинать, иначе.

— Костик тоже советует, чтобы иначе. А как? Где? Человек идет туда, где его знают.

— Иди в бухгалтерию, в экономисты. Даже у нас на заводе все время требуются люди с такими профессиями.

— Сам я не устраюсь, просто так, с улицы, меня не допустят к работе с финансовой ответственностью. Года два-три еще не будут допускать.

— Тогда поработай эти два-три года в таком месте, где ничего не прилипает к рукам.

— Может быть, грузчиком?

— Может быть, грузчиком.

— И у грузчиков прилипает. Но дело не в этом. Вне своей среды я никому не нужен, а в сорок лет начинать с нуля... Отобьюсь от своих, не прибьюсь к чужим.

— Но что же делать, если так все получилось? Какие там свои, они усадили тебя на скамью подсудимых. Ты благородничал на суде, а они попрытались. Потом откупались подачками. Петра Григорьевича твоего мне только

потому жаль, что чувствовалось: совесть его гложет. Что у него было?

— Саркома.

— Вот! Еще не доказано, но убеждена, как медик убеждена, что рак, саркома, особенно саркома — это болезни совести.

— Умирая, он сказал мне: «Сына жаль... Жену... Деньги ничего не решают... Обман...»

— Вот! Ты запомни эти слова, Паша, запомни!

— Слова остаются словами. А как жить? Вот у Костика и мать и жена вяжут. И мне, что ли, жениться на вязальщице? Но за меня порядочная сейчас не пойдет, Нина. Проем змеинные деньги, и кто я?

— Ты со мной, Павел, споришь или с собой? Если у тебя все наперед решено, так о чем разговаривать. Иди, работай, куда зовут. Ты им честный там не нужен, верно ведь? Иди, заколачивай большие свои деньги, пока не попадешь. А там опять суд. Только не забудь: у тебя сын, и ему плохо, Павел. Он был крохой, когда ты ушел, ему достаточно было матери. Теперь ему отец нужен.

— Но разводятся же люди, разводятся же люди!

— Не кричи. Ни меня, ни себя ты криком не убедишь. Да, разводятся. Или вот, как у меня, когда умер муж. Но тогда мать должна тянуть, должна быть за двоих. А твоя Зинаида выскочила замуж. Но и это еще не беда. Она плохой матерью оказалась — вот это уже беда.

— Почему плохой?

— А вот та же среда, все та же среда. Муженек попивает, сама попивает. Легкие деньги. И, учти, жадной стала. Знать, нелегкие это деньги. Злой стала. Доброй смолodu не была, а теперь злой стала. Дом забит барахлом. Хмуро они живут, Паша. Я не завидую их барахлу, поверь. Конечно, хотелось бы одеть Олю получше, все так, но не любой ценой. Она у меня смешливая, веселая, уверенная. Заметил? Нет ничего дороже. А Сережка замкнулся в себя, от него улыбки не допросишься.

— Заметил.

— Что же делать будем, брат?

— Не знаю. Ей-богу, не знаю.

— Ты поживи у меня, отдохни.

— Мне к вечеру в Москве надо быть, у Петра Григорьевича.

— Так ведь похороны не сегодня же. Передохни, проспипи хоть ночь у родной сестры. Ты когда вошел, я испу-

галась за тебя. Черное было лицо. Не в загаре дело, а в той проступи на лице, которая говорит, что человеку худо. Слава богу, отошел. Знаешь, я залюбовалась тобой, когда ты эту дыню рубил. И Ольга опять вытарасилась. Произвел ты на девочку впечатление. Ты еще у нас молодой, Паша, ты еще у нас всего достигнешь!..

— Ну, не нужно, слезы-то зачем?— Павел наклонился к сестре, они опять обнялись.— И достигну, и достигну, вот увидишь...

Павел не уехал, остался на ночь. Давно он так не спал, так спокойно, без этих снов проклятых, которые длили, вторили явь, выбирая из прожитого что похуже, такое, чтобы в самое сердце уколело. Давно не сторожил он сам себя во сне, как выучился сторожить в заключении, когда сам спишь и сам же себя стережешь. Даже когда один спал — а в последние месяцы перед выходом на волю он уже и жил повольнее, его освободили от общих работ, он помогал вольнонаемному бухгалтеру составлять отчет, — даже и совсем один в комнатенке, которую ему отвели, он все же спал, сам себя карауля. А в Кара-Кале — опять такой же сон, сторожный, вполглаза. Пойми-ка, кто опаснее, порченный человек на койке рядом или же скорпион, забравшийся к тебе под одеяло. Но еще опаснее, всего опаснее были собственные мысли. Он сторожил себя, свой сон, от своих мыслей. Только вцепятся, как он будил себя. Спать бывало страшнее, чем не спать. Когда кошмарило, когда весь этот бред наваливался с погонями, с ножами и выстрелами, ну, как в кино, он спал спокойно, отдыхал.

Весь вчерашний день был счастливым, самым счастливым за все эти годы, а отчет он вел от той минуты, когда захлопнулась за ним зарешеченная дверь машины, похожей на небольшой фруктовый фургон.

Весь день вчера он сперва бродил с Олей по Дмитрову, они заходили в магазины, что-то он там покупал для нее, хотя она отказывалась, потом сидели в кафе, собор вокруг обошли. На улицах на них оглядывались, узнавая в Ольге родственное сходство с этим вычерненным солнцем человеком, здороваясь и с Ольгой, которую многие знали, и с ним заодно как с ее родственником, но и отдельно с ним — он вызывал интерес, уважение. Он чувствовал, что на него смотрят с интересом, Ольга говорила ему об этом, она гордилась им. А он — ею, и он говорил ей об этом, что на нее засматриваются, что с ней здороваются уважитель-



но, добро. В этой приязни, в этом родстве, в тишине этой он и прожил вчера весь день. Незнакомое чувство сейчас жило в нем, щекочущее какое-то, как щекочет радость, будто внутри него что-то оттаивало, оттаивало.

Ну, а ехал он на мороз, опять на мороз.

## 12

Его тянул этот проклятый, пропахший сладкой химией павильон, и эта женщина, что говорить, подманивала. Как ты ни настораживайся, ни упирайся, а женщина, с которой ты был близок, уже зажила в тебе, уже начинает подзывать твои мысли. От Курского вокзала было недалеко до той тихой тополиной улицы, всего четыре остановки на троллейбусе и совсем недолгий путь кривенькими переулками, которые были милы Павлу не парадной стариной, этими купеческими домиками, уцелевшими здесь под вековыми деревьями. Бывало, даже когда он на своей машине в те места приезжал, он парковал машину задолго до кирпичного дома, шел к нему пешком, этими вот переулочками, уездной этой Россией. Уцелели еще в Москве переулочки, которые как бы от имени всей России с тобой разговаривают, от былого даря твоей душе покой. Надо же было, чтобы эту сомнительную да и оскорбительную для него работку ему подобрали в таком заманчивом месте, в памятном добром месте.

Когда ехал к Митричу, не обратил внимания, проскочила машина, а оказывается, переулочки похорошели с той поры, когда он бывал здесь, домики в два этажа, где в первом была непременно лавка, подремонтировали, вернули им былой цвет — это, должно быть, к Олимпиаде все было сделано, чтобы заморские туристы, очутившись тут ненароком — а что им тут делать? — могли бы умилиться. А вот теперь он умилялся, не заморский человек, здешний, тутошний, хотя и бездомный. А что, а не плюнуть ли на все, не окоротить ли себя, напор этот в себе, мечты свои, да и остаться тут жить? Да, да, продавцом в фруктовом павильоне, да, да, сожителем бывалой, погулявшей всласть женщины. Комбинировать, но без особой жадности, чтобы не загребли, попить, погуливать, а надо, так и морду набить своей бабенке, если что, а? Дружки тут заведутся, компания. Месяцами с этих улочек в Москву не понадобится путешествовать. И в Москве ты, и в ти-

шине. Сын?! Да, сына жалко... А себя? В сорок лет сдаваться надумал?

Куда было сперва идти — к павильону или к Вере, к которой рискованно все ж врываться, не позвонив заранее, а телефон ее он записать не догадался. Павел решил пойти к павильону, побыть возле него, приглядеться, что там вокруг за жизнь, какие там люди ходят. Если здесь он начнет работать, всякая малость для него здесь будет немаловажной. Так начнет он тут или откажется? Может быть, уже начал? Он миновал красный дом, уже угретый солнцем, горячим дохнуло от кирпичной стены, метнулось, ворохнулось что-то в глазах, горячо стало глазам.

А вот и павильон. Гляди-ка, открыт! Раздернуты ширмы ставень, легенькие занавесочки праздничными флажками полощутся на ветру, только что отъехала машина, сгрузившая плоские ящики, и суетятся у этих ящиков трое мужичков, это неизбежное всегда трио, где только ни начинается у магазинов разгрузка. А вот и Вера, нарядная, яркая, как флаг латиноамериканской державы, даже издали видны взблески от ее золота. Она заметила его, побежала к нему, так женственно-замысловато перебирая полными ногами в джинсах, что жар тот, коснувшийся его у красного дома, теперь просто ожег Павла. Рада ему! Бежит, протянув навстречу руки, чужая и уже не чужая. «Трио» прекратило свою работу, заинтересованно наблюдая, как эти двое сближаются.

— Явился все-таки! — задыхнувшись, чуть не добежав до Павла, остановилась Вера. — Где ночь провел и весь вчерашний день? — Она явно ревновала: — Кто это тебе рубашку простирнул и выгладил? Ну, ты даешь! От бабы к бабе! — И вдруг помягчала, наперед покоряясь своей участи: — А разве так хорошо, Паша? У нас ведь все заладилось... — Обернулась к «трио», объявила звонко, победно: — А вот и он! Его не облапошите!

Павел подошел к груде ящиков, за деревянными планочками виднелись сливы, крупные черные сливы. И высилась еще груда коробок с фруктовыми консервами — их этикетки были на коробках.

— Абрикосов Митрич пока не прислал, — сказала Вера. — До выяснения, сказал. Да мне одной бы и не управиться. Я ведь без опыта, Паша.

— Но прижима, прижима она у вас, — подошел один из «трио», протягивая руку для знакомства. — Андрей.

Павел пожал руку Андрея, большую, потную, дряблую. Рослый это был мужик, этот Андрей, лет к пятидесяти, сильный, плечистый, грудастый, дрябловатый. Умно, смешливо поглядывали его голубенькие в желтизну глазки с нависшими веками. Облысел этот человек до срока, обвисли у него щеки до срока. Алкарь. А уже другой, и тоже алкарь, тянул для знакомства руку. Это был старый человек или казался старым, седые космы он унимал пятерней, но они не унимались, лицо подергивалось, плечи подергивались, губы, подергиваясь, саркастически улыбались. Он представился, церемонно поклонившись:

— Семен. Вы угадали, знавал лучшие времена.

Представился и третий, молодой верзила, большегубый увалень, еще не решивший, куда качнуться в жизни, и вот качнувшийся пока — пока? — в этот ансамбль «на троих».

— Стасик, — пробасил он и выпрямился, бахвалясь силой.

Все так, все те же персонажи, которые толклись у складских люков его гастронома, только их там побольше было, целыми оркестрами работали, и только уж никто из них там к нему с рукопожатием не лез. Они были тогда по разные стороны стены. Он был на той стороне, где удача, они являли собой неудачу. Вот и перетянули его через стеночку. Сам виноват! Вот теперь и здоровайся с ними, еще и распить бутылку предложат.

— Обмыть бы надо, хозяин, — сказал Андрей.

— Магазин без обмывки — это не магазин, — сказал Семен. — Мы можем сбежать, о чем разговор?

— Чего брать? — уже изготовился к пробежке Стасик.

— Мальчики, не с того конца начинаете! — звонко, радостно прикрикнула на них Вера. — Сперва — работа, а уж потом — винцо.

— А вы не вмешивайтесь, прошу вас, милая барышня, — сказал Семен, тонкой улыбкой смягчая некую бесцеремонность. — Явился опытный человек, авторитетный товарищ, он знает, с чего начать.

— Этот — знает, — подтвердил Андрей.

Да, Павел знал. Он выхватил из кармана, что выхватилось, а выхватились три десятки, разжал их в пальцах, протянул Стасику:

— Три бутылки и пожевать.

Стасик схватил деньги, побежал, сотрясая землю.

— Для дамы не забудь! — крикнул вдогонку Семен. — Дамы обожают портвейн!

— Меня тошнит от портвейна.

— Так я выпью. Я, между прочим, обожаю портвейн.

— Стало быть, с пьянки начинаем?— посуровела Вера, но сразу же опять смягчилась:— Как знаешь, как знаешь, Пашенька.

— Ящики в павильон,— приказал Павел.— побыстрее, побыстрее. И не кидать-бросать, а аккуратно.— Он сам встал в цепочку.— Вера, ты нам не нужна.

— Испачкаете костюм,— сказал Андрей.— Мы — сами.

— Не знаешь порядка,— сказал Семен.— На открытие даже директор гастронома встает к прилавку.

— Ты все знаешь!

— Да, я знаю. Я, может быть, был им, этим директором.

— Где? В каком году?— сразу поверив, вглядываясь в него, спросил Павел, пугаясь своих мыслей, которые побежали дальше, дальше, которые уже обдумывали его самого, сравнивая с этим обмылком человека.

— Незапамятные времена. А вы мне поверили?

— Да.

— Напрасно. Я очень большой выдумщик.— Семен рукой прихлопнул себе рот, поник встрепанной головой, горестно замерев. Но вот уже и опомнился, оживился, устремив вожделенный взор на дверь углового магазина, из которой вот-вот должен был вывалиться Стасик.— Что он там делает столько времени?

Плоские ящики легко переходили из рук в руки, радостно было ощущать их нетяжелую тяжесть, вдыхать этот тоже, как и у дыни, неземной запах — земной, земной, от земли всё!— радостно было понимать, что ты работаешь, радостно было встречаться глазами с Верой, без притворства счастливой сейчас, радостно было забываться.

Примчался Стасик, бухая ножищами. В молитвенно вскинутых руках он нес три бутылки прозрачной, одну портвейна, в сгибе руки у него повис круг краковской колбасы, в сгибе другой он ужимал белый, широкий батон хлеба.

— Что человеку надо?!— сказал-вдохнул Андрей.

Так же; теми же словами, подумалось и Павлу.

— Вера, нацарапай объявление, что палатка еще не торгует,— сказал он.

— Павильон,— поправила она.

— А то сейчас набегут,— сказал Семен.— Этот райский запах распространяется со скоростью звука.

Бутылки и еда были занесены в павильон, там нашелся утлый из пластмассы и алюминия столик, такие же нашлись стулья. Алчущие уже сгрудились у столика, но ни до чего не дотрагивались, ждали хозяина. Кашляли, сглатывали, но терпели. Подошел Павел, неся один из ящичков со сливой, ему протянули широкий, короткий нож, которым можно и хлеб нарезать, а можно и человека пришить, но можно вот легко и споро отделить от ящика две реечки, чтобы слива сама сыпанулась на стол, сладко вычернив, выжелтив его, превращая скудную выпивку в щедрый пир.

Нашлись у Веры и стаканы, она обдуманно начинала свою тут работу. Бутылки будто сами отворились, забулькала в стаканах. Разливал Андрей, выверял, чтобы поровну, Семен, а Стасик только смотрел, учился. Разобрав стаканы — Вера тоже взяла водку, — все поглядели на Павла. Без его первого слова никто бы не посмел сейчас выпить, хотя истомились мужички, губы прикусили.

— Поехали! — сказал Павел. — Пропаду я с вами!

Андрей собрался было снова налить.

— Нет, это все заберете с собой. — Павел был непреклонен. — Обычай соблюдали, а теперь работать. Ящики тащите, а за ними коробки.

— Понимает! — одобрил Семен. — Портвейн тоже можно взять?

— Нужен он мне! — сказала Вера. — Но только вы сначала перетаскайте все.

— Хозяйка, обижаешь! — сказал Андрей. — Вперед, братва!

«Три» кинулось завершать работу. Они спешили, они мелькали, они по ходу дела рационализировали, добиваясь рекорда в скорости, в труде. Причудливо они были одеты. Не трудяги, не работяги, а бедолаги. У каждого в одежде сохранилось что-то от прошлого, от иной судьбы. Семен поверх грязной рубахи имел хорошего кроя жилет, у него были брюки дудочкой, те самые, против которых боролись давным-давно, но впрочем, недавно, как против заморской эпидемии. Андрей был в костюме, изжеванном, как вся его жизнь, но почти модном сегодня, с узкими лацканами. Стасик торчал из отроческой поры тренировочного костюма, обут был в заграничные кеды, выброшенные каким-нибудь маменькиным сынком-акселератором по ветости.

Работа подошла к концу, еще десятка перекочевала из

руки Павла в руку Андрея, и так, чтобы всё «трио» видело эту десятку.

— До завтра,— сказала Вера.— В это же время. Абрикосы могут завезти. Еще консервы.

— Будем!— слитно откликнулось «трио» и исчезло.

— Через годик и я с ними побегу,— сказал Павел.

— Не выпущу!

— Разве что не выпустишь.

— А теперь за работу, Паша.

— Покажи накладную.

— Зачем она тебе? По два рубля за час расхватают.

— А в накладной? Покажи.

— Ну, полтора, рубль двадцать. Два сорта прислали.

— Так и будем торговать. Иначе нас на неделю тут хватит.

— Трусоват ты, как я погляжу.

— Трусоват, трусоват.

— Ты же сорок рублей уже отдал. Проторгуешься!

— Это так,— усмехнулся Павел.— Отдал, как вор, а работать хочу, как честный. Не сходится, это так.

— Знаешь, давай я поторгую. Ты еще и не оформлен, заявления твоего еще нет. Ты только рядом побудь, чтобы видели, что есть около меня человек. Если что, спрос будет с меня.

— Так не пойдет. Кто я, по-твоему?

— Павел Шорохов. Бывший знаменитый директор крупнейшего гастронома. Бывший заключенный. Бывший змеелов. Мой любовник. Тоже, может быть, бывший?

— Жаль, что они всю водку унесли. Жаль.

— Я открываю, Паша. Люди сходятся, покупатели. Первые!

— Что ж, открывай.

### 13

Между открытием и закрытием торговли прошло не больше часа. Вера была права. И никто из покупавших не усомнился в цене, одного боялись, что не хватит или что в следующем ящике слива будет похуже. Павел вскрывал ящики. Он скинул пиджак, засучил рукава, Вера велела ему нацепить передник — она и передник для него припасла,— что ж, так и работают на подсобке: открой, принеси, унеси. А затем награда: бутылка.

И когда кончились сливы, когда последние и уже незадачливые покупатели, скользя обиженными глазами по коробкам с ненужными им консервами, ушли, Павел, шутя, потребовал этой бутылки:

— Хозяйка, с тебя причитается.

— Все тебе будет, Пашенька, все!— В ней еще жил азарт, она сладко пропахла сливой, она готова была на все, хоть немедля.— Здесь? Сейчас?— Она огляделась, ища хоть какой-нибудь затененный уголок, она не шутила.— Одно стекло. Хоть бы какая-нибудь подсобка была, загородочка. Построим!

— Да, а пока нас могут не понять,— усмехнулся Павел.

— Перерыв! Нет, магазин вообще закрывается! Эти консервы никому не нужны! Идем!— Липкой, сладкой рукой, пропахшей сливой и деньгами, богом и чертом, она притянула за подбородок к себе Павла, целуя его, впиваясь в него сладкими губами.

Сгребли, не считая, выручку в хозяйственную сумку, сдвинули ставни, навесили замки и бегом, бегом, да, почти бегом,— к красному дому, жаркому, манящему, сулящему.

Потом уже, когда отделились друг от друга, когда снова только стук сердца в ушах, когда снова дивился высокому потолку, на Павла вдруг такая нахлынула печаль, такая тоска, что хоть криком кричи, как от боли, от страшной боли, как кричал Петр Григорьевич.

— Что с тобой, миленький?— Она этот крик услышала в нем, хоть он и сдержал его в себе, прихватил.— Хочешь выпить?— Она бесстыдно перелезла через него, голая вступила в прорвавшуюся в щель занавесок яркую полосу света, тут теплей ей было идти, она совершенно не заботилась, что ее рассматривают, а может быть, заботилась, чтобы ее получше рассмотрели и трезвыми, отпылавшими глазами. Только очень уверенные в себе женщины не страшатся таких трезвых мужских глаз. Она не страшилась.

Ее комната, пока Вера хозяйничала у бара, Павел оглядел ее комнату, в первый раз всмотрелся во все, что окружало ее, к чему она прикасалась, мимо чего проходила,— вся мебель, все вещи здесь, они были предназначены служить чувственному, нагому этому телу, они ожили от наготы своей хозяйки. Зеркала, много было зеркал. Она все время была видна со всех сторон. Она стоя-

ла к нему спиной, а он видел ее руки, достающие бокалы, она пошла к нему, а он видел ее спину, ее бедра. Красного дерева комод был изогнут, как ее бедра. Две старинные картины на стене продолжали их сюжет, там тем же занимались нагие дамы и нагие кавалеры, чем и они сейчас занимались, но на картинах чуть-чуть стыдились все-таки. В зеркалах и себя он узрел. Не узнал сперва в этих подушках — сухотелого, напрягшегося, но поверженного в мягкое.

Она подошла, неся у груди два бокала, там, в зеркале, возникла картина: нагая красавица, опустившись на колени, протягивала своему возлюбленному бокал с вином. В возлюбленном Павел узнал себя. Он смотрел, как он протягивает руку, как он пьет, как она потом принимает к нему. Это не с ним все происходило, это происходило на тех двух картинах и на той, в зеркале.

Вдруг заверещал телефон — этот вопль из иного мира. Павел не успел удержать Веру, она выскользнула, побежала на звонок, погрузнев, подурнев, будто короче стали у нее ноги.

— Да, он у меня, а где же ему еще быть? — сказала она в трубку, выслушав чей-то напористый фальцет. Павел узнал голос: звонил Митрич.

— Да, за час все продали! Чем занимаемся? — Она оглянулась на Павла, придерживала рукой качнувшиеся груди. — Паш, чем мы занимаемся? — Ей было весело, она была горда своей победой, ее губы сложились для озорного ответа: — Сказать?.. Что, что? — Она разом посерьезнела. — Ох, а мы и забыли! Ну, забыла, забыла! Хорошо, сейчас примчимся! — Вера повесила трубку, пошла к Павлу, подхватив по дороге халат, спряталась в него. — Паша, ведь похороны сегодня. Петра Григорьевича хоронят. Митрич велел приезжать. Раскричался даже. Как это я забыла?..

Пьяноватый, выпитый, Павел явился на похороны друга. Ну, пусть не друга, а человека, которого уважал. И человека, от которого последние принял слова. И ту тетрадь... Все забыл! Успел уже и провороваться и издаляться. Все забыл! Он клял себя, ему было стыдно людям в



глаза смотреть. А Вера, эта бойкая, напористая бабенка, эта нагая красавица, эта, не поймешь, кто еще, а она сейчас в своем черном, строгом платье — успела, сообразила, что надеть, хотя собрались за минуту, — она сейчас была сама печаль, сама скорбь. Только глаза бедовые никак не могла пригасить, золотые свои цепочки и браслеты забыла снять, и рдели сухо у нее губы, она забыла их укрыть помадой.

Лена взглянула на Павла, когда он робко встал в дверях комнаты, где теперь лежал в гробу Петр Григорьевич, и отвернулась. Коротко взглянула, но этот взгляд обжег Павла. Она была какая-то на себя не похожая. Без сестринского своего халата, поэтому? Она была не в черном, а белом платье, печаль жила не в цвете ее одежды, хотя и белый цвет сродни печали, а в ее лице. Она не наигрывала печаль, не надумывала для себя ее, печаль владела ею.

В комнате было полно народу, много женщин, многие плакали. Мужчины были в своих вечерних темных костюмах, женщины в своих нарядных темных платьях. Показалось, все вырядились, чтобы идти в театр, но посреди комнаты стоял гроб, он уже утонул в цветах, только лицо Петра Григорьевича белело. Похорошевшее лицо. Смерть отпустила или так гример исхитрился? Таким был Петр Григорьевич раньше, лет с десятков назад. Это было лицо сильного человека, справедливого человека — в том неправом, увертливом мире, в который неведомо как занесла его судьба.

Мужчины, пришедшие проститься с Петром Котовым, были немолоды, осанисты, грузноваты. Многих Павел знал, узнавал, хотя за пять лет, всего за пять лет иные из них превратились в стариков. Мужчинам было в тягость молча стоять у гроба, а тут, в этой узкой комнате, затеяли что-то вроде почетного караула, время от времени происходило движение: одна четверка отходила от гроба, другая подходила, двое вставали в ногах, двое в голове.

Митрич появился за спиной у Павла, вытолкнул его вперед.

— К голове, к голове, другом тебе был. — Митрич тут всем распоряжался. — Саша, и ты теперь постой.

Скосив глаза, Павел увидел стройного паренька в солдатской форме с ефрейторскими лычками. Солдатская одежда была новенькой, хорошо подогнанной, с каким-то

явным вольным допуском, когда солдат одет не хуже офицера, а, приглядишь, и получше. Сын был больше похож на мать, красив ее былой румяной красотой, но статен был в отца. Парень тоже скопил глаза на Павла, из мужчин они тут самыми молодыми были, между ними возник союз. Павел, нарушая ритуал, положил парню руку на плечо, а тот кивнул ему.

И женщины, собравшиеся тут, были немолоды, но были и очень молоденькие, начинающие, наверное, продавщицы из магазина Котова. Этим все было тут внове, интересно, занятно, они даже не умели притвориться печальными. То, что случилось с этим старым человеком, справедливым, по-пустому не гонявшим их, и которого конечно же очень жаль, это страшное, что случилось с ним, их самих не могло коснуться, бесконечно было далеко от них, бестревожно далеко.

Печаль в этой комнате держалась на двух женщинах. На Тамаре Ивановне, которая еще ничего не поняла, беду свою еще не расслышала и только как бы прислушивалась к чему-то, плача, но только как бы готовясь еще к слезам. И печаль жила в Лене. Она поближе была к смерти, чем все тут, знала, как умирают люди. Смерть этого человека, последние дни, как он их прожил, слова, какие она от него услышала, возвысили его в ее глазах, он ей близким стал, хотя она и была приставлена к нему по долгу службы, работала у него за деньги.

А сын, о котором так горевал Петр Григорьевич, а мальчик этот в сшитой на заказ солдатской форме, что у него на душе? Павел не снимал руки с его плеча, Павел верил, хотел верить, что этому мальчику, сыну покойного, что ему сейчас тяжело, больно, что он потому только не плачет, что еще не осознал до конца свою потерю. Сам же Павел терзался, винил себя, что забыл об этом человеке в гробу, что явился к нему, сам себе противный, сам себе ненавистный. Вера догадливо не лезла к нему на глаза, забилась в уголок. Но все равно и из угла этого, отразившись в стеклянной поверхности двери, светились ее глаза, поблескивало ее золото.

В этой узкой комнате, всегда бывшей жильем, среди мебели и вещей для жизни, затеяли держать речи, как если бы прощались с человеком в каком-нибудь торжественном зале, специально предназначенном для этого, со стертыми приметам жизни.

Собравшиеся были не ораторами. Слова давались им

трудно, они повторяли друг друга. Только и звучало: «Такой человек... Наш Петр Великий... Пусть земля ему будет пухом...» Сколько этого земляного пуха понесли к гробу, горы целые, пока Митрич, а он вел панихиду, тоже помянув этот пух, подвел черту церемонии.

Теперь надо было вынести гроб. Понесли друзья, среди которых оказался и Павел, оказался и Митрич.

Автобус уже ждал, по полозьям гроб вскользя в его нутро. Все стали рассаживаться, чтобы ехать на кладбище,— кто в автобус, кто в свои собственные машины. Тут ни одной не было «Волги», но и ни одного «Москвича» или «Запорожца», тут царили только «Жигули». Это были совсем новые машины, со всяческими усовершенствованиями, с мощными фарами, высокими или круглыми антеннами, с солнцезащитными устройствами, с дисками по специальному заказу, на ветровых стеклах этих машин обязательно покачивались какие-то куколочки, амулеты, даже скелетики. Павел понял, взглянув на машины, что за народ приехал проститься с Котовым. Деньги были, да, деньги у них были, но положение обязывало их не прыгать выше «Жигулей». Это все были торговые боссы из небольших магазинов, умный все народ, не вылезавший и не бахвалившийся тем, что имел. И все же и вылезало их существо и бахвалилось. Умные мужики, а наряжали свои машины, как купчицы дочерей.

Тронулась автобус. Тронулась вереница «Жигулей». Павел насчитал их до десятка в эскорте. Что же, с почетом покатыл в свой последний путь Петр Котов. Или же невелик был этот «жигулиный» почет? Не поймешь. С какой меркой подходить. Жаль, а вот жаль, что никто не поехал за автобусом на мотоцикле, на таком вот тигре, на котором гонял Петр Григорьевич почти до самой своей смерти. И чтобы рык моторный взорвал тишину, перерывав это «жигулиное» урчание. Павел наклонился к Саше, они сидели в автобусе рядом:

— Ты-то водишь мотоцикл?

— Нет, не моя стихия.

— А твоя — в чем?

— Ну, как вам сказать?..

— Теперь, наверное, из армии его отпустят?!— встрепенулась Тамара Ивановна и с надежной поглядела на Митрича.

— Похлопочем, подключим кое-кого! — обнадежил Митрич.

- Сколько тебе осталось служить?— спросил Павел.
- Сто пять дней.
- Дни считаешь?
- А ты не считал?— спросил Митрич.
- Сравнил!
- Все одно — несвобода.

Автобус катил, они сидели у изголовья гроба, накрытого крышкой, и вот так разговаривали, уже отрешаясь от человека, которого провожали на кладбище, готовые друг с другом заспорить, уже было заспорившие. Павел одернул себя, не стал возражать. Да что ему Митрич? Этот круглый колобок укатился и тут от горя, какие бы грустные мины он не строил. Он тут распорядился, а не прощался, он стал нужен Тамаре Ивановне, ее сыну, он понимал, что нужен, и что-то уже для себя выгадывал из этого положения. Но почему он так кинулся искать какие-то записи, какие, возможно, остались после Петра Котова? Чего он испугался? Тетрадь, спрятанная в камере хранения на Рижском вокзале, все сильнее притягивала к себе Павла. Но и боязно ему было. Что там? Это как с нарытой кучкой земли под высохшим, но живым стволом саксаула в пустыне. Раз нарыта земля, значит, кто-то там есть, укрывается. Варан? Фаланга? Или там клубок змей? Но все ли они там, не уползла ли какаянибудь добычей? Оглянись, прежде чем ворошить это гнездо. Помедли, подумай. Вот Павел и медлил, боясь заглянуть в тетрадь, боясь, что начнут из нее выскакивать такие новости, которые не менее ядовиты, чем змеи. И снова спрашивал себя, почему ему, а не этому вот вполне уже взрослому парню, родному сыну, завещал свою тетрадь Петр Григорьевич?

— После армии чем собираешься заняться?— спросил у Саши Павел.

— Еще не решил.

— Пойдет в институт!— горячо сказала Тамара Ивановна, будто споря.

— В какой, мама?

— А в такой, где получишь хорошую профессию. Это уж твоя забота.

— А мы поможем, поможем!— подхватил Митрич.

— Зачем, мама, зачем мне ваш институт?

— Как это?!

— Сколько я буду получать, когда я его кончу? Сто двадцать?

— Так, так, так!— заинтересовался Митрич.— По стопам отца, может быть, хочешь пойти?

— Нет, те же сто двадцать, ну, двести, если не красть.

— Ну, это грубо!— сказал Митрич.— Мы, знаешь ли, головой работаем. Государство от нас получает все сполна, до копеечки.

— Рад за вас, если вы такие хорошие,— улыбнулся парень.— А я буду телевизоры чинить, радиоприемники, мерекаю немного в этом деле, дружки, если надо, подучат, курсы там какие-нибудь кончу. Это в свободное время, в дневные часы.

— А в вечерние?— поинтересовался Павел.

— Буду стучать на барабане, на тарелочках. Я — ударник.— И Саша, забывшись, легонько простучал пальцами по крышке гроба, но тотчас отдернул руку.

— Он и в армии в оркестре служит,— сказала Тамара Ивановна.— Конечно, и это профессия, но там избаловаться можно.

— Везде избаловаться можно,— глянув на Павла, улыбнулся Саша. Он вообще был улыбочивый, и он был спокойный, миролюбивый, он возражал, не горячась. Похоже было, что он давно все для себя решил. И похоже было, что он ни в грош не ставил советы матери да и этого Митрича. Наверное, внимательно и улыбочиво выслушивая отца, он и с его мнением ничуть не считался. Своей мудростью жил паренек, улыбочивый, невозмутимый, иногда чуть-чуть ироничный. Новой чеканки поколение. Они свое возьмут, но без риска. Учиться? А зачем? На починке телевизоров, кончив какие-нибудь краткосрочные курсы, можно иметь много больше, чем имеет опытный инженер. А для души, да и для денег, снова для денег,— работа в каком-нибудь ансамбле, которых нынче столько, что даже в Кара-Кале один обосновался. Кричат, приплясывают, вихляя, безголосые, кудлатые, победоносные.

— Но музыке тоже надо учиться,— сказал Павел.— Годы и годы.

— Можно и так, а можно и сразу. Смотря какая музыка. Теперь у нас другая музыка.

— У нас, это у кого же, у молодых?— спросил Павел.

— Да, Павел Сергеевич. Даже вам нас уже не понять. А вы еще не совсем старый.

— Все же не совсем?— улыбнулся Павел, невольно перенимая эту спокойную улыбку.

— Не совсем,— улыбнулся Саша, благожелательный, разве чуть-чуть ироничный.

— Что говорить, неглупых ребятишек мы слепили,— сказал Митрич.— Молодость пройдет — возьмутся за ум. Время еще для них не подоспело. А ум есть и спокойствие есть. Ценное качество — спокойствие. Стал замечать: умная у нас подрастает молодежь, спокойная. Не все, конечно, некоторые. На них и надежда. Что ж, барабань, Сашенька, барабань, чини свои ящики, чини. А надоест, вспомни, что был у твоего отца верный друг — Борис Дмитриевич Миронов. Александр Котов, сын Петра Котова. Это звучит. Поможем!

Так они ехали, сидя в похоронном автобусе, так разговаривали. Пресекалась жизнь, продолжалась жизнь. Того ли хотел для сына отец, иного ли, теперь уже неважно, он уже ничего не может теперь поделать. Он мучился, умирая. Не только от боли. «Жаль сына... Жаль жену...» Он платил, расплачивался за всю свою жизнь этой предсмертной мукой.

Хоронили Петра Котова на Долгопрудном кладбище. Оно было за чертой Москвы, из недавних. Здесь еще не тесно было. Здесь можно было предать земле тело, а не всего лишь пепел от тела. Петр Григорьевич по старинке хотел лежать в земле, это была его воля, высказанная жене незадолго до смерти. Больше ни о чем он для себя не попросил. Больше никаких напутствий, никаких пожеланий. Как ни выпытывал Митрич, никаких пожеланий, никаких поручений. Хоть записочки какой-нибудь после него не осталось ли? Ничего.

Долгопрудное кладбище было расчерчено на ровные квадраты, и эти квадраты были уже в обступы молодых деревьев, уже рдели цветами, венками. Но все же это еще было поле, недавний луг. Годы должны были пройти, чтобы стало кладбище кладбищем, затенилось, укрылось деревьями. Пожалуй, когда это случится, сюда уже Москва подойдет, окружит это скорбное место высокими белыми домами, замкнет, как замкнула некогда окраинное Ваганьково.

— Здесь бы и себе место прискаты,— сказал Митрич, подставляя плечо под гроб, когда выносили его из автобуса.

— Рано тебе, Митрич, об этом думать,— сказал кто-то из несущих гроб.— Ты живучий.

— Бог про это знает, а не мы с тобой. Нет, сюда не лягу, церкви нет.

— Давно ли, Борис Дмитрич, стал ты верующим?— спросил Павел, они шли рядом, и Павел никак не мог попать в ногу с семенящим Митричем, сбивался с ноги.

— Давно, а сейчас и подавно.

— Мода?

— Мода — это спрос. Знать бы надо, товарищ экономист с высшим образованием. Ну, распахнули павильон? Начали?

— Вроде бы.

— А Павел-то у нас, Шорохов-то, заведует теперь фруктовым павильоном!— громко объявил Митрич, полагая, что эту новость в самый раз сейчас сообщить тем, кто нес гроб, и тем, кто был поближе, шел за гробом.— На пару с Веруней нашей взялись за дело! Такие пироги! Еще и сосватаем их, как это водится у танцевальных пар в фигурном катании. Чем не фигуристы?

Смешок прошел среди тех, кто нес гроб.

Павел оглянулся, не услышала ли Митрича Лена. Она шла далеко позади, понурившись, отрешенно. Кажется, не услышала. А в самом конце процессии шла Вера, окруженная мужчинами. Кружок ее вел бойкую беседу, там смеялись, воровато прихватывая ладонями смеющиеся рты.

— Поженим, поженим!— не унимался Митрич.— Переведем «де-факто» в «де-юре».— Он было засмеялся, тоненько, радостно.

Павел недобро глянул на него.

— Забыл, Колобок, по какой земле катишься? Гроб несешь.

— Не горячись, не горячись,— делаюсь строгим, спохватился Митрич.— Твоя правда, хотя он не услышит. Между прочим, он меня Колобком не называл.

Так подошли они к открытой только что могиле, еще даже дорываемой — один из рабочих еще был там, в яме. Оттуда взметалась на отвал от невидимой лопаты земля.

Гроб установили на легкий помостик, сняли крышку, чтобы можно было в последний раз поглядеть на Петра Котова, в последний раз проститься с ним. Он незряче глядел в беспечальное летнее небо, он ничего уже не чувствовал, ни о чем уже не думал, но казалось, что думал, думал. Отмучился, но все еще не до конца.

Заплакала Тамара Ивановна, громче, чем дома, откровеннее, осмысленнее. Подошел сын, обнял ее за плечи. Он поступил, как ему полагалось поступить, но был он спокоен. Выдержка? Равнодушие? Неужели он не любил такого отца — рискованного, смелого, щедрого? Тогда кого же любить? Нет, это выдержка, это выдержка, парень в той поре, когда дорожат такими пустяками, как умение не выказывать свои чувства. Но лучше бы он заплакал.

Речей не было. Тут бы и сказать об ушедшем человеке, тут, под этим небом, среди этих могил слово бы прозвучало. Но тут говорить о Петре Котове ничего не стали. Неподдалеку еще одна была свежая могила, там тоже только что установили на помосте гроб. Там звучали речи, ветер приносил обрывки фраз, там восхвалялась человеческая жизнь. Здесь прощались молча. Отговорили все дома?

Павел подошел, наклонился, поцеловал холодный лоб, шепнул, сами слова вырвались:

— Помню, помню, Петр Григорьевич.

Рядом встала Лена. Она тоже наклонилась и поцеловала Петра Григорьевича, крестик выскользнул из ее разжавшейся ладони, упал к нему на грудь, затерялся в цветах.

— Господи, прими его грешную душу!.. — Лена торопливо отошла, крестясь.

Много народу столпилось вокруг гроба, а прощание вышло коротким, даже поспешным. Без обряда уходил Петр Котов. Не как коммунист, он им не был, не как верующий, он им не был, не прославленный в работе человек, он не был прославлен, напротив, ему слава бы повредила, не воевавший, он на войну не поспел, не было возле него никаких подушечек с наградами. Вот если бы поспел на войну, на года бы два-три раньше родился, может, с зачина этого и вся жизнь его иначе пошла? Поздно теперь об этом толковать. Хоть бы мотоциклисты, гонщики пришли бы к могиле проститься со своим товарищем, шлем бы на могилу положили, ведь дружное же племя, эти мотоциклисты. Но Петр Котов в одиночку гонял, он не был и из этого племени.

Стали опускать в могилу гроб, стали кидать на крышку громкие комья земли. Потом в три лопаты, кладбищенское и тут «трио» быстро засыпало гроб, быстро выровняло могильный холмик, быстро удалилось, получив у Митрича свой гонорар. Их ждала новая работа, людям свойственно



умирать. Это «трио», кладбищенское, было собрано не из бедолаг, в него входили молодые и спорые мужчины, одетые в ладные спецовки, больше всего похожие на геологов. Возможно, они и были геологами или там какими инженерами, приватно подрабатывающими на кладбище? Спокойный был народ, корректный, хотя быстрая, азартная работа, выгодная работа нет-нет да и побуждала их к улыбке.

Провожавшие, проводившие тоже заспешили к воротам. Только близкие остались у могилы, но скоро и они пойдут. Их ждали у ворот, торопили взглядами. Предстояли поминки. Вот поминки — это был обряд, который годился и для Петра Котова.

## 15

Назад ехали быстрее, гнали машины, кое-кто из «Жигулей» перегнал автобус. В этой скорости угадывалось избавление, отрешение от трудного, тягостного, от печали.

И вот в той же комнате, за тем же столом, на котором стоял гроб, но теперь этот стол был укрыт белоснежной, накрахмаленной скатертью и был заставлен тарелками с едой, тесно уселись, сгрудились поминальщики и поминальщицы Петра Григорьевича Котова. Как говорится, ломился стол от яств. Хоть этим изобилием да можно было установить ранг человеческий усопшего. Если было что-нибудь в Москве дефицитного, копченые угри там среди лета, бледно-розовая семга, стерлядь, да, стерлядь, будто закружившаяся на блюде, вчера, ну, позавчера еще плескавшаяся в верховьях Камы, каспийские громадные раки, дальневосточные розовые креветки, балтийские золотые копчушки,— всё, весь рыбный дефицит был представлен на этом столе. Тут царили дары рек, морей и даже океана. И только громадное блюдо румяных пирожков на краю стола было не из рыбного парада. Водка стояла не в бутылках, а в хрустальных графинах, хрусталя было столько, что он сам между собой завел разговор, непрерывно позванивая.

Место всем за главным столом не хватило, хотя чуть ли не на коленях друг у друга сидели. Был накрыт и еще стол, были сдвинуты тумбочки, ступившие уже за порог комнаты, в коридор, но яства и там были все те же. Пожалуй, таким столом остался бы доволен и хлебосольней-

ший Лефорт, ожидающий к себе в гости друга своего царя Петра.

Как расселись за главным столом? А пожалуй, как во времена молодого Петра, когда еще сила была за боярами, когда чинились бояре, задами выжимая себе попочетнее место на лавке, поближе чтобы к царю. Во главе стола рядом с Тамарой Ивановной и Сашей круглился Митрич. Далее, по правую и по левую руку, строго соблюдая какой-то незримый, но явственный чин, уселись солидные, плотные мужчины, где-то у себя, в недрах торговой Москвы, так-то и так-то авторитетные. Павел присмотрелся, он знал тут многих, это были все больше рыбного товара мастера, «океанологи», как их шутя звали в торговом мире, хотя Петр Григорьевич никогда специально рыбой не занимался, заведая небольшими магазинами, торговавшими фруктами, овощами и вином, ну и рыбными консервами.

Да, а где же сам Павел очутился, так сказать, друг покойного, участвовавший в несении гроба? А он у самого порога очутился, деля половину табуретки с каким-то моложавым, облыселем, вертлявым гражданином, украсившим свою длинную, кадыкастую шею официантской черной бабочкой. А где была Лена? Осталась на кухне, чтобы помогать хозяйке, которой было не до хозяйских забот. Сама, наверное, вызвалась, ее бы не посмели отодвинуть, задвинуть. А где была Вера? Ее напористый голос доносился тоже из кухни, но там она была за командира. Всё так, все на своих местах. Здесь, у порожка, и должен был сидеть прогоревший человек, из милости получивший от Митрича кой-какую работу, продавец сезонного товара.

Митрич поднялся, спросил строго:

— У всех налито?— Он выждал, когда у всех будет налито, переждал хрустальный перезвон.— Вот собрались мы тут все свои, чтобы помянуть нашего друга Петра Григорьевича Котова. Он у нас не лез в большие шишки, скромно трудился, но всегда мог принять друзей, всегда мог.— Митрич повел рукой, показывая столы.— Петром великим мы его звали. Заслужить было надо такое имя. Помянем!— Митрич зачем-то прикрикнул фальцетом:— Не чокайся!— И снова прикрикнул:— Стоя!

Все поднялись, что сделать в этой тесноте было непросто, особенно если помнить, что потом надо будет снова сесть на свое место, не дать себя сдвинуть. Водку глотали

старательно, истово. Даже кому нельзя,— печень там, почки, сердце,— в такой день можно. Все в тебе большие органы в такой день здороваются, ибо ты живой, ты поминаешь, не тебя, а ты поминаешь, и человека, который был моложе тебя, казался прочнее тебя. Пей, стало быть, не раскисай! Еще поживем!

Когда на поминках дан верный зачин, когда даже покрикивают на тебя, чтобы выпил, и когда такое угощение, то весьма быстро могут превратиться поминки в обыкновеннейшую пьянку. Говорят, что так оно и нужно, чтобы горе разжать. Но пьют-то на поминках не те, кто в горе. Говорят, что вдове — почему-то всегда вдовы остаются, а не вдовцы, не мог сейчас вспомнить Павел, что бывал на поминках у вдовца — поминки нужны, чтобы ощутить свое одиночество, чтобы не утрашиться будущим, что есть, мол, друзья, они не оставят. Друзья, действительно, они не оставят, если это только на самом деле друзья.

Быстро пьянел народ. Шум начался. Говорили в разных концах и все сразу. Пили, крича, чтобы не чокались, это самым главным было, чтобы не дай бог не забыл кто-нибудь и не стукнул о чужую рюмку своей. И уже давно, сперва опасливо, а потом дав себе полную волю, где-то, кто-то чему-то смеялся, и звенел хрусталь все громче, звонче. Конечно же говорили о делах, о своих делах. Рыбка была на столах, рыбка жила в разговорах. Трудновато стало с этой самой рыбкой, прижали товар. Океан, он родил, как и раньше, хватало еще осетров и в Каспийском море, не перевелась еще рыба и в реках, но «прижали товар», за каждым хвостом по ревизору. Их бы в рыбаки, на сейнеры, этих ревизоров, чтобы не мешали торговать. Вдруг возник тост. Он как бы у всех разом к губам подступил, вскочили сразу несколько из самых солидных мужчин, перебивая друг друга, заговорили, слагая свой, но и общий тост. Слова смешались, затолкали друг друга, но одно слово из общего гама вынырнуло, утвердилось, это слово было чужеродно, слово-уродец, что-то вроде гибрида — стерляди и белуги — «бестер». Это слово было — дефицит. Пили за его величество дефицит!

Митрич подхватил этот тост.

— Конечно, не к месту, не тот повод,— сказал он.— Но можно выпить. И тут уж надо чокнуться. Хрусталь об хрусталь!— приказал он.

Зазвенел хрусталь, дождался своего мига.

— Что говорить,— продолжал Митрич.— Откровенно

скажу, свои люди, признаюсь. Дефицит — это наша последняя зацепка. Красть? У государства нашего? Да боже упаси! Но... если чего-то нет, а ты сумел, достал, уважил человека, так почему же не?..— Тут Митрич пощелкал пальцами в поисках нужного слова, но так и не нашел его.— Короче говоря, хрусталь нас понял.

Хрусталь понял, он звенел, ликовал, он не привык к поминкам, они томили его, глушили.

— Павел! Шорохов!— так и не садясь — разошелся речи держать,— позвал Митрич.— Ты-то почему в дверях сидишь? С высшим-то образованием среди нас, самоучек? Ну-ну, поскромнел, это хорошо. Друзья, вот вернулся к нам Павел Шорохов. Поел трески или там нототении этой, отмучился. Принимаем?

— Принимаем!— гаркнул стол.

— Во фруктовый павильон пока откомандировал его. Комплексно теперь я торгую, братцы, и рыбой, и фруктами. Когда это было? Никогда! Разных ароматов товары. А теперь велят. Комплексно велят жить. Тут надо подумать, не сулит ли что нам это слово. Паша, ты подумай, полистай институтские конспектики. Как торговать-то начал? Себе в убыток небось? Ты Веру пожалей, напарницу свою. Да ты отчего невеселый?!— Спросив, Митрич спохватился, смутился, торопливо усаживаясь, проборматывая:— Да, да, ну, ну, всем нам сегодня невесело, это так.

Непонятный вдруг звук послышался в комнате, все прислушались: всхлипывала Тамара Ивановна, вытянулся этот всхлип, вызвенился, стоном стал.

— Мама! Ну что ты, мама?!— Сын обнял мать, спокойный, сдержанный, с сухими глазами.

Павел поднялся и вышел в коридор, вошел в комнату, где провел ночь, где пребывал еще мотоцикл-тигр, хотя и потесненный уже к стене. Эта комната сейчас служила подсобкой для кухни. Тут на стульях, на койке, даже на широкой спине «тигра» были наставлены блюда со сладостями. Какая-то женщина, с подобранной под белую косынку пышной косой, занималась сейчас тут этой кондитерской на дому. Тут пахло ванилью, корицей, тут пахло сладко и приторно после прокопченного угара, из которого выбрался, откуда сбежал Павел. Но тут еще сберегся запах бензина и смазки, этот запах показался Павлу живым.

Женщина обернулась к Павлу. Он не сразу узнал ее,

хотя, едва вошел, понял, что знает эту женщину. Она изменилась, постарела, стала сильно подкрашиваться, а раньше совсем не красилась, чем и пленила его. И еще эта редкостной красоты коса, за которую Зинаиду звали в ее отделе спорттоваров боярышней. Да, это была Зинаида, его бывшая жена, мать Сережи.

— Вот и встретились,— сказала она.— Что ж это ты так?

— Как?

— Сына во дворе подкараулил. Ну, знает он о тебе, решила не скрывать, но надо бы было, чтоб я сама вас познакомил. Все с насюко, не переменялся.— Она рассматривала его, недовольно сведя брови.— А ты, говорят, уже пристроился? Господи, Верка! Переходящий красный вымпел! Как думаешь помогать сыну? Если с зарплат, так какая у тебя там зарплата. Надо, Павел Сергеевич, по совести сыну помогать, с реальных доходов.

— Буду. По совести. До сих пор помогали?

— Из чужого кармана. Я брала, конечно. Парень растет. То нужно, другое нужно. А Валентин мой что добудет, на себя и сбудет. Тоже подарочек! Как начало мне с тобой не везти, так до сих пор не везет. А ты мало изменился. Что им, мужикам?! Их сажают, а они еще краше делаются. Подтянулся, жирок-то согнали. А шрамы-то какие! Только на руках или еще где? Ох, Паша, а ведь я тебя любила!

— Никогда ты меня не любила, Зина. Никогда.

— Виношь, что вышла за другого? Подумай, тебе восемь лет присудили. Знающие люди говорили, что потом еще добавят. Никогда не думала, что вернешься через пять, что вернешься таким.

— А ты все же думала, прикидывала?

— Ты, что ли, был мне верен? Мне потом про тебя порассказали! И опять, только вернулся — и к Верке в постель. Знакомых там не встретил? Меня не вину, себя вину.

— Как ты тут очутилась? Почему на кладбище не была?

— А пирожки? Ты разве по пирожкам не понял, что я здесь? Забыл мои пирожки?

— Забыл.

— Ничего, Верка тоже способная кулинарка. Многие нахваливали.

— О сыне когда поговорим?

— А мы разве не поговорили? Должен ему теперь помогать — вот и весь разговор. Я так решила: встречаться вам часто не надо. Какой ты ему пример? Я расспрашивала, о чем у вас был разговор, а он ничего и вспомнить не смог. Про собак, говорит, разговаривали. Пусть уж растет без отца, если так получилось.

— Как с ним твой муж? Что он у тебя за человек?

— Да ты с ним только что на одной табуретке сидел.

— Ах, это он?!

— Ах, это он! Не понравился? Какой уж есть. Смешно, я глядела, сидите рядом, а не знаете, кто есть кто.

— Да, смешно.

— Познакомить?

— Нет. В другой раз как-нибудь. Он что же, часто бывал у Петра Григорьевича?

— В первый раз сегодня. Митрич позвал меня. Из-за пирожков, ну и мужа разрешил прихватить. Стол отличный, верно?

— Верно, стол отличный. Я пойду, Зина. Вот, возьми для сына... — Павел выхватил из кармана пиджака вместе аж с оберткой то, что оставалось от тысячерублевой пачки десяток. — Тут сотни четыре, не считал.

— Хорошо живешь!

— Хорошо.

— Но это на какой срок? Ты уж уточни, мне точность нужна.

— Хорошо, уточню. Как ему живется все-таки, как ему живется, Сереже?

— Станный вопрос. Как мне, так и ему. Иди, раз собрался уходить. К Верке спешишь? Она на кухне командует. Поддатая!

Павел повернулся, рукой тронул, как за дерево подержался, мотоцикл, прощаясь с ним теперь уже навсегда, и вышел из комнаты.

В коридоре, у вешалки, стояла Лена.

— Я ждала вас, — торопясь и шепотом заговорила она. — Вы уходите?

— Да.

— Тогда подождите меня у входа в метро. Обязательно подождите. Минут пятнадцать, двадцать. Я вырвусь. Обещаете?

— Обещаю.

Близилась сумерки. Солнечный диск, идя на закат, ново зажег окна, но другие, не те, что утром. Дома тут,

выстроенные так, чтобы окна в них смотрели и на восток и на запад, вспыхивали, как от пожара, и утром и вечером. Но не сгорали. А сгорали люди, жившие в них. Они умирали и утром, и вечером, ночью и на рассвете. А сперва, еще до смерти, задолго до смерти, тяжкая овладевала ими мука: так ли жили? Одни доказывали себе, что так. Другие сомневались, торговались с совестью. Третьим не дано было и это сомнение.

Уходя, проходя мимо, Павел вслушался в развеселый гул, вырывающийся из окна комнаты, где еще недавно жил Петр Котов. Веселье это перечеркивало его жизнь.

## 16

Павел присел на ту же скамью возле входа в метро, на которой собирался с мыслями вчера утром. Вчера утром! Опять так тесно сгрудились события, что от вчерашнего раннего утра до сегодняшних сумерек не полтора дня прошло, а какой-то совсем иной срок, долгий, вытянувшийся, истомивший, как долгая дорога. И не туда дорога. Идешь, а чувствуешь, что надо будет назад поворачивать, что заблудился. Но назад повернуть решимости нет, далеко слишком зашел, вымотался.

Поминки эти еще гудели в нем. Он весь пропах ими, рыбный и ванильный запахи засели в ноздрях. Он сейчас вдыхал запах угретога асфальта, чтобы отдышаться. На этих поминках, беспамятных к умершему, еще и поглумились над живым. Над ним, над Павлом Шороховым, глумился там Митрич, вымарывал его, рассказывая всем и про фруктовый павильон, куда пристроил Павла, и про Веру, к которой пристроил Павла. Шутил будто бы, благожелательствовал, но цель была иной. Зачем-то надо было Митричу его унижить. Чтобы отныне знал свое место? Кем был, забудь, помни, кем стал. Он и так про многое забыл, он и так знает, кем стал, кем становится, потому и сел в дверях.

Особенно противно было Павлу, что угораздило его поделить табурет с этим вертлявым официантом, с нынешним мужем Зинаиды. Из головы не шел разговор с Зинаидой. Все не так, все не то! Как очутилась Зинаида со своим мужем дома у Петра Григорьевича, где раньше никогда не бывала? Из-за пирожков? Вот так пирожки! Вот так Колобок!

Теперь он ждал Лену, сестру милосердия, которая станет наставлять его на путь истинный, укорять словами, как укоряла взглядами. Может, вручит ему крестик, помолится за него? Ее-то он зачем ждет? Мало ему?

Павел встретил Лену враждебно:

— Плохой я, ну заблудший, знаю об этом. Можете не говорить, знаю.

Она села рядом с ним, быстро взглянула на него, улыбнулась.

— И не собиралась. Я только хотела спросить, вы тетрадь ту прочли? Я не спрашиваю, что там. Но прочли? Умиравший завещал, это воля умирающего.

— Еще даже не раскрыл. Негде.

— Я думаю, у Веры дома читать вам тетрадь не следует.

— Я тоже так думаю.

— У меня сегодня ночное дежурство. Я одна живу. За ночь и прочитаете. Поехали?

— К вам?

— Я знаю, я уверена, что у вас куча друзей в Москве, но все станут спрашивать, что читаешь, про что там. А у меня никого нет. Будете чаек попивать и читать. Павел, не зря умирающий отдал вам эту тетрадь. Я знаю, как умирают люди. Это важная тетрадь.

— Там еще все расшифровывать нужно. Смогу ли?

— Вы не бойтесь, вы начните. Он на вас рассчитывал. Он даже со смертью потянул, ждал вас.

— Со смертью разве потянешь?

— Можно, если очень нужно. Поехали, вы не бойтесь. Павел поднялся, злой, что его понуждают, что опять куда-то ташат.

— Вас, что ли, мне бояться?

— Не меня, тетради.

— Тетрадь можно и захлопнуть. Вы где живете?

— Рядом с Садам имени Баумана. Улица Маркса.

— А я раньше жил на улице Чкалова. Также рядом с Садам Баумана.

— Видите, какое совпадение. Соглашайтесь.

— Хорошо, поехали. Но сначала надо заскочить на Рижский вокзал, в камеру хранения.

— Хорошо, заскочим на Рижский. Только на метро, ладно?

Они вошли в метро. Вступая на эскалатор, Павел взял Лену под руку. Так они и спустились, стоя рядом. Со сто-



роны взглянуть, ехала куда-то парочка, но не совсем пара друг для друга. Мужчина был красив, отлично одет, загар его был загадочен, а женщина рядом с ним, хоть и была она молода, выглядела серенькой в своем белом, немодном платье, которое, наверное, сама и сшила.

В камеру хранения Павел пошел один. Лена осталась ждать его у входа. Она всю дорогу старалась не досаждать ему, не напоминать о себе, помалкивала. А он думал о своем, и хмурыми, злыми были его мысли, он там еще был, на этих поминках, где его высмеяли, вымарали.

Он вышел к Лене, помахивая чемоданчиком, стройный, поджарый, решительный, красиво-хмуроватый. Это со стороны если взглянуть, а на самом деле он был растерян, подавлен, чемоданчик в руке пугал его, чужим казался.

Лена жила в высоком панельном доме, еще новом и со всякими новыми затеями. Сперва надо было нажать на три кнопки, сообщив некоему устройству в ящике на двери тайный код, и тогда лишь дверь отворилась.

— Наш код — двести пятьдесят семь, — сказала Лена. — Запомнили?

— Двести пятьдесят семь, — машинально повторил Павел. — А зачем это мне?

На этаже, прежде чем очутиться у двери своей квартиры, Лена должна была отомкнуть дверь, которая впускала в коридор, общий для трех квартир.

— Соседи настояли, — сказала Лена. — У меня красть нечего.

— А невинность? — скверно пошутил Павел. Обозленный, обиженный человек всегда норовит кого-нибудь тоже обидеть, и почему-то чаще всего того, кто добр к нему.

Лена промолчала, только взглянула на него прямо, будто удивилась, а потом занялась замком.

— Вот мы и дома, входите, Павел Сергеевич.

Из крохотной передней вся сразу открылась квартира, вернее, квартирка. Шаг туда, шаг сюда — и Павел все сразу разглядел тут, весь мир этой женщины, мир ее дома, простой, без утаек. В передней висел вырезанный из «Огонька» и наклеенный на картон портрет Есенина. В комнате, на книжной полке, стояла в бедном окладе икона — женщина, склонившаяся над младенцем. Шкаф из недорогих, телевизор из самых недорогих, тахта с белоснежными подушками горкой, как убирают постель в деревне. Половички домотканые тянулись в комнату и в кухню. Павел шагнул в кухню, очень прибранную, где

стоял холодильник, и тоже из самых дешевых. Кухня была крохотной, даже одному тут было тесновато, но у этой кухни во всю стену было окно, а за ним, в сумеречном небе, строго и близко стояли золоченые купола церкви на Старой Басманной.

Шагая, оглядываясь, Павел почувствовал, как разжимается в нем злая пружина. Эта церковь была видна и из окна его дома, он помнил эти купола с самого детства. Тогда они были темными, церковь была заброшена.

— Смотри-ка, позолотили купола!— обрадовался Павел.

— К Олимпиаде,— сказала Лена.— Большая вышла польза для Москвы от Олимпиады. Вы тут мальчишкой, наверное, бегали?

— В Бауманском саду есть старинный грот. Сохранился?

— Кажется. Я там всего раз один и побывала. Я ведь тут недавно. Эта квартира мне чудом досталась. Дежурила по ночам у одного больного, поправился он, кинулся мне помогать. Есть хорошие люди. Ну просто кинулся помогать. Утвердился в мысли, что я его спасла. Не я, доброта его живая спасла. Есть хорошие люди. А сейчас чайку поьем, и я побегу. До самого завтрашнего утра будете тут хозяйничать.

— Снова к какому-нибудь умирающему?

— Да, тяжелая больная. Мать одного знаменитого режиссера. Не хочет в больницу, никак ее не уговорят.

— Это ваша специальность, Лена, дежурить возле умирающих?

— Моя специальность отнимать их у смерти. Редко, но удается. Вместе с врачами, конечно.

— Те, что ходили к Петру Григорьевичу, показались мне шарлатанами. Ведь все же было ясно.

— Вы не правы. Надо всегда верить в чудо. Но если даже все ясно, то все равно надо помогать человеку жить, не торопить его. Вы какой чай любите? Крепкий? Гок-чай, он ведь крепкий?

— Как заварить. Но вообще-то крепкий.

— Обязательно раздобуду себе такого чая. Для дежурства, чтобы не хотелось спать.

— Трудная у вас работа, Лена.

— Да, она трудная. Но я легкой не ищу. От легкой работы тяжелые сны снятся.

Они подсели к маленькому столику, на который Лена поставила чашки с чаем.

— А как вышло, что вы стали работать медицинской сестрой? Призвание? И вот такой сестрой?

— Пять лет я выхаживала мать. У нее были парализованы ноги. Вот конфеты берите. Опять совпадение, конфеты называются «Кара-Кум». Потом муж у меня очень болел. Не отбила я его. У него был врожденный порок сердца.

— Так вы были замужем?

— Да.

— Тогда зачем?..

— Это я сама придумала. Так мне легче. После смерти мужа мне никто не нужен, а когда дежуришь по ночам в чужих домах, то так легче. Вот видите, Павел, как я вам доверилась. Петр Григорьевич тоже вам доверился. Не всякий может стать змееловом, я так думаю. Неужели они вас скрутят, неужели скрутят?— Она поднялась.— Ну, я побежала. Захотите есть, загляните в холодильник. Что-нибудь да найдется. Водка тоже там есть. Вдруг потянет. И, прошу вас, курите, не стесняйтесь. Да, сейчас я вам белье постельное достану.— Она вбежала в свою комнату.— Вот, на стул кладу. Только одна к вам просьба, Павел.— Лена стояла уже в дверях.— Если будет звонить телефон, не снимайте трубку. У меня ведь нет ни отца, ни брата. Условились?

— Хорошо. Спасибо вам, Лена.

— Побежала!— Дверь за ней затворилась, пробежали шаги по коридору, потом проскрипел лифт. И все стихло. Не вставая, Павел дотянулся до чемоданчика, поставил его на табурет рядом с собой. Достал ключ, отомкнул замки, откинул крышку. Сперва он вынул из чемоданчика электрическую бритву, положил ее на стол. Потом вынул тысячерублевую пачку десяток, сунул ее в карман. Подумал, помедлил и вынул тетрадь. В клеенчатом переплете, распухшую от записей. На переплете сохранились следы от клейкой ленты. Видно было, что тетрадь много раз обматывали этой лентой, чтобы как бы замкнуть и от других, но и от себя. Потом ленту снимали, потом опять запечатывали ею тетрадь. Переплет у корешка был в белесых подтеках. Наверное, Петр Григорьевич много раз прятывал свою тетрадь, попадала она и в сырые тайники. То были очень тайные тайники, ведомые только одному человеку. Даже жена Котова не знала о существовании этой тетради. «Никому...»

— Что ж, приступим!— вслух сказал Павел, подбадривая себя, и открыл тетрадь.

## 17

Сперва он подумал, что это дневник. Не очень-то был похож Петр Григорьевич на человека, ведущего дневник, но он вот на мотоцикле гонял, странное занятие для его профессии. Котов вообще не вмещался в рамки, возможно, что и вел дневник. Но если дневник, то какой-то загадочный. Страницы были испещрены цифрами, датами. Деловой дневник? Не про то, кого встретил, с кем время провел, где отдыхал, как болел, как поправился, что с женой, что с сыном. Дневник про то, как работал? Но тогда это очень недавняя затея, даты на первых страницах отбегали всего лишь года на три назад от нынешних дней, ко времени, когда, наверное, Петр Григорьевич начал задумываться не столько о своей работе, сколько о своем здоровье. Тетрадь, где подводились итоги? Чему — итоги? И почему в эти сроки?

Надо было вчитаться, войти в эти записи, вникнуть в них, не торопиться с догадками, с наскака что-либо понять было невозможно, требовалась расшифровка. Могло показаться, автор этих записей боялся самого себя. Он заносил их мелким почерком, часто обрывая слово, делая его непонятным. Много было заглавных букв, всего лишь буква и точка. Это могли быть фамилии, но могли быть и какие-нибудь обозначения. Ни одной фамилии на первых страницах Павел не встретил — только заглавные буквы. Но цифры были выведены четко, даты были выведены четко. Цифры пребывали не в одиночестве, они обозначали количество товара — в тоннах, в центнерах, реже в килограммах. Обозначалось число ящиков, когда речь шла о вине. Назывался товар, назывались сорта вин. На первых же страницах появились маленькие чертежики-схемы, скорее всего обозначавшие движение товара, стрелки указывали это движение. Но откуда, к кому, куда дальше, кто выдал и кто получил, про это говорилось буквами, лишь буквами. И так — страница за страницей.

Павел закурил, прошелся, вернее, шаг всего сделал по кухне, вошел, чтобы хоть чуть пошагать, подумать, в комнату. Комната была совсем небольшой, но там было мало мебели, даже отсутствовал стол, и можно было ходить от двери к окну, от окна к двери. Потемневшие в вечернем

небе купола оживали от бликов очень где-то далеко вспыхивающих фар. От других машин, других фар ходили блики по стенам. Угадай попробуй, какая это машина, где пронеслась, от которой лег свет на купол, на стену. Угадай попробуй, что в этой тетради, лежащей на кухонном столике, зачем она, эта тетрадь. Пришла догадка: название товара надо увязать со схемой. У всякого товара есть свое место отправления, есть свой путь. Рыба не идет из Молдавии, вино не идет из Клайпеды.

Павел кинулся к тетради, всмотрелся в одну схему, в другую, связал их с тем товаром, о котором упоминалось перед чертежом. Догадка его не подтверждалась. Традиционный путь астраханских арбузов не мог кружить, арбузы шли к Москве баржами, прямыми линиями, завершали путь по каналу, а схема кружила, будто арбузы плыли по сужающейся спирали. Рефрижераторный фургон Мосавтотранса с пятью тоннами винограда должен был бы проделать долгий путь, длинные бы должны были лечь на схеме линии, а схема была тут коротенькой, была всего лишь треугольником. И в вершинах этого треугольника стояли, как в теоремах, три заглавных буквы: В., Т., М., если прочесть их по часовой стрелке.

Рыба, центнеры рыбы, кефалевой, сельдевой, скумбриевой, осетровой, рыбы с разных концов света, путь которой по суше мог бы начаться с Мурманска, Одессы, Клайпеды, Астрахани, Красноводска, Владивостока даже. Эта рыба тоже по коротким путешествовала схемам, а иногда плутала, кружилась, перекидывалась, как по речным порогам, когда идет на нерест. И снова лишь заглавные буквы в конце каждого отрезка схемы. Догадка не подтверждалась. Что-то очень тревожное жило в этих темных схемах, в этих запутанных линиях, ясных только тому, кто их чертил. И никакого ключа, чтобы отомкнуть тайну. Попробуй расшифруй! Но уже понял Павел, что не отступится, дознается. Понял, что тетрадь кричит ему про серьезное, про такое, о чем Петр Котов даже сам с собой секретничал, не доверяя тайникам. А вдруг кто обнаружит, раскроет, поймет. Но тогда зачем, умирая, он отдал тетрадь ему? Пускай бы эта тайна и ушла в могилу вместе с владельцем тетради. Нет, не для того тут все писалось и чертилось, чтобы сгинуть. А для чего?

Страница, еще страница — даты, цифры, название товара, обозначение емкостей — машин, рефрижераторов, барж, вагонов, а потом схемы, но не проясняющие, а все

запутывающие, и эти заглавные буквы, всего лишь буквы с точками.

Пожалуй, надо было ложиться спать. Утро вечера мудренее. Но тетрадь притягивала, затягивала. Еще страница, еще страница. Сюда бы ученого! Какой-то историк, ленинградец, Павел сейчас не мог вспомнить его фамилию, положив многие годы труда, прочел все же письма исчезнувшего народа майя. Его бы сюда, этого ученого. Но тетрадь эта не для ученых, иная в ней жила темнота, иная наука. То была его, Павла, наука, он сам был — майя. Его приговорили за эту науку к восьми годам. Он отсидел четыре, вырываясь на свободу, выламывался, вырвался. Он год змей ловил, чтобы не красть, но вернуться с деньгами, ибо без денег свобода не смотрелась. Вернулся, да, но опять все та же наука. Приговорен он к ней, что ли? Эта наука, этот опыт должны были помочь Павлу растемнить тетрадь Котова, тот рассчитывал, что Павел сумеет. Не получалось. А надо понять, необходимо понять. Если дом охвачен пожаром, а на стене висит схема, куда бежать, чтобы выбраться из огня, то надо эту схему запасного выхода суметь прочесть, понять и не тянуть с этим, огонь ждать не будет. Огонь уже подобрался к Павлу, Павел уже ступил в него. Поймет ли, найдет ли путь к запасному выходу? А есть он, этот выход? В этой тетради выход? Зачем, умирая, ему отдал ее Петр Григорьевич?

Павел сунулся в холодильник, поискал предложенную Леной водку. Да, стояла початая бутылка, заткнутая пробкой от какого-то лекарства, такими пробками виноделы не пользуют. Может, с год стоит тут эта бутылка, чуть-чуть только тронутая в день новоселья, одинокого новоселья. Павел не решился взять эту бутылку.

Он снова вернулся к тетради, взял со стола, пошел с ней в комнату, начал ходить, петляя по комнате, как петляли чинные схемы. Павел даже понюхал тетрадь, близко поднеся к лицу, листанул, рассматривая в общем и в целом. На первой странице, где цветная бумага, где школьники выводят свое имя, свою фамилию, пишут, из какого они класса, из какой школы, в самом углу этой страницы, в левом нижнем углу, забившись под самый корешок, чуть-чуть виднелась цифра восемнадцать. Даже не цифра — две закорючки, забившиеся в складку на корешке. Но когда листанул тетрадь, когда складка на миг разжалась, эти закорючки явственно обозначали — восемнадцать. Ну и что? Тетрадь была пронумерована Петром

Григорьевичем. Павел открыл ее на восемнадцатой странице и вернулся на кухню. Ну и что, подумаешь, находка?! Он сел к столу, чувствуя, что познабливает его, вспомнив себя таким, когда на отлове вдруг с какого-нибудь холмика беспричинно сыплется совсем немного песка. Змея! Изготавливайся!

Азарт мешал ему читать восемнадцатую страницу, слишком всматривался, вцеплялся в каждую букву. Надо было переждать этот в себе азарт, надо было оглянуться, как его учили. Он оглянулся на окно, всмотрелся в темные купола, по которым шли редкие блики. Не веруя ни во что, он помолился, попросил купола, застывшие в небе кресты помочь ему.

Страница была такой же, как и уже прочитанные. Цифры, даты, тонны, центнеры. Была и схема, из тех, которые кружили. В конце этих кругов, в конце хвоста стояла не буква, в первый раз стояла не буква, а имя. Странное какое-то, не сразу открывшееся, отчетливо знакомый звук, но забытый, откуда.

— Митрич!— вслух произнес это слово-звук Павел и вскочил, начиная понимать.

Но надо было еще проверить, надо было еще проверить. Он поднес тетрадь к глазам, встал под самую лампу, дочитал страницу до конца. Только один раз, будто ошибившись, проговорившись, написал не букву, а имя Котов. В других местах, где кончались линии схемы, где начинались углы-изломы, стояли буквы. Только один раз проговорился Котов. Но он не проговорился, он хотел, чтобы эту страницу нашли, он ее обозначил, хотя и припрятал цифру в складке бумаги у корешка. Павел начал понимать. Но тут его нервы сдали. Он выхватил из холодильника бутылку, выдернул медицинскую эту пробку, стал глотать из горлышка. Пил, и в голове ясно.

Понял! Он оторвался от бутылки, поставил ее на место, спокойно, нарочно медленно сел к столу. Он вернулся к первой странице, медленно листая, дошел до восемнадцатой. Так оно и есть: буква «М.» завершала все схемы. Все заглавные буквы выходили к нему, к Митричу, а каждая буква была фамилией или кличкой. Товар шел от человека к человеку, передавался по цепочке, вручался Митричу. Вот так Колобок!

Это был вовсе не дефицитный товар, не всегда дефицитный, но его было много, всегда много. Вагоны, машины, контейнеры. Товар плутал не по всей стране, шел не

из портов и с морей, он кружил по Москве. Митрич завершал схему. А кто ее начинал? В начале всех схем, когда дело касалось рыбы, стояла буква «Р.». Когда дело касалось других товаров, буквы были разными, но повторялись, часто повторялись. Павел не мог, как ни напрягался, расшифровать эти буквы, населить их людьми. Тетрадь была начата чуть больше трех лет назад. В это время Павел сидел. Его связи с Москвой были оборваны. Те, кто могли бы войти в пай к Митричу, кого Павел знал по прошлым своим делам, тоже отбывали свои сроки. Кое-кто уцелел, но их фамилии не совпадали с начальными буквами или совпадали, но явно не впопад. Это были новые дела, это были дела, ускользнувшие, ускользавшие от следственных органов, от ревизорского досмотра. Это были дела, хищения, которые самолично расследовал Петр Григорьевич Котов. Зачем-то ему это было нужно. Расследовал и принимал участие. Расследование шло изнутри. Понадобилось человеку все до конца понять. Перед собственной кончиной хотя бы. Диагнозы устанавливают врачи, но больной, болевающий, лучше любого врача осознает, что болен, болевает. Таится, таит от других, от себя, но знает, осознает, но вслушивается в себя, но начинает укладываться, как укладываемся мы в дорогу. Кто приводит в порядок свои архивы, кто шьет себе траурное платье, кто переписывает завещание, кто, как вот Петр Григорьевич Котов, начинает проводить самоличное дознание, чтобы понять всю меру, всю глубину своего падения. Понял Павел Петра Котова, обучила жизнь Павла Шорохова уму-разуму.

Тетрадь была разгадана, но не прочитана. Только Митрич пока был прочитан. Митрич и был этим ключом к прочтению тетради. Петр Котов знал все про всех. Павел не знал почти ничего. Но тот умер, а Павел был жив. И у него была эта тетрадь, завещанная ему в самую последнюю минуту ее владельцем. Это значило, что Петр Григорьевич Котов хотел, чтобы Павел понял все то, что понял он. Хотел, чтобы тетрадь эта не исчезла. Хотел, чтобы следствие продолжалось. Он предостерег: «Никому...» Да, это была опасная затея. Недаром так рыскал, так спрашивал Митрич, выznавая, не осталось ли каких записей после Котова. Чувствовал, догадывался, подметил, что тот пошел по его следу? Да, это была опасная тетрадь. Теперь надо ее прятать. Теперь надо все время оглядываться. Детектив начинался. Не верилось, что он стано-



вится участником детектива, начинает жить по законам кинофильмов, над которыми частенько подшучивал. Жизнь — это вам не кино. В жизни все попроще, поскучнее, хотя убивают, и грабят, и воруют. Сажают вот тоже. Но хотя и крал, судили его, хотя и сидел, Павел не мог свести, сравнить свою жизнь с какой-то киношной историей. Змей ловил — это ли не кино? — но это была работа, будничная, изнурительная, скучно-опасная, какое к черту кино. Вернулся, попал сразу в постель к потаскухе, сразу запутали его, толкнули к старому, да еще и с нуля почти. Но и это была жизнь, ничего в ней не было для экрана, для того, чтобы посмотреть, поудивляться, пугаясь, но, впрочем, не прерывая ужина. Это была жизнь. Такая вот, какая задалась. Будничная, грязноватая, незадачливая. Тут не про что было рассказывать, нечего было показывать. Но вот и влип в детектив. Эта тетрадь могла и жизни лишить. Сжечь бы ее, изорвать, разлепить на страницы и сжечь прямо сейчас. Или спустить все в канализацию. А память? А то, что узнал? Это, узнанное, уже потянет и дальше ниточку, разгадываться будут буквы — одна за другой, одна за другой. Тетрадь еще не прочитана, там еще и еще что-то есть... Нет, сейчас ее уничтожить нельзя, пусть договорит свое. Но оглядывайся, Паша, оглядывайся. Серьезные мужички стоят за этими буквами, оборотни. Волки, прикинувшиеся колобками.

Спать захотелось, смертельно захотелось спать. Павел спрятал тетрадь в чемодан, поискал, куда бы спрятать чемодан, не нашел в этой квартирке ни одного потаенного места, затолкал чемодан под тахту. Он не решился лечь на эту все же девичьей белизны постель, прикоснуться к этим, горкой, подушкам. Он сложил два половичка, накрыл их простыней, скинул костюм, завернулся в простыню, падая на жесткое свое ложе, падая в сон.

## 18

Ему приснился старый сон. Из тех, что повторяются, живут в нас, как читаная-перечитаная книга, которую и снова тянет перечитать. Этот сон он знал наизусть, и он знал, что спит, что все это ему снится. Сон был из детства. Он в нем был школьником. Их школа находилась в желтом доме с колоннами, где когда-то, рассказывали, была гимназия. Узенькая улица, где стояла школа, вы-

текала на широкое Садовое кольцо, на улицу Чкалова. Узенькой улице было присвоено громкое имя писателя Гайдара. И сон его был из Гайдара, этот писатель мог бы сочинить такой рассказ. Мальчик и девочка идут в школу, они живут в одном доме, только в разных подъездах. Они выходят из подъездов в одно и то же время, они не уславливались, но всегда так получалось. Они идут рядом, переговариваются. Если у нее тяжелый портфель, он отбирает у нее портфель и несет его. Он старше ее на целый год, на целый класс. Ему — двенадцать, ей — одиннадцать. Они доходят до угла по улице Чкалова, сворачивают на улицу Гайдара. В том доме, где жил Чкалов, почему и назван этот участок Садового кольца его именем, живет писатель Маршак. Вот сколько знаменитых имен обступают мальчика и девочку, идущих в свою школу. Она спрашивает: «Паш, а ты кем будешь?» Он уверенно отвечает: «Летчиком». Первоклашки, обгоняя их, оглядываются, не понимая, как может взрослый мальчик нести портфель девочки. Их обгоняют ребята постарше, даже старше, чем они, и тоже оглядываются, смеются чему-то. Кто-то кричит: «Влюбленные идут!» — «Отдай портфель», — говорит девочка. «Не отдам», — говорит Павел. На следующее утро они снова идут рядом, он снова несет ее портфель. Вот и весь сон. А просыпался он в этом сне от обиды, он никак не мог вспомнить имя той девочки, ну никак не мог — и просыпался.

Но пока они еще шли и разговаривали, Павел знал, что это во сне он идет, выученном наизусть, и потому он другой начал смотреть сон, новый для него. Он ехал на мотоцикле, на могучем том мотоцикле, который стоял в комнате Петра Григорьевича. Он не умел ездить на мотоциклах, но вот ехал, и очень даже смело. Он только не умел тормозить. Дорога впереди петляла, ломалась, как схемы в тетради, до ближайшей заглавной буквы было совсем близко, а там предстояло резко, под углом поворачивать. Павел же не умел тормозить, он знал, что не умеет. А тут как раз они подошли к школе, и он вспомнил, что забыл имя девочки. И мама к нему наклонилась, поднося ко рту на ложке какое-то лекарство. Лицо матери было добрым, заботливым, далеким, как запах того лекарства, которым она поила его в детстве, когда он простывал. Невыносимо было дальше спать, Павел проснулся. Над ним, стоя на коленях, склонилась Лена. Лекарством пахли ее волосы.

— Вы улыбались и всхлипывали, как маленький,— сказала она.— Хороший сон приснился?

Он подумал, припоминая.

— Целых три.

— Почему вы легли на пол?

1 Он подумал и ничего не ответил.

— Прочли тетрадь? Серьезное что-нибудь?

Он молча кивнул.

— Я не спрашиваю, про что.— Лена поднялась с колен. Жмурясь от слепящего утреннего солнца, она задернула занавески.— Устала,— сказала она, прикрывая лицо ладонями. Не хотела, чтобы Павел заметил круги под глазами после бессонной ночи?— Трудная была ночь. Вы тоже поздно легли? Трудное было чтение? Вам теперь надо что-то делать, что-то решать? Вы не отвечайте. Я не спрашиваю, я думаю. Знаете, поживите пока у меня. Я еще несколько дней буду по ночам дежурить. Вот эти дни и живите. Условились?— Она прошла мимо Павла, вошла в ванную. Там сразу зашумела вода, потом зашуршал душ. Не вслушиваясь, Павел слышал через утлую дверь, как женщина раздевалась, как встала под душ, как ладонями прерывала водяные наскоки. Павел вскочил, поспешно стал одеваться. Их разделяла всего лишь утлая дверь, даже еще и не плотно прикрывающаяся, но их разделяло ее к нему доверие.

— Вы там оделись?— спросила Лена из-за двери.

— Да.

— Тогда войдите в кухню и прикройте дверь, а я выскочу.

Он вошел в кухню, прикрыл дверь, тоже утлую, да еще и стеклянную почти до пола, лишь укрытую прозрачной занавеской. Павел повернулся к этой занавеске спиной. В глаза ударили, слепя, золотые купола. А за дверью пробежала женщина, слышно касаясь пола босыми ногами.

— Все!— крикнула Лена.— Можете отворять, а то там душно!

Да, крохотная кухня прогрелась, в ней было трудно дышать.

— Сейчас будем пить чай,— сказала Лена, входя на кухню.— Летом по утрам у меня жарковато, оба окна на юг.— Лена успела надеть легкое летнее платье, из старых, стираных-перестираных, какие лишь дома носят. Это платье шло ей. И то, как заколола пучком волосы, тороп-

ливо, не поглядев в зеркало, и это шло. Бледное, измученное лицо чуть порозовело от душа.— Теперь ваша очередь принимать душ,— сказала Лена.— Там большое мохнатое полотенце, это для вас.— Она распахнула узкую боковую створку окна, вдвинулась в эту створку, повернувшись к Павлу спиной, как бы отгородилась от него, чтобы он чувствовал себя посвободнее.

Теперь он пустил в ванной воду, разделся, встал под душ, то горячей, то холодной струей выбивая из себя разные там мысли. Потом он брился, причесывался, складывал простыни, поглядывая на закрытую Леной дверь в кухню. Вдруг вспомнил, что надо ведь ему идти в павильон, что там ждет его Вера, там ждет его работа. Вспомнилось, как о враждебном, понял, что не пойдет. Встав на колени, Павел извлек из-под тахты свой чемоданчик, открыл, достал тетрадь.

— Чай на столе!— крикнула Лена.

С тетрадью в руке Павел пошел на кухню. Он сел к столу, на то же место, где вчера сидел, когда читал, разколдовывал тетрадь. Парок шел над чашкой крепкого чая, над очень большой чашкой, себе Лена поставила маленькую. Свежий батон ждал Павла, чтобы тот его нарезал, нож для этого был положен ему под руку. Была открыта масленка, была открыта банка с медом, горкой высились конфеты с верблюдами на обертке.

— Попью чая и лягу спать,— сказала Лена.— А вы тут читайте, милости прошу. Надумаете уходить, просто прикройте дверь.— Она порылась в сумочке, которая лежала на холодильнике.— Вот вам ключи, если вернетесь, когда я уже уйду на дежурство. Этот — от двери, этот — от общей двери в коридор. Код не забыли?

— Двести пятьдесят семь,— сказал Павел. Он взял ключи, которые ему протягивала Лена.— Я все же не стесню вас?

— Стесню — это как понять? Нарезайте-ка лучше хлеб, он еще горячий, потрогайте. Нет, я только буду рада, если вы у меня поживете. Не обидитесь, если я сейчас завалюсь спать?

— Нет.— Павел стал нарезать хлеб, приюхиваясь к этому из детства запаху, из счастья запаху, когда пробегал в детстве мимо булочной.

— Намазывайте маслом и медом, ничего нет вкусней,— сказала Лена. Губы у нее стали перламутровыми

от меда, щеки порозовели от горячего чая, синие подглазья истаяли.

— Спасибо, Лена, не знаю, как вас благодарить,— сказал Павел.— Я, правда, могу у сестры в Дмитрове пока обосноваться, но это все же далековато. А ведь надо на работу устраиваться.

— Решили там не работать, в павильоне том?!— не таясь, просияла Лена. Она мимолетно тронула, как горячий утюг трогают, тетрадь.— Это из-за нее? Я догадалась, что Петр Григорьевич желал вам добра, отдавая тетрадь.

— Добра?— Павлу не надо было дотрагиваться до тетради, он знал, что она раскалена покруче любого утюга.— Не так все просто, Лена, не так, не так все просто. Вот еще сложность, где мне эту тетрадь прятать? Не возить же ее каждый день в камеру хранения?

— А у меня и оставляйте,— сказала Лена.

— Нет, Лена, нет.

— Думаете, я загляну?

— Думаю, что эта тетрадь может когда-нибудь взорвать ваш дом.

— Это так серьезно? Павел, тогда я с вами. Как же вы один? Грех вас сейчас оставлять одного. Да, да, у меня и станем ее прятать. Никто ведь не знает, что вы у меня поселились. Надо, чтобы и не узнали. Вот и все. Конспиративная ваша квартира. Подходя, оглядывайтесь, нет ли хвоста.

— Ну, ну,— усмехнулся Павел.— Буду оглядываться. Откуда вы такая? Почему вы такая?

— Какая?.. Ладно, не говорите мне добрых слов.— Лена поднялась.— Я не очень верю словам, редко, когда им верю. Посмотрим, какой вы. Как себя поведете. Посуду я потом сама помою. К телефону не подходите, а звонить — звоните. Меня вы не разбудите, я сейчас свалюсь.— И ушла, взмахнув рукой на прощание, став вдруг загадочной, куда взрослее своих лет умом и опытом жизни.

Павел распахнул тетрадь. Ему надо было проверить еще одну догадку, которая тлела в нем, а сейчас вспыхнула. Эта заглавная буква «Р.», начинавшая все схемы-махиации, когда товаром была рыба, на какой-то странице вдруг исчезла. На какой? Почему? Павел торопливо листал тетрадь. До одиннадцатой страницы буква стояла на своем месте в схемах, на двенадцатой и дальше она исчезла. Павел вернулся к одиннадцатой странице, всмотрелся.

Так и есть, возле буквы «Р.», где она была на схеме в последний раз, совсем неприметный стоял крестик. Он был так мал, что казался еще одной точкой, случайно, по небрежности поставленной Котовым. Но Котов в этой тетради не допускал небрежностей, не такая тут велась работа, чтобы небрежничать. Это была не точка, а крохотный крестик, извещающий, что с «Р.» что-то случилось, что он либо умер, либо сел. Павел поглядел на дату. Она отбегала на два года назад от сегодняшнего дня, точнее, на два года и пятнадцать дней. А не тогда ли, не два года тому назад начался в Москве крупный судебный процесс над кое-кем? Этот процесс долго шел, но он начался после того, как осудили Павла, он знал о нем по слухам, которые просачивались, не могли не просочиться и за зарешеченные окна и двери. Павел даже знал фамилию одного из осужденных по тому процессу, фамилию крупного «спеца» по рыбным делам, начинающуюся на «Р.» Так это он? Так вот куда повела ниточка, вот к каким делам? Петр Григорьевич Котов продолжал расследование, самоличное, и не с той стороны, где следователи, а с той стороны, где подследственные, по делу, которому не было равных за многие годы по размаху, по дерзости, по наглости. Заглавные буквы эти в тетради, они еще были на свободе. Эти люди действовали по разным направлениям, но их дела смыкались, переплетались, повязывались. Эти люди, если верить слухам про процесс, работали потише, довольствовались меньшим, но действовали, были на свободе, их не доискались. А Петр Григорьевич доискался. Павел стал смотреть, нет ли еще где этих знаков-крестиков. Нашлись. Еще в одной схеме, еще в одной, еще в одной. Да, схемы начинали прерываться, но не исчезали, заменялись лишь буквы, работа шла. По крайней мере, до недавнего времени: тетрадь обрывалась на дате, когда, видимо, Петр Григорьевич окончательно слег, на конце марта этого года. Работа шла, раз Митрич был на свободе. Он был на свободе, и он чувствовал себя совсем неплохо. Работа шла. А вот свою работу Петр Котов завершить не успел. Но куда он шел в этой работе? Для чего начал свое следствие? Из любопытства, может быть? Чтобы потом прижать приятелей? Если бы так, он бы не стал отдавать перед смертью тетрадь Павлу, он бы ее, глядишь, продал задорого тому же Митричу. Нет, Петр Котов доискивался правды, которую и сам не знал, начиная эту тетрадь, знал, что-то все же знал, конечно, но не до конца. Многое знал,

но всего не знал. Узнал, умирая. Узнал и отдал тетрадь ему, Павлу Шорохову. Зачем? Еще не все было прочитано в этой тетради, еще предстояло ее читать и читать. И предстояло кое-что и самому довыяснить. Слухи тут не годились, нужна была точность. Кого спросить? С кем бы можно было поговорить, не рассказывая о тетради? Боже упаси! Многое мог знать Костик Бугров, человек чуждый, враждебный этим заглавным буквам, но из того же мира, наверняка осведомленный. Костик годился. Да, годился, но Павел мог подвести его, даже не рассказывая о тетради подвести, только своими расспросами подвести, тем, что побывает у него. Вдруг да кто дознается из заглавных букв? Вдруг да проговорится сам Костик, не придав значения разговору? Павел мог подвести Костика. Павел, владея этой тетрадью, прочтя ее, а он еще ее прочтает, становился сам по себе опасностью для других. Сама его осведомленность делала его опасным для других.

Костик отпадал. У Костика росли две девочки-двойняшки, он честно жил, всегда так жил, преступно было втягивать его в эту зону опасности, в которую вступал — вступил! — Павел. Когда натаскивают человека на змеелова, его сперва натаскивают на змеях, у которых сжежен яд. Их укусы не смертельны, но их укусы тоже не подарок. А эти, заглавные эти буквы, они свой яд еще не отдали. Эх, хотел ведь он месяцем позже рвануть в Москву! Друзья уговаривали остаться, еще работы было навалом. Поспешил! Нет, не поспешил, это судьба. А в Москву он рвался и месяцем раньше, и двумя, и тремя. Не поспешил, а промедлил — так будет точнее. От судьбы же никому увернуться еще не удавалось.

## 19

Тимка вроде бы узнал его, благожелательно помахивал обрубком, сдержанно, но все же тыкался холодным носом в руку. Павел шел вместе с сыном и его эрделем по улице Аркадия Гайдара. Они подходили к желтой школе с белыми колоннами.

— А я и не подумал, что ты учишься в той же школе, где и я учился, — сказал Павел.

— Где же еще?

Сына Павел вызвал по телефону. Из окна кухни в квартире Лены виден был дом, краешек крыши того дома на улице Чкалова, где Павел родился и где теперь жил его

сын. Совсем рядом был сын. Захотелось его повидать, рванулось сердце. Павел позвонил, подойдя с аппаратом в руке к окну. Там, под той крышей, в квартире на седьмом этаже, сейчас подходит к телефону мальчик, сейчас он скажет: «Слушаю?» Сергей так и сказал.

— Это я, твой отец,— сказал Павел.— Ты выйди, прогуляй с Тимкой. К каштанам выходи. Я через пять минут там буду.— И повесил трубку. И кинулся к лифту, прикидывая, что, пожалуй, за пять минут не поспеет. Но если бегом, если вскочить в троллейбус, который как раз подкатит, проехать на нем всего лишь две остановки, то успеть можно. Павел перебежал улицу, погнался за троллейбусом, догнал. Потом, когда троллейбус остановился у нового тут здания, у кинотеатра «Новороссийск», Павел выскочил, перебежал узкую улицу Чернышевского, нырнул в подворотню, вбежал в чужой двор, из которого было ближе всего до родного двора, до пяточка с травой под каштанами. Успел. Сережа еще только подходил с Тимкой.

И вот они пошли, пошли, помалкивая, лишь поглядывая друг на друга, и почему-то очутились на улице Аркадия Гайдара. Тимка так повел? Тот, прежний Тимка, тоже любил приходить сюда, к густой траве палисадника на углу у дома, где жил Чкалов, где жил Маршак. Так тогда и шутили: «Пошли к Маршаку». А дальше была их школа. И теперь повел Сережа. Он шел к школе. Лето, каникулы, а его потянуло к школе. Когда они поравнялись с высоко взбегающими ступенями, ведущими к колоннам и к входу, Сергей сказал, не глядя на отца, невзначай будто сказал, просто подумалось вслух:

— Каникулы, а все равно в школе кто-нибудь да есть.

— Наверняка,— согласился Павел.— Присматривают за ремонтом.

— Отец...— Он назвал его, отцом в первый раз!— Ты не хочешь туда заглянуть? Я бы постоял тут с Тимкой, мы бы подождали.

— Туда?— переспросил Павел.

— Ты там учился, тебя там помнят. У меня раньше спрашивали про тебя, когда я в первый класс поступил. Потом перестали.

— Хорошо, ты прав, я пойду.

Ступени помнились истертыми, пологими, но теперь их заменили на новые, они показались Павлу крутыми. Да он и не спешил, переступал со ступени на ступень, меч-



тая, что никого в школе не встретит. Горько было ему, горько, он понял сына, он понял, что Сергею нужно, чтобы в школе увидели его отца. Горько было. А с чем явился этот отец, в свою собственную школу явился? Откуда? Меньше всего он думал, думая о Москве, о своем возвращении, что сразу же, на четвертый там, на пятый день явится в школу. Взрослые люди приходят в свои школы, когда им везет в жизни, ну, хотя бы, когда все в порядке, а не когда они отбыли срок заключения, когда они на нуле. Но мальчику это нужно, и Павел шел, одолевал ступени.

В просторном холле, где всегда были фотовыставки, где красовалась доска отличников, героев многих выпусков, где висели портреты самых больших удачников, знаменитостей, некогда учившихся здесь, к радости Павла, стены были голыми, их подготовили для ремонта. Эти голые стены ободрили Павла. Школа должна быть пустой, как эти стены. Гулкая пустота встретила Павла, когда он пересек холл, подошел к дверям учительской. Было бы нечестно не заглянуть в учительскую, а просто вернуться, сказав сыну, что в школе никого нет. Павел отворил дверь, встал на пороге. В учительской было полно учителей, какое-то они там надумали собрание летом. Почти все эти люди, к счастью, были незнакомы Павлу. Они воззрились на него: что за человек, что за помеха? Он виновато и облегченно поклонился, собираясь притворить дверь. Но тут его окликнули, назвали:

— Павел Шорохов?!

И еще кто-то узнал его:

— Наш бывший ученик?!

Старенькая седая женщина и сутулый старик поднялись, пошли к нему.

Совсем незнакомый человек во главе стола тоже встрепенулся, услышав его имя, спросил, заинтересовавшись:

— Не отец ли Сережи Шорохова?

Павел переступил порог, вступил в учительскую. В самую пору бы спросить: «Вы меня вызывали?»

Старую учительницу он узнал, она преподавала историю. Старого учителя он узнал, тот преподавал физику. Они подошли к нему, они были рады ему, разглядывали, довольные его внешностью.

— Узнал, узнал!— радовался старик.— Это был мой первый выпуск. Мы с вами тогда помоложе были, а, Шорохов?

— А я бы не узнала, если бы не Сережа. Отца узнаешь по сыну, таков уж способ узнавания у нас, у учителей. Я его классная руководительница. Вернулись? Все позади? Я очень рада, просто очень рада. Поздравляю вас. Сереже не доставало отца, знаете ли. Я очень рада. Я жду вас осенью, нам надо о многом поговорить.

Подошел директор или завуч, тот, кто вел собрание, поздоровался, уважительно взглянув на сильную руку Павла. Это был спортивного склада человек.

— Рад, что зашли,— сказал он.— Сейчас у нас собрание, загляните как-нибудь на неделе.— Он взял Павла под руку, вывел в коридор. Павел оглянулся, прощаясь. Знакомые старики и те учителя, которых он не знал, кивали ему, как своему.

— Мальчик очень замкнутый у вас,— сказал Павлу директор или завуч уже в коридоре.— Я все знаю, не раз беседовал с вашей бывшей женой. Прошу вас, обдумайте свою роль в судьбе сына.

Они снова обменялись рукопожатием, крепким, равным по силе.

Сын ждал у ступенек, по которым легко было сбегать. Правильно сделал, что побывал в школе.

— Учительская была полна народу!— возбужденно сообщил Павел сыну.— Повезло! И с твоей классной руководительницей поговорил, и с физиком. И с директором. Спортивный такой мужик, с меня ростом. Но, может, он завуч?

— Они говорили обо мне?— спросил мальчик.— Ругали?

— Нет, Сережа, нет.

— Тогда о чем они говорили?

— Обрадовались, просто обрадовались, что я зашел. Старики даже узнали. Твоя классная сказала, что узнала во мне тебя. Вот так! Молодец, что велел мне зайти в школу! Вот устроюсь на работу, стану бывать здесь на родительских собраниях. Не возражаешь?

— Ты кем собираешься устраиваться?— спросил сын. Счастливая минута прошла.

Они повернули назад, теперь Тимка их опять повел.

— Мать говорила вчера, что ты будешь в палатке торговать арбузами, а Валентин сказал, что ты за старое принял.

— Торопятся, торопятся они с новостями,— сказал

Павел.— Я буду тебе звонить. Когда лучше всего тебе звонить?

— Когда я дома, к телефону подхожу я. Мать не велит, чтобы Валентин первый брал трубку, а он не велит, чтобы она первой брала.

— Я буду тебе звонить по утрам.

— Хорошо.

— А теперь мне надо бежать. Мой троллейбус подходит.

— Беги, папа.

## 20

Павел так и сделал, он побежал через Садовое кольцо, погнался за троллейбусом, вскочил в него, увидел сына с собакой на другой стороне, увидел свой бывший дом неподалеку, увидел себя глазами сына, как бежал через улицу, жалким себе показался в глазах сына. И в нем вспыхнула ярость. Он ехал к Митричу, к этому Колобку, к этой заглавной букве «М». Надо было поговорить!

Митрич возился со своими аквариумами. Крошечным садком он осторожненько вылавливал крошечных рыбок, любовно недолго рассматривал, вновь опускал в воду. Осторожный, заботливый, чудаковатый, прежде всего чудаковатый.

— Явился?!— увидел он Павла.— А Вера твоя у меня в кабинете слезьми изошла. Товар получен, а напарника нет. Марш, сударь мой, дорогуша ты моя, на работу.

— Погоди командовать. У меня к тебе два-три вопроса.

— Спрашивай. Но не здесь же, не в торговом зале.— Митрич быстро засеменял к проходу между прилавками, округло маня рукой за собой Павла.

Они вошли в кабинетик с аквариумами, где в углу притулилась безутешная Вера. Увидев Павла, она вскочила, бросилась было к нему. Он отстранился. Да она и сама поняла, что об него сейчас можно обжечься, сама отстранилась.

— Миленький, что с тобой?

— Веруша, ты выйди, нам надо потолковать,— округло повел рукой, указывая на дверь, Митрич. Вера поспешно вышла, кося испуганные глаза на Павла.— Ну?— обернулся к Павлу Митрич.— Я так думаю, обиделся ты на меня

вчера. Прости, коли так. Виноват, подвыпил. Признаю, виноват. Нельзя мне пить, не в моем это характере.

— Скажи, Митрич, как ты получаешь товар?

— Дефицит этот, что ли? Мир не без добрых людей.

— Не дефицит, а левый товар, просто товар, но левый?

— Ну и вопрос!..— Митрич задумался, разглядывая своих рыбок.— Это, что же, наш покойничек успел тебе что-то перед смертью шепнуть?

— Я сам себе шепнул. Не забудь, я был директором гастронома.

— Это мы помним. Восемь лет за деятельность свою получил. И это мы помним. Между прочим, а у меня ни одной судимости.

— В том-то и дело, в том-то и дело. Я так думаю, других подставляешь.

— Он шепнул тебе? Успел! А дефицит я на дефицит меняю. Вот пригнали сегодня в твой павильон пятнадцать ящиков абрикосов, а с меня за это попросят пяток баночек икорки. Я у них за деньги, они у меня за деньги. Весь навар, что редок товар. Шел бы, торговал бы, твой переулок, наверное, абрикосовым духом пропах. Покупатель слизнет за минуту. Делись с Веруней, что ухватите, мне от вас ничего не нужно.

Приотворилась дверь, заглянула Вера, услышав свое имя, жалобно позвала:

— Пашенька, пойдем!

— Притвори дверь,— сухо сказал Митрич.— Гляжу, мудрит твой Пашенька.— Он прикрикнул:— И не подслушивай! Иди к товару, не гноить же его! Ну, еще какие будут вопросы?

— Вопрос задан.

— Так и ответ выдан.

— Дефицит — это прикрытие, Борис Дмитриевич. Суть — в левом товаре, в неучтенном.

— Я так тебе скажу, Павел.— Митрич близко подошел, доверительно заглянул Павлу в глаза, устойчиво удерживая зрачки.— Когда человек болен, когда помирать пришла пора, тогда он невесть что может заподозрить. Мнительность эта от болезни. Но ведь ты не болен, ты еще молодой, сильный, тебе еще жить. Зачем же тебе всякая мнительность? Работай, получай прибыль, живи.

— А потом опять посадят, а ты опять без судимости. Я позабыл, но вспомню, что ты там делал у меня в гастрономе. Помню, ты там у нас крутился, закатывался к нам.

Я тогда не обращал на тебя внимания. Жаль, что не обращал.

— Тут ты прав, Паша. На человека, какой ни на есть, всегда надо обращать внимание. Да, делаю вывод: напечатал тебе что-то наш Петр Григорьевич. Здоров был — не болтал. Это его болезнь расслабила. Он давно стал мне подозрителен. Как начал болеть, худеть. Нельзя с больными людьми дела делать. Что ж, увольняешься или еще подумаешь?

— Увольняюсь.

— А куда пойдешь? С такими вопросами тебя нигде у нас не примут.<sup>1</sup>

— Вы да ваши — это еще не вся Москва.

— Это так, вот тут ты прав. Желаю удачи. И слезно прошу, ради тебя прошу: не бери ты душу чужими вопросами. Они умерли, мы их вчера вместе хоронили. Умер человек, с ним всё и ушло. А тебе жить.

Павел шагнул за порог, прихлопнул дверь.

Во дворе его ждала Вера. Она быстро подошла к нему. Она успела подсушить глаза, укрыть лицо молодым гримом.

— Черт с ними, с абрикосами, Паша, пошли ко мне.— Но пока она произносила эти слова, зазывные и зазывным голосом, тем голосом, который если и лгал, то лгал лишь отчасти, была в нем и искренняя нота, женская, ждущая, пока она подходила к нему, распрямившаяся, напрягшаяся, она поняла, что он не пойдет с ней, что его не удержать. Вера остановилась. Но надежда ее еще не покинула. Да и нельзя было ей так позорно отступить.

— Ты остынь, ты поостынь, Паша, после поговорим,— сказала она и вот теперь повернулась и быстро пошла от него, гордо вскинув голову.

Она — в одну сторону, он — в другую. И опять Павел припустил бегом, хотя не было на этой улице троллейбуса, за которым нужно было гнаться. Гон этот в нем жил. Он знал, куда путь держит, и он спешил. Вот только сейчас подумал о человеке и сразу — бегом к нему.

## 21

Этот человек был когда-то главным бухгалтером в том гастрономе, где директорствовал Павел. Прекрасный был бухгалтер, но его свалил инфаркт. Поправившись, он назад на работу не вернулся. Этот человек умел считать и умел

прикидывать. Он сказал тогда Павлу: «Прикинул, если после инфаркта вернусь в гастроном, то меня хватит года на два, а если уйду на пенсию, лет еще с десяток протяну. Итог в пользу пенсии». И ушел. Стал возиться на своем дачном участке, стал розы разводить. Не стеснялся, продавал их. У него даже место постоянное было, где он стоял с цветами,— возле Курского вокзала, у стены по левую руку, когда выходишь на площадь с перрона пригородных поездов Горьковской ветки. И он был такой человек, такой размеренности и постоянности, что наверняка, если еще жив, все там же и стоит со своим ведерком роз. Дважды за эти дни побывал Павел совсем рядом, улица Чкалова была рядом, но про Анатолия Семеновича Голубкова не вспомнил. А вот сейчас вспомнил.

Снова на троллейбусе по Садовому кольцу, мимо дома, где родился, где теперь жил сын, мимо места, на котором с час назад расстался с сыном. Так получалось, что он все время кружил по родным местам, не было роздыху его памяти. Даже когда стоял у окон квартиры Лены, и тогда не было роздыху его памяти.

Да, смотри-ка, Анатолий Семенович стоял на своем месте! Новшеством было, что он теперь стоял за легким сборным прилавком, в ярком цветочном ряду. Высокий, костистый, с седыми висками и багровой от загара яйцевидной лысиной. Новшеством было, что он теперь обряжен был в белый передник. Это делало его издали похожим на дворника, зачем-то забравшегося в цветник.

Павел, пока пересекал вокзальную площадь, пока разглядывал Анатолия Семеновича, все попытался у себя: а зачем он сюда рванул, вдруг забыв толкнувшую его мысль. Старик давно отошел от дел, был смешон в своем переднике, предстоял тягостный, никчемный разговор. Чуть было не повернул назад, но и поворачивать теперь было глупо.

— Здравствуйте, Анатолий Семенович, рад, что все у вас, как было, по-задуманному,— сказал Павел, подходя к старику.

Тот ничуть не удивился.

— Здравствуйте, Павел Сергеевич. Это как же вам удалось три года скостить?

— Не три, а четыре. Больше года уже на свободе.

— Удивительное дело. Впрочем, узнаю вас. Напор! Целеустремленность! Вкалывали сверх всяких сил? Теперь ведь досрочные освобождения — редкость.

— Вкалывал сверх всяких сил.

К их разговору стали прислушиваться два кавказских человека, торговавших цветами рядом с Голубковым. И они уже сочувствовали Павлу, восхищались им, цокая языками.

— Есть разговор,— сказал Павел.— Не отойти ли нам в сторонку?

— Так я же при розах. Увянут, потеряют конкурентоспособность с кавказскими. Подмосковный цветок хорош своей свежестью, тем, что в чемоданах не задохнется. Только два часа назад срезал. Понюхайте! А эти,— старик покосился на товар конкурентов.— Принюхайтесь, от них бензином пахнет, нафталином, кислятиной. Это от роз-то!

— Я покупаю у вас все розы,— сказал Павел.

— Павел Сергеевич, тут на сорок рублей. Уступил бы по дружбе, но не имею права, подведу коллег, ибо такова на сегодня цена рынка.

— Покупаю, покупаю.— Павел достал четыре десятки, вручил их старику.— Пошли, Анатолий Семенович, прогуляемся. Могу вас, если хотите, к поезду проводить.

— Благодарствую, но мне еще надо кое-что прикупить в Москве. Так, по мелочи. Погуляем. Если не возражаете, я пока цветы из ведерка вынимать не стану. Начнут увядать без воды. Вы не беспокойтесь, я ведерко сам понесу. До завтра, кунаки! Желаю и вам такого же клиента.

Кунаки в ответ снова зацокали языками.

Павел огляделся: куда же идти? Садовое гудело машинным надсадным гудом. Площадь перед вокзалом была заставлена такси, видимо, ожидался поезд с юга.

— Пойдем поплутаем по переулочкам. Выйдем к улице Казакова, там тихо.

— Без тишины какой же разговор,— согласился старик. Он снял передник, аккуратно сложил его.— А о чем пойдет речь?

Павел не отозвался, он шел на шаг впереди, прокладывая дорогу через привокзальную толпу. Он вспоминал, сколько же дней назад он тоже шел в подобной толпе возле Казанского вокзала? Совсем недавно шел, а показалось, что очень давно. А ведь в таком гоне жить нельзя, когда день — за месяц, сердце лопнет.

— Забыли про свой инфаркт на цветочках-то?— спросил Павел, когда они выбрались из толпы, когда вступили в кривой и грязный привокзальный переулок, который,

Павел помнил, был самым коротким проходом к улице Казакова. Да, вон она, эта улица с облупившимся громадным шаром, изображающим глобус, перед входом в институт землеустроителей.

— Не забыл, но помню с благодарностью.

— С благодарностью?

— Так, дорогой вы мой Павел Сергеевич, если бы не этот инфаркт, я бы по малодушию и еще бы с годик с вами проработал, а тогда бы вместе с вами и на скамеечку подсудимых уселся. Такой баланс. Я восхищался вами, не скрою. Красиво работали, но... безоглядно. Есть такой недуг в начальственной среде: вседозволенность. Вы тогда этим недугом как раз и болели. Перед самым инфарктом своим я только по второй вашей резолюции бумажки и визирировал. Так дальше работать было невозможно. Но тут повезло: инфаркт свалил. Он и спас.

— Помню, я тогда в автомобильную катастрофу угодил,— сказал Павел.— Отделался ушибами. Если следовать вашей теории, то было бы лучше, если бы искалечился. Тоже спасся бы?

— Помню этот случай. Нет, вы тогда уже заступили черту. Подлечили бы и осудили бы.

— А где эта черта проходила, Анатолий Семенович?

— Вот и выбрали мы на тихую улицу Казакова.

— Так как же с чертой?

— Трудноопределимое понятие. Для этого вопроса и отыскали меня?

— Пожалуй.

— Черты, собственно говоря, такой нет. Особенно в торговле. Нарушений не избежать, каким бы умным ты ни был. Или осторожным, если хотите, трусливым. Все равно нарушения будут. Много бестолковщины в самом своде правил, установлений, предписаний. Крестным знаменем себя осенял, подписывая иную бумажку. Но что было делать? Торговля — живое существо, та самая корова, которую надо хлебушком прикармливать перед дойкой. Я это понимал. Но... я себе не брал.

— Брали все ж таки, наверное.

— По пустякам, может быть, не отрицаю. Соблазнился какой-нибудь рыбкой, колбаской. Заметьте, всегда платил. Самолично шел к кассе и платил. А вообще-то слишком много у нас запретов в торговле. Эти запреты и плодят машинаторов, как это ни парадоксально. Замечали, как по весне ручьи прорывают плотину? Обходят, подныривают.



Я бы упразднил сто параграфов из ста двадцати, я бы ввел — умная штука — бригадный подряд и в торговле. Коллектив магазина отчитывается выручкой, планом, а внутри себя — друг перед другом. Есть опасность, что в одном магазине разбогатеют, а в другом прогорят? Разбогатеют, но за хорошую работу. Прогорят, но не проворуются. Психология может пострадать, частнособственнические инстинкты расцветут? Простите, но уже расцвели. И особнячки возводят, и мебель красного дерева скупают, и автомобилями чванятся. Моя дочь, к примеру, на моем «Запорожце» стыдится в гости ездить. Мыльница, говорит. Но ведь колеса-то вращаются, свою функцию выполняют. Стыдится она, что я торгую цветами. Слишком мелкий, видимо, бизнес. Но я не краду. Поглядите, во что руки превратились. Гордиться бы ей надо было отцовскими руками. Замечу, деньги, которые я выручаю за розы, у меня берет. Ваши сорок рубликов к ней перекочуют, к дочке.

— Вернемся к моей черте, — сказал Павел.

— Говорю, нет черты. Скорее, это зона опасности, минное поле. Шаг сделали — обошлось, второй ступили — проехало. Третий, четвертый. Да минное ли это поле? И зашагали? И тут-то и подорвались.

— Но почему, почему я полез на это поле?

— Меня спрашиваете? Верно, почему?

— Убей, не пойму, когда и с чего началось.

— Верю. Так я же говорю: вседозволенность — болезнь, а болезнь подкрадывается к нам. Ваш случай не из сложных, Павел Сергеевич. Молодой, обаятельный, общительный. Даже фамилия у вас какая-то приятная — Шорохов.

— Ваша и того приятнее.

— А внешность? Повезло мне со внешностью. А вы везде зван, всем приятен. Наши женщины, помню, столбенили, когда вы проходили мимо. Проносились. Пролетали. Вас несло тогда. К благоразумным советам не прислушивались. Собутыльников приравнили к друзьям.

— Анатолий Семенович, вы помните Петра Григорьевича Котова?

— Как же, как же. Я с ним даже работал вместе. Но он из кочевников, а я за тридцать лет лишь два магазина поменял. Интересный человек, сильный человек. На чем-то он сломался, в молодые еще годы. Он ведь инженер по образованию. Сломался на чем-то, но на чем, не знаю. Замк-

нутый человек. Он тоже по минному полю ходит, но в отличие от вас, Павел Сергеевич, с миноискателем. С ним бы я инфаркт не нажил.

— Он вчера на другое поле попал, на Долгопрудное кладбище.

— Помер?! Котов?! Могучий же был человек! Инфаркт?

— Саркома.

— А, изъел себя! Так, так. А то еще на мотоцикле гонял, будто смерть ему была нужна. Так, так. А я вот жив, цветочки развожу.

— Анатолий Семенович, а помните вы Бориса Дмитриевича Миронова, Митрича, Колобка?

— Тоже помер?!— не сумел скрыть радости старик.— Туда ему и дорога!

— Нет, не помер. Напротив, процветает, бодр и весел.

— Тогда — назад, назад, беру свои слова назад. Вы их и не слышали, сорвались, отвык с людьми беседы вести, с цветами-то я говорю, что вздумается. Да, серьезный мужчина. Колобком звали. Помню, помню.

— Он там и у нас в гастрономе крутился. Зачем?

— Ну-у-у, Павел Сергеевич, дела давно минувших дней. А вы его самого спросите.

— Спрашивал.

— Вы от него ко мне?

— От него.

— Все же не дают, значит, вам покою дела давно минувших дней? Суд же был, все там выяснилось.

— Не все.

— Правда ваша, не все. Я на суде не был, реабилитировался тогда по поводу инфаркта, даже и свидетелем меня не стали вызывать. Но я за процессом следил, подробности мне докладывали. Как водится, это уж как водится, когда торгашей судят, весь клубок суду не распутать.

— А если мы, сами торгаши, захотели бы распутать?

— Тогда вы бравадой занимались. Вседозволенность, недуг тот, еще сидел в вас.

— Вылечился я от него.

— Вижу. Полагаю, что вылечились или, еще точнее, вылечиваетесь, проходите реабилитацию. Нет, Павел Сергеевич, а вот про Митрича я вам никакой информации дать не смогу. Колобок, одним словом. Да и что я знаю? Цветовод — не счетовод. Устроились? Работаете?

— Устраиваюсь.

- На минное поле теперь — ни-ни-ни?
- Кабы знать, где тебя мины ждут.
- А все же, все же, если и от вседозволенности излечись, то мин на пути будет у вас поменьше.
- Далось вам это слово. Какое-то философское понятие.

— Заметил, все садовники в философию ударяются. Или прожекты строят, как я, к примеру, прожектерством занялся по поводу переустройства нашей торговли. Цветы молчат, кивают, одобряют.— Анатолий Семенович протянул ведро с розами Павлу.— А ведерко я вам дарю как оптовому покупателю. И еще в придачу совет... Павел Сергеевич, да ну его, Митрича!— Старик отдал Павлу ведро, поклонился ему.— Понадобятся цветочки — буду рад услужить.— Он повернулся, накренил свое костистое тело, заспешил куда-то по своим делам.

А Павел с ведром роз в руке побрел прямо, свернул влево, еще разок свернул и вышел — тут все места были хожены-перехожены — к дому парусом, где жила Лена, где было его временное пристанище. Лучше было не придумать место для этих роз, чем комната, где спала сейчас Лена. Она проснется, а на полу в ведре розы. И она улыбнется им, обрадуется, просветлеет ее строгое, в печали лицо.

Войдя в подъезд дома, Павел уверенно нажал на три кнопки — на двойку, пятерку и семерку. Он и дверь в коридор отомкнул уверенно, смело отпер дверь квартиры. Эту уверенность, смелость внушили ему розы. Мысль подарить целое ведро роз Лене была счастливой мыслью. Не таясь он вошел в ее комнату. Лена спала, откинув простыню: ей было жарко. Павел увидел ее нагой, прекрасной, как прекрасна нагота молодой женщины, чуть только изведавшей любви. Немыслимо было догадаться, когда Лена была в одежде, что так пленительны ее бедра, что такая совершенная у нее грудь, грудь женщины, но и девушки.

Дивясь самому себе, что не припал к ней, дивясь своей вдруг робости, нет, еще чему-то в себе, Павел, оглядываясь, вышел из комнаты. Он осторожно замкнул дверь, теперь он боялся, что Лена услышит его, тихо прошел по коридору, осторожно замкнул и другую дверь. У лифта, пока гудел к нему лифт, Павел вслушался, как колотится сердце. Он шагнул было к двери, но откачнулся, отбросив себя назад, в отворившийся лифт.

В просторном холле министерства, когда Павел, воспользовавшись своей пухлой записной книжкой, позвонил по внутреннему телефону одному из тех, с кем собирался побеседовать глаза в глаза, все пять лет вынашивая в себе миг этой встречи, по телефону с ним заговорила женщина.

— Да, был такой, но сплыл,— сказала Павлу женщина, и мстительно как-то прозвучал ее голос.

— Он что, в командировке, в плавании?— спросил Павел. Это ведь было плавающее министерство.

— В плавание уходят, а не сплывают,— сказала женщина.— Вы кто, моряк?

— Сухопутный. Где мне его добыть?

— Откуда мне знать? Да и знать не хочу! Сплыл!

— Вы не огорчайтесь, он всегда был таким,— сказал Павел.

— Я огорчаюсь? Каким — таким?

— Сплывающим. Хотите, я ему от вашего имени морду набью? Скажите только, где его найти.

— А это идея! Если верить слухам, он пасется в магазине «Консервы» на ВДНХ. И скажите ему, что его презирают!

— От кого привет?

— Он поймет!— Женщина бросила, нет, швырнула трубку.

— Неплохой способ узнавать адрес человека,— сказал Павлу стоявший в очереди к телефону невысокий морячок в невероятно заломленной фуражке с потускневшим золотым «крабом».— Действительно пойдете сейчас кому-то бить морду?

— Не исключено,— сказал Павел, листая записную книжку. В этом министерстве и еще были люди, кому бы он мог позвонить. Павел нашел нужный номер, но телефон уже был занят, в трубку баритонил тот самый морячок в фуражке, заломленной именно так, как смеет это сделать очень бывалый, исходивший все моря и океаны человек морской приписки.

Павел огляделся: и другие телефоны были заняты, шел разговор, так сказать, по всей флотилии. Занятое это было место. Отсюда, преодолев препоны, свершив вот эти телефонные разговоры, выправив затем нужные документы, люди уходили в плавание, на тысячи миль, на долгие месяцы. Тут стеночки подпирали капитаны и штурманы, спе-

циалисты всех матросских статей, которых судьба лишь случайно занесла так далеко на сушу, так далеко от их портов приписки. Может быть, они очутились в Москве, чтобы поставить крест на своем морском бродяжничестве, чтобы пришвартоваться к какой-нибудь женщине, к москвичке, пожить попробовать в столице, но вот и снова они в бюро пропусков, откуда прямой путь к морям и океанам. Обрекая себя на тяжкую работу, в гробу бы ее не видать. На месяцы, месяцы ввергая себя в соленую купель. И так — неделями, месяцами. Шторм, дождь, рыба вьющаяся вонь, придира-капитан, трудный характер у команды — бросить бы все это к чертям собачьим. Но нет, ее нет — жизни без моря. Это единственная приемлемая жизнь на земле. Ну ее, эту Москву, этих баб с московской пропиской. Пользуйтесь, кому приспичило, а мы — в море.

Про это и шел тут разговор по внутренним телефонам. Моряки, рыбаки, случайно заскочившие в Москву, рвались в море, спешили, душа рвалась. Выйдут в море — и потянет на сушу.

Освободился телефон, бывалый морячок, счастливо улыбаясь, враскачку побежал к окошку за пропуском.

— Оформляй, барышня! Сейчас получу бумаги, вечерним рейсом во Владик! А там!.. — Своей радостью он делился со всеми, кто был в бюро пропусков. И все, кто был сейчас тут, все, но не Павел, радовались с ним и завидовали ему. А у Павла были другие дела, другие заботы. Ему тут трудно стало, он был тут чужим. Раздумав звонить, Павел пошел к дверям, сразу из моря вышагнув на московское знойное сухопутье. Худо было на душе. Но адрес он все же добыл, и радовало, что тот человек, которого он собирался увидеть, «сплыл» отсюда, что ему, это ясно, не сладко сейчас, что есть женщина в этом доме, которая его презирает. А он и заслуживал презрения: верткий, сволочной мужик.

Адрес повел, заставил снова нырнуть в метро, пересечь всю Москву, очутиться на ВДНХ.

Когда-то он любил бывать здесь. Это был город в городе, и это был город, где всегда жил праздник. Золотые фигуры главного фонтана, наново золотые, подновленные, все же были из прошлого, из недавней старины, из его молодости. Тут много было новых зданий, деревья разрослись, укоренились. Очень давно последний раз был он здесь. В молодости. Еще до той вихревой поры, когда крутило его по Москве, но все по иным местам — в Москве оказалось много кругов, разных для разных возможностей. ВДНХ —

это было место для людей скромных возможностей, для студентов, для пенсионеров, для семейных выводов. Он и бывал тут, когда был студентом, когда шашлык по-карски казался да и был шашлыком по-царски. Где-то тут, укрывшись за высокими зданиями, была — сохранилась ли? — великолепная та шашлычная, посидеть в которой тогда было праздником, редким, ибо редко водились деньги. А потом, в том круге, когда денег было навалом, по иным местам гонял, ни разу не вспомнив скромную, царскую ту шашлычную.

Магазин «Консервы», помнится, был где-то по правую руку от главного фонтана, где-то совсем неподалеку. Павлу не хотелось ни у кого спрашивать, где этот магазин, хотелось доказать себе, что помнит выставку, помнит свои тут молодые шатания. Поплутал, но все же выбрел к почти круглому зданию, к помпезному строению, где в витринах красовались консервные банки, выложенные в замысловатые геометрические фигуры.

Торговый зал был невелик, хотя оглядеть его из-за вставших в нем квадратных колонн сразу не удалось. Торговля шла не бойкая, летом консервы и вообще худо идут. Несколько человек лишь стояли в очереди у прилавка с соками. Вот там, за этим прилавком, обряженный в белый, но измаранный уже томатным соком халат, и работал, занимая в магазине традиционно женскую должность, искомый Павлом человек. Он небрежно нацеживал в стаканы сок, небрежно мыл стаканы, небрежно отсчитывал мелочь. Равнодушие, брезгливость, но прежде всего отсутствие жили на его лице с барственными брылями, с чувственным ртом, с погасшими глазами. Небрежно был повязан его фирменный галстук, вяло падали на лоб с впечатанными морщинами серые космы. Никлый человек увиделся Павлу. Узнать в нем бывшего Олега Белкина было можно, но можно было и не узнать. Подменили человека, как говорится. Или сам себя подменил? Хватать такого за грудки, вперять в такого взгляд, требуя ответного взгляда, чтобы поймать на неправде, чтобы уличить, — да не пустая ли это затея? Не повернуть ли, не уйти ли?

Но Белкин уже сам узрел Павла. Встрепенулся, быстро поднес руки к глазам, будто протирая их ладонями, забыв обо всем, как к другу дорогому, кинулся к Павлу.

— Павлуха, да не может быть?! — и полез обниматься. Смалодушничав, Павел дал себя обнять, отворачиваясь от кислого томатного запаха, которым провонял Белкин.

— Мария Ивановна! Мари! Подмените меня!— кричал Белкин.— Друг вернулся! Хоть увольте, исчезну с ним обмыть возвращение!

Полная Мари выплыла из подсобки, взгляделась, узнала Павла.

— Надо же, Шорохов!

Здесь, даже в этом, на выставке, магазинчике, Павел Шорохов был среди своих, не чужаком, здесь было его бюро пропусков.

Полная Мари, она когда-то работала у Павла в гастрономе, сочувствуя, разглядывала его, потом ободрила:

— А вы молодцом еще, Павел Сергеевич! Дайте адресок, где обосновались. Я бы к вам перебежала. Возьмете?

— Пока еще нигде не обосновался,— сказал Павел.— Здравствуйте, Мария Ивановна. Работайте, работайте.

Он так всегда говорил, проходя по отделам, проносясь, улыбаясь: «Работайте! Работайте!» Жизнь тогда, казалось, подарила ему крылья.

— Мы пошли, Мари?!— взмолился Белкин.

— Идите, идите...— У нее стало печальным лицо, вспоминающим.

— Куда толкнемся? Ты при деньгах?— спросил Белкин, когда они вышли из магазина. Халат он так и не снял, халат ему тут был пропуском, объявлял его тут своим.

— При деньгах,— сказал Павел.

— А мы ждали тебя еще через три годика.

— Мы?

— Думаешь, тебя забыли? Процессик был из приметных. И ты ведь у нас из приметных. На меня тут глядя не удивился? Как нашел? Искал? Случайно?

— Искал. Между прочим, какая-то дама, откликнувшаяся по твоему служебному телефону, просила передать, что она тебя презирает.

— А, Надежда?! Рассчитывала замуж за меня выскочить. Это когда я был в форме. Потом отвернулась. Узнала, видите ли, что я вел не совсем честный образ жизни. Прозрела! О, эти Надежды, они прозревают, они покидают нас только после нашего крушения!

— Похоже, крушение было из серьезных?

— Как взглянуть!— Стертые глаза Белкина вдруг обрели колючесть.— Не присел все-таки. Строгач — это еще не конец. Еще повоюем, еще возвернемся. Ты-то как у нас? Шрамы эти где заслужил? Там что же, и поныне ножами балуются?

— Не пугайся, это не там. Там бы тебя просто каждое утро заставляли нужник мыть. Отнимали бы посылки. В бане бы спину всем намыливал. Ты там был бы «шестеркой».

— Злой ты. Злые глаза. А я тебе обрадовался, как брату.

— Ну, ну. Пошли, что ли, действительно выпьем. Шашлычная тут еще работает? Домик такой с завитушками, с колоннами — цел он?

— Услада юности твоей? Цел, цел. Пошли, проведу. Но только, если у тебя ко мне вопросы, а ты с вопросами явился, спрашивай здесь, в тиши дерев.

— Вопросы? Были вопросы.— Павел задумался.— Были. Много было вопросов, да что теперь спрашивать?

— С кого, хочешь сказать? Повержен, уничтожен, какой с меня спрос — так, верно понял?

— Один вопрос, один всего вопрос, Олег... Скажи, как ты добывал и кому передавал для продажи без накладных те сотни банок икры, которые и ко мне в гастроном закатывались?

— Вопрос тянет лет на шесть строгого режима,— сказал Белкин, и его брылястые щеки затряслись от мелкого, трясучего смешка.

— Я свой срок отбыл.

— А мне никакого срока не нужно. Ворошить старое вздумал, Павел Сергеевич?

— Старое повязано с новым.

— Повязал, развязал — это из блатного мира, это у тебя, Паша, благоприобретенное. Но мне этот мир чужд и враждебен.

— За что погнали из министерства?

— Запомни, чужд и враждебен. Не погнали, собственно говоря, а уволили по сокращению штатов. Там ведь у нас штормило.

— А теперь уже не штормит?

— Нет. Ясная погода. И ты, Павел Сергеевич, зря старое ворошишь. С этим тебе тут у нас не начать. Куда ткнулся-то? К кому? Меня вот пристроили.

— Стаканы мыть?

— Тебе, может, что лучше предложат. Поторгуйся. Но только никого не пугай. Советую, не пугай.

— Да, а все же ты тянешь и еще на один вопрос.

— Пашенька, а может, пожую шашлычку, попьем чего-нибудь, а? К бабам, если не остыл, можем закатиться.



Ты вон какой еще видный! А? Ну зачем нам душу беречь? Ты отсидел, меня прогнали, именно, именно. Начнем по новой, а?

— Не виляй, Олег, не выжимай из себя слезы. Скажи лучше, какие у тебя тогда были дела с Митричем?

— С кем, с кем?— Белкин соображал, метались у него глаза, то ясней, то снова мутней.— А, с Колобком? Какие же дела с Колобком могли быть у ответственного работника министерства? Шапочное знакомство. Кто на Москве не знает чудака этого при рыбках? Даже туристам иностранным его показывают.

— Чудак, не спорю. Что у тебя за дела были с этим чудачком? Левый товар не от тебя к нему шел?

— Борис Дмитриевич Миронов — действующая фигура. Где работал, там и работает. Ты бы у него и спросил.

— Спрашивал!

— И как он отреагировал?

— Колобок. Уклонился. Укатился.

— Я так и думал. Умный дядя. Да разве такие вопросы в лоб задают, Павел Сергеевич? Ты, гляжу, начал забывать торговый мир. Да кто тебе признается в чем-либо таком, если даже и погрел руки?

— Верно, я спешу. Но я пять лет к этой спешке шел.

— Было время подумать, стало быть?

— Было!

— Подумай тогда и еще чуток, Павел Сергеевич. Не спеши, не спеши, подумай. А что касается меня, то я Митрича вообще не знаю. Смутное видение. Катящийся шар. Забыл!— Белкин остановился, жалеючи Павла ли, себя ли, что сорвалась выпивка, покачал, сникая, головой, повернулся и шибко зашагал назад к своим стаканам.

## 23

Каким он здесь бывал? Павел попытался вспомнить себя. Шел назад к арке главного входа и вспоминал. Думая о далеком, о забытом, он отгораживался от сегодняшнего себя, брал передышку. Тогда все было просто, все было ясно. Бесконечно большая впереди посверкивала жизнь. А пока жилось, как дышалось. Сюда приезжали институтскими компаниями, чаще всего после стипендии, чтобы побыть в этом празднике, в этих павильонах Грузии и Армении, где и зимой висели на ветках громадные лимоны, где пахло мускатным виноградом, где и зимой было

тепло, как летом, еще теплее даже, чем в метро. А зимой тогда бывало холодно, студенческие одежки не грели, ботинок, сапог на меху не было и в заводе. Приезжали, отогревались, нанюхивались ароматами из «Тысячи и одной ночи», складывали рублишки, шли в шашлычную, а мало было денег, так в пельменную. Девушки в их компаниях готовы были отозваться на любую шутку, смех красил их, они знали это. Он был не последним в студенческом застолье, пожалуй, из первых. Ему говорили, что с ним легко. Ему всегда говорили, что с ним легко. Ему и самому было с собой легко. Все получалось, все ладилось. Хорошо учился, хорошо шел спорт — баскетбол, прыжки, бокс. Он и петь мог, брэнчал на гитаре. Отец говорил ему: «У тебя, Павел, ко всему хорошие задатки. Это меня беспокоит». Стариков всегда что-нибудь да беспокоит. Мать не спала, когда он поздно возвращался. Не так боялась за старшую дочь, как за младшего сына. Она говорила ему: «Ты на ветру у меня». Он и тогда не понимал, какой смысл она вкладывала в эти слова. Он и сейчас не понимал. Легкомысленным ей казался? Куда ветер дует? Он был сильным парнем, умел постоять за себя, нет, его не так-то просто было сдуть.

С отцом здесь однажды побывал. Совсем уже давно, еще в детстве. Запомнил, потому что отец был всегда занят, по пальцам можно было сосчитать, когда они вдвоем куда-нибудь выбирались. По-мужски. Здесь они были в кино, в летнем кинотеатре. Павел искал, оглядываясь, где этот кинотеатр под открытым небом, громадное такое круглое сооружение из зеленых досок. Не отыскалось это сооружение. Наверное, снесли, построили нечто новое, современное и с надежной крышей. Пора наивных зрителей, мокнувших под дождем, миновала. Помнил Павел и фильм, который они смотрели, забыл только название. Там мчались кони, там слепило глаза солнце. И белели снежные вершины гор. Отец специально пошел на этот фильм, потому что в нем показывали поле, до горизонта укрытое чем-то белым. Но это был не снег, это был хлопок. Отец хотел показать сыну, как выглядит хлопок на поле, потому что вся жизнь отца была связана с хлопком. Он работал в Министерстве легкой промышленности и ведал там распределением всего хлопка страны по текстильным фабрикам. Отец гордился своей работой. Он начинал с Акимовым, он работал с Косыгиным. Отца считали крупнейшим знатоком хлопка. Его друзья, приходившие к ним в гости, всегда подчеркивали

это. Даже тосты такие произносились: «За знатока!» Но жили они бедновато. Не очень тяготились этим, мать умело вела хозяйство, но все же всегда чего-нибудь не хватало. Всякая новая вещь была проблемой. В разговорах между отцом и матерью часто возникала тема денег. Как дотянуть? Как сократить, чтобы дотянуть? Но никогда не возникал вопрос: «Где взять?» В их семье страшились долгов. Потом, когда закружило Павла, когда пошли к нему большие деньги — отца уже тогда не было в живых, — вспоминая отца, обдумывая, как он работал, чем занимался, Павел не мог не понять, что отец, как говорится, сидел на мешке с деньгами, ведь он планировал распределение хлопка, дефицитнейшего во все годы сырья. Сидел на мешке с деньгами, довольствуясь скромной зарплатой. Не брал никогда подарков, а с ними к нему подкатывались иные из толкачей. Он, смеясь, рассказывал дома про эти подкаты, рассказывал, как выгонял из своего кабинета субъектов с презентами. Дома у них всего лишь два жалких висело коврика, купленных отцом на сбереженные от командировок деньги. Сестра ходила годами в одном и том же пальто. Коньки Павел себе купить не мог, брал у приятеля, лыжи и лыжный костюм ему выдали в институте. Так кем же был его отец, чудачком? Фанатиком-коммунистом? Нет, он даже не был членом партии. Говорил, что опоздал, что надо было в войну вступать, когда «коммунисты — вперед», а он не вступил тогда, пропустил минуту. Так, значит, чудачком был его отец? Он таким не казался ни сыну, ни дочери, ни жене, он таким не казался, их отец и муж, Сергей Павлович Шорохов, участник, как теперь пишут, Отечественной войны. Просто он был честным человеком. Обыкновенным честным человеком.

Так, может быть, оттого, что натерпелся нужды, кинулся он за большими деньгами? Оголодал, так сказать? А сестра почему не оголодала? Нет, все не так просто. И не всегда, вот и не всегда из честной семьи выходят честные, а из бесчестной — бесчестные. Тут не сыскать экономических обоснований, психологических предпосылок, хоть ты и дипломированный экономист, учили тебя и философии, и логике. Стоп, довольно вспоминать, блуждать в прошлом, если память все равно поворачивает назад, в сегодня. В хмури эту посреди солнечного дня. В тягость эту, когда надо узнавать, сопоставлять, решать. Да, решать!

Но в хмури и тревоге, властвовавших над ним, был, жил, звучал то ли свет, то ли голос, то ли образ. Было ме-

сто в этом громадном городе, куда влекло, был человек, женщина, от которой ослеп, женщина, которая ему доверилась, чье доверие он не обманул. Вседозволенность? Да где же она? Он ничего себе не посмел позволить, позволявший столько. Не переступил черту, переступавший столько.

Там, в квартирке с окнами на купола древней церкви, там ждет его чай с медом, хлеб с маслом, женщина, простая, как этот мед и хлеб, прекрасная, как этот мед и хлеб.

Снова, в который раз сегодня, припустил Павел бегом, чтобы поскорее добраться до метро, чтобы до того дома поскорее добраться, где дверь, как «Сезам, откройся!» — отворяется на два, пять и семь.

В дверь квартиры Павел постучал, больше уже не решаясь пользоваться ключом. Он прикинул, что Лена уже поднялась, в пути он придумал, как избежать разговора про это ведро с розами посреди комнаты: сразу с порога он позовет Лену обедать в какой-нибудь ресторан, да и время было обедать, сразу с порога начнет ей рассказывать про выставку, где не бывал с молодых лет, заговорит ее, не даст слова вставить. Главное, проскочить первую неловкую минуту, увернуться от ее глаз, проследить, чтобы и свои глаза не выдали. Теперь уже нет былой Лены, серенькой медсестры, теперь никогда уже она такой не будет.

Лена отворила, не спросив даже, кто стучит. Она была во вчерашнем платье, которое шло ей, вчера шло, а сегодня уже неважно было, в каком она платье.

— Входите, Павел.

Павел шагнул в квартиру, увидел повсюду свои розы — и в комнате, и на кухне — в вазочках, банках, стояли они и в ведре.

— Красота! — воскликнул Павел. — Все-таки розы — всем цветам цветы! Лена, я приглашаю вас в ресторан! Тут есть неподалеку вполне приличный, «Урал». При гостинице того же имени. Собирайтесь! Вам когда сегодня на дежурство? Снова вечером? У нас уйма времени!

— Павел, я совсем-совсем была голая, когда вы вошли? — Она смотрела на него, и никуда ему было не деться.

— Совсем, Лена.

— Ну вот и выяснила. Хорошо, пойдем обедать. А за розы спасибо, большущее спасибо. Вот уже ведрами мне розы никто не дарил, даже больные, отбившиеся от смерти.

— Лена...

— Что — Лена? У меня есть зеркало, вот оно. Я и сама себя иногда разглядываю.

Невозможно было узнать эту женщину, совсем другой стала. Только и спасало, что чуть-чуть тянуло от нее лекарстами. Родным показался этот запах.

— Вы все же отвернитесь, встаньте у окна, когда я буду выходить из ванной.— В ее голосе жил смех.— Секретов у меня теперь от вас нет никаких, а все-таки...

Невозможно было узнать ее, невозможно.

## 24

Про «Урал» Павел вспомнил, потому что этот ресторан был рядом, он часто бывал в нем, когда жил поблизости, это был его как бы домашний ресторан, он подзывал сейчас Павла привычно. Хотя ты и москвич, а когда долго не поживешь в Москве, да еще когда хмуρο тебе, невольно цепляешься за близкие к родному дому углы.

Они решили идти пешком. Три остановки на троллейбусе, ну, четыре почти — пустяковое расстояние. Лена опять надела свое белое выходное платье, которое ей не шло. Все равно теперь. Даже лучше, что она в этом платье. Не все ее угадают.

Они шли и переговаривались, так, ни о чем. Вот старинный особнячок ремонтируют. Оказалось, когда отбили штукатурку, что у него даже колонны были из дерева, открылась старая почерневшая дранка. А выглядел таким прочным, каменным. Такие и люди бывают. Чаше всего такие и бывают. Когда пересекали Садовое кольцо, Павел указал Лене на свой дом.

— Вон на седьмом этаже окно, а над ним балкон. Там я и жил.

— Я здесь новенькая, все равно бы мы не встретились,— сказала Лена.

Когда проходили мимо церкви на углу улиц Чкалова и Чернышевского, Павел рассказал Лене, что раньше тут было архимандритское кладбище. А потом, когда поравнялись с проходом, выведившим с улицы Чернышевского к ним во двор, Павел рассказал Лене, что там, слева у стены, растут каштаны, не такое уж частое дерево в Москве.

Но вот и «Урал». Хорошо все же идти по так запомнившейся дороге, что и через пять лет она кажется тебе

вчерашней. Хорошо, когда гардеробщик, встречающий тебя и твою даму, все тот же, узнает тебя, профессионально, впрочем, позабыв, когда ты тут был в последний раз.

— Здравствуйте, дядя Коля!

— Здравствуйте, здравствуйте... Давненько...

Дядя Коля постарел — это не шутка прожить пять лет при ресторане и еще при баре, который тут же, напротив гардероба. Но золото на фуражке и галуны на рукавах у дяди Коли горят огнем. А бар, как новенький, круглые сиденья не хранят ножевых шрамов, как раньше, обтянуты наново и во что-то яркое, бутылок с заморскими ярлыками за спиной у барменши прибавилось.

— Смотрю, большая польза от Олимпиады для Москвы, — сказал Павел и уверенно повел Лену по лестнице на второй этаж.

В ресторане было пустовато. Летом здесь и раньше было пустовато. Низкие потолки, много стекла, современное сооружение, когда глазам вольно, а дышать нечем. Но тут отличный был повар, мастер рыбных блюд. Павел сказал об этом Лене:

— Тут отличный повар по рыбе. Любите рыбу?

Она кивнула.

Он повел ее, гордясь ею, по узкому проходу, к тому самому столику в глубине зала и в углу, где было поменьше все же солнца и где он и раньше любил сидеть. Столик, к счастью, был не занят.

Они сели, и к ним сразу подошла официантка. Наверное, узнала его? Нет, едва взглянула. Впрочем, у официанток, как и у продавцов, профессионально отсутствует память на лица. Зато у них профессионально присутствует нюх на клиента. Павел тоже не узнал эту пожилую женщину, непомерно раздавшуюся, с усталыми, в прошлом бедовыми глазами. Она добро поглядела на Лену, на ее собственноручного шитья платье, в ее лицо без малейшего грима, она долго читала Лену, чего-то не умея понять. Павла же прочла, лишь глянула.

— Не перед загсом ли к нам зашли, милые? — спросила благожелательно официантка.

— Почти, — ответила Лена невозмутимо.

— Повезло вам, товарищ, — сказала официантка Павлу. — Где-то я вас встречала. Захаживали к нам?

— В первый раз.

— Нет, а вы бывалый. Как будем обедать, с размахом?

— Разумеется.

— Павел Сергеевич, только мне ни грамма,— сказала Лена.

— Выходит, я ошиблась,— удивилась официантка.— Деловая встреча? А вы-то выпьете, молодой человек?

— Немного водочки. И, знаете, несите все по своему усмотрению. Рыбное что-нибудь. Повар все тот же?

— Все тот же. Говорила, что вы тут у нас бывали.

— Бывал, бывал.

— Далеко, видно, от нас отъезжали?

— Далеко.

— Я и смотрю.— Она отошла от стола, покачиваясь на тяжелых, уставших ногах.

— Умный народ — эти официантки, старые официантки,— сказал Павел.— Разбираются в людях. Заметили, Лена, как она вас изучала? Вы для нее новинка.

— Все старые женщины, мне кажется, умны,— сказала Лена.— У нас такие есть в больнице старушки, что только взглянет на больного — и все про него уже знает. Даже — жилец или нет. А никакой не доктор, обыкновенная сестра. Вы не стали там работать, Павел, вы уволились?

— Уволился.

— Я рада за вас. Совсем от них отделались?

— Нет. Вернее сказать, я-то от них отделался, а они от меня — нет.

— Тетрадь? Это она вам велит?

— И тетрадь, и я сам. Есть вопросы, Лена, есть вопросы. Я эти вопросы пять лет копил.

— Вы пришли, когда вы пришли с цветами... Вы ведь сперва не думали мне покупать цветы, так вышло, случайно вышло?

— И молодые медицинские сестры очень умный народ.

— Заскочили в цветочный магазин, искали нужного человека для разговора, а уж потом надумали цветы купить — ведь так все было?

— Умный, умный народ. А у нас в Кара-Кале такие же есть рестораны, как и этот. Ничем не хуже. И стекла много, и дышать нечем. Но зато какая там еда. Лена! Шашлыки, какие шашлыки, манты, плов! Про помидоры я не говорю! Про дыни, арбузы, гранаты...

— А уехали. Жили бы там, не знали бы мы с вами горя.

— У вас какое же горе?

— Ох, Павел, я же не глупая, вы сами сказали.

— А я что ж, покручусь тут немножко, а там и назад. К змейкам. Там и друзья уже есть. Примут, обрадуются. Верно, а не рвануть ли в Кара-Калу?!

— Вы это только сейчас надумали?

— К чертям эту тетрадь! Обмотаю ее клейкой лентой и засуну куда-нибудь. Пусть разбираются, когда меня гюрза перехитрит. Пусть полежит пока.

— Только сейчас надумали?

— Захочу, смогу там и по специальности устроиться. Там специалисты с дипломом понужней, чем в Москве. С любыми документами примут.

— Устали, Павел? Сколько вы уже в Москве?

— Долго!— Он подумал, посчитал, удивился:— Всего четыре дня, пятый день! Не может быть, всего-навсего пятый день!

Подошла официантка, неся поднос с закусками, с маленьким графинчиком водки, с громадным графином какого-то фирменного напитка. Она стала устанавливать стол едой, довольная, что раздобыла всю эту снедь, добро поглядывая на Лену, для которой и старалась.

— Помидоров нет?— спросил Павел.

— Где ж их взять?

— Так ведь лето, они летом и бывают,— сказал Павел.

— На рынке, не у нас. Ну да ладно, у меня свои в сумке есть, принесу парочку. Вам, девушка.— Официантка пошла, заспешила на тяжелых, уставших ногах.

— Просто влюбилась в вас,— сказал Павел.— Вот, Лена, лето, а в ресторане, в дорогом ресторане нет помидоров. Послать бы директору своего сотрудника пусть хоть в даль далекую, в Ашхабад, купить бы там ящиков двадцать помидоров, пригнать пусть хоть даже на самолете. Ведь окупится. Клиент спасибо скажет. Нельзя! Не фондовый товар. Частная операция. Вот жулики и греют на этом руки. Так создается дефицит. А в Ашхабаде или, скажем, в Кара-Кале помидоры сейчас некуда девать.

Вернулась официантка, выложила на стол, гордясь, два блеклых помидорчика.

— Кушайте на здоровье!— Уходя, она кивнула Лене, ободряя, мол, держись своей линии, мужики, мол, такие-разэдакие, а нам — страдать.

— Влюбилась. В вас, знаете, что главное, Лена?

— Что?

— Вы — надежный человек. Вам довериться можно.

— А-а. А я было подумала, что вы станете сейчас раз-



бирать мои женские достоинства.— Смеялись ее глаза, смех в них был новостью для Павла. Менялась, она все время менялась.

— А вы не такая уж простая,— сказал Павел.

— Не такая уж, Павел. Вы выпейте, вам надо разжаться.

Павел налил Лене из громадного графина, где сиротливо плавали лимонные дольки, налил в стакан себе водки, отказавшись от рюмки, спросил:

— Можно я сразу выпью все эти сто пятьдесят граммов?

— Можно.

— За вас, Лена! А что, да вы красавица!— Он выпил, разом опрокинув стакан. Легко пошла водка.— Какое-нибудь модное платье, модная прическа, чуть-чуть грима — и все ахнут! Вы спрятались, а вы — красавица!— Потому и хотелось ему сразу выпить, чтобы сразу полегче на душе стало, чтобы хоть на минутку забыться.— Но я рад, что вы спрятались, рад. Иначе мне б не видать вас как своих ушей. Прошли бы с каким-нибудь везуном мимо меня и не взглянули. Только бы дверца машины хлопнула, «Чайки». Вы для «Чайки», Лена. Так вот генералы и министры и женятся. Углядят своими ястребиными глазами какую-нибудь медсестру, буфетчицу, библиотекаршу, разгадают ее в бедном платьице, Золушку эту, и потащат к себе во дворец. И вот вам — новая на Москве красавица. В театре все — ах! В банкетном зале все — ах! В посольстве на приеме все — ах! Кто такая? Откуда царевна?! А это Лена, медсестра...

Она слушала его, потупившись, лишь мимолетно взглядывая на него, усмешливо, добро, печально. Она была сейчас старше его на много, много лет. Но слова его ей нравились, они не могли ей не нравиться, они, эти слова, шли Павлу, были к лицу ему, он помолодел, таким он, наверное, был лет с десять назад, в пору своей удачи.

— Вы слушаете меня? Чему вы улыбаетесь? Я истину говорю!

— Я слушаю, слушаю.

— Пошли бы за генерала? Выскочили бы за министра?

Лена удивленно поглядела на Павла, мимо него, не его словам удивившись, а чему-то своему, в себе. Она опечалилась, вспомнила, замкнулась.

И как потом Павел ни старался развлечь ее разговорами, она не откликалась, слушая его вполслуха, сосредото-

точенно занялась едой, спеша покончить с этим, как спешат в обеденный перерыв.

Он проводил ее до остановки троллейбуса, Лена решила ехать на дежурство, не заходя домой.

— До завтра,— сказала она.— До завтрашнего утра. Только, пожалуйста, не ложитесь на пол.— Двери троллейбуса замкнулись, мелькнуло за стеклами ее замкнувшееся лицо.

## 25

Павел побрел по улице Чернышевского, туда, к своему дому. Привычная была дорога. Он все кружил возле своего дома, хотя дома у него не было. Но там жил сын. Зайти бы хоть на минуту, глянуть бы на стены, в которых вырос, где умер отец — прилег вечером на диван и не проснулся, инфаркт,— где умерла мать, пережив отца всего на три года, тоже заснула и не проснулась. Это были родные стены. Побывать бы в них, подумать бы, там бы что-нибудь придумалось бы, нашелся бы какой-нибудь выход.

В квартире Лены ждала его тетрадь. Он и сегодня ее читал, бегая по Москве, читал, когда разговаривал с Митричем, когда потом разговаривал с Анатолием Семеновичем, этим цветоводом-счетоводом, разговаривал с Олегом Белкиным, чиновником министерства, ныне перемывающим стаканы у стойки с соками. Но еще читать ему ее и читать — эту тетрадочку. Или и вправду, обмотать лентой и сунуть куда-нибудь подальше? Ему даже некуда было сунуть эту тетрадь. Он был бездомен, полностью бездомен. А что, а не рвануть ли на самом деле назад в Кара-Калу? Не такая глупая идея. Ну, уехал, побывал в родной Москве, ну, а теперь вернулся. Что, не приняла Москва? Да, бывает же нелетная погода, когда объявляют на аэродромах: «Москва не принимает!» Такого, как он, не принимает? А можно и повернуть вопрос. Это он сам не принимает такую Москву, какой она перед ним открылась. Но разве свет клином сошелся только на той работе, какую он умел делать раньше? Вон, чуть ли не на каждой стене висят в рамках объявления о найме на работу. Он подошел к одной такой рамке, вчитался. Нужны были слесари-электрики, слесари-сантехники, истопники, но нужен был и счетовод. Невелика должность, могут взять и с судимостью. Но невелика и зарплата, рублей сто, сто двадцать,

не больше. Зато выдадут казенные нарукавники, будет ему полагаться казенная шариковая ручка. Нет, ну их, эти нарукавники, перебьется!

Пройдя узким проходом в старом доме, соседствующем с церковью на углу, не сообразив даже, что в свой двор сворачивает, Павел опять очутился на своем дворе, на пяточке у каштанов. Он глянул с надеждой, вдруг да повезло, вдруг да Сергей гуляет здесь сейчас с Тимкой. Сергея не было. Павел посмотрел на часы. Еще в самом разгаре был рабочий день. А что если?..

Более не раздумывая, Павел быстро пересек двор, вошел в свой — да, в свой! — подъезд, вошел в свой лифт, поднялся на свой этаж. Позвонил, ни о чем не думая. Он потом проклянет себя, а сейчас он ни о чем не думал, рукой только дотронулся, когда свел палец с кнопки звонка, до двери, знакомой всеми своими царапинами, надрезами, гвоздями этими с фигурными шляпками. Он сам их и забивал, эти гвозди. Была у него полоса, когда увлекся собственноручной доводкой квартиры до шика и блеска. Была такая мода тогда: демонстрировать мужчинам умелость рук, пусть хоть они и директора или там министры даже, артисты, писатели. Вспыхнула тогда мода еще и на то, чтобы мужчина умел готовить, нацеплял бы передник и вставал бы к плите. И такие тогда мужиками изобретались кушанья, какие женщинам вовек не придумать. Сами ходили на рынок, с корзинами, сами выбирали мясо, овощи, торговались отчаянно, нет, не из жадности, а для ритуала. И он нацеплял передник, ходил на рынок, жарил что-то потом невероятное, изумляя друзей. Тогда же он и эту дверь собственноручно обил, раздобыв эти медные мордатые гвозди.

На звонок сперва откликнулся Тимка. Брехал он еще неумело, именно что брехал, влаивал, а не лаял. Какой милый пес! Какая морда у него расчудесная! Взять бы сына, взять бы этого Тимку и укатить назад в Кара-Калу! А?!

Дверь отворилась, Сергей стоял в дверях.

— Отец? — Мальчик и удивился и не удивился, он умел сдерживать свои чувства. Не рановато ли научился?

— Можно, я на минуточку? — спросил Павел, изнывая от своего вопроса, от просьбы этой, обращенной к сыну.

— Конечно. Мамы нет дома и Валентина тоже. Входи.

Тимка выскочил навстречу. Этот еще не научился скрывать свои чувства. Он признал Павла, ткнулся ему

в руку холодным носом, вымаранным в каше. Павел ладонью стер с носа Тимки кашу, понюхал ладонь. Пахло от ладони гречневой кашей, сухим щенком, детством.

Их квартира была просторной, хотя в ней было всего две комнаты. Но их дом строился еще до войны, был из числа сооружений, которые потом стали называть «сталинскими», его возводили годы и годы, зато потолки были высокими, комнаты большими, прихожая, куда вступил Павел, просторной, просторен был и коридор, уходивший к кухне.

Павел топтался в прихожей, оглядывался, уже пожалев, горько пожалев, что пришел сюда. Нельзя возвращаться ни к женщине, которая тебя предала, ни в дом, где тебя предали, где эта женщина живет сейчас с другим. Здесь все было чужим Павлу, враждебным. Даже стены, даже двери. Даже паркет, который не поменяли, он был все тот же, но его покрыли лаком, омертвили этим лаком, как омертвили стены пышными обоями, кричащими позолотой, будто это не передняя была, не коридор квартиры, где люди живут, а какой-то дворцовый переход, в конце которого на столбиках укреплен шнурок, не пускающий в покой.

— Ходи, смотри, ты ведь тут жил,— сказал сын.

Обе двери в комнаты были притворены. За этой, по левую руку, жили мать и сестра, за этой, прямо перед ним, жил он с отцом.

— Я туда,— сказал Павел.— Загляну только.— Он отворил дверь в ту комнату, где прожил почти тридцать пять лет. Вошел. Как раз солнце уже начало склоняться на закат, и комната, с окном на закат, с этим привычным, памятным оранжевым кругом над крышами, была высвечена подробно и жестко. Его книги стояли на полках. Его и отца. Сразу узнались корешки, хотя их спрятали за стекло, а раньше они стояли на открытых полках, которые смастерил отец. Этих полок не было. От старой мебели тут ничего не сохранилось, даже письменного стола тут не было. Просторная тахта, совсем не для мальчика, цветной телевизор, журнальный столик, заставленный непечатыми бутылками виски, джина, «Чинзано», еще там чего-то, тяжелые кресла. Столик был утлый, из ушедшей моды, кресла были из моды нынешней.

— Где же ты занимаешься?— спросил Павел сына.— На чем спишь?

— А это не моя комната.

Павел подошел к книжным рядам. Очень захотелось

подержать в руках хоть одну из этих книг, столько сразу напомнивших и про себя и про него, читавшего их, про отца, мать, сестру, про всю их жизнь здесь. Но книги за стеклами были еще отгорожены бесчисленными какими-то безделушками, фигурками, к ним приставлены были фотографии, непрерывный, одноликий ряд позирующего человека — улыбающегося, задумчивого, сидящего, стоящего, одетого, почти раздетого, в шапке, в кепке, в панаме, в дубленке, в пижаме, в трусах, в плавках, в лыжном костюме, — до книг было не добраться.

— Культ личности какой-то! — усмехнулся Павел и пошел назад в прихожую. — Позволь, взгляну, как ты живешь.

Павел отворил дверь в комнату, где раньше жили его мать и сестра, в большую комнату, в ней было метров двадцать шесть, в праздники они собирались тут всей семьей, принимали гостей.

Их прежняя мебель исчезла и из этой комнаты, а сама комната показалась маленькой, так она была заставлена. Сюда втиснут был спальный гарнитур, но для спальни какой-нибудь магнатессы. Мебель была белая, с вызолоченными узорами, шкаф загораживал почти всю стену, двери его были, как ворота во дворец, голубой с золотом парчой были обтянуты кресла. Но не было, да и места не было, для стола, за которым бы мог заниматься мальчик. Не было и его койки.

— Где же ты спишь? — спросил Павел, чувствуя, как щемит в груди, как подступил к горлу комок от боли за сына. — Где занимаешься?

— За шкафом у окна я раскладываю походную кровать. Мне нравится, что она узкая и твердая. А занимаюсь на кухне. У нас кухня очень большая, ты же знаешь.

Плохая жена, ну ладно, но Зинаида оказалась и плохой матерью.

— Пошли на кухню, — сказал Павел. Теперь он двинулся вперед, никакого не испытывая смущения, что расхаживает по чужой квартире, теперь он шел, сжимая в себе ярость, боль и ярость.

Да, эта кухня действительно была большой, метров пятнадцать в ней было. Там легко помещался просторный круглый стол. И вот на этом обеденном столе, с краешка, у окна, в самом углу, угадывался уголок Сережи, какой-то его ящик стоял с книжками, с мальчишеской разной разностью.

— Тут и играешь?— спросил Павел.— А как же газ?

— Наш дом скоро переведут на электрические плиты. У меня и еще есть место. Это уж совсем мое.— Сережа вскинул руку, указывая отцу на антресоли, на шкаф, большой хозяйственный шкаф под потолком, благо что потолки тут были высокими. Павел помнил этот шкаф с дверцами и в коридор и в кухню. Туда можно было забраться с помощью стремянки, что Павел с Ниной и делали, когда были маленькими, там можно было даже сидеть согнувшись. Да, у них там был их тайный уголок. Но там долго усидеть было невозможно: там было душно и жарко.

— Но там же душно, жарко,— сказал Павел, и ему стало душно и жарко.

— Ничего, я туда проводку сделаю, у меня будет вентилятор. Жаль, Тимка не обезьяна, а то бы он мог там лично жить.

— А где его место?

— Вот здесь, под столом, когда я здесь. А вообще-то в передней. Проблема не в этом...

— А в чем? В чем еще?

Мальчик опустил голову, молчал.

— Ты поделись со мной, сын, не копи в себе,— попросил Павел.

— Они хотят отдать Тимку. Как я ни слежу, но иногда он что-нибудь да запачкает. Они боятся, что он начнет скоро все грызть.

— Зачем же взяли? Живое же существо.

— Я очень просил. Я обещал, что всегда буду гулять с ним, слово дал. Валентину понравилось, что у Тимки такая родословная. Взяли, а теперь раздумали. Не знаю, как быть.

— Собака замечательная,— сказал Павел, прислушиваясь, как бежит в нем подоженный бикфордов шнур, подбирается огоньком к сердцу.— Сережа, сынок, а что если нам с тобой и с Тимкой рвануть отсюда?!

Когда вспыхивал в нем этот бикфордов шнур, так бывало уже, Павел принимал решения. Стремительные, неожиданные, взрывные. Жизнь притушила эту взрывчатку в нем, но, видать, не до конца.

— Куда?— поднял голову Сережа.

Павел обнял его, притянул к себе, рукой придерживая и Тимку, который тоже задрал голову, словно спрашивая — куда?

— В Туркмению, в Кара-Калу, в город, откуда я приехал! Слушай, сын!— Павел увлекся, он загорелся, бикфордов шнур бежал по его сердцу.— Там — граница. Там у меня полно друзей среди военных. Там нашего Тимку обучат всем наукам. Когда тебя призовут в армию, тебя призовут вместе с собакой. Представляешь?!

Сереза помолчал, подумал, внимательно глядя на отца, сказал:

— Я согласен.

— Просто сбежим — и все!

— Я согласен.

А в Павле мысли наскакивали одна на другую. Вот зачем он здесь! Он приехал за сыном! Не своим устройством надо ему заниматься в Москве, а надо ему спасти сына. И себя, а что, и себя тоже. Все складывается как нельзя лучше. Потому что все сложилось как нельзя хуже. Мальчик в беде. Он сам в беде. Эта собачонка — она тоже в беде. Надо спасти — сына, себя, эту собачонку! Надо сбежать отсюда!

— Вот что,— сказал Павел, успокаиваясь, остывая, потому что решение было принято.— Сейчас я пойду. А завтра встретимся и обговорим детали. Никому ни слова, Сергей. В школу твою я потом напишу. Вещей никаких нам твоих не нужно. Все — наново, заново.

— А Тимку пустят в самолет?

— Покатим на поезде. Откупим целое купе. В жестком купе собак возить разрешают.

— Тогда все в порядке.

— Тогда все в порядке. Встречаемся завтра и все обговорим. Где мы встретимся? У каштанов? Когда?

— А можно, мы пойдем с тобой в зоопарк?— попросил Сергей.

— В зоопарк?— удивился Павел.

— Мы там были с тобой. Я помню, как мы там были с тобой. Я тебя почти забыл, а в зоопарке помню. Даже помню, что ты нес меня на плечах. Высоко было.

— Понял, понял. Решено, идем в зоопарк. Я буду ждать тебя завтра у каштанов ровно в одиннадцать. Договорились?

— Договорились.

— Без Тимки. Зачем ему в зоопарк?

— Без Тимки.

Они вышли в коридор, вышли в переднюю. Они шли рядом. Павел обнимал рукой плечи сына, и рука сына

тянулась к его плечу. Тимка путался под ногами, он радовался, взлаивал, подпрыгивал. Весьма возможно, что он учуял дальнюю дорогу.

— До завтра!

— До завтра!

Лифт спустил Павла, мягко, бережно, это был родной лифт, но спустил на землю. И едва Павел ступил на землю, очутился во дворе, очутился в буднях и в гуле московском, решимость стала покидать его, стали разъедать сомнения. Но слово было сказано, и слово это было сказано сыну. Что-то надо делать, все равно что-то надо делать: мальчику плохо жилось, это уж ясно, ему было плохо.

## 26

В первом этаже его большого дома чего только не было. Был фруктовый и винный магазин, но был и книжный, была и почта. Вот на почту Павел и зашел, помня, что в ней есть междугородный переговорный пункт. Он разменял трешку на монетки по пятнадцать копеек, зашел в кабину, достал свою пухлую записную книжку и позвонил, набрав нужный код, в Дмитров, к сестре на работу. Нина сразу же отозвалась, и слышно ее было хорошо, близко.

— Нина, это я, Павел.— Он помолчал, вслушиваясь в ее обрадовавшийся ему голос.— Нина, что ж ты мне не сказала, как плохо живется мальчику.

Теперь там молчали, в Дмитрове.

— Его же спасать надо,— сказал Павел.

— Как?— тихо отозвалась сестра.— От родной матери не отнимешь.

— А если мать никудышная?

— Ты, что ли, кудышный? Устроился? Чего молчишь?

— Думаю, думаю. Ладно, я тебе еще позвоню на этих днях.

И повесил трубку. И весь разговор. А что мог он сказать сестре? Он только для того и позвонил, чтобы услышать родной голос, чтобы поделить с родным человеком навалившуюся на него тяжесть. Еще одну тяжесть. Плюс к той, которую навалил на него, умирая, Петр Котов. Плюс к той, какую сам стал наваливать на себя, вызная, сличая, обдумывая, припоминая.

Пешком дошел он до дома Лены, думая, думая. Но мыслей не было. Как-то так получалось, что ничего не



удавалось обдумать. Кружились мысли, топтались на одном месте, все одни и те же, не мысли, а обрывки.

Когда так думается, лучше вовсе не думать, идти, бросив поводья. Павел и забрел, бросив поводья, в промтоварный магазин, стоявший стена в стену с домом Лены. Ему нужны были рубашки, он об этом вспомнил, увидев ряды висевших на вешалках рубашек. Он выбрал две белые рубашки, иностранные, кажется, венгерской фирмы. Купил. Ему нужны были носки, он об этом вспомнил, зайдя в отдел, где продавались носки. Купил носки. Рядом был отдел мужского белья. Он купил две белые майки, белые трусы. Потом он забрел в отдел, где продавались чемоданы. Чемодан ему тоже был нужен. Он купил чемодан, желтый, нарядный, изготовленный в Румынии. Он собирался все это купить именно здесь, в Москве, когда совсем налегке пустился в путь из Кара-Калы. Он все собирался купить в Москве, чтобы жить там, а выходило, что покупал, чтобы вернуться назад. Он купил еще пижаму, вернувшись в отдел рубашек. Пижамы тоже была из Венгрии, в красную полоску, с отворотами, как у смокинга, жениховская какая-то пижама. Он купил флакон одеколона. Там, где он провел четыре года, одеколон иметь не разрешали. Да он бы и не уцелел там больше минуты, этот флакон. Его зеленоватое содержимое разделили бы по стаканам и выхлебали бы, смеясь и отфыркиваясь. А потом бы загрустили все разом, вспомнился бы каждому его дом.

С желтым румынским чемоданом, в котором шуршали, притираясь, купленные вещи, Павел вошел в подъезд дома Лены, нажал снова на двойку, пятерку и семерку. Теперь хоть было понятно, зачем он очутился у дома Лены. Во-первых, чтобы купить нужные ему вещи, во-вторых, чтобы поставить свой новый чемодан, не таскать же с ним по городу.

За день крошечная квартирка прогрелась, прокалилась. Павел поспешно распахнул окно в кухне, его место было на кухне. Там, за открытым окном, далеко, но и близко, виднелась стена дома, откуда он пришел сейчас, где побывал у сына. Сидит, наверное, сейчас на кухне, обдумывает слова отца, гладит Тимку, который вертится у ног, мечтает о своей жизни с ним на границе. Пожалуй, так оно и произойдет. Он возьмет сына, возьмет собаку и вернется. «Что ж, братцы,— скажет он своим недавним друзьям, но надежным людям.— Не приняла меня Москва, а я не принял ее. Назад к вам вернулся. С сыном». Они

поймут, они даже расспрашивать ни о чем не станут. В змееловы случайно не забредают, чтобы попасть в змееловы, надо хлебнуть беды. А хлебнувший беды человек понятлив, он зря с вопросами не полезет. Вернулся, значит, надо было. Мог работать до отъезда, сможешь и теперь. Сына привез? Правильно сделал. Что он там, в Москве, не видел? Там один только асфальт, вонища бензиновая. А здесь, гляди, паренек, какая тут красота, какие деревья растут, горы какие, небо какое. Собаку привез? Умно сделал. сторожевой пес, подрастет, втянется в работу. Только через недельку, а то и через месяц невзначай, мимоходом скажет Павел друзьям, объяснит все же: «Не мог я в нарукавники казенные влезать, а другой работы мне там не было».

Так, решено, с этим решено. А как быть с тетрадь? Павел скинул пиджак, полез под тахту, достал свой чемоданчик, вернулся с ним на кухню.

Снова легла тетрадь на кухонный стол, снова присел к столу Павел, начал листать страницы. На одиннадцатой некто «Р.» исчез — жаль, он забыл проверить свою догадку, когда разговаривал с Белкиным! — ну, а кто же занял на схемах его место? Так, там, где от буквы к букве шла рыба, где схема непременно завершалась заглавной буквой «М.» — Митричем, там во главе схемы появилась заглавная буква «Б.». Так, так, не Белкин ли? Но Белкина уволили, выгнали. Если это Белкин, то где-то вскоре должен появиться крестик и возле буквы «Б.». Павел торопливо листал страницы. Так оно и есть! Крестик! Вот он крестик возле буквы «Б.»! Надо будет узнать, той женщине позвонить в министерство, спросить ее, когда был уволен, выгнан ее заклятый друг Олег Белкин. По дате, представленной Котовым на странице, это случилось примерно два года назад. Примерно два года назад и случился тот шторм, когда волной вышвырнуло на берег, к грязным стаканам, Олега Белкина. Получалось, сходилось. Надо проверить, но проверка только подтвердит, что он прав. С этой страницы, с тридцатой, рыбка перестала мелькать в тетради. Оборвались связи. Но вот и возобновились. Снова рыба. Центнеры рыбы. Пошел товар. Снова схема, в конце которой заглавная буква «М.». А вот в начале цепочки новая заглавная буква, некий «Д.» начал действовать. Петр Григорьевич Котов знал, кто этот «Д.», Павел не знал.

Бросить все, уехать, поднять лапки вверх? Обмотать

эту тетрадочку клейкой лентой и спрятать на веки вечные где-нибудь у сестры в сарае или же увезти в Кара-Калу, где ее быстро съедят муравьи? И пускай, пусть их крадут, гребут — эти буквы, все эти Митричи? Решено, значит? Нет, что-то не решается, не по сердцу. Но не нести же ему эту тетрадь в прокуратуру? Это должен был сделать Котов, он этого не сделал. Не успел? Не довел дела до конца? Побоялся? Смалодушничал? В этих схемах и буква «Я» часто мелькает. Буква-то буква, но без точки. Не начальная буква фамилии, а «Я» — местоимение. «Я» — это он, Котов. Случайно забыть про точку возле этой буквы Котов не мог. «Я» — это он сам.

Потому и удалось Котову все так подробно вызнать, что был в цепи. Но не для того же он проделал такую работу, рискованную работу, чтобы поматросить и забросить потом свою тетрадь? Он хотел понять, он хотел дойти до главарей, до тех букв заглавных, для которых Котов всего лишь был пешкой в игре. Такой же пешкой, какой был Павел Шорохов. Уцелей он тогда, Павел Шорохов, был бы и он в этой тетрадочке, звеньевым был бы в цепи. До Митрича Котов добрался. Знал он и много чего еще. Но Митрича он обозначил, это был ключ для разгадки. Стало быть, Котов хотел, чтобы разгадка была? Хотел, конечно, хотел! Иначе бы зачем вся затея?

Безмыслие было не безмыслием, мысль вызрела.

Павел потянулся к пиджаку, брошенному на табурет, достал из внутреннего кармана шариковую ручку, беленькую, ученическую. С этой ручкой он склонился над тетрадью, тоже ведь ученической. И там, где ученики пишут, из какого они класса и школы, по какому предмету завели тетрадь, как звать их и какая у них фамилия, на розоватого цвета первой странице, на той самой, где затаилась в складке бумаги цифра восемнадцать, Павел начал писать, раздумывая, медленно выводя каждое слово:

«В этой тетради прослеживаются воровские операции, прослеживается движение неучтенных товаров. Ключ к расшифровке всех схем — на странице восемнадцатой. Там заглавная буква «М.» получает имя: Митрич. Это — Борис Дмитриевич Миронов, заместитель директора рыбного магазина, знаменитый в Москве любитель декоративных рыбешек. Эту тетрадь передал мне, умирая, один из участников махинаций. Он многое знал, изнутри ему было легче все разгадать. Полагаю, он хотел накрыть всю шайку. Он не успел, а мне одному не справиться. Когда все размота-

ете, пощадите имя Петра Григорьевича Котова. Это его тетрадь. Он был честным человеком, честным в душе. Поняли меня? А мне самому надо уезжать. Спешно. Мне надо спасать сына. Свое я отсидел, по этой тетради я не прохожу. Своей подписи я не ставлю, но это не анонимка. Через год я к вам сам приду. Хватит вам года, чтобы размотать?»

Павел долго выводил вопросительный знак, он у него большим стал, а потом положил на стол ручку и захлопнул тетрадь. Всё!

Нет, не все. Теперь надо было доставить эту тетрадь по адресу. Вот тогда будет — все. И нельзя было с этим медлить. Надо было действовать, пока не покинула решимость, пока не подкрадутся иные мысли, иные подсказывая решения. Ни минуты нельзя было медлить! Тетрадь эта ему уже не принадлежала.

Павел подхватил ее со стола, схватил пиджак, выбежал из квартиры.

Так и на улице очутился — с ненадетым пиджаком в одной руке, со стиснутой тетрадью в другой. Он обе руки вскинул, увидев зеленый огонек такси. Шофер сам отворил ему дверцу.

— Что стряслось, хозяин?

— На улицу Пушкинскую, дом пятнадцать, — сказал Павел, втискиваясь в машину. — Плачу десятку.

— Очнись, хозяин, — сказал таксист. — Зачем столько? Туда езды на рупь с мелочью. Не узнаешь меня? Подвозил тебя недавно на Гоголевский бульвар.

Павел глянул, узнал, не удивился, кивнул, здороваясь.

— Что, с повинной поехал? — спросил таксист. — Припекла Москва змеелова?

— Припекла. Нет, не с повинной. Я свое отсидел, воняться будут другие.

— Рискуешь?

— Рискую.

Больше они не разговаривали, Павел собирался с мыслями, остывал, готовясь к последнему, к главному шагу. Шофер тоже смолк, не донимал вопросами.

Приехали, Павел расплатился. Отъезжая, таксист поигнанил ему для ободрения. Возле Прокуратуры СССР решил поигнанивать, пошел на риск.

В приемной прокуратуры Павел долго дожидался своей очереди. Регистратор, молоденький юрист, нарядный, весь новенький, не торопился, был важен, вникал во всякую

бумажку. Ждать Павлу было трудно. Уйти, что ли? В другой раз приехать? Павел вскакивал, садился, вскакивал, садился. Но молодой юрист не обращал на него внимания или даже нарочно тянул, разговаривая с какой-то старушкой, читая и перечитывая ее бумаги. Молодость для юриста, как и молодость для врача,— помеха. Нет юриста и нет врача без опыта жизни, без человековедческого опыта. Еще бы минута-другая — и ушел бы человек с тетрадью, которой не было цены для Прокуратуры СССР, не было цены для Правосудия.

На счастье, через приемную проходил пожилой юрист всего лишь с одной звездой младшего советника юстиции, а было ему уже за пятьдесят, это уже не майорский возраст. Возможно, не сложилась юридическая карьера? Но этот человек был зорек и понимал людей.

— Что у вас?— подошел он к Павлу.

Павел поднялся, хотел заговорить, но в приемной было много народу, и младший советник юстиции приподнял руку, чтобы Павел пообождал говорить.

— Отойдем к окошку.

Отошли.

— Так что у вас?

— В этой тетради...— Павел поверил старику, протянул тетрадь.— Тут на первой странице написано. Читайте. А я пойду.

Младший советник юстиции начал читать, а Павел пошел к двери. И младший советник юстиции, опытный человек, лишь поверх очков поглядел, как Павел уходит, и не стал его удерживать.

## 27

Павла познабливало. Жаркий догорал день, а ему холодом обдувало плечи. У человека, прошедшего через суд, услышавшего, как прокурор требует для него сурового приговора, особое отношение к прокуратуре, личное отношение. Нужно очень многое перебороть в себе, понять, самого себя пересудить, осудить, чтобы сделать то, что сделал Павел Шорохов. Вот только сегодня, сейчас, пятью минутами раньше, когда отдавал тетрадь, он вышел на свободу, отбыл срок, избавился. Но знобило, ладонями растирал плечи.

Кончился рабочий день, учрежденческая Москва запрудила центральные улицы, завертями втекали человеческие потоки в станции метро.

Павел никуда не торопился, его гон кончился. Он шел от улицы к улице медленно, поближе к стенам домов держась, чтобы избежать людского стремительного потока, он шел и прощался. Это был его родной город. Он рвался сюда, на эти улицы, в эти переулки, он помнил их, вспоминал все пять лет, он ходил тут мысленно, обдумывая себя тут, когда снова вернется. Внешне таким он и шел, как ему мечталось. Он был отлично одет, пачка денег тяжелила карман, он прямо держался, и — да, да — женщины на него посматривали с интересом. Но там, где мечталось, как будет ходить он по Москве, когда вернется, он и подумать не мог, что в такой крутой оборот возьмет его жизнь, что так все переменится сразу же для него. По сути, он начинал жизнь наново.

Конечно, он вернется через год, он обязательно вернется. Но сейчас надо уезжать. Надо спасти сына. Эта дурында Зинаида и ее вертлявый нарцисс муженек какими-то ниточками тоже были связаны с Митричем, чуть ли не в услужении у него находились. Дурачье проклятое, они загнали мальчика на кухню! Мать, эта женщина зовется матерью, а ей спальный гарнитур дороже сына! Решено: он увезет его, а через год они вернутся. За этот год все встанет на свои места, разматается клубок, за этот год сын к нему привыкнет. Он не отнимает сына у матери, он дает этой матери время одуматься, за голову схватиться, спросить себя: кто, что ей дороже? Можно считать, что он съездил в Москву на разведку, что окончательно он сюда вернется через год. Можно считать, что разведка удалась. Он вернется в Кара-Калу с сыном. Неплохо они там заживут, втроем заживут — сын, Тимка и он. Субтропики — занятнейшая земля. Там во дворе каждого дома грецкие орехи на землю падают. Как в сказке. Виноград, гранаты, яблоки — руку протяни. Мальчику там понравится. И действительно, рядом граница. И действительно, Тимку там смогут подучить собачьим премудростям. Мальчику там будет хорошо.

Куда идти? Как скоротать этот вечер, когда разжалась в тебе пружина, окончился бег, но просто-напросто некуда идти? Вот была бы дома Лена, он бы заспешил сейчас к ней, к теплу ее глаз, ее слов, к ее чаю с медом и хлебом. Но она возле какой-то старой женщины сейчас,

возле умирающей, она пытается отстоять ее у смерти. Вот чем каждый день она занимается, эта едва женщина. Какая жизнь ей досталась! Пять лет выхаживала парализованную мать, потом смертельно больного мужа. Но не очерствела душа, не ожесточилась. Это счастье, что он ее встретил. Вот еще зачем он приехал в Москву, он приехал, чтобы встретить Лену.

Знобило его, и он решил чего-нибудь выпить. Надо было и в дом что-нибудь купить, где его поили и кормили. Павел вошел в первый же подвернувшийся продовольственный магазин, глянул, профессионально оценивая, какого ранга заведение, разом угадав очень многое: и про директора, и про персонал, как тут поставлено дело. Профессия жила в нем. Он любил свою работу. Он еще вернется к своей работе, начнет все наново и по-другому. А дело в этом магазине было поставлено довольно хорошо, на продавщицах были чистые халаты, кокетливые шапочки, в винном отделе не бушевала толпа мужчин: тут не гнали план на водке.

Павел купил бутылку коньяка, выбрав пятизвездочный грузинский, купил сыру, брынзы. Он не заговаривал с продавщицами, отдавая чек, он добро кивал им, называл, что ему нужно, а потом смотрел, как они работают. Это свой был народ, он прощался и с ними. Женщины взглядывали на него, понимали, что он не подлаживается к ним, не пытается завести мимолетного этого знакомства, часто обидного, что мужчине этому не очень-то по себе, хотя он улыбается, добро кивая.

Теперь, когда руки были заняты, ничего другого не оставалось, как ехать домой, а домом для него был дом Лены. На метро Павел доехал до станции «Бауманская», оттуда завернул к рынку, круглому, как цирк, сооружению, но убедился, что опоздал: двери уже были заперты. Пешком, мимо Елоховского собора, мимо нового тут здания с развевающимся флагом на фронтоне, мимо купеческой поры магазинчиков, еще издали увидев парусом стоящий белый дом, Павел медленно шел и шел к нему, москвич с покупками в руках, с бутылочкой вот. Москвич среди москвичей. Он шел и прощался — и с собором, и с магазинчиками, и с красным флагом, и с москвичами вокруг, прощался с Москвой.

Лена была дома. Судьба была добра к нему! Когда Павел отмыкал дверь, Лена окликнула его:

— Павел, это вы?

Судьба была добра к нему, но у Лены был убитый голос.

— Я! Как хорошо, что вы дома! Мечтал, чтобы вы вдруг оказались дома!— Павел сложил свои покупки на кухонный стол, глянул, как помолился, на кресты в окне.— Можно к вам?

— Можно.

Лена забилась в самый дальний угол своей тахты-кровати, сжалась там в углу, обхватив руками плечи.

— Вам нездоровится?— спросил Павел. Глядя на нее, он и сам ужал плечи под ладонями.

— Она умерла, женщина та умерла,— сказала Лена.— Кричала, не верила, что ее невозможно спасти. Осуждала всех. Сына. Не дай бог так умирать. А у вас что? Вы почему такой?

— Я отнес эту тетрадь в прокуратуру,— сказал Павел, присаживаясь на краешек тахты.

— Решились? Я боялась, что вы не решитесь.

— Теперь мне надо уезжать, спасти сына. Но я через год вернусь. Я вернусь.

— Я буду вас ждать.

— А вы бы поехали с нами! Втроем, нет, вчетвером. Сын, вы, Тимка и я. Тимка — это щенок, эрдель. Замечательный пес. Покатим, а?

— В Кара-Калу?

— Ага! А через год вернемся. Думаете, там нет больных? Сколько угодно. Но там они как-то иначе умирают, не кричат, не тогуются. Пришла пора умирать, и умирают. Я видел, как умирал один старик. Сложил руки, закрыл глаза — и все. Поехали?!

— Заманчивая картина. Нет, мое место здесь, Павел. У меня тетка старенькая на руках, больше никого у нее нет. Ей надо помогать.

— Что вы за человек, ну что вы за человек?!

— Обыкновенный. Это опасно, то, что вы сделали?

— Не знаю. Надо было это сделать. Знаю, это надо было. И надо сына увозить. Вот ему тут опасно.

— Я сразу поверила, что вы еще отобьетесь, что вы еще сильный. Как взглянула, залюбовалась вами. Вон какой! А потом испугалась за вас. Неужели, подумала, вы из этих, кто навещал Петра Григорьевича?

— А я вас совсем сперва не разглядел. Ходит какая-то и пахнет лекарствами.



— Да, я пропахла лекарствами. Моюсь, моюсь, а не помогает.

— Мне даже нравится.— Павел потянулся к Лене, несмело припал лицом к ее плечу и замер, страшась, что она отстранится от него. Она не отстранилась. Ее рука коснулась его лба, пальцы у нее дрожали.

— Не торопи меня,— шепнула она.— Не торопи меня... Дай мне привыкнуть... Дай мне поверить, что могу быть опять счастливой...

Но он уже целовал ее, и она отвечала ему, их губы смелели. Но уже ничего они не могли поделать с собой, не могли остановить себя. Она все же вырвалась из его рук, подбежала к окну, задернула занавески, отгораживаясь от куполов с крестами, стыдясь этих свидетелей. Потом она вернулась к нему.

## 28

Рано утром пошел дождь, летний, быстрый, мгновенный. Павел не спал, он услышал, как первые капли ударились о карниз, как потом зашуршала, заструилась вода. Обе узкие створки окна были распахнуты, и в комнату сразу проник запах дождя. Сперва это был запах влажной пыли, потом, показалось, это стал запах неба. Павел приподнялся на локтях, склонился над Леной. Она спала совсем неслышно, и от нее пахло дождем. Он глядел на нее и не мог взглядеться. Из-за утреннего сумрака в комнате? Он не мог, вглядываясь, рассматривая ее, близко наклоняясь к ней, почти касаясь ее губами, он не мог понять сейчас, какая она. Он знал только, что она прекрасна. Ее рука, эти выбеленные бесконечным мытьем пальцы медсестры были прекрасны. Ее губы жили и во сне, он не знал, что у нее такие губы, он думал, что они у нее узкие, а они полнились и вздрагивали, они были прекрасны. Но он не мог в них как следует всмотреться, они менялись, ускользали.

Лена открыла глаза, в них не было сна. Она не спала, когда он ее разглядывал, почти прикасаясь к ней.

— Разонравилась?— спросила она, но не было тревоги в ее голосе.

— Ты для меня загадка,— ответил Павел.— А знаешь почему?

— Почему?— Она пахла дождем, молодой тополиной листвой.

— Потому что я в тебя влюблен. Я даже не умею тебя как следует разглядеть. Гляжу на твое лицо, но не могу в нем разобраться. Красива ли ты, не очень, очень? Не могу понять, уловить. Потому что я в тебя влюблен. Наверное, ты не такая уж и красавица, я не знаю, но я слепну от твоей красоты. Понимаешь, я ослеп от тебя. И почти ничего не соображаю, понимаешь. Не могу понять, скромна ли ты или это мне лишь кажется. Ты говоришь про самое обыкновенное про что-то, а я изумляюсь твоим словам, твоим мыслям, твоей мудрости. Но это ведь совсем простые мысли, житейские, обычные. Так отчего же я так ими восхищаюсь? А я в них даже не вдумываюсь. Я слежу за движением твоих губ — и люблю тебя, люблю тебя, люблю тебя...

Дождь шел все сильнее. Это была гроза, не страшная, летняя гроза, а все же — с тучами, громом, молниями и с таким пронзительной чистоты воздухом, какой бывает только в горах, где не сошел еще снег. Раз всего в жизни добрался Павел до этой горной гряды. Сейчас он вспомнил тот воздух, тот охвативший его внезапно восторг, когда хотелось кричать, вызывая эхо, петь, когда встали рядом в глазах слезы радости и отчего-то — печали.

— Я верю, — сказала Лейа. — Я верю тебе, Павлик. Нет, а я тебя сразу разглядела. Ты красивый. Но ты был чужой, а теперь ты не чужой. Какая гроза... Даже страшно...

Павел поднялся, встал у окна. Ветер взметал занавески, темным, влажным золотом струились купола. И уже вдаль светлело небо.

— Сейчас кончится дождь, и рвану на рынок, — сказал Павел. — Куплю мяса, зелени. Буду готовить свадебный обед. Сам!

— Ах, ты уже женился? Какой быстрый.

— Мы поженились еще знаешь когда?

— Когда?

— А вот когда я принес тебе ведро роз. Не надо спать нагишом, красавица ты моя.

— Не надо подсматривать, как спят женщины, красавец ты мой. А может, так, провел ночку, и все? Ведь ты такой у нас...

— Я не такой у вас. Я совсем другой у вас. Я сам не знаю, какой я у вас.

— Я тебя люблю, Павлик. Хочешь взять меня в жены? Бери.

— Беру!

Дождь как начался внезапно, так внезапно и кончился. Грянуло солнце.

Лена подошла к Павлу. Нагие, обнявшись, они стояли у открытого окна, стояли перед всей Москвой, перед близкими куполами. Лена попросила:

— Господи, обвенчай нас.

## 29

В этом здании, цирке, именуемом Бауманским рынком, Павел прежде всего купил плетеную корзину. Он купил ее у старушки, которая принесла на рынок в своей корзине всего лишь пять белых грибов. Но каких! Только первые летние белые грибы бывают так совершенны. Они коричнево-румяны, они без единого пятнышка, без единой червоточинки. Старушке было жаль продавать грибы. Сколько походила по лесу ради них, как рано встала, вымокла на росе. Как радовалась каждой этой головке. Старушка заломила невероятную цену за свои грибы. Павел не торговался. А корзину старушка легко отдала, радуясь, что грибы не помнутся.

— Будешь что класть еще, грибы огорода,— напутствовала старушка Павла.— Ты откуда такой сам, как гриб?

— Ну, перехваливаешь! Спасибо, спасибо.

Потом Павел пошел покупать мясо. Ему нужна была вырезка. Он переглянулся с дюжим парнем, подбоченившимся у колоды с топором в руке, не ведавшим, что до слез похож он здесь, на Басманных улицах, на царева баловня, опричника, которому вскоре не сберечь головы, но этот час — его. Вырезка была отхвачена, отсечена, шмякнута на весы.

— Хорошему покупателю — почет!

Потом Павел покупал зелень. Тут из-за копеек он торговался, потому что нет слаще дела, как выгадать на базаре копейку, прогадав там же всю десятку.

Потом Павел покупал помидоры. Туркменских не нашел, но нашел узбекские, тоже из-под жаркого солнца.

Потом Павел купил дыню. Опять дыню. И снова у узбека, но безбородого, молоденького, возможно, что и внука того милого старика, щербатого и лукавого, который так выручил его в Дмитрове.

Потом Павел покупал огурцы, парниковые еще тут, и молодую, с орешек, картошку. Потом...

Он едва дотащил свою корзину до дома. Лена, когда Павел стал вынимать добычу, класть на стол, на табуреты в кухне, безмолвствовала, сведя ладони. Вот оно — счастье! Два человека эти были сейчас счастливы. У их счастья был даже запах. В квартирке зажил чудо-запах укропа, дыни, огурцов, грибов, киндзы, парного мяса, помидор и этих вот плетеных прутьев, тоже оживших, дохнувших лесом.

Потом Павел обрядился в передник и встал к плите. Так только говорится, что встал к плите. Ему еще предстояло все приготовить, все разделить. Крохотная кухня вмиг была завалена, зазвенела посуда, застучал нож по доске. Изумляясь и ужасаясь, смотрела Лена, как громит ее кухоньку этот неистовый кулинар в женском переднике.

— Съедем хоть что-нибудь, — сказала Лена. — Я умру от голода.

— Ни в коем случае! Хороший обед надо выстрадать!

Но он все же дал ей на блюде один помидор, сам нарезал, крепко посолил, чуть осенил укропом.

— Ешь с черным хлебом! — приказал Павел. — Масла не нужно. И хлеба совсем чуть-чуть. Этот помидор — сам себе царь. Осознаешь?

Да, Лена осознала. По подбородку у нее стекал алый сок, глаза она зажмурила от счастья. Вдруг Павел вспомнил:

— Мне же в одиннадцать с сыном встречаться! Я обещал сводить его в зоопарк. Лен, а что, если мы пригласим парня к нам на обед?

— Конечно. Я буду рада.

— Сейчас без двадцати одиннадцать. Ах, как же я забыл?! Сейчас я мигом скатаю за ним. Будете стоять рядышком и смотреть, как я готовлю. Артист нуждается в зрителях!

Долой передник, ополоснул руки, накинул пиджак — и к двери.

— Павел, а можно я с тобой?

— Зачем? Не знакомить же мне вас во дворе, под каштанами, где сейчас, наверное, уже собираются солнцепоклонники с пивными бутылками, донышками устремленными в небо.

— Вы там встречаетесь?

— Там. Побежал!

Дверь закрылась за Павлом, а Лена задумалась. Она не привыкла быть такой счастливой, так долго жить в счастье. Но она привыкла угадывать беду. Тоненький в ушах у нее начался звон, такой далекий, будто с неба он шел. Этот звон в себе Лена знала: он предвещал беду. Она подхватила, быстро оделась, даже в зеркало не поглядев, выбежала следом за Павлом.

### 30

Через проход в доме с улицы Чернышевского Павел вбежал во двор, перескочил низенький заборчик, подошел к каштанам. На пяточке у стены Сережи еще не было. Но и одиннадцати еще не было, без трех минут одиннадцать было на часах у Павла. Хорошо, что он пришел первым, не заставил сына ждать. Но худо, что у стены на ящиках уже разместились какие-то две личности. Впрочем, едва Сергей появится, Павел уведет его отсюда. Но тут его окликнули:

— Не иначе Павел Сергеевич Шорохов?

— Я,— обернулся Павел.

Двое лениво поднялись с ящиков, лениво пошли к нему, сильные, длиннорукие, какие-то от силы своей раскоряченные. Учат у нас по всем клубам, на всех стадионах, в спортивных школах и дворовых кружках вот таких вот, мощных, раздатых, учат их еще и бить, кидать, прививая им любовь к самбо, каратэ, боксу, дзюдо. В целях обороны, надо думать. Но эти, они и сами по себе были сильны, их можно было бы и не обучать самозащите. Им бы лучше книжками с детства заняться.

— Сыночка ждете?— спросил один. Они были похожи, эти парни. Как-то одинаково одеты или казалось, что одинаково. Одинаково подстрижены, маслянистые их волосы были одного цвета. Зоркие, похожие глазки, одинаковые, от бокса, никакие носы.

— Сыночек ваш не выйдет,— сказал другой.— Двор не без глаз. Мамаша увезла сынка на дачу. Видели вас с ним, встревожилась мамаша.

— Порвал с бабой, так уж рви до конца,— сказал другой.

— Что вам от меня надо?— спросил Павел. Знакомы ему были такие личности, он понимал, что дело подходит

к драке. У него тоже была школа, своя школа против этих — подобных. Бить тут надо первому. Сперва того, что посильнее кажется, потом того, что килограммов на пять полегче. Один был в среднем весе, другой еще в полусреднем.

— Нам — ничего, — сказал тот, что был в среднем весе. — Просили передать, чтобы кончал выпрашивать, кончал людей беспокоить.

— Просили передать, — сказал полусредний, — чтобы по-умному зажил. Сказали, если что не так, можно потолковать, можно договориться.

— Чего вы муть какую-то несете? Кто просил? У кого вы в «шестерках»? — Павел был счастливым сегодня человеком, он был в разгоне счастья и потому разговаривал с этими недоумками самонадеянно.

— Про «шестерки» ты зря, — сказал в весе среднего.

— Понял, о чем речь, или втолковать? — спросил полусредний и придвинулся к Павлу, открываясь. Но надо было бить не его, а того, который начал сдвигаться в сторону, начал отводить руку для удара. Все ясно: или он тебя, или ты его. Павел ударил. От всей души, от всей своей ярости, взорвавшейся в нем. За сына! За себя! За Лену! Попал. Спасибо тем четырем годам, той школе, где его учили. Попал и свалил. Полусредний замешкался, не ждал, что этот пижон все так умеет. Павел ударил его левой. Попал, но не очень сильно. Ярость ушла на первого.

Но Павла учили и потом, его учили и в другой школе, его учили оглядываться. Он забыл оглянуться. Он думал, что это всё. Он знал, что «шестерки» уважают силу, ждал, что они сейчас побегут. Вдруг позвали его:

— Павел!

Это был голос человека, когда его убивают, и это был родной голос.

Павел оглянулся. Он успел только увидеть еще одного, еще такого же, как те двое. Этот человек легко дотронулся до него, чуть ожег ему чем-то небожно бок и отпрыгнул, побежал. Падая, Павел увидел Лену, ее побелевшее лицо с громадными глазами. Это она крикнула, это она спасала его. Он понял, что его ударили ножом, хотя боли не было. И кажется, кажется, кажется, он все же успел отшатнуться, когда оглянулся.

Лена упала возле него на колени.

— Павлик, родненький! Я тебя выхожу! Я тебя не отдам! Господи, помоги мне! Люди, помогите!

А те трое уже бежали, разбегаясь в разные стороны, зная тут все проходы, бежали на кривоватых, но легких ногах.

Среди бела дня все это произошло. Много глаз это видело. Были во дворе люди. Но никто не кинулся за бандитами. Иструсливился народ, расслабило нас благополучие.

Впрочем, кто-то уже бежал вызывать «скорую», и где-то вдали заливался милицейский свисток.

— Не плачь, Лена, не плачь,— сказал Павел и улыбнулся ей.— Змееловы... народ... живучий...

Вот и все.

Но, кажется, кажется, кажется, нож не убил его. Поверим в это!

*1980—1981 гг.*

*Последний  
переулок*

РОМАН



Зной. Июль. Москва.

Он жил в Последнем переулке, есть такой в Москве, в Москве все есть. И был этот переулок не где-то на краю города, а в самом центре, в серединной Москве, стекал от Сретенки к Трубной улице, к Трубной и Самотечной площадям, к Центральному рынку. Рядышком стекал с Большими Сухаревским, Головиным, Сергиевским переулками. Вон как, все большими, хотя и кривенькими и горбатенькими. Рядом стекала и улица Хмелева, бывший Пушкарев переулок, Колокольников и Печатников переулки. Стародавняя Москва, с лихой некогда славой, с общим прозвищем, начиная от Трубной,— Грачевка, или Драчевка, так прозванная по церкви Николы на Драчах,— с общей целью послужить Сухаревской толкучке, страстям и вожделениям этого московского торжища, где все продавалось и покупалось.

Да то давно было. А сейчай был зной, июль, и тихий горбился переулок с наспех отремонтированными к Олимпиаде домами и домишками, в иных из которых все же проглянула после ремонта былая их легкомысленная слава, веселые эти завиточки на карнизах и наличниках, а горячий воздух тут был все тот же, как и в пору, когда места эти были отведены для «публичных домов», для падших женщин и падких мужчин. Слова-то какие высокие: публичный дом. А суть-то какая низменная. Раньше говаривали: места, отданные на потребу «общественному темпераменту». И, боже мой, что за люд тут селился, чтобы нажиться на этом темпераменте!

Он шел, посвистывая. Легко ему было на душе, сухой он был, поджарый, длинноногий, спортивный, свой вес не чуял, а слышал лишь в себе веселость, готовность к встрече с друзьями-приятелями, к встрече с каким-нибудь вдруг чудом, с удачей, со счастьем. Так идет, выступает молодость. А он и был молодым, славным парнем. Не сунком, нет, уже поклеванным чуток жизнью, но молодым, упругим, не без заносчивости, сокрытой благожелательной, от души, улыбкой.

Геннадий Сторожев, житель сих мест, родившийся в этом переулке,— вот он, перед вами. Двадцати шести лет от роду, в армии отслужил, в институт не попал, да и не рвался особо, большим мастером в каком-либо деле еще не стал, да и не стремился особо, но в своих присретенских, притрубненских переулках слыл мастером на все руки, то бишь умел и проводку провести, и кран починить, а надо, и телевизор взбудрить. Умелость эта и определила ему должность — он был рабочим в местном жэке, бегал по вызовам. Не бегал, конечно, а вот так вот шел, пожуравлиному вскидывая длиннющие ноги, с приветливой улыбкой этой, обращенной ко всем тут окнам. Одет он был просто, но красиво. В фирменных джинсах был, а как же, перепоясанный вольно, со спуском, армейским ремнем со звездой на пряжке — знай наших! — и в рубаше, явно заморской, с погончиками, расстегнутой почти до пупа. Рукава подвернуты на ширину манжеты. Стиль!

Жару он любил. Эту вот пору летнюю, когда заметно пустеет Москва, а уж переулочки и подавно, когда Москва будто роздых берет от людей и машин. Жара тогда становилась сродни тишине. Сельский житель толкует про свои опушки, полянки, рощицы. У москвича тоже есть любимые места — закоулочки, переулочки, свои деревья, скверики, скамеечки. Но только это все сутолокой и гулом потеснено. А в тихую минуту все это к нам возвращается. И почему-то непременно вспомнится детство или вот такая молодая пора, какой жил сейчас Геннадий Сторожев. И он когда-нибудь вспомнит себя, сегодняшнего, этот зной июльский, горбатый этот пустынный переулок, себя на мостовой, себя, посвистывающего, и поймет, вспомнив, что был тогда, много лет назад, счастлив.

Да, по Последнему переулку шел сейчас счастливый человек, того, разумеется, что счастлив, не ведая. Счастье потому и счастье, что не осознается. Но — это уже спорная мысль.

Геннадий шел без особой цели, на встречу со случаем. Вдруг да дружка встретит, вдруг на удачу набредет. Вообще шел, но с надеждой, ибо приключение жило в самом этом жарком воздухе.

Но сперва он набрел на древнюю старуху, сохлую и изогнутую, как стручок перца. На плече у этого стручка сидел большой желтый попугай, такой старый, что уже и глаза на мир окрест не открывал. Черная шелковая лента, приковавшая его к старухе, а старуху к нему, аксель-

бантом легла на кофточку древней женщины, кокетливую, в кружевах и бантиках, которые помнили, должно быть, свою хозяйку молоденькой барышней.

— Геннадий, друг мой,— сказала старуха хриплым голосом попугая.— Сам бог послал тебя мне навстречу. Мон Дье, ты должен ссудить меня двадцатью копейками на кружечку пива.

«Мон Дье!»— повторил попугай, не открывая глаз, голосом старухи.

— Вместе и поьем,— сказал Геннадий, искренне обрадовавшись старухе.— Приглашаю, Клавдия Дмитриевна. Вы заглядывали, народу много?

Разговаривая, они переступали шаг за шагом вниз по переулку и как раз вышли к глухому строению на углу, за утлыми пластмассовыми стенами которого неумолчный стоял гул, будто там обосновалась пчелиная семья, но из страны Гулливеров.

— Как обычно, мой друг, по пятницам. Вслушайся, как гудят эти трутни. Благодарю, я принимаю твое приглашение. Ты добрый юноша.

Согнувшись, Геннадий подхватил старуху под сохлый локоток, и они стали взбираться по крутому склону, ведущему во двор между ветхими домами, в просвет, выводящий в Большой Головин переулок, лицом в который и стоял этот пластмассовый пивной рай.

Людно тут было, шумно. Звенели водяные струи, пущенные торопливыми руками, чтобы поскорей вымыть кружку, шипело пиво в автоматах, выцеживавших строго триста восемьдесят пять граммов в ответ на опущенный двугривенный, что и было подтверждено соответствующими надписями. Порядок, точность, равенство возможностей, столь любезные сердцу мужчины, особенно после двух-трех кружечек, тут соблюдалась неукоснительно. И можно было тут посудачить. От души, во весь голос, про что угодно, хоть с знакомым, хоть с незнакомым. Этим и занимались. Всяк в отдельности и все вместе. Гул, казалось, стал зримым, клубился, вырываясь на улицу. Но в тесноте этой и шуме отчетливо угадывался порядок, соблюдалась очередь к мойкам и автоматам, поддерживалась деловая уважительность к совершаемому каждым обрядом. Воистину улей.

Геннадий отлично тут ориентировался, знал заветные уголки, где непременно стоят пивные кружки, знал кратчайшие пути к автоматам, нашел мигом и место для своей дамы и для себя у стойки. Их здесь знали, они здешними были,

а это тоже входило в ритуал: здешних, что возле бара живут, следовало уважать. И в ритуал заведения этого, не хуже чем в чопорном английском клубе для аристократов, входила такая мужская индифферентность к окружающему. Никто не тарачился на старушку и ее птицу, никто не пытался заговорить с попугаем, как бы сделал это на улице, поводя пальцем у его клюва.

Свобода личности, свобода выбора царили здесь, ну и, разумеется, свобода слова и свобода закуски. Кто что принес, то и пережевывал, запивая пивом. Сушеная рыбка, сухая колбаса, плавленый сырок «Дружба». Тарелок там, вилок не было и в помине. Да и зачем они? Руками, поддев на перочинный ножичек, с газетки — так же слаще, вольготней. Вот это главное — вольготней. Вырвавшимся сюда из домашних запретов мужчинам вольготность и была надобна.

В том углу, куда пробрались Геннадий и старуха, спиной к ним, лицом в самый угол стоял коренастый, плотный и со спины осанистый человек с седеющим сильным затылком. Костюм на нем был из дорогой ткани, заморского шитья, обувь тоже была заморская, легкоступная. Старуха лишь глянула, удивилась, даже изумилась, но смолчала. Удивился и Геннадий, глянув в эту спину, и тоже промолчал.

— Мон Дье,— сказала старуха, а может быть, это сказал попугай.— Какое скверное пиво и как я его люблю!

— Почтение, Клавдия Дмитриевна, привет тебе, Геннадий!— коренастый человек обернулся, приподняв кружку.

— Мон Дье!— проскрипел попугай.

— Что, не ждал меня здесь? Здравствуй, земляк. Все еще живой?

— Он моложе нас с вами, Рем Степанович,— сказала старуха.

— Ну да, да, в сопоставимых ценах. Что для попугая какие-нибудь сто лет.

— Он наверняка знал вашего деда. Он забавлял вашу матушку, когда она еще сидела в колясочке. Я получила его в подарок от мадам Луизы, когда мне было восемнадцать лет, и он уже был мудр. Мон Дье, кажется, что это было вчера.

— Древняя, древняя птица. Мне тоже кажется, что я только вчера вас встретил, Клавушка, а ведь вся жизнь уже проскочила. Скверное пиво. Надо будет распорядиться. Непорядок. А!— вдруг выкрикнулось у него.— А где он порядок, где?!— Он ужал губы, сильный, упрямый рот. Потом улыб-

нулся, крепкие показав зубы. Он как бы отдавал сам себе приказы: замолчать, улыбнуться. И вот опять заговорить — чуть свысока, сановно, благожелательно:— Ну как вы тут живете-можете? Какие у нас проблемы? Переселять не собираются? Чем-нибудь помочь?

Старуха задумалась, склонив к плечу голову, совсем так, как ее попугай. Стоит ли говорить, что и лицом она была похожа на своего попугая и даже цвет зеленоватый его впа-лых щек переняла. Вот только глаза: на старушечьем лице они жили, а у попугая спали. И вот этими блеклыми, но живыми глазами старуха сейчас впиалась в лицо сановного Рема Степановича, решая, разгадывая его загадки.

— Неприятности у вас,— не спросила, а определила старуха.

Твердощекое, налитое лицо с коротким вздернутым носом чуть только дрогнуло, тотчас же еще тверже став.

— С чего взяла?

— Вижу. Да и сюда бы просто так не забрели. Здесь двугривенники собрались, а вы...

— Не оценивай, не знаешь ты моей цены, представить не можешь.— Рем Степанович вдруг повеселел, даже рассмеялся, какой-то своей мысли рассмеялся и спорить раздумал, уступил:— Да, старая, неприятности, угадала. Похуже даже, чем неприятности. Обвал в горах.— Он посмеиваясь произносил эти слова. Круглым, славным сделалось его лицо от посверка улыбок, курносым, мальчишеским. Показалось, что не седой он вовсе, а белесый, не за пятьдесят ему, а паренек еще совсем. Так преображает улыбка, смешливый миг редко кого, но этот из редких, обязательно взыскан судьбой, наделен обаянием сверх всякой меры, бесценным этим даром на жизненном пути.— Гена, а ведь ты мне нужен. Собирался искать тебя. А ты — вот он, в питейном заведении. Да еще с дамой. Разлучить-то вас смогу ли?

— Ах хорош, ах красив! С такими лицами купцы последние сотенные у нас прогуливали, а потом стрелялись. Сколько случаев помню. Банкроты! Но хороши были, хороши! Русский человек в отчаянии хорош!

— Не каркай, старая.— Соскользнуло с лица Рема Степановича бывшее, он вернулся в сегодня, к своим за пятьдесят годкам, к бывалости, жесткости, может быть, и неумолимости. Теперь все в нем совпадало: и отличный костюм, и твердый, чуть брезгливый ужим губ, и башмаки не вчерашней, а завтрашней востроносости, и едва наметивши-

еся брыли над впившимся в шею воротничком белоснежной рубахи, и все еще держащие голубизну усталые глаза.

— Не гневайся, не гневайся! — и так и сяк клоня сохлую головку, все вглядываясь, догадываясь, забормотала старуха. — Бог наказал, мне бы поглупеть, да нету роздыха. Спасибо, Генушка, должок за мной. Пошли отсюда, Пьер, напотчевались.

Пьер пробудился, чуть приподнял вековые веки.

— Мон Дье, — сказал он, имея в виду: «Да, да, наговорились, пора и на покой».

— Зайдем ко мне, — сказал Рем Степанович и дружески взял Геннадия под руку. — Занятная старушенция. Ей, никак, близко к ста? А знаешь, кем она была в свои молодые годы?

Геннадий промолчал.

— Да... — тоже промолчал-протянул Рем Степанович. — Но за давностью лет, смотри, стала совестью нашего переулка. Правдовысказывательницей. Легендохранительницей. С ней только столкнись нос к носу.

Они вышли в Головин, спустились через проходной двор в свой Последний, вступили в тишину и безлюдье.

## 2

«Ко мне...» Никогда Рем Степанович не звал Геннадия в свой дом, да и никого не звал из здешних. Когда отремонтировать его надумал — было это года три назад, Геннадий тогда уже работал в жэке, — Рем Степанович жэковских рабочих и близко к ремонту не подпустил, свою бригаду пригнал. Народ в этой бригаде был молчаливый, гордый. Все в спецовочках на молниях. Никто из них даже в пивную не заглянул — ни сюда, в Головин, ни в бар в Печатниковом. Приезжали на работу в щикарном автобусе. Материалы привозили в крытых фургонах, мебель привезли в громадных контейнерах, распаковывали, подогнав машины вплотную к дверям. Красные японские иероглифы выплывали на гофрированном картоне. Ребятишки потом долго играли с этой гофрой, выброшенной на помойку, строили дома и крепости.

Сантехник было толкнулся в дверь после ремонта, мол, надо ведь проверить. Повернул его Рем Степанович. Не обидел, зачем же, с сотнягой в руках оставил. Участковый было хотел заглянуть. И этого повернул. С сотней ли, с чем-то еще, или только с помощью слов — неведомо.

А, кстати, дверь входная в квартиру отремонтированную так и осталась обшарпанной. Да и рамы оконные не заменили и не покрасили даже. Рем Степанович, провожая через двор участкового, оказывая ему уважение, объяснил, что не хотел нарушать внешний вид старого дома, ставить на него новенькую заплату. Иное дело — внутри, это, мол, его собственное дело.

Квартира в этом ветхом трехэтажном доме, вставшем между переулками, но все же чуть вступив в Последний, от которого дом отгородился вековым тополем — укромный домик был, всегда таким был, — квартира в этом доме, на втором этаже, угловая, принадлежала еще деду Рема Степановича, как и весь дом, где на третьем этаже будто бы квартиранты жили (не квартирантки ли?), второй занимали хозяева, а в первом был магазин. Тут чуть не в каждом доме тогда в первых этажах располагались магазины, лавчонки, разного рода и вида питейные заведения. Сын за отца, говорят, не отвечает, а уж за деда и подавно. Рем Степанович никогда и не скрывал, что дед его тут поторговывал когда-то. Но вот именно — когда-то, да и купцом был явно захудалым. Отец Рема Степановича уже был советским служащим, чуть только прихватившим от нэповской лихорадки.

Рем Степанович ремонтировал эту родовую колыбель не для себя — для престарелой матери, одиноко доживавшей тут свой век. Сам же Рем Степанович давно покинул свой родной переулок, жил где-то рядом, в Москве же, да в ином ряду, так сказать, в белокаменном. Редко когда навещал он мать, недосуг, возносила судьба, легендой становился он для своего переулочка, тут стали гордиться им, отсюда, если очень уж припекало, гонцов слали к нему. Он — помогал, от своих не отмахивался. Кому с ремонтом, кому с пропиской для родственника, а это непросто в Москве, кому с пересудом, с пересмотром срока, если кто из последненских усаживался на скамью, а уж это и совсем не просто. Помогал, помнил корни.

И сыном был хорошим, заботливым. Вон какой ремонт для матери отгрохал. А потом, когда мать болеть начала, вскоре после этого ремонта, забрал мать к себе на дачу. Опустела квартира, зря ремонтировал. Но родное все же гнездо. Рем Степанович нет-нет да и наезжал сюда. Иногда не один, с друзьями. Ну что ж, гости солидные, не шумные — вышли из машины и нет их. А для переулка, для Последнего-то, все-таки честь. И узнаваемые лица порой мелькали, важные на Москве персоны. Честь, честь для переулка. Иногда

проскальзывали за дверь и женщины. Ну что ж... А вот из здешних в дом свой, в квартиру эту отремонтированную, Рем Степанович не пригласил никого. Ни разу. Тут он, видно, решил дистанцию соблюсти. И вдруг позвал: «Зайдем ко мне...»

Пока подходили к дому, почти отгороженному от глаз могучим стволом тополя, им пересек дорогу широкоплечий сильный мужчина, на плече у которого сидела крупная длиннохвостая мартышка, зеленая-презеленая.

— Надо же?!— изумился Рем Степанович.— И обезьяна у нас завелась! Он даже повеселел.— Вот переулочек, не соскучишься. Того и гляди между домами проглянет синее море. Моряк какой-нибудь у нас тут обрел пристань?

— Моряк,— подтвердил Геннадий.— Познакомить?

— Хватит мне на сегодня попугая. Ну, милости прошу.

Они взошли на ветхое крыльцо. Рем Степанович повозился с ключами, распахнул скрипую, обшарпанную, но по-старинному тяжелую дверь. Да и ручка дверная была массивная, витая, из бронзы.

— Все дивлюсь, что эту ручку никто не отвертит,— сказал Рем Степанович.— Не ценят тут у нас модных вещиц. Это добрый признак, впрочем. Сиюминутных выскочек у нас тут нет. Новенькие сюда не въезжают; жаль, что старенькие съезжают. Ваш-то дом как? Вроде бы солидное строение.

— Нас никто трогать не собирает. Пять этажей. Лифт.

— Главный гигант был в нашем переулке. Теперь-то вон — башню отгрохали панельную. Что там за народ?

— Такие же, как и мы.

— Как и мы... Ступай, ступай, Гена, вверх по лесенке. Как и мы! А какие мы — эти мы?

— Я вас не хотел обидеть, Рем Степанович.

— Ты и не обидел. Польстил, если хочешь. А вот и дверь в квартиру матушки.

Это тоже была старая, обшарпанная дверь. Видно, и на лестничной площадке не желал Рем Степанович ставить цветные заплатки — тут все вокруг было старым, обветшалым, но и прочным на глаз, по-прочному строилось. Но дверь, хоть та же все, от былой поры, была так утыкана новенькими, самоновейшими, видать, с шифром замками, что стальные эти квадраты и овалы все-таки выглядели заплатками — блескучими, новенькими, — казались стальными коронками в щербатом рту.

Рем Степанович, перебирая связку ключей, пощелкал зам-



ками, у которых у каждого был свой голосок, мелодичный, отчетливый,— и дверь медленно, тяжело стала отворяться. Слишком тяжело для деревянной двери.

— Стальной лист в дверь вставили?— спросил Геннадий.

— Что-то в этом роде, друг мой слесарь. Да ты кто у нас — слесарь, электрик, водопроводчик?

— Всего понемножку, исключая канализацию и теплофикацию. Что у вас стряслось?

— Да тут ты не поможешь,— снова отчего-то развеселился Рем Степанович.— Стряслось... Входи, Геннадий. Глянь, хорош ли ремонт.

Геннадий вступил в сени, тускло осветившиеся лампочкой с очень высокого потолка. Похоже было, что ничего тут никогда вообще не ремонтировалось. Пыльные стены, старые шкафы, зашарпанные половицы.

— Решили сени сохранить для музея?— спросил Геннадий.

— Догадливый. Вот, мол, с чего мы начинали.

— А если кто войдет из незваных, так тут его и принять?— спросил Геннадий.

— Куда как догадливый! Московский паренек, тутошний. А ведь мы, тутошние, головастые, а? Тетка-то жива?

— Жива.

— Все на машинке стучит? Работы хватает?

— Стучит. Хватает.

— Поклон Вере Андреевне от меня. И мое когда-то печатала. Я смолоду в журналисты чуть было не подался. А вот кухня. Входи, Гена.

Еще одна открылась старая дверь, тяжело тоже, со стальным тоже листом, и Геннадий встал на пороге кухни. Он знал, что новизна ударит в глаза, ведь был тут ремонт, свозилась сюда всякая всячина, но, как говорится, действительность превзошла все его ожидания.

Просторная — от старого дома простор, — эта кухня была будто выставкой новейших достижений, какие иногда устраиваются в павильонах в Сокольниках. Нет, где им — павильонам. Геннадий бывал на этих выставках, — куда им!

Громадная электрическая плита — ну пускай. Громадный, во всю стену, холодильный шкаф — ну ладно. Холодильник под потолок — и это видали, финский, знаем. Но вот бар при кухне — со стойкой, с вращающимися высокими сиденьями, с такой стеночкой из вин, что закачаешься, еще их не отведав, но ящик цветного телевизора, повисший

в углу на гибком креплении — куда хочешь, туда этот ящик и волочешь, но вот кухонная панель, все эти шкафчики, ящички, и все из бронзы, неблескучей, тусклой, благородной, и вот из такой же бронзы нависший над столом вытяжной потолок, но вот... да не счесть этих «вот», — это все внове было для Геннадия, не видал он этого всего на выставках, хоть наших, хоть ихних.

— Да! — сказал он радостно-изумленно. — Вот это вот да!

— Не завидуешь? — внимательно глянул ему в глаза Рем Степанович. — Нет, не завидуешь. А иные мои гости, дружки из самых-самых, темнели ликом. Ты — другой. Молодец за это. Хотя как взглянуть. Иной потому не завидует, что о чем-то подобном для себя и не мечтал. Не знаешь — не желаешь. Искусить можно лишь осведомленного. Ты хоть в кино-то видел когда-нибудь такую кухню? В американских этих боевичках?

— Честно скажу, нет.

— А она вот она — в нашем Последнем переулке. Люблю удивлять, пошли дальше. Но только, Гена, Геннадий ты мой дорогой, уговор: молчок, а? Условились? Помужски, а?

— Условились.

Дверь из кухни не открывалась, а отодвигалась, она была из двух широких створок, и Рем Степанович разом обе размахнул, они легко покатались по стальным желобам. И разом открылась перед Геннадием громадная комната (зал, что ли?), где был камин, где кресла выгораживали стол у стены и стол у окна. А окна, их ведь и не было, они лишь угадывались за матовыми экранами, которые вдруг начали разгораться, даря комнате дневной, но не с улицы, где зной был, а кроткий какой-то, будто певучий свет. Чего тут только не было, в этой гостиной, если взглядеться. А если не взглядеться, то все эти кресла, столы, столики, камин этот, картины на стенах и ковры на полу — все здесь в глаза не лезло, скромненько будто бы держалось, не выпячивало себя. Геннадий понял, угадал, что это и было самым главным тут признаком богатства, вот это вот, что им тут не бахвалились. Он понял, догадался про это. Такой угадливости можно и обучить, натаскать можно, но может и без натаскивания понять человек, что к чему, хотя и попал в непривычное для себя, в загадочное.

— Так, наверное, очень богатые люди живут,— сказал Геннадий.

— Верно, не бедные,— согласился Рем Степанович.— А почему я должен быть бедным, Гена? Этот дом — он ведь по наследству мой, весь дом. Но это — пустяк. Я от деда своего, от отца, от предков всех иное, надо думать, наследство получил. Оно в крови у меня, в башке у меня. Куда с этим? Выбросить? Национализировать? Ладно, пошли дальше.

Слева от камина просто простенок был, но Рем Степанович подошел к камину, нажал неприметную кнопочку — и простенок поехал за камин, открывая проход.

— Следуйте за мной, уважаемый товарищ!— голосом экскурсовода сказал Рем Степанович.— А вот этот вот домашний, отчасти интимный кабинет уроженца сих мест Рема Степановича Кочергина. Прошу учесть, вход сюда по особым пропускам, имя которым — «доверие».

Геннадий Сторожев переступил порог, ощутив озноб, как там, на улице, под палящим солнцем, когда кровь загорелась. Но этот озноб был не от зноя, а от тайны, от вступления в это вот «доверие», которое исходило от человека очень и очень не простого, самого по себе таинственного.

— Когда матушка по болезни уже не могла жить одна, переехала в мою семью,— идя следом за Геннадием, пояснил Рем Степанович, счел нужным пояснить,— я приспособил это родовое гнездо, так сказать, для себя. Бывает, надо где-то и отсидеться, отдышаться, отгородиться от людского гама. Ну?

А что — ну? В этой сравнительно небольшой комнате, как и в той, вроде зала, богатство было таким богатым, что уже и не чванилось. Конечно, были тут и транзисторы-звери — видали мы такие транзисторы и такие магнитофоны, все эти «Филипсы», «Сони», «Шарпы» видали. Много раз бывал Геннадий в комиссионном магазине у площади Восстания, дивился на эти ящики и ящички, поражавшие воображение и видом и ценой, с тремя нулями все ценой. Приезжал, взглядывал, уезжал. Накопил все же на магнитофончик, сделанный в Гонконге. Три сотни отдал. Ничего, работает.

Нет, не в аппаратуре этой, которая всюду виднелась, тут было дело. И не в письменном громадном столе на львиных лапах, заставленном, заваленном занятыми вещами, голенькими бабенками из дерева, из кости, рыцарями в латах и на конях, зажигалками, один к одному похожими на

настоящие «Люгеры» и «Кольты». Все это удивляло, манило, не без этого,— но не в этом навале всякой всячины тут было дело.

Изумила Сторожева библиотека. По своим обязанностям электрика он частенько бывал в квартирах, где полки прогибались от книг. Все больше новеньких, все чаще одних и тех же. Шли подписки — шли ко всем. Дюма этот, Паустовский, скажем, Грин, к примеру,— эти красно-зелено-коричневые корешки были на каждой полке, куда ни зайди, если, конечно, в доме собирали книги.

А тут на полках от пола до потолка, и у одной стены, и у другой стояли старые книги, в потертых из кожи переплетах, а то и в матерчатых переплетах, а то и в серебряных окладах, как иконы. А в книжном шкафу возле стола теснились книги такие зачитанные, с такими истрепанными корешками, будто в шкафу том была толкучка, с рук шла продажа, как на Птичьем рынке по субботам.

— Книжки-то вроде читаете, а не складируете,— сказал Геннадий.

— Вот именно!— хмыкнул Рем Степанович.— Точно словечко нашел. Нынче культура все больше складирруется. Мол, имеем. А вот — разумеем ли?

— А я вас за читателя не считал,— сказал Геннадий, робко беря с полки толстый том, переплетенный в затканную цветами штофную ткань.— О, как угадал! Книга про Москву.— Он раскрыл книгу, прочел на титуле:— «Прогулки по Москве и ее художественным и просветительным учреждениям». Люблю читать про Москву. Как угадал.

— А у меня тут вся стена «про Москву»,— сказал Рем Степанович.— И я люблю — про Москву, вообще историю люблю. Я сперва чуть было историком и не стал. Потом чуть было журналистом, а уж потом...

— «Москва. Издание М. и С. Сабашниковых, 1917»,— прочел Геннадий.— Может, за день до революции издали?

— Не исключено. За день многое случиться может. Но история, Гена, тем и хороша, что учит нас, грешных, не страшиться за свою участь. Все уже было. И кровь и смерть. Все было! И предательство и коварство! И глупость, глупость, без меры глупости!— Он вдруг на крик сорвался.— Кого не люблю, так это глупцов! Страшись дураков, Геннадий!

— А их и нет, дураков-то,— сказал Геннадий.— Кого ни послушай, он себя умным считает. Другой кто у него дурак, а он — умный.

— Метко замечено.— Рем Степанович быстро глянул на Сторожева. Так взглядываем мы, когда удивит нас человек, когда переоценку мгновенно ему делаем, повышая или понижая в цене. И Рем Степанович будто озяб вдруг у себя в доме, плечи руками обхватил, присел на краешек дивана, сгорбился, задумался, стал сам на себя не похож, сильный этот человек.— Метко, метко замечено. В том смысле, что не заносись.

— Я не про вас, Рем Степаныч.

— А я вот про себя подумал. Умный? Ум, как товар, его взвесить можно. Оплошал, значит, дурак. Клади на весы, гляди, сколько потянет твоя дурусть. Пять могут дать, десять, пятнадцать, вышку. Это — гири. Не стану таиться перед тобой, Геннадий Сторожев, да и молва вот-вот принесет в Последний наш переулок, что оплошал Кочергин, подзапутался. Сам ли, его ли...— какая разница. Оплошал, значит, сглупил. Теперь все дело в том, какую гирьку мне навесят. А может, и обойдется? Может, и извернемся? А?! Как думаешь?!— Рем Степанович вскочил, отшвырнул руками холод с плеч, взбодрился, повеселел мигом, как если бы кто скомандовал ему: «Быть веселым!» Он сам себе и скомандовал. Управлял собой человек, умел повелевать собой. Был у Геннадия Сторожева тренер, когда Гена играл в хоккей, так вот этот тренер любил всякие присказки. К примеру, «глаза боятся — руки делают». Или «умей владеть собой». Как это — владеть собой? Туманное пожелание. А вот Рем Степанович умел владеть собой. Больно ему, аж криком кричит, но — справился, овладел собой. Молодчага мужик.

— Вы спортом никогда не занимались, Рем Степанович?— спросил Геннадий.

— В юности шайбу гонял.

— И я тоже!— обрадовался Геннадий.

— И сейчас играешь?

— Бросил. Травм много нахватал. У нас как? Если не умеешь по шайбе, бей по игроку.

— Да, да, всеобщий закон. Помнится, после какой-то драки я и сбежал из команды. Мы марьинорощенских тогда переиграли. Ну и грянул бой-мордобой. А было это на пруду в парке ЦДКА.

— ЦСКА,— поправил Сторожев.— Я тоже там играл.

— Была армия Красная, стала — Советская, а пруд все тот же. Выходит, мы с тобой одноклубники, Гена?

— Выходит.

— В Англии бы это много значило. С одной улицы, из одного клуба, наверняка, хоть и в разное время, в одной школе учились. В Малом Сухаревском школа? Номер 137?

— Она.

— Тогда мы с тобой роднее братьев. Если, конечно, на Англию равняться. Традиции. У них традиции — святая святых. А мы что, без рода, без племени, без традиций? Не верю. Вот взошел в свой Последний переулочек — я сегодня сюда нарочно пешком пошел, думается лучше, — и сердце согрелось. В пивную вошел, в шалман этот грязный, а мне еще лучше стало, помолодел будто. Потом вас увидел. Поверишь, попка этот столетний мне как родной. Верно ведь, что деда моего знал. И тебя я люблю, Геннадий. Ты — нашенький паренек, смелый, умный, гляжу, да, умный, чуток лукавый, гляжу, а что, а так и надо, но открытый ты, ясный и надежный — верю в это.

— А в шкафу у вас что за толкучка? — спросил Геннадий, отводя глаза от цепко всматривавшегося в него хозяина дома. И пошел к шкафу, удаляясь от зорких этих глаз.

— Там у меня детективы собраны. Говорят, у академика Александрова собрание побольше моего, но это еще доказать надо. Он переводы не заказывает, а я стал заказывать. Всю Агату мне перевели. Читал Агату Кристи?

— Кажется.

— Неуверенно отвечаешь. Дружить станем, дам тебе почитать. Прилипнешь к этому шкафу, не оттащить будет. Говорят, у кинорежиссера Леонида Трауберга тоже порядочное собрание. Но не думаю, что мое беднее. Он, может, и дольше собирал, а я больше плачу. Так вот, Гена, слушай, чего я от тебя хочу. Ты сядь, сядь, книжки потом. Тут ты еще и посмотришь и потрогаешь, если сладимся. Видеомагнитофон в углу стоит, видеокассет с фильмами целый ящик. Есть и про голеньких, если потянет. Но сперва — дело. Выпить не хочешь? Ты садись вот сюда, напротив. Давай пивком продолжим, раз уж с пива начали. — Рем Степанович обернулся, не вставая нажал кнопку в спинке дивана, и отвалилась из угла панель, мягко выдвигая заискрившийся бутылками и пивными заморскими банками бар. — Давай прямо из банок тянуть. Как в детективах, как гангстеры эти хлещут. Держи. Дергай за колечко. Вот так вот.

— Я умею, приходилось, — сказал Геннадий Сторожев и потянул, как за предохранительную чеку у ручной гранаты, за колечко на крышке вызолоченной пивной банки.

Раздался сперва у Кочергина тихий хлопок, как выстрел

бесшумного пистолета, потом у Сторожева такой же хлопок.  
— Обменялись выстрелами,— сказал Рем Степанович. Он запрокинул голову, глотая пиво.

Геннадий, не боясь встречного взгляда, поглядел на него. Сильный человек, богатый, взысканный — вон какую квартиру себе отгрохал,— бесстрашный, азартный, смелый, надо думать, раз смолоду в хоккей играл, а Геннадию вдруг стало его жаль. И не потому, что какие-то там неприятности у него, размера этих неприятностей Геннадий представить не мог, он почти ничего не знал о деятельности Рема Степановича, знал, что начальствует где-то в Москве по торговой части, все может достать, во всем может помочь, а стало быть, и вывернуться сможет, хоть и жалуется и паникует вот, срываясь на крик. Нет, не потому вдруг пожалел этого сильного человека Геннадий Сторожев, что свалились, обрушились на него какие-то неприятности. Об ином угадалось. Одинок этот человек. С первым встречным принялся делиться своими бедами. Кто ему — Генка Сторожев? А как раз и тот самый первый встречный.

Геннадий перевел глаза в искристое нутро маленького бара, где было зеркало, чтобы и на себя глянуть,— на первого этого встречного. И не узнал себя, узрев чье-то бледное, в изломах лицо среди бутылок с яркими этикетками. Чужой и издалека смотрел на него человек, то исчезая, то возникая, выныривая, будто тонул он там, в слепящей водной зыби.

— Собственно, у меня к тебе дело совсем небольшое,— заговорил Рем Степанович.— Ты здешний, к тебе тут все пригляделись, и ты тут всякого знаешь. Посторожил бы ты мою квартиру с неделю-другую, Гена. А? Когда и вместе будем время коротать, почитать эти книжечки будешь, видеокассеты запускать, бары, холодильники в твоём распоряжении. Когда и без меня тем же будешь заниматься. Только никого не приводи, одно условие. И молчок, что тут углядел. Впрочем, секрет ненадолго, как думаю. Ну что еще? Если кто постучится к нам, встретить его в сенях, а дальше не пускай, если я сам дверь не отворю, глянув в глазок. Что еще? Ну, может, на рынок тебя попрошу сбежать, прикупить свежего мяса. Рынок-то рядом, труд невелик. Что, что еще? Ну, записочку какую-нибудь попрошу отнести приятелю, ответ принести. У телефона, знаешь ли, иногда уши начинают отрастать. Зачем нам уши? Вот и все, знаешь ли, вся работа. Считаю, в секретари тебя свои нанимаю недельки на две. А сдружимся, а я верю в это, а повезет если твоему

нанимателю и гроза нас минет, то и продлим контракт. В день буду платить сотню. Как?

— Так я же на работе.

— С работы не уходи, зачем же, заскакивай там в свой жэк. А то и отгул возьми. Ты сколько там имеешь? Сотни полторы в месяц есть?

— Примерно.

— А тут сотня в день и, как говорится, работа не пыльная.

— Это верно.

— Испугался? Чего? Мои дела — не твои дела. Да...— Рем Степанович взял из бара бутылку виски, открутил с хрустом пробку, плеснул в бокал, жадно выпил. Рванул горло этот напиток, Рем Степанович покрутил головой, растер рукой шею.— Да... Вот я тебе тут громоздил твои обязанности, а правду не сказал. Что ж, раз задумался, скажу тебе все начистоту. Одиноко мне стало, Гена. Одиноко, понял? А ты живая душа. Вот, душу живу за сотню в день и нанимаю.

— Мало ли у вас друзей, Рем Степанович.

— Ты еще и любовниц сюда причисли. Навалом всех, навалом! Но ты — не они. У тебя ко мне вопросов нет, ты и не боишься меня, я тебе не начальство. Ты и не повязан со мной делами. Ну, объяснил? А где сотня, там и две могут быть. Этого добра у меня хватает. По рукам?

Жалко, жалко было этого человека, не самим собой он был сейчас. Такие так много не разговаривают, нанимая какого-то жэковского электрика к себе в посыльные, что ли. Худо ему, это ясно, одиноко, побросали, видать, дружки и подчиненные, учуяв, что плохи его дела.

— Согласен,— сказал Геннадий и улыбнулся. Он про свою улыбку-спутницу тут совсем позабыл, сбежала она с его лица, вот только сейчас вернулась.

— Вот, вот, такой ты мне и нужен. Эх, мы еще завьем хвост веревочкой!

Мягко, неназойливо, ни за что на свете не суля чего-либо тревожного, зазвенел телефонный аппарат. Его и не видно было, этого телефона, он совсем в уголок диванный забился, да и был невелик — все лишь трубка с наборным диском.

— Нажми на рукоятку, спроси — кто?— Рем Степанович протянул трубку Геннадию.— Ты спрашивай, а я послушаю ответ. Если качну головой, значит, нет меня здесь, и весь разговор.

— Кто?— сказал в трубку Геннадий, услышал, как



забился ответно напрягшийся, взволнованный женский голос:

— Рем Степанович, это вы?! Наконец-то!

Как красив бывает женский голос, какое сразу прекрасное лицо померещится тебе, едва зазвучит он. Ей-богу, можно влюбиться всего лишь только в голос женщины.

— Это не он,— сказал Геннадий, охрипнув вдруг. Он глядел на Рема Степановича. Тот окаменело молчал.

— Но где же он, где?! Где?! Где?! Где?!

Какое отчаяние, какая мольба и как красив этот голос...

Геннадий посмотрел на Рема Степановича. Тот окаменело молчал.

И вдруг вырвалось у Геннадия, околдовал его этот голос:

— Он — здесь.

Рем Степанович хмыкнул, не-рассердился, а только хмыкнул и отобрал у Геннадия трубку, которую тот уж очень сильно стиснул в руке.

— Я здесь, Аня.— Он не стал вслушиваться в забывшийся в трубке голос, он устало позволил:— Хорошо, приезжай.

Рем Степанович отшвырнул свой заморский телефончик, тот виновато уполз на шнуре, спрятался в угол.

— Вот ты и начал работать, мой личный секретарь,— сказал Рем Степанович, хмурясь и улыбаясь, уже изговариваясь к встрече.— Как угадал, что я хочу ее видеть? Две сотни в день. За угадливость.

— Мне идти?

— Сперва познакомлю вас. К ней записочки-то пойдут.

— А говорили, что одиноко вам.

— Познакомлю, поймешь. Ты смысленый, поймешь.

Снова мягко и неназойливо и не суля — как можно?— ничего тревожного, зазвонил серебристым колокольчиком телефон-гномик.

— Отзовись, но тут уж без самодеятельности,— твердо произнес Рем Степанович.

— Слушаю вас,— сказал в трубку Геннадий, веря, что опять услышит тот же голос (женщины любят перезванивать, только лишь позвонив, манера у них такая, чего-то им обязательно надо бывает уточнить). Нет, зря надеялся. В трубку вполз какой-то скверный, как червяк в ухо, сладко-липковкрадчивый и совершенно бесполоый голосок, да нет, все-таки мужской. Поразило, что слова были теми же, что и у только что звонившей женщины:

— Рем Степанович, это вы?! Наконец-то!

— Это не он,— сказал Геннадий, злясь, что и он тоже ответил, как и тогда.

— Но где же он, где?!

Геннадий не успел взглянуть на Рема Степановича, тот зло вырвал у него трубку, зло спросил:

— Белкин говорит?!

В трубке заегозил, подтверждая, бесполой голосок.

— Зачем ты сюда звонишь?!

Вон как умеет отливать слова этот Кочергин Рем Степанович, он их стальными умеет делать.

— Чрезвычайные, говоришь? Ты в штаны-то, случайно, не наклал? Приезжай!— Рем Степанович отшвырнул трубку-телефон, и это чуть ли не живое существо снова уползло в уголок на гибком шнуре-туловище.

— Выйдешь, встретишь их,— еще не остыв, тем же стальным голосом сказал Рем Степанович.— Поглядишь, не с хвостами ли пожалуют.— Он встал, сунул руку в задний карман, выхватил из него, разведя в пальцах, несколько четвертных.— Точно, двести,— хмыкнул он, чуть отойдя.— Музыкальные у меня пальцы на деньги.— Он протянул деньги Геннадию Сторожеву.— Буду платить тебе за каждый день, ибо будущее наше непредсказуемо. Бери, бери.

Геннадий взял.

### 3

В переулке, когда Геннадий вышел из дома Кочергина, все тот же стоял зной, еще жарче стало, совсем обезлюдил переулок, но понимая, что жара стоит, Геннадий ее не почувствовал сперва, показалось даже, что вступил в прохладу.

Издали, маня его к себе пальцем, шел навстречу знакомый милиционер, стоявший до этого под сенью подъезда расположенного тут отделения милиции.

Сошлись посреди пустынной мостовой. Круглолицый старший лейтенант благожелательно протянул Геннадию руку.

— Ты что же, за местными дамами стал ухаживать?— улыбчиво спросил, а улыбался он не хуже Геннадия.

Тот глянул, вспомнил про свою улыбку и тоже заулыбался. Пожалуй, его улыбка была пошире, еще, что ли, беззаветнее.

— Это в каком смысле?

— А вот попугайку нашу пивом угощал.

— Не попугайка она, а Клавдия Дмитриевна.

— Поправляешь? Ну, ну.

— Кстати, умнейшая женщина. А попугай ее, Пьер этот, вообще мудрец.

— Ну, ну. Между прочим, поздравляю, сподобился.

— Это в каком опять смысле?

— Ну как же, Кочергин наш, Рем Степанович, пригласил тебя в дом.— Участковый принюхался, как это делают орудовцы, требуя у водителя права.— Пил с ним?

— Пиво.

— Пиво на пиво? Ну, ну. Проводочка какая-нибудь ему понадобилась?

— Проводочка.

— Расскажешь, что там у него внутри?

— Не-а. Сам взойди, ты же власть.

— Власть на власть — это не пиво на пиво. Повернет, так думаю.

— Пожалуй,— широко улыбнулся Геннадий.

— Ну, ну, гуляй. Ждешь кого-нибудь?

— Даму.

— Попугайку эту?— просиял улыбкой старший лейтенант.

— Не попугайка она, а Клавдия Дмитриевна. Ей почти сто лет. наших отцов и матерей еще не было, а она уже жила.

— Понял, уважаешь стариков, это хорошо. Не жарко?

— Нет.

— Сухой, это хорошо. А я в тень удалюсь.— И удалился, молодой, важный, с благожелательной улыбкой.

И Геннадий проводил его улыбкой. Вроде как пофехтовали улыбками, а кто кого — не поймешь.

Тем временем какой-то гражданин возник в их переулке. Он вошел не от зачина, не от Сретенки, а вынырнул из проходного двора — одной из множества проходных этих лазеек, проторенных тут с незапамятных времен, с тех самых, с греческих.

Человек как человек, в такой самой никакой одежде, в какую обряжены все особенно преданные пивным барам мужчины. А они, как известно, за модой не гонятся, во что одет — в то и одет. И походка у него была соответствующая, пробежкой шел, деловито. Что в бар — по делу, что из бара — по нужде. Занятой человек. И в одежде этой своей, с пробежкой этой,— совершенно неприметный, особенно здесь, где к таким привыкли. Тенью вскользнул, тенью вскользнул. Участковый даже и глаз на него не задержал. А вот Геннадий задержал. Голос вспомнился того мужчины, с кем говорил по телефону, кого назвал Рем Степанович Белкиным, велел ему приезжать. У этого, сутуловатого, с

шажком-пробежкой такой же мог быть бесполоый голосок.

Мужчина, оглядываясь по сторонам, а такие всегда оглядываются, приближался своими пробежечками к дому Кочергина, сомнения не было, он туда путь держал. Стало быть, это и есть тот самый Белкин? Что ж, надо было выполнять задание, обрабатывать эти хрусткие четвертные, которые все время слышны были в тесном кармане джинсов. Надо было поглядеть, не привел ли за собой этот Белкин какой-то там «хвост». Что за дела, какой еще «хвост»? Влипаешь ты, парень, не в свою стихию.

Нет, «хвоста» не было. Даже и здешний участковый, сомлев в тени, стоял к ним спиной. Да и какой это «хвост» — их участковый? Миляга, кругляка, «ну, ну», словом.

Шмыг-шмыг, и исчез этот Белкин за дверью. И опять опустел переулок, томимый зноем. Теперь этот зной снова наваливался на Сторожева. Пойти бы пивка хлебнуть? Но нет, он на «стреме», он обрабатывает эти восемь хрустких четвертных. Влипаешь, влипаешь ты, Геннадий, не в свою стихию. Но какие деньги свалились! Если так хоть с десятков дней продлится, он сможет в комиссионке у Восстания такой ящик себе купить, что не хуже будет, чем у Рема! Всего десять дней. Правда, Рем Степанович толкнул в конце загадочную фразу: «Ибо будущее наше непредсказуемо». Так что же, видеокассетный магнитофон фирмы «Сони» предсказуем или нет?

Со стороны Трубной улицы лихо въехало в переулок, но тотчас сбавило скорость такси. Видно, вспомнил шофер про восемнадцатое отделение милиции в этом переулке. Все водители тут на этом отделении спотыкаются, выжимая тормоз. Медленно — мы-де хорошие, дисциплинированные — потащилось такси вверх по переулку, миновало Геннадия. Мелькнуло за стеклом молодое женское лицо, в котором жило нетерпение. Эта женщина подалась вперед, руку протянула к спине шофера, шевелились ее губы: «Быстрее! Быстрее!»

Она? Она!

Но что-то мешало Геннадию поверить, что эта молодая женщина в такси та самая, с которой он говорил по телефону, которая заворожила его своим голосом. Что-то мешало.

А такси остановилось неподалеку от дома Кочергина, и молодая женщина гибко выскользнула из машины и побежала к дому. Она? Она! Но что-то мешало Геннадию поверить, что это она, та самая. Эта, скользнувшая за дверь, ведь он ее знал. Это была — быть не может! — известная актриса. Из молодых, из восходящих. Он был влюблен в нее по уши. Если

в каком фильме она снялась, хоть в эпизоде, пусть и в плохом самом фильме, в скучном, он и раз и другой ходил смотреть этот фильм, а если то был телефильм, он усаживался перед телевизором, забыв про все дела. Она? Она! Дверь за ней закрылась. За милой, доброй, доверчивой.

Что ж, оглядись, Геннадий, удостоверься, не притащила ли она за собой какой-то там «хвост». Он — оглянулся. Никого. Только участковый да вот разворачивающий свою машину таксист.

— А?! Кого к вам привез! — сказал таксист Геннадию и зажмурил заплывшие, бывалые глазки. Он тоже был из влюбленных в нее, этот таксист. И ему тоже вдруг сиром стало. Ведь для кого-то для другого привез. И он рванул машину, забыв про восемнадцатое отделение милиции.

Ну, а истомившегося от жары участкового уже и не было в подъезде, пошел, должно быть, попрохладнее место искать.

Она! Да, и ее ведь это голос был. Один такой единственный. Но только так в своих фильмах она никогда не разговаривала. У нее ролей таких не было, чтобы такой тревогой жить. Вот тут, в этом доме, такую себе роль нашла? Как же так? Куда подалась? Не для тебя это место, слушай, не для тебя! Вспомнилось ее лицо на экране, ее часто снимали крупным планом. Что бы она ни говорила, ей невозможно было не поверить. Потому и снимали ее крупным планом. Какой бы фильм с ее участием ни показывали, — потом вспомнишь, глупая история, а пока смотришь, и фильму веришь. Из-за нее. И верилось, свято верилось, что она и в жизни такая. Какая? Вот проскользнула за дверь.

Ну что ж, «хвосты» не наблюдаются, следовало сейчас — или нет, не сейчас? — идти к Кочергину с докладом. Геннадий решил, что идти надо — сейчас.

#### 4

Она открыла ему дверь. Стояла перед ним в этой замызанной от времени прихожей, в сенях этих, которые кого только через себя не пропустили, и насмешливо, с сердитой складочкой между бровями, его разглядывала.

— Я к Рему Степановичу, — сказал Геннадий. Раз она на него смотрит, и он на нее смотрел. Вот она, Анна Лунина, не на экране, а живая, хоть рукой дотронься.

— Как прикажете доложить?

— Геннадий Сторожев.

Хоть рукой дотронься... Но еще дальше была она от него, чем там, в экране телевизора. Там она была для всех и для него тоже, здесь она была только для своего Рема Степановича. Женщины умеют, о, они умеют из тысяч неприметностей указать всем окружающим дистанцию, поведать всем присутствующим, кто ее избранник здесь, а порой и кто ее хозяин. «Как доложить?!» Она играла сейчас роль покорной, исполнительной, преданной хозяину этого дома женщины. Но она и гневалась, что им мешают, вот она примчалась, а им мешают. Какой-то бродяга завладел вниманием Рема, какой-то парень с улицы явился.

— Какой-то Геннадий Сторожев в расстегнутой до пупа рубашке!— крикнула она в глубину дома, в отворенную в кухню дверь.

— Впусти!— из глубины, из своего кабинета отозвался Рем Степанович.

— Велено впустить, прошу.— Что-то она расслышала в одном-единственном этом слове (доверие, přátельство?), но вот уже и исчезла сердитая морщинка между бровями. Ее повелитель нуждался в этом Геннадии Сторожеве, его следовало принять поласковее.

— Что будете пить, куда джентльмены решают там свои вопросы?— Она кивнула на дверь в кабинет, досадливо поморщилась. Она играла, все время играла, громадный будто встал перед Сторожевым экран телевизора, в котором сейчас двигалась, говорила, «жила» его любимая актриса Анна Лунина. Но в том-то и дело, что — жила. А она играла. И тот же изумительно правдивый голос, и те же все ее маленькие хитрости — их актеры называют приспособлениями, — чтобы расположить к себе, чтобы повести за собой, чтобы ей верили, верили всякому ее жесту, слову, гримаске этой встревоженных губ. А чему тут не верить? Тут все по правде. Это не роль, это — жизнь, уважаемая актриса. Это такой сценарий, по которому тебе еще слезы лить.

— Что рассматриваете? Вспомнили по экрану?

— Да, я очень люблю вас. Любил...

— Увидели в жизни и сразу же разлюбили? Я пью виски со льдом. Хотите?— Она уселась на высокий стул перед баром, не заботясь, что юбка у нее уж очень высоко поднялась.— Ноги у нее были что надо. Все у нее было что надо. Да она и знала про это.

— Я сегодня с пива начинал,— сказал Геннадий, устало прикрыв ладонью глаза.— Пиво на пиво.

— Садитесь рядом. Вот вам банка с пивом. Открыть?

— Да умею я, умею!— Он взял банку, рванул чеку, яростно повел глазами, куда бы метнуть эту гранату.

— Чего вы злитесь? Вы — кто?

— Жэковский тут слесарь и электрик.

— Так Рем Степанович задумал какой-то ремонт?— радостно спросила она.— И все заботы?!

— Про ремонт он мне ничего не говорил.

— Да, какой уж ремонт... А чего вы злитесь?

— На себя, не на вас.

— Еще бы недоставало! Так, стало быть, любили и... разлюбили?

Она близко глядела на него, а он изо всех сил, а ведь неробок был с женщинами, выдерживал ее взгляд, дивясь, что глаза у нее не карие, а фиолетовые, да, фиолетовые с карими точечками — с ума сойти, какие глаза.

— Рем Степанович рассказывал мне, что родился в этом вашем Последнем переулке. А вы?

— Я — тоже.

— Так и подумала. Не родня ли ему?

— Нет.

— Что-то у вас есть общее. Переулочек-то ваш с лихой славой. Отчаянные вы все тут парнишечки. Ну что уставился? Не твоя я, его я.

— Понял, могла бы и не расшифровывать.

А все-таки они были равно молоды, это их объединяло, делало их ну, что ли, союзниками в том всеобщем заговоре молодых против старых, о котором никто не говорит, его как бы нет и в природе, но он — есть.

— Седой — да, много лет — да. Все так. Но я люблю его, мальчик. И он, седой этот, грузный этот человек, он дюжину молодых за пояс заткнет, целую дюжину.

— Понял, не кричи.

— Разве я кричу? Ах, я кричу! Да, пожалуй... О чем, о чем они там шепчутся?! Что тут происходит, Гена?!— Она перешла на шепот, но вот теперь она и стала кричать.

— Откуда мне знать? Я тут у него первый раз в жизни. А ты сама его спроси. Кто он тебе? Дружок на недельку?

— Мальчик, не заступайте черту. Да застегнись ты хоть на одну пуговицу. Также мне Ален Делон!

Бесшумно раздвинулись створки двери, и в кухню, будто подтолкнули его, выскочил Белкин, запнувшись в своей пробежке. Восхищенно, молитвенно воззрившись он на женщину, ожили его блеклые глазки, подобралось, сколь возможно, одутловатое, с натеками щек лицо.

— Красавица... красавица,— бормотал он,— глазам больно глядеть...

— Аня, налей товарищу,— входя, сказал Рем Степанович.— Он был хмур, тер ладонью лоб, щеки.— И мне чуть-чуть плесни виски. Ты что будешь пить, Олег?— Рем Степанович растер лицо, согнал с него хмурость.

— Сибирскую, если есть. В ней помене воды, поболе забвения.

— Что делает с человеком перепуг.— Рем Степанович зашел за стойку, стал отыскивать в рядах бутылок «Сибирскую» водку. Нашел, сам начал наливать.— Столько? Больше?

— Будет, руки трясутся, расплескать страшусь.

— На и не страшись. Пей, Олег. Как ты вырядился? Ты не подумай, Аня. У него эlegantнейшие имеются костюмы. И вообще, фронт и ухажер. Но вот, гляжу, потянуло к наипростейшей простоте.

— Не надо меня поднимать, Рем Степанович,— вдруг построжал лицом Белкин.— Да, опускаюсь, опускаюсь, сам вижу. Как погнажи из министерства, стал опускаться.

— Да ты вроде обиделся?

— Сам вижу. Страшно мне. Поэтому мытьем стаканов занимаюсь в павильоне «Соки», а скоро...

— Хватит!— прикрикнул Кочергин. Глаза у него вспыхнули, выстрелили яростью.

Белкин сжался, отвернулся от этих глаз, стал жадно глотать из фужера, привычно таясь, отгораживаясь, как пьют в подворотнях.

— Милый, что с тобой?— Таких глаз, какие сейчас были у Анны Луниной, на экране, в самом-рассамом крупном ее плане, Геннадий никогда не видел. Таких, испугавшихся за другого, преданных, недоумевающих, вдруг чего-то утравившихся. Кончилась игра, забыла актриса, что она актриса.

— Геннадий, пойдешь с Белкиным, тут недалеко.— Рем Степанович отгородился от глаз Ани, хлебнув из бокала.— Он тебя к одному человечку отведет, а по дороге проинструктирует. Записочку тебе надо будет передать. Только и всего. И назад. Идите, братцы, ступайте. Олег, чтобы больше никаких сюда звонков. Этот дом — это мое прибежище, я тут дух перевозжу, я тут вот с Аней встречаюсь, книжки почитаваю. Понятно объясняю? Если что, свяжешься с Геннадием, запиши его телефон. Идите!

— Идем, идем!— Белкин допил, глянул, чем бы закусить, но отверг протянутый ему Аней крекер, навис было рукой над



тарелкой с соломкой для пива, но и эту закуску отверг, видно, страшась, что воздействие выпитого от жевания ослабнет. Пробежкой, пробежкой устремился он к выходу, трепетно вслушиваясь в себя, радуясь наплывающему на мозг туманцу.

Когда затворял за собой дверь, Геннадий услышал плачущий голос Ани, правдивый ее голос, требующий сейчас ответной правды:

— Милый, что с тобой, что с тобой, что с тобой?

Щелкнули замки, заглушив ответ Рема Степановича. Наверняка бодрые какие-нибудь слова, мужественные.

## 5

Шагать рядом с этим семенящим человеком было трудно. Еще трудней было все время молчать, а Белкин не желал разговаривать, оберегая свой туманец, замерло его перепуганное, потекшее, с трясущимися щеками лицо. Не повернуть ли к дому? Не наплевать ли на эту работенку — уж больно какую-то выгодную, какую-то легкую? Ничего не стоило взять да и повернуть домой, а деньги эти, восемь этих четвертных — Геннадий притронулся к карману, и бумажки хрустнули, — а их немедленно же вернуть Кочергину. Мол, раздумал, недосуг. И вообще, ну вас с вашими секретами. Ничего не стоило так поступить, даже рванул было, подался плечами, чтобы повернуть назад. Но не повернул. Там, в доме у Кочергина, появилась Анна Лунина. Все усложнилось теперь из-за этой женщины. В ушах не отжил еще звук ее голоса, слова эти остановились, не уходили: «Милый, что с тобой, что с тобой?..» А с тобой, Аня? Как ты там очутилась, скажи? Зачем это тебе?

А этот Рем Степанович, он берет от жизни все самое лучшее. Не промах мужичок. Какая мебель, какие ящики. Спросить бы, почем платил за них. А за Аню?

— Кто он у вас все-таки? — спросил Геннадий Белкина, и тот понял вопрос, мигом отозвался, да так горячо вдруг заговорил, будто этот же вопрос в нем самом давно стучал в виски:

— Он у нас ого-го еще! Он не погорел, как я. Нет! Этого с ним не случится. Связи у мужика крепче морских канатов. Голова! Личность! А как держится? Ну, крупные неприятности у него, у всякого бывает. Но как держится. С бабой вот времечко решил провести на вершине про-

снувшегося вулкана. Это так не всякий сумеет, иной бы запаниковал. Наши, среди наших, его Батей зовут. Батя! Одна надежда на него!— Губы у Белкина, куда он выкрикивал все это, мелко тряслись. Пришлось ему даже пальцами попридерживать их, но и пальцы затряслись.

— Выручит, стало быть?— спросил Геннадий. Он не мог приноровиться к пробежке Белкина. То обгонял его, то отставал, наступая широким шагом.

— Меня? Обязан!— Белкин вдруг остановился, настороженно глянул.— А ты что про меня знаешь? Ты — кто? Курьер? Ну и не вникай.— Он снова припустил вперед, из одного переулочка сворачивая в другой, путь держа к Садовому кольцу.

Пересекли Кольцо, дальше двинулись по кривеньким, в гору переулочкам, почти таким же, как Последний, Большой Головин и все прочие присретенские. И эти места были отлично знакомы Геннадию. Тут друзей у него было полным-полно. Особенно их было много, когда играл в хоккей. Что за друзья? С иными и драки затевались, улочка на улочку, а все равно — друзья. Свои ребята. Они — для него, он — для них. Отличный народ. Надежный. Если что, выручат. Захотелось очень, вот прямо сейчас, повидать кого-либо из местных парней, из «васнецовских» — таким тут было их прозвище, по дому-музею художника Васнецова. А вот и этот старый дом в один этаж, с деревянным теремком и двухэтажной позади студией.

Как-то раз побывал в нем Геннадий, поглядел на картины, на сказки эти на стенах. Художник, говорят, был замечательный. Все шепотом в комнатах разговаривали. А ведь бедно жил. Личные вещи у художника были ничем не дороже тех, какие остались от старых времен у его, Геннадия, тетки. Из бедной кружки чаек попивал, из мятого самовара. Никаких ковров, никаких штучек заморских на столе. Если что и стояло по углам, что и висело по стенам, то своими руками сделано. А художник и впрямь замечательный, все детство вспомнилось, как вошел и встал перед его картинами, мать вспомнилась, которую забыл, маленьким совсем был, когда умерла. А тут вспомнилась. Встала у одной из картин, начала про нее рассказывать. Тихо, неслышно, но он различил слова, они прошелестели в самой картине, пришли к нему оттуда, от «Спящей царевны» на картине, лицом напомнившей мать, когда она навсегда заснула.

— Сходить надо будет в этот дом,— вслух произнес Геннадий.

Белкин все понял, смысленый дядечка, отозвался, покрякивая, смяв улыбочкой перепуганные губы:

— Сравниваешь? Тут, конечно, красота, история, но жить-то удобнее в домике Рема.

— Тогда не было такой техники.

— Э, что ты понимаешь! Люди с деньгами тогда так жили, что и нашему Рему во сне не приснится. Есть, есть у иных из нас деньги, много даже, но нет возможности их с толком потратить. Страна у нас для этого ограниченно годная.

— Страну не трогай,— сказал Геннадий.

— Не буду. Но все же, конечно, и у нас можно пожить в свое удовольствие. Убедился?

— А откуда деньги у него? Такие?

— Вот так вопрос! Связи большие. Опять же окладик человек имеет. Удовлетворен?

— Дурачком меня считаешь?

— А если не дурачок, то и не спрашивай. Честно, сам не знаю, откуда у наших заправил деньги. Вроде бы не воруют. А? Взятки берут? Никогда не видел, чтобы наш Степанович у кого-нибудь взятку принял, дорогой какой-нибудь сувенир. Никогда. Сам — дарил, а сам не брал. Поручиться могу.— Белкин чуток даже повеселел от своих разглагольствований, излукавилось его отеكلое личико.— Вот такая вот версия, молодой человек. Ну, скоро прибудем. Путь держим мы в рыбный магазин, к заму директора по кличке Митрич. Кругленький, веселенький. Его еще за глаза Колобком зовут. Тем знаменит на Москве, что развел у себя в кабинете и магазине аквариумы с заморскими рыбками. И ничего ему не надо, кроме этих рыбок. Инструкция такая: войдем в магазин, ты сам по себе, я сам по себе. Ты отыщешь этого Митрича и вручишь ему эту вот записочку. На, держи.— Белкин выхватил из нагрудного кармана клочок бумаги, всунул его в руку Геннадию.— Не оброни. Вот и все.

— А зачем тогда вы мне понадобились? Я этот магазин с рыбками и сам знаю. И круглого этого дядьку знаю, смотрел, как он рыбок кормит.

— А я тебе нужен для того, чтобы он записку у тебя без лишних слов принял. Я ему издали только кивну, он и примет.

— Сами бы и отдали.

— Вопросы, вопросы. Зачем тебе столько всего знать? Ты — курьер, посыльный, тебя попросили — ты отнес. Не задаром, конечно. Ведь не задаром?

— Не задаром.

— Вот и хорошо. И все дела. И не вникай.

— Ответ ждать?

— Сунул записочку и — за порог. У рыбок не застревай. В другой раз как-нибудь. Пришли.— Белкин указал рукой на вход в магазин, до которого было еще порядком идти.— Отсюда пойдем поврозь. Давай иди первым.

— Прямо как в кино,— усмехнулся Геннадий.— Нагляделись вы этих детективчиков.

— Давай, давай,— завертев головой, сказал Белкин, и губы у него опять мелко затряслись.

Геннадий Сторожев давно не был в этом рыбном заведении, но аквариумы ему запомнились. Тут всегда толклись ребяташки. Да и он тут еще пацаненком в первый раз побывал. Стало быть, давно здесь работает этот Митрич, с незапамятных времен.

И сейчас, хоть и обезлюдела Москва летом, в торговом зале у большого аквариума толпился народ. С подсветкой был аквариум, с кислородным питанием, пузырчатая струйка свежей воды бурила песчаное дно. Занятно было глядеть, как плющили носы диковинные существа там, за зеленоватыми стеклами. Из дальних стран, из загадочных вод гости. И пахло в этом магазине не прогорклой рыбной вонью, селедочными пустыми бочками, а морем, казалось, что морем пахнет. Под потолком журчали лопастные вентиляторы, насылая с Самотеки ли, а то и из-за моря-океана свежий ветерок.

Митрича нигде не было, и Геннадий подошел к рыбкам, стал их разглядывать. Краешком глаза увидел он, как вступил пробежкой в магазин Белкин, споткнувшись, конечно же, у порога, как просеменил через зал, встал в углу, мигом отыскав для себя тень.

Вдруг шумок какой-то непонятный прошелестел по магазину. Кто-то шарахнулся, кто-то куда-то побежал. Молоденькая продавщица за прилавком напротив Геннадия всплеснула вдруг руками и как-то странно осела, странно вскрикнув. Карманника какого-нибудь словили? Попер какой-нибудь доходяга рыбину с прилавка?

Вдруг тихо стало. Услышал Сторожев, как журчит кислород в аквариуме, пузырьки лопаются. И в этой тишине слышались шаги. Мерные, как в солдатском строю, и дробные, шаткие. Геннадий глянул на звук шагов. Из подсобки, где в распахнутую дверь еще виднелись аквариумы, двое вывели третьего. Двое были подтянуты по-военному, хотя и в штатском, у них были строгие, отрешенные, неумолимые лица. Третий — он был круглый, весь белый. И халат на нем

был бел, и шапочка поварская была ослепительно бела, и лицо его было белым, в синеву белым. Круглое лицо с широким, замершим в оскале ртом. Узнал этого человека Геннадий. Это и был Митрич. Он шел, странно выдвинув вперед руки, качало его, слабо держали ноги. Но не это было странно, что качался человек, что руки вперед выдвинул, как боксер в низкой стойке. Станным было, незнакомым, приковывало взгляд что-то такое, что поблескивало на запястьях Митрича, что сцепляло, держало его руки рядом. Геннадий понял, догадался: это были наручники.

Двое в штатском вели Митрича наискосок через зал, держа путь еще к одной двери в подсобные помещения магазина.

Митрич поравнялся с Белкиным. Качаясь шел, качнулся и в его сторону. Он, когда шел, все время что-то порывался сказать замерзшими губами, надувались его щеки, но слова прорваться не могли. А тут прорвались, когда качнулся к Белкину:

— Шорохов жив... его работа... предупреди...

Штатские спутники Митрича насторожились, прислушались, глянули по сторонам, заторопили шаг. А Белкин отвалился к стене, вжался в стену, невидимым стал, серый на сером.

Затворилась дверь, но снова отворилась и уже не закрывалась больше — в нее кинулись отовсюду продавцы, кассиры, все, кто тут работал. Это ведь для них так провели по магазину, а теперь вели по подсобным помещениям их сослуживца, так вот, в наручниках. От этого мига, от этого прохода начиналось для него наказание, начиналась расплата. Это было новостью, чтобы повели у нас человека в наручниках прилюдно. Новостью, которую народ принял и одобрил.

— Крал, крал, круглый, да угодил в наручники,— сказал кто-то из мужчин, разом сломав тишину. Зашумели все, заговорили. Вот и начался для Митрича, для Колобка этот суд, и сразу народный суд. Попался Колобок, в наручниках увели.

## 6

Геннадий вышел из магазина и стал дожидаться Белкина, который так и стоял, вжавшись в стену, с обомлевшим лицом. Вернуться, что ли, отодрать его от стены?

А перед магазином все больше становилось народу. Тут фургончик стоял, в каких привозят в магазины небольшие

партии товара, ящичек-другой с дефицитными баночками или ранними фруктами. Разгрузят такие ящички — быстро, быстро, в миг один! — и сгинут они, никто из покупателей больше их не увидит, для кого-то для другого предназначено их содержимое, для каких-то, видать, небожителей. Совсем такой как раз стоял фургончик, того гляди выскользнут из него заветные ящички и сгинут. С икрой, с балыком, с осетриной в томате. Раз только в жизни и ел эту осетрину в томате Геннадий. Замечательно вкусная штука. Отремонтировал как-то в только что построенном в их переулке высоченном панельном доме новоселке одной цветной телевизор, а деньги взять отказался. Новоселка была молодой, пригожей, нарядной, — он постеснялся брать у нее трешку. Да и работы было всего ничего. Был бы у этой новоселки мужчина в доме, а не такой вот пузан в шлепанцах, сам бы все сделал в одну минуту. Отказался, пошел к выходу. И вот тогда пузан в шлепанцах и сунул ему в карман консервную банку. Ну, вскрыл дома, выставил на стол, стали они с тетушкой есть эту осетрину в томате. Вкусная штука. Глянул, а у тетки на глазах слезы. «Ты — что?» — «Вспомнилось...» — говорит. Это значит, довоенную жизнь она вспомнила, когда жив был ее муж, военный моряк, капитан первого ранга. Портрет его висит в их комнате. Он там у них вместо иконы. Тетка уверяет, что Геннадий похож на него, хотя не капитан ему кровный дядя, а она ему кровная родня, сестра родная его матери. Но вот — похож. Это чтобы он равнялся на него. Куда там!

Да, совсем такой же фургончик, в каких возят заветную жратву, стоял перед входом в магазин, но только с одной странностью: зарешечено у него было оконце над задней дверью. И это вот зарешеченное оконце и собрало вокруг фургона толпу. Ждали.

Вывалился, кривоногим став, из дверей Белкин. Не удар ли хватил? Лицо замерло, руки повисли, ноги загибают. Геннадий подскочил к нему, крепко взял за локоть.

— Видал? — поглядел на него поширенными глазами Белкин. — Наручники видал? Это что же, всех теперь так?

— По заслугам.

— Ты молчи, молчи, парень! От сумы и от...

Раздалась толпа у дверей, вывели строгие штатские молодые люди человека в белом и с белым лицом. Подвели к фургону, распахнули перед ним створки двери. Со стороны поглядеть, почет оказывают. Даже посадил один, поддер-

жал. Из глубины фургона человек в белом оглянулся, кого-то выискивая в толпе белыми глазами.

Белкин нырнул за Геннадия. Створки двери сомкнулись. Струнулся, покатил фургончик.

— Вылезай, уехали,— сказал Геннадий.— Другом тебе был?

— Какой друг?! Какой еще друг?! Я бы его собственными руками задушил!— Белкин выскочил из-за спины Сторожева, кинулся прочь от магазина, вспомнив свою пробежку, но с таким ускорением побежал, что Геннадий едва его настиг.

— Куда теперь?

— Беги к Кочергину... Скажи ему, что случилось... Про наручники, про наручники не забудь...

— Да не гони ты так, не рви стометровку.

— Скажи, что Митрич успел шепнуть мне... Вот эти слова... Не спутай... Он шепнул: «Шорохов жив... его работа... предупреди...»

— Сам и скажешь. Да не гони ты! Никак не приноворюсь.

— Нет, мне в этот дом теперь нельзя! Нет, я теперь побегу, побегу, побегу...

Белкин свернул в переулок, не в тот, каким шли к магазину, а в другой, в противоположный.

— Да куда ты?

— Еще проследят, поплутаем... Не заметил, они меня не заметили?.. Когда Митрич ко мне качнулся, они не обратили, не усекли меня?.. Не заметил?..

— Слушай, не паникуй. Если виноват, все равно достанут. Не паникуй, противно с тобой рядом бежать.

— А ты и отваливай от меня, отваливай. Незачем нам вместе.

— А записка? Куда ее теперь?

— Отдашь Кочергину. Он писал, не я писал. Порвет. Опоздала записочка. Я — предупреждал! С бабой, вишь, время глушит! Зажмурился!

В том переулке, в который они заскочили, на углу, где сбегались еще два переулочка, стоял фруктовый павильон, новенький, сверкающий пластмассой и стеклом. В нем шла торговля. Трещали раскрываемые ящики — подсобляли бойкие мужички,— а в ящиках чернел, желтел, розовел виноград. И будто небо заголубело над павильоном, будто море проглянуло синее за его ядовито-зелеными стенами. А воздух в переулке стал терпким, мускатным. Торговала женщина, под стать этому на миг югу, на миг морю. Броско-

красивая, яркая, даже избыточно яркая. Пышные волосы в красных заколках. На сильной шее всякие-разные золотые цепочки, на пальцах с красными ногтями приметные и издали перстни, запястья, как наручниками, скованы браслетами. А вот платье было на ней черное, траурно черное. И косынка, в азарте торга сползшая на плечи, была черной, траурной.

— Видали, он ее намахал, а она по нему траур нацепила!— Белкин даже повеселел на миг.— Видали!— Он кинулся к павильону, растолкал очередь, крикнул продавщице:— Да сними ты траур, глупая женщина! Жив он! Выходила его та баба белесая!— Сказал и припустил в сторону.

А продавщица, уронив полные руки, замерла, прикусив яркое, с поплывшей помадой губы. И в очереди все стихли.

— Жив...— Но она не знала, эта женщина, радоваться ли ей, нет ли, она растерялась, чему отдать сейчас душу. Вот только косынку догадалась сдернуть. И принялась за работу, потускнев, постарев лицом.

— Кто жив-то? Про кого ты ей?— настиг Белкина Геннадий, следуя за ним скачками, как прыгун какой-то. Тот — семеня, этот — скакал, со стороны — смех, да и только.

— Шорохов жив! Павел Шорохов! Я же тебе велел передать.

— А кто он — этот Шорохов? Чего вы так его испугались?

— А это тебе пусть наш Рем объяснит. А я побежал, побежал, побежал...— Белкин прикрикнул на Сторожева:— Да не гонись за мной! Отстань, кому говорят!

Геннадий остановился, проводя глазами семенящую, трясущую, сгорбившуюся фигуру.

## 7

Уже вечер начался. Но в июле вечер долго кажется днем. Закатное солнце печет не хуже утреннего, и в их Последнем переулке все так же было знойно, душно, безлюдно.

Куда идти? Домой? Есть захотелось. А — записка? Ее надо было вернуть. А эти слова, которые велел передать Кочергину Белкин? Пока раздумывал, ноги сами повели к дверям кочергинского хитрого домика, а рука сама нажала на кнопку звонка. В доме этом, в квартире этой богатой, может, все так же посиживая у стойки, была сейчас Анна Лунина.



И ноги Геннадия об этом помнили, потому и привели его к двери, помнила и рука, потому и нажала на звонок. Сидит у стойки, пьет свое виски со льдом. Или еще чем-нибудь там занимается? Телевизор смотрит? Видеомагнитофон включила? Журнальчики, детективчики листает? Там много чем можно было заняться. Долго не открывали, и Геннадий, вдруг заспешив, чуть ли не запаниковав, давил и давил на звонок.

Но вот дверь отворилась, вернее, чуть приоткрылась.

— А, это ты!— сказала Аня и впустила его.— Иди вперед.

На лестнице было темновато, полосато, только лучи закатные пробрались сюда. Но и этих полос хватило, чтобы увидеть, что Аня почти нагишом его встретила. Ну, в халатике, конечно. Но халатик этот не доходил и до колен. Без белья она была, а лучи просквозили ее. Поясок, торопливо увязанный, сейчас разжался — и всё полз, полз, разжимаясь.

А ей все равно было, будто не мужчину впустила, не мужчина на нее смотрит. Вот только сказала: «Иди вперед». Это чтобы на крутой лестнице он уж совсем ее всю не разглядел. А замешкался бы, пошла бы вперед сама. Ей все равно было, он никем, ничем для нее был. Посыльный, пустое место. О, как умеют женщины оскорбить человека, мужчину, если другой в этот миг владеет ее помыслами! Мстя тому, может быть, кто ей дорог, за что-то обязательно все же мстя, хоть и счастлива с ним, а потому мстя другому. Поквитаться всегда есть за что. У счастья всегда есть горчинка в привкусе. Женщина и мужчина всегда в сражении.

Поднялись, вошли в хмурые сени, ступили на зашарканные половицы, знавшие все про женщин, тех еще, что мстили тут мужчинам в прошлом веке, а мужчины попирали их, попирали,— эти половицы дожили и еще до одного сосвидетельствования.

На пороге кухни их ждал Кочергин. Он был в короткой римской тунике с багровой полосой по подбою и рукавам. Это был халат, но он был задуман как туника. И воистину римлянин стоял в дверях кухни. Сильная шея, сильные голые ноги на пляжных платформах, сильная, хоть и седым поросла волосом, грудь.

— Мой повелитель!— произнесла Аня (она играла сейчас, подыгрывала этой тунике, они тут, оказывается, игры играли).— О мой цезарь! Я привела тебе гонца, принесшего ответ!

И голос у нее никакой не правдивый, не такая уж она и молоденькая — вон сколько морщинок у глаз. И ноги вот

полноваты в бедрах. Геннадий не мог отвести глаз от этих ног, ну, не мог, мучаясь, кляня себя, вздергивая голову. Обозлившись, он выкрикнул:

— Шорохов жив! Его работа! Предупреди!

— Что, что?!— вздернулся Рем Степанович.— Входи!—Он схватил Геннадия за руку, схватил и Аню за руку, выгадывая секунды, с силой захлопнул дверь, втопив их в кухню.— Кто сказал?! Что ты молотишь?!

— Митрич этот ваш сказал, когда его повели в наручниках,— сказал Геннадий, все вскидывая голову, чтобы не смотреть на круглые голые колени.— Его слова. Белкин велел...

— Стоп! Пошли ко мне! Аня, мы на минуточку, прости.— Рем Степанович даже улыбнулся ей, стремительно уводя Геннадия. За руку повел, будто тот мог сбежать. Да, он улыбнулся ей, ее римлянин, цезарь, ее Рем, но тревога, нечто большее, чем тревога, но страх этот, да, страх, выжелтивший карие крапинки в его синих глазах,— он передался ей. Женщины восприимчивы на все самое главное в жизни. А что может быть главнее страха? Страшнее?

— Что еще там за наручники?— спросил Рем Степанович, когда они, чуть ли не бегом миновав гостиную, очутились в кабинете.

Кинулись тут Геннадию в глаза белые ломкие простыни, которыми застлан был широкий диван. Эти простыни шибко повоевали между собой, поизломали друг друга. Кинулись в глаза все те невесомости, в которые облакает себя женщина летом, чтобы поверху потом накинуть легчайшее платье. Кинулось в глаза это платье, такое строгое еще недавно, такое простое и неприступное в своей простоте. Оно сейчас валялось на паркете, как половая тряпка.

Рем Степанович проследил, как мечутся глаза парня, усмехнулся хмуру.

— Вот и начал ты мне завидовать.— Он подхватил платье с пола, бельишко это, сгреб, смял, кинул на диван.— Ну, женщина. У тебя, что ли, нет никого? Попроще, чем эта? Так оно и лучше, что попроще. Поверь, в главном они все одинаковые. А попроще, значит, притворства меньше, да и возни меньше.— Он устало сел на диван, заученным движением стал растирать ладонью лоб, щеки.— Наручники...— Он вытянул сильные руки, заросшие до запястий в рыжину и в седину волосами. Сильные руки. Он стал их разглядывать, сдвинул, будто прикинув, а как им будет в наручниках.— Как же так?— Он раздумывал вслух, забыв на миг про Ген-

надия.— Жив, оказывается? Жив... Этот знает все изнутри... Худо!

— И ее поведут в наручниках?— спросил Геннадий, мотнув головой в сторону двери.

Кочергин встрепенулся, вскочил, одергивая тунику, затаился туго-натуго, как бы изготоясь к бою. Меч бы ему короткий за пояс, щит бы в руки — и в бой.

— Ее не поведут, не страшись. Напротив, снимут с запястий кое-какие браслетики и отпустят. Всего лишь дама, заблудшая овца.— Он попытался усмехнуться, разжал губы, но не вышло с усмешкой, зубы вдруг сжались, получилась гримаса.— И за меня не страшись. Не поведут. Меня — нет. За мной, если потянут, столько всего потянется, что... Нет, Гена, за меня не страшись.

— Да я не страшусь.— Геннадий увидел на столике у дивана два фужера, стоявшие впритык друг к другу,— один был допит, другой ополовинен.— Пить хочется,— чувствуя, что в горле пересохло, сказал Геннадий.— Жрать хочется. Замотался я тут с вами. А у меня два вызова не закрыты. Еще уволят меня с вашими делами.

— Попроси кого-нибудь из напарников, сунь четвертной.

— Сунь, сунь! Уже вечер, а завтра суббота. Что я скажу? И не всякому сунешь, как мне.

— Смотря сколько, Гена. Весь вопрос — кому и сколько ему?

— Моя цена по вашим делам — две сотни в сутки?

— Мало? Ну молодчага! Что ж, может, и прибавлю; так сказать, по ходу пьесы.

— Не мало, а шибко много.— Геннадий полез в тесный карман, где угревали ему бедро восемь четвертных.— Взяли бы вы у меня свои бумажки.

— Стой, стой, не шурши. Назад я ничего не беру. Вперед пойдем, Гена. Чего испугался? Ты — посыльный. Какой с тебя спрос? Соседский паренек, длинные ноги. Только и всего! Но ты мне нужен, Гена.— Рем Степанович пошел к двери, отворил, крикнул:— Аня, твои мужики жрать хотят! Мужиков надо регулярно подкармливать, а то они злиться начинают. Или не знаешь?

— Накормлю! Пригребайте на кухню!— отозвался голос Ани. Чему-то она обрадовалась. Что позвал — этому? Не много же ей надо — заблудшей овце.

Они вернулись на кухню. Аня уже стояла у плиты, у чудоплиты, которую она, похоже, еще не освоила. А там был щиток с программным управлением, там всяких кнопок и ры-

чажков было не меньше, чем в летной кабине сверхзвукового лайнера. Аня же, облюбовав обычный электродиск, который предусмотрительно был вмонтирован в плиту, на первое время, для неопытных хозяек, не прошедших курс на физтехе, уже разбивала о край сковороды яйцо за яйцом, делая это весело, с увлечением, азартно. Опять принялась играть?

Кочергин тоже занялся делом. Он хватал с полок бутылки, сливая в миксер то одну жидкость, то другую, прикидывал, отмерял, он увлекся этой работой. Прикидывался? Этот уж наверняка прикидывался. Брови его то и дело хмуро сходились, азартная улыбочка худо держалась, ужимались губы.

А Геннадий все поглядывал, все изучал их, злясь, что остался, злясь, что глаза прилипли к ее ногам и вздрагивали у него зрачки, когда она вскидывала руки и вскидывался халатик. Верно, что когда мужчина жрать хочет, он становится злым. Изозлился Геннадий, жрать хотелось, да и сбежать хотелось.

Но вот уже сковорода на столе, помидоры нарезаны, появилась брынза, появился лук, появились какие-то флаконы с разноцветными соусами, синие бокалы, зеленоватые рюмки, оплетенные бутылки, графин хрустальный с водкой, подскочил к столу со своим фирменным напитком римский патриций, провозгласил, вскинув сильную руку:

— Осушим кубки, идущие на бой!— И первый и выпил, жадно, обливая грудь. Это шло ему — так пить. Красив он был, этот старый. Такого, что тут спорить, она могла полюбить.

Она и смотрела на него влюбленными глазами. Подхватила, так же вскинув руку:

— Хоть миг, да наш!

Геннадий хлебнул изготовленный Ремом напиток, обжегся, встрепенулся, задохнулся, прослезился и, слыша, как пошел по жилам огонь, стал есть, жадно, как и они, переняв, что они едят руками, ломают хлеб, подхватывают на него куски яичницы, ломают сыр, обмакивая его в соуса, сминают лук у рта, едят жадно, смешливо, впиваясь зубами, как, должно быть, жрали римские центурионы, идущие на бой. Он так же стал жрать, выпачкался мигом, но и повеселел. Отлетели все хмурые мысли. Внутри огонь пылал, рот горел от перца и приправ. Попроще, попроще все стало для глаз. И женщина эта полуголая — то одно откроется, то другое,— чужая, другого женщина, она поближе, поближе к нему

стала, придвинулась к нему, хотя прижималась-то она к своему Рему.

— Славно жрет, хороший парень,— сказала Аня своему Рему, зубами кивнув на Геннадия.— Обтесать бы чуток, цены бы не было. В мужике ведь главное стать. А у него есть.

— Еще успеешь разобраться в его стати. Молодые, еще снюхаетесь у моего гроба. А в мужике, знаешь, что самое главное?..

Они принялись хохотать, подталкивая друг друга плечами, целуясь при нем. Он был тут, они заговаривали с ним, о нем говорили, но они одни были за столом, одни. Сгас огонь от выпитого, опротивела вдруг вся эта жратва. Геннадий поднялся.

— Пойду я.

— Иди. Провожу.

Геннадий все же ждал, что Аня остановит его, мол, посиди, куда спешишь. Не остановила. Глянула мимо него, сквозь него — так смотрят женщины, глядя в себя, в начинающееся в себе, в волну эту наплывом вслушиваясь, когда хоть трава не расти, хоть что ты хочешь ей говори, как угодно предостерегай, а ей — все ничто, «хоть миг, да наш!»

Рем Степанович вывел Геннадия в прихожую.

— Завтра утром загляни,— попросил.— Пошлю тебя по одному адресу. Только и делов. Отнесешь записочку. Только и всего.

Геннадий вспомнил, выхватил из кармана смявшийся клочок бумаги.

— Белкин вернуть велел, не успели мы вручить.

Рем Степанович взял бумажку, повертел в кончиках пальцев, будто брезгуя этим незадачливым лоскутом, не пожелал оставить его у себя.

— Эту бумажку и передашь завтра. Но по новому адресу.— Он вернул записку Геннадию.— Тут всего два слова. По сути восклицательный знак всего лишь. Зайдешь завтра? Часов этак в девять?

— Суббота — не работа, зайду...

— И лады!— Он потрепал Геннадия по плечу, нажимая рукой, выказывая ее силу.— Не завидуй — все они одинаковые... Сбегай к какой-нибудь, проверь, опустошись. А то махнемся, ты на мое место, я — на твое! Невозможно? Верно! А было бы возможно, я б тебе не посоветовал. Ступай!

Все еще день жил в их переулочке, все еще зной держался. А уже был вечер. И вытемнилось за домами небо.

Геннадий решил забежать домой, умыться, под душ встать, смыть с себя весь этот сегодняшний денечек, который сейчас и привкус обрел. Геннадий пропах яичницей, терпкими соусами, терпким огненным пойлом. А еще того больше — о чем он не догадывался — он пропах чужой судьбой. Этого душ с него не смоет, хоть под кипяток вставай.

Вдалеке, у входа в отделение милиции, стоял все тот же старший лейтенант, доколачивал дежурство.

Двинувшись к своему дому, стоявшему напротив и наискосок от милиции, Сторожев, как римский патриций, вскинул руку, приветствуя старшего лейтенанта. Выкрикнул:

— Привет идущему с дежурства!

— Понял. Угостили. Ну, ну.— Старший лейтенант блажелательно и даже завистливо глядел на Геннадия.— А к тебе женщина в гости пришла. Давно ждет. Поторопись.

— Почему именно ко мне? Дом-то вон какой.

— В окне твоём промелькнула. Сперва в лифте, он у вас прозрачный, потом в окне.

— Наблюдательный.

— Служба.

— Какая из себя?

— Сам рассмотришь. Но спешить тебе надо. Поверь.

Улыбаясь, фехтуя улыбками, они расстались.

Ну что за день?! Что еще за женщина?! Та, с которой был у него этим летом роман (да какой там роман, просто встречались, когда тянуло — она была лет на десять его старше, — ее-то тянуло, а его-то не очень), эта женщина к нему домой заявиться не могла, знала, что он живет в одной комнате с теткой, не могла не знать, что тетушка живо ее погонит. Роман этот — да какой там роман! — скрыть Геннадия от тетки не удалось, но и одобрения от нее получить не удалось. Строга была его тетушка в этих вопросах: «Не так живешь! На что драгоценные годы мотаешь! Твой дядя в твои годы уже подводной лодкой командовал!»

Дома действительно была гостья. Сидела в уголке у круглого столика, на котором обычно навалом лежали перепечатанные теткой материалы, и попивала кофеек. На плече у нее сидел сонный Пьер. Так вот что за женщина! Верно, тут надо было спешить, прав лукавый старшой. Геннадий с

порога расхохотался, радуясь, что смех этот пришел к нему, зная, что тетка любила его веселым, принималась радоваться за него, мол, с добрыми явился вестями. Она все ждала, что он либо в институт поступит, либо объявит, что женился на молодой, красивой, из хорошей семьи, либо хоть выиграет «Жигули» по лотерее. Она все время ждала от него, для него хороших вестей. И вспыхивала у нее надежда, когда он являлся в хорошем настроении. А вдруг!..

Но сейчас Вера Андреевна никак не среагировала на его смех, была мрачнее тучи. Она сидела за машинкой, работала. Она так навестила, что могла и разговоры разговаривать и трещать на машинке, мельком будто бы заглядывая в текст. Когда она сердилась на Геннадия или вообще была не в духе, треск из-под ее пальцев просто сливался в один высокий звук, как слились бы в раздражении произнесенные слова выговора. Машинка часто так ему выговаривала. Поздно явился — трещит машинка, мол, и слушать твоих дурацких объяснений не желаю. Выпил хоть немного, и того хуже треск, взвывается на крик. Сейчас машинка просто криком кричала. А когда кончилась страница и надо было закладывать новые четыре экземпляра, Вера Андреевна так развевалась с копиркой и бумагой, что ветерок прошелся по комнате. И все молчком, молчком.

— Здравствуйте, Клавдия Дмитриевна, здравствуй, Пьер,— сказал Геннадий.— Рад вас приветствовать.

— А мы сегодня уже здоровались,— прихлебнув, ответила старушка, Пьер ворохнулся, подтверждая.— День такой длинный выдался, что и забыл?— Древняя женщина оглядела с ног до головы Геннадия, недовольно затрясла головой, придя к тем же выводам, что и старший лейтенант милиции:— Угощал тебя? Значит, что-то ему от тебя нужно. Эти купцы, Кочергины эти, зря не улещивают. Всегда у них интерес какой-нибудь за пазухой есть.

Тетушкина машинка взвилась в яростном треске.

— Тетя Вера, куда ты так строку гонишь? Всех денег не заработаешь.

— Молчи, милостивый государь!

О, если уж милостивым государем обозвали, то худо его дело.

— Пойду душ приму,— уныло сказал Геннадий, предвидя, что и из дома теперь не выбраться, и трудного разговора не избежать. Под портретом разговора. Вон

он — капитан первого ранга, молодой, крепколицый, строгий. Висит, как икона. А на него тут и молятся, и вот именно что под портретом этим и усаживает Геннадия тетушка, когда приходит неизбежная необходимость высказать ему, что она о нем, непутевом, думает. Господи, какая бедная у них комната, какая убогая мебель! Повел глазами от этого портрета, а только и смотреть здесь можно на этот портрет. Нарядный мундир, три звезды на погонах с просветом, ордена, и не шуточные. Одна тут удача, один тут признак успеха — этот портрет. А все остальное твердит, кричит о бедности. Из года в год, из года в год. Но гордой бедности. Все тут чисто, прибрано, всякая вещь обласкана заботой и потому и служит этим людям, давно заступив в возраст ветхости, в пенсионный свой возраст — есть и для вещей пора пенсии, пора покоя. Свалки, что ли? А это как поглядеть. Да, старье кругом, из прошлого века диван, стол, стулья, шкаф этот, набитый старыми книгами. Поднови все это, может, и какой-нибудь любитель старины купил бы, гордясь, у себя бы выставил. Но здесь были не подновленные вещи, а ухоженные, оберегаемые, а потому они не казались старинными, они казались здесь просто старыми, но, увы, необходимыми.

Хотя вот в углу, где его койка и его столик, Геннадий обнаружил и совсем новую вещь, этот магнитофон касетный, сработанный где-то в Гонконге. Каким же убогим сейчас показался ему этот ящичек, которым он так гордился. Все, все померкло! А эти цветные открытки с любимыми киногероями и киногероинями, которые он собирал и наклеивал на картонный лист, — на них, в эти лица счастливые да красивые, просто тошно было глядеть. Там была и Анна Лунина, в центре была. Вышвырнуть к чертям собачьим этот картон! Завтра же! Нет, немедленно! Геннадий шагнул в свой угол, сорвал со стены картон с кинозвездами, решительно протянул Клавдии Дмитриевне.

— Дарю! Повесьте у себя в комнате. Ведь вы когда-то тоже были актрисой. Или чем-то в этом роде.

— Мальчик, тебя обидели там? — внимательно поглядела на Геннадия старуха. А машинка за спиной смолкла.

— Прошу, возьмите. — Он приставил к спинке стула картон и стремительно вышел из комнаты. И понял: да, его там обидели. Нет, не понял, а ощутил эту обиду. Горько, сиром стало на душе. Как в детстве, когда обижался в детстве. Но тогда можно было пореветь хоть, забившись в угол,



можно было наказать родную тетку, отказавшись от обеда,— пусть, пусть страдает. Сейчас ничего этого сделать нельзя было, ни с кем не споловинить жжения этого в груди, обиды этой.

В их квартире, в старой квартире, в старом, дореволюционной постройки доходном доме, жило несколько семейств, все больше старики остались. Ванная комната у них была загромождена старыми вещами, стариками-вещами. Но все же душ работал. Старинный, обширный, как зонт. Он бы мог поменять тут все, но не хотел, «зонт» служил отлично, медные краны были надежными, хоть им было близко к ста. А ванная сама была размерами в нынешний небольшой бассейн.

Он встал под душ, содрав прилипшую, пропотевшую одежду. Хрустнули, напомнили о себе четвертные. Куда-нибудь бы деть их поскорее. Купить какую-нибудь ненужную вещь, притащить в дом. Пусть сверкает среди старья. А зачем? Да и тетка вышвырнет, укорив: «Твой дядя ни одного рубля не заработал бесчестно».

Он встал под душ, пустив яростно горячую воду, хотя хотел пустить холодную, в спешке спутал краны. Но сперва даже не заметил, что шпарит на него кипяток. Заметив же, зло сам себя этим кипятком высек. Задохнувшись, терпел и терпел. А когда понял, что сейчас сварится, рванул тело в сторону. Кровь гудела, звенела в нем, он сильно обжегся. Так в парилке случается, если неразумно шагнешь через две-три ступени, сразу ступив под потолок. Но зато обида унялась, забылась, он ее выгнал кипятком.

Мокрый, в одних трусах, Геннадий ворвался в комнату — он забыл взять полотенце, — красный, ошпаренный, готовый к бою, ожидая, что сейчас-то уж тетушка заговорит.

Но Вера Андреевна, пойми ее, вдруг встретила его самой приветливой улыбкой. Даже не заметила, не указала, а должна бы была, что в одних трусах по дому не бегают, не мальчик ведь уже, не ребенок. Нет, обрадовалась ему, заулыбалась, выставляя из буфета чашку для него и банку с вареньем — этот наивысший признак расположения.

— А после душа — чаек. Что может быть лучше, полезней?

Маленькая, усохшая, сгорбленная от своей нелегкой работы — день за днем, год за годом, десятилетие за десятилетием. Он обнял ее за плечи, прижал к себе — мокрый, несчастный, растроганный.

— Ну, ну, ну, ну, ну, ну, — сказала она строго, лишь на

миг какой-то прижав седенькую, с поределым пучком головку к его выкрасневшейся, мокрой груди.— Ну, ну, ну, ну, ну...— И пошла от него, видимо считая, что сказала все, что надобно было сказать,— предостерегла, ободрила, напомнила, что она — с ним, и что она вдова капитана первого ранга, и что у них трудовая семья, честная, что и его отец, Сторожев Николай, был честен, добр, благороден, что они из дворян, если копнуть, из обедневших дворянских московских родов, из тех самых, что слали своих сыновей на трудное, на высокое, на бой с врагом — и от века, от века. И нам не пристало...

— Я пошла, Вера Андреевна,— прошебетала старушка-гостья.— Пьер, мы уходим. Спасибо душевное за кофеек. Мон Дье, я никогда не сую нос в чужие дела. У нас, в нашем тут переулке, чего только не случалось. Но все же мальчик еще молод, а Кочергин этот в матерой поре. Я знаю им цену — этим в седину, когда бес в ребро. Я считала, Вера Андреевна, своим долгом...

— Спасибо вам, Клавушка, что навестили. Заходите. Будь благополучен, Пьер!

Древняя старушка с покачивающимся на ее плече древним попугаем важно засемила к двери, гордая своей миссией и что вот кофейком угостили, что все чин по чину, как и должно в кругу порядочных людей, среди соседей.

— Фотографии прихватите,— сказал Геннадий и понес за ней картон.

— Ну что ж, я, пожалуй, приму твой подарок, они милы, эти нынешние баловни удачи. Но только, Геннадий, ведь ты пожалеешь потом, тут такие есть милашки.

— Не пожалею.

— Тогда прошу тебя, занеси этот свой дар как-нибудь ко мне домой. Мне тащить-то трудно, с Пьером-то на плече.

— Хорошо, я занесу.

— Как-нибудь...— И она удалилась, гордая собой, довольная задавшимися для нее днем.

А тетка снова уже сидела за машинкой, закладывая в каретку новые страницы. Вот-вот затрещит машинка.

— Я, пожалуй, пойду погуляю,— сказал Геннадий, не веря, что легко сумеет вырваться из дома.

— Конечно, конечно. А обед?

— Я сыт.

— Да, да, ну, конечно. А теперь к своей даме?

— Пожалуй.

— Что ж, ну что ж, не маленький.— Смирение свое

Вера Андреевна простучала по клавишам. Медленно начала страницу, она как бы спрашивала машинку, как ей быть. Машинка рассудительно ответила ей: тук-тук — не маленький, тук-тук — пусть уж идет к этой женщине, которая его любит, привязана к нему, иногда такие союзы бывают благотворны.

## 9

Зина жила через два дома от него — все у него рядом. Ее дом, зелененький, веселенький, ставший таким в пору, когда все прихорашивали в Москве к Олимпиаде, был похож (ну, с громадным, конечно, уменьшением и в размерах и в качестве всех деталей), но все же был похож аж на Зимний дворец. Все это примечали. Мини-размини Зимнего дворца. И вот в такой же цвет зеленый покрашен домик, лепнин на нем всяких множество, завитушки, корзиночки эти из гипса, вроде крылышек ангелочков, некое подобие колонн. Дворец, да и только, но... для бедноты здешней, но для голытьбы грачевской. Это как выходное платье горничной, совсем-совсем почти такое же, как и у ее барыни, богачки и первой модницы на Москве.

Дом этот зелененький возник тут в таких же, что в Головином, что и по соседству, в присретенских переулках и на Трубной улице, по воле скудной фантазии их владельцев, а может быть, и подлой фантазии. Публичные это всё были домики. А их веселенькие фасады были зазывалами. Какие беды могли случиться с человеком, вошедшим в такой вот приветливый домик? Окошки светленькие, занавесочки легонькие, завитушки наивненькие. Да то давно было, давным-давно.

И теперь в этих домах, какие еще уцелели, все внутри было перестроено, иначе выгорожено, залы для танцев стали квартирами, укромные комнатки соединились, поширились, став просто жильем для людей скромных, трудовых, наехавших в Москву со всех концов страны в двадцатые и тридцатые годы, слыхом не слыхавших о дурной славе этих мест, только уж потом про все разузнавших. А разузнав, ревниво — их же теперь это были места — отделили все плохое от хорошего. Было тут и хорошее. Присретенские переулки из глубокой старины славны были своими ремесленниками. Они и название получили от ремесла своих жителей. Печатников переулок — тут жили печатники, изготовители красочных картинок, лубков, которые выносили продавать к Сухаревке и вывешивали для показа на стенах церквей

Святой Троицы. Так давно это повелось и так укоренилось, что церковь эту, а она семнадцатого века, стали называть Святой Троицы в листах. Именно в листах печатников из Печатникова. А в Пушкинском жили стрельцы, а в Колокольниковом — те, кто в Москве отливали колокола. И их Последний переулочек сперва назывался Мясным, в нем мясники жили, находились мясные лавки, кормившие всю древнюю середину Москвы до самого Кремля. Это уж потом, совсем недавно, если говорить об истории этих древних московских мест, стали они служить сухаревской толкучке, рынку, торгу. Вот тогда-то все и закрутилось и замутилось. Да, а вот в Пушкинском переулочке, он теперь называется улицей Хмелева, был в двадцатых годах в подвале громадного доходного дома, тоже не без мутных денечков в прошлом, театр. В нем начинал артист Ростислав Плятт, играл потом и Хмелев. А сейчас это филиал Театра имени Маяковского. А на улице Трубной — вот вам, пожалуйста, — на той самой-расамой, в 1879 году жил с семьей, переехав из Таганрога, студент Антон Чехов. Сперва в одном доме они жили, потом в другом. Это всё факты, и это все к чести их старинных переулочков.

Геннадий про все это знал претотлично, перечитал уйму книг. Он любил свои переулочки, он родился ведь тут. Для кого где родная земля, а для него — эта. И пусть не надуваются иные, что у них места покраще, почище, с историей от века распрекрасной. Нет, а если копнуть, то всякое бывало и там и тут, и окрест и поодаль.

Он обычно звонил Зинаиде, прежде чем идти к ней. Но она всегда радостно откликнулась: «Приходи! Жду!» И Геннадий решил сегодня без звонка явиться. Он сперва не хотел идти к ней. Прошел по своему переулочку, думая встретить кого из приятелей, вошел в Головин, все поглядывая вокруг да вот размышляя про эти дома, и про этот тоже, хмурый и с утайкой, спрятавшийся за могучим тополем и за цокольной стеной большого дома. Что там у них? Все игры играют? Бродил-ходил — и вдруг свернул к подъезду выкрашенного в веселенький зеленый цвет мини-размини Зимнего дворца. Мутно было на душе, не надо было идти с такой душой к женщине, которая обрадуется ему, просветлеет, начнет вокруг него хлопотать, кормить-поить, влюбленные не отводя глаза. А, все они одинаковые!

По длинному коридору, в который выходили двери комнат-квартир и которому тесно было от старых, отживших вещей,

Геннадий шел совсем уж медленно, всякий миг готовый повернуть назад. Вспомнилась, стала в глазах прихожая в хитром домике Кочергина. Такие же половицы зашарканные, такие же старые, покрякивающие шкафы, дубовые, хмурые, все про все познавшие, про людскую эту муть, а то и жуть. Здесь и запах стоял тот же. Но там, за дверью с врезанными заморскими замками, распахивался рай, чудеса открывались, а здесь, за любой тут дверью, да и за той, в конце коридора, куда путь держит, откроется его глазам новенькая, чистенькая бедность, бедность, бедность. Все, разумеется, как у людей. Холодильник, телевизор, палас на полу, коврик на стене, но бедность, бедность, бедность. Вчера еще не догадывался про это, сегодня — догадался.

Ладно, раз уж зашел в дом, надо и в дверь позвонить. Тем более что иные из дверей уже приотворились, кто-то глянул на него из-за дверей, усекло, так сказать, общественное око, что явился не растворился Зинкин-то мальчишечка. Слышал он, как какая-то дамочка шепнула из-за щели, игривый ее голос достиг слуха: «Молодой, красивый... Везет на мужчин некоторым...»

Он знал, так тут все считали, что его Зинаиде повезло с ним. Моложе, много моложе ее. Раз. И верно, рослый, говорят, что и красивый. Два. За себя постоять может — это известно. Профессия такая, что без денег не бывает. Вот и три вам и четыре. Думая все это, подбадривая себя этой чепухой, что молодой да красивый, но думая о другом — рядом шли мысли, теснясь, толкаясь плечами, — думая, как они там сейчас, какие у них там сейчас игры играют, — все про это, про это не шли из головы мысли, — Геннадий прибрел наконец к двери в конце коридора. Она была аккуратно обита клеенкой, буро-коричневой, точно такой же, как и на других дверях. Ручка замка была такой же, замок такой же, все, как у других, не хуже, чем у людей. Да только вот люди были все же разные. За этой дверью жила Зинаида. Один человек. Та женщина, что горячо шепнула в спину, — другой человек. Но женщины и женщины, как и Анна Лунина. Все они одинаковые! Хмуро было, мутно было на душе. Он звонить не стал, постучал условленно — два коротких, три быстрых, Зина просила стучать, а не звонить. Объяснила честно, что ведь навешиваются к ней из былого мужички, поддаст какой да и свернет к ней. А она верна ему, как у них началось, она только с ним, с одним только с ним. «Верить мне?» Он верил. Не потому, что ей доверял, а самоуверен был. В молодости завыв-

шаем мы себе цену. В молодости не знаем мы, сколь причудлива бывает жизнь, сколько всего в ней понапутано. Жизненный опыт потому и опыт, что тычет нас лбом то в одно, то в другое. Жизненный опыт... Вот сегодня и ткнули Геннадия лбом да и носом об стену в том хитром домике. Какой правдивый у нее был голос, он сперва в голос ее влюбился, в правду его, честность. А она, с этим своим голосом, с распахнутыми этими глазами вон какие умела игры играть, не стыдясь даже, что со стороны смотрят. Актриса, ей зрители и нужны. Он там и сидел у них в первом ряду партера. Жгло кожу на плечах от кипятка, жгло душу.

Сперва никто не откликнулся на его стук, замерло там, в квартирке. Но Зинаида была дома. Еще до стука в дверь уловил Геннадий какой-то там шорох, жизнь уловил, нет, не пустой была комната.

И сейчас послышался шорох, босые ступни прошелестели, встали по ту сторону двери.

— Геннадий, это ты?— не отворяя, спросила Зинаида.

— Я.

— Так что ж ты не позвонил сперва?

— А какая разница? Ну, двушки не было.

— Двушки...— Она укоряла, упрекала его из-за двери. Женщина всегда права и всегда сумеет укорить.— Эх ты... Не одна я, Геннадий... Целый месяц тебя не было... Где пропадал?.. Хоть бы позвонил по телефону...— Она начинала выговаривать ему. Вон как, это он виноват, что она не может ему отворить.

— Да что там у тебя?— Он все еще не мог до конца все понять.

Из-за двери, из глубины далекой, послышался мужской голос: «Зинок, ты чего там?..»

— Понял, ну, ну,— сказал Геннадий, даже голосом подражая старшему лейтенанту милиции.— Так я пойду, Зина.

Там, за дверью, какие-то звуки странные послышались. Не плакала ли эта женщина?

## 10

Вот теперь действительно пришел в их переулочек вечер. Темно было, хорошо, что темно. Никто тебя не станет разглядывать — веселый ты, нет ли. Темно! Только и свету, что фонарь яркий у милиции да фонарь далекий у выхода на Сретенку. А окна в домах темны или в синеву отдают, там, значит, смотрят сейчас телевизор. Ну просто синяя пустыня,

а не переулочек. Все у телевизоров или возле своих баб. А бабы эти — все они одинаковые! Все! Ей-богу, отчего-то полегче стало у Геннадия на душе. Это оттого, что повзрослел он за нынешний день лет этак на десять. Мы смолоду ведь впечатлительные. А потом черстветь начинаем благодаря его величеству Жизненному Опыту. Преподал ему нынче этот Опыт урок. Один, другой, набил на лбу шишки. Что ж, ну что ж, а друзья у него есть, парни эти родные у него есть, куда ни глянь, в какой дом ни взойди, они есть, есть. К ним сейчас надо идти, они не сфинтят, они надежны, проверены, с ними проверенно.

Куда податься? К кому?

На Сретенке, сразу за углом, барчик крохотный недавно возник. Вот туда, в этот барчик. Если ребята при деньгах, они там. Если их там нет, вмиг соберет, кого с улицы выкрикнув, кому позвонив. Есть, есть у него двушки, целая пригоршня. Ах вы двушки проклятые! Нет чтобы прозвенеть вам в кармане, когда шел к бабе! Вот эти вот четвертные — они все время хрустят, напоминают о себе. Сейчас он их разомнет у стойки! Допросились!

Кое-кто из друзей оказался в баре — вон сидят, пригнувшись к столику, о чем-то секретничая, голова к голове. А какие сейчас у них секреты, известны все их секреты в данный момент. Где бы раздобыть бутылочку в вечернее время да как бы ее тут тайком от барменши разлить по стаканам — вот и все тайны, вся печаль в три головы. В баре, как известно, водку не продавали. А коньяк, как известно, штука дорогая.

Не глядявываясь, кто да кто за столом, а в баре, как положено, полумрак стоял, огоньки светильников лишь тени бросали, а не свет, Геннадий подошел к молодой, но очень уж толстой женщине за стойкой, шепнул ей, таясь от приятелей, лицо отворачивая от их столика:

— Сестричка, две бутылки коньяку, какой подороже, и вон те бутербродики, черным у тебя вымазанные.

— Рехнулся, братик? — тоже шепотом спросила барменша. — Подороже — это четвертной за флакон. «Кишинев», десять лет от роду. И с икоркой они ведь не дешевые.

Геннадий молча выложил на стойку свои четвертные, стиснул, хрустнул ими, развел, чтобы убедилась, сосчитала, сколько их у него.

— О! — Барменша уважительно глянула на Геннадия, но тотчас и пожалела парня. — Ты — чего, откуда? Не натворил ли бед?

— У меня тетка есть родная, Вера Андреевна, вот она меня и спросит-расспросит. Сестричка, и еще яичницу сооруди. Из целого десятка.

— Не делаем, знаешь.

— Плачу. Второе. Впятеро.

— Да что, какая с тобой беда стряслась?

— Все у меня в порядке, не страшись, не на краденые гуляю. Будет яичница?

— Разве что из своих... Припасла для дома десяточек.

— Отлично! И разбей их, расколи о край сковороды. Лук есть зеленый? А брынза? Вдруг да и брынза у тебя есть, припасенная для дома? Учти, плачу в пятикратном размере.

— Свихнулся парень. Лук есть, и сыр найдется. А вот уж брынзы, господин капиталист, не запасла, виновата.

— Хорошо, пускай будет сыр. И быстро, быстро!— Геннадий схватил бутылки, тарелку с бутербродами, крадучись, делая вид, что идет не к их столику, сперва спиной двигаясь в сторону приятелей, вдруг обернулся и со стуком, лихо выставил перед ними на стол свои царские дары.

— А?! Кто да кто тут?! Ты, Славик?! Ты, Димка?! Ты, Николаха?! Вы-то мне и нужны!

Как писали классики в своих ремарках, за столом произошла немая сцена. Парни поднялись, ошалело уставившись на дорогие бутылки, на черные бутерброды. Ну, а потом низенький потолок бара был сотрясен могучим воплем восторга. И, конечно же, кинулись парни обнимать и целовать щедрого своего друга, делая это умело, натренированно, ибо наблюдаясь на эти коллективные мужские поцелуи и объятия, без которых сейчас не обходится ни один матч, хоть в Москве, хоть в Лондоне, хоть в Мытищах. Да и они сами, гоня мячик на пустыре или шайбу на пруду, чуть забив гол, кидались обниматься и целоваться.

— За дело, за дело, братва,— высвобождаясь из объятий, сказал Геннадий.— Напиток этот легко выдыхается.— Он сбегал к стойке за стаканами, торопливо, не присаживаясь, разлил коньяк, вскинул руку:— Приветствую вас, идущие на бой!

«Идущие», тоже не присаживаясь, дружно выпили, из-за кромки стаканов послеживая друг за другом, как идет это пойло, до дна ли принял сотоварищ. До дна, до дна все приняли. Одинаково потом покрутили кудлатыми головушками, одинаково недоверчиво ухмыльнулись, уселись.

— Пивал, знаком мне город Кишинев,— сказал один, продышавшись.— Красивый город, а водка лучше. Ты



что, Гена, халтурку клевою обмываешь? А я вот за тебя сегодня люстру навешивал, взмок весь. То хозяйке выше, то хозяйке ниже. Прямо как в анекдоте. Я даже хотел ей этот анекдот рассказать, но тут вошел муж.

— За то, что за меня поработал, и ставлю, Дима,— сказал Геннадий.

— Щедро, хозяин, щедро. Бросаю жэк, иду к тебе в услужение. Нет, кроме дуриков, что случилось, Гена? Задел кто-нибудь по самолюбию?

Друзья, вот они, сидят, смотрят в глаза, вглядываются, хоть и темно тут, многого не углядишь, и ждут только слова от него одного, чтобы кинуться на его защиту. Кинуться! Они — такие.

— Есть немножко,— пряча глаза, сказал Геннадий. Дожил, к слезам потянуло. Клюшкой по голове получал, по коленкам — не плакал, а тут...— Повторим? Без вопросов, а?

— Никаких вопросов!.. Скажи только, кого... А уж мы...

Друзья — вот они — свели сильные руки со стаканами, смотрят в глаза, все поняв, ничего не зная. И встанут стеной за него, скажи только против кого. А против кого? Сказать, что баба изменила, как шлюшка? Рассказать про Аню эту в халатике? Про хитрый этот домик? Про римлянина этого в тунике из того домика? Ничего не скажешь, ничего не расскажешь. Не на кого кидаться.

— Спасибо, ребята, спасибо,— сказал Геннадий, до каждого дотронувшись рукой.— Отыскал вас, и все хорошо. Поехали?

— Покатили! В пас! Штука!

И тут вдруг распахнулась дверь из подсобки за стойкой, и круглая барменша, горделиво покачивая фирменными бедрами — в джинсах она была, даром что толста-претолста,— гордо вынесла на вознесенном подносе обширную сковороду, на которой еще потрескивала, еще шипела богатырская яичница.

— Натe, лопайте, господа!— Она шмякнула ловко сковороду на стол, ввергая друзей Геннадия в очередной столбняк.— И лучок вам, и сырок вам. Как велено господином интуристом. Господин хороший, вы откуда к нам, из какой такой заморщины?

Геннадий подхватил игру:

— А я из сретенских соединенных штатов, мадам. Головин, Пушкарев, Последний, Большой Сухаревский. Из этих вот штатов. Слыхали?

— Как же, как же. Места знаменитые. Проходные,

сквозные, продувные. А вы, джентльмены, оттедова ж?

— Оттедова ж!

— Сестричка, садись с нами. Джентльмены, встать! — приказал Геннадий.

Джентльмены поднялись.

— Нельзя, господа, у нас в СССР свои порядки. Да вот сейчас вы про них узнаете. — Барменша, начав фразу с улыбкой, закончила ее, увяв совершенно. И быстро, на двух своих шарах, покатила от стола назад к стойке, укрылась за барьером.

А в бар вошли важные, важно оглядывающиеся строготелые дружинники. Их было трое. Двое мужчин и девушка. Строги-то они были строги, но в «весе пера», что ли. Мужчины не шибко рослые и сильные с виду, а спутница их — тоненькая, невысокая. Только и силы, что в символах силы, в этих вот красных повязках на руках.

Девушка подошла к их столику, сказала строго:

— Что это? Да у вас тут целый ресторан! Товарищ заведующая, надо ли напоминать вам, что ничего подобного в вашем баре быть не должно?!

— Да вот ребятишки здешние день рождения друга отмечают, — виновато отозвалась барменша, издали грозя Геннадию кулаком. — Слабохарактерная я, беда со мной.

— Да, беда, несомненно. И шум такой подняли, что мы не могли не вмешаться. День рождения? Это у кого же из вас?

— Зиночка, да пойдём, ребята мирные, — позвал один из дружинников.

— Зиночка? Надо же! У меня день рождения, Зиночка, — сказал Геннадий, поднимаясь. — Зиночка, Зинаида, Зинуля... Как там еще? Зинаидушка... Прошу, присаживайся. Зинушенька, Зинуля моя милая... Пришла! Ах ты радость моя! Зинок ты милый!

— Да вы пьяны, молодой человек! Товарищи, товарищи! — Она оглянулась к своим спутникам. — Он же пьян-невероятно!

— Нет, Зина, Зиночка, Зинуленька, я не пьян. Садись, ну присядь со мной. И парней своих зови. Друзья, присаживайтесь. Мне сегодня стукнуло раз, два и т. д... Верно, родился, вылупился. Прошу! Сестричка, гони еще один «Кишинев» и тарелку дамской размазни. А это мои друзья, самые-самые. Славик. Дима. Коля. Вы нас не обижайте отказом. Мы народ мирный, но обидчивый. А вас мы уважаем, вы наши защитники, как же, очень уважаем. Нас

без вас бы тут били-лупили. А так... Ребята, тащите их, усаживайте.

Что поделаешь? Четверо сильных парней вежливенько так, без насилия, но и твердой рукой подвели мужчин-дружинников к столу, пододвинули им стулья, усадили. Что тут можно поделаться? Не отбиваться же? Да и попробуй отбейся от таких. Уступила и маленькая строгая Зина. Но прежде чем сесть, она вынула из сумочки очки, нацепила на носик, взгляделась внимательно в Геннадия. Мол, должна же я понять, что это за человек. Разглядела, вымолвила свой приговор:

— Нет, вы не пьяны, во всяком случае не очень.— Догадалась, догадливый народ женщины, даже и такие, еще пока береженные жизнью:— У вас неприятности? С какой-то Зиной?

— Не то слово, взяла да и изменила мне,— сказал Геннадий, дивясь, что взял да и признался, сказал правду про стыдное для себя.

— Вам?.. Это вы, наверное, ей. Впрочем, это не мое дело. Но только мы не пьем, товарищи. А уж коньяк и подавно. Не смейте разливать, мы же на дежурстве!

— А контакт с народом, с населением должен же быть у вас?— сказал Дима, востроносенький, быстроглазый, усмешливый парень.— Узнаете, кто есть кто. Коньяк в таких случаях — отличный ускоритель.

— Студент?— спросил один из дружинников, застенчиво принимая протянутый ему стакан.— Зина, собственно говоря...

— Ни в коем случае, Вадим Петрович! Как вы не понимаете?.. Поставьте стакан! И вы тоже, Сашенька! Нет, друзья, мы пить с вами не станем. Разве что чашечку кофе. Поймите нас правильно, мы на дежурстве, патрулируем. Было бы нонсенсом, если бы мы тут с вами напильсь!

— Кофеек патрулю!— крикнул Геннадий.— И тарелку с нонсенсами, я хотел сказать, с пирожными!

— А вы не без юмора,— сказала Зина.— Нет, правда, друзья, вы — студенты? Да что я, вы все старше студенческих лет. Молодые инженеры? Физики? Филологи? Вы — здешние?

— Мы здешние,— сказал Дима.— Я — слесарь-водопроводчик. Он — именинник наш — электрик и вообще на все руки. Николай — сантехник, гроза засоров, как и я. Славик — плотник, столярничает. Мы не из МГУ, мы из ПТУ. В прошлом, конечно. Все четверо не женаты. Профессии у

нас такие, что многое видим. А ведь женятся сослепу. Верно говорю? Вы-то замужем?

— Нет. Профессия такая...

— Извините, а вы от какого учреждения здесь к отпуску три дня прирабатываете?

— Что значит к отпуску? Работа дружинника — это общественное поручение.

— Знаю, согласен, сам иногда дружину. А все-таки что три дня к отпуску за это прибавляют, это существенно.

— А я вот кровь сдаю,— сказал крупный, медлительный Николай.— Еще два дня к отпуску.

— Фу, какой практицизм!— сказала Зина.

— Фу да фу — и пять дней к отпуску,— сказал Славик, вот именно что Славик — славный, светленький паренечек, но с колкими, в упор рассматривающими глазками.

Грянула музыка. Вальс.

— Предупреждение!— крикнула барменша.— Последний вальс, скоро закрываемся!

— Вот как вы ее напугали,— сказал Геннадий поднимаясь.— Прошу вас, Зина, покружимся.

Что было делать? Он уже подхватил ее сильными руками.

— А глаза у вас грустные,— сказала она, подчиняясь этим рукам, уступая, вступая в кружение.

Он промолчал, прижав к себе маленькое, крепкое тело этой девушки с красной повязкой на рукаве, нахально соскользнув рукой к ее бедрам — все они одинаковые! Она была в совсем новых брюках из джинсовой ткани, сужающихся к щиколоткам. Наимоднейшие дамские штаны. Он знал, как они называются. «Бананы» — вот как. Она была в «бананах», но на вырост. Не нашелся у спекулянтки ее номер. Штаны отличные, с молниями где нужно и не нужно, но — на вырост. И когда ладонь соскользнула к бедру, то только и ощутил он топорщащуюся, грубую джинсовую ткань. А крепенький ее задок упрятался, отгородился, она и не почувствовала его руки.

— «Бананы» с рук брали?— спросил он.

— Уберите руку! Это просто какой-то нонсенс, в какую мы попали ситуацию!

— Да вы не бойтесь.

— Это вы не бойтесь. Учтите, я танцую с вами только потому, что мне вас жаль. У вас неприятности, это видно невостуженным глазом.

— А уж в очках-то и подавно. Телефончик дадите?

— Боже, он собирается мне звонить! Познакомился! Поймите, это же нонсенс!

Правдами-неправдами, дружески, только дружески, но все же понуждая, а силы были неравные, парни уговорили — убедили! — пригубить и раз и другой и Вадима Петровича, и Александра Андреевича, да и самую Зинаиду Павловну. Ну, а коньяк, особенно если он такой старый, такой хитрый от своей старости, лукавый, коварно действующий, он свое дело знал, он сам тоже умел себя предложить — чуть зазевался, а стакан уж у губ, и потягиваешь, потягиваешь за разговором, в гаме да в смехе.

Да и велик ли грех? И верно, надо же познакомиться с местным «бомондом», если твой тут район патрулирования. Не только строгостью, но дружескими связями силен бывает дружинник при экстремальных разных случаях. Это просто удача, что так все вышло, что эти парни теперь станут им приятелями. А эти парни, для которых здешний бар, видимо, что-то вроде их личного клуба — сюда никто больше и не зашел с улицы, — а они, собственно говоря, ничего же плохого не делают. Справляют день рождения друга. Кстати, славный парень. И у него грустные-прегрустные глаза.

Когда Геннадий, проводив Зину (а она неподалеку жила, по ту сторону Сретенки, в Даевом переулке, — всё у него рядом), когда он рискнул ее поцеловать в подъезде ее дома, она не стала отбиваться.

Только шепнула, чуть задохнувшись:

— Но ведь это же нонсенс! — И побежала, вырвавшись, вверх по лестнице, смешно бултыхаясь маленькими крепкими бедрами в «бананах» на вырост. А, все они одинаковые! Он побрел, покачиваясь, домой.

## 11

Наутро, ровно в девять часов, Геннадий звонил в дверь дома Кочергина. Позвонил и замер, ожидая, что сейчас откроит дверь Аня. В халатике? Без белишка опять? Он бы, может, и не пришел сюда сейчас, хоть и обещал, но протянул канат, на канате его кто-то приволок сюда. Кто же это? Что за канат? Чуть разлепил глаза утром, а уже понял, что пойдет к Кочергину, что не увернется ему, не сможет. Такой это был канат, так сразу натянулся, потянул.

Но отворила не Аня, сам Кочергин стоял на пороге.

— Пришел?— Он обрадовался Геннадию, улыбнулся щедро.— А я загадал: если придешь, значит, все у меня обойдется, притрется, уляжется. Молодец, что пришел!— Кочергин был в белоснежной рубашке, галстук новый и еще лучше вчерашнего, костюм тоже другой и тоже еще лучше, чем вчерашний, сменил и башмаки, модные на еще моднее.

— Вы как на свадьбу собрались,— сказал Геннадий.— Не с Аней ли в брак вступаете?

— Не завидуй, не завидуй, Гена. Моим советом не воспользовался?

— Сверх меры. Сразу с двумя Зинами дело имел.

— Ну ты даешь! А что, так и следует поступать, если не хочешь увязнуть. Одна любовница — это серьезно, две — это забава.

— У вас серьезно?

— Я вообще в очень серьезной полосе, Геннадий. Вот что, я раздумал. Никаких записок. Поеду сам. Но ты мне нужен. Зачем? Поймешь по ходу пьесы. Еще денек мне да-ришь? Условия те же.

— Суббота — не работа.

— Отлично! Сбегай на Трубную, возьми такси и гони его... ну, хотя бы в Малый Сухаревский, к нашей школе. Минут через десять и я там буду. Давай!— Кочергин притворил дверь, а Геннадий повернулся и побежал. Мог бы и не бежать, но побежал, ведь Кочергин сказал: «сбегай». От Кочергина, который был совершенно спокоен, от слов его совершенно спокойных исходил такой жар, лихорадка такая жила в нем, что и Геннадию она передалась. Канат притянул, жар подхватил, толкнул,— он только подчинился.

Пожилой таксист, прежде чем согласиться ехать, принялся расспрашивать, куда да зачем, да сколько ждаться. Геннадий ни на один из его вопросов ответить не мог. Но уже перенял манеру:

— Не твоя забота, дядя. Четвертной сверх счетчика.

Поехали, свернули в первый же переулок от Трубной площади, и вот она, их школа. Геннадий вышел из машины, подошел к дверям. Сколько раз он их отшвыривал, вбегая, выбегая. А раньше, больше трех десятков лет назад, другой мальчишка тут хлопал этой коричневой, в небрежной покраске дверью. Ремкой он сперва был, потом подрос и стал Ремом. Наверное, умел постоять за себя. И сейчас вон какой крепкий. Спортом занимался. Наверное, и боксом. Тут все ребята умели постоять за себя. Район такой. Вон — Центральный рынок за рядом старых домов. Трубная — слева,

Самотека — справа. Боевые места. А там, дальше, путь к Марьиной роще. Куда как боевые места. А перед глазами его переулочки, взойди попробуй кто чужой из пацанья. Смелых парней обучала эта школа, отчаянных. Узнать бы, каким тут Рем этот был. А зачем? И так ясно, что умел за себя постоять. Волчонком рос. Рем — это же волк, кажется. Рем и Ромул... Нет, спутал, это их, двух братьев, вскормила волчица. Да то давно было, в Древнем Риме. Еще и Рима не было, от Ромула и Рим. Все-таки вспоминалась школьная наука. Взойти, что ли, подняться на второй этаж? А зачем? С какими такими достижениями? Вдруг встретится кто из учителей: «Что подельываешь? Чего добился?» Любят учителя расспрашивать об успехах. Им подавай одних только чемпионов, академиков и министров, из тех, кого они тут воспитывали. Самим не удалось, в учениках себя доказывают.

Рем Степанович неслышно подошел, встал за спиной, спросил угадливо, умный, что говорить:

— Что, с учителями беседуешь? Мол, не всем же быть учеными да генералами? А ты им вот что ответь, Геннадий. Ты им скажи, что ты — честно живешь на свете, честно. И потому ты счастливый-рассчастливый. Так им и скажи. Денег мало? Ну вот у меня их много! Сверх и поверх! Ну и что? И должность у меня ого-го какая. Ну и что? Счастлив я, как думаешь?

— Думаю, что не очень.

— В том-то и дело.

— А Аня?

— Что — Аня? Ладно, поехали! — Рем Степанович сел на заднее сиденье, шибко прихлопнул дверь. — Садись вперед. Куда сперва? — Это он сам себя спросил вслух, но показалось, будто Геннадия спрашивает. Тот обернулся:

— Я не знаю.

— Я, думаешь, знаю? Ладно, сперва близкий путь. Гони, шеф, в старозаветное наше Замоскворечье, на Пятницкую.

— Большая езда предстоит? — спросил водитель. — Молодой человек обещал четвертной сверх счетчика.

— Молодой человек скуповат у нас. Гони, шеф, не обижу.

— Москвич! Порода! — глянул, повеселев, таксист на Геннадия. Он обернулся: — А что, персональная на техосмотре? Или в субботу-воскресенье вам не подадут?

— Подадут, шеф. И днем и ночью. В том-то и дело. Потому-то и на такси потянуло.

— Ясно, приходилось сталкиваться с подобными случаями.

— Уж с чем только не приходилось, наверное, сталкиваться. Сколько за баранкой?

— Тридцатку намотал.

— Не надоело?

— Еще поработаю.

— А мне — надоело.

— Так ведь у вас не работа, а должность.

— Как это не работа?

— Ну — пост.

— Вот так сказанул!— Рем Степанович повеселел даже.— Стало быть, у кого пост, те не работники? Верно понял?

— Не обижайтесь, товарищ уважаемый. Я в том смысле, что если вас лишит, скажем, поста, то у вас и профессии в руках не окажется. А у меня отними баранку, я слесарить пойду. Могу и на трактор перескочить, в сельское хозяйство. Могу и маляром быть, могу плотником. Меня увольнение не унизит, не сшибет. А вас — унизит, сшибет. Оттого вы, начальнички, так и цепляетесь за посты, так оттого и нервничаете.

— Что ж, шеф, ты близок к истине. Но ведь могут и посадить тебя. Сажают же кой-кого из ваших. Что — тогда?

— Если махинации стал творить? В этом случае?

— Хотя бы.

— А что, и в этом случае мне легче будет, чем вам. Падать ниже.

— Ох, московские таксисты, на все у вас есть ответ!

— Это точно. Пока колесишь, о чем только не подумаешь. Тренировочка. Да и разных людей возишь, беседуешь, как сейчас. Вот вы наверняка на Москве знаменитость, угадал?

— Да как сказать.

— Угадал, угадал. Видно сокола по полету, а начальничка по глазам.

— Что за глаза у меня такие?

— Нашенские, голубенькие, а в сталь. Извините, что разболтался, суббота — легкая езда, опустел город, все по дачам, по речкам.

— Ты в нашу школу давно заглядывал?— меняя тему разговора, будто перегородку из стекла ставя между собой и шофером, спросил Рем Степанович Геннадия.

— После армии как-то раз заглянул.

— И все?



— Не зовут. Не прославился. А по жэку — не мой участок.

— А меня зовут. Частенько. То им нужно, се. Видать, мой участок.

— Все наши переулки — ваш участок. Чуть что, к вам на поклон.

— Да, да... Да, да...

Геннадий боком сидел к Кочергину, ведя разговор, а тут повернулся, подался к нему, так изумил его голос Кочергина, каким произнес он свои «да, да»... Будто простонал их. Словно кто руки ему стал выворачивать, склоняя к покорности, а он, хоть и больно ему, терпежа нет, упорствует, не подчиняется, стиснул зубы.

Дальше долго ехали молча. Рем Степанович теперь и от Геннадия отгородился перегородкой из стекла. Хватит, поболтал с людишками, явил им свой демократизм, а они уж и в душу полезли. Будя, прием окончен.

Машина въехала на Манежную площадь. Мелькнули между красными громадами Музея Ленина и Исторического неправдоподобные, сказочные, то ли в небо, то ли из неба, сине-золотые купола Василия Блаженного, потянулась лента Кремля, а за стеной купола, крыши, зеркало стен Дворца съездов.

— Что ни говори, сердце России, — сказал водитель.

— Да, да, да, да, — иным голосом и отодвигая свою перегородку, откликнулся Рем Степанович. — Вот, Гена, манеж этот огромный, а ведь его за шесть месяцев построили. И когда? В начале прошлого века. Ширина у здания сорок пять метров, а его перекрыли деревянными стропильными фермами без единой внутренней опоры. Стало быть, умели строить на Руси. Нечего нам, нынешним, бахвалиться. А какая сила в домике. Как уверенно стоит. Строили для смотра войск в присутствии Александра Первого, а сейчас в нем выставки устраивают. И тогда служил и теперь служит. И коням и людям. Снесут если, дыра в Москве образуется, как образовалась, когда снесли Храм Христа Спасителя. Вон, проезжаем по правую руку. Лужа хлорированная вместо храма.

— А кто же снес-то, начальнички и приказали, — подал голос водитель.

— Разные бывают начальнички.

— Вы бы не снесли, ваша бы когда власть?

— Нет.

— А я так скажу... — Водитель оглянулся, глянул зорко. —

Извиняюсь, конечно, но я так скажу... Вполне бы могли и снести. Тогда — храм, сейчас что другое. Это потом мы все умными делаемся, вот я как думаю.

— С такой-то головой в вожди тебя.

— Потому и голова на месте, что руки на баранке. Вы уж меня извините.

Снова откинулся головой и смолк Рем Степанович, отгородившись из стекла стенкой.

А Москва мелькала, мелькала за стеклами машины. Заветные места проезжали. Древние, высокие, строгие. И столько всего повидавшие. Открывается человек перед этими кремлевскими куполами, вознесшимися в небо, хоть верующий он, хоть неверующий. Открывается, притихает, сам в себя заглядывает. Перед веками, не перед крестами, тишает душа.

Въехали на Пятницкую.

— Где тут? — оглянулся водитель.

— Дальше, дальше, — показал рукой Кочергин, все еще пребывая за своей из стекла перегородкой. Задумался тяжело. Сам у себя о чем-то допытывался? Купола, может, дознание повели?

Но вот неподалеку от Климентовского переулка Кочергин велел остановиться.

— Здесь, — сказал он. — Припаркуйся, шеф, вблизи вон того храма. Называется — церковь Климента. Возведена во второй половине восемнадцатого века. Московское барокко. Пока мы будем мирскими делами заниматься, обойди вокруг, помолись, перекрестись, если не забыл, как это делается. Грехов-то навалом?

— Без грехов только начальство. Вроде вас.

— Колкий ты мужичок, как я погляжу. — Кочергин вышел из машины, вышел и Геннадий. — Пошли, Гена, тут чуток пешочком надо пройти.

Кочергин сразу быстро пошел, сразу же свернув в узкий проход между домами, на исстари проложенную местными жителями тропу вступил. Такая же тропочка, как и у них, между Последним и Головиным. И места, если отступить от Пятницкой, похожи на их переулки. Такая же старинная, изнутри, Москва. Такие же самые и люди, все больше старушки да старички, все больше у стеночек, на скамеечках, в тень забились. И тут зной и безлюдье.

Свернув за угол, еще в один ступив переулок, Рем Степанович остановился. В тень его тоже потянуло, на скамеечку тоже сел.

— Вон, Гена,— протянул он руку.— Видишь тот дом коробкой на углу? В тридцатых годах такие уродливые коробки строили, не пощадили и эту древнюю землю. Так вот, в этой коробке, на втором этаже, в квартире номер пять, живет один толстый дядечка. Высокий, пузатый, басовитый. Позвони вежливенько, а когда откроет — он один должен быть дома, семья на даче,— скажи ему, что я его на углу ожидаю. Батя, скажешь, вас на углу ждет. Мы с ним приятели, он меня Батей зовет, я его, за рост да бас, Шаляпиным. Забавляемся, как дети. Понял? Ступай.

Говорил Рем Степанович все это весело, не спешил, а такая горячка в нем жила, что притронься, можно б было и руку обжечь. От жара этого у него даже глаза потускнели, голубизна в них выжелтилась.

— А если не откроет? Теперь двери чужим не любят открывать. Им говоришь, я от жэка, сами же вызывали, а они все спрашивают да расспрашивают, в глазок глядят-разглядывают. Есть у него в дверях глазок?

— Он откроет. Сто двадцать кило веса и кулак, как пудовая гиря. И не трус. Беги!

Вот только «беги!» и вырвалось у него, выдало его лихорадку.

Что ж, можно и побежать. Геннадий пересек мостовую, миновал палисадничек, взбежал по пологой, с широкими ступенями лестнице, сразу же уткнувшись глазами в дверь квартиры номер пять. На площадку выходило три двери. И все разные, по-разному обрядили их хозяева. Один свою в старом держал, еще в довоенном дерматинычке, другой свою хоть и придел, но давно обнови не шил. А на двери в квартиру номер пять был такой пышный наряд, столько всяких фигурных медных гвоздей было в нее понатыкано, такие из них узоры понаделаны, что прямо сияла эта дверь, будто на бал-маскарад собралась. Да и можно было разглядеть в узорах и завитушках из медных гвоздей какого-то заносчивого великана, вроде бы в широком камзоле, в парике как будто бы. Случайно так вышло, нарочно так гвозди вколотили — трудно было понять. Вглядываться в дверь мешала какая-то помеха на ней, ненужность какая-то, веревочка, повисшая у замка, поверху заклеенная бумажной полоской с оттиснутой жирно печатью.

Знакомы были, приходилось ему видеть такие веревочки с бумажными полосками, понял Геннадий, что квартира номер пять опечатана. Вот такие вот дела.

Медленно спустился он по широким ступеням. А куда

было спешить? Не хотелось, ох не хотелось с такой вестью предстать перед Ремом Степановичем. Наперед пугало его лицо, когда услышит. Дрогнет, потеряет себя. Хоть на миг, да потеряет. А Рем Степанович был тем и интересен, что был он крепколицый, уверенный в себе. К такому к нему — тянуло.

Но вот подошел, сказал негромко:

— Рем Степанович, а квартирка-то опечатана.

— Да?..— Нет, не дрогнуло лицо, все тем же осталось.— Ну что ж, покатали дальше.— Рем Степанович поднялся, пошел, прямя плечи. Не слишком ли выпрямившись зашагал? Перед кем старается? Он и об этом подумал, чуть разжался. Но шагал все быстрее, запнулся раз-другой, так заторопился вдруг.

## 12

Снова они в машине, и мелькают за стеклами московские дома, сменяются улицы. Наглухо отгородился теперь от своих спутников Кочергин. Не только будто зримой стенкой из стекла, но еще и таким прихмуренным лицом, когда с разговором не подступишься. Только и сказал, когда стронулись:

— По Можайскому шоссе на Рублевское, до станции Раздоры. Я скажу там, куда сворачивать.

— Умер у него кто-нибудь?— пригнувшись, одними губами спросил водитель у Геннадия.

Геннадий кивнул. Пожалуй, что и умер. Обвал обрушился на Кочергина и его друзей. А что за друзья? Один в рыбном магазине чем-то заведовал, имея кличку Колобок. Повели в наручниках. Другой, неведомо какими занимавшийся делами, тоже уведен. Этого звали Шаляпиным. За рост и бас. Самого Рема Степановича величали Батей. Не столько, видимо, друзья, сколько сотоварищи по делам, по темным, ясное дело, делам. Но при чем тут актриса Аня Лунина? Если бы не она, все бы стало понятно. А что,— Кочергин тебе этот понятен? В него же можно влюбиться. Он же вон какой, даже сейчас, крепкий да смелый. А сколько всего знает. А щедрость его. Ну и что, что денег много? Иной и с мешком денег рубля тебе за работу не предложит. Тебе этот рубль не нужен, но все-таки хоть предложил бы, наломался работая, чиня ему там что-то. Нет, не дождешься от такого. Кочергин другой совсем человек. Таких только в кино раньше видел. Герои из американских боевиков. Про та-

ких читать доводилось. А теперь близко с таким познакомился. Ну, в беде человек, ну, подзапутался — он сам признал, — но не такой же он, как тот круглый, которого повели в наручниках, про которого и раньше было ясно-понятно, что крадет. Он и шел, наложив в штаны, выбелился, как мельник. Но он сказал Белкину: «Предупреди...» Кого? Кочергина? Одним, значит, миром мазаны? Только тот помельче, а этот покрупнее? Аня, что же, она ворюгу любит? Спекулянта? Махинатора? Не укладывалось в голове. Жулик — он и по виду жулик, у него глазки бегают, руки студенистые. Встречал, доводилось. А — этот... Не укладывалось в голове. Вчера он даже хуже показался, чем сегодня. Это из-за Ани. Да себе-то не ври, позавидовал. Голодными глазами на все глядел. А сегодня — смотри, как он держится. Сильный человек. Ему бы тренером в нашу первую сборную по футболу, он бы наладил дело. И справедливым бы был и потребовать бы смог. Его бы парни уважали б. Ну запутался, ну согрешил — сам признает. Но не так же, как тот, круглый, не поведут же его так же, как того. Невозможно было такое представить, чтобы Кочергина — в наручниках... Отобьется, выкрутится, зачтут заслуги, что работает хорошо, а он, такой, наверняка хорошо работает. Потому и мотается сейчас по Москве, чтобы отбиться. Концы ищет, понять ему надо, что к чему. Наверняка кто-то подвел, свои делишки на него свалил. Распутать надо, понять, что да как. Самому понять, глаза в глаза. Вот и ездит. Мол, выкладывай, что ты там натворил. Вот так вот, не иначе. Не могла Аня Лунина полюбить жулика, махинатора. А ведь она любит его. К ней не нужно по телефону звонить, запасшись душками, чтобы не напороться без звонка... Он-то у нее бывает? А вдруг она замужем? Надо будет спросить. Прямо возьмет и спросит. А зачем тебе, Гена? Твоя разве забота? Она так тебе и ответит: «Не твоя забота!»

Ехали, ехали, и вот оно, Рублевское шоссе.

— От милицейского поста влево, — пробудился Рем Степанович. Да, он будто подремывал, полуприкрыв веки. Или отдыхал, собирался с силами? Что там будет, в этих Раздорах? И это не твоя забота, Гена.

Не выдержал водитель, извелся от молчания:

— Извините, дорогой товарищ, а почему поселок этот дачный Раздорами зовется? Сколько вожу сюда, а никто толком не знает. Вы вроде с историей в ладах, не расскажете?

— Судились местные крестьяне с местной помещицей из-

за спорного клочка земли. Вот и — раздоры. И крестьян тех потом раскулачили, они тут извозом занимались, богатенькие мужики были, и помещица та померла давно на чужбине, а слава, что задралась люди между собой, что чего-то не поделили, осталась. Все грыземся, кусок друг у друга рвем.

— И все за справедливость, — сказал водитель. — Никто не признается, что за кусок глотку рвет, всяк кричит — я за правду, за справедливость! Взять хотя бы у нас на базе. Тому дай, тому сунь. А на собрании, между прочим, иной из этих, из вымогателей, — мы их «поборниками» зовем — такую речугу закатит, что молись на него, да и только. Икона, а не человек.

— Да, да. От того магазинчика влево, вон по той асфальтовой полоске.

— Или взять — взойти в какой-нибудь магазин...

— И первый же переулок по левую руку. Вон там, где сосна в небо уперлась.

— Смотришь, все у них чистенько, все у них по правилам, а по Москве слухи ходят, что ворья похватали вагон и маленькую тележку.

— Стоп! Приехали! Здесь подождешь нас, шеф. — Кочергин выпрыгнул из такси, не ожидая, когда машина окончательно станет, зашпешил, выдал свою горячку.

Их встретил тихий дачный тупичок, в котором росли, в небо устремясь, мачтовые, вековые сосны. Их тут мало осталось, пожгли их молнии, валили шквальные ветры. Когда-то они тесно стояли, оберегая лес, друг друга подпирая, как воины, вышедшие вперед. Но застроили, затеснили, смяли лес дачами, отпала нужда и в этих воинах на бывшей лесной опушке.

— Вон та дачка, Гена, вон, под красной черепицей, — указал рукой Рем Степанович. — Войдешь, собаки там нет, иди без трепета. Войдешь, вызовешь хозяина, да он тебя сам встретит, любознательный, сам всегда открывает, и скажешь ему, что я его жду. И все дела. Беги!

Дачка, на которую указал Кочергин, могла бы лишь в сладком сне присниться, если бы до сна этого Геннадий нечто подобное увидел хотя бы в кино. Дачка эта стояла посреди зеленого поля, по которому привольно разбежались цветы, на котором, цветами же, разбежались легонькие креслица и столики, а вдали, в углу, виднелся теннисный корт, а в другом углу — роща встала, слепя глаза подвенечной березовой чистотой. Ну, а сама дачка — это был двухэтажный светлого кирпича дом, новенький, приветливый,

забранный, где только возможно, в дерево, коричневатое от блескучего благородного лака. Балкончики, верандочки — все без утайки, все в приветливых занавесочках. Широкие приветливые окна отворены. Там, за окнами, молодая женщина прошла в открытом платье, с загорелыми полными плечами, там слышались детские голоса.

Отлегло на душе у Геннадия, когда он входил в калитку этого милого дома. Вот сейчас все и распутается. Тут жили славные, честные люди, ничего ни от кого не таящие. К ним, к хозяину этого мирного дома, Рем Степанович и прикатил, чтобы обрести душевный покой. А вот и хозяин, заспешивший Геннадию навстречу. Это был мужчина в годах, но еще стройный, чуть только обозначился животик. Он был в замечательных тренировочных штанах, с лампасами, как у генерала. Такие штаны лишь на наших олимпийцах можно было увидеть, на мировых рекордсменах. Жарко было, и он был без рубахи, разулся даже, босиком зашлепал навстречу. Отличнейший мужик! Еще издали заулыбался приветливо. Жаль, староват все же, лысоват, венчиком седые волосы, но все равно молодым он казался, открытость его молодила.

— Вы ко мне, юноша?

И голос славный, и глаза смеющиеся.

— Меня Рем Степанович к вам послал, — сказал Геннадий, ожидая, что хозяин этот сейчас аж подпрыгнет от радости. — Он тут, между соснами прогуливается. Просил вас выйти к нему.

Не подпрыгнул хозяин. Вздрогнул, это так. Напрягся, это точно. Одряб вдруг постарел вмиг лицом — чудеса, да и только. Пугливо оглянулся на окна. Плечи свел, выбежал за калитку, будто подстегнули его. И побежал, вертя шеей, высматривая в соснах Кочергина, накальваясь, смешно вздергивая босые ноги.

Геннадий побрел следом за этим все более похожим на кенгуру мужчиной. Кенгуру с лампасами.

Стволы перегородили тупичок, превратив его в лабиринт. За любым из этих великанов можно было затаиться, каждый ствол был шире человека. И вздымался в небо. Надо было запрокинуть голову, чтобы углядеть вершины. Так, запрокинувшись, и переходил от ствола к стволу Геннадий, потеряв из виду кенгуру в лампасах, не зная, отыскал ли он Кочергина. И вдруг близко, отчетливо услышал их голоса. Сперва не узнал, кочергинский голос не узнал. Сверлящий какой-то. Он говорил:

— Что происходит, Лорд? Берут одного за другим. Бьют, как по пристреленным мишеням. Хуже, идут по схеме. По нашей схеме. Кто их может вести? Шорохов?

Получилось, Геннадий подслушивает чужой разговор. Но он не отошел, продолжал слушать. Ему важно было понять.

— Павла Шорохова нет в живых,— ответил человек, который был вовсе не кенгуру в штанах с лампасами, а был он — Лордом, вон кем.— Он умер после удара ножом, не прожив и часа... Он не мог...

— А вот Колобок, когда его брали, шепнул моему человеку, что Шорохов жив, что это его работа.

Колобок... Шалапин... Вот теперь еще Лорд... А стальной этот, будто сверло по стали, голос принадлежал вовсе не Рему Степановичу Кочергину, а Бате. Кенгуру, он же Лорд, так и назвал его, панически вызвнив свой шепот:

— Батя, этого не может быть! Я получил точные сведения! Из больницы! В тот же день!

— Не помню, чтобы Колобок когда-нибудь ошибался.

— В тот же день! От надежнейшего человека!

— Шорохову успел что-то шепнуть Петр Григорьевич Котов, этот Петр Великий наш. Перед самой смертью успел. Это было установлено. Шорохов пошел по цепочке. Он знал. Только он.

— Но его нет в живых!

— А Колобка повели в наручниках. Подвел тебя твой надежнейший человек. Всех подвел!

— Тут что-то другое, Батя, тут что-то другое. Не мог же Павел Шорохов, потеряв сознание уже по пути в больницу, не мог же он...

— Да, не мог, если умер. А если жив?.. Не странно ли, что никто не знает, когда и где его похоронили? Вот что, Лорд, передай всем, чтобы топили сети. И врассыпную! Кто куда! На курорты, к старичкам-родителям, в лес, в горы, в пустыню. Нет дел! Конец делам! Отдыхаем!

— Но если они пошли, они пройдут весь путь, Батя.

— Думаешь?— Вернулся к Кочергину его голос, ушел сверлящий звук.— Я тоже так думаю.. Что ж, тогда... Ты в наручниках себя представляешь, Семен?.. Я, сказать по правде, себя не представляю..

— Нас не посмеют тронуть, Рем Семенович. Вернее, так далеко не зайдет.

— Думаешь?

— Надеюсь.

— На бога надейся, а сам... Топи сети, Лорд.



— Слушаюсь. Ну, разбежались?

— Разбежались. Щеки разотри. Дома не узнают.

Геннадий отскочил от ствола, зашел за другой, за третий, пошел вдоль заросшего забора к просвету из тупика. Там, за углом, должна была стоять их машина.

### 13

Вот и пришла ясность, вот ты и понял все. Что — все? Только темнее стало на душе, смутнее. Это как перед грозой, вдруг почернеет небо. Миг назад еще были в нем просветы, еще жила надежда, что стороной пойдет ливень, но нет, все вычернилось, и рванул с неба град, не дождь, а ледяные эти шарики, в кровь секущие лицо. Ну, понял он, сразу стало ясно, что у Кочергина какие-то неприятности, тот и сам этого не скрывал, а они вон какие. Это не неприятности. Повели одного, повели другого. К нему самому подбираются. И к Лорду этому — тоже. Вот так лорд! Вот так домик с теннисным кортом и лужайкой, как в английских поместьях. Это все, значит, наворованное? Град сек лицо, потому что под градом этим оказалась и Аня Лунина. Как далеко она-то зашла? Это ее лицо сек сейчас град, а Геннадий исстрадался, мучаясь за нее. Что надо было делать? Ему?! Как поступить?! Сейчас?! Не медля ни минуты?!

Уселись в машину, покатали назад в Москву.

— Опять кто-то помер? — шепотом, пригнувшись, спросил водитель у Геннадия. Тот только неопределенно повел плечами.

— Куда теперь? — громко спросил водитель.

— Гони, шеф, в Последний переулок, в последнее мое прибежище! — с напором, будто повеселев, отозвался Кочергин.

Умеет он красиво говорить, не отнять. И держится на заглядение. Геннадий повел на него глаза, перехватил ответную улыбку. Ну, не шибко широкую, радостную, но — улыбку все ж таки, хотя улыбаться было нечему. Азарт даже какой-то зажил сейчас в этом в румянец укрывшемся крепком лице. Будто хватил там, у сосен, стаканчик. Зарядился энергией. Этот еще подерется, его не свалили. Он только вот Шорохова какого-то страшится. Все знать ему надо, жив ли, умер ли. Спросить бы напрямик, а кто такой этот Шорохов? Не ответит. А ответит, так всю правду не скажет. Что-то, про главное про что-то, соврет. Умеет правдиво врать, это теперь ясно. Многое умеет. Все равно

что стал бы защищать ворота Геннадий против покойного Харламова, против Мальцева, а то и против их обоих. Обвели бы в два счета. И шайба в воротах, и защитник валяется у бортика. И все по правилам. А пацанье с трибун хохочет. На кого полез, переулочник?!

Но кто его ударил — этого Шорохова? Ножом в бок — кто? Что это еще за дела такие? Разве в Москве убивают кого-нибудь, если только не по пьянке и редко-редко когда — чтобы ограбить? А тут не по пьянке ножом в бок сунули и не для ограбления. Что за дела?! Кто ударил?! Убил, не убил? Колобок говорит, что жив, Лорд говорит, что умер. А нужно им, Кочергину нужно, чтобы Шорохова уже не было в живых. Вот что за дела! Тогда кто же его убил, если убил, или кто ранил хотя бы, ткнув ножом? Вот так дела!

— Что приуныл, Гена? — окликнул его Рем Степанович. — Мое настроение передалось? Ничего, мы сейчас наши тучки развеем. Эх, дотянуть бы до понедельника, промчат бы время!

— А что в понедельник будет? — обернулся Геннадий, снова дивясь этому человеку, зажегшемуся азартному огоньку в его еще молодых, голубых в синеву глазах.

— А в понедельник покачу я на работу.

— «Волга» небось у вас блестит? — подал голос водитель.

— Небось. Взойду на свой этаж, пойду к своему кабинету, здороваясь со встречным народом, и все сразу пойму.

— Вы про что, Рем Степанович? — не понял Геннадий.

— А вот про взгляды про эти мимолетные, про кивки и кивочки, исходящие от коллег. В порядке ты, нет ли — сразу ясно становится, еще когда вахтер тебе у входа так или сяк головкой поприветствовал. Учти, вокруг все все раньше тебя знают. Недаром говорят, что роконосец узнает об измене своей жены последним.

— Гляжу, дорогой товарищ, ба-а-альшущие у вас неприятности, — сказал водитель и сочувственно покивал затылком, не смея отвести глаз от дороги, где шли встречные самосвалы.

— Так я и не скрываю.

— Чего скрывать? Смелее так, как вы.

— Смелее? Умен ты, шеф. Бит, видать, жизнью-то.

— Не без этого. Вот молодой человек у нас еще не битый, у него еще все впереди.

— И он битый, в хоккей играл.

— Это не то битье. Ключкой по ногам — это пустяки.

— Вчера сунулся к одной дамочке без звонка, а у нее

мужик какой-то,— сказал Геннадий, изумляясь, не умея понять, зачем он про это сказал.

— Это уже нечто! — похвалил водитель. — Не горюй, считай, что тебе повезло. Но это уже нечто.

— Душевный, душевный порыв, — сказал Рем Степанович и положил сухую, горячую руку Геннадию на плечо. — Пожалел меня, так? Мол, и у меня неприятности, не только у вас? Спасибо, дружок.

— Вы — понятливый! — Зло взяло Геннадия, на самого себя зло. Водил его, как на поводке, этот Рем Степанович, даже хуже, гипнотизировал. Ну зачем сболтнул? К кому прилаживаешься?

— Не злись, Гена. Душевный порыв — всегда красит человека. Вот я стал беден такими порывами. Обнищал на них. А им цены нет. Поверь.

— А вот что начальство бывает умным, так это на вашем примере убеждаюсь, — сказал водитель и уважительно покивал затылком. — Вам шофер на персоналку случайно не нужен? Пошел бы к вам. Стаж. Имею первый класс. Ни одного прокола.

— Ни одного, говоришь? — Кочергин похмыкал, как бы рассмеялся коротко. — Вот бы и случился у тебя первый прокол, если б пошел сейчас ко мне на работу. А так, что же, могу взять. Но...

— Ясно. Не та полоса.

— Именно! Полосатая она — жизнь... Помолчим, братцы, с закрытыми глазами хочу посидеть. — И откинулся, отгородился от своих спутников, прикрыл глаза Кочергин. Что там — за зрачками?

Приехали когда, Рем Степанович велел остановить машину там же, у их школы. Расплачиваясь, дал шоферу сверх счетчика коричневатую, хрусткую сотенную. Тот взял, не удивился. Не стал благодарить. Лишь глянул на Кочергина зорко и сочувственно, как взглядывают бывалые люди в лицо больного, очень больного человека.

Крепко взяв Геннадия за локоть, повел Кочергин его к своему дому. Прошли и по переулку так, пока не свернули к тополю. Переулок их был безлюден, хотя простреливался, должно быть, глазами, хотя и показалось Геннадию, что кто-то вон там мелькнул, входя в подъезд, а кто-то выгля-

нул из подъезда. Вроде бы Клавдия Дмитриевна со своим Пьером промелькнула. Вроде бы и его знакомый старший лейтенант на пороге отделения милиции стоял, но тотчас же исчез. Нет, тут Геннадий обозначился. Старший тот лейтенант вчера отдежурил, а сейчас где-нибудь, сняв китель, рыбку удит. Завязтый рыболов.

Подшли к дому. Кочергин так и не разжал своих пальцев, одной рукой дверь стал отмыкать. Не спрашивая согласия, ввел, как втокнул, Геннадия в сени-прихожую. И только тут отпустил, завозясь с замками.

Вошли в кухню. Сразу шагнул Рем Степанович к бару, к сказке этой заморской, к заискрившимся бутылкам и сосудам. Вдруг музыка негромкая зазвучала — это Рем Степанович на какую-то кнопку нажал. И свет засеребрился под потолком. А экран матовый, загораживающий окно, пейзаж этот унылый переулочный, засветился уютным, теплым, коричневатым светом, под стать струящейся музычке.

— Выпьем! Тебе что налить?— Себе он налил в бокал почти доверху из бутылки с белой лошадь, мирно пасущейся на зеленом лужке. И сразу стал пить. Тянул, тянул, до дна дотянул.— Так что тебе? Водочки?

— Вы бы закусили,— сказал Геннадий, просто съжившись от этих длинных глотков, от этого неразбавленного виски, которое сейчас забушевало пламенем в Кочергине.

— Не страшись за меня, Гена. Не запьянею. Рад бы, да не возьмет. На, глотни водяры. Разожмись, чего ты? Вот сыр. Заешь. Ну, повторим?

Кочергин не собирався спаивать Геннадия, он налил ему небольшую рюмку. А вот себя, пожалуй, он хотел упоить. Себе он снова налил бокал доверху. И выпил его, снова не закусив.

— Заели б чем-нибудь?— помолил Геннадий.— Больно на вас смотреть.

— Да не берет меня это пойло! Я из тех, Гена, корни мои, деды-прадеды мои такие, каких свалить нелегко! Но ничего, мы что-нибудь придумаем! Хвост веревочкой! Дожить бы до понедельника! Доживем, как думаешь?

— Доживем! — сказал Геннадий, располагаясь опять к этому человеку, забывчиво забыв тот разговор в тупике среди сосен, гипнотизировал его этот Кочергин, избыточно был одарен он великим даром божьим — обаянием.

— Понедельник... понедельник... А проскочим через него, так и дальше поплывем. Поплывем, а?!

— Поплывем!

— Главное, чтобы проскочить, чтобы пристрелка эта на тебя не легла. Что такое?! Почему они так лихо взялись?! Кто их за руку водит?!

— Шорохов, наверное,— тихо сказал Геннадий.

— Что? Ты-то откуда про него знаешь?! А, ну понял, Митрич велел сказать. Да, брат, этот Павел Шорохов грозит, грозит мне пальцем.

— А он жив?

— Похоже, что так.

— А кто он?

— Был директором большого московского гастронома. Потом — сел, потом — вышел, отработав где-то в пустыне года два змееловом. Змеелов! Директор гастронома, торгаш, махинатор — и, натё вам, змеелов. Слышал про такое?

— Нет.

— Ну вернулся. Ну приняли его, стали помогать. А он возьми да и начни свои змееловские навыки показывать. Здесь, у нас. Короче, мстить надумал. Свой по своим — хуже нет.

— Вам важно, чтобы он был мертв?

— Глупости говоришь! Мне важна ясность. Мне надо понять, кто в мою спину нацелился. Как ты оборонишься, когда не знаешь, кто твой противник? Силен ли? Поверь, эти торгаши, которых увели, ко мне лишь косвенное касательство имели. Ну, помогал им кое в чем. Всего лишь. Веришь?! Я — им, они — мне. Для уюта жизни. Веришь?!

— Верю,— сказал Геннадий, а в глазах его встали сосны, вспомнилось, как стоял, задрав голову, высматривая их вершины, вспомнились голоса, его, Кочергина голос.

— Это всё мелкота для меня. Ну, выговор! Ну, понизят! Переживем! Но нужна ясность, ясность! Вот что... Попрошу-ка я тебя еще об одном одолжении. Пошли.— Кочергин выскочил из-за стойки, заспешил в свой кабинет, снова мимоходом крепко прихватив пальцами Геннадия за локоть. Проскочили гостиную, где такой жил мир да покой, где бы хорошо было остановиться, усесться в креслице перед громадным экраном цветного телевизора, включить его и, попивая хоть виски, хоть водку, заняться уютным делом слежения за чужой жизнью, там, на экране, пусть даже и трагедии какой, с убийствами, с изменами, с автомобильными катастрофами — страшно, очень! — а все равно уютное это было б занятие, чужая б там мелькала жизнь, чужие раздавливались судьбы. Нет, проскочили мимо экрана сказочного, было Кочергину не до сказок.

Вошли к нему в кабинет. Тут Рем Степанович отпустил Геннадия, подсев к столу, торопливо что-то начал писать. Снова записочка? Такая же, как та, которая все еще лежит в кармане? Геннадий не вспомнил про нее, не выбросил за ненадобностью. Пойдет домой, выбросит в урну.

Кочергин продолжал писать, а Геннадий от нечего делать пошел вдоль стен, стал разглядывать картины, которых тут было порядком. Не только книги «Про Москву» собирал Рем Степанович, но вот и картины все у него были о Москве. Узнавались иные места. То глобус на доме подскажет, что это угол Калининского проспекта, хотя дома на картине в тумане, улица, проспект этот, в ночную синеву укрыт, лишь огоньки мерцают. Но — узнал, точно, проспект Калинина. А это вот купола Василия Блаженного. Их вроде смыло в сторону, они вроде плывут в воздухе, но узнать можно. А это вот, а не их ли это Сретенка, в зачине своем, где стоит на углу церковь Святой Троицы в листах? Она сейчас не в листах, а в леса одета, ее реставрируют. Геннадий заглядывал туда, к реставраторам, смотрел, как работают. «Терпение и еще раз терпение», — сказал ему один бородатый, хоть и молодой, парень-реставратор. Геннадий им там проводку вел, времянку, чтобы под кровлей посветлее было. Спешил, как всегда. А этот, с бородой, наставлял смешным басом, что во всяком деле, и в их особенно, терпение необходимо, что одно лишь оно, терпение, ведет к победе в труде. Все там, кто работал, включая и женщин, молодых, показались Геннадию странными. Тихие какие-то, молчаливые, будто пришли в церковь не работать, а молиться. Может, они впрямь были верующими? Эта догадка пришла сейчас, когда рассматривал картину. Опять на ней было все не так, как в жизни, но угадывалась эта жизнь и что-то еще угадывалось, прибавлялось к пониманию про эти места. А у них тут, оказывается, красиво. И тревожно как-то. Небо вот в темных тучах. И древние эти стены, сложенные из маленьких розовых кирпичей, они столько знают, такого нагладелись. Церковь эта стояла на углу Сухаревки, когда тут людские толпы бушевали. Торг шел. Обман царил. А стены эти все видели, все слышали. И хотя художник — его фамилию Геннадий не разобрал в углу картины — не показал толпы, он картину про сегодняшний день сделал, эта толпа, жадных и бедных, почудилась у стен церкви. Сегодня, вот сейчас, разглядел Геннадий такое, чего бы вчера еще никак не сумел углядеть. Не умел он рассматривать картины, читать их затаенный смысл. Откуда? Он и в музеях-

то побывал за всю жизнь раза три. Вот к Васнецову разок заскочил — это потому, что рядом. Один раз тетка сводила на выставку художника Рериха. Горы, снежные вершины, Гималаи, словом. Этот Николай Рерих был главным ее художником, так она говорила. Самым любимым. Геннадий больше не на картины тогда смотрел, а на тетку свою. Лицо у нее сделалось незнакомым, побледнела даже, а губы что-то шепчут, шепчут. Он тогда ее не понял. Сейчас, вот здесь, догадался. Она молилась там на эти снежные вершины, на поднебесья эти, про свою жизнь им рассказывала. И уж эти-то горы и выси — они наверняка ей отвечали, утешая: «терпение, терпение». Он подумал про Аню Лунину. Он понял, что полюбил ее. Он понял, что она его в ответ не полюбит. Никогда. Он понял, что всегда все равно будет любить ее. На всю жизнь теперь. «Терпение, терпение...» На всю жизнь теперь. Он понял, что должен спасти ее. Не для себя — он понял, — а для нее, ее — для нее. Он должен увести ее отсюда. Взять за локоть, а силенок у него побольше, чем у этого Кочергина, сжать, стиснуть ее локоть и увести.

Кочергин окликнул его, поднявшись из-за стола. Записку, которую писал, он принялся рвать на мелкие клочки.

— Гена, я раздумал. Письма не будет. Скажешь на словах. — Кочергин снова было схватил Геннадия за локоть, но тот не дался, отвел руки. Кочергин заметил эти отведенные, напрягшиеся руки, заглянул в напрягшееся лицо. — Да ты не бойся. Поручение пустяковое. Скатаешь на ВДНХ, такси за мой счет, найдешь там магазин-павильон «Консервы», а в нем знакомого твоего Олега Белкина, он стаканы перемывает, и скажешь ему, отозвав в сторону... Пойдем, провожу тебя.

Снова прошли через гостиную, через мир, тишину и уют, миновали кухню, где журчала тихая музыка, где мерцал экран, вместо дневного в лоб света даря коричневатый покой. Вышли в захлапленные сени. Тут и сказал Кочергин, что должен будет Геннадий передать Белкину:

— Скажешь, Батя велел костыми лечь, а узнать, жив ли Шорохов или нет. Костыми! Вот и все. Он у нас проныра. Обещал озолотить, добавишь. — Рем Степанович подвел Геннадия к двери. — Слетай, сделай милость. А вернешься, дым коромыслом! Анюта обещала подскочить к часу дня. Обед закатим. Вызову повара-профессионала, есть у меня такой друг. Ах, гульнем! Беги!

На крыльцо провожать Геннадия Кочергин не вышел, «беги!» сказал, затворяя дверь.

Отказаться? Послать его с этим поручением, которое шло оттуда, из тупика в Раздорах? Но он сказал: «Анюта обещала подскочить к часу дня...» Геннадий побежал.

## 15

Вот и магазин «Консервы». Народу около него — не протолкнуться. Суббота. Зной. Июль. Все пить хотят, а там, внутри, продают соки. Ребятишек с мамами и папами полно. Век целый не бывал Геннадий на выставке. А тут интересно, много нового понастроили. Надо будет спокойно как-нибудь побродить по сим местам, лучше в будний денек. Пригласить Аню Лунину и побродить. Без Ани Луниной почему-то его сюда не потянуло во второй раз. Без Ани Луниной его бы и к Кочергину назад не затащить никакой силой. Ради Ани Луниной он примчался сюда, чтобы шепнуть приказ странному этому человечку с бегающими глазками, с семенящей пробежкой. Вспомнилась записка, которую собирался выбросить за ненадобностью. Пока доставал из кармана, она прилипла к пальцам. Что ж, если она никому не нужна, можно и прочесть, что там в ней. Отлепил, разгладил, прочитал: «Топи сети». И всё. Без подписи. Всё. Это, стало быть, и Митричу, Колобку тому, Рем Степанович приказывал свертывать дела, браконьерский этот подавая сигнал, чтобы топил сети, поскольку патрульный катер приближается. Не успел с предупреждением, наскочил патруль, повели Колобка. В ручниках. Дело серьезное. Геннадий смял записку, швырнул в урну, протолкавшись через толпу, вошел в павильон. И сразу, глаза в глаза, встретился взглядом с Белкиным. Он был в бабьем переднике, пестреньком, в цветочках, он действительно был при стаканах, возле кругляша-фонтанчика, бывшего струями в разные стороны, брызгали струи и в очередь. Но не часто, Белкин умело ловил их в стаканы. Навострился.

Встретились взглядами, замер Белкин, опустил стакан, кинулись струйки в разные стороны.

— Олег! Не спи на работе! — прикрикнула на него полная буфетчица в белом халате.

— Мари, я на минуточку! Меня вызывают! — Белкин прикрутил фонтанчик, побежал, засеменял, пугливо не отрывая глаз от Геннадия, слепо натываясь на людей в очереди.

— Не работа, а одни вызовы! — недовольно проводила его полная Мари. — Девчонка работала — все бегала, теперь вот из министерства перевели — и этот все бегают.



Выскочив из павильона, не оглядываясь на Геннадия, Белкин припустил, семеня, пробежкой своей, выискивая вертящейся головой укромный уголок. Нашел старую яблоню, уперся спиной о ствол, встал, но головой продолжал крутить, будто держал круговую оборону.

Геннадий подошел к нему, сказал громко:

— Батя велел костями лечь, а узнать, жив ли Шорохов или нет.

— Тихо ты! — обмер Белкин.

— Обещал озолотить! — все так же громко присовокупил Геннадий.

— Да тихо ты!

— Не умирай. Что ты все время умираешь? Приказ принят?

— Приказ... Все-то ему приказывать. А исполнителей за шкуру. Подойди, будто мы закуриваем. Так о чем он? И не ори, говорю!

— А сам кричишь. Я не курю. — Геннадий подошел, поглядел, как, закуривая, ломает Белкин спички — не слушались пальцы. — Ну и герои вы все. Один Рем Степанович только и держится.

— Волевой, это точно. А ты кого еще видел? Кто это — все? — Задымилась у него сигарета, разжалось чуть лицо.

— Заезжали тут к одному. Лорд.

— О-о-о! — устрасился Белкин. — И Рем тебя с собой потянул? Вот это доверие! И что же — Лорд?

— Перетрусил, по-моему.

— Ты и в доме у него был? При разговоре присутствовал?

— Я его вызвал. А уж потом они в сторонке разговаривали.

— А, понял! Он тебя вперед выпускает. Толково. Так что же, — этот Лорд, перетрусил, говоришь?

— Сперва был лордом, а потом запрыгал, как кенгуру, побелел весь. Смешно, ты — семенишь, этот — прыгает. Губы у вас трясутся, руки трясутся. Смешно!

— Не гордись, парень. Связался с Ремом, глядишь, и у тебя все затрясется.

— А кто он?

— Кочергин? Рем Степанович? Ха! Работаешь на него, а не знаешь, кто! Ну, раз он не сказал, и я не скажу.

— А этот Шорохов, змеелов этот, действительно так опасен?

— Что ты про него знаешь? — насторожился Белкин. — Что ты все вопросы задаешь?

— Рем Степанович рассказал кое-что. Знаю, что был директором гастронома, что потом сел, что работал потом змееловом, что вернулся, стал счеты сводить, а его — ножичком. Так рассказываю?

— Ох, Рем Степанович, ох, Батя наш! Первому встречному все выкладывает. Зачем? Не понял, зачем он с тобой так разоткровенничался?

— Обычный разговор.

— Обычный, куда обычнее. Стало быть, озолотить обещает?

— Велел сказать, что озолотит.

— Так, так... Знаешь, а ведь он мудер у нас, мудер. Между прочим, этот Павел Шорохов вот тут, на этом самом месте, со мной совсем недавно разговаривал. Тоже вопросы задавал. Слушай, да вы с ним просто один к одному как похожи. Тебе — сколько?

— Двадцать шесть.

— Вот, прибавить тебе лет пятнадцать — вылитый Шорохов. Рослый. Костлявый. Силенка чувствуется. Ты бы, скажи, если б приперло, в змееловы бы пошел?

— Когда припрет, тогда и поговорим.

— За этим дело не станет. Влипаешь, гляжу. Нет, а я бы не пошел. С детства отвращение у меня ко всяким ползающим тварям. Еще к крысам. К тараканам. Брезглив!

— Ну, я ухожу. Что передать?

— Скажи, что попробую, попытаюсь, хотя... Слушай, а ты бы не согласился мне помочь? Как Рему Степановичу? Это идея не глупая, посылать вперед паренька, которого никто не знает, который ни в чем не замешан. Если что, знать ничего не знаю. Не глупо! А вознаграждение поделим.

— Так я и так уж влипаю, сам сказал.

— Да нет, это я к слову. Что с тебя взять? Посыльный. Вот прибежал, кинул фразочку и — назад. Не задавай только вопросы, любознательность вредна, поверь. Ты у него посыльный или еще и телохранитель? Как подрядились? Сколько отваливает?

— А любознательность вредна.

— Усвоил! Так пойдешь ко мне в помощники в этом деле? Побегает, повстречаемся кое с кем. Может, и мне кого надо будет вызвать. А приз поделим. Решено?

— Не влипну?

— Если кто влипнет, так это я. Соглашайся, правда, великолепная идея! Рем Степанович — он у нас не дурак, это уж точно. А если он тебе начинает доверять, то...

— Я подумаю.

— Чего думать, ну чего думать?!— Белкин загорелся.— Для тебя никакого риска! Для тебя — ни малейшего!

— А кто его все-таки ткнул ножом? Кто-то из ваших?

— Что?..— Замерло лицо у Белкина с приоткрытым ртом, как у застигнутого врасплох, даже сигарета выпала. Он нагнулся, поднял сигарету, обтер, а потом отбросил.— Про каких это ты «ваших» толкуешь? «Нашим» как раз это и неизвестно. Сам бы дорого дал, чтобы узнать. Тут одно на другое налезло. Из-за бабы у Шорохова конфликт вышел. Его упекли, а баба, жена его, за другого выскочила. Смириться бы, а он... Учти, все из-за баб. Французы говорят — шерше ля фам. Впрочем, тебе неважно, что там французы говорят, ты послушай меня, Олега Белкина. Все из-за баб! Ты еще молодой, еще тебя не коснулось. А вообще-то — все из-за них, из-за бабенок этих распрекрасных. Как так получается, что все беды от них? А вот получается. И еще... Вот когда много вопросов задаешь, тогда тоже в беду можно угодить. Меньше знаешь, лучше засыпаешь.— Снова Белкин, пытаюсь закурить, извелся со спичками, ломая одну за другой, не слушались пальцы.— Что за спички?! Уж и на спичках стали экономить! Тоньше волоса!

— А пальцы трясутся тоже из-за баб?

— Конечно! Вот тут ты угадал!— Белкин ослабился, даже подмигнул повеселевшим глазом.— Ночку провел, поверишь, как в молодые годы! Ты, если взять на круг, сколько за ночь поспеваешь?

— Ты о чем?

— А, сосунок! Еще в той поре, когда счет не ведут! Ну,ходишь в долю?

— Пожалуй. А что делать?

— Завтра начнем, сегодня я при стаканах. Утречком встретимся — и побежим по разным адресочкам. Того спросим, туда заглянем — и вся работа. Где намечаем встречу?

— Где тебе удобнее.

— Мне, друг, нигде не удобно. Мне бы рвануть отсюда — и бежать, бежать, бежать...— Белкин поник, вжался в себя.— За чужие грехи расплачиваюсь, вот что обидно. Где? Придумывай сам. Тебе сейчас, как в картах новичку, должно переть. Замечено, что и на бегах новичкам прет. Изобретай. Приказывай. За тобой вот хвоста не видно, а я все оглядываюсь, все время у меня в зад у свербит.

— Когда — утречком?— спросил Геннадий.

— Назначай. И место и время. Твоя ставка, называй заезды, новичок, не глядя на лошадей. Привезут!

— Тогда часов в одиннадцать.

— Есть!

— На углу нашего переуллка и Сретенки. Там кафе небольшое. Оно с одиннадцати открывается.

— Мудро! Сошлись, мол, хватить с уторка коньячку. Во, уже по-умному. Пьяницы, солнцепоклонники — обычное дело. В воскресенье нигде нет, а в кафе подадут. Есть! За-метано!

— Разбежались?— спросил Геннадий и вспомнил снова тупик, сосны, вспомнил, как побрел вдоль забора, обрета ясность, которую все обретал да обретал, все более входя в туман, в муть какую-то, в страх этот, от которого трясло и Рема Степановича, и того барина по кличке Лорд, и этого Белкина.— Среди своих как тебя зовут?— спросил, не удержался.

— Разбежались. Что? Беги, беги! Я тебе не свой.

И они действительно разбежались. Геннадий потому побежал, что глянул на часы, и стрелки, шагнувшие за полдень, напомнили: «Анюта обещала подскочить к часу дня...» Белкин потому побежал — пробежкой, пробежкой,— что иначе уже и передвигаться не мог. Гнал его страх.

## 16

На метро быстрее можно было вернуться, а времени было в обрез, и Геннадий помчался домой на метро. А потом просто стометровку устроил по Сретенке, мимо этой церкви Святой Троицы в листьях, которая сейчас была в лесах. Совсем не так она выглядела, как на картине, но все же и так. Теперь он всегда будет сравнивать то, что перед глазами, и то, что там, на картине углядел. Оглянулся, пробежав. Нет ни Сухаревской башни вдали, а все же что-то да померещилось, нет толпы у стен церкви, но идет, идет народ, набегают, как и тогда. И это вот обширная подкова старой больницы по ту сторону Садового, она и на картине проступала вдали. А вот чего не было вокруг и что было на картине — не было сейчас кругом никакой тревоги. Солнечный день светился, субботний, люди примедлили шаг, отдыхали. На картине же был вечер, тревожное низкое небо нависло. И жили в небе три купола. А сейчас у церкви куполов не было. На картине получалось больше по правде, чем в жизни. Ко-

му тут как, а его жгла тревога, подгоняла тревога. Он жил не здесь, среди ясного дня и когда вместо куполов зеленела обычная крыша, а там, в картине, где все было тревогой, где тревожно вздымались купола и кресты.

Вбежал в свой переулок, когда на часах стрелки показали, что до Аниного прихода осталось всего пять минут. Вбежал, сразу же, чуть не лоб в лоб, столкнувшись с маленькой Зиной, той, что вчера была дружинницей и щеголяла с красной повязкой на рукаве и в новеньких «бананах» на вырост. Сейчас она была в широкой юбке, туго перехваченная широким ремнем, тоненькая и легкая. Она торопливо куда-то шла, широко шагая, ветер надувал белую кофточку, растрепал ей русые волосы, громадные очки от солнца делали ее загадочной. И вот они столкнулись, он чуть не сшиб ее.

— О, Зинаида!— Он хотел дальше припустить, но она ухватила его за руку.

— Пожар где-нибудь? Крыша протекла?

— Нет, я просто так бегу.

— Если просто так, тогда я хочу тебя спросить...—

Она помолчала, разглядывая его.— Вчера ты какой-то был другой. Не пойму, что-то изменилось. Потому, что пуговицы застегнуты? Не пьяный? Нет, не в этом дело.

Геннадий глянул на часы. Три минуты оставалось до часу.

— Ты спешишь?

— Нет.

— Вчера ты был злой и несчастный. Это углубляет. А сейчас ты какой-то напуганный. Что случилось? Куда твои длинные ноги тебя несут?

— Тут, в домик один. Халтурка подвернулась.— Он поглядел на часы, стрелки прошли еще одну минуту.

— Честно говоря, я тут расхаживаю, чтобы вдруг да встретить тебя. Вот встретила.

— Зачем?

— Как?.. Этот поцелуй разве ничего для тебя не значит!

— Какой поцелуй?

— Ну, когда провожал меня. Возле моего дома. Господи, вчера он показался мне человеком!

— Прости, конечно, значит. Но я думал, что у тебя кто-то есть. У вас у всех кто-то всегда есть.

— Ты говоришь не подумавши. Если бы был, я не позволила бы тебе меня целовать. Ты просто изверился в человечестве. Из-за той Зины?

Большая стрелка стояла на двенадцати, маленькая на единице.

— Ты спешишь? Иди. Вот у тебя действительно кто-то есть. И это не та Зина, ту ты не любил. Ты сразу все рассказал про ее измену. Ты освобождался от нелюбви. А сейчас...

А сейчас в их переулок въехало такси, и рядом с шофером в машине сидела Аня Лунина. Она увидела Геннадия, приятельски махнула ему рукой, о чем-то спросила, кивнув в сторону дома Кочергина. Машина проехала.

— Это какой-то нонсенс, что я тут целый час расхаживала, тебя дожидаясь.— Зина сдернула очки, чтобы получше разглядеть женщину, которая — там, вдали — выходила из машины.— Она? Да, она прекрасна!— Зина попыталась себя оглядеть, критически, от кончиков туфель до плеч, до вскинутых рук.— Где мне... Разумеется... Я даже и ходить так не умею...

Та женщина там, вдали, в легком, туникой, платье, легким, привольным шагом уходила от машины, пересекая этот серенький переулок, сразу будто заживший иной, расцветченной жизнью, сразу все свои выложив козыри: появилась откуда-то загадочная старушка с попугаем на плече, появился откуда-то коренастый человек, ведя на цепочке зеленую хвостатую обезьяну. Вон он какой — этот переулок, по которому идет сейчас, ступает эта прекрасная медноволосая римлянка. Он не серенький вовсе, он под стать ей. И не один старший лейтенант, а целых три старших лейтенанта и один капитан дружно вышагнули из дверей районного отделения милиции — хоть парад принимай.

— Иди! Иди же!— Зина пошла от него, так же шагнув, так же привольно и так же отмахнув рукой, как та женщина, почти так же. Но вдруг споткнулась, сорвалась и побежала.

И Геннадий побежал. Разбежались в разные стороны.

Он настиг Анну Лунину у дверей, она еще только руку подняла, чтобы позвонить. И оглядывалась, ожидая его, уверена была, что он кинется следом.

— Что за девушка?— спросила.— Очень, очень миленькая. Посоветуй ей не носить таких громадных очков. Они уменьшают ее личико. (Все разглядела!) Рем Степанович дома? Ты к нам?

Отворилась дверь, на пороге, не переступая его, стоял Кочергин. Он просиял, увидев Аню, он помрачнел, все вспомнив, увидев Геннадия, он переборол в себе тревогу, отодвинул в сторонку хмурь, лицо его покорилося радости.

— Молодость в гости к нам! Прощу, ребяташки! Аня...

Анюта...— Он взял ее за руку, повел, только на нее и глядя. А Геннадий побрел следом, как на поводочке идя вслед за хозяевами, которые просто забыли о нем, только что помнили, но вот — забыли. Если не тявкнет, не напомнит, то и ошейник не снимут.

Вошли в сени, защелкал Рем Степанович замками, а Аня, пока он был занят, все-таки вспомнила про Геннадия, улыбнулась ему — молодая молодому,— сняла ошейник, сказав:

— Гена, а я тебе рада.

— Правда, славный парень?— спросил Рем Степанович, распахивая дверь.— По-моему, мы подружились. Правда, Гена? Прошу!

Они вошли в кухню, в мир этот блестящий, где все было так приспособлено для радости, для веселого обжорства, для роздыха, выпивки накоротке с друзьями. Журчала тихая музыка, тепло мерцал экран, отгораживающий окно от переулка, светился высоко в углу экран телевизора. В белом кухонном кресле, закинувшись вольготно,— но ноги все-таки на стол не положил, не в США все-таки, хоть и кухня, как у миллионера,— сидел некий лысый мужчина, некий человек, призванный Ремом Степановичем для обещанного «дыма коромыслом». Мужчина вскочил, зорко воззрился бедовыми глазками на Аню, узнал, изумился, восхитился, влюбился, покорился и рабски припал смеющимся ртом к ручке.

— Так это же... Это же... Ну, Рем Степанович, для Анны Луниной... Откуда? Как посмел? Как удалось? Ну, повелительница, я украду сегодня ваше сердце с помощью своего обеда!

— Знакомьтесь, друзья. Карикатурист-профессионал, но и повар-профессионал. Утверждает, божится, что был поваром первой руки аж в самом «Метрополе».

— И в годы его расцвета! Когда мясо было парным, баранина вчера еще мэкала, а поросята хрюкали за минуту до духовки. Платон Платонович, и к тому же Платонов. А все-таки не верю своим глазам. Она! Смею лицезреть! Ручку протянула! Не верю! Мистификация! Шутят над стариком!

Платон Платонович был действительно немолод. Но так изнутри весел, такой воистину был милый и компанейский — не притворялся, не наигрывал, а таким и был,— что все тут, в этой кухне блестящей, зажило иной жизнью, по правде жизнью, заискрилось не вещами, а весельем. Был он наипростейше одет, в легоньких штанцах, в каких-то из прошлого сандалетах, в рубашонке навыпуск, что

слегка укрывало обширный его живот. Руки у него были сильные, чистые, именно поварские руки.

— А вы, молодой человек? Паж? Персональный телохранитель? И, разумеется, дыхатель?

— Геннадий я,— сказал Геннадий.

— Это уже много. Не все, но много. Платон и Геннадий. Сошлись два имечка философических. А то — Рем! Что такое — Рем? О ты, волчицею вскормленный! Геннадий... Это, кажется, не шибко счастливый, но порядочность гарантирована. Вы кто у нас? У Рема Степановича обыкновенных людей не бывает. Какой-нибудь чудодей-гонщик, пожиратель рекордов? Угадал?

— Угадал, угадал, в точку,— сказал Рем Степанович.— Геннадий, пошли пошепчемся.

В гостиной, когда затворил, сведя створки, дверь, Рем Степанович отпустил себя в тревогу, ему сейчас легче было жить в тревоге, чем прикидываться веселым.

— Нашел Белкина? Говорил с ним?

— Да. Обещал разузнать. Меня подрядил в помощь. По вашему методу.

— То есть?

— Ну, вызывать там кого-нибудь, идти впереди. Ведь меня не знают.

— Что же, ну что ж.

— Уговорились завтра встретиться.

— Завтра? Что же, ну что ж. Завтра — это ведь воскресенье. А понедельник лишь послезавтра. Не скоро! Послезавтра! — Рем Степанович рывком развел створки двери.— Итак, друзья, Платон Платонович закатывает нам обед!

Они вернулись в кухню.

— Я — Один, я — Вотан поварского дела! — втолковывал там Платон Платонович Ане, тесня ее, размахивая руками. — Я шаман, если хотите! И не только в поварском деле, уверяю вас! А, это ты, Рем?! И что тебя носит туда-назад. Шептались бы там, не мешали бы нарождающемуся чувству. Ну, ну, не бледней, не отниму женщину. Ты не меня бойся, ты его бойся, этого несчастенького Геннадия. О эти нынешние молодые! Для них нет ничего святого! Они начинают есть, хлопнув сперва рюмаху, а это кощунство, это попрание всех вкусовых законов. Язык онемевает от спирта. Он делается одеревенелым. Нельзя так, нельзя! Сперва возьми кусочек семужки, затем... То же самое и с женщинами. Хвать и в кровать. Спирт! Между тем... Нет, женщина друга для меня лишь символ. Увы! Между прочим, Рем Степанович, я загля-



нул в твои холодильники. Банки, жестянки. Этикетки! Фу! Из этого консервата невозможно сделать порядочный обед. Ничего натурального. Приказываю: сперва — на рынок. Благо он у тебя рядом. Кто пойдет?

— Может, сам и сходишь? С Геннадием?— Рем Степанович привычно полез в задний карман, добыл оттуда, что пальцы ухватили, а они ухватили пяток сотенных, которые он и разжал веером.— Хватит?

— Нет, я не пойду,— отшатнулся от денег Платон Платонович.— С чужими деньгами я по рынку не хожу. Не умею покупать на чужие. Стесняюсь торговаться. Вроде как бы для хозяина выгадываю. А если не торговаться, никакого вкуса, никакого удовольствия от рыночной закупки нет. Сам сбегай с Геннадием. Я нынче не при деньгах.

— Это чтобы я оставил тебя наедине с Аней?— Рем Степанович снова стал веселым-развеселым.— Я не безумец! Я отчаянный, но не настолько! Аня, бери корзину, хватай Геннадия (Гена, ты не возражаешь, надеюсь, сопроводить даму?) и бегом на Центральный рынок. Платон, приказывай, что купить?

— Сколько человек ты усаживаешь за стол?— мигом озаботившись, спросил Платон Платонович.

— Вместе с нами человек семь будет. Позвонил кое-кому, сейчас начнут подкатывать.

— Народ грубый или с пониманием?

— Теперь все с пониманием.

— Верно, жрать все научились. Но — жрать. Можно сделать почки-соте, а можно отколотить кусок свинины. Можно из баклажан сотворить чудо, объединив их с белыми грибами, с мелко порубленной баранинкой, а можно просто жарить сковороду грибов с луком. Можно... Жаль, поздновато идете на рынок за мясом. Но, полагаю, если там хоть что-то осталось, вам, чаровница, продавцы вынесут это что-то с низким поклоном. Там есть один маленький чернявенький мясник. Вот к нему подойдите, шепните ему, что вы от Платона Платоновича. Главное сейчас мясо. Затем синеньких, затем грибов, если захватите (поздно, поздно кидаемся на рынок!), затем зеленюшки всяческой, фруктов, затем...— Перечисляя, Платон Платонович прикрыл глаза, он как бы принюхивался ко всему тому, что следует купить, завораживаясь и завораживая.— Да что я толкую?! Всё лучшее и без того понесут к вашим ногам, великолепная Анна. Вы только кивайте и платите и, избави бог, не торгуйтесь. Вам — нельзя. Вы — богиня.

Они сами станут сбавлять цену. Такова несправедливость жизни: перед богатыми и красивыми тушуются даже торгаши. Отправляйтесь, дети мои! Бегом, бегом, у нас не осталось времени!

Геннадий повел Аню к рынку через тот же Малый Сухаревский, в котором сегодня дважды побывал. И оба раза с Ремом Степановичем. Но, идя на рынок, этого переулка не обойти, он прямехонько стекал к бульвару, к круглому зданию панорамного кинотеатра, к куполу цирка и к громадному павильону крытого рынка.

Мы живем, часто не замечая, что живем по древним законам, строим наши дома, как встарь, из былого, из древнего беря опыт. «Хлеба и зрелищ!»— вопили римляне. И вот они — и зрелища и хлеб, сойти только из Последнего переулка по Малому Сухаревскому к Центральному рынку, где рядом цирк и здание кинотеатра. А позади, за спиной, остались кривенькие эти переулочки, которые еще недавно — что такое полсотни лет?!— служили страстям, темным влечениям, вожделению. Все не то, не так, по-другому? Оно, конечно, все не так. Мы новые, разумеется, но со старым, с древним наши нити не прерваны. Все лучшее в нас — оттуда, как и все худшее, если проследить, продумать нить, оттуда же. Мы братья и сестры былого, мы из прошлого. Мы поумнели, мы отвергли темное, мы несем светлое. Во многом мы преуспели. А вот Рем Степанович — все тот же, все такой же, от века. Как и этот цирк, как и этот рынок.

Геннадий шел, на шаг поотстав от Ани,— ах, как она шла, как ступала, как подхватывал пытливо ветер ее светлую тунику!— и тягостно раздумывал, любуясь ею, как начать с ней разговор, в котором бы он мог предупредить ее, остеречь. Он понимал, что она слушать его не станет, если он впрямую заведет разговор, если даже рискнет все рассказать про те речи смутные, которые подслушал в тупике среди сосен, про Белкина, про все, о чем узнал за эти — сколько же?— еще даже неполные сутки. Он понимал, что если уж он оказался в плену у Рема Степановича, чуть ли не с радостью давая ему себя опутывать, запутывать, то она-то совсем была опутана и запутана, потому что она любила его. Он понимал — он многое и стре-

нительно обучивался понимать,— что женщина эта сейчас не захочет ему поверить.

Они проходили как раз мимо его и Кочергина школы, и Геннадий, нагнав Аню, поведал ей:

— В этой школе я учился. Все десять классов.

— Да?— Ей было безразлично, далеки были ее мысли. Она даже и глазами не повела на их школу.

— Между прочим, здесь учился и Рем Степанович.

Она встрепенулась, остановилась.

— Что же ты молчишь?!

Она быстро подошла к дверям школы, к пыльным стеклам, врезанным в старые, исхлопанные двери. Она попыталась заглянуть внутрь через пыльные стекла.

— А вон раздевалка,— сказала она.— На эти крючки он вешал свое пальто. Потом избегал вон по той лестнице. Войдем? Поглядим?

— Нам надо спешить.

Теперь она и вокруг поглядела, чтобы понять, угадать, как тут было, когда он был маленьким, мальчишкой был.

— Тут все у вас сносят,— сказала.— Скоро вы и не узнаете свои бедовые места. Смотри, этот дом напротив разрежали пополам. Смотри, вон на стене квадрат обоев, вон синяя полоса лестничного марша, а ступеней уже нет, их срубили. А завтра и дома не будет. Что за дом? Что за люди? Может быть, тут жила девчушка, которую он любил.

— Тут у меня друг жил,— сказал Геннадий.— Сейчас он в «Спартаке», в команде мастеров играет. Вы любите... ты любишь хоккей?

— Верно, говори мне — ты. Ну люблю, ну не люблю. Когда как. Я не знаю, что это такое — любить хоккей или там футбол. Гладиаторы, современные гладиаторы. Зрелище. И часто жестокое. Ты занимаешься этим?

— Занимался.

— А боксом? Самбо?

— Когда служил, стал разрядником по самбо.

— Это хорошо, это просто здорово. Если на Рема вдруг кто-нибудь нападет, а ты будешь рядом, то защитишь его. Скажи, ты ведь согласился быть его защитником?

— Я в телохранители к твоему Кочергину не нанимался.

— Обиделся! Быть защитником возле какой-то резиновой кругляшки — это для тебя почетно, а заступиться за замечательного человека, если вдруг на него нападут хулиганы,— это тебе кажется стыдным.

— Он и сам еще может за себя постоять.

— Еще как! Был один случай.— Она просто вспыхнула от удовольствия, вспоминая:— Мы вышли раз из ресторана, ну и ко мне пристал очередной пошляк. Если бы ты видел, как он его кинул в сугроб.

— Значит, вы с зимы знакомы?

— Хочешь сказать, что я давно его знаю и могла бы уже понять, что не все у него, как у священника? Говори, говори, я же вижу, что ты истомился, желая предостеречь меня. Ты совсем такой же, как моя мама. Вам бы только предостерегать!— Она усмехнулась, глянула как-то странно на него.— Ну, мотивы все-таки у вас разные, как я чувствую. Гена, милый, та девочка маленькая, которая стояла с тобой, а потом побежала,— она очень славная, поверь. И не отвергай ее любви. Советую. Ну, а мой Рем — он не святой, я знаю. Он — деловой человек, я это давно поняла. Теперь они так сами себя называют, те, кто умеет жить. Да, что-то он там творит со своими партнерами. Я — тебе, ты — мне. Известно. Учти, это всеобщий теперь закон. И даже самые-самые, поверь, из тех, что денно и ночью, на всех собраниях и со всех трибун толкуют нам о нравственности, им это по долгу службы полагается делать, так вон они тоже... Да что толковать?! Не наивный же ты мальчик. Не слепой же.

— Что — тоже?

— А вот... А вот мой директор театра, глазки с поволокой, вальяжный, торжественный, а он, говорят, живет все-таки не на свои... ну пятьсот, ну шестьсот рублей в месяц,— куда как пошире живет. Откуда деньги берутся? Говорят, он что-то там комбинировает с театральными билетами, вошел в долю с распространителями билетов. Фу! Не грязь ли? Ведь он проповедник у нас, он пьесы обсуждает, ему положительного героя подавай. Раз зазвал меня в свой кабинет, выставил какого-то пойла, стал подходить, изгибая стан. Я повернулась — и в дверь. Или вот на вечеринке одной я собственными ушами слышала, как знаменитый писатель кричал на знаменитого режиссера, что тот его обобрал. Не читай мне мораль, Геннадий. Ты — честен? Ты — трешки не берешь?

— Не беру.

— И глупо! А вообще-то ты славный парень.— Она остановилась, поманила его к себе пальчиком, а когда он подошел, прижалась губами к его щеке, помедлила, будто раздумывая, и соскользнула губами к его губам, к уголку его онемевшего рта. Шепнула, губами у губ:— Не люби меня,

Гена, я плохая, плохая...— Оттолкнула его, пошла, снова став величавой, отдавая ветру свою тунику. Сыграла сценку. А парень онемел и онемело побрел за ней, таща громадную, нарядную; из цветных прутьев корзину. Раб шел за своей хозяйкой, сопровождая ее на рынок — в мясные, в овощные ряды.

18

О кино, ты — мир! О цирк, ты — мир! О рынок, ты — мир!

Они вышли к кинотеатру, к цирку и к рынку затем. Проходя мимо афиш, Аня оживилась:

— Надо обязательно сходить в панорамный! Пойдешь со мной?

— Пойду.

— И в цирк. Сто лет в нем не была, а люблю. Сходим?

— Сходим.

— Однажды, совсем девочкой, я была в цирке с родителями. И запомнился тот цирк. Потом уже взрослой ходила, уже актрисой. Но запомнился тот, когда была девочкой. Помню, было страшно и прекрасно. Я во все тогда верила. Представляешь, во все. Ко мне подошел клоун, это был Румянцев. Представляешь, сам Румянцев? Он положил мне руку на плечо. Сказал: «Какая красивая девочка». Он даже не улыбнулся, серьезно так поглядел. Может быть, он благословлял меня, как думаешь? На лицедейство, на муку эту и счастье... Ой, мне обязательно надо позвонить маме! Непременно! Когда пойдем назад, ты напомни мне, чтобы позвонила. Напомнишь?

— Непременно.

Они вошли в главный рыночный павильон. Их сразу заметили. Ее.

Черноволосые джентльмены, картинно стоявшие на ступенях, локаторами повели за ней свои рентгеноскопические глаза. Их говор гортанно-голубиный замер. Какое-то всеобщее «ц» пронеслось среди этой публики. Его, Геннадия, они не замечали. Только она вошла, взошла на сцену.

Здесь терпко пахло. Все смешалось — и тонкий запах цветов по правую руку, и дурманящий запах дынь, яблок, слив, винограда — по левую. А еще и укропом повеяло, малосолевыми огурцами — этот запах шел из павильона напротив. И вот все это смешалось, и все это, аромат этот, живой, сладкий, терпкий, острый,— он как бы приветствовал Анну

Лунину, обнимал, выстилался перед ней, сам себя выхваляя и предлагая.

— Сперва мясо,— сказала она.— Бегом в мясной павильон. Мы опаздываем.— Она оглянулась на Геннадия, нарочно протянула к нему руку, чтобы все эти джентльмены знали, что она защищена, чтобы не вздумали подойти к ней (еще чего недоставало!):— Геннадий, да не плетись же!

Они быстро прошли через павильон, где были овощи и где народ был иной, не княжеского рода, все больше женщины стояли у своего товара — у кабачков, цветной капусты, баклажанов, малосольных огурцов, у особенно пахучих гор лука, укропа, петрушки.

Скорей, скорей мимо этих рядов, к ним они еще вернутся. Сперва — мясо. Но как бы быстро Аня ни шла тут, ее и здесь заметили. Все женщины, даже старухи, а уж о молодых и говорить нечего, все повели за ней глазами. Геннадий посмотрел вместе с ними: как хороша она была в своей поспешности, целеустремленности. И как расступались перед ней, хотя толкучка тут была. Расступались. Он даже поспевал в образовавшийся проход. Он был с ней, с этим считались.

Мясной павильон был пустоват. Тут торговля уже подходила к концу. Опоздали, явно опоздали они, если, конечно, не довольствоваться какими-то жалкими остатками, этими поникшими ошметками мяса, уныло распластавшимися на прилавках. Опоздали? Аня вошла, остановилась, глянула чувственно на продавцов при таком унылом товаре — и свершилось чудо. Лишь глянула — и чудо. Маленький, чернявый, лысо-кудрявый молодой человек, с топориком, в белом окровавленном халатике, вдруг как-то разом подрос, подпрыгнул, что ли, да так в прыжке и замер, и высокий — он, как оказалось, на цыпочки встал,— побежал навстречу Ане.

— Сколько? Чего?— Он было глянул ей в глаза, но прозрачность их его смутила. Он, мясник этот, смутился.

— На семерых,— сказала Аня.— Вырезку. Да вы сами знаете.

Он — знал. Он кинулся к своей окровавленной колоде, он куда-то нырнул, мелькнув утлым задом, он откуда-то извлек большой сверток, с проступью свежей крови.

— Для себя берег! Ничего не жаль! Аня Лунина, так?! Узнал?!

— Узнал, узнал. Сколько?

— Ничего не жаль!— Похоже, он хотел отдать мясо даром.

— Нет, нет, милый, пальто не надо,— усмехнулась Аня. Не обиделся, снес усмешку, только опять маленьким стал.

— Тридцать рублей. Своя цена.

Аня раскрыла сумочку, небрежно, не глядя, добыла из нее хрусткую сотню, небрежно протянула, глянув прозрачными глазами повыше кудряво-потной маленькой головы.

— Вам привет от Платона Платоновича,— сказала она, даря ему эти несколько слов в награду за усердие.

— О-о!— помолился на ее голос мясник.— А кто это, скажи, красавица?— Он вывалил на колоду из карманов мятые бумажки, отсчитал сдачу, выбирая десятки поновой.

— Платона Платоновича не знаешь?

— О-о, всех забыл!

Она взяла мятые десятки, мясо кивком велела взять Геннадию.

— Пошли, тут сладилось.— А когда они вышли из павильона, сказала, отмахнувшись рукой, как от мухи:— Дурак.

— Теперь куда?— радостно спросил Геннадий, которого яростно обозлил этот мясник коротконогий.— Еще бы немножко, я бы его встряхнул. «Красавица»! Выпучился!

— А он бы тебя топориком. Голову на плаху — и хрясть.

— Не успел бы. Руку с топориком на себя, за плечо и...

— Вот я и говорю, цены тебе нет. А теперь за грибами. Они где-то здесь должны быть, на воздухе.

— Вот они!

На прилавках вдали, где и совсем заканчивался торг, одни лисички желтели, как нарочно, как по мановению доброй феи, появился в сей миг молодой человек с бородкой и корзинкой белых грибов (белых!), которые он как раз начинал выкладывать на доски прилавка.

Аня подошла, почти не поглядела, повела лишь рукой над коричневыми гномами, над крепеньким этим лесным народцем, вынырнувшим из корзинки, чтобы служить ей. Она лишь спросила:

— Сколько?

Молодой человек с бородкой клинышком, явно не рыночный человек, страшно смутился. Он узнал актрису Лунину. Вот уж перед кем ему и не мерещилось предстать торгашом.

— Я, право, не знаю...

— Еще не разузнали, как тут нынче идет белый гриб?— Она не собиралась щадить молодого человека.— Мы спешим, доцент. Ведь вы же доцент, угадала?

Молодой человек готов был провалиться, нырнуть под прилавок, у него аж бороденка взмокла.

— Прогулка по лесу, а тут грибы, грибное вдруг местечко. Не пропадать же им? Жена где-нибудь в Коктебеле, жарить некому. Так ведь?

— Я не доцент,— сказал молодой человек.

— Ну все равно. Сколько?

— По рублю, наверное, за кучку.

— Так вы еще не наделали кучек.

На него жалко было смотреть, и Геннадий пришел на помощь.

— Я недавно покупал такие грибы здесь же,— сказал он.— Если брать все, их тут рублей на пятьдесят.

— Вот и отлично. Прошу.— Аня выложила на прилавок сдачу мясника, брезгливо отодвинула ребром ладони деньги.— Тут, кажется, семьдесят. Я беру грибы вместе с корзинкой. Геннадий, возьми товар у доцента. Прощайте, милый доцент. Вы нас очень выручили.

— Я не доцент,— сказал им в спину молодой человек со взмокшей бородкой.

— Не думаю, чтобы он когда-нибудь еще появился на этом рынке,— сказал Геннадий.

— Да? Почему же? Я, кажется, заплатила ему даже сверх цены.

— Он весь взмок от стыда.

— О, Геннадий, не преувеличивай его застенчивость. Это все — деловые люди. Отчего же не пококетничать с хорошенькой женщиной, с актрисой, не наиграть восхищение. Но ты, надеюсь, заметил, свои денежки они не упустили. Деловые, деловые люди. Только — мелкота. Вот и вся разница — мелкота.

— А какой покрупней, самый бы крупный, не упустил бы и тебя.

— Замолчи! Ты мне грубишь. Разве ты не понял?.. Если угодно, не он, а я сама, понимаешь, сама повисла на нем. Мне наскучили все эти хлюпики, вся эта тонконогая или натренированная на теннисных кортах мелюзга. Английский язык, дипломатические посты, машины иностранных марок! Сынки! Сыночки! Сами ничего, ничегошеньки из себя не представляющие! Мамина забота, папины возможности! А этот... Ты-то почему к нему ходишь? Ведь не только же из-за денег? Он — личность! Он — лидер!— Она остановилась как бы для того, чтобы перевести дух, сама себя высмеяла смешком:— Нашла где исповедоваться! Впрочем,



здесь такой воздух... Да, а теперь зелень, фрукты и — домой.

Они вернулись в павильон, где продавалась зелень, Аня умерила шаг, спешить больше было некуда, корзина отяжелела добычей.

— Главное: не забыть киндзу, — сказала Аня. — Эту травку я почему-то возлюбила, хотя и не знаю, когда ее надо есть. Спрошу у Платона Платоновича.

— К мясу киндза, к мясу, милая, — сказала пожилая восточная женщина, подхватывая, отряхивая от воды пучки своего товара. У нее золотые браслеты были на полных, в синеву уже от возраста руках. У нее и серьги тяжелые повисли, и цепочки из золота опутали, впиваясь, набрякшую шею. — А еще к сыру, к брынзе. И к хорошей беседе, когда напротив мужчина, у которого хищные белые зубы.

— И усики! — подхватила Аня. — Маленькие, стрелочками.

— Зачем смеешься? А что, и усики!

Они поглядели друг другу в глаза, что-то там разглядев одна в другой.

— Счастливая? — спросила торговка.

— Не пойму, — призналась Аня.

— Так всегда бывает, когда настоящий мужик.

— У меня в первый раз так.

— Верю. Сори деньгами, проверяй. Даже совсем скупой мужик, когда любит, становится щедрым.

— Я и сорю, — рассмеялась Аня. — Но он, увы, очень богатый, так его не проверишь.

— Это плохо. Очень богатый — у нас это плохо.

— А сама вся в золоте.

— А, не завидуй! Прощлым обвешалась! Стала бы я тут этой дрянью торговать! Молодой человек, подставляй корзину. Ты кто, водитель?

— Вроде.

— Береги свою даму. С вас, мадам, всего-навсего пятерка. Ах, девушка, в какой же ты опасной поре!

— От себя не сбежишь. — Аня протянула торговке десятку.

— От судьбы, скажи. От себя я сколько раз убегала, от судьбы не убежала. Пятерка сдачи. Мне лишнего не нужно. — Торговка кинула пятерку в корзину Геннадия. — Береги ее, понял меня?

— А теперь фрукты, — сказала Аня. — Но я, кажется,

начинаю тут уставать. Ароматы эти терпкие. Прямо голова разболелась.

Они вернулись в главный павильон.

— Знаешь, Гена, купи-ка ты сам все эти яблоки, груши, ну, дыню какую-нибудь, а я пока пойду позвоню маме. Идет? Вот тебе сотня. Хватит? Встретимся у автоматов на Цветном бульваре, напротив цирка. Заметил там автоматы, стекляшки такие?

— Заметил.— Он взял ее сотню, хрустнул ею, засовывая в карман.

— Вот там.— Она пошла от него, торопясь проскочить зону лазерных, нет, рентгеновских лучей, которые направили на нее все эти местные джентльмены — фирменные штаны, фирменные курточки, фирменные усики. Геннадий было попробовал поглядеть на удаляющуюся Аню их глазами, и дышать ему стало нечем. Прибить бы всех! По мордам, по мордам бы им разжатой пятерней, чтобы сгасли эти глазки-буравчики, эти раздевающие женщину рентгенчики.

Он торопливо купил несколько яблок, что покрупней, несколько груш, совсем громадных, купил, не торгуясь, хотя и заломили с него, большую дыню, купил громадную ветвь сине-черного винограда. Корзина его едва все это вместила.

— А помидоры?! Напомнил какой-то старикан, протягивая на ладонях крупные красные помидоры.— С родной земли, не ташкентские. Ты ведь русский? Возьми, поддержи старика. С нашей, с подмосковной землицы.

Он купил помидоры, дав старику самому вытащить из зажатых в руке бумажек несколько рублей.

— По совести беру, не страшись. По-божески. А дамочка у тебя, как приметил, ой беда, ой норов. Ты с ней поостроже. Бабы, они без строгости...

Геннадий отошел от старика. Что еще купить? Про что забыли? Он повел глазами и углядел цветочные ряды. Там рдело, белело, желтело, и оттуда тянуло не жратвой, а полем, лесом, там потише было, почестнее.

Он подошел к первому цветочному прилавку, к первому же старику в белом, высоком, как у дворника, фартуке. Перед стариком стоял громадный кувшин с розами. Не счесть, сколько их тут было.

Геннадий сунул руку в карман, где еще оставались у него после вчерашнего бара четыре хрустких четвертных.

— Сколько за все?— спросил.

— Так-таки за все?— усомнился старик.— Размах что замаха.

— За все!

— Ах, молодость, молодость! Уважаю!— Радость старика была понятна.— Ну, чохом! Ну, чтобы не стоять здесь! Ну, бери за сотню!

— А у меня больше и нет,— Геннадий достал четыре хрустких четвертных, как избавляясь, торопливо протянул их старику.

— И отлично! Значит, не продешевил!— Старик выхватил обеими руками из кувшина свои розы, громадную охапку роз, умело обернул эту охапку в листы целлофана, протянул, желая и суля:— Удачи! Сватовства безотказного! Детей румяных!

## 19

Как великолепен он сейчас был, наш Геннадий, если глянуть на него со стороны. В руке одной, оттягивая ее, повисла цветастая корзина, в которой царило само изобилие, все дары рынка, все лучшее, что тут было, улеглось в этой корзине. И так разместилось, что залюбуешься. Нарочно никакой художник не смог бы лучше подобрать цвета — красный от помидоров рядом с желтым от дыни, с румяным от яблок, с зеленым от лука, синим от винограда, коричневым от груш. И еще и еще — тона и полутона. Это в одной руке. А в другой, едва вобрав в цепкий охват, нес он свою охапку юных роз, иные бутоны еще не распустились, на них, казалось, еще жива роса. Геннадия самого за этими розами и возле этой корзины почти не было видно. Шли на длинных чьих-то ногах великолепная клумба и великолепнейший сад-огород-бахча.

Таким цветником и садом Геннадий и подошел к стекляшкам автоматов, выстроившимся рядком в проходе Цветного бульвара. Еще издали увидел он сквозь цветочную чашобу в одной из стекляшек Аню. Она там хорошо устроилась, спокойно беседовала, не заботясь, что ее со всех сторон разглядывают, что уже небольшая толпа поклонников и поклонниц собралась неподалеку. Можно было подумать, что они смотрят на нее в экране телевизора. Рамки из стекла и были совсем такими же, как большой экран. Она же в том экране жила своей обычной, очень правдивой, располагающей к доверию жизнью.

Геннадий подошел поближе. Стекляшка не была защищена ни от взглядов, ни от ушей. Он услышал, как своим изуми-

тельно правдивым голосом Аня говорила что-то мирное, спокойное своей матери. Больше слушала, лишь иногда успокаивая, как вот сейчас:

— Ну мамочка, ну что ты волнуешься? Все хорошо, все просто отлично у меня и замечательно... Да говорила же я тебе...

Она увидела розовый стоголовый куст, надвинувшийся на нее, эту корзину доверху, узнав по ней, по торчащим длинным ногам, Геннадия. Она обрадовалась, рассмеялась, замахала, зовя свободной рукой. Вскрикнула радостно:

— С ума сошел, столько роз! Нет, мамочка, это я совсем другому товарищу говорю. Представляешь, предстал передо мной с букетом величиной с наше красное кресло в столовой. Нет, ты его не знаешь. Конечно, славный малый. Ну, мамочка, я прощаюсь. Предстоит вечеринка. Да, еще день, но... И возможно, я даже тут останусь ночевать. Не тащить-ся же ночью через весь город. Провожатые? Ну их! Ночью-то, ну их! Надежнее переночевать у подружки. Нет, ты ее не знаешь. Я вас обязательно познакомлю. Мамочка, не смей, прошу тебя, тревожиться. Ну что это такое? И потом, разве дочь у тебя еще маленькая? Совсем, совсем взрослый ребенок. Правда? Целую. Я еще позвоню.— Она повесила трубку, тяжело вздохнула, как после труднейшего на сцене разговора, когда столько надо было всего сыграть, и по правде, только по правде, что пот ручьем, но никакого усилия показывать нельзя было, как раз никакого пота, а одно лишь беспечное щебетание, лишь радость жизни в голосе. Уф, как это все трудно — такое сыграть или вот убедить родную мать, что нет ничего тревожного, если она, ее дочка, где-то там заночует, у какой-то приятельницы, которую мама ее еще не знает, но, конечно, скоро с ней познакомится. И там, неведомо где, громадный букет роз неведомо кто ее дочери преподносит. «Конечно, славный малый...»

Аня подошла к Геннадию, рукой гоня на себя ветерок: взмокла там, в стекляшке.

— Все купил.— Он поставил корзину и протянул Ане скомканную в кулаке сдачу.— Осталось от сотни.

— И все, что в корзине, и эти цветы — и еще сдача?— Она взяла деньги, кинула их туда же, в корзину.

— Цветы я на свои купил.

Тогда она совсем близко придвинулась к нему, заглянула в глаза, спросила сочувственно:

— Это так серьезно?

— Не совсем на свои.— Он отвел глаза.— Собственно го-

воря, на его же опять деньги. Он вчера дал мне две сотни за какую-то там работу на него. Ну, одну сотню я прокутил с друзьями, а на вторую...

— О, совсем все серьезно!— Она опечалилась, морщинка залегла между бровями.— Бедная я... Возле меня мужики не умеют дружить...— Она взяла у него цветы, сразу же запламенели они и стали праздником, а рядом с Геней они поддремывали, он всего лишь нес их. Аня же Лунина шла с ними, вошла в них. Эта площадка на Цветном бульваре стала сценой. Набегали все новые зрители. Они наблюдали, притихнув, как движется их любимая актриса, сошедшая к ним сюда с экрана их домашних ящиков-чудодеев, чтобы сыграть прямо здесь, посреди бульвара, какую-то загадочную сцену из загадочной очень, из счастливой, праздничной жизни. Эти розы, эта изобильная корзина, этот длинноногий, громадногласый влюбленный (а что влюбленный, это было ясно-понятно) и она в цветах — все это поставлено было каким-то талантливым режиссером, игралось по сценарию. Того и гляди, зажурчит где-то сбоку притаившаяся в кустах кинокамера, а потом прозвучит усиленный рупором голос режиссера: «Стоп! Снято!»

А про что фильм? Про счастье? Про радость? А может быть, про взрослых этих детей, про наших взрослых детей, которые вот так ходят-бродят где-то по городу, с цветами и плодами, а куда забредут — нам, отцам и матерям, неизвестно. Позвонит такая, совсем взрослая, а для матери своей совсем маленькая, скажет беспечным голоском: «Мама, да ты не волнуйся! Мама, я сегодня домой не приду!» — и все. И вешай трубку, мама, и скрывай глаза от мужа, который уже все понял, наклонил голову, смолчал, готовясь к бессонной ночи, еще одной, ибо такова уж их участь — матерей и отцов взрослых детей. Так про что фильм?

Они снова миновали школу номер сто тридцать семь, возле которой не стали задерживаться, только поглядели на нее, поглядели и на дом напротив, как бы данный в разрезе, да он и был в разрезе, был уже погибшим домом, покинутым людьми, когда-то жившими и в этой комнате с желтыми обоями, ходившими по этой лестнице, от которой остались лишь срубы ступеней и синяя полоса вверх вдоль лестничного марша.

Вышли на Трубную улицу, куда стекали и Последний переулок, и Большой Головин, и Пушкарев переулок, недавно ставший улицей Хмелева.

— Пойдем по улице Хмелева,— сказала Аня.— Там

ведь филиал театра Маяковского. Пойдем, глянем на афиши, что они там ставят у вас.

Свернули на улицу Хмелева.

— Платон этот будет ругаться, что так долго,— сказал Геннадий.

— Пускай. Соскучился? А я вот нет. Может, отменить всю эту затею и укутать мне домой?

— И правильно!— обрадовался Геннадий.

— А вот и неправильно! Будем веселиться! И надо ведь проверить, как это П, П, П— надо же, три П!— умеет готовить! Тебе есть не хочется?

— Хочется.

— Съешь яблоко. И я съем.— Она взяла из корзины яблоко, белозубо улыбнулась этому яблоку, надкусывая, одаривая его прикосновением своих губ. Геннадий про свой голод забыл, загляделся на нее.

Вот и театр этот. Он был в первом этаже большого, неряшливой постройки дома, с повисшими по фасаду недавними лифтами. Театр разместился тут в подвале, в обширном, глубоком. Какие-то там раньше склады были, товары копилась. Геннадий несколько раз был в этом театре, когда в школе учился. Ему нравилось, что надо спускаться в подвал, сразу в тайну будто приходишь. Пьесы, которые он там смотрел, сдвинулись одна с другой, эти воспоминания сейчас было не расцепить.

На одной из створок входа небрежно была прилеплена бумажка, сообщающая, что театр закрыт, отбыл на гастроли до сентября. Но дверь была не заперта, и Аня вошла, вступила на крошечную площадку перед кассой и лестницей, мраморные ступени которой круто вели вниз.

Перед кассой, за столиком администратора сидела увядшая женщина, караулившая вход. Она сердито вскинулась на пришельцев, готовая обругать их, но вздрогнули ее губы, сминая готовое слово, нарождая иное. Она узнала Анну Лунину.

— Господи, Лунина!

Хотела выкрикнуть: «Куда вас черти несут?!» А сказала: «Господи!»

— Мы только на минуточку,— сказала Аня.— Я только вздохну театром. А где ваши гастролеры?

— В Свердловске были. Теперь все поразъехались в отпуск. А я ведь ваша поклонница, Аня. Знаете, мы все, театральные, на вас большие надежды возлагаем.— Оживало, окрашивалось увядшее лицо. Наверное, эта старая

и усыхающая женщина когда-то мечтала, а может быть, даже и была актрисой. Из тех, совсем крошечных (не случился талант), но беззаветно преданных театру.

— Спасибо, милая, спасибо.

— Не к нам ли вздумали в труппу вступить? Вот бы была радость!

— Я верна своему театру. Это в хоккее, вот у них,— Аня кивнула на стоявшего за спиной Геннадия,— принято перебегать из команды в команду. Впрочем, я бы, пожалуй, не отказалась сыграть тут у вас в какой-нибудь драме, даже трагедии. Вот для них,— она снова кивнула на Геннадия,— для здешних жителей, из этих тут ваших перульков. У меня здесь друзья живут.

— Думаю, не проблема,— сказала вахтерша.— Только намекните, и вас тут же пригласят. Хоть в «Родственников», хоть в «Ящерицу». Ни Козлитина, ни Якунина против вас ни в коем случае не станут возражать. Вы у нас душа, мы вас все любим. Вся театральная Москва. Верите?

— Спасибо, родная. А что, и сыграю. Даже не в драме, а в трагедии. Мечтаю сыграть в трагедии. Выкричать себя! А то все в пьесах-пряниках играю. И сама там — пряник.

— Вы сможете, вы всё сможете. Лунина! Анна Лунина! О, о вас уже говорят! Серьезные ценители! Свои приняли. А это не просто, не легко.

— Спасибо, родная, за добрые слова. Вы наша, вы в театр еще девчонкой пришли, угадала?

— Конечно. И уж до последнего вздоха. Как вам хороши эти розы. Цветов должно быть либо один-два, либо целое море. Так же и со слезами нашими, бабьими. Либо две слезинки, либо уж потоки слез. Вы что загрустили? Вам ли грустить?

— Замерзла вдруг.

— Это из нашего подвала повеяло холодком. В жару даже хорошо. Хотите в зал заглянуть, прикинуть, что да как? У нас зал располагающий. И акустика — чудо. Ведь тут сам Плятт начинал, Ростислав Янович. Местечко не без традиций. Подвал? А что — подвал? Самое лучшее на театре начиналось в подвалах, в сараях даже. Станиславский-то, в миру Алексеев, где он начинал? Именно что в сарае. Я верю, я еще буду здесь продавать афишки, в которых птичкой будет обозначено, что сегодня играет Анна Лунина. Сбудется? Обещаете? Заглавная роль в великой трагедии! Даете слово?!

— Даю! — Актриса клялась актрисе, удачливая, взыскан-

ная — совсем почти никакой. Но в главном, в любви своей, в преданности своей, они были ровней. И сейчас не шутили. Серьезный случился разговор.

Снова вышли на зной улицы, поднялись быстро к Сретенке, а там мимо аптеки — за угол, мимо затем столь необходимых порой букв «Ж» и «М» на утлых дверях, мимо входа в восемнадцатое отделение милиции, на пороге которого скучал все тот же улыбчивый старший лейтенант — нет ему роздыха, решил, видно, за всех коллег передежурить! — и вот и тополь этот вековой, вот и домик заветный. Прости весь этот короткий путь без единого слова, в свои уйдя заботы, тревоги. Только со старшим лейтенантом, поравнявшись, перемолвился Геннадий.

— Вот, — сказал, — такие дела.

— Понял, ну, ну, — отозвался старший лейтенант, благожелательно улыбнувшись.

## 20

В две пары зорчайших глаз встретили Аню и Геннадия Рем Степанович и Платон Платонович. Все углядели, все поняли.

— Цветы от молодого человека? — спросил Рем Степанович. — Ты отчего скисла? С мамой по телефону разговаривала?

А Платон Платонович уже рылся в корзине, прежде всего добираясь до мяса. Впрочем, по пути, выхватив крупную грушу, вскрикнул от радости:

— Бера! Как по заказу! Праздник души! Лучше груши есть только груши! Геннадий, ты купил? Сослепу? Такие удачи, такие экземпляры великолепные обязательно достаются лишь профанам. Но, голубчик, спасибо все равно, уважил.

— Представляешь, Рем, он выложил за эти розы целую сотню, — говорила Аня, расхаживая по кухне, входя в гостиную; всюду расставляя по вазам свои розы. Геннадий молча помогал ей, наливал в вазы и вазочки воду, подносил их к ней, идя следом.

— Шальные деньги, а как же, — усмешливо косился, будто бы посмеиваясь, на Геннадия Кочергин. — Трудовые, это когда розетку поставил на стенку, а шальные, это когда у меня поработал.



— Нет, ты не понял,— издали, из глубины квартиры, говорила Аня, переходя с места на место, отыскивая для своих роз самые лучшие позиции.— Тут все не так просто.

Геннадий молча ходил за ней, отрешенным было его лицо. Словно не о нем разговор. А он и не о нем был, этот разговор. Он был вообще разговором, когда что-то же надо говорить, если о главном невозможно заговорить. А главное — оно нависло в воздухе. В чем оно было, это главное, никто бы тут не мог пояснить, но говорилось вот об одном, а думалось каждым про другое, про что-то томящее.

Казалось бы, Платону Платоновичу-то зачем, с чего томиться? Но и он тараторил не о том, про что бы хотелось сказать, но и ему тут трудновато дышалось.

— Слишком много грибов,— ворчал он, кидаясь чистить грибы.— Грибов на столе, особенно белых, царских, должно недоставать. Икры — тоже. Любой деликатес, любой дефицит — он и на столе должен быть не в избытке. Тогда дополнительное происходит слюновыделение, гость начинает жадничать, тянуться с тарелкой. Глядишь, он и все прочее sloпает, пожадничав. А для хозяина с хозяйкой — это радость души. Вот, к примеру, как угощают в Грузии. Не в фильмах грузинских, где мизансцена украдена у Пиросмани и где пируют князя. Нет, на самом деле как угощают, в обычном, не княжеском доме. Там ставят на стол одну всего бутылочку. Сыр — да, лаваш — да, лук — да. А выпить — всего ничего. Гость хватается за эту бутылочку, поняв, если он приезжий, что с выпивкой в этом доме худо. Наливает, спешит выпить, еще себе налить, так сказать, запастись из обмелелого колодца. Ба, а вот и еще одна бутылочка появилась! Речь идет, друзья мои, о водке, только о ней. Сухие вина не принято так подавать. Гость видит еще одну заветную. Но он продолжает спешить. Народу — вон сколько, а бутылка наверняка уж последняя. Между тем сухое вино — это ведь напиток для пыток, его усидеть еще надо. Гость хватается за вторую бутылочку. Наливает, выпивает, спешит. Ба, а вот на столе и еще одна! Ах вот что... Но уже поздно. Уже насосался наш гостюшка. Что и требовалось доказать.

Наконец розы были пристроены, и Аня с Геннадием вернулись на кухню: Здесь ничего невозможно было узнать. Упорядоченный этот японский рай, где для всякого продукта была своя полочка, свое место, свой цвет и даже градус, превратился за какие-то минуты в тот же самый Центральный рынок, но только сгрудивший, перемешавший ряды. Все,

весь товар, всю добычу, принесенную в корзине, и все эти банки и жестянки, добытые из двух холодильников, Платон Платонович раскидал, разметал дерзко и вдохновенно, чтобы подсобнее было ему рудиться. И он уже был в кокетливом Анином фартучке, слегка напоминая теперь развеселую немолодую бабу, вскорости ожидающую ребенка.

Рем Степанович, забившись с креслом в уголок, не мешал ему. Поглядывал лишь будто бы веселыми глазами.

— Рем, да он же погромщик какой-то!— обрадовалась Аня.— Так ей, так ей — этой кухоньке! Русский человек простор любит!— Она тоже подкатила кресло в угол, усе-лась, положив руку на руку своего Рема Степановича, шепнула:— Милый, расхмурься.— Громко позвала:— Гена, тащи кресло сюда, садись. Будем наблюдать артиста из первого ряда партера.

Геннадий так и сделал, подтащил еще одно белое кресло, легко покотившееся на вертко-послушных колесиках, сел рядом с Аней.

— Мясо! Мясо! Мясо!— азартно перешлепывая вырезку с ладони на ладонь, пританцовывал Платон Платонович.— Отличное мясо! Мой карапет отпустил?

— Он,— сказала Аня и вдруг начала вдохновенно лгать:— Едва только я передала ему привет от Платона Платоновича, как он аж подпрыгнул. И кинулся врассыпную. Мяса на прилавках вообще уже не было. Одни ошметки. А тут сразу появилась эта вырезка. Ваше имя, Платон Платонович, сотворило чудо.

— Да?! А я что говорил?!

Зашипело, задымилось мясо, брошенное издали и небрежно на раскаленные сковороды. Цирковой прямо номер. Без промаха летели куски, ложились, как у жонглера, того и жди, назад полетят.

— А!— побахвалился своим умением Платон Платонович.— Рем, гости твои точны? Такое мясо не передерживают.

Рем Степанович глянул на часы на руке, зачем-то поглядел и на часы на столе и на часы, вмонтированные в кухонное устройство, где еще было столько всяких циферблатов и кнопок, словно эта кухня умела и летать. Все стрелки показывали одно и то же время.

— Мои гости точны,— сказал Кочергин.— Приучены к точности. Деловой, обязательный народ. Сейчас заурчат моторы. Действуй.

— Есть, капитан!— Платон Платонович вдруг отбежал от плиты, от шипения и бульканья, подскочил к Ане, зорко и

усмешливо глянул ей в глаза.— Про карапета соврала, голубушка? Он и не вспомнил меня, так?

— Да что вы, что вы!— правдиво распахнула она свои прекрасные, свои и без того правдивые глаза.

— Подтверждаете, молодой человек?— уставился Платон Платонович на Геннадия.

— Не вспомнил,— сказал Геннадий, глядя на Аню, дивясь ей.

— Вот! Он еще не безнадежен!

— Горит твое мясо-то,— сказал Рем Степанович.

— У меня может все сгореть, но мясо у меня не подгорает.— Платон Платонович мягко, по-тигриному, шагнул к плите, в обе руки схватил две сковороды, рванул, подбросил на них куски мяса, цирковой демонстрируя номер.

— Вот и цирк! Вот мы и в цирке, Гена,— сказала Аня.— А ты — предатель.

— Причем, учтите, в цирке, где работают без лонжи. Впрочем, тут все работают без лонжи.— Платон Платонович обернулся, всмотрелся, поблескивая зоркостью своих дальнорюжих к старости глазок.— Верно, Рем Степанович?

— Это уж точно,— отозвался Кочергин и опять посмотрел на свои часы на руке и на часы в плите и на столе.— Друзья, пошли в гостиную.— Он поднялся.— Наш повар работает сразу две работы. Он и жарит-парит и прикидывается Жванецким. О, эта страсть к намекам и к обличениям, столь свойственная нашим друзьям! Я привык, конечно, я смирился, но иногда...

Аня поднялась и пошла за ним. Геннадий помедлил, поколебался, сжимая и разжимая пальцы на ручках кресла, но тоже встал и тоже побрел за ними.

— Иди, иди, паренек,— сказал Платон Платонович.— Но учти, здесь тебе жарко, а там будет душно.

Действительно, там сразу стало душно. Войдя в гостиную, Рем Степанович принялся включать все свои увеселительные ящики. На цветном экране вспыхнули забавные мультяшки, кассетный магнитофон тихонечко запел женским низкоголосым дуэтом. Женщины зывали с сильным акцентом: «Ямщик, не гони лошадей!..» А на экране другого телевизора, черно-белого, скромно забившегося в уголок, но снабженного видеоприставкой, вдруг вспыхнули и ударили в глаза нагие тела. Они там завозились, в углу, эти тела. Хочешь крупным планом? На, смотри. Еще крупней крупного план. Что, заколотилось сердчишко? Наползла на глаза муть?

Войдя, и воззрился в этот угол Геннадий. Сразу же отвел

глаза, потому что Аня на него из-под руки смотрела, но сразу же и вступил в духоту, в подсматривание это. Все трое сейчас тут друг за дружкой подсматривали, имея в виду этот из сплетенных тел мерцающий экран, на который смотреть было стыдно, друг перед другом стыдно, но и не смотреть было трудно. Впрочем, Рем-то Степанович — он забавлялся, поглядывая на Аню и Геннадия, ему та карусель в экране давно наскучила, ему все, должно быть, давно наскучило, а уж эта лихорадочка и подавно. Иная лихорадка, иная забота жгла его, но важно было не показывать вида. Вот он и не показывал, отвлекаясь, развлекаясь.

— Да выключи ты эту гадость!— не выдержала Аня.— Что за смысл в этой порнографии на экране?

— Добродетельность ваша, сударыня, меня умиляет,— сказал Рем Степанович.— Впрочем, вы ведь понагляделесь, надо думать, на гастролях, по заграницам-то. А вот Геннадия внове. Выключить, Гена? Только не ври, не ханжи. Суббота — не работа. Гуляем!

— Выключить,— сказал Геннадий, разрешив себе еще разок глянуть на экран, так сказать, на прощание. Но взглянув, споткнулся о взгляд Ани.— Ничего интересного!— Он озлился: ну чего смотрит, что он ей?!— Может, старикам интересно!

— Верно, старикам и это интересно, старики народ любознательный.— Рем Степанович выключил экран, тела там медленно сгасли, содрогнувшись в последний раз.

— Смотрите, дети, мультяшки, это для вас.— Кочергин снова глянул на часы на руке, поискал глазами и нашел старинный циферблат на камине. Витые стрелки там, жившие под фарфоровыми ногами и подолами кавалеров в чулках и дам в кринолинах, показывали точно такое же время, что и современная «Омега» на руке.— Что это с ними? Почему не едут?— Он потянул из угла дивана свой занятный телефончик, змейкой выскользнувший к нему, набрал номер. Долго ждал, вслушиваясь в отозвавшиеся длинные гудки, не возьмет ли кто там трубку. Никто трубку не поднял.— Выехал один. В пути.— Рем Степанович еще один номер и снова по памяти набрал на диске. И снова длинные гудки, и снова никто трубки там не поднял.— И этот в пути.— Он еще один набрал по памяти номер. Снова все так же получилось: длинные гудки, никто трубку не поднял.— И этот в пути. Что ж, да нас четверо. Полный сбор. Пойду гляну, не надо ли пособить Платону. А вы смотрите, смотрите свои мультяшки. Про милых этих зайчиков и попугайчиков.

Тоже плодятся как-то же. Скоро, уверен, и детишек начнут про это просвещать. О, прогневший Запад!

Он ушел, забывчиво погрузнев, чуть пришаркивая. Так, должно быть, он ходил по дому, когда был один и когда заботы, тревоги, все эти соображения и хитросплетения так умучивали, что позабывался самоконтроль и годы, старость эта проклятая, вставали на пороге. Еще не сцапала старость, но уже на пороге. Обычно, поймав себя на том, что ступил не вверх, а вниз по ступенькам, человек встряхивается, опамтывается, вскидывает тело, чтобы назад, чтобы вверх шагнуть. Так с каждым из нас случается. На людях — прежде всего, но наедине с собой — тоже. Рем Степанович не вспомнил, что Аня тут, забыл и сам про себя, про свой за собой контроль. Так и ушел, мешковатый вдруг, пришаркивающий.

— Что с ним, что с ним?!— горестно вырвалось у Ани.

— Он двумя жизнями живет, Аня,— сказал Геннадий.

— Замолчи! Ты необъективен!— Она яростно глядела на него.— Выкинь из головы! Выкинь и успокойся! И вообще, кто ты такой?

— Мне уйти?

— Нет! Без тебя еще хуже станет. Но сиди — и не вмешивайся.— Она смягчилась, ушла из глаз холодная голубизна, вернулась густая, живая синева.— Гена, ты славный парень, но ты не можешь понять... Смотри, смотри мультяшки.— Она поднялась, провела, усмиряя, рукой по его голове и пошла из комнаты, сказав еще, как бы одаривая:— Эх ты, заяц...

А он действительно уставился в экран, где заяц снова надул волка.

«Ну, заяц, погоди!»— орал волк, яростно грозя лапой.

## 21

Фильм кончился. Выплыла на экран знаменитая Валентина Леонтьева, которая когда-то жила в их Последнем переулке, да, да, снимала тут комнату, когда еще только начинала свою работу на телевидении. В их доме и снимала, в квартире напротив. Он ее тут не помнил. Давние времена. Совсем маленьким был. Но что жила здесь, это точно. Это не легенда. В их переулке действительно когда-то жила Валентина Леонтьева. Этим гордились тут, как и гордились Ремом Степа-

новичем Кочергиным. Им еще больше гордились. Он тут родился. Мало ли кто у них комнаты снимал, а он здесь родился. И с переулком родным не порвал. Вон как тут живет-поживает. Да, а что если внять совету и не вмешиваться? А как же тогда с Аней? Позабыть про этот тупик в соснах? Про тот разговор? Самому, что ли, «топить сети» да и мотать отсюда? А она, а что будет с ней? А кто она ему? Такая же вот телезнакомая, как эта Валентина Леонтьева, объявляющая сейчас дальнейшую программу на субботу. Ну, встретились случайно, ну, сходил с ней на рынок. Ну, нравится она ему. Нравится? Не то, конечно, слово, но а какое еще слово подобрать? Какое? Ей-то он без надобности. Совершенно. Окончательно и бесповоротно. Тут безнадега для него полная, смешно даже об этом мысли ворошить. Уходить надо. Встать, пройти через кухню — и в дверь и еще за дверь, а там — улица. И прощай, Анна Лунина! Расплылась, ушла из экрана Валентина Леонтьева. Вот так же расплывется, уйдет из его жизни и актриса Анна Лунина. Геннадий пошел на кухню. Глянул, прощаясь, на книги «про Москву» — сколько их тут было, за целую жизнь не перечитать! — глянул, прощаясь, на картины на стенах и тоже «про Москву». Он уходил из этого дома, прощался с ним. Ему предстояло еще только попрощаться с его обитателями. Ну, это дело не сложное. Кто он им? Кто они ему? «И вообще, кто ты такой?»

А на кухне вот что происходило: мужчины соревновались в изготовлении салатов. Рем Степанович тоже облачился в пердник, стоял, обставившись банками в пестрых этикетках, что-то из них выхватывая, что-то вымеряя, убавляя и прибавляя, прежде чем выложить на блюдо. Его салат был замысловат, и замысловатый аромат потянулся от него, знакомый, острый, пронзительный. А Платон Платонович колдовал над обычными помидорами, над листиками киндзы, петрушки, не забывая и о сковороде с грибами, о своих сковородах с мясом, — он работал, как многостаночница-ткачиха, мягко переступая, но руки у него кидались и мелькали. От его салата струйкой шел божественный аромат свежести. Он же заведовал и ароматами жарившихся грибов, варившейся молодой картошки, исходящего соком мяса. Он явно побеждал. Но и Рем Степанович не сдавался. Его салат рос, и густел над ним воздух, и казалось, что все эти пальмы и синие лагуны с этикеток, все эти пучеглазые омары, растопырившие страшно свои клешни, вся эта заморщина обрела свое место на блюде, маленькое там выстроив государство.

Под потолком, может быть, эти ароматы и смешивались. Но понизу они жили каждый сам по себе — хочешь, от одного вдохни, хочешь — от другого.

Аня сидела в уголке в кресле и наблюдала. Она рукой поманила Геннадия, приказывая подойти, сесть рядом. Он подошел, сел рядом, напрочь забыв о своем решении уйти из этого дома. Вот так вот: она — поманила, а он — забыл.

— Меня не допустили, — сказала Аня, любуясь своим Ремом. — Не женское, оказывается, это дело — готовить жратву.

— Если жратву, то, может быть, и женское! — живо подхватил Платон Платонович. — А если обед, салат, настоящую праздничную еду, то это дело сугубо мужское. От века — мужское. Это когда же в настоящих ресторанах работали женщины? Это где же вы видели шефа — даму? В столовке? Извольте, там пожалуйста. Но в ресторане, но в солидном доме — никогда. У цезарей, королей, князей и прочей всякой публики подобного ассортимента всегда служили повара. Да и мужского же рода — повар. А повариха — это нечто подсобное, вторичное, преобразованное. Впрочем, далеко не каждому и мужчине дано познать поварское искусство. Берутся многие, модным стало, чтобы вот такие мужи совета, как наш Рем Степанович, в передничке — гляньте на него, нет, вы только гляньте на этого пижона! — сами мясо жарили, сами салаты компоновали. Но... Жалкая, я вам скажу, картина... И на глаз и на язык... — Платон Платонович быстро подхватил ложечкой с края блюда, на которое выкладывал свои продукты Рем Степанович, по-кроличьи прожевал подхваченное, сморщился и ужаснулся. — Яд! Отравя!

— Не по правилам соревнуетесь, уважаемый, — оттолкнул Платона Платоновича всерьез обидевшийся Кочергин. — Слово за судьями, за жюри, а вы, милейший, ковыряйтесь там у себя со своей мешаниной для второразрядной столовки.

— У меня — для второразрядной?! — завопил Платон Платонович. — Нет, я ухожу! Здесь не ценят искусство! Здесь собирают книги, картины, здесь блеск и шик, но здесь обосновалась грубая душа! Аня, он у вас грубой души человек, поверьте! Он омарами занюхивается, когда рядом благоухает белый гриб! У него обоняние сбито!

— Зато обаяние есть, — сказала Аня.

— Обаяние? — Платон Платонович задумался, пожевал по-кроличьи, будто слово это пережевывая, согласился неохотно: — Да, обаяние еще есть. Стал бы я в это его логово

ходить, если б не обаяние. Тут не отнять. Что-то в нем такое-раздакое, в вашем Реме Степановиче, что тянет к нему. Порода есть, московский, нашенский. Опоздал родиться, конечно. Ему бы в пору расцвета российской буржуазии на ножки встать, он бы и Морозову, фабриканту тому и меценату, мог бы ножку подставить. Собрание картин купцов Третьяковых, кропоткинская коллекция импрессионистов купца Щукина — или не дело? А этот бы, глядишь, кочергинский музей «про Москву» основал бы. И не из украденного, зачем же. На личные капиталы.

— Считаешь, что Щукин свои личные капиталы праведными трудами добывал?— серьезно спросил Кочергин, отходя от стола, снимая, срывая с себя наскучивший передник.— Фу, жарко!

— Крал, конечно. У народа, разумеется, прихватывал. Но узаконено тогда было это воровство. Вот в чем штука. Понадобилась, всего ничего, Октябрьская революция, чтобы кое-что поменять в акцентах. И твои, Рем Степанович, ты уж прости меня, извини старика, твои в твоих там апартаментах картины, они нынче как-то, полагаю, не совсем законными путями добыты. На трудовые такое не укупишь, ты уж прости, извини старика. По запасничкам вы, входимущие, шастаете. За бесценок, по уценочке какой-то несправедливой скупаете. У тебя еще не Третьяковка, куда тебе, но уже что-то такое-этакое, что если глянуть, холст обернув, можно и возвратить по месту, так сказать, прописки.

— Ну кого пригласил?! Обличитель!— Рем Степанович с широкой улыбкой выслушивал рассуждения Платона Платоновича, приучил себя к такой вот служебно-широкой улыбке, но глаза, а Геннадий в его глаза поглядел, недобрыми стали, ни единой там не было смешинки, хмурый, стальной там жил цвет.

— Прощеньца просим!— начал кланяться Платон Платонович. А вот у него глазки смеялись, потешались.— Язык мой — враг мой.

— Враг, враг. Не паясничай, Платон. Тошно.

— Да приедут твои данники, вот-вот ввалятся. Не томись. Развеселые, остроумные, добренькие, демократичненькие. Душа, не мужики. Аней восхитятся, меня обласкают, Геннадия приветят. Чу, не мотор ли?!

Все прислушались. Все, следом за Кочергиным, который даже шагнул к окну поспешно. Нет, показалось, тишина угнездилась возле дома.

— А ждать ведь некогда,— сказал Платон Платонович.—



Это пускай опоздавшие едят перепревшее, а нам бы уже и к столу пора.

— Что ж, накрывай, Аня!— решительно распорядился Рем Степанович.— Они там едут, а мы тут — едим. Каждому — свое.

— Афоризм! Умница!— возликовал Платон Платонович.— Одни — едут, другие — едят. Надо будет запомнить. Что за человек этот Рем Степанович! Книжки тебе писать! Прозу художественную!

— Сперва нагрубил, а теперь подлизывается,— сказала Аня.

— И тогда не грубил и сейчас не подлизываюсь.— Платон Платонович сделался серьезным.— Нет, милая красавица, вы меня не поняли. Я на том стою, чтобы всегда правду говорить. Форма подачи — это как блюдо. Важно, что в блюде. Вот сейчас и отведаем.— Он опять принялся шутить да ухмыляться.— Моя салатница поскромней, он мне нарочно такую выдал, а у Рема Степановича с завитушками, с разрисовочкой. А на язык? Сейчас, сейчас отведаем!

— Уходите все отсюда, тесно от вас,— сказала Аня.— Стол накрывать — женская работа. Не так ли, товарищ шеф-повар?

— В домашних условиях — пожалуй. Но если прием, банкет, если для княжеского, для сановного застолья, тут уж мужская сметка нужна.

— У нас не княжеское застолье. Уходите, не мешайте.— Аня сердилась, тарелки в ее руках начали рискованно позванивать.

— Уходим, уходим. Геннадий, пошли! Глянем на картинку тут на замечательные. Обратил внимание? Я в это логово ради них и прибежал.

Платон Платонович согнул руки в локтях, взаправду побежав из кухни в гостиную. Геннадий пошел за ним. Теперь, пожалуй, духота начинала сгущаться в кухне, где хмурая Аня и хмурый Кочергин, взявшийся помогать ей, звенели драгоценными темно-синими тарелками, тяжелыми вилками и ножами, как-то так звенели, словно переговаривались между собой, и разговор этот был их собственный, не для посторонних.

— Главные картины у него в кабинете,— сказал Платон Платонович.— Взойдем не спросясь?— И сам же себе разрешил:— Взойдем. Раз музейные, стало быть, для народа.— Он знал, где надо нажать на кнопку, чтобы отворилась дверь, нажал, и дверь отворилась.

Вошли. Вот она — церковь Святой Троицы в листах.

— Это ведь наша церковь,— сказал Геннадий.— На углу Сретенки стоит.

— Знаю. Жени Куманькова пастель. Отлично пишет парень Москву. В большого художника выписался. А почему? Как думаешь?

— Не знаю.

— Ну, остановила тебя эта картина? «Наша церковь»— сказал. А почему — «наша»? Ведь ваша-то совсем не такая нынче. Просто дом, приплюснутый почти плоской зеленой крышей. Какие-то там недавно еще склады были, куполов-то этих нет и в помине.

— Я заметил. Пробежал сегодня, заметил.

— Вот! Заметил! Сперва картина эта тебе в душу запала, потом уж и стал замечать, что на углу твоей Сретенки стоит церковь прекрасная, но только чуть что не убитая. А — почему?

— Что — почему?

— А потому!— Платон Платонович торжественно поднял палец, и вдруг затрясся у него подбородок, как перед слезами.— А потому, что Куманьков Евгений любит! Он то пишет, что сердцем полюбил. Он, смотри, скорбит, он слезы льет в своей картине. И он ей дарит свою мечту, свою надежду. Не реставрирует, не вспоминает — ему и вспомнить нечего,— не срисовывает со старой фотографии, он — мечтает, домысливает, угадывает. А сравни со старой-то фотографией, и выйдет, что он написал точнехонько такую церковь, какой она была. Художник, если он художник, всегда душой перекликнется с истиной. Один другому руку протянет, непременно. Один построил, возвел в семнадцатом веке, а другой, хоть и горела церковь эта в наполеоновском пожаре, хоть и перестраивалась, перекраивалась потом, меняясь хуже чем от пожара, а другой, в двадцатом нашем веке, годика два всего назад, но когда еще реставрация не началась, взял да и написал все так, как было. Угадал сердцем. Вот потому — и художник.

Платон Платонович шел от картины к картине, молитвенно сводя ладони. Вспомнилась Геннадию его тетка, так же вот ходившая от картины к картине на выставке Николая Рериха. Она молилась, и этот молился. Шептали губы Платона Платоновича, загадочные для Геннадия произносятся имена:

— Сомов... Фальк... Юон... Господи, Аристарх Лентулов!.. Смотри, смотри — прибавление есть! Гравюры Захарова,

Фаворского... Пименова откуда-то добыл. О господи! Душа извелась! Завидую! Вот этому — завидую!

С порога кухни их позвала Аня:

— Прошу к столу! Музей закрывается на обеденный перерыв!

— Пошли, Гена,— старик взял его под руку.— Пошли, заморим голод духовный пищей телесной. А все-таки откуда это у него, как думаешь?— Этот свой вопрос Платон Платонович задал шепотом.

— Украл?— нетвердо произнес Геннадий.

— Полагаешь?!— обрадовался старик, лукаво сверкнув глазками.— Так-таки взял да и украл? Нет, дружок, все не так просто. Краденое утаивают, а у него — на, смотри. Не для всех, конечно, но ведь многие же знают в Москве. Тут что-то не так. Или, может, обнаглел кое-кто сверх всякой меры у нас? А?! Обнаглели — и все! Хапают — и лады! С рук-то сходит, ведь сходит? Как думаешь?

Они вошли в кухню, и Платон Платонович хотел было свести ладони, чтобы тоже помолиться на изобильно заставленный стол, но передумал сводить ладони, храня верность картинам. Он только покивал одобрительно, сказал:

— Сумбур создан художественный, не отнять. А блюда-то у вас перессорились. Это почему? Мир да согласие должны царить на столе. Поступательное, а не наступательное должно тут жить миротворчество. Ко принятию пищи да умиротворимся! Да отринем заботы и тяготы мирские. Господа да возблагодарим за ниспосланное Им!

— Все боучаешь?— сердито глянул на старика Рем Степанович.— Все б тебе шутки шутить, старый!— Он прислушался, не шумит ли мотор за окном. Нет, тишина царила за окном. Тогда Рем Степанович сильно хлопнул ладонью об ладонь, хлопком этим и других и себя призывая к веселью, к застолью.— Садимся! Рюмки доверху! Четверо троих не ждут — это точно!

Зашумели, задвигали стульями, сверх меры оживившись. Геннадий даже инициативу проявил, рискнул поухаживать за Аней, стул для нее отодвинул. Но она этих его движений не заметила, она обошла стол и села там, где стоял Рем Степанович. Он сел рядом с ней, наклонился к ней, улыбаясь, зовя к радости. И она отозвалась радостной улыбкой, которая трудно вступила на ее лицо, недолго и держалась. А все-таки — улыбнулась ему. А все-таки включилась в веселье, сама его и сотворять начиная. Схватила

бутылку «Столичной» налила себе рюмку доверху, спросила азартно:

— А вам, мужички?! Что это вы там придумали, Платон Платонович, чтобы сперва не пить?! Не по-русски! Семужки на язык захотелось?! Да ваш язычок и от перца не сомлеет. Напротив, перец сомлеет! Тягнули! Ну-ка!

И все тягнули, торопливо налив себе, пили, глядя, как она выпила, а она честно выпила, до дна осушила свою обширную хрустальную рюмку.

— Даже никаких тебе и речей не нужно,— сказал Платон Платонович,— когда из таких уст приказ. Так чей же салат лучше, ну-ка, ну-ка!..— Он положил на синюю в розоватых прекрасных цветах тарелку немного от салата Рема Степановича, немного и от своего салата. Он склонился над тарелкой, стал воздух втягивать, аромат дегустируя.— Так-так-так.— Нос его шевелился, губы изогнулись не без сладострастия.

— Гурман,— сказал Рем Степанович.— Хоть картину пиши — гурман на званом обеде.

— И к тебе на стеночку. Так? Что ж, а теперь отведем, куда нос повел. Меня, например, мой нос направляет вот к этой салатной горке. Аромат тут слаще. А чья это работа? А некоего Платона Платоновича. Объективно! У него, у носа-то, своя голова есть. Как, впрочем, у иных-других наших частей тела. Это мы только вид делаем, что голова у нас всему голова. А в нас этих голов до дюжины. Руки гребут — своя у них голова. Глаза выбирают — своя головушка. Нос ведет — у него свое разумение. Впрочем...— Он попробовал и салат Рема Степановича.— Впрочем... терпимо. Предлагаю ничью. Кому — русское, кому — французское. На одной планете живем.

— Ничья — это что-то вроде неприсоединившихся стран,— сказал Рем Степанович.— Модное движение. Я приветствую ничью! Выпьем, кстати, за мир, а как же нам за него не выпить, за замораживание, за... что там еще? Поехали!

Все выпили, и Аня выпила, но Геннадий заметил, что сейчас она выпила не до дна, обрадовался этому. Она и в застолье этом была поразительно хороша. Сердилась — хорошела. Явила — хорошела. Печалилась — хорошела. Пила — любо было на нее смотреть. Ела как! Губы у нее были не жадными, не хваткими. Иные женщины не умеют есть, торопливо едят. Эта — умела. Она все умела. Таковую, как она, он впервые в жизни увидел.

— Грибки, грибки отведайте,— сказал Платон Платонович.— Я их никогда ни к чему не прибавляю, самостоятельное это блюдо. И какое! А?! Осознаете?! А есть страны, Финляндия, например, где люди обокрали себя, не едят грибов. Затмение вышло на целый народ, на умный народ. А почему?

— Все до сути доискиваешься?— глянул Рем Степанович, но не сердито, финские дела его сейчас не шибко заботили.— Ну-ка, почему? Растолкуй нам.

— До сути — именно. Пищу-то ведь мы разжевываем, достигаем ее сути. А вот живем, часто играя с собой в жмурки. День прожили — и рады. Еще день — опять хорошо. А что будет завтра, послезавтра?

— Опять за свое!— сказала Аня.— Вы про финнов же собирались нам объяснить, отчего они там грибы не лопают.

— А потому, красавица вы моя, что в древние времена они очень бедно жили. Земля у них не щедрая, ископаемых никаких. Лес? Так лес тогда везде был, никто его не покупал, не вывозил. Бедность — она не выдумщица. А гриб выдумку требует. Ему масло нужно. Сметанка необходима. Где взять бедному человеку? Вот потому.

— А сушить грибы? Отчего бы им не сушить грибы в своей тогдашней бедности?— спросила Аня.

— Не сообразили, так думаю.— Платон Платонович посмеялся глазками.— Бедный человек не смекалист. Вон богатые-то чего только не придумали. Плита с программным устройством, телевизоры с видеокассетами, холодильники, морозильники, есть, говорят, машины, которые и стирают тебе на дому и гладят, и складывают даже рубашки. Мечта! А счастья, его все равно нет. Так что ну их, грибы сушеные, какая от них польза, если и при богатстве счастья нет. Мясо подавать?— Он вскочил, вспомнил о поварских своих обязанностях.— Не прислушивайся, Рем, не прикатят теперь уж твои данники. Гость, он не дурак, чтобы к такому обеду опоздать, а ты всем названивал, что я у тебя. Нет, стало быть, раздумали. Подавать?

— Подавай,— сказал Рем Степанович.— Крутёжный ты мужик все-таки, как я погляжу.

— Чтобы еду не приперчить словом, без этого на Руси нельзя.

— Чуть что, киваете на Русь,— сказала Аня, недобро поджимая губы. И это, как она сердилась, и это красило ее, гневность, разгневанность тоже ее красили.— Надоело, скажу я вам, каждый день выслушивать тирады, какие мы

да что нам дано. Особенно тут любят повитийствовать мои собратья-актеры, особенно отчего-то мужички. Мы, бабы, больше на себя рассчитываем, а не на некие там в нас зовы предков.

— А это тоже от предков, от прародительниц ваших!— азартно подхватил Платон Платонович, не забывая и мясо выкладывать на великолепнейшую, тяжеленную, выдолбленную из дуба плоскую ладью с поднятым высоко носом.— Откуда, Рем Степанович, все хочу спросить, у тебя это блюдище? Это же из боярского дома утварь. Тут век аж шестнадцатый повеивает. Может, Иван Грозный сюда клинок втыкал, мясо нанизывая. Люблю старину! В почтительный трепет вводит. Да ты не хмурься, что спросил. Ну, спросил — откуда-де. Ответа ведь не будет. Купить такое невозможно, украсть такое тебе не по росту, велик, чтобы таскать. Стал быть, достали. О это наше словцо — достали! Или это еще понятие — «нужный человек». Или вот это еще — «все может»! А ничего-то мы не можем, если всё можем! Человек не всемогущ, нет, и уповать на подобное всемогущество дано лишь короткоумному хапуге. Это как с едой. Ешь, но не обжирайся. Чуть-чуть да голодным покинь изобильный стол. Чуть-чуть да и не все имей, что восхотела твоя душенька. Тогда ты рыгать не будешь, отупелость тебя не настигнет сытая, тогда ты и не пресытишься и в своих желаниях.— Он стал есть свой кусок, низко склонившись над тарелкой, прислушиваясь, чуть наклоня голову к плечу, к вкусу мяса.— Хороша вырезка! Вам, если без крови, Аня, вот этот вот кусочек нанизывайте. Тебе, Рем, ты с кровью, знаю, любишь, тебе этот кусочек в рот глядит. Наваливайтесь, мясо свой момент имеет. Геннадий, ешь, жуй всеми своими молодецкими зубками, копи силенки.

— Удалось мясо!— похвалил Рем Степанович, молодо впиваясь в мясо крепкими еще зубами.— Если б меньше разговаривал, цены бы тебе не было, Платон.

— В застолье на Руси — виноват, виноват!— от века речи принято плести. Словцо да словцо, намек да намек. Где перец, где медок. Еда, если не мыслить, зад полнит, а если мыслить, голову кормит.

— Из пословиц и поговорок затвердили?— спросила Аня. Тихо спросила, перестала сердиться на старика. Но так ли?

Платона Платоновича насторожил этот тихий голос. Он почел за благо кротко ответить, не задираясь:

— Болтаю, простите старика. А как насчет еще по рюмочке?

Все согласно промолчали, и Платон Платонович налил всем, начав с Ани, которой, наливая, добро покивал, мирясь и виноватясь наперед, если что не так сказал или еще скажет-сболтнет.

Выпили.

— Хоть бы кто-нибудь тост придумал,— сказала Аня.— Вот тост — к столу слово.

— Извольте, имею тост!— обрадовался Платон Платонович.— Тем обойдемся, что у каждого на донышке осталось.— Он поднялся, одернул рубашечку навыпуск, построжал.— Хочу выпить за тишину в нас. Это больше к нам, не шибко молодым, относится — к Рему Степановичу и ко мне. Ко мне в наибольшей степени. Но и вам, молодым, поскольку годы бегут, тоже не худо присоединиться. За тишину в нас! За покой в душе! Бесценное обретение! А что, или не прав?

— Поддерживаю!— поднял рюмку Рем Степанович.— Хотя тост из утопических. Тихие те, кто тихими родился. Они и пребывают в тишине. А я вот и рад бы был, да не умею тихо. Не получается! Поехали!— Он выпил, схватил графин и налил себе доверху и снова выпил.— Вот так! Только водочкой и зальешь пожар!— Смолк, усунулся в свою тарелку, не глядя, тыкая в нее вилкой.

— А все почему?— спросил Платон Платонович, только что благо разумно решивший помалкивать, но характер — он ведь сильнее нас.— А все потому, что живет в тебе, Рем Степанович, согласен, с молодых самых годков этакая во всем несоразмерность. Пояснить?

— Валяй. Хотя и знаю, хорошего не скажешь.

— Хорошее, плохое — как оценить? Все по шерстке — это хорошее?

— Так я же ведь не маленький, меня воспитывать поздно.

— Тут молодые люди сидят.

— Ну, ну, так что это за зверь — несоразмерность?

— Несоразмерность наших возможностей и желаний. Одни мирятся, ибо желания наши всегда опережают наши возможности. Другие из кожи вон, а подавай им тут гармонию. Хочу! Нужно мне! И весь разговор. А это уже вступает новый мотив: это уже мы любой ценой начинаем обретать сию гармонию. Вот, к примеру, я хочу твоего Аристарха Лентулова иметь. Люблю этого художника, обожаю. Ну, хочу! Но купить-то мне не по карману. За десять лет не наработаю на такую покупку. Так что же, взломать твои двери стальные и украсть?

— Не сумеешь. Стальные.

— Они и в других местах стальные, Рем. А картинка, меж тем, на стене в твоём кабинете.

— Не домысливай, я ее не украл. Я ее купил. Ты не наработал, а я вот наработал.

— Так ли? Достал, правильное будет сказать. Ну, что-то там заплатил, не отрицаю, не даром. Но — задешево. Это и есть — достал. Тут-то я прав?

— Допустим.

— Ты достал тому, тот достал тебе. Так?

— Допустим.

— Вот и обретенная гармония. Вот и попрание несообразности. А между тем несообразность наших желаний и возможностей неизбежна.

— Вывел новый закон.

— Неизбежна! Как бы ты ни был взыскан и взласкан. В нашем обществе — неизбежна. А иначе одним — все, а другим — ничего. Так зачем же тогда было сыр-бор затевать? Так бы и жили, одни — в дворцах, другие — в бараках.

— Так, так! — повеселел Рем Степанович. — Занялись политграмотой!

— Это не политграмота, Рем, это — зависть, — тихонько молвила Аня. — Одному Лентулова захотелось страсть как, другому — вон глаза тарашит — еще чего-то. Зависть! — Голос ее вдруг вытончился, сам не своим стал. Она вскочила вдруг, протянула руку: — Уходите! Убирайтесь оба! Зачем вы пришли?! Чтобы терзать его душу?! Уходите! Видеть вас больше не могу!

— Аня, Аня! — позвал Рем Степанович. Не было укора в его голосе, заискрились у него глаза, он залюбовался ею.

Она стояла вытянувшаяся, гневная справедливым гневом, она защищала, обвиняла. Ее рука указывала на дверь тем, кто пришел сюда, тая недоброе, а это хуже зависти. Она не играла сейчас, это была не сцена (какая же тут сцена?), но навык и тут правил ее движениями и голосом.

— Я жду! Уходите!

Первым вскочил Геннадий, кинулся к двери. Но дверь была защелкнута на все хитрые замки, и он не сумел их разгадать, завозился, хватаясь то за один кругляк, то за другой.

А Платон Платонович медлил. Он еще рассчитывал на мир. Он знал цену этим женским выплескам гнева. Вот уже и слезы у нее встали в глазах, еще миг — и разрыдается. А там уж и слова потекут, как слезы, что ее не поняли, что



она «устала-устала», а там и застолье опять продлится.

Но Геннадия было не повернуть назад. Он рвал дверь, молодое, сильное, яростное сейчас вшибая в дверь тело. Он бы расшибся об эту дверь, если б ее не отворили.

— Да погоди ты,— подошел Рем Степанович.— Сейчас крою.

Зашелкали замки, дверь распахнулась, выпуская Геннадия. Он вырвался на свободу.

Аня смотрела, как он вырвался. Ее гнев помельче был, чем его. Она сникла, заплакала. Вот и потекли слезы. Но было уже поздно. Платон Платонович не мог не последовать за Геннадием.

— Простите, если что не так...— Он тоже поднялся и пошел к двери.

В сенях, из которых тоже не выпускали замки, их настиг Рем Степанович. Не стал удерживать, уговаривать. Но прежде чем отомкнуть замки, он протянул Платону Платоновичу — успел прихватить!— громадную грушу, ту самую бѣру, которой так восхитился старик.

— Возьми, Платон. Тут несоразмерность твоя наверняка обретет гармонию. Не сердись, ты же умный. Бери!

Платон Платонович принял этот дар, затрясся у него подбородок к слезам, он ткнулся головой в плечо Рема Степановича, бормотнул глухо:

— Поберегись... Москва гудит... слухами...

— Знаю.— Дверь отпахнулась, но Рем Степанович за руку придержал метнувшегося в дверь Геннадия, другой рукой выхватывая из кармана две хрусткие сотни.— Обида обидой, хотя на женщину стоит ли обижаться, но уговор же у нас был...— Он широко улыбнулся, все свое обаяние вложив в улыбку,— сильный, добрый мужик, умные глаза.

— Нет!— яростно мотнул головой Геннадий.— Не нужны мне ваши деньги!

— Как знаешь...— Погасла у Кочергина улыбка.— Ты вот что, ты к Белкину не ходи, если так...

Геннадий уже сбегал со ступенек, отозвался, сбегая, выкриком:

— И не подумая!

Выскочив за дверь, чуть лбом не налетев на ствол тополя, Геннадий приостановился, оглянулся, ожидая Платона Платоновича. Ему важно было убедиться, что тот с ним, не повернул назад, не смалодушничал, как смалодушничал, приняв грушу.

Старик появился в дверях. С грушей в руке. Печальный, поникший.

Он подошел к Геннадию.

— Худо в этом доме,— сказал негромко.— Понял?

— Понял! А зачем тогда у него грушу взяли?!

— Вот потому и взял. Прощай, Геннадий, счастливый несчастливец. Не поминай лихом.— Он побрел, взбираясь в горку, шибко, ходко пошел, неся свою царственную грушу в отведенной почтительно руке.

## 22

Родной дом встретил его все той же машинописной трескотней. Без выходных работала его Вера Андреевна. Была бы работа. Он еще шел по коридору, а машинка уже начала с ним разговаривать: «А, явился?.. Где целый день пропадал? Ведь сил никаких нет все ждать да ждать!» Геннадий вошел в комнату, тетка обернулась, сказала с облегчением, но и с досадой:

— А, явился? Где целый день пропадал? Ведь сил никаких нет все ждать да ждать!— Она еще добавила:— Обедать будешь?

Он подошел к ней, наклонился, поцеловал в краешек штопаной кофточки — ей всегда холодно было,— который касался ее худенькой шеи.

— Прости, тетя.

— А водкой-то как разит!— Она оттолкнула его.— Ясно, обедать не будешь! О, этот Рем Степанович! И что за дружба вдруг?! Клавдия Дмитриевна снова принесла весть, что ты у него. И какая-то прекрасная дама! Геннадий, я боюсь за тебя!

— В хоккей играл — боялась. Так там хоть клюшками били. А тут-то чего?

— Сам знаешь чего. Соблазны! Кстати, тебе несколько раз звонила Зина.

— Какая Зина?

— Смотрите на него, он уже не знает никакой Зины.

— А у меня их целых две. Вот и спрашиваю, какая из них.

— Нет, вы смотрите на него! За тобой подобного что-то не упомяну. Вот оно, дурное влияние. Не знаю, какая еще там вторая, а звонила та, где ты частенько проводишь свой досуг. Ты знаешь, я не одобряю эту связь, но лучше

уж у нее...— Вера Андреевна прислушалась:— Вот, опять звонок. Беги, откликайся. Уж лучше она...

Геннадий вышел в коридор, где висел стародавний, к стене пристроенный аппарат.

Телефон звонил и звонил, хрипло, старческим голосом взывая, а Геннадий не снимал трубку, не решаясь на разговор, не умея понять, какой еще возможен между ними разговор, если это действительно звонила Зина, не та, что встретила его в переулке сегодня, с которой он вчера только познакомился, эта забавная девчушка в «бананах» на вырост, а та, которая вчера не пустила его к себе, поскольку...

Он снял трубку, порыжелую, стародавнюю, прабабушку той трубочки, что угнездилась в углу дивана в хитром домике Кочергина.

— Слушаю?..

— Гена, Геночка!— забился в трубке голос Зины, той, что не впустила его вчера.— Родненький! Прости меня! Поверь, у нас с ним ничего не было! Поверь! Ты как раз постучался, и я опомнилась! Поверь! Верить?!

— Нет,— сказал Геннадий.— Все вы одинаковые.

— А как же наша любовь?— поник голос женщины.— Ведь я люблю тебя. Ты мне не веришь?

— Нет, не верю.

— Послушай, только не вешай трубку! Нам надо встретиться.

— Зачем?

— Надо уметь прощать, Геннадий!— назидательно сказала женщина.— Если, конечно, любишь...

Он повесил трубку. Он повторил вслух, ужимая губы, вспоминая злое Анино лицо, прекрасное ее лицо: «Если, конечно, любишь...»

«Гена, выходи!» — донесся до него голос с улицы. Сквозь толстенные стены, а все же проник сюда этот зов дружбы. Уже взрослые парни, да и телефоны у всех есть, а все, как встарь, как школяры, кричат из переулка друг дружке: «Гена, выходи!», «Славик, мы во дворе!» Взрослеют, кто уж и лысеть начинает, женатые, у кого уж и детишки пошли, а все равно — кричат, вызывают друг друга для дружеской беседы, на кружечку пивка или еще там на что, называя в разговоре друг друга лишь по имени, а то и по кличке от детской поры. Так, в пареньках пребывая, и достигают глубокой старости, оставаясь Димами, Славиками, Колюнями. Корешки дорогие!

Геннадий кинулся в комнату, крикнул тетке:

— Ребята зовут!— И бегом за дверь, бегом по лестнице, перепрыгивая через десяток полеглых ступеней, бегом к друзьям.

Но посреди переулка напротив его дома стояла лишь Зина, не та, что только что звонила, а эта вот, маленькая Зина в своих «бананах» на вырост. А ей что от него нужно? Геннадий подошел, притормаживая свой разгон, ту радость в себе, с какой скатился по лестнице.

— А где ребята?! Кто меня звал?

— Ребята в пивбар ушли,— сказала Зина.— Это я попросила тебя позвать.

— Зачем?

— Поговорить надо.

— О чем?— Он смотрел туда, в конец переулка, где тропа взбиралась в Головин и где был пивбар, улей этот гомонливый, куда и его тоже потянуло.

— Постой,— сказала Зина.— Еще есть человек.

Этот еще человек отделился от стены и оказался Клавдией Дмитриевной со своим Пьером на плече.

— И вы тут?!— изумился Геннадий.— А я вас не заметил.

— Зато я тебя заметила,— сказала старушка, обращаясь больше к Зине, чем к нему.— Идет, несет, согнулся до земли.— Она явно осуждала Геннадия.— Ему бы фуражечку беленькую, фартучек. Младший приказчик при лавке, да и только. У меня аж сердце ретивое забилося. Крутила я когда-то романчик с таким вот приказчиком. О, мон Дье, как давно это было!

Попугай встрепенулся, приподнял тяжкие веки, хотел что-то сказать, но раздумал — давние времена.

— А все-таки,— сказала старушка, сохлым пальчиком помахав в воздухе,— а все-таки, Геннадий, не слишком ли ты много времени проводишь с этим Кочергиным? Ишь, как он впряг-то тебя! Умелый! Обходительный! Они — такие. Вчера целый день, сегодня целый день. Хоть в набат бей.

— И что у вас общего?— сказала Зина.— Я работаю в торговле и знаю... Только об этом у нас в магазине и разговор. Этот директор гастронома сел, и этот еще сел, и этот, и этот. А гастрономы — ой-ой-ой какие! А кто над ними начальник? Не Рем ли твой Степанович?

— А я тебе, Геннадий, не чужая,— сказала старушка.— Ты здесь родился, ты мне и Пьеру как родной.

— В каком это ты магазине работаешь?— спросил Геннадий.— Во фруктовом?

— Почему во фруктовом? В обувном. Вон в том, главном

на Сретенке. Магазин «Обувь», весь первый этаж занимает в доме между Даевым и Селиверстовым переулками. Ты почему подумал, что во фруктовом?

— Да в «бананах» ходишь.

— Глупо! Если сострил, так очень глупо! Изволь, а ты стал актером, потому что таскаешь корзинки за актрисой. Смешно, да?

— Не обижайся, чего ты?

— Я не обижаюсь, на глупость не обижаются. Ну, глупи! Мне-то что, глупи!

— Да, мой друг,— вмешалась старушка,— а где же мой подарок, этот замечательный картон с актрисами? Передумал дарить?

— Не передумал. Сейчас прямо и вручу.— Геннадий сорвался и побежал к дому. Верно, как это он забыл?! Ее фотография все еще у него в комнате! Скорей, скорей долой ее оттуда!

Пока поднимался в лифте, в прозрачном, прилепленном к стене дома, за пыльными стеклами и раз и другой мелькнул домик Кочергина. А она, живая, не на фотографии, а живая, а она — там. Совсем рядом, наискосок только перейти через узкий их переулок.

Он быстро вернулся, таща картон. К счастью, тетушка ни о чем не стала спрашивать, останавливать. Она сидела перед небольшим экраном телевизора, смотрела какой-то фильм с Людмилой Гурченко. Это была самая любимая ее актриса, хотя и Анну Лунину она тоже хвалила. Но Гурченко была всех любимее. Что ж, тоже правдивая актриса. Только... А она, а Аня Лунина была совсем рядом. И еще звучали в ушах обжигающие слова: «Убирайтесь! Оба!»

Он вынес картон, заведя его на спину, чтобы не встречаться глазами с этими счастливыми, у которых одна забота была в лицах, как бы поестественней всем продемонстрировать свою пригожесть. Мол, они и не думают позировать перед объективом, а что такие красивые, такие прибранные, такие нарядные, все в фирменном в чем-то, так они всегда такие, как и всегда у них такие счастливые-рассчастливые улыбки. Аня там, вон там, через дорогу, так же сейчас улыбается беспечально, как на этой цветной фотографии?

Он протянул картон старушке, поняв, протягивая, что ей эту тяжесть не унести. Предложил:

— Давайте я отнесу вам это собрание лиц домой.

— Сделай милость. Какие славные! Изоврались все, но славные.— Старушка едко всматривалась в фотографии, в

нынешних этих красоток, которые, так она явно считала, только тем и отличались от нее, что были из сегодня, а она была из вчера.

— Миленькие, миленькие,— окончательный вынесла она приговор.— Моды, между прочим, возвращаются. Вот, гляньте, пошли опять рюшечки, буфики, бантики. Мы, правда, так не красились. Причуда — эта мода, молодые люди. Поверьте ли, было время, еще до меня задолго, когда считалось неприличным женщинам хорошего круга выйти на улицу, не укрыв лицо толстым слоем белил и румян. Как в масках ходили. И, напротив, девки из питейных мест, те совсем не размалевывались. Все кувырком! Пойдем, Геннадий?

— Ой, так вот же она — Анна Лунина!— сказала Зина.— В самом центре! Гена, и ты этот картон вышвыриваешь из дома?

— Не вышвыривает, а дарит даме,— несколько обиделась Клавдия Дмитриевна.

— Он избавляется от него! Геннадий, тебе опять досталось?!

— Ну что вцепилась? Ну зачем мне фотография, когда я оригинал целых два дня разглядываю?

— Досталось. Бедный. Клавдия Дмитриевна, можно -я тоже с вами пойду? — Зина помолила старуху глазами.

— А я и не сомневаюсь, что ты пойдешь, милочка.

Клавдия Дмитриевна жила в том же доме, в зеленом этом доме с завитушками, в котором жила и та Зина, вчерашняя та Зина. А сегодня он шел в этот дом, сопровождаемый новой Зиной. Помереть можно было со смеху! Зина на Зину. Действительно смешно. И та не нужна и эта ни к чему. «Надо уметь прощать, Геннадий... Если, конечно, любишь...» Прощать предательство? Может, и надо, если, конечно, любишь...

Они вошли в высокую арку, как-то странно примостившуюся сбоку в этом доме, не позаботились строители о симметрии. Арка вводила во двор. Той Зины парадное было справа, а старушка повела к входу в глубине двора. Зеленый по фасаду, дом вступал во двор серыми в частых окнах стенами, образовывавшими длинную букву «П». И все — окна, окна, комнатенки, комнатенки. То самое место, от которого когда-то и получил Мясной переулок новое прозвище — Последний. Впрочем, есть и иная легенда про то, отчего их переулок получил такое название. Когда горела Москва, все тут сгорело, пустырь возник. И вот этот пере-

улок и был из наново застраивавшихся последним перед Сухаревкой. И все-таки, а все-таки — эти окна, окна, комнатухи, комнатухи — они про тайное, про хмурое, про стыдное напоминали, про самое последнее, когда любовь продается, когда любовь покупается.

В арку, если оглянуться, виден был край дома Кочергина, а тополь почти все загородил, но край, угол дома все же был виден. Геннадий оглянулся. Что там у них? Может, все-таки Аня ушла, уехала домой? Нет, она сказала матери по телефону, что заночует у подружки. Изолгалась! Но плохо ей, плохо — потому и выгнала их. Худо ей там! «На женщину стоит ли обижаться?» — спросил Кочергин. Он все знает, все понимает, а сам запутался.

— Ты что все оглядываешься? — спросила Зина.

— Между прочим, та Зина, которая меня вчера намахала, живет в этом доме, — сказал Геннадий.

— Но ты не на этот дом оглядываешься, а вон на тот.

— Между прочим, она только что мне позвонила, просила прощения. Ты бы простила, если б тебе изменили?

— Никогда!

— Вот и я повесил трубку.

— Хотя я не знаю, — задумалась Зина. — Я ведь никогда не любила по-настоящему. В школе... Это была детская любовь. Не знаю, если очень любить, можно и многое простить. Я так думаю. А ты?

— Не знаю. — Он в последний раз оглянулся, входя в подъезд, где жила старуха. — Спроси у Клавдии Дмитриевны, а еще лучше у Пьера. Они всё знают.

— Ты бы лучше у них спросил, зачем ты оглядываешься.

Клавдия Дмитриевна жила в первом этаже. Ее дверь была в стене еще до ступеней очень осевшей лестницы с очень истертыми, но мраморными ступенями, — сразу, как вошли, и ее дверь по левую руку.

— Я низко к земле живу, — сказала старуха. — Зато у меня отдельный вход.

Дверь была невероятно обшарпана. Все тут было невероятно обшарпанным. Ремонтировали здесь, стало быть, одни только фасады.

— Нас скоро сносить будут, зачем же нам ремонт? — спросила Клавдия Дмитриевна, перехватив сочувственный Зинин взгляд. — Но я боюсь этого мига. Переселение начнется. А зачем мне новая квартира, хоть мне и сулят совсем новую квартиру? Мы с Пьером привыкли тут. У нас тут совсем неплохо. Убедитесь. А переселят — и мы

помрем. Стариков нельзя передвигать. Милости прошу, входите.

Клавдия Дмитриевна добыла из кармана один-единственный ключ, повернула им разок всего в какой-то дыре в двери, и дверь сама пошла, скрипя, кряхтя, зависая слегка на петлях, сама отворилась. Можно было и не замыкать ее на этот ключ, ничего не стоило, лишь толкнув посильней, отворить эту дряхлую преграду.

Вошли во тьму, вступили в запахи не противные, но чуждавшие, странные. Пахло незнакомо, таких запахов просто не существовало нигде в том мире, в котором жили Геннадий и Зина. Не пылью, не старьем пахло, а если и пылью и старьем, то уж очень они тут были древними. Пахло древностью. И пахло еще как в зоомагазине, этот запах был знаком все-таки, пахло обиталищем старой птицы, со своими причудами, со своей едой-питьем, чуть было не подумалось, что и со своей дымящейся трубкой у клюва.

Клавдия Дмитриевна затеплила лампочку под потолком в тесной, затесненной невероятно дубьем шкафов прихожей. Лампочка засветилась как-то не сразу вдруг, она вот именно затеплилась, а потом уж стала светить. И лампочка была древней формы, как груша, убереглась, не сгасла от времен почти доисторических, из раннего детства Геннадия глянула. Такие лампочки, выкинутые на помойку, ребята отыскивали, чтобы потом швырнуть обо что-то твердое, о стену из кирпича, а в ответ раздавался настоящий взрыв. Нынешние лампочки, маленькие, красивенькие, не разрываются так, они легонько лопаются. Зато и перегорают, не послужив почти людям.

— Прощу, молодые люди, прошу. Не ушибитесь только об углы.— Старуха повела их через узкий проход между шкафами, еще одну отворила дверь, едва толкнув, она была не заперта. Оттуда, из комнаты, грянул дневной закатный свет. Коричневые, новенькие лучи. Сегодняшние.

Они вошли в комнату. Она оказалась большой, потолок был высоким; хотя квартирка двумя окнами прилегла почти к земле. Здесь все было старьем, слагалось из каких-то цветных лоскутов, развешанных по стенам, выброшенных на ужающе провалившийся, бугрящийся диван, на узенькую коврику, по виду совсем солдатскую, прибранную, с чистым солдатским серым одеялом, с чистыми подушками горкой. Эта полоска серая, но чистая, была тут от жизни, а все прочее будто из вымершего. Нет, еще вот большая клетка, наряд-



ная, дорогая, с бронзовыми креплениями — она тоже обжитой имела вид, хотя и стариной от нее веяло, но прочная была вещь, красивая, хоть в музее выставляй. Пьер слетел с плеча Клавдии Дмитриевны и, явно гордясь и похваляясь своими хоромами, сел на клетку. А вообще-то он тут повсюду жил, везде были следы его когтистых лапок, царапины от его поклевов. Он и ел-пил везде. Тут стояла чашечка, там виднелась плошечка.

А еще были на стенах фотографии. Во множестве. В разных причудливых рамках. Иная фотография совсем крошечная, а рама громадная, нарядная. И не было стариков и старух на фотографиях, одни только молодые лица. Улыбки были скромны, но молоды. Мужчины топорщили усики. Дамы, совсем молоденькие, в больших шляпках или просто-волосые, но тогда с высокими прическами, были приветливы, простодушны, но и кокетничали явно, что-то такое изображая непременно — то ли невинность свою демонстрируя, то ли суля нечто сладостное, сокрытое за потупленным взором.

Картон с нынешними красавицами и красавцами внезапно очень к месту тут пришелся. Как приставил его Геннадий к стенке, так он тут и зажил, заискрился улыбками, место сразу нашлось. Конечно, совсем не те лица, и ужимок никаких в них не видно, все не то, не так, все естественно, мило-просто. А все-таки, а что-то и друг другу зов подает. Из былого — в сегодня, из сегодня — в былое. Ничто так не дается переменам, как человек. Смотришь на иную фотографию сегодняшнего парня, а он — надень на него кафтан да шапочку надвинь с бархатным верхом кульком, — а он, гляди, из опричной свиты самого Ивана Грозного, или, если поближе, если фуражечку надвинуть, он — гимнастик, студентик. Лица все в родстве, лицами стережет человек память о своих корнях, творит слепок родства.

Происхождение... Мы стали забывать про это анкетное понятие. Если про анкетное, то и правильно. Но происхождение — не пустое дело. И суть не в том, кто ты по анкете, хотя, конечно, если из трудового народа, то уже и сразу суть нашлась. Да, суть именно в том, каких ты корней, какого труда был твой отец, твой дед, твой, если запомнили в семье, и прадед. Суть — в корнях. А корни — они в почву входят. Суть в той почве, на которой вырос. Сорт твой человеческий — вот что важно. Говорят, нечего кивать на пережитки. Верно, зачем на пережитки все валить? Зряшное

это дело. Не о пережитках прошлого, а о сбереженности из прошлого следует подумать, о сортности человека.

— Чайком вас могу попоить, молодые люди, — не совсем напористо предложила Клавдия Дмитриевна. — Хотя заедок каких-то там особых у меня нет. Тебя-то там небось, — она кивнула на окна, — разносолами угощали. Видела я ту корзинку, которую ты волок. Ох, Зина, какие же из нее фрукты высывались! После, когда прошли он да она, эта Лунина, вот эта вот на картоне в центре, аромат в нашем переулке еще долго жил. Как встарь в Елисейском. Теперь там так не пахнет. Если желаешь вдохнуть аромат, теперь не в магазин иди, а на рынок. Там он ухоронился.

Геннадий подошел к одному из окон, поглядел, но только сохлые стебли от высаженных под окном цветков увидел да верхушку арки, да узкую полоску, полумесяцем, к сумеркам уже темнеющего неба.

— Спасибо, Клавдия Дмитриевна, — сказал он. — Меня ребята пиво звали пить. Может, присоединиться?

— Спасибо и тебе, добрая душа. Нет, мы с Пьером по вечерам в бар заглядывать не рискуем. А ты иди, там хоть грязно, но чисто.

— Эти фотографии, эти люди на них, они здесь жили? — спросила Зина, продвигаясь вдоль стен, всматриваясь в лица из прошлого. — Их переодеть, этих женщин, в наше, причесать по-нашему, совсем бы нами стали.

— Кто тут жил, а кто, как вот на этом картоне, был тогда знаменит, сюда они не заглядывали, — сказала Клавдия Дмитриевна. — Залетные фото, уж не помню, как они ко мне залетели. Может, собирала тоже. Не помню. И кто да кто — не помню. Все почти забыла. Детство помню. Еще обиды помню. А вот счастливые дни, были ведь такие, их не помню. Странно, правда?

— Как же так? — не поверила Зина. — Только счастливые дни и должны запоминаться. А обиды как раз и надо забывать.

— А вот так, — сказала старуха, устало присаживаясь на краешек своего продавленного, скриплого дивана. — Должны, а забылись, не надо, а запомнились. Ты еще молоденькая, вот в тебе «надо» да «должны» и живут. И обиды ты легко забываешь. Да какие у тебя обиды? А старость — злопамятна. — Старуха помолчала, поскрипела диваном, который всякое ее движение метил звуком, похоже, что и дыхание ее озвучивал. — Но... погоди... Вот он тебя обидит, не дай бог, — она сохлым пальцем указала на Ген-

надия,— а ты, старушкой став, про это и вспомнишь. Не сейчас, потом — через много лет.

— Он меня не обидит. Нужен он мне!

— Это уж вы там сами разберетесь, кто кому нужен. Конечно, обидно, когда молодой человек на тебя не глядит, а все в окна поглядывает. Он тебя обижает, его там обидели. Не сердись на него, ему, гляжу, тяжелей.

— Вы о чем?— спросил Геннадий, снова наклонившись у окна.— Ну я пошел, ребята ждут.

— Мы пошли, Клавдия Дмитриевна,— сказала Зина.— У вас очень интересно. А среди этих фотографий никого из Кочергиных, случайно, нет?

— Нет!— вдруг яростно распрямилась старуха, и яростно следом скрипнул, взвизгнул диван.— И быть не может! С какой это радости?!— Она поднялась поспешно, Пьер замахал крыльями, встревоженный ее голосом, ее порывистыми движениями. Он снялся с клетки, метко перелетел через комнату прямо к старухе на плечо. Вдвоем они проводили своих молодых гостей. Ветхая дверь сама собой затворилась, когда Геннадий и Зина шагнули за порог. Устала старость от молодых голосов, от их вопросов. Всего не объяснишь. Надо жизнь прожить — она объяснит, только она.

## 23

Совсем темно стало в Последнем переулке, лишь телевизионной синевой мерцали окна. А в том домике, за экранами, и этого мерцания не было.

— Какой-то из Кочергиных ее крепко обидел,— сказала Зина.— Ты проводишь меня? Ну гляди, гляди, оборачивайся. Там что же, окна всегда занавешены?

— Там экраны отгораживают окна, чтобы наш переулочек в глаза не лез.

— Если ему так плох ваш переулочек, зачем же он тут поселился?

— Родился тут как-никак. Тянет. Раньше тут его мать жила.

— Загадочный он у тебя.

— Это так, это уж точно. Почему — у меня? Всё у меня с ним.

— Рада. А с ней?

— Тем более. Кто я для нее?

— Другой вопрос. Важно, кто она для тебя.

— Никто!

— Не ври, Гена. Та Зина — никто, а эта Аня — о, тут все сложно.

— Тебе-то какое дело? Откуда ты взялась?

— Из Даева переулка. Туда и идем!

— Тут и ста шагов не осталось. Простимся?

— Нет уж, не вздумай меня обижать. А то вот вспомню через пятьдесят лет.

Он усмехнулся, положил на ее вздрогнувшее плечо руку.

— А если провожу, забудешь?

Она повела плечом, скинула его руку.

— Тут старушка что-то путает. Хорошее не забывается. Уверена.

Они пересекли Сретенку, как водится в сих местах, в явно не положенном месте — отчего-то через Сретенку никто не переходит по пешеходным дорожкам: здесь, видно, тропы пешеходные от века пролегли, пусть хоть и скрыты теперь асфальтом, все равно москвичи по ним ходят, по укоренившимся в памяти, от поколений памяти. Москвичи, урожденные, своенравный народ и консервативный в чем-то. Древний город — он у нас в крови, в повадках. Мы — такие, а не такие. И от века все, от века. А какие? Разбери-пойми. Восемь столетий в крови. Любой мальчуган московский, он не без роду и племени. Как говаривали встарь: «От головы до пятку у москвича особый отпечаток».

Вошли в подъезд. Геннадий сунулся было поцеловать Зину. Так, без охоты, полагается вроде. Да и нравился он ей, он это понял.

Она оттолкнула его, сказала гневно:

— Не целуй меня! Не смей!

— А я и не навязываюсь.

Тогда она сама к нему вдруг приникла, поцеловала, неумело уткнувшись в край его губ. Пойми их, одинаковых!..

А потом взяла крепко за руку и повела. Так решительно, что он не стал упираться.

Поднялись по широкой с мраморными ступенями лестнице, где еще бронзовые светильники сохранились, стояли погасшими факелами на лестничных маршах. Для богатых некогда был дом. Но теперь на дверях квартир, двухстворчатых, массивных, с медными витыми ручками, столько было поналеплено всяких уведомлений, кому сколько раз надо

звонить, так эти двери были испятнаны от былых почтовых ящиков, от без числа небрежных ремонтов, что хоть излучай по ним все великое переселение народов, начиная от семнадцатого великого года. Господа съезжали отсюда, исчезали, люд из барачков, из подвалов въезжал сюда, возникал.

Зина отворила дверь, приказала:

— Входи!

Он покорился, вошел.

Широченный коридор сонно встретил их, тускло светила лампочка у столика, над которым висел такой же стародавний телефон, как и у него в квартире.

Поздно возвращаясь домой, Геннадий по своему коридору шел на цыпочках. Он и тут было так пошел. Но Зина не таилась, она будто нарочно пошла, постукивая каблучками, и он тоже перешел на обычный свой шаг. Она не таилась, она сказала, не унижая себя шепотом:

— Входи, Геннадий.

В ее комнате, в маленькой, выгороженной, конечно же, с одним большим окном и с высоченным потолком, все сразу, когда зажгла Зина свет, сказало Геннадию, что это ее комната, Зины вот этой, маленькой, решительной, правдолюбивой, чуть-чуть забавной в своих «бананах» на вырост, трогательной.

Прибранная комнатка, узкая, но высокая. Светлые занавески, белым покрывалом укрытая узкая тахта, белая скатерка на маленьком столике, белые, невыкрашенные доски книжных полок. Книг было не очень много, потрепанные корешки, из детства приятели. Из детства и угол с куклами уцелел. Были и замызганные куклы, самые первые, были рядные, совсем еще из недавней поры.

— У тебя тут прямо общежитие, — сказал Геннадий. — И сейчас в куклы играешь? — Он наклонился над этими красавицами, лежащими с полуоткрытыми густыми ресницами глазами.

— Иногда, — сказала Зина. — Садись, сейчас я чай вскипячу. И ничего не бойся. У папы с мамой своя комната. Они не войдут, не бойся. Я уже не маленькая.

— А я и не боюсь.

— Я сейчас. — Зина ушла, решительно отворив дверь, решительно затворив.

Геннадий присел на корточки возле кукол, стал их рассматривать, как мог бы и книжку почитать, дожидаясь

этого чая. Зачем ему этот чай? Как он здесь оказался? Взяла за руку и повела. Вот так девчушка!

А куклы, они ему про всю ее жизнь принялись рассказывать. Хоть и недолгая у нее была жизнь, а все-таки есть про что рассказать. Эта, самая первая, сшитая из тряпочек, с замытым личиком, смешно похожим на лицо хозяйки, тут была на почетном месте, на шелковой подушке возлежала, даром что истрепанная, тряпичная. Эта вот, самая нарядная, чей-нибудь щедрый подарок, недавний подарок, юбка мини, эта кукла, дамочка с высокой прической, с надутыми щеками, еще тут в доверие не вошла. Нарядная, красивая, а место у нее самое боковое, еще не полюбили ее здесь, не стала подругой этим, остальным, которые год за годом рядышком шли с Зиной, в детский сад с ней ходили, потом в школу, потом на курсы какие-то, потом в магазин «Обувь» на работу пошли. Все ясно. Год за годом — вся тут ее жизнь. Старых друзей не покидает, это уж ясно. И они ей верны, надежный человек. Но заслужить ее доверие, ее любовь не так уж легко. Щеки тут надувать не следует, длинные ресницы тут не помогут.

Вернулась Зина, внесла поднос с чайником, с чашками, ну, конечно же, и с банкой варенья. Такое же, что и у его тетушки, малиновое?

— Малиновое? — спросил Геннадий.

— Земляничное. Сама собирала. А ты любишь малиновое? — Она успела переодеться, была в домашнем коротком платьице, много раз стиранном, таком же, как на одной из ее кукол, из давних ее подруг. И так же туго перепоясана была зеленым поясом, как и кукла эта.

Геннадий взял эту куклу, подкинул на руке, сравнивая.

— А вы похожи.

— Это самая любимая. Когда я это платье шила, я и ей тоже из оставшегося куска сшила.

— Ребенок ты еще, Зина.

— Думаешь? — Она поставила на стол поднос, расставила чашки, налила ему и себе чай. — Присаживайся к столу. Может, ты есть хочешь? Принести что-нибудь?

— Спасибо, ничего не нужно. — Он сел за стол, взял свою чашку.

— Может, ты выпить хочешь? У отца наверняка есть.

— Спасибо, не хочу.

— Нет, я не маленькая, — сказала Зина. Она обогнула стол и села рядом с Геннадием. И когда садилась, плечо

ее коснулось его плеча, а в глаза ему ударило недавнее — Аня и Рем Степанович рядом, их плечи рядом, вот как сейчас. Но не так, нет, не так, как сейчас.

Она притихла возле него. Руки у нее легли на скатерть, руки у нее дрожали. Она заметила это, вдавила ладони в стол.

— Мне бы только не влюбиться в тебя,— сказала она тихо.— Тебя уже украли. Зачем мне украденный?

Там, в том доме, что там сейчас, что они там сейчас творят друг с другом? Опять эти простыни расстелили? Измяли?

Он хлебнул из чашки, обжегся чаем, обжигаясь и от этих мыслей еще хуже, чем от кипятка.

— Пойду я!— Он поднялся. Не поднялся, подбросили его эти мысли.

— Иди...

Он пошел к двери, а она продолжала сидеть за столом, прижимая к скатерти руки.

— Проводи меня.— Он оглянулся от двери.

В узкой этой и высокой комнате, в том углу, где жили куклы, была прикреплена к стене одна-единственная здесь фотография. Человек с фотографии смотрел хмуровато, не совсем прямо на тебя, но все же прямо на тебя. Был этот человек в отличном костюме, при жилете даже. Вольно сидел, заведя палец правой руки за край жилета. И смотрел, смотрел, прочитывая тебя хмуроватыми, но не злыми, но и не добрыми, а — умными глазами. Это был Маяковский. Но странно, взглянув на фотографию, узнав Маяковского, Геннадий вспомнил Рема Степановича, сошлись, сдвинулись эти два лица для него. Потому что и тот в таком же вот нарядном костюме расхаживал? Потому что и он мог бы так же вольно усесться? Нет, у них лица совпали. Совсем разные люди, совсем разные у них лица, никакого нет сходства, а они совпали. В чем? Почему? Сильные лица — поэтому? В своей силе совпали? Этого понять Геннадий не мог. Да и времени у него не было, чтобы всматриваться в портрет Маяковского. Подошла Зина, отворила перед ним дверь, снова сказала:

— Иди.

И вот они опять вступили в этот обширный коридор с тусклой лампочкой на телефонном столике.

Теперь по-другому Зина шла, она явно старалась, чтобы никто в квартире ее шагов не услышал. Пойми ее, отчего вдруг испугалась, когда как раз бояться больше и нечего.

Себя испугалась? Своей недавней решимости? То была святая решимость. Но она покинула ее. А пришла девичья эта стыдливость, боязнь, что кто-то услышит, кто-то осудит. Это были крохотные, жалковатые соображения.

Зина тихонько отвела язычок замка, неслышно отворила дверь на лестницу и снова повторила, не поднимая на Геннадия глаз:

— Иди.

Опять он пересек Сретенку и снова не там, где полагалось, проскочил под носом летящей машины.

А ведь он мог остаться у нее, у этой маленькой Зины. Мог остаться. Как странно она сказала: «Мне бы только не влюбиться в тебя...» Испугалась, что влюбится? Она — в тебя, ты — в Аню. Эта мука, эта боль в тебе, когда все в тебе там переворачивается, когда ни о чем другом не можешь думать, а только о ней, — это и есть любовь? Они сейчас там, за этими экранами, лишь тусклый пропускающими свет из комнат на улицу, почти и не свет, какой-то почти туман. Она сейчас там, в том тумане. Что поделявает? Эта мука, эта боль, эта нестерпимая боль, а он к боли был приучен, когда играл в хоккей, но разве то боль была, смешно даже сравнивать, так что же, эта боль — это и есть любовь? Она прогнала его. Он забыл об этом. Она с другим сейчас. Он прощает ей это. Он даже не смеет ее хоть в чем-то винить. Она во всем права. Взглянуть бы на нее, только бы взглянуть. Услышать бы ее голос, только бы услышать. Где-то в городе шли фильмы с ее участием. Сходить, поглядеть? Их тут кинотеатр «Уран» был на ремонте. Жаль, вот в него бы он сейчас пошел. Рядом — она, а вот и фильм с ней. А далеко отойти от нее он сейчас не мог. Не понимал, что не может, просто не мог — и все. Он и к ребятам пойти не мог. Пивбар был слишком далеко от этих заэкранированных окон. От этой двери, за которой дверь и еще дверь с бесчисленными замками. А вдруг эти замки защелкают, двери распахнутся, Анна Лунина появится на пороге. Он должен быть здесь. Он тогда проведит ее домой. Не разрешит, он пойдет следом. Вечер начался, как же не проводить.

Замки не щелкали, двери не отворялись. Он все простил ей, лишь бы она вышла. Ему и не за что было прощать ее. Кто он ей? Какие у него права на нее? Случайная встреча. Он ходил и ходил, окоротив свой переулок, доведя шагов до тридцати. Тридцать шагов — вниз, тридцать шагов — вверх.

В восемнадцатом отделении милиции, в глубине подъезда



горел свет. Там слышались голоса. Кто-то там смеялся, в милиции. Весело им там. Славные ребята, веселый народ эти милиционеры. У него никогда с ними не было никаких столкновений. Сперва спорт, потом армия — они его подтянули все-таки, хотя парни из Последнего переуллка слыли народом не из робкого десятка. Он и не был робким да тихим. Но обходилось, конфликтов у него с милицией не было. Но что же это они? Как же это они? Чуть кто выпил, они здесь. Мелкий воришка попался, они тут как тут. А вот рядом, у них под боком, а вот этот Рем Степанович, Батя этот, а он им глаза не колет. Из начальников, потому? Не положено замечать? Эх вы, веселый народ!

Он ходил и ходил — тридцать шагов вверх, тридцать шагов вниз.

Из подъезда милиции вышел знакомый старший лейтенант. Опять на дежурстве?! Вот это работяга!

— Прогуливаешься перед сном?— спросил старший лейтенант и благожелательно улыбнулся.

— Ага!— сказал Геннадий.— А вы, смотрю, все дежурите?

— Смотри, смотри,— покивал старший лейтенант.

— Не надоело? Какие у нас тут приключения?

— Никаких, это точно,— согласился старший лейтенант и опять улыбнулся. Сутками тут торчит, а улыбается, не устал.

— Зоркий вы народ, я смотрю,— сказал Геннадий.— Чуть что серьезное — и вас нет. Успеваете удалиться.

— Зоркий, это точно.

— Чуть какой пустяк, вы тут как тут. Успеваете набежать.

— Служба, а как же.— Его невозможно было рассердить, он улыбался, не устал совсем.

— Шли бы спать, старший лейтенант. Гляжу, вторые сутки на ногах.

— Глазастый.— Чуть-чуть. только построжал старший лейтенант.— Гляжу, и ты все тут мелькаешь. Не устал еще?

— Устал. Пойду лягу пораньше.

— Вот и хорошо, одобряю,— сказал старший лейтенант.

Геннадий свернул к своему дому, еще раз глянув на окна, за которыми мерцал туман. Не выйдет она. Не жди, не выйдет. Чуть было не толкнулся к дому Кочергина, чуть было не решился на стыдное для себя: взять да и напроситься в гости к ним. Нет, удержал толкнувшееся тело.

Вбежал в свой подъезд. Рванулся вверх по лестнице, забыв о лифте. У двери, когда только открывал ее, услышал дробный постук теткиной машинки. Она еще пока не разговаривала с ним, не ждала так рано. Он вошел в коридор, вошел в комнату.

— Тетя, — попросил. — Только ни о чем меня не спрашивай.

Вера Андреевна даже не оглянулась в ответ, лишь простучала дробно, но он ее научился понимать, в стрекоте этом слышались недавние слова из очередной педагогической беседы «под портретом»: «Изволь, мой друг. Да ты уже и не маленький, чтобы отчет мне давать. Не хочешь, не делись»...

Он не хотел делиться. Он раздвинул ширму у своей тахты, был тут у него свой угол, стол вот крошечный, но крепкий, приспособленный под верстак, полка книг над столом, книг еще из детства, читанных-перечитанных, полка, где и инструменты лежали попеременно с книгами, и этот вот транзистор с кассетным магнитофоном, жалковатый ящичек, если по правде-то. И вот еще пятно на стене от сорванного картона с фотографиями. Глаза бы не глядели на все это! Разулся, лег, закинув руки, закрыл глаза. Анна Лунина медленно вступила под веки.

## 24

До одиннадцати часов, до условленного времени, когда должен был подойти к бару на Сретенке Белкин, оставалось минут с пять. Этот бар, вернее, кафе с баром, и открывалось в одиннадцать. Геннадий уже давно был тут, прохаживался у дверей, ждал открытия, ждал Белкина, пытаясь в эти минуты, оставшиеся до встречи, что-то там такое обдумать, придумать. Он вот все же явился сюда, хотя и крикнул Кочергину, что и не подумает заниматься его делами. Но он сейчас не его делами собрался заняться, а Аниными. Еще ночью, когда вертелся, то засыпая, то просыпаясь, все ведя свой разговор с Анной Луниной, какой-то все в тупик приводящий разговор, лишь начало было, а потом — тупик, стена в разговоре, никаких слов там не было, в том тупике. И разговор снова начинался. «Аня, пойми... Он у тебя...» Она обрывала, не крича, печально, но все одним только словом: «Замолчи!..» А замолчать он не мог,

он обязан был ей все объяснить. И он опять начинал: «Аня, пойми... Он у тебя...» Этот разговор извел его, ночь извела. Наутро само собой пришло решение — встретиться с Белкиным. Павел Шорохов... Некий змеелов... Некий бывший директор гастронома... Сидел... Выпустили... Вернулся, чтобы все распутать... Мститель?.. Что это за человек, нагнавший такого страху на самого Кочергина? И почему так важно знать Кочергину, жив Шорохов или умер? Ясность нужна? В тех темных делах, где орудовали эти клички — Митрич, Шаляпин, Лорд, сам Батя, — понадобилась ясность. Что ж, он поможет Белкину — а у него какая кличка? — раздобыть эту ясность. Не для них, не для кличек, а для Анны Луниной. Пусть узнает всё до конца. Он ей выложит правду, как бы она ни кричала на него, как бы ни молила: «Замолчи!..» Если жив, он к ней этого Павла Шорохова приведет. Пусть расскажет! Если и это не поможет, он к ее матери придет, ей расскажет. Какое тебе дело, могут спросить? Ты что, из милиции? Он ответит: «Я не из милиции, я ее люблю». Так он любит ее? Эта мука, эта все время боль, будто измолотили тебя клюшками, — это любовь? Как ни называй, зачем эти названия, он здесь, вот у этих дверей в бар, он ждет Белкина, он готов на все.

Толстая барменша, приветливо покивав из-за стекла, отворила дверь.

— Заходи, Гена, сделаешь почин! Ты какой-то сегодня строгий.

Верно, он по-строгому оделся, собираясь сюда. Свой ремень солдатский со звездой затянул, как в армии затягивал, на ту же отметину, хотя с армейской поры и поприбавил в весе. Он старые армейские брюки натянул, крепко схватившие ноги, не зад, как джинсы, а ноги. Рубаху тоже сменил, то была защитного цвета армейская рубашка, не парадная — полевая, с невыцветшими полосками от погон. Вчерашний солдат стоял на Сретенке у дверей кафе, примостившегося возле кинотеатра «Уран». Пришел, видно, в кино, не зная, что кинотеатр «Уран» на ремонте. Да и откуда ему знать, если он в армии служил. Такой он тут стоял, так о нем думали прохожие, сочувственно и уважительно поглядывая на него. Ну а если не в кино, так можно и в бар заглянуть. После армии-то можно парню и чуть-чуть послабление себе сделать. Вон какой худющий, со впалыми щеками.

— А ты мне такой еще больше нравишься, — оглядев его, сказала толстая барменша. Женщины, хоть и нет ника-

кой корысти, оглядывают, рассматривают молодых парней, мужчины, даже и в старости, хоть тоже нет никакой корысти, вернее, надежды, оглядывают, рассматривают молодых женщин — заряжаются и те и те от тех и тех. И чужая молодость, стало быть, бодрит.

— И ты мне такая нравишься, в юбке, а не в джинсах, — сказал Геннадий входя. — Господь вам определил юбки, вот их и носите.

— А некоторым я, напротив, в джинсах нравлюсь, — сказала барменша, идя к стойке самой привлекающей из своих походов. — У вас, у мужичков, вкусы разные. Кому кофе подавай, кому чай, кому виски, кому джин. Хочешь попробовать, у меня джин появился? Сорок пять градусов и елкой пахнет.

— Нет, мне пить нельзя, деловое свидание.

— Тогда кофе?

— Тогда кофе, сестренка.

— Покрепче, солдатик?

— Чтобы в слезы.

В дверях стоял Белкин. Что с ним? Белый, нет, серый такой, оттого, что бежал, боясь опоздать? Да он и не опоздал, на часах было всего пять минут двенадцатого. И он, стоя в дверях, дышал не тяжело. Казалось, он вообще не дышал. А если дышал, то так оробело, что ничего в нем от вздохов и выдохов не шевелилось. Замер в дверях. А вот глазки бегали, обшаривали.

— Пришел? Это хорошо. Я думал, не придешь. — Белкин пробежкой подскочил к столику у двери, где сидел Геннадий. Не отодвинув кресло, на что, видимо, не было сил, он бочком втиснулся, упав в сиденье. — Мне бы выпить!.. Мне бы коньячку! — Он чуть возвысил голос, обращаясь к барменше.

— Сколько? — спросила она.

— Фужер для начала!

— Так ведь нам же делом заниматься, — сказал Геннадий. — Бегать, узнавать.

— Бегать, узнавать не нужно. Все узнано. В том-то и дело, что все узнано. — Белкин закрутил головой, озираясь. — Хорошо, что никого тут нет, не люблю, когдалюдно. Хорошее местечко подобрал. — Он приглядывался, оглядывался, что-то пытаясь вызнать про это крошечное, все как на ладони помещение. — Смотри, под кинобар оформили. Кинокамера на стене и в камере лицо оператора. Находчиво! А светильники из кинолент как бы сплетены. И вон земной шар, а в нем

опять же кадрик с перфорацией. Кино — владеет миром, так? Да только не так!

Барменша принесла полный фужер коньяку, чашечку кофе, стакан минеральной.

— Так?

— А это вот так! — Он даже не поднял на нее глаз, а сразу вцепился в фужер и стал тянуть из него, захлебываясь, мучительно глотая. Выпил, как алкаш последний, губы неряшливо обтер рукавом, поднял наконец на женщину глаза. Она рассматривала его внимательно, построжав, без сочувствия. Этот клиент был тут новым для нее человеком, и он не внушал доверия. А когда такое вот крошечное на руках кафе, когда почти все, кто тут бывает, где-то рядом и живут, каждое новое лицо настораживает. Глядишь, сбежит такой не заплатив. Или перепьется, небезобразничает. Поглядела, поглядела и отошла, недоуменно пожав плечами. Спросила уже из-за стойки:

— Геннадий, это и есть твое деловое свидание?

— Ага.

— Уже наболтал?! — вскинулся Белкин. — Какие дела?! Какие у нас дела?! Всё с делами! Отдыхаем! Воскресенье! Милая, попрошу еще фужерчик. Коньяк, как известно, четный напиток.

— Это как понять? — спросила барменша.

— Рюмки мало, а надо две.

— Так ведь не рюмками, фужерами себе помогаете.

— Значит, нуждаюсь в такой норме. Одному таблетки хватает, чтобы заснуть, другому нужна целая пригоршня.

— Без таблеток надо спать, — барменша принесла новый фужер.

— Если уж спать без таблеток, — осклабился Белкин, — так уж тогда с кем-нибудь. — Он было собрался повеселеть, но вспомнил про что-то испуганно, про такое, что не пускало его к веселью, а вспомнив, опять посерел, не помог коньяк. Он схватился за фужер, поднес к губам.

— погоди, — отвел его руку Геннадий. — Ты так вмиг накачаешься. Что случилось-то, что узнано?

— Что?.. — Белкин завертел головой, за стекло пыльное на улицу глянул, подозревая даже скользивших мимо стекла по Сретенке прохожих. — Что?.. Дай сперва выпить!

Геннадий отвел руку, и Белкин опять присосался к фужеру, мучительно заглатывая забвение.

Геннадий ждал, разглядывая этого посерелого человека,

которого знал всего вторые сутки, который за эти всего двое суток постарел лет на десять, развалился как бы, оползнями пошел, как трухлявая стена под штукатуркой,— чуть тронь, и валиться начинает, расплзаться, один сор да пыль от нее.

Белкин дохлебал из фужера, опять обтер губы рукавом, сам себя нарочно унижая, носом вот шмыгнул, ну, алкарь, и все тут, плечики приподнял, будто ему холодно сделалось. Вживался в другую для себя жизнь, готовился к ней?

— Что?..— переспросил.— А то, что нашлись люди, узнали про Павла Шорохова... Вчера вечером встреча у меня вышла... Узнали...

— Что — узнали?

— А тебе-то какое дело?— насторожился вдруг Белкин.— Информация не для тебя, для Кочергина.

— Я бы передал.

— Найдется кому передать. Не спеши, не гони картину. Еще, что ли, рюмочку?

— Будет, пожалуй,— сказала из-за стойки барменша.

— Мы не в Финляндии, мадам. Это там, если клиент подпил, к нему подходит бармен и говорит: ваше присутствие здесь, многоуважаемый господин, нежелательно. Вот как, нежелательно! Но — многоуважаемый! А ведь я бывал в Хельсинки. Много раз. Не веришь? Не верь! Я и сам уже не верю. В Штатах бывал. Это тебе не Финляндия. В самих Штатах. Трижды! Не веришь? А я и сам себе не верю. В Японии почти год прожил. Не веришь? Эй, милая дама, еще фужер! Я не пьян, меня пьяным невозможно сейчас сделать. Я болен, простуда во мне горит. Лечусь! Не тяни, умоляю!

Барменша медленно шла из-за стойки, большая, грузноватая, с нахмуренным лицом. Каждый шаг ее выражал сомнение. Не тот, не тот клиент забрел к ней в кафе. Но все же она несла этому пьянчуге с серым лицом рюмку коньяку. Не фужер, а рюмку.

— В последний раз,— сказала она, ставя на стол рюмку.— Слишком уж вы спешите, гражданин. Гена, ты откуда его взял? Шли бы вы на воздух. День-то нынче какой расчудесный.

— Нет, вы это зря, день сегодня не расчудесный,— сказал Белкин, уже нетвердо выговаривая слова, стараясь, заботясь, чтобы твердыми они возникали.— Сегодня день черный. Для меня, для Олега Белкина. Последний день

Помпей! А ведь я и в Италии был, в Неаполе. На Везувий всходил.— Он вдруг вскрикнул.

— Ну вот, последствия невоздержанности начались,— сердито сказала барменша.— Гена, сделай милость...

Вдруг Белкин выпрямился, растянул вдруг губы в улыбке, вроде бы как мигом отрезвел. Глаза его остановились на дверях, поширились, вбирая появившихся в дверях рослых, широкоплечих мужчин. Они входили в узкую дверь один за другим, тяжело ступая, чинно ступая, молодыми, сильными, раздатыми от частого пивопития животами вперед. Крепкие лица, длинные могучие руки, узковатые лобики, маслянистые челочки одинаковые, на лобик наведенные. Они одинаково были одеты, во что-то спортивное, по-летнему легкое. Один... Второй... Третий... Некое «трио»! Тройка нападения? Нет, такие пузаны в хоккей не играют. Тяжеловесы? Нет, всё же они были в далеком прошлом спортсменами, если вообще были ими. Велики, дряблы были их животы. Сеточка мелких морщинок была у каждого под глазами. Попито слишком много. Но силенка осталась, убереглась. Когда-то всё же не чужды были спорта. Лет за тридцать каждому. Тренеры чего-то там? Скорее всего в боксе. У них были вдавленные боксерские носы.

Один... Второй... Третий... Войдя, каждый шлепался в утлое креслице у столика, где сидели Геннадий и Белкин. Не спросясь садились. Столик был рассчитан на трех человек. Им это не помешало. Хватали кресла от других столиков, легко, словно легче воздуха были эти кресла, подбрасывали их к себе под тяжкие зады. Уселись, стеснились, сдвинув тяжелые плечи. Один из «трио» спросил, кивнув на Геннадия:

— Этот?

— Он самый,— угодливо приподнял задок Белкин.

— Вот что, парень, беги за Кочергиным, пускай сюда идет,— распорядился один из «трио». Тот ли, другой ли говорил из них — не понять было. Они цедили сквозь губу слова, глуховато, неразборчиво, давая звук в горле.

— Зачем это я побегу за ним?— спросил Геннадий.— Он тут рядом живет, сами и ходите.

— Рассуждает,— сказал один из «трио», одобрительно положив Геннадию на плечо тяжеленную руку.

Геннадий повел плечом, скинул руку.

— Задирается,— сказал кто-то из «трио».

— Как же, солдат,— сказал кто-то другой из них или же все тот же самый.— Дамочка!— окликнул.— Нам бы чего

покрепче! Но самую малость! Мы сюда не пить пришли, а беседовать!

— Может, тогда кофейку?— спросила барменша. Голос у нее был тревожный.

— От кофейка нас в сон клонит. Что там у тебя, джин? Тащи бутылку. Водки ведь нет? Тащи джин. В нем сорок пять градусов как-никак.

— Не много ли, если беседовать пришли?— Барменша и улыбалась приветливо этим пузанам плечистым и тревожилась, не скрывала тревоги.

— Тащи, тащи!— приказал кто-то из «трио».— А ты пока бегом за Кочергиным. Скажи, мол, новость для него имеется.

— Вот сами и скажите.

— Мы не просим, мы тебе велим, парень.

— Сбегай, Гена, сбегай, прошу тебя!— помолил сероликий Белкин.— Ну что тебе стоит?

— Вот и сходите,— сказал Геннадий, понимая, чувствуя, что просто так тут не обойдется, что этот звон, начавшийся у него во всем теле, предвестие это зря не приходит.

— Дурная башка,— миролюбиво сказал один из «трио»,— если бы нам точно знать, что его домик не на присмотре, мы бы к тебе не обращались, сами явились бы. Но Белкин говорит, что ты туда вхож, что ты тут и проживаешь,— вот тебе и сподручней. Вошел — все привыкли, вышел — всем до лампочки. Понял? Растолковал тебе? Ну беги!

— А зачем?— спросил Геннадий.— Зачем вам понадобится Кочергин?

И тут вошли в бар Дима, Славик и Колюня. Милые, родные, распрекрасные эти парни! Друзья! Вот они! Поспели вовремя! Как бы почувствовали, что нужны ему! А друзья потому и друзья, что знают, когда они нужны! Гляди ты, и Зина с ними! Ах ты маленькая! Ах ты бананчик родной!

Сели за столик напротив. На него, на Геннадия, ноль внимания. Зина крикнула весело:

— Сестренка, кофейку нам, водички сладенькой!

— Пойдешь?!— задавливая звук в горле, грозно спросил Геннадия кто-то из «трио».

— А вы объясните толком, зачем он вам нужен!— громко сказал Геннадий.

— Да задолжал он нам. Мы с Колобком дело имели, но он укатился... А нам уезжать срочно нужно. Уразумел?

— Нет!— громко сказал Геннадий.— Муть какая-то!



Ваши дела, не мои дела! А Колобок ваш не укатился, а в наручниках уехал!

— Тихо ты! — обмер Белкин.

— Он что, он у тебя кто? — спросил грозным шепотом у Белкина один из «трио». — Говорил, что человек Кочергина.

— Сам не пойму, кто он. Прилепился. Вроде посыльного.

— Прилепился... Вроде... Ты к кому нас привел? Время нашел для шуточек?! Иди, парень, мы добрые, но...

— Сами, сами, я у Кочергина не посыльный! А у вас — и подавно!

— Тихо ты! — давя слова, прошипел один из «трио». — Ты что, нарочно орешь?!

А те, за столиком напротив, ноль на них внимания. Беседуют тихонько о чем-то своем, попивая кофеек и сладенькую водичку. Только Зина нет-нет да скосит глаза, тревожится. Не знает она, как в таких случаях надо вести себя. А парни знают! Сейчас... Сейчас... Сейчас...

— Пойми, Гена, ты пойми, срочно нужен нам Рем Степанович! — увещевая, зашептал Белкин. — Позарез нужен! Ребята, я ему объясню, раз уперся, он все равно кое-что знает, все равно потом узнает, тот же Кочергин ему расскажет. Болтлив стал.

— Ну, ваялай, объясняй, только по-быстрому, — разрешил кто-то из «трио». — Другая бы ситуация, я бы ему объяснил...

— Гена, дело в том... — Белкин совсем перешел на шепот, губы только шевелились, а слова лишь угадывались. — Дело в том... что... Павел Шорохов... умер...

— От удара ножом?! — спросил Геннадий громко, вызвав голос.

Вот оно что, умер Павел Шорохов! Убили его тогда! Вот она — ясность, какой так не доставало Кочергину. Он думал, что это Шорохов ему мстит, живой Павел Шорохов, а того не было в живых, умер, убили.

— Ты нарочно кричишь? — спросил кто-то из «трио». — Ты что, заложить нас собрался? Еще не нашелся человек!..

Убили Павла Шорохова! Один из этих, из этих вот троих, ткнул в него ножом — и он умер. Кто говорил, что жив, кто говорил, что умер. Да, умер! Убили! Вот она — ясность! Вот они — убийцы!

— Он что же, Кочергин, он вас и послал убивать Шорохова?! — громко, так громко, что и его друзья обернулись, спросил Геннадий. — Кто из вас его ножом ткнул?! Ты?! Ты?! Ты?! Ты?!

Один из «трио» протянул громадную ручищу и ткнул ее в лицо Геннадию, чтобы прихлопнуть ему рот.

Вот оно! Дождался! «Аня, за тебя, за тебя!..» — выкрикнулось в нем.

Даже не привстав, некогда было вставать, стальным рычагом выбросил вперед кулак Геннадий Сторожев, точно, четко всадив его в рыластый блин перед ним. Хорошо попал кулак, врезался в лязгнувшие зубы.

«Трио» взорвалось, отлетел столик, разлетелись кресла, вскинулись могучие, как гири, кулаки. Опустятся — и ничего не останется от этого дурачка в солдатской форме.

Но не опустили кулаки, как-то не так все получилось, что-то помешало им, вторглась откуда-то иная сила. А это Дима, Славик и Колюня подросли. Тоже отлетел у них столик, разлетелись кресла. И вот не один всего солдат стоял перед тремя убийцами и этим сероликим, а четверо парней стояли, сбив плечи. Сретенские то были парни. Из одной команды. Вес не тот? Сохлые — они крепче бьют!

«Трио» поняло, «трио» знало про это, они мигом смекнули, что за парни встали перед ними. Один из «трио» потянул было руку к поясу под курткой, туда, поглубже, где и ножичек может укрыться. Но востроглазый Славик поймал это движение — глядь, и у него ножичек в руке, безобидный такой, самоделочка, но с пружинкой, — вынырнуло тоненькое лезвие, колющее и на глаз.

— Так?!

— Так?!

— О-о-о-й! — протяжно завывла барменша. — Девушка, беги за милицией! Они убивать хотят! О-о-о-й!

Нет, Зина не побежала за милицией. Она встала рядом со своими парнями. Ну что, что маленькая, что, что женщина?! Она не отступит, не дрогнет, пока жива. Сретенская девчонка.

А тут вдруг засвистел, засвиристел милицейский свисток, за пыльной витриной мелькнули люди в милицейской форме, встали в дверях. Пospели все-таки!

Впереди был знакомый Геннадию старший лейтенант. Сейчас он не улыбался и не похоже было, что этот человек вообще умеет улыбаться. Он подошел, схватил одного из «трио» за руку, вывернул ее умело, вторую схватил, что-то негромко лязгнуло и — что это? — оказался плечистый пузан в наручниках. Еще один подскочил милиционер, еще один. Трудная работа, запыхались слегка, но быстро всё провернули. Лязг да лязг — и «трио» оказалось в наручниках.

Белкина сковывать не стали. Кого было заковывать-сковывать? Он в своем мешковатом костюме так вдруг уменьшился, так осел-провис, что усомниться можно было, а есть ли у этого человека кости.

— Ножичек потом сдашь,— строго сказал старший лейтенант Славику.— Вот так, друг, такие дела,— сказал он Геннадию и попытался улыбнуться, но не сумел, запеклись губы, переволновался все-таки старший лейтенант.— А ты как думал! Убийцы это!

— Я это понял,— сказал Геннадий, слизывая с пальцев кровь, разбил руку, рад был этому. Зине показал, гордясь, свои ссадины.

— Не все ты понял. Выйди, пройдишь по переулку. Допоймешь...

## 25

Убийц в наручниках и мешок этот серый по имени Белкин вывели на Сретенку и сразу за угол с ними свернули, в Последний переулок, в восемнадцатое отделение милиции повели. Миг всего и пробыли эти люди на людной Сретенке, промельк странный, даже дикий какой-то, зверей вели, убийц, но их заметили, уже стал сбегаться народ. Потому и заметили, что странным и невероятным даже было это шествие людей в наручниках в окружении милиционеров, строголиких, напрягшихся. А эти, «трио» это, в шоке они находились, в нокдауне тяжелейшем. Им еще досчитывал рефери, выкидывая пальцы, свой счет до десяти. И они замерли, загипнотизированные этим счетом. Не очухаются, будет нокаут. Похоже было, что им не очухаться, что — всё с ними, хотя и передвигают ноги, идут куда-то, куда их ведут, потом поедут, куда повезут. Но — всё с ними. И с Белкиным — всё. Этот тихонько поскуливал, не плакал, не произносил слова, а скулил, ужимаясь в самого себя.

Геннадий вышел из кафе, хотел было нагнать «трио», чтобы поглядеть, какой след остался на лице того мордастого, в которого угодил его кулак. Пальцы у Геннадия стали быстро распухать. Ну а у того как с личиком?

Зина нагнала Геннадия, взяла за локоть.

— Больно тебе?— Она поморщилась, переживая.— Пойдем в аптеку, тебе там забинтуют руку.

— Ничего, ему больнее.

Не нагнать было этих гадов, толпа набежала, отгородила их от Геннадия.

— Что ж, Зинок, пошли в аптеку, — сказал Геннадий. — А вдруг у него слюна ядовитая. — В нем еще не улеглась ярость, он еще в драке был, тело его, жаль, не додралось, сам он, жаль, не додрался. — Ребята! — крикнул он своим друзьям, Диме, Славику, Колюне (они шли в толпе, впереди). — Спасибо вам! Я сейчас, только руку забинтую! Спасибо вам! — Ему радостно было громко выкрикивать эти слова, радостно, что на его голос оглядывались, радостно, что рядом шла Зина, осторожно поддерживая его под руку. Возбуждение не унималось в нем. Он еще чего-то ждал. А чего? Сворачивая к аптеке, он глянул поверх голов — туда, в глубь своего переулка, туда, где наискосок от его дома укрылся за топодем дом Кочергина. Там никого не было, все, кто был в переулке, сейчас сбегались, сходились к милиции. Там ни души не было, но там стоял напротив дома Кочергина небольшой серого цвета фургончик, такой совсем, в каком развозят мелкие партии товара, ящички всякие с дефицитом, с икрой там, с осетриной в томате. Такой совсем фургончик, но только с одной странностью: зарешечено у него было оконце над задней дверью. Тот самый, в котором увезли Колобка?! Геннадий рванулся, побежал.

## 26

Дверь на лестницу в доме Кочергина была распахнута, кто-то даже камень подложил, чтобы она не затворилась.

Дверь с лестницы в сени квартиры Кочергина тоже была распахнута и тоже подперта камнем.

Распахнута была и дверь со множеством замков, впускавшая в кухню.

Геннадий переступил порог, вошел в кухню, где вся мебель, вся утварь эта поблескивающая были озарены пронзительным дневным солнцем, ворвавшимся в кухню через окно, — экран, загораживавший окно, был сдвинут в сторону.

В кухне никого не было, но дверь в гостиную была раздвинута — обе створки до упора.

Там, в гостиной, Геннадий сперва увидел двух спортивного

вида мужчин в строгих, темных костюмах, тех самых, что повели тогда через магазин в наручниках Митрича.

Потом Геннадий увидел Рема Степановича. Сперва не понял ничего. Почему он на полу лежит? Почему не двигается? Почему эти двое склонились над ним? У одного из них повисли в руке наручники.

Ничего еще и не поняв, Геннадий шагнул в гостиную. Тут тоже пронзительно светило солнце, были отодвинуты от окон экраны.

В углу, в самом дальнем углу, словно спасаясь там от пронзительных лучей, спиной прижавшись к стене, стояла Анна Лунина. Замершее лицо, замершие глаза. Она смотрела на лежавшего на полу Рема Степановича, ужасом были поширены ее глаза. Ужасом!

Кочергин лежал на боку, подтянув ноги. Был он в своей римской тунике, с багровой по подбою полосой, в праздничной одежде патриция. А лежал, жалко подтянув к животу ноги, недвижно лежал. Рядом с ним, на озаренном солнцем паркете, валялся крошечный, выточенный из дерева футлярчик, флакончик этот с нарисованной на нем розой, в котором помещается крошечная же ампула со знаменитым болгарским розовым маслом. Такой флакончик стоял у его тетки на туалетном столике — сколько себя Геннадий помнит, столько он там и стоял. Крышечка с флакончика была сдернута, откатилась к дивану.

Что же, что же случилось? И зачем тут эта деревяшка на полу, этот жалкий сувенирчик?

Ужас застыл в глазах Анны Луниной. Двое в штатском распрямылись, отошли от Кочергина. Хоть и строгими, замкнутыми у них были лица, жила в них сейчас растерянность. Они показались Геннадию врачами из «скорой», не поспевшими к больному. Приехали, а он уже умер.

Умер! Дошло до сознания! Рем Степанович Кочергин был мертв.

За спиной появился знакомый старший лейтенант, разувившийся улыбаться.

— Что тут у вас?

— Отравился,— сказал тот, у кого в руке повисли наручники.— Попросил время, чтобы переодеться, и... Нет у нас такого опыта... Кто мог подумать... Циан, наверное...— Он поглядел на Анну Лунину, виновато развел руки, тихонько звякнули наручники.

— Нет... Нет...— шевельнулись у нее губы.— Нет... Нет... Я не верю... Нет...

Старший лейтенант вошел в комнату, глянул на Лунину, глянул на Геннадия, сказал ему:

— Уведи ее.

Геннадий подошел к ней, взял за повисшую руку. Она пошла за ним. Она его не узнала, не впустила в застывшие глаза. Кто-то взял ее за руку, кто-то повел, она — пошла. Пересекли комнату, прошли через кухню. Пока можно было, видно было, она не выпускала из глаз человека, лежащего на полу, в нелепой этой тунике, с ногами, подтянутыми к животу.

Вышли из дома, вступили в переулок.

Теперь и здесь, вокруг этого фургончика, начал собираться народ. У милиции была толпа, а здесь сошлись немногие, но это всё были здешние жители. Вон Клавдия Дмитриевна со своим Пьером, вон и морячок подбегает, с прыгающей следом на цепочке зеленой обезьяной. Зверинец какой-то! Но это были тоже здешние обитатели.

Была здесь и Зина, стояли рядом с ней и его три друга.

Геннадия и Анну Лунину пропустили, расступились перед ними.

Он вел ее, держа за руку, не зная, куда ее вести, знал лишь, что надо как можно дальше отойти с ней от этого дома, от этого ужаса.

Вдруг она остановилась, начала рыться в своей сумочке, судорожным движением выхватила из нее желтенький футлярчик из дерева с нарисованной на нем большой болгарской розой. Такой же футлярчик, что и там — на полу. Она сдернула крышку. Губы у нее тряслись, побелели.

— Не смей! — крикнул Геннадий. — Аня, не смей! — Он схватил ее за руку, он упал перед ней на колени. Он молил ее, молил: — Не смей! Не смей! Не смей! Кочергин виноват! Из-за него человека убили!

Он был сильнее, он вырвал у нее из руки эту проклятую штуковину. Он вскочил, швырнул футлярчик на мостовую, каблуком раздавил его, растер. Она покорилась, заплакала, очулась.

К ним подбежали Зина, друзья, обступил народ здешний. Все молчали. Смотрели. Изумленные у всех были глаза. Не привыкли мы к трагедиям в наших переулочках. В кино их смотрим, в театрах. А так, чтобы у себя, возле дома, — не привыкли. Да и не нужно привыкать, зачем же. Но вот случилось нечто страшное — и люди изумились, притихли. И потому еще изумились и притихли, что этот паре-

нек простой, что их Гена Сторожев был участником этой трагедии, что он был велик сейчас, когда стоял на коленях, что он спас сейчас у всех на глазах женщину. Не для себя, это было ясно. Кстати, о Кочергине. О нем что же сказать? Жизнь за жизнь...

Зной стоял в тихом московском переулке. Июль шел. Случилось это все в воскресенье.

*Москва, 1983 год.*

# *Даю уроки*

РОМАН



Не верилось, что все, что происходит, происходит с ним. Человек, не обученный падать, падает всегда неловко, что-то там непременно ушибая в себе. Обученный падать падает легко и просто. И глядеть легко, как он шариком катится. Упал, вскочил — и все дела. Но сколько нужно науки, чтобы суметь стать шариком, чтобы, падая, суметь покатиться. Он не прошел этой науки. Его тренировали, чтобы крепко стоял на ногах, а никак не падал. Его тренировали, натаскивали на успех, а не на неудачу, ведь падение — неудача. Ошибка: надо тренировать на неудачу. На боль. На отчаяние. На утрату. Нет, на утраты. Господи, как умен этот затасканный призыв: хочешь мира, готовься к войне! Хочешь счастья, не беги от горя. Да таких быстроногих бегунов и нету, которые могли бы убежать от горя. Оно каждому дано. Когда-никогда, нагрянет. И тогда...

И все же не верилось, что все, что происходит, это с ним происходит.

ТУ-154, вполне солидный самолет, летающий и за границу, могущий потягаться и со всякими там «боингами», — он знал людей, европейцев, штатников, которые предпочитали ИЛ-62 и этот вот ТУ американскому «боингу», заносчивость которого их раздражала. Он и сам не любил заносчивых самолетов, отлетав на разных и порядочно много, поняв, что перед богом в небе глупо нос задирать. Так вот, этот самый ТУ-154, славный и плавный, принес его и высадил на эту самую землю, и лишь только высадил, как выяснилось, что тут — пекло, просто пекло, что тут нечем дышать. Жить тут? Да тут дышать нечем! Дышать!

Между тем аэродромный автобус, сразу же заполнившийся потными телами, покати́л к недалекому зданию аэропорта, на флагштоке которого безжизненно повис аэрофлотский вымпел, выцветший от яростного солнца, исхлестанный, как боевое знамя, налетающим из близкой пустыни жестоким песком. Да, да, совсем рядом была пустыня. Не шуточная, Каракумы, а это в переводе означает — Черные пески. Вот он куда попал! К черным

пескам прикатил. Точнее сказать, докатился до оных. Но был ведь и у Сахары. Был и в знойном Египте. Изнывал от жары в Кувейте. То все иное, тогда было все иным. Настолько иным, что боль терзала мозг, когда позволял себе вспомнить что-либо из недавних тех дней. Из недавних! Боль взорвалась в нем. Он запретил себе вспоминать. Чуть только начинал, как боль, просто боль, будто кто ударил по вискам, по глазам, обрушивалась на него, как обрушивается на свою жертву заступивший черту каратист. Как отбиться, укрыться, отгородиться от этих жестоких, коварных, внезапных ударов? Он научился вроде бы. Научился ввергать себя в безмыслие. Вот так вот, движется, что-то делает, а мыслей нет. О чем-то даже думает, а о чем — не понять. Нет мыслей. Сжался, отбил. И сейчас, в автобусе, притиснутый потной, рыхлотелой женщиной к стенке, — так жарко ей было, что уж и не чувствовала, что вжалась в мужчину, — он отбил, запомнил. Боль отвалила. Взмок весь. И женщина все более взмокала. Их пот смешался. Он сказав ей, улыбнувшись, примерив к губам самую свою расчудесную улыбку, а он был мастером улыбаться, обучен был и природой наделен, он сказал ей, выползая из отчаяния к озорству, что ли:

— Будто полюбили друг друга...

— Что? — Она не поняла его. Из-под губы с усиками мелькнули траченные золотые коронки. Но тотчас и поняла и рассердилась: — Зачем сам прижимаешься?!

Они попытались разъединиться. Где там! Автобус утрясал их на бетонных швах, зной изнурял миг за мигом все больше.

— У вас тут всегда так? — спросил он, стараясь удержать в губах улыбку, но, наверное, жалкой она была, вымученной.

— Случается и пожарче. — Бывалой она была, эта толстая женщина, сверкнули чертенята в ее глазах, в черноту ли, в сизину, еще молодых. — В командировку к нам?

— Насовсем.

Сказал и обмер: а ведь это так, он насовсем сюда. Насовсем!

— Не горюй. У нас тут хорошо.

— Я уже понял.

— Ничего ты не понял. Зачем так улыбаешься, будто плакать собрался? Женат? Если нет, повезло тебе. У нас тут невесты замечательные. Женись на армянке, советую. Нет лучше жены, чем армянка. Еще живут устои. Между прочим, я сама армянка.

— А я думал, туркменка.

— Думал! Смотри, все туркменки пешком идут от самолета. Их мужья и братья им головы оторвут, если увидят в такой тесноте с незнакомыми мужчинами.

— Еще живут устои? Кстати, и в Кувейте тоже. Там и лица у женщин закрыты.

— Было и у нас. На базаре и сейчас можно встретить. Разбежались?

Автобус остановился, двери расползлись. В зное этом, оказывается, жил все же свежий ветерок, и он сейчас пробежал по взмокшим лицам.

А тут было все как у людей. Вполне внушительное здание аэропорта открылось глазам. Стекло, стекло — и здесь стекло, хотя здесь бы, чтобы хоть как-то укрыться от солнца, каирские, кувейтские, алжирские нужны бы были стены, эти стены-ниши, средневековый ужим окон, когда кажется, что здание прищурилось на солнце, рукой-козырьком прикрыв лицо. Нет, тут было стекло, стекло, будто поплавившееся, в ажурных разводах. Немудрено и поплавиться. Оказывается, и еще может быть жарче, обманул ветерок. Но в жаре этой, в зное, в пекле жил какой-то особенный воздух. Вокруг на клумбах много было усыхающих роз — нет, не от них, не розовой квелой сладостью он был пропитан. Асфальт истаявал — от него этот дух? Нет, воздух пах не асфальтом. Догадался: воздух пах пустыней. Горьковатый, строгий, завлекающий дух пустыни, тех самых Черных песков, витал тут. Серьезное местечко, когда так пахнет воздух. Посреди океана, в Атлантике, где громадный пароход кажется шелушинкой, когда выйдешь на палубу, на нос корабля, когда ветер не сильный, вдруг услышишь ты, учуешь этот запах громадного тела, этот звериный запах океана — тоже строгий, даже грозный и тоже завлекающий. Что — человек? Песчинка, затерявшаяся в океане, или вот — на самом краю великой пустыни. Зачем, человек, тебя все носит и носит, вот сюда занесло — в эти нешуточные места? А потому и занесло, что ты — песчинка.

За загородкой, в толпе встречающих, он сразу углядел своего институтского дружка, самого у них на курсе добрейшего из добрых, которому все всегда поверяли свои беды, к которому и сейчас обратился, ища помощи. И тот помог. Нашел тут работу, да, тут, на краю пустыни, в этом зное, а все же работу, вызвал телеграммой, в которой было столько слов, что показалось, есть в нем нужда, и вот встречает,

не одну, а обе руки воздев к небу. Друг единственный, как оказалось. Столько их было, не счесть было институтских друзей, а выходит, один остался. Все прочие — где они? Боль, боль, опять эта боль, пострашнее этого пекла. Сжался, кинулся навстречу другу. И тот уже бежал навстречу. Обнялись, обжигаясь друг о друга.

— Ростик, ты?! Едва узнал! Идет в толпе молодой Джеймс Бонд! Словом, элита!

— Я, я это, Захар. Спасибо, что встретил.

— Да ты что?!

— Спасибо, спасибо.

— Да ты что?! Я просто весь пою от счастья. Ростик Знаменский прибыл в наши палестины! Сам Ростислав Юрьевич Знаменский! Краса и гордость... Эталон обаяния...

— Все в прошлом, как ты знаешь.

— А вот и нет! Турнули? Кабы не был виноват, тогда бы действительно было обидно. А ведь виноват?

— Виноват.

— Ну, а тогда действуй по законам цирка.

— Как это?

— А как канатоходец. Сорвался, повис — лезь опять. Номер надо повторить, арену нельзя покидать неудачником.

— Эх ты, цирковых дел мастер. Милый ты человек, Захар, легко с тобой. Но чего это ты тройку натянул? Ведь испечешься. Ради меня?

— Ради протокола. Забыл, что я дипломат? Учти, по сути, в ранге заместителя министра иностранных дел республики.

— И такая персона меня встречает! Меня, человека, по сути, в ранге нуля.

— В ранге друга, сэр.

Они встретились в толпе, но теперь толпа сместилась к круглому навесу, куда должны были привезти чемоданы, их еще долго надо будет дожидаться, томясь в этой жаре, но эта жара и потом никуда не денется, она будет и в машине, она будет и в гостинице, она не уйдет и вечером, не исчезнет и ночью. Не повернуть ли назад? Как это его угораздило согласиться на работу в таком пекле? Выбора не было, дружок, выбора не было. Теперь часто ты будешь принимать решения не потому, что так вот решил, а потому, что выбора у тебя иного нет, иного нет выбора. Но здесь — Захар. Друг, славный малый. Он и позвал, договорился с кем надо, организовал вызов. А выбора не было, выбора не было.

— Пошли к машине, — сказал Захар. — Водителю отдадим твой жетон, и он вмиг притащит чемоданы, вон их уже везут. Давай жетон. О, ты не знаешь еще, что у меня за водитель! Джигит! Озорник! Кудесник по части что достать!

— Туркмен?

— Почему? Алексей. Русский паренек. Ярославский, кажется. Здесь у нас кого только нет, всех городов и весей посланцы. От своего зачина так складывался город. Российские, закавказские, заднепровские, уральские неvezуны сбегались. Армяне сюда бежали через Каспий от спровоцированной резни, и тогда же, при царизме, сюда, между прочим, ссылали проштрафившихся армейских офицеров. Пестрое сообщество. Но знаешь, когда ударило горько знаменитое землетрясение сорок восьмого года, убившее половину населения и все тут дома и домишки, а знаешь, ведь не дрогнули здешние жители, не побежали, подняли свой город. И не только туркмены, которым земля эта — Родина, но все, все неvezуны, бегуны, перекаати-поле. Все! Я уважаю, знаешь ли, местное население. Особый характер у народа. Как-никак, а земля-то под ногами, что ни год, в дрожь кидается. Ну, пока не велика эта дрожь. Пока. А вдруг да лихорадка начнется, очередной припадок? Уважаю я здешний народ. Смелые люди!

— С неба огонь, земля сотрясается — славное местечко

— Но зато — смелые люди.

— Да, вот и я сюда прибежал.

— Не о тебе речь. Я и не подумал. Ты из другого теста, — засуетился Захар, длинный, нескладный, в ряднейшей, иностранного происхождения светлой тройке. А все равно, как ни наряжайся, а крестьянская родовая широкая кость из любого кроя свой крой покажет. Он был крепко скроен, наш Захар, русоволос, простодушен, простецкий совсем парень, хоть и в ранге чуть ли не заместителя министра иностранных дел. И только глаза, небольшие, тоже крестьянские, — из глубины синева, — только глаза у него светили каким-то таким сильным светом, когда и ум в человеке угадываешь, и надежность угадываешь, а надежность в человеке всего дороже.

Алексей, бойкий, веселый, усмешливый, в черноту загоревший, с глазками в таком прищуре, что не углядеть было, что там в них, — вмиг добыл чемодан Знаменского, притащил, явно гордясь, что они такие заграничные, такие кругосветные.

— А чемоданчики-то, Захар Васильевич! А! Не верил вам,

когда рассказывали, а теперь поверил. Знали небошь и «мерседесы», и «шевроле» с «люкс-фордами» в придачу. Заметили, никаких наклеек? Нынче не носят. Кофр по коже, по шрамам на ней свой ранг показывает. И еще вот замки с цифровыми комбинациями. Дипломатические кофры!

Тараторя, укладывая чемоданы в багажник старенькой «Волги», Алексей зорко поглядывал из своих прищуров на Знаменского, устанавливая для себя и его собственный ранг. Ну, чемоданы что надо, а сам каков? А сам этот приезжий, из легенды, между прочим, товарищ, тоже был что надо. Тянул! И дело не в том, что одет во все заграничное. Нынче это не диво. В субботу, на толкучке, за час, если, конечно, повезет, можно раздобыть и эти штанята фирменные, и эту гонконговскую рубаху с погонами, которые, отстегни их, могут рукава держать. Удобная штука. Материальчик такой, что потей под ним сколько угодно, а пот не проступит. Ветерок чуть дунул, а тебе прохлада. Нет, этот тянул сам по себе, хотя и одежда тоже роль играла. Алексей сказал:

— Рубашечка у вас ну прямо для наших мест! В Гонконге брали?

— Какая осведомленность,— улыбнулся Знаменский широко, приязненно, выложил для этого малого, еще не зная, как всякий приезжий, кому как себя подавать, и уже не умея,— в растерянности жил,— оценивать человека с первого взгляда, даже полувзгляда, а уместность эта, наука эта им вроде бы была освоена, и давно. Все разлеталось, потери ощущались по всем линиям, он растерялся перед жизнью и знал, что растерялся. Стал путаться: не то говорить, не так себя вести. Вот улыбнулся этому бараночнику, будто королю Иордании. Господи, а он знал этого короля, седенького такого короля, веселостью и даже озорством не пускающего себя в старость. Господи, он знал его, был у него в гостях, в громадной машине с ним сидел, куда-то они ехали веселиться... Вспомнил и не поверил себе. Не было этого! Но все помнилось, вспомнилось. Сожженная зноем древняя земля, путь паломников трех религий, близкие горы, могучие деревья вдоль шоссе и улыбочивый, коротко стриженный, седенький мужчина в простейшей, распахнутой на седой груди рубашечке, но это — король, и то, что он король, понимаешь по одному всего перстню на безымянном пальце, по камушку в том перстне размером с голубиное яйцо. Вон дворец какого-то богача на склоне холма и вот этот камушек. Они в одной цене.

— Ты куда смотришь?— спросил Захар. Они уже ехали

по шоссе от аэропорта в город, по изнемогшей от жара асфальтовой полосе, пролегшей извилами между домами-новостройками, в которых слепили, будто плавилась, стекла.— Не смотри пока, вот въедем в город, на проспект Свободы, там тебе понравится.

— Не буду смотреть,— сказал Знаменский и поглядел на эти дома-коробки, на землю вокруг, такую же древнюю, как та, еще стоявшая в глазах.

— Не смотри, не смотри, сейчас грянет город.

— Уже успел влюбиться в свой Ашхабад?

— Знаешь, а в нем что-то есть. Привораживает. Многие так считают. Ну, конечно, тебе, понаглядевшемуся...

— Мы товарищу покажем такие уголки,— оглянулся Алексей, сверкнув молниями прищуренных глазок,— что... А как вы насчет дам?

— Алексей!— строго одернул его Захар Васильевич, не шутя рассердившись.— Ну бабник, спасения нет!

— Это точно, разные мы,— сказал Алексей.— А в общем-то, все мы бабники. Только один маскируется, тихарит, а другой — душа нараспашку.

— Ты на что намекаешь, это кто же тихарит?— Захар Васильевич даже покраснел от негодования.

— Не о вас речь, Захар Васильевич, начальство вне подозрений. Да вам, дипломатам, и нельзя.

— Что — нельзя?— спросил Знаменский.

— Все нельзя. Закованный народ. А чуть что, на коллегую.

— Это так,— и усмехнулся и погрустнел опять Знаменский.— Это уж точно.

— Дамы, дамы, погубят они нас,— сказал Алексей, старательно крутя баранку, обходил как раз пылящий и зловонный самосвал.

— Это уж точно!— повеселел Знаменский. Нравился ему этот парень.— Но, Алексей, об этом догадались еще задолго до вас.

— А мне какая разница, что кто-то догадался, главное, что я сам догадался. Но поздно. И наука не впрок. Третий раз развожусь.

— Вот такой он у нас,— сказал Захар Васильевич.— Ох, Алексей, займусь я тобой!

— А нас учи, не учи, а мы такие, какие есть. Характер — штука железная. Верно говорю, Ростислав Юрьевич?

— Железо гнется, утверждают.

— Не знаю. Я бы рад согнуться, а смотрю, и опять за-

несло. Куда, кричу, куда ты меня тащишь?!— это я характеру своему, а он знай себе тащит.

— И затаскивает в очередной шалман,— сказал Захар Васильевич.— Погибнет, честное слово. Спасибо, хоть пьет только по выходным.

— А в другие дни водителю нельзя,— сказал Алексей.

— А как же характер?— спросил Знаменский.

— Так я же не пьяница, у меня в другом вопросе катастрофа.

— Ну, понял, ясно. Каждому свое.

— Именно!

А что, если вспомнить, про что они тогда говорили с простейшим и милейшим тем королем,— когда хотел, он был простейшим и милейшим со своими гостями, демократичнейшим был, любил прикидываться,— так если вспомнить, то ведь такой же почти, как с Алексеем-шофером, шел у них тогда разговор. Про женщин, конечно же, и что от них вся морока, и что зарекайся не зарекайся...

— А вот теперь смотри! Город!— торжественно провозгласил Захар.— Приехали!— И помолился:— Аллах, пусть будет счастлив сей путник в твоих земных чертогах!

Знаменский глянул. Прямая, широкая улица открылась глазам. Дома за разросшимися кронами карагачей были едва различимы, даль над асфальтом плыла в знойном мареве. Люди, их было мало в этот дневной час, шли по улице, держась поближе к стенам, выискивая тень погуще. Что за люди? Что за стенами этих домов? Он столько видел промельков таких улиц, в стольких успел побывать городах, что улицы и улочки давно слились для него в одну сплошную улицу, а города — большие, маленькие, громадные,— в один сплошной город. Но здесь, среди промелька этих стен и людей, ему предстояло жить, сюда его выбросило на берег.

— Да, приехали,— сказал Знаменский.

И верно, приехали. Машина подкатила к бетонному, в нишах и окнах, зданию, почти такому же, как там, и там, и там,— по всему миру,— на фронтоне которого значилось: Отель «Ашхабад». И рядышком, чтобы и иностранец все понял: «Hotel...»

Машина остановилась, и Алексей королевским жестом повел рукой:

— Прошу, джентльмены!



Номерок был маленький, как келья в крепости, не повернуться. Да еще эти хвастливые чемоданы, сразу их бахвальство тут увиделось, в скудном убранстве кельи. Да еще духота такая, что просто впихивать себя пришлось в эти недра, хотя на подоконнике красовался громоздкий ящик кондиционера, который, ясное дело, не работал. И запахи, запахи, весь букет от недалекой ресторанной кухни, от журчащего всеми кранами туалета, набухшая от сырости дверь которого плотно не притворялась. Когда-то все тут работало, не протекало, затворялось, но пик славы отеля прошел, как и у человека минует молодая пора, и пришла старость, обветшалость. Жить тут? Вот на этой, — тронул рукой, — продавленной и скрипучей койке ночь провести? Мысль эта удручила.

А Захар за спиной, явно гордясь, что раздобыл другу номер в лучшей гостинице города, радужные уже строил планы:

— С месячишко тут поживешь, а потом раздобудем тебе в каком-нибудь тихом частном домике комнату с окнами в сад.

— И чтобы хозяйка кофе умела варить! — подхватил Алексей, утонувший в продавленном креслице. — Лет сорока, не больше!

— Кофе лет сорока? — подхватил игру Захар Васильевич, надеясь хоть как-то развеселить удрученного этим задохшимся номером друга.

— На первое время! — понял свою задачу Алексей. — А потом, при такой-то внешности, товарищ сам найдет себе кофеварку. Но, Захар Васильевич, если по совести, в сорок лет женщина, именно в сорок, ну, плюс-минус три годика, — она особенно хороша.

— Это почему же? — морщась, досадуя, что втягивается в подобный разговор, но уж больно убитый вид был у друга, спросил Захар Васильевич.

— Неужто не ясно? Последний вальс, так сказать.

— И практик, и, гляжу, теоретик. Ростик, да не дергай ты этот шнур. Сгорел кондиционер, не загудит.

— Уморился, машина все-таки, — сказал Алексей. — А мы его заменим. У меня тут администраторша в больших подругах. Сейчас, как спустимся, все налажу.

— Наладь, сделай милость.

Поняв, что кондиционер не загудит, поняв, что и окно

не распахнуть, да и зная, что в жару такую распахнутое окно мало что даст, Знаменский, как за спасением, кинулся к одному из своих кофров, лихорадочно защелкал массивными, сверкучими замками с колесиками кода. Отмахнул крышку и выхватил, выставил на утлый столик бутылку виски. Ах, какая это была бутылка-красавица! И какой золотистый напиток забвения в ней искрился! А эта белая мирная лошадь, пасущаяся на зеленом, влажном от росы поле,— не этикетка то была на бутылке, а картина, произведение искусства, чтобы встрепенулась изнывшая душа.

Стаканов в номере не нашлось, были лишь пиалушки. Ничего, можно и из пиалушек. Торопливо отвинтил Знаменский покорно-хрусткую крышечку, торопливо забулькал в пиалушки золотистую влагу. Проник, встрюился в беспросветную духоту свежий ветерок, дуновение это с зеленого поля проникло.

— Поехали, друзья!— Знаменский не стал ждать, чокаться там, жадно приник к пиалушке.

— Спятил?! В такую жару виски! Надо бы разбавить!— Захар Васильевич из солидарности взял со стола пиалушку, но вертел в руке, не решаясь пригубить.

— Спятил! Вот именно!— Знаменский уже подхватил бутылку для новой порции, но еще не начинал наливать, а вслушивался в себя, в тот пожар в себе, который сейчас должен был выжечь в нем отчаяние. И потихонечку, потихонечку разгоралась на его лице улыбка. Засмотрелся на этого человека Алексей, на улыбку его разгорающуюся.

— Понял, улыбка!— сказал Алексей.— Я мигом, я сейчас!— Он кинулся к двери, обернулся:— Нельзя мне этого напитка, баранка держит! Но последний вальс я ради вас станцую хоть с Бабой Ягой!— И исчез.

— Влюбился,— сказал Захар Васильевич, продолжая вертеть в руке пиалушку, не решаясь пригубить.— Ты это всегда умел, в себя влюблять.

— А вот себя разлюбил.— Знаменский снова глотнул, разом, одним глотком.

— Да разве виски так пьют?— ужаснулся Захар.

— Иногда с самим собой просто невыносимо оставаться.

— Расскажешь?

— Расскажу. Тебе — обязан. Да ты разве не знаешь? Слухи-то быстрее скорости звука.

— Слухи — они слухи и есть. Врет часто эта информация.

— А, чего там, все правда, хуже не придумаешь!—

Стал пьянеть Знаменский, прихватило его виски, помогая самого себя казнить, вот так вот небрежно рукой взмахнуть: мол, все пропало, чего там, но помогая и душу излить, не держать в себе свою беду, разговорить ее, разболтать даже — чего там? — нате, слушайте.

— Может, отложим разговор? — Захар поставил пиалушку, так и не решившись отпить хоть глоток. — В такую жару что за разговор?

— Пьяной исповеди испугался? Я не пьян, Захар, меня не берет, рекорды начал ставить по этой части — не берет. — Знаменский снова налил себе, снова одним глотком, мучительно напрягая горло, выпил. И даже не отдышавшись, на выдохе от огненного глотка, выдохнул: — Проворовался я, знаешь ли.

— Так это называется?

— А по слухам как это называется?

— По слухам, ты растратил три тысячи долларов, которые тебе выдали на приобретение служебной машины. Кинулся у кого-то одалживать. Одолжили, да не те. Вот как по слухам. Детали мне неизвестны.

— Детали! Три тысячи долларов я проиграл в гостиничной рулетке в Каире. Играл и раньше. Часто везло. Втянулся.

— Это худо.

— Вот, вот, это худо. Ты «Амок» Стефана Цвейга читал? Что поделаешь, втягиваются люди.

— Литературные ассоциации, Ростик, всякие возможны. Раскольников старушку убил. Но зато князь Мышкин...

— Ладно, к чертям ассоциации. Ну, сходило, поигрывал, всегда был уверен, что далеко себя не пушу. Да три тысячи — разве это деньги? Думал, что перехвачу у кого-нибудь. Там, когда там долго поживешь, как-то все проще представляется. Вокруг-то не наша жизнь, а ты живешь не дома, а там, в их воде плаваешь.

— Ну и как же ты извернулся? Перехватил деньжата у их разведчиков?

— Прикинулись приятелями.

— Ты что, рядовой-необученный?

— Не кори меня, Захар. В теории так, а на практике — эдак. Подвернулись, двое их было, посочувствовали, выручили. Да и что за деньги? О чем разговор, Рони? Меня там так звали, Рони да Рони.

— А у нас Ростик да Ростик.

— Да, да, все в Ростиках хожу. Даже когда исключали из партии, часто Ростиком называли. Как думаешь,

в чем дело, почему я, до тридцати двух лет дожив, все в Ростиках хожу?

— Располагаешь. Славный парень, сразу видно.

— Не то говоришь. Вот ты Чижов, тебя бы Чижилом звать, а никогда никто в институте так не называл. Чиж — бывало, а Чижилом — нет. Может, в школе?

— И в школе — Чиж. Да и какой я Чижик, не располагаю.

— Не то говоришь. Ты не хмурься, я еще глотну. Горит голова.— Знаменский снова налил себе, снова поднес пиалушку к губам, но вдруг судорожно отвел руку, расплескав виски.— А, не поможет! И вот поймали меня! Потребовали вернуть деньги немедленно. Расписка, протокол. Попытка завербовать. Ну, как маленького!— Эти слова стоном вырвались.— Как новичка! Туристика!

— Почему как маленького? Все логично. Смотрят, попивает советский журналист.

— Все там пьют, о чем ты?

— Поигрывает в рулетку.

— Я не был тут исключением.

— Контактный сверх меры.

— А бывают контактные чуть-чуть?

— Ну, словом, Ростислав, они шли за тобой. Они тебя вели. Так, кажется, это называется? Помнишь, у нас даже целый курс был, правда факультативно, о приемах вербовки?

— Чепуха все эти лекции! Нет, я все же выпью! Или принять душ?

— В самую жару, пожалуй, не стоит. И воду днем не пей. Да ты знаешь, что наше пекло, что ихнее. Но ведь ты на вербовку не пошел, погнал их? Это-то не слух, это так?

— Так. Вырвался, отбил, да, да, отбивался, рванул в наше консульство и с первым же самолетом — домой. Но... Но шум, огласка, пресса,— я и у рулетки был сфотографирован,— расписка эта, три тысячи долга. И кому!.. Словом, вон из партии, вон с работы, вон, собственно говоря, вообще. Считаешь, справедливо обошлись?

— Трудный вопрос, Ростик. Но я отвечу: справедливо. По сути, ты был близок к измене Родине.

— Громко, не слышу!

— Да, да, к измене Родине.

— Но я отказался, отбил!

— Близок, сказал я, близок.

— Полагаешь, мне теперь нельзя верить?

— Теперь ты громко заговорил. Доверие! Громкое слово. Оно как зал пустой, гулкий зал. Его надо еще заполнить — этот зал.

— И чтобы те, что займут ряды, мне поверили?

— Да. Чтобы пришли и чтобы поверили.

— Здесь, в этом пекле, и предстоит мне завоевывать доверие?

— Какая разница где?

— Но ты меня вызвал. Почему? Из жалости? Или, может, чтобы самоутвердиться? Вот, мол, кем был Знаменский, всех обогнал, а теперь... Нет, прости, это не про тебя.

— Не про меня. Вызвал, потому что всегда считал себя твоим другом. И хватит об этом. Нам еще нет тридцати трех, Ростик, Илья Муромец в нас еще на печке сидит. Как жена?

— Пока не понял.

— Как твой тесть-министр?

— Пока не понял.

— А мама?

— Хватит! Хватит об этом!

— Прости. Поговорить было надо, но и все, теперь все. Поверь, Ашхабад замечательный город. Черт его знает почему, но замечательный. Пекло? Оно всего пять месяцев в году. Но зато потом... Меняй рубаху, и покатаем ко мне. Каких я для тебя дынь раздобыл, какой виноград! А моя Ниночка, знаешь ли, стала просто мастером восточной кухни. Ждет тебя! Ну, ты еще когда ее покорил! Вчера в парикмахерскую бегала. В сорок два градуса! О, женщины!

— А тебе не повредит, Захар, дружба со мной?

Стало тихо в комнатке. С улицы пришли звуки. Млели где-то в тайниках какие-то квакающие существа. Вечен этот звук на Востоке — на Ближнем ли, на Среднем ли, вот и в Средней Азии. Где затаились эти квакуны в асфальтовых и бетонных недрах — не понять, но вскрики их звучат и звучат, будто исходят от самой земли.

— Тихо говоришь, не слышу, — сказал Захар.

— Чуть ли не предатель, исключен из партии.

— Не слышу, не слышу тебя.

С грохотом распахнулась дверь, и, пятясь, с поклонами, ввел Алексей в номер стройную, строголикую туркменку в красном платье-тунике. Не первой молодости женщина, но величава была ее еще не избывшая красота, короной казалась замысловатая прическа, выложенные торжественно две косы. Но главное, что прохладой веяло от

этой женщины, никакой, ну, никакой не испытывала она жары.

— Вон они у нас какие,— сказал, залюбовавшись, Захар. Он поклонился.— Рады вам, рады.

— Салам, салам,— деловито сказала женщина, быстро глянув на Знаменского, на дорогие его чемоданы.— Так что тут у вас? Вот товарищ,— она небрежно повела царственной, в браслетах, рукой на Алексея,— вот товарищ жалуется... Вполне приличный, между прочим, номер.

— Так ведь кондиционер же тью-тью, дорогая Айсолтан!— взмолился Алексей.

— В трехрублевых номерах кондиционеры почему-то всегда тью-тью,— чуть улыбнулась дорогая Айсолтан. На своего приятеля Алексея она не обращала никакого внимания, даже как-то подчеркнуто не обращала, неинтересен ей был и этот нескладный в ладном костюме высоченный русский, ее заинтересовал лишь вот этот вот, с разгорающейся восхищенной улыбкой на лице, товарищ. В нем что-то было, что-то такое, что приобвыкшей в отдельной службе к самым-рассамым экземплярам мужской породы Айсолтан показалось интересным, примечательным, заслуживающим хотя бы двух-трех пристальных, из-под ресниц фотографирующих взглядов.

— Милая, дорогая Айсолтан,— сказал Знаменский и сложил ладони, как это делают на Востоке, умело, привычно, поклонившись без подобострастия, но только потому, что перед такой женщиной невозможно было не склониться, пусть даже она всего лишь администраторша гостиницы, а он, может быть...— Ханум! Но тут дышать же нечем!

Она задумалась, взглядывая сквозь густые ресницы. Там, за ресницами, в ее агатовых зрачках затеплилось сочувствие.

— Зачем такому человеку такой номер заказал?— спросила она Захара.— У меня два «люкса» свободных. Жарко, начальство не едет.

— А такой человек приехал!— подхватил Алексей.

— Я как-то не подумал,— смутился Захар.— Ну, номер как номер. Не на гастроли приехал.— Он подошел к Знаменскому, спросил, шевельнув в шепоте губами:— Потянешь?

— Потяну. А здесь ноги протяну. Выбора нет.

— Вот, вошла женщина — и пришли шуточки да прибауточки,— усмехнулся Захар.— Да, ты все тот же.

— Не просто женщина, Захар, а дорогая Айсолтан.

— Тогда вопросов нет, перебирайтесь в угловой номер на этом же этаже,— сказала администраторша, водворяя строгость на своем чуть только помягчевшем лице.— Алексей, ты знаешь, куда нести чемоданы.— И удалилась, плавная, царственная, еще раз убедившаяся в своей власти над смешным этим мужским племенем. А это чувство, что ни говори, женщины не устают в себе подкармливать.

— Ты заметил, услышал, как она русские слова произносит?— спросил Захара Знаменский.— Акцент ее туркменский, мягкое «л», напористое «р» и часто «ю» вместо «у». А вместе — какая-то загадочность входит в обычную казенную и скрипучую фразу. Загадочность и даже женственность.

— Все такой же, такой же,— покивал другу Захар.— Алексей, твои связи сработали, перебираемся.

— Обычное, самое первое лингвистическое наблюдение,— сказал Знаменский. Он закрутил крышку у бутылки, глянув на свет, много ли еще в ней полощется забвения, поспешно сунул бутылку в чемодан, отделяясь, с глаз долой, и, подхватив чемодан, кинулся из удущья номерка в коридор.

— Куда бежать?! Дышать же нечем!

— Следуйте за мной, сэр!

С двумя чемоданами в руках Алексей бегом припустил по длинному коридору, а Знаменский не отставал.

И вот они уже стоят посредине довольно большой комнаты, замерли, вслушиваются. Да, гудит, гудит тут кондиционер. Но не в звуке дело. Тут ветерок повеваает, тут прохлада угнездилась. Бог мой, какое это чудо — прохлада! Как спасшийся от огня, как выскочивший из горящего дома, стоит, замерев, Знаменский и дышит, дышит, просто дышит.

— Да, тут совсем другое дело,— сказал Захар, нарушая молитвенное молчание.

— Две комнаты — раз, кондиционер японский — два, цветной телевизор, телефон,— перечислял, поворачиваясь локатором, Алексей. Он потрогал диван, присел на пробу в креслице.— Мебель югославская с подбросом. Житуха, Ростислав Юрьевич! Набор посуды! Рюмочки-бокальчики! В выходной к вам в гости напрашусь с сопровождающими лицами. Примете?

— Пренебреженно!

— А потянешь?— спросил Захар.— Рублей семь-восемь в сутки.

— Деньги есть, вот как раз деньгами меня снабдили, — сказал Знаменский и разом все вспомнил.

### 3

Захар Васильевич Чижов жил неподалеку от гостиницы, тут все было неподалеку, особенно если ехать на машине. Квартиру Захар унаследовал от своего предшественника, уехавшего на другую работу, так сказать, с концами, то есть с семьей и без брони на служебную квартиру. Повезло Захару Чижову, поскольку его предшественник жил тут долго, дом свой обиходил. Да что дом — эти три комнаты, выгороженная половина одноэтажного особняка, — главное было не в доме, а в небольшом совсем, но сказочно возделанном участке, отгороженном высоким дувалом, как тут и полагалось, в этом воистину рае, прильнувшем к террасе и окнам, где росли, уже желтея плодами, абрикосовые деревья, старая черешня росла, жаль, уже обобранная, но еще набирали цвет в синеву два сливовых дерева, но всюду — и на опорах, и на шпалерах — зеленел, желтел, розовел, натекал в матовую багровость виноград. И журчал крошечный фонтанчик, убегая струей в тень деревьев, где можно было укрыться от зноя, там сама тень казалась прохладной. Солнце и здесь, конечно, царствовало, но здесь оно царствовало благожелательно.

На раскладных парусиновых стульях, вокруг укрытого ломкой, крахмальной скатертью стола, на котором сейчас воцарилась на синем блюде дыня и, кажется, зрим был, струился в воздухе ее аромат волшебный, сидели они — институтские друзья, а нет дороже институтской дружбы, сидели два «мгимошника» — Ростик Знаменский и Захар Чижов и его жена Ниночка, «торезовка», то есть студентка в прошлом института иностранных языков, с которым у «мгимошников» была давняя дружба, породненные это были учебные заведения. Все такая же была Ниночка, почти такая же, как и на первом курсе, Ниночка и Ниночка, разве что чуть пополневшая, но это только еще больше красило ее, их Ниночку-блондиночку.

Сидели, молчали. Отвосклицались уже, проинформировали друг друга обо всем и даже о мелкой мелочи, ни разу не коснувшись главного в их жизни, той муки, той печали, того, что случилось или не случилось у них, для них, а было мужчинам тридцать три почти годика, они были



ровесниками, с одного курса, вместе начинали воевать судьбу. А не случилось и случилось многое. Вот не случилось у Нины,— она была года на четыре моложе своего Захара, не случилось у Ниночки сберечь ребенка, их мальчик умер трех лет, в распроклятом, в чужелюдном для русского человека климате той страны, куда Захара Чижова с женой послали работать. МГИМО — это не только престиж и заграничные шмотки, возможность заработать на «Волгу» и кооперативную шикарную квартиру, шикарно же ее обставив. Ошибаетесь, товарищи! Это тропические лихорадки, это яростные москиты, это бездорожье, безводье, безлюдье, а подчас пагубное многолюдье или, точнее, нелюдье. Мгимошники, пижоны, форсуны, с прононсами и слэнгами — они солдаты, да, да, они солдаты и часто самого что ни на есть переднего края. И вот тогда... а вот тогда и становится ясным, кто есть среди них кто.

Не случилось Ростика Знаменскому, не сумел быть солдатом.

Молчали, вспоминали молча, дышали тем воздухом, который был родным от студенческих их пеленок. Трое — это уже мирок, их мирок.

Но, может быть, Захар Чижев был среди них счастливецом? Он ехал, куда посылали. Он не выспрашивал, какой там климат, какое там будет ему бунгало, какой марки будет машина, какой ранг ему установят, велико ли представительство, сколько дадут в валюте, сколько пойдет на книжку. Он — ехал, вернее, летел. Он был солдатом, это уж точно. Оpozдал родиться, а то бы был одним из тех, кто крестьянскими своими руками, широкой костью отстояли Москву. Солдат, да, солдат. Но Ниночка вышла за него замуж не любя, с отчаяния, что ли. У юных женщин такое случается. И не у юных тоже. Вот кого она любила, этого дуралея несчастного, этого Ростика, таясь, таясь, никто не знал. Так ли, не знали? И когда он женился на их главной у «торезовцев» царевне, на их Елене Прекрасной, из-за которой шла у «мгимошников» форменная Троянская война,— не он женился, а она его на себе женила, объявив всем, откровенная была всегда: «Мне нужен элитный мальчик!»— вот тогда Нина и вышла за своего Чижа, объявив тоже всем: «А мне нужен надежный!» Не ошиблась, Захар Чижев был надежным человеком, это уж не отнять. И он любил ее, как только может такой человек, однолюб кряжистый. Не ошиблась, это Ленка ошиблась. Вот сидит ее «элита», ее «шляхтич княжеских кровей», убитый, нет, побитый и

виноватый. Но как же душа востепенулась, когда вошел он к ним! Как же нелегко ей не смотреть на него! А что в нем, ну, что в нем?! Все такой же, нарцисс проклятый! А Захар!.. Что — Захар?..

Сидели, молчали «мгимошники», вот тут, на краю грозной пустыни, в райском садике у фонтанчика.

И тут, в глубине этого садика, кто-то квакающе вздыхал, какая-то квакушка-кукушка завелась.

— Ну и кем ты у нас в Ашхабаде будешь работать?— прервала наконец молчание Нина.— Меня зарыли в бумажках. Визы, визы, визы. Сбегать собираюсь. Зовут и туда, и сюда, и даже в университет преподавать английский. Нет, учить — это не для меня. Сбегу к геологам. Вот увидишь, Захар, сбегу. У нас тут, Ростик, везде все время что-то ищут. Нефть, газ, золото, серу. Все время что-то прокладывают. Каракумский канал за тысячу километров ступил, нефтепроводы тянут, дороги, по трубам провели воду в Небит-Даг, а сейчас ведут в Кара-Калу, в сухие субтропики. Представляешь, что там будет, когда туда придет вода? Я побывала там разок. Рай земной! Гранатовые деревья, грецкие орехи прямо над головой. Виноградники, где выращивают сотни сортов, и горы, горы. Ты теперь свободный, Ростик, рвани туда.

— Приграничный, кажется, район?— спросил Знаменский и свел плечи.

— Да,— сказал Захар. Он осуждающе глянул на жену.— Я тебе сбегу! Визы, визы! Кому-то надо и на визах сидеть.

— О, ты человек долга! Вот дал себя загнать в это пекло!

— Кому-то надо и здесь работать. Здесь сейчас боевой участок. И разве нам плохо здесь, Нина?

— Нам не плохо здесь, Захар.— И она тоже свела плечи.— Так куда же его?

— С учетом всех обстоятельств... Прикидывали, прикидывали... И если учесть интересы дела...

— Да ты не тьяни, дипломат!— рассердилась Нина.— Куда его?

— Я телеграфировал Ростик, он знает.

— Подошла работа?— быстро глянула на Знаменского Нина.— Я что-то краем уха слышала и ничего не поняла.

— С учетом всех обстоятельств...— сказал Знаменский, пытаясь улыбнуться.

Теперь ей можно было смотреть на него, она его о деле расспрашивала, и она смотрела, ловя всякий жест, вот

улыбку эту жалкую, кляня его в душе и жалея, ненавидя и жалея, — ну что с собой сделал дуралей — ну вот улыбается, жалкий-прежалкий, а все-таки и сейчас красивый, нет, не красивый, не красавчик, а просто смотреть на него приятно, — открытый он, синеглазый, улыбчивый и, если знать, беззащитный. Она многое о нем знала. Она догадывалась, что он из тех, которых ведут за ручку. Мама вела, жена повела, дружки тянули в разные стороны. Но жилось легко, празднично даже, и он не научился вырывать руку. До поры до времени так жилось. А вот теперь...

— Куда же все-таки теперь-то тебя за ручку привели? — спросила она, не умея быть милосердной, так изныла душа, глядя на него.

— Он будет у нас референтом, — сказал Захар. — Точнее, переводчиком. И у нас и в республиканском ССОДе, благо наши конторы в одном здании. Нам и им давно нужен был квалифицированный переводчик и именно мужчина, а не дамочки эти, чик-чирикающие. Восток все-таки сюда тяготеет, Азия здесь. Иной иностранец просто понять не может, как это в его номер входит женщина, а потом по стране с ним мотается. Он начинает, так сказать, вибрировать.

— Объяснил. Смотря какая женщина. У меня бы не повибрировал.

— Но не бить же всех наших гостей по щекам.

— Словом, как я поняла, слуга двух господ?

— А что тут плохого? — Захар весело подмигнул приунывшему другу. — Ты смотрел, Ростик, по телеку пьесу Карло Гольдони «Слуга двух господ»?

— Мы еще в Москве с Леной эту пьесу вспомнили. — Знаменский ссутулился, отвечал не поднимая головы. — Да, да... А все-таки доконало меня это виски. Прав ты был, нельзя пить в такую жару.

— Сейчас отвезу тебя в гостиницу. А хочешь, укладывайся прямо здесь, в саду. Через минуту будет тебе раскладушка. Такой перепад температур, тут и без виски притомишься.

— Нет, нет, я в гостиницу, там, кажется, неплохо. — Знаменский поднялся, развел плечи.

— Представляешь, — глянул на жену Захар, — едва администраторша его увидела, как тут же предоставила «люкс».

— Представляю. А ты как думал? Ведь это же Ростислав Знаменский!

Слова — что слова? — важен голос. У женщин всего

важнее голос, каким они произносят свои слова, рождающие часто совсем пустыньские, скользящие фразы. Но — голос.

— Нина,— тихонько окликнул жену Захар Чижов.

— Что — Нина? Трудно ему здесь будет, вот я о чем подумала. Зря ты его сюда вытащила.

— Но здесь мы, его друзья. А где-то же надо ему работать.

— Трудно, трудно ему здесь будет,— сказала Нина, упрямясь и как-то вдруг постарев; вокруг губ, оказывается, у нее множество угнездились морщинок.

Знаменский слушал своих друзей, мужа и жену, молчал. Он в звук отлетевший Нининою голоса все вслушивался, не умея понять, отчего такая тоска на него навалилась, еще безысходнее, еще беспросветнее. Он вслушивался и в эти постанывающие звуки, идущие из глубины сада, из самой земли. Тоскливые звуки.

— Поехали, Захар,— сказал он.— А то и сам доберусь, отвыкать надо от машины.

— Зачем же, пригони сюда свою,— сказала Нина.

— Не подойдет, пожалуй. У меня «мерседес».

— Да, пожалуй, не подойдет. И «люкс» тоже. Я подыщу тебе комнату на частной квартире. Поручаешь?

— С окном в сад?

— И даже на горы.

— Согласен, Ниночка.

— Ты только не горюй, не вешай нос.

— Согласен, не буду.

— А я сбегу. К геологам. Вот увидите!

Знаменский и Чижов вышли за калитку, пошли к машине.

— Не может забыть нашего мальчика,— шепнул Захар, оглядываясь, рукой помахав жене.

И она от калитки махала, вдруг оживившаяся, вытянувшаяся, откуда-то взявшийся ветер подхватывал ее легкое платье. Она крикнула:

— Ростик, не исчезай! Эй, «слуга двух господ», приходи обедать!

— Да, да,— сказал Захар.— Хоть каждый день, Ростик. Так и заживем. Славно заживем. Верно?

— Верно.

— Что еще человеку надо, когда рядом друг институтский? Ничего больше не надо! Садись, поехали. Я отпустил Алексея.

— Можно, я сяду за баранку? «Права» у меня не отобрали.

— Садись, правь. Ты, кажется, чуть ли не гонщик?

— Чуть ли.

Мягко стонулась машина, покатила.

И странное дело, чуть взялся за баранку, как отлегло, как разжалась тоска. Но словечко это в него вцепилось: «чуть ли... чуть ли...»— всю дорогу его твердил про себя, прислушиваясь к указаниям Захара, куда свернуть. Вел машину осторожно, как пожилую женщину в танце. Ладони помнили другую машину,— ладони, ноги, спина. На той бы рванул, повиражил бы сейчас, с той он был слит, продолжался в ней. А эта старушка все не туда норовила ступить, что-то тряслось в ней, похоже, она стеснялась гулкого стука своего затревожившегося сердца.

У гостиницы попрощались.

— Завалюсь сейчас спать. Да сейчас ведь чуть ли не вечер.

— У нас быстро темнеет. Солнце просто падает за горы — и сразу темно.

— Значит, оно у вас тут висит чуть ли не на ниточке?

— Пожалуй, что так. Завтра утром позвоню. Отдыхай.

— Чуть ли... чуть ли... Спасибо, Захар, ты настоящий друг.

А может быть, чуть ли?

— Нет, ты настоящий.

Расстались.

#### 4

Не пришлось загнать себя в сон, спрятаться от мыслей в безмыслие разных там кошмарных сновидений. Что — кошмары? Он в них отдыхал теперь. Спал и радовался во сне, что совсем ему сейчас будет худо, что догонят, схватят, начнут убивать. Пустяками казались все эти ужасы, кинематографом Хичкока. Он спал, но он знал, что спит, что кошмары эти уводят, утаскивают его от мига пробуждения. Он спал, страшась лишь одного, что проснется. И тогда, все вспомнив, вот тогда и начинался для него кошмар той реальной жизни, в которую его заволокла судьба. Много стал пить, хотя и худо это помогало. Навык мешал. И раньше пил, долго не пьянея, даже слегка бахвалился своей стойкостью. Журналисту-международнику такая стойкость была

необходима. Много чего было необходимо в его профессии. И он всем этим обладал с избытком. От бога, что ли? От воспитания, разумеется. От породы?

Не пришлось уткнуться в сон: в холле на этаже, когда брал ключ у дежурной, поглядывая на мерцающий в углу цветной экран, где как раз шла программа «Сегодня в мире» и где так мило, так сдержанно, без всякого нажима вел свой рассказ Борис Калягин, которому тоже было дано и от бога и от воспитания, — так вот, в холле этом, в креслицах перед телевизором, углядел Знаменский сперва двух женщин, молодых, с задранными юбочками — жара ведь! — да и ноги такие грех скрывать, а потом лукавый глаз углядел, подмигивающий ему. Вскочил лукавоглазый и оказался Алексеем.

— А мы к вам! — подошел круглой походочкой Алексей. — Заждались. Чуть-чуть не рассчитал. Ну, час на обед, ну, час на воспоминания, ну, проводы у калитки, ну, дорога... Короче, тридцать минут у вас там на что-то еще ушло. Мои дамы собрались было уходить.

Дамы тем временем поднялись. Молодые, хотя лица вот подбадривают косметикой, в такую-то жару. Каждая на кого-то похожа, на одну из див эстрадных, а то сразу и на двух и трех — те ведь тоже с кого-то портрет берут. А те — с других, а другие — с иных. А выходит, что у всех у них одинаковые личики, полуоткрытые ротики и растопыренные глазки, жаждущие великолепного какого-то счастья. Вполне милые дамы, что ни говори. Полноногие, стройноногие и почти все на виду, без обмана. Ай да бараночник Алексей!

— Не возражаете? Мы на минуточку. Знакомьтесь. — Алексей тараторил и сиял, поняв, что дамы понравились. — Представляете, как узнали, кто к нам прилетел, так просто повисли на мне, знакомь, и все! Это, Ростислав Юрьевич, наши знаменитые в городе манекенщицы. А как же, и у нас есть! Вот это вот Лара, а это вот Лана. Знакомьтесь, знакомьтесь. Ростислав Юрьевич, приглашаете?

— Разумеется... Буду рад...

У них были потные ладони, пот проступил и на их платяцах, — простительно, такая жара! — запах женского молодого пота ударил в ноздри.

Он разглядывал их, но ведь и они разглядывали его. Растопыренными от туши своими глазками приглядывались. Это были зоркие глазки, даром что простенькие личики. Знаменский знал, что женщины зорки. Они и умны, все,

просто все до единой, даром что у иной простенькие мыслишки, маленькие желания. Но на свой лад, для себя, если всерьез по жизни, женщины умны, зорки и уж всегда догадливы. Что какая-нибудь стюардесса, что какая-нибудь магнатесса, что эти вот, ашхабадские манекенщицы. Женщины — умны, зорки, от их глаз мало что ускользнет, — Знаменский знал про это, многожды убеждался в этом. Ну-ка, чего они в нем сейчас углядели? Притворяйся не притворяйся...

Он ввел гостей в свой «люкс», где действительно было прохладно, ну, не по-настоящему, машинная это была прохлада, воздух тут чем-то пах, чем-то машинным, как в гараже, но зато прохладно же было, прохладно.

Уходя с Чижовым, он не успел выложить из чемоданов вещи. Три чемодана стояли, будто готовые к отбытию. Подхватил — и прощай, город Ашхабад. А что, он теперь может, никому ведь теперь не нужен. Слуга двух господ!.. Из жалости позвали. Придумали какую-то работенку, в которой нет необходимости. Кооперировались даже, изобретая ему дело. Спасибо, спасибо. А он вот подхватит свои чемоданы — и в аэропорт. Куда? А хоть на первый же рейс. Деньги у него были, денег пока хватает. Лети! Самолет приземлился — сходи. Куда залетел? А какая разница? Деньги есть, паспорт есть. Девицы такие, как эти, ну, похуже пусть, найдутся в любом городе. Ресторан, столик, потом пристанище на день-два — и снова в путь. Свобода! Обрел свободу! Свобода за никому ненужностью?.. Так? Так!

— У вас неприятности? — спросила та, что была Ларой и была чуток похожа, ну, скажем, на Софию Ротару.

— Громадные.

— Вывернетесь, я за вас не страшусь, — сказала та, что была Ланой и была похожа, ну, скажем, на Валентину Толкунову.

— Спасибо, на добром слове спасибо. Выпить хотите?

— В такую жару?! — хором отказались, соглашаясь, дамы.

Тот чемодан, откуда он добывал свежую рубашку и где была та бутылочка с белой лошадьёю на зеленой лужайке, был незамкнут, крышка была откинута, — в том чемодане пестрела всяческая иностранная затейщина, ярлычки всякие высывались, и к ним откровенно тянулись глаза женщин.

— Господи, какими вещами человек упаковался! — вздохнула Лара.

— Говорил вам!— ликовал Алексей, гордясь новым другом.

— Так ведь международник,— сказала Лана.

— В прошлом,— сказал Знаменский и достал «Белую лошадь».— Я весь в прошлом, девочки. Так что...

— За битого — двух небитых дают,— сказала одна.

— Вывернетесь,— сказала другая.

Лара была брюнеткой, раз под Ротару, Лана чуть была посветлее, раз под Толкунову.

А все же то, что вот так запросто явились к нему, что шофер Алексей, водитель служебной машины его друга, посчитал возможным организовать эту встречу, да и чувствовал себя сейчас легко и просто, а все же в этом был знак, горький знак его, Знаменского, падения. Он теперь был ближе к этим вот, а не к тем, кто бы еще с год назад мог наведать его в этом номере, очутись он вдруг по делам службы в Ашхабаде. Да нет, нечего бы ему было тут делать. Но если, ну предположим, что очутился бы, то не эти, не этого круга человечки были бы сейчас здесь. Да, да, уловили, не столько разузнали, сколько почувствовали, что он теперь ихний. Упал. Провалился. Летел, летел и вот шмякнулся. И они, эти вот, пришли на него глянуть, а как же, занятно все-таки. И даже утешают его, вникают в его судьбу,— чем не развлечение. И все-таки, а вдруг да и вывернется? Он и сам еще надеялся. Гнал от себя надежду, но все же, все же, но все же. А женщины зорки, они все колдуны, они далеко могут заглянуть. И эта вот, Лана-Толкунова, сказала, что не страшится за него, что он — вывернется... Просто так сказала, для уюта? Такие женщины, с которыми за час всего можно пройти всю дорогу, от нуля до самых тайных тайн, до той близости, когда сердце на разрыв,— такие женщины трагизм своей жизни в себе ощущают, не из баловства пришли к баловству, и они, такие, слов на ветер не бросают. Щебечут, чепуху вроде несут, руками размахивают, помогая своим словам, которые не всегда легко находят, но слова у них, если вслушаться, вздуматься и в них и в звук самый, они не пустые, не пустяковые, не от светской болтовни и сокрытости. Там, в верхних слоях атмосферы, ему уже порядочно наговорили утешительных слов, но, наговорив, смывались — дружки и подружки, знакомцы и знакомицы, которых было так много. Они смывались, размывались. А ведь многие, очень многие были его повадок люди. И пили, и поигрывали, и с барахлом комбинировали, заступали, за-



ступали черту. Он попался, они нет. В том лишь и разница? Но попался. И нечего себя оправдывать. Он отвинтил крышку початой бутылки, пошел к сверкающему буфету за рюмками.

— Выьем, друзья! Ну жара, а мы — выпьем, чтобы охладиться!

В этом номере были и хрустальные рюмки и хрустальные бокалы, и они тоненько запели в тонких пальчиках женщин, будто истосковались по женским прикосновениям, ибо в таких номерах редко бывают женщины;— здесь царит чиновная нравственность, когда, может, и хочется, да нельзя. А ему теперь все было можно, совсем все было можно или, наоборот, нельзя было ничего, потому что он пропал, опозорился, ушел в черноту. Но выпить он мог, и выпить сейчас было необходимо.

Вкрадчиво забулькало виски, изливаясь в подставленный хрусталь, радостно зазолотилось, для хрусталя напитков.

— А запивочка?— спросила Лара, округлив глаза, заглядывая в бокал.— Содовую или хотя бы ледок.

Знаменский распахнул стоявший в прихожей холодильник, вдохнул его прелый, машинный выдох, захлопнул дверцу.

— Не включен, сестрички, наш «Северный полюс». А так не рискнем? Между прочим, давно стало модным хлебать виски без ничего. Все — без ничего, ну и виски тем же манером.

— Понять можно,— сказала Лана.— Спешим, торопимся.

— Именно!— Он не стал их уговаривать, поспешно проглотил свою порцию, послушал себя, как там в нем побежало виски, теплое и препротивное, но обжигающее. А ему и надобен был ожог.

— Я сейчас за чайком слетаю к дежурной,— сказал Алексей, поставив свой бокал на стол.— Ну, не на работе, а боязно всухаря глотать. Запуган. Докторша у нас в гараже хуже кобры. Я — мигом!— И исчез, деятельный, услужливый, просто милейший парень.

— Вы не подумайте, Ростислав Юрьевич,— сказала Лара, глядя на свет, как светятся на хрустале ее красные ногти, ухоженные, колючие, длинные, чем-то даже страшноватые, если представить, что ими тебя царапнут.— Нет, Алексей, конечно, милый парень, но это...— пошевелились ногти, ища нужное слово, свободной рукой покрутила, ища слово.

— Не вашего круга паренек?— подсказал Знаменский.

— Вот именно! Но он взялся нас познакомить с вами, и мы... Кстати, поразительной контактности экземпляр.

— Говорят, я тоже.

— Правда? А можно вас просто Ростиком звать?

— Вам?.. Ну что ж...—Он снова налил себе.—Ну что ж...

Но тогда хоть выпейте со мной, с просто Ростиком.

— На брудершафт? Не рано ли?

— Об этом не смел и подумать. Нет, просто выпейте, не дожидаясь заливок.

— Идет!— Лара смело вскинула руку с бокалом, прошла по комнате, — бедро туда, бедро сюда, — словно демонстрируя некий пляжный наряд, глянула победительно на помалкивающую подругу и выпила. — Виват! — Задохнулась чуть, переждала, переждала, отдышалась. — А ты что же, Ланочка?

Помалкивающая Лана уже наметила свой стратегический план. Она замкнулась, слегка укрылась ресницами, явно отходя от происходящего.

— Я подожду, когда Алексей принесет хоть чаю.

— Ну, а мы — без ничего. Ростик, что же вы?! Нагоняйте!

Он выпил, глянув поверх кромки бокала на своих дам. А ля Ротару явно пережимала, а ля Толкунова вела себя поточней. Да она и больше ему нравилась. И она наверняка догадалась уже, что больше нравится ему, чем подруга. А подруга гнала картину.

— Спик инглиш? Парле ву франсе? Шпрехин зи дойч? — затараторила она, похаживая по номеру, как по демонстрационной площадке, — бедро туда, бедро сюда, — незримые одежды на ней разлетались, и, что ни говори, фигура у нее была что надо.

А что тебе надо? Ничего тебе не надо. Так низко падать все же не следует, хотя ты все равно на дне и тебе все можно, все доступно из того, что там, на дне, обретается. Ты — свободен! Какой с тебя нынче спрос?!

— Господи! — сказал Знаменский, заулыбавшись, страшась обидеть эту языкозлатицу хоть на волосок высокомерием. — Еще наговоримся на разных там языках, если пожелаете. — Но сейчас мне важно в родном попрактиковаться. Условились, сестрички? Давайте не будем спикать и парлекать. Я устал от этого всего. Верите?

Тут Лана сочла нужным молвить:

— Конечно, Ростислав Юрьевич. Это так понятно.

Но Лара не унималась:

— А я так хотела потренироваться в языках. Знаете, нужная штука в нашей профессии. Я даже беру уроки.

Она явно проигрывала по очкам. Знаменский глянул на Лану. Та снова загордилась ресницами, отрешилась. Сиг-

нальщик на корабле не мог бы явственнее промахать своими флажками, чем она своими ресницами и этой отрешенностью. И что же за сигнал? «Вы мне нравитесь» — так? «Жду ваши позывные...» — про это? Позывные! В этом «люксе» сейчас просто буря разгулялась из этих позывных. И всегда так, когда сходятся мужчина и женщина. Незнакомые, едва знакомые, говорящие о чем-то наипустейшем или молчащие, но все равно — позывные, позывные начинают меж них свою работу. Нет таких радиоволн, таких ультраволн, которые могли бы потягаться с этой тонковолновостью.

Примчался Алексей. Парок струился из носика большого чайника, который он нес в одной руке, а казалось, что это из него самого парок исходит, такие он развел пары усердия. А в другой руке у него была тарелка с ярчайшими помидорами, с синей гроздью винограда и коричневыми ломтями чурека.

— Айсолтан кланяется! — вскричал он. — Обаяли вы ее, Ростислав Юрьевич! Вцепилась — кто такой? Почему у нас? Кое-что рассказал, хотя сам ничего толком не знаю. Смотрю, глаза заволоклись, жалеет. А когда женщина жалеть начинает, то тут и до любви один поворот.

— А за что вас жалеть? — молвила Лана, издали молвила, из-под ресниц поглядела. — Вы не такой, чтобы вас жалеть.

И тут, прислушавшись к тихому голосу подруги, Лара поняла наконец, что сильно проигрывает по очкам.

— Ну что ж, — помрачнев, сказала она, беря у Алексея чайник и тарелку. — Будем пить чай и закусывать дарами Айсолтан. Алексей, помоги мне добыть тарелки и как-то хоть накрыть на стол. Наша Лана что-то уснула. Ну и пусть. Нет, а я не согласна, что пожалеть мужчину все равно что полюбить. Вот уж нет и нет.

Сигнальщик на корабле не мог бы явственнее просигнализировать сигнал отступления.

— Согласен с вами, Лара, — сказал Знаменский и снова налил себе. — А все-таки чокнитесь со мной, прошу вас.

Женщина подошла, иначе двигаясь, будто вдруг устала, утихомирились ее бойкие бедрашки, и чуть дотронулась своим бокалом до его, безазартный рождая звон, смазала звон.

— Лана, а ты чего?

Теперь подошла и Лана, будто просыпаясь. Тоже знала, как ступать. И звон, когда чокнулась, сумела извлечь победительный. Сказала, повеселев:

— Вот теперь, когда виноград...

А Алексей, умнейший человек, уже ухватил за талию Лару. Распределились.

## 5

Он проснулся, изо всех сил цепляясь за сон, а снилось ему, что его вызывает к доске их учитель-мучитель математики в их спецшколе, где главным был английский язык, затем шли история, литература, география, даже физкультура, а математика, алгебра эта и геометрия, как и физика, пребывали в полном неуважении. И он худо учился по этим предметам, хотя самолюбие и мама не позволяли худо учиться и хватать хоть на чем-то там тройку, и он все же вытягивал на четверку и эти предметы, а то и на пятерку, поскольку был одним из первых в классе учеников, но худо, через не могу, осваивал он все эти формулы, задачки и законы. И даже сон вдруг прилепился, когда уже кончил школу, с золотой, кстати, медалью. Прилепился сон, чем-то похуже кошмаров, что вот вызывает его учитель к доске, спрашивает, не важно о чем, он наперед знает, что ничего не знает. И эта мука, что провалится сейчас, опозорится перед всем классом, что запустил предмет непоправимо, эта мука была похуже кошмара, где все грозит тебе смертью. Не часто, но этот сон, прицепившийся, повторялся, навещал, так сказать, пугая и предвещая. Обязательно потом, уже въяве, случалась с ним какая-нибудь неприятность. Он был, пожалуй, суеверен. Откуда и как входит в нас суеверность, никто не скажет, но страшок этот, боязнь примёт и предвестий, сидит, угнезвился во многих из нас. Но сейчас он просыпался, цепляясь за этот отвратительный сон, потому что с недавних пор привык и спать и не спать, зная, что спит, что во сне все страшное не страшно, а когда проснется, вот тогда станет страшно.

Но — проснулся. Новое утро распалось за двойной преградой окна, за занавеской и шторой. Только один луч пробился через эту преграду, но зато он был тоненькой струйкой раскаленного металла, проскользнувшего из изложницы, воздух вокруг него превратился в марево.

Проснулся, все вспомнил. Сперва то, что было рядом. Это, близкое, его даже обрадовало. Вспомнил, что слишком далеко у него с этой Ланой вчера не зашло. Все было рядом, все было возможным, но не случилось. Прозевали, заболтали они какой-то миг легкомыслия, в серьезное стали

вступать, веселясь, попивая, обнимаясь. А когда на таких вечеринках вступает женщина в серьезное, то серьезным все становится, обретает свое действительное место в жизни, весомость свою, и мимолетности тут отлетают. Женщины просто хватаются за эту серьезность в любом развеселье, им она драгоценной кажется, эта серьезность, она им возвращает надежду, любой, самой-рассамой, ибо любая и самая-рассамая продолжает жить надеждой. И тогда уж нет уж. Вчера эта Лана так ему и сказала: «Нетушки». Мигом раньше могла бы и подчиниться, легко и просто. Но миг был упущен, простота отлетела. А Лара чуть было не ударила своего кавалера. «За кого вы нас принимаете?!»

Злые сидели по углам, по разным комнатам. А сейчас, вспомнив все, он просто был счастлив, что не заступил вчера черту. И вот потому-то, проснувшись, сперва обрадовался. Ну что бы он сейчас стал делать, если бы не ее вчерашнее «нетушки?». Наверняка чувствовал бы себя отвратительно, стыдно. И новая бы тяжесть прибавилась к его сегодняшним невздам. Вот! А вот теперь все вспомнилось, себя в нынешнем вспомнил. Так было теперь каждое утро — просыпался, вспоминал и погружался в удрученность. Потому-то цеплялся за самые скверные сны, зная, что спит, страшась яви.

Раскаленная струйка луча, вокруг которого плавился воздух, о грозном зное извещала, который бушевал за шторой и занавеской. Гудел в соседней комнате, надсаживаясь, кондиционер. Но вот и пронзительный звонок телефона позвал из соседней комнаты. Наверное, звонил Чижов. Все, все вспомнилось. И где он, и зачем он здесь, и кто он теперь.

Вскочил, подбежал к телефону, радуясь, что Алексей и дамы хоть прибрали тут все, ну, никакого следа от вчерашних игр не осталось. Водворенные в буфет хрустали, чинно выстроившись, вкрадчивым звоном поприветствовали его, когда пробегал мимо буфета.

— Ты, Захар? — спросил он в трубку.

Но в трубке забился женский голос, это была Лана.

— Милый, проснулся? Головка не раскаляется? Знаешь, а я нашла тебе комнату. Заехать? Посмотришь?

Начинались отношения. Раз женщина не заступила черту, она начинает заступать в серьезность, самоуважение рождает надежду. Ну что ж, а ему было сейчас не сложно с ней, он не чувствовал себя подонком, как мог бы чувствовать, если бы... Ну что ж, а комната действительно ему была

нужна, не жить же в этом «люксе» какому-то всего лишь слуге двух господ. Что за господа-то? С год бы назад и не встретились бы, в республиканские министерства иностранных дел, помнится, ему спускаться не доводилось.

— Заезжай, Ланочка,— улыбочиво сказал он в трубку.— Спасибо тебе, родная. Поднимешься?

В трубке долгое натянулось молчание.

— Нетушки... Я ведь не каменная... Буду ждать тебя у подъезда.

Сложности начались, но это были не сложные сложности, он не заступил вчера черту, он не чувствовал себя подонком.

— Через десять минут, хорошо? Как раз столько минут мне нужно, чтобы побриться, принять душ и нацепить на себя что-нибудь.

— Хорошо,— почему-то тихо, как-то раздумчиво отозвалась женщина.— А то хочешь, поднимусь, прихвачу пожевать?

— Нет, спасибо, позавтракаем в городе!— нагоняя в голос радость и вдруг став дурак дураком и недогадой, улыбнулся в трубку Знаменский и поскорей опустил ее на рычажки.

Да, отношения начались и стремительно развивались, но это все не тяготило, забавляло даже, потому что вчера не заступил черту.

И снова зазвонил телефон.

— Ты, Захар?

Да, это был Захар Чижов.

— Как спал на новом месте?

— Представь себе, все-таки спал.

— Чем занимаешься?

— Да вот собрался под душ.

— А у тебя было занято.

— Разве?

— Знаешь, сегодня так складывается день, что не смогу тебя представить работодателям. Один улетел в командировку срочно, другой отсиживается на даче в «Фирюзе», сомлел слегка от жары. Но оно и к лучшему, акклиматизируешься пока.

— А что там, за окнами?

— Жара заметно спадает.

— Что-то не похоже. У меня тут разливка стали происходит из-за штора.

— Нет, полегчало. Сегодня обещают не больше сорока.

— А вчера сколько было?

— Все сорок два.

— Да, сильно похолодало. Захар, ты не огорчайся, что меня твои шефы отказались принять. Я уже начинаю при-выкать.

— О чем ты? Действительно один улетел, а другой со-млеп.

— При явном-то похолодании? Не огорчайся, Захар. Но приезжай. Только по-быстрому. Познакомлю тебя с одной прелестной дамой.

— Господи, когда успел?! Нина, представляешь, он уже с какой-то дамой познакомился!

Смолкло в трубке, и Знаменский стал ждать, что сейчас с ним заговорит Нина, насмешливые какие-нибудь отысканья слова. Но Нина не подошла к телефону. Заговорил Захар:

— Не отзывается, спит еще. Так заехать?

— Обязательно! Через десять минут буду внизу.

Под душем, когда потихоньку стал сводить теплую воду к холодной и совсем холодной, когда просветлело в голове, ветерок будто просквозил, не захотелось вдруг, просто не захотелось жить, в такое нырнул отчаяние. Теперь это с ним случилось.

## 6

Он не стал спускаться в лифте, на лестнице было прохладно, солнце с этой стороны здания еще не палило из всех орудий. Он прошел мимо гостиничной почты, вспомнив, что надо послать жене телеграмму, они уговорились, что перезваниваться пока не будут, поскольку как угадать, где она будет — дома ли, на даче ли, на службе или у друзей.

Но о чем телеграфировать? Что долетел благополучно? Он обычно долетал благополучно. Да теперь и не столь важно было, как он долетит, все равно все было неблагополучно.

В тени навеса, там, за стеклами входных дверей, углядел Знаменский картинно прогуливающуюся Лану и на параллельном курсе с ней вяло шагающего Захара. Они явно не были знакомы. Город совсем невелик, а такая яркая молодая женщина и на виду у всех в силу своей — на, смотри! — профессии, а Захар Чижев, чуть ли — чуть ли, чуть ли! — не заместитель министра иностранных дел, то есть человек здесь известный и всюду бывающий, — а вот они даже не знакомы. В разных кругах вращаются? Вот именно.

А немного поодаль, где была стоянка автомашин, лениво

похаживал вокруг своей «Волги» Алексей. Не подскочил к Лане, утаил от своего начальника, что знаком с ней. И она даже и глазом не поведет на этого шофера. А как вчера веселились! Тоже в разных кругах вращаются? А ты как думал? И здесь — круги и круги, кружочки, секторочки. Интересно, в каком сам-то окажешься? Нет, не интересно. Безразлично. О себе сейчас думалось с полнейшим безразличием. Ну, тут, ну, там, а по сути — нигде. Он человек — в нигде. Сжался, отмахнув стеклянную дверь, как перед шагом на самую верхнюю ступеньку парилки, шагнул. Да, его встретил зной, но не вчерашний. Действительно, сильно похолодало. Вчера было сорок два, сегодня обещают не больше сорока. Всего-то два градуса разница, а ведь действительно ощутил громадную разницу. При этих, при сорока, жить было можно.

— Вполне можно жить! — Знаменский поделил свое восклицание между Ланой и Захаром, чьи параллельные курсы сейчас сошлись. — Вы, смотрю, незнакомы? Эх, Захар! Чуть ли, чуть ли не просмотрел главную красавицу своего города! Лана, так вот же вам свой собственный международник. Знакомьтесь!

— Рад, очень рад, — сказал Чижов и неловко пожал слишком высоко поднятую дамой руку. А вот Знаменский эту высоко поднятую руку, как оно и полагалось, поцеловал. Пустяк, но женщины слагают свои чувствования из пустяков, именно из пустяков прежде всего. Знаменский знал это и понял, что еще как-то расположил к себе эту горделиво-демонстрирующую сейчас свои стати манекенщицу. Когда тебе не нужно, когда действуешь просто машинально, — автоматизм вежливости, то, как держаться, пожалуй, главная из наук Оксфорда, где он год стажировался, — тогда и бываешь победоносен. Совсем не нужная ему победа. А вот Чижов для Ланы перестал существовать. Все, пустое место, а не человек. Вот вам и мелочи в обхождении с женщиной.

— Я забираю вас, Ростик, — сказала Лана. — Нас ждут. И надо поторапливаться, уведут комнатку.

— Но я на службе все-таки, — сказал Знаменский. — Как, Захар, на службе я или еще не все ясно с этим?

— Все ясно. Кстати, ты непосредственно в моем распоряжении. И ты числишься на службе со дня моей к тебе телеграммы.

— Тогда мне в департамент, Лана. Я — клерк.

— Я тоже на службе, но я же бегаю по вашим делам.



Уведут комнатку! А какая комнатка! Товарищ Захар, отпустите своего клерка на часок. Кстати, какие-то дни полагаются на устройство на новом месте. Ведь полагаются, товарищ Захар?

— Непременно. Комната — это серьезно, Ростик. Не теряй времени. В Ашхабаде снять комнату непросто. Товарищ Лана, я могу вас подвезти.

— А как же с оформлением, с заполнением личного листка по учету кадров? — Знаменский произносил эти слова улыбочиво. — Я действительно принят на работу? А стол об одну тумбу? Я теперь однотумбовый, так ведь? А знакомство с коллективом? Надеюсь, я ни у кого места не перехватил? Ниже-то меня там у вас есть кто-нибудь? Не хотелось бы, стал страшиться завистников. — Улыбка, даже улыбки не сходили с его лица, говоря, он всячески улыбался, и все беспечнее и шире, — умел он это делать. Это тоже была наука. Но вот чтобы глаза улыбались; когда неумогу, этой науке он еще не обучился.

— Милый, — взяла его за руку Лана. — Они тут должны тебя на руках носить, с двумя-то языками. И пусть завидуют. Мне тоже завидуют. На мне любое платьице выстреливает. Что же, мне плакать по сему поводу?

— Ты оформлен, Ростислав Юрьевич, — сказал Чижов. — Мелкие формальности не в счет. Поехали, поехали смотреть комнатку!

В машине Лана очутилась на переднем сиденье, но даже не глянула на водителя. Крутит там кто-то баранку — и пускай его крутит. И Алексей тоже даже не поглядел на нее. Ну, уселась рядом дамочка — и пускай сидит. Он на работе, его дело вести машину, куда прикажут, а эти дамочки, что катаются с начальниками, ему без надобности, у него свои имеются. Вот так и ехали эти двое, забавляясь своим притворством.

— Куда путь держим, Захар Васильевич? — стронув машину, оглянулся Алексей.

— В сторону ботанического сада, — сказала Лана. — Пойдите, а вот вас я где-то встречала, — и она скосила смеющийся глаз на Знаменского.

— Мелькаю по городу. Нет, а я вас не припомню, — сказал Алексей и тоже не удержался, чтобы не сверкнуть своим лукавейшим прищуром Знаменскому. — Разными дорожками, видно, бегаем.

— Это уж точно, — важно наклонила голову Лана. Кого-

то заметила она на улице из знакомых, помахала рукой. И еще и еще — полно тут у нее было знакомых.

Улица прямо шла, широко раздавшись. Не улица, а проспект.

— Этот проспект у вас рассекает весь город?— спросил Знаменский.— Кстати, а базары тут у вас где? На Востоке я обычно с базаров начинаю.— Сказал и осекся, даже улыбкой укрыться не сумел, застыло, погасло у него лицо.

— Понял!— вдруг сказал Алексей, оглянувшись на Знаменского, на миг даже прищурив свои глаза.— Понял...

— Ты о чем?— спросил его Чижов.

— Один человек такой, другой человек такой,— раздумчиво отозвался Алексей.

— Это глубокая мысль,— сказал Чижов.

— А понять непросто,— сказал Алексей.— Замаскировались все.

— Кого понять-то? Зачем?— спросил Чижов, посмеиваясь.

— Как — зачем? Людей вожу. А езда по жребью. Слушай что, как кто поступит? Вопрос вопросов.

— Вроде как, с кем идти в разведку?— спросил Чижов.

— Именно, Захар Васильевич. Дорога всякие чудеса подкидывает. И драться приходилось, от шпаны сколько раз отбивался. А кто тебе спину прикрывает? Вопрос вопросов. Да вы меня понимаете. Помните, как мы у Безмеина круговую оборону держали? Нас — двое, их — пятеро. Но я в вас не сомневался. И что? Усекли паренечки, растворились.

— Значит, он у вас смелый, ваш начальник?— спросила Лана.

— Отчаянный!

— Как-то даже не верится. А вы не льстец ли, товарищ водитель?

— Только с дамами.

— А вот он у вас не очень с дамами.

Знаменский расхохотался.

— Понял, Захар? Женщины не прощают нам неуклюжестей.

— Ни-ког-да!— по слогам сказала Лана.— Льстивый водитель, не доезжая «Юбилейной», крутани в переулок влево! Ростик, «Юбилейная» — это наша гостиница для именитых гостей. Вон домик с лоджиями. Но это еще не самая-самая. А самая-самая на территории «Ботанического сада». Но там я даже и не бывала ни разу. Там поселяют

безгрешных ангелов. Им ничего нельзя. Все можно, а ничего нельзя. В этих отельчиках внизу милиционеры стоят. Где уж тут.

— Как в грузинском анекдоте! — подхватил Алексей. — Ну, когда рог для вина с дырой, а...

— Можете не продолжать, сэр, — сказал Знаменский. — О женщинах — без женщин.

— Да знаю я этот анекдот, кстати, не анекдот, а тост, — сказала Лана. — Фу, действительно! Еще разок влево, снова влево, прямо, прямо теперь. Стоп! Приехали!

Улочка, где теснились старые тутовники и карагачи, где тянулись, скрытничая, дувалы почти вровень с кровлями, где у окон были ставни, открылась глазам. Тишина тут жила. Укромность. За дувалами ни звука. Лишь журчали по обе стороны арычные струи, тихонечко пробиралась по желобам прозрачная вода. Тут покой угнездился.

Все вышли из машины, все переводили дух, выбравшись из духоты.

— Господи, сделай так, чтобы эту комнату мне тут сдали! — помолился Знаменский, сведя ладони.

## 7

Врезанная в дувал зеленая дверца отворилась. В дверном проеме возник невысокий, щупловатый мужчина, вроде бы старый, но и не старый. Коротко стриженные, в сильную седину волосы, молодые, упористо всматривающиеся глаза. Пожалуй, не щуплый, а просто не рослый, не раздавшийся в плечах. Но руки с хорошо развитой мускулатурой, рабочие руки. Майка, белые, многожды стиранные брюки, сандалеты на босу ногу — так он был одет. На шее, на истертом шнурочке, крестик. Читался этот человек легко и просто. Этакий совсем, совсем приникший к земле, к своему домику человек. На пенсии уже, конечно же, а глаза молодые и руки сильные, потому что дружен с землей, ковыряется, возится со своим садиком с утра до вечера.

— Входите, входите, — сказал он, торопя слова. — Прошу, прошу. Комната вам нужна? — Он глянул на Знаменского. — Таким и представлял. Ростислав Юрьевич? Прельстили меня ваши имя и отчество. Дерзко нарекли. Имя дать — судьбу предсказать. Дерзко, дерзко. Будем знакомы. Со мной попроще обошлись. Дмитрий. И по батюшке — Дмитриевич.

А жизнь подсократила, зовут все Дим Димычем. Да еще понравится ли комнатка? Не княжеские совсем у меня хоромы. Входите, входите.— Он всех звал, рукой маня, но слова свои обращал лишь к Знаменскому, только на него и взглядывал, быстро, зорко, всякий раз коротко, чтобы не показалось, что разглядывает. Но — всматривался, разглядывал.

Вошли, один за одним, в маленький дворик. Лана уже раньше туда впорхнула, своим тут была человеком, и уже тянулась, привстав на цыпочки, к повисшим высоко фиолетовым сливам, вот-вот ухватит одну. Легкая, прозрачная ее юбка вздернулась, почти нагая длинноногая молодая женщина тянулась сейчас руками к плодам, показалось даже, что к небу. А рядом, близко, показалось, что совсем близко, коричнево морщинились горы.

— В раю живете, Дмитрий Дмитриевич,— сказал Захар.— Сад... Горы...

— Правда? Почувствовали? Но дело не в горах и не в плодах. Женщина вошла и прикоснулась. Какая это все-таки тайна, женщина. Лана, сотворила рай, и хватит, возьми табуретку, иначе не дотянешься. Да, а я вас знаю. Захар Васильевич Чижов, если не ошибаюсь?

— Не ошибаетесь. Простите, не помню, чтобы нас знакомили.

— Нас не знакомили. Просто указали мне на вас на улице. Заметный в нашем городе человек. Так уж заведено от века: незаметным указывают на заметных:

— Это вы-то, Дим Димыч, незаметный?— сказала Лана. Теперь она взобралась на табуретку, и Алексей придерживал ее за колени, как-то криво-косо держал голову, чтобы уж совсем не дать волю посололевшим глазкам. А ей хоть бы что! Тянулась, ухватывала сливу, впивалась в нее зубами, желтые, медовые капли падали Алексею на лоб.

— Верно, кто вас в городе не знает, Дим Димыч,— сказал Алексей, криво-косо держа голову, слизывая сливовые капли, поползшие по носу и губе.— Ланка, слезай! Есть у тебя совесть?!

— Нет, я бессовестная!— Она соскочила с табурета.— А ты что вытаращился, льстивый шоферюга? Не для тебя я, не облизывайся!

Из дома вышла женщина. Молодая. Подтянутая. Куда-то спешащая. Да, молодая, но не такой звонкой молодостью, яркой и даже красующейся, какой была молода Лана. Когда на столь маленьком пространстве,— ступени дома и пятачок

двора,— появляются две женщины, их невольно сравниваешь. Лана по всем статьям была лучше, ярче, именно что звонче. А в этой все как-то пригашено было, она и одета была в платье, хоть и летнее, легкое, но темное. И не понять было, какие у нее глаза, какого цвета. Она выбрала из всех Знаменского, надолго задержала на нем взгляд. Он почувствовал чуть ли не неприязнь в этом взгляде. За что? Глаза были серые, вот какого они у нее цвета. Серые, хмуроватые. Он попробовал улыбнуться ей, чтобы снять, отвести в сторонку хмурость. Он привык, что улыбка помогала ему в первый миг знакомства, почти всегда выручала. Но, улыбнувшись, понял, что как-то не так улыбнулся, что его продолжают рассматривать все так же, без снисхождения.

— Дим Димыч, я на дежурство,— сказала женщина.— Здравствуй, Ланочка.

Она пошла по выложенной кирпичами дорожке, близко прошла мимо Знаменского. Но отчего же такой хмурый, даже сердитый у нее взгляд? А фигура у нее была что надо. С такими ногами веселей надо бы по жизни ступать.

— Здравствуйте, господа мужчины,— скуповскинула она руку.

— Светланочка, как жаль, что ты уходишь,— сказала Лана.— Посидели бы... Товарищ же снимает у вас комнату.

— Не у меня, у Дим Димыча. А тебе бы все веселиться. Пойди в дом, умой рожицу. Сладкая очень.— Лане эта Светлана чуть-чуть улыбнулась, чуть-чуть подобрали ее глаза.

— Строга, строга!— сказал Алексей, когда дверь в дувале за Светланой затворилась.— Хозяйка! Дим Димыч, когда это вы успели жениться? Почему я не знаю?

— Не знаешь, потому что не женат. И не собираюсь, не собираюсь. А собрался бы, никто бы за меня не пошел. Упустил я, упустил жениховскую пору.

— Тогда почему эта докторша в вашем доме очутилась и отчитывается перед вами, что пошла вот на дежурство?

— А потому что потому, молодой человек. Ну, Ростислав Юрьевич, Захар Васильевич, пойдем смотреть комнатку?

Если дворик и сад при этом доме были и схожи с тем двориком и садом, где уже побывал вчера Знаменский, оказавшись у Чижовых, то только деревьями были схожи, виноградником, небом этим знойным, где неподвижно висели чуть ли не вчерашние два облачка. Сходство было,

но различий было еще больше. Тот, чижовский, клочок земли был европейским, что ли, вкраплением под небом Азии. Такие вкрапления видел Знаменский, бывая в гостях у своих коллег и в Каире, и в Аммане. По-привычному устраивались на чужой земле люди. Натаскивали в здешнюю природу европейские мебели, огораживались вентиляторами, кондиционерами и холодильниками, гостили, а не жили на чужой земле. А в этом дворике и садике русский человек Дмитрий Дмитриевич обосновался жить, приняв обычай этой земли, ее требования, ее законы. Туркменский дощатый помост для летних трапез был тут. Печурка была сложена из камней, на которой стоял в черноту закопченный чайник. К стволам деревьев были подведены арычные канавки, а вот фонтанчика для услады не было, вода тут работала. И виноградник тоже работал, поджарым казался, а не тенистым, и шпалеры были невысоки, не образовывали беседку, беседка — это ведь для бесед, а здесь лозы пили и вызревали, чтобы дать людям урожай. Этот садик был вовсе непригож, каждый клочок земли был возделан, тут был и огород. От этой землицы, вложив в нее труд, потом ее оросив, человек ждал для себя куска хлеба, извечного этого подаяния земли. И хотя все тут было только для дела, а не для красоты и услады, здесь жил такой разумный порядок возделанной земли, такая трудовая строгость жила, что она, строгость эта, и была красотой. А еще — горы. Как изморщенная старческая рука, из близкой дали протянутая к тебе. Или старческое строгое лицо? Горы разные подсказывали образы, рождая один, главный, они были — вечностью.

Ну, а каков же домик у этого Дим Димыча?

Никаких чудес. Маленькие комнатки с глубоко ушедшими в землю полами, так глубоко, что окна, тоже небольшие, были ближе к потолку, чем к полу. Не богатые, но опрятные коврики повсюду, кошмы. Еще в прихожей все разулись, пошли дальше в носках. Этот обычай тут был не из новых, не продиктован страхом хозяев, что гости затопчут глянцевый паркет, которого и в помине не было. Этот обычай здесь был из древних времен, как и зарывшиеся в землю полы, и высоко прорезанные оконца, все для того, чтобы в доме уберегалась прохлада.

— У меня дом — так называемая «временочка», — сказал Дим Димыч. — Сразу после землетрясения такие домики во множестве появились. Мы сами их и строили, землетрясенцы-то. Кто как умел. Теперь их почти все поносили. Конечно, не шибко казистые хоромы. Но что на что

менять. Если на эти панельные секции, которые летом пропекаются, а зимой продуваются, то еще не ясно, где лучше.

— Ваш дом поставлен основательно,— сказал Чижов.— Это уже не «временка». Но иные, именно «временки», просто сами стали разваливаться. Ведь землетрясение когда было. И строили наспех.

— Кто как умел, кто как умел. Наспех! Занятное словечко, если вдуматься. А что же в нашей жизни не наспех, Захар Васильевич? И для какой такой долгой жизни мы себя уготовливаем? Человек — предполагает, а бог — располагает.

— Вы — верующий?— спросил Чижов.

— Я — думающий. То есть я пытаюсь понять, пытаюсь... Но... Вот они, эти верующие, посещающие храмы господни, что они с Землей сотворяют, громоздя на ней свои «Першинги», «Томагавки» и эти немислимые совсем «МХсы»! Господь их, что ли, на это благословил, вера подвинула? Верующий! Я в церковь не хожу, а крестик — он матерью мне дан, когда умирала. Что ж, если угодно, да, я верующий. Но не как они, не как они, несущие всем погибель. Смешалось, спуталось все. Вы вот коммунист, разумеется, безбожник, конечно же, а к богу вы ближе, чем иной епископ. Смешалось все, перепуталось.— Говорил Дим Димыч все это вроде посмеиваясь, слова подгонял, подгонял, иные даже проборматывал небрежно, но не шутил, глаза у него не смеялись.

Комнат в доме было много, хотя со двора совсем небольшим казался этот дом, невысокий, именно что вжавшийся в землю. Но комнат было не меньше пяти, и из одной дверь вела в другую, наглухо не разгорожены были комнаты, чтобы им легче дышалось. И странно широкими были эти двери в маленьких комнатах.

— Дворцовая прямо анфилада,— сказал Знаменский, улыбочиво оглядываясь.

— А мне здесь нравится,— сказала Лана.— Совсем тут не шикарно, а нравится.

— А где шикарно, там никогда и не понравится, Ланочка,— сказал Дим Димыч.— Там — позавидуется. Зависть же, как справедливо изволил заметить философ Ницше,— «главное топливо для всех страстей».

— Да, тут у вас симпатично,— сказал Знаменский.— Книг много. Почитаю, если поселюсь. И книги на полках какие-то из детства. Читанные. Корешки старенькие.

— Такие и должны быть. Книги — они для чтения изо-

бретены, а не для бахвальства, как повелось нынче.— Дим Димыч не переставал приглядливо всматриваться в Знаменского.— Это хорошо вы сказали, слово нашли: «симпатично». Спасибо, это большой комплимент мне, хозяину. Симпатично! Если вдуматься, сколько в этом слове теплого смысла. А иное слово как льдышка. Вот, смотрите, эту комнатку и наметил сдать.

Вошли в еще одну небольшую комнату. Сперва пропустили вперед Знаменского, ему тут предстояло жить, ему первому и смотреть. Он вошел, глянул по сторонам. Зашемило сердце. Отчего вдруг? А вот потому, что ему тут предстояло жить. Долго ли? Менялась жизнь, отбрасывала его вот в эти стены. На этой узкой лежанке предстояло ему теперь спать, у этого высокого окошка, под которым стоял углый письменный столик с одной тумбой, присаживаясь боком к столику, предстояло и есть, и письма писать, что-то еще там писать, хотя как журналист-международник он кончился. Кончился! Он близко подошел к окну, страшась оглянуться на своих спутников. А в окне стояли горы, стояла вечность. Что им его беды? Такое ли они знали за свои миллионолетия? Он понял, что теперь часто будет смотреть на эти горы, в их лики изморщиненные, ища себе опоры. Какие там у тебя, человек, беды? Есть кровля, есть кусок хлеба, есть вода в арыке. И ты еще не обделен друзьями. Тебе помогают. Ты еще не в конце пути. Отринь уныние перед ликом вечности. Комнатка, конечно, была жалкой, какие-то карты старые были развешаны по стенам. Зачем они ему? Мебель была нажалчайшая, из кинофильма про довоенную бедность. Как он к этой колченогости приобвыкнется? Да и хозяин, явно странноватый, будет угнетать своими торопливо проговариваемыми философствованиями, дались ему эти «Першинги» и «Томагавки». И эта женщина с хмурым, просто злым взглядом, явно не принявшая его. Но — горы. Как у Льва Толстого: «А горы...» Знаменский обернулся:

— Если я вам подхожу, то я бы, Дмитрий Дмитриевич, тут и поселился.

— Подходите, Ростислав Юрьевич, подходите. Вы не страшитесь, я вас донимать своими разговорами не стану. А эту дверь в соседнюю комнату мы замкнем. У вас еще есть дверь, прямо в коридор, вот через нее и будете ходить.

— А там докторша, она в какой комнатке обосновалась?— спросил Алексей.— Не столкнутся лбами? В темноте-то ночной?— шурились, смеялись его глазки.



— Тебе бы все сталкиваться,— презрительно сказала Лана.

— Жизнь, Ланочка, как узкая дорога в ночное время, где фонари не горят.

— А что это за карты у вас?— спросил Захар. Он пошел вдоль стен, рассматривая поблекшие, выцветшие полотна карт, их тут много было.— О, смотри-ка, дореволюционная карта Туркестана! Старый, доземлетрясенческий план Ашхабада! Историей увлекаетесь, Дмитрий Дмитриевич? Гляди-ка, Ростик, древний план Московского Кремля! И все тут его башни начертаны и поименованы! Ну вот, сможешь теперь изучить имена этих башен. Москвич, а ведь не знаешь, уверен, что не знаешь.— Он принялся читать, торжественно выговаривая:— «Водовзводная угловая...», «Набатная...», «Царская...», «Сенатская...», снова «Водовзводная...», а это вот — «Угловая Москворецкая...» и она же «Беклемишевская...». Знал ты эти имена, москвич урожденный?!

— Слышал... Забыл...

— А теперь вспомнишь. А что это? Старинная, еще дореволюционная карта Москвы... Центральная часть... Церкви, церкви, церкви, куда ни глянь. Не зря говорили, что Москва была златоглавой. Так вы историк, Дмитрий Дмитриевич?

— Был когда-то картографом. История, конечно, рядом с картой живет, но карта правдивее. Если ее уметь читать, нет ничего более интересного и более поучительного.

— А почему бросили свою картографию?— спросил Знаменский.

— Долго рассказывать... При случае... Карты эти вам не помешают, Ростислав Юрьевич? Не хотелось бы снимать, уж больно ветхи. Фотографии, лики чужие, я бы снял, а карта не гнетет. Оставляем?

— Даже попрошу вас оставить. Прав Захар, москвич-то я москвич, а города своего почти не знаю. И Кремля Московского не знаю. Про Тауэр, про Нотр-Дам больше знаю, чем про Кремль.

— Теперь поизучаете,— сказал Алексей.— В ночные часы... Если, конечно...

— У кого что на уме, а у тебя, Алексей, все одно и то же,— сказала Лана.— Ну что ты за человек?!

— Обыкновенный, Ланочка. И ты учти, у всех на уме, что и у меня на уме. Одно и то же, тут ты права, одно и то же. Только некоторые маскируются, а я прямой человек.

— Уж ты-то прямой! Как твоя баранка! Круть-верть!  
— Условия, Ростислав Юрьевич, без запроса, вперед мне денег не нужно, а вот паспорт ваш понадобится, чтобы оформить временную прописку. Временную во «временке». Когда будете перебираться? По мне, хоть сегодня. Комната прибрана.

— Сегодня и переберусь,— сказал Знаменский, снова подходя к окну.— Завалюсь спать пораньше, а утром — горы.

— Захар Васильевич, поможем?— спросил Алексей.

— Непременно.

— Тогда покатили в гостиницу за чемоданами, прихватим еще там кое-чего, и назад. Прихватим, Захар Васильевич? Полагается отметить, чтобы жилось счастливо.

— Мы-то, может, отметим, товарищ шофер, а тебе нельзя,— сказала Лана.— Права отберут.

— Гляжу, полюбила ты меня, Ланочка, бережешь меня. Учти, я самого Захара Васильевича Чижова вожу. Мы — МИД. Нас не обнюхивают.

— А вот перед богом все равны,— сказал Дим Димыч. Он подошел к Знаменскому, глянул, куда тот глядел.— «А горы...»— повторил толстовские слова.— Да, Ростислав Юрьевич, а перед вечностью все равны...

## 8

Отмечать переезд Знаменского из гостиницы в дом к Дим Димычу не стали. Уж больно перепад был велик. Из «люкса» во «временку». И все это почувствовали, даже Алексей почувствовал, когда тащил блистательные чемоданы Знаменского в машину. Перепад, перепад уж больно был велик. Скатывался, слетал человек со ступеней жизни — все это поняли. Увяла и Лана. Да ей и на работу было пора. Захар позвал обедать, но и ему тоже сперва на работу надо было заскочить. Условились, что завтра, с утра, Алексей заедет за Знаменским, привезет его в «Домик Неру» — так в городе звали дом, в котором размещался ныне республиканский МИД. Действительно, дом тот был некогда построен в спешном порядке для Джавахарлала Неру, который должен был прожить несколько дней в Ашхабаде. Но Неру не приехал, а дом сперва приспособили под гостиницу Совета министров, а потом вот отдали МИДу и Республиканскому обществу дружбы. Чижев зачем-то всю до-

рогу втолковывал эту историю их дома, «Домика Неру», Знаменскому, когда возвращались с чемоданами из гостиницы к «временке» Дим Димыча.

— А это вот мой домик,— сказал Знаменский.— Каждому свое...

Алексей выгрузил чемоданы, хотел было занести их в дом, но Знаменский удержал его:

— Сам, вам надо на работу спешить.

Лана торопливо чмокнула Знаменского в щеку, шепнула, будто одаривая:

— Разыщите меня!

Провожающие сели в машину, Чижов, добро кивая, замахал своей большой ладонью, Алексей, подражая, улыбнулся, перехватив улыбку Знаменского, а тот все улыбался, улыбался им, уже и машина покатила, свернула за угол, а он все улыбался.

— Вам подсобить?— Неведомо откуда взявшийся, перед Знаменским стоял худой, от рождения в смуглоту прокаленный солнцем мужчина, высокий, сутуловатый, с широкими сухими плечами. Рубаха навывпуск западала в углубление живота. Он был худ неимоверно, одни кости да смуглая, в черноту, кожа. Но руки были сильные, хватистые, не чахлая, а спортивная худоба ощущалась в этом человеке.

— Ашир Атаев,— представился он.— Друг Дим Димыча.— Он подхватил тяжеленные чемоданы, легко понес к дому. Пока говорил, представлялся, водочный дух ударил в лицо Знаменскому. Этот Ашир Атаев довольно изрядно где-то хватил. Он сразу и показался Знаменскому забудыгой. Одет был уж очень пренебрежительным образом, рубаха навывпуск и расстегнутая до пупа, штаны коротковатые и пузырями, сандалеты на босу ногу разбиты и с вьевшейся в них пылью.

А в дверях стоял Дим Димыч. В маечке застиранной, тоже штанах пузырями, тоже в сандалетах на босу ногу. Но этот был хоть трезвым. И крестик на шее. Философ доморощенный. Правдоискатель. Верующий от смятения перед жизнью. Осколочек русской души, занесенный каким-то вихрем житейским на землю Азии. Легко читался этот человек. Неудачник! Да и тот, что подхватил чемоданы, поджарый этот туркмен, легко читался. Также из неудачников! И уж если человек востока так пьет, днем начав, то совсем плохи его дела. Как у тебя, как у тебя самого, Ростислав Юрьевич! Вот потому ты и примкнул к этим. Нет, не комнату во «временке» снял, а обрел свою среду обитания. Так вот!

Ты теперь много ближе к ним, а не к тем, кто укатил на «Волге». Так вот, ты тоже, парень, легко прочитываешься. И прочитали и позвали — вот сюда, на край города, во «временку». Эти — позвали, те — отпустили.

Знаменский быстро вошел в дом, прошел по коридору, вошел в свою теперь комнату, шагнул поспешно к окну. Не было за окном гор, затянуло даль полуденным маревом. Но они там, неподалеку, за красно-сиреневым вдруг туманцем, они еще откроются.

— Сокрылись от меня горы. «А горы...» — обернулся Знаменский к Дим Димычу. — А не выпить ли нам, братцы? Ну, на троих? Как вы насчет этого? Обмыть же полагается. Деньги есть.

Он поглядел на них, на бедолаг, даря им самую-рас-самую из своих улыбок, так же трудно добыв ее, как эти слипшиеся бумажки из узкого кармана брюк. Он поглядел на них, ожидая ответных, расслабленных, смущенно-радостных кивков, готовности повергнуть себя в мимолетность пьяного забвения. Глянул и оторопел, так сухо-зорок был ответный взгляд только что показавшегося ему пьяным, да и явно выпившего, сохлого Ашира Атаева.

Но короток был этот взгляд, будто почудился Знаменскому, а следом, и верно, закивал согласно Ашир, по-пьяному залихватски взмахнул руками, по-пьяному кидаясь в объятия дружбы.

— А я что говорил?! Свой человек! Дим Димыч, есть у тебя?!

— Найдется. Уже и приготовил. Пошли на воздух. Но только я с вами пить не буду. Без меня, без меня.

— На воздух, на воздух! — заторопился Ашир, сутуло устремляясь в коридор, гонимый жаждой.

А Дим Димыч в дверях придержал чуть Знаменского:

— Вы о нем худо не подумайте, Ростислав Юрьевич. С горя пьет. Представляете, был старшим следователем по особо важным делам. Уволен. Как не соответствующий занимаемой должности. Представляете? Легко ли ему, как думаете?

— Думаю, что не очень.

— Да, да, вашему пониманию это теперь доступно. Потому он и потянулся к вам.

— Но ему легче, чем мне. Уволили, ну и что? А вы, Дим Димыч, тоже из уволенных?

— У меня другое... — Дим Димыч поспешно нырнул в коридор, приговаривая: — На воздух, на воздух!

Во дворе, ножками встав по краям арычной канавки, уже красовался маленький, сбитый из досок, столик, на котором навалом лежала всяческая зелень, все дары здешней щедрой земли, лишь ороси ее хоть немножко. Помидоры громадно атели, редиска бело-красные выставляла бока, лук топорщился стрелами, зеленели, кудрявились листочки киндзы, а рядом, на виноградных листьях, заменявших ска-терть и тарелки, лежали желтые гроздья раннего винограда, синела, сочась желтым соком, слива, маленькие, из первых, круглились дыни, только-только вошедшие в розоватую желтизну, в свой румянец спелости, а рядом круглились небольшие, тоже из первых, арбузы, тоже робко еще входившие в свой дерзкий зеленый цвет. И цветным показался Знаменскому аромат, витавший над столиком, этот неземной пленительности дух земных плодов.

Ашир Атаев, строго вытянувшись, изгнав сутулость, от-решенно стоял возле столика. Он казался совершенно трезвым, снова ясную зоркость глаз обрел. Но зоркость его темных, вычерненных зрачков, отчетливо круглых, дульцами, была нацелена сейчас не на Знаменского, не на Дим Димыча, не на мир окрест, а в себя самого нацелена, в себя сейчас всматривался этот человек, как оказалось, поверженный и оскорбленный.

— Вот, друзья мои, чем богат...— сказал Дим Димыч и по-вел рукой над столом.— А бутылка в арыке стынет, не стал ставить, чтобы картину не испортила.

— Да, картина,— сказал-вдохнул Знаменский.— Тут у вас рай, Дмитрий Дмитриевич. Эх, еще бы горы от-крылись!

— Не нужны сейчас горы,— пробуждаясь, сказал Ашир.— Бутылка сейчас нужна из арыка.— И снова запьянели, за-волоклись его в черноту и дульцами глаза. Он выхватил бутылку из воды, обтер об рубаху, высоко поднял, выкрик-нул:— Привет тебе, арак из арыка!— Он выкопал стакан-чики из-под груды зелени, сноровисто распечатал бутылку, торопливо, но прицельно наполнил стаканчики, вручил и Знаменскому, и Дим Димычу, который не хотел брать, но взял, подчинился.

Стоя, свели стаканчики, выпили. А закусывать не спешили. Просто не протягивалась рука к красе на столе, не решился никто первым нарушить картину.

— Ешьте, друзья, закусывайте,— сказал Дим Димыч.— Вот тут с края и ножички и вилочки. Лепешка вот. Лепешка

с базара, сам не пеку.— От лепешки он и отломил, стал жевать.

И Знаменский с Аширом тоже отломил от лепешки, но взяты за ножи и вилки все еще не решались.

— Повторим?— спросил Ашир.— А то как на похоронах стоим.— Он снова забулькал в стаканчики из бутылки.— Подставляй, подставляй, Дим Димыч. Сказано, «на троих» пьем! Ну, разжались!

Выпили, послушали себя, как там в них водка побежала, запаливая огонек, и верно, разжимая в них что-то, высвобождая от чего-то, хоть на миг, хоть на миг. Не присаживаясь, да и не на что было садиться, стали есть, зачиркали, застучали ножами по доскам.

— Как на светском приеме, а ля фуршет!— сказал Ашир, и зажглись искорки в его глазах-дульцах.— Полагаю, знакомая для вас ситуация, товарищ Знаменский? Но вместо тарелок виноградные листочки. Сойдет?

— Сойдет. Даже удобней.

— И вилки не нужны. Хватай руками. Правда, удобней?— Ашир Атаев хорошо, почти без акцента, говорил по-русски, лишь иногда путая ударения. У него прозвучало не «удобнее», а «удобнее». Иногда в его слова вплеталось слишком уж мягкое «л» или чрезмерно раскатистое «р».

— Удобнее, удобнее,— согласился Знаменский.

— У нас с вами теперь такая полоса жизни, когда назад-назад, в простоту летим. Ощутили? Или еще в шоке?

Этот Ашир Атаев, по одежде если судить, уже порядочно отлетевший назад-назад, почти в бродягу превратившийся, все же считал вот, что они ровня, что они в одну и ту же какую-то полосу попали, где такая уж простота жизни, что можно спиваться и опускаться. Неужели?

— Нет, я еще в шоке,— сказал Знаменский, отгораживаясь от дальнейшего разговора вежливой, но суховатой улыбкой, не сближающей, а пресекающей отношения.

— Дипломат, сразу видно!— сказал Ашир, в упор стрельнув своими зрачками-дульцами.— Вот, Дим Димыч, улыбнись-ка так, попробуй. Наука!

— И у тебя, Аширчик, дорогой, глазки так постреливают, как только у следователя могут,— сказал Дим Димыч.— Тоже — наука! Мы же не на допросе, учти.

— Вот тут ты прав, Дим Димыч, не на допросе. И не прав, Дим Димыч, мы теперь с товарищем все время на допросе пребываем. Но только особенный это допрос, сами себя допрашиваем. Понимаешь, сами себя? Да ты все понимаешь,

прошел через это. А глаза у меня не от профессии, не от выучки на юридическом факультете Ленинградского университета. Тут ты не прав. У меня глаза от предков, от племени Теке, от этого песочка в воздухе, прилетевшего из Каракумов, от колкого песочка. Дай мне лошадь, дай мне лук, кинжал, аркан, крикни мне, как кричали мои предки в набеге...— Ашир вдруг яростно истончил голос и закричал, яростно, пугающе оскалив зубы. И вдруг смолк, сник, присел на корточки, безвольно уронив голову. Сухие, сильные его плечи мелко дрожали.

9

Но что же, что же с ним стряслось, с этим старшим следователем по особо важным делам — бывшим следователем, в том-то и дело!— чтобы человек мог так закричать?! Это не клич был его племени, не яростный вскрик атакующих всадников, это был крик рушащегося человека. Отчаяние в нем закричало. Но что же, что же?..

Они давно покинули дворик Дим Димыча, его заваленный дарами земли стол. Им там тесно стало. Дим Димыч их там пас, обвыкшийся со своей старой бедой, а их беда — своя на каждого!— была совсем новой, свеженькой, кровоточила. И они ушли, хоть и немного выпив, но сразу захмелев, обнявшись, покачиваясь, чуть знакомые, но уже и братья, ибо несчастье роднит. А счастье? А счастье как раз и разъединяет.

Они ушли, Ростислав Знаменский и Ашир Атаев, побрели по безлюдным, тихим окраинным улочкам, и если попадались навстречу прохожие, то еще издали, едва завидев эту пару обнявшихся и шатких, переходили на противоположную сторону. Для прохожих, со стороны-то, они были просто двумя забулдыгами. Один с виду был почти бродягой, другой казался заморским туристом.

Шли, покачивались, подпирали друг друга, слушая друг друга, но говорили разом, каждый еще слушал себя. Ничего, разбирались. И друг в друге разбирались, и каждый сам про себя, ясность сейчас в них обреталась, изумительная ясность. Потом, когда утром станут вспоминать, а утро самый ясный час, ничего почти не вспомнят, сбежит от них ясность. Но то утром будет, а пока... И про Дим Димыча сразу все узнал и все понял Знаменский. Узнал, что в землетрясение у него погибли маленькие сын и дочь, а

жена осталась без ног, годы и годы потом жила калекой, передвигалась в коляске — потому и двери в доме из комнаты в комнату ведут, потому такие широкие эти двери; хотя комнаты маленькие. Узнал, что искаленная эта женщина была доброй и отзывчивой, со всего города сбегались к ней бедолаги, всем она умела помочь. Она и он, Дим Димыч Коноплев. Дом этот, «временка», где, казалось, неизбежное горе поселилось, был в городе островком спасительным для потерпевших кораблекрушение. Все ясно, все понятно. Такие островки, если поискать, в любом городе отыщутся. Несчастье либо ожесточает людей, либо возвышает. Доброта твоя и самого тебя лечит. Что бы они делали, эти двое, если бы замкнулись в своем горе, ожесточились? Все ясно, все понятно, они — врачевались, самоврачевались добротой. Тут все легко прочитывалось. А вот свое горе трудней читалось. Про другого, слушая его, понималось, про себя, слушая себя, ну никак.

— Понимаю тебя, понимаю,— говорил Ашир, они сразу же перешли на «ты». — Не разобрались, не пожелали. Да и зависть. Вон ты какой! Ну, конечно, что говорить, выпороть бы тебя не мешало. Разболтался, что говорить. Это вас, баловней судьбы, вседозволенность с ног сбивает. Все вам можно! Человека в пьяном виде сбил — сошло. Машину перепродал, нажившись,— простили. В какой-то сомнительной компании застучали — обошлось, замяли. Так и скользите по жизни. Все можно! Все сходит! А вот и нет, и нет!.. Но ничего... Не падай духом...

Да, беда его, катастрофа, погибель — все это было ясно-понятно Аширу Атаеву, рассказанное Знаменским его не удивило, все он быстренько понял и объяснил.

Но и Знаменский, вслушиваясь в сбивчивый рассказ про то, за что лишился Ашир Атаев работы, за что стал вот не соответствовать — слово какое мучительное, оскорбительное! — занимаемой должности, но и Знаменский легко и просто все понял и даже растолковал:

— Пошел ты, друг, против начальства, я так понимаю. Занесся, скажу тебе. Ну, следовательно, ну, ухватил нить. А вот понял ли, по зубам ли этот моток? Решил, что по зубам. Вышло, что нет. Вот и... Но ничего... Не падай духом...

Все ясно, все понятно, все прочитывается. У Ашира про Ростислава, у Ростислава про Ашира. Ясно другому, себе — нет. И снова начинают они втолковывать, по второму кругу, по третьему. Бредут, бредут, обнявшись, путаясь



ногами, запутываясь в мыслях. Одно хорошо — обрели друг друга. Это уж наверняка хорошо, просто замечательно. Удача! Но наутро и это уйдет, сбежит чувство удачи. Ну, познакомились, выпили, потолковали, излишне, жаль, откровенничая, ну, разбежались. Все? Именно! Каждому жить в одиночку. И жить худо. И все же, все же. Глядишь, снова сбегутся. Бутылочка. Чуть повеселей станет. Снова заговорится о самом сокровенном. Душа-то болит.

Ашхабад — большой город. Собственно, он еще город, его еще мысленно можно как-то оглядеть, вобрать в возведенную ограду, хотя бы мысленно — ведь города от ограды пошли, от сходящихся за укрытие крепостных стен людей. Оград таких теперь нет. Но город, если не слишком большой, еще возможно оглядеть, огородить памятью глаз. И тогда это город. А если слишком велик, то считай, несколько городов встало под одно имя. В Москве их сколько, городов-то? До дюжины. Медведково — город. Юго-Запад — город. Коньково-Деревлево — город. Речной вокзал с районами возле — город. И так — до дюжины. И это не считая центра, того именно места, что зовется от века же Москвой.

А Ашхабад обозрим хоть в памяти. Он большой, да маленький. Он еще в человеческом понимании вмещается. И потому всякий человек в нем не песчинка в пустыне, не сам по себе, а на людях. Обозрим, так сказать. Замечен. Куда пошел, с кем пошел — не тайна. Эту нашу пару, бывшего следователя по особо важным делам и бывшего журналиста-международника, только вчера прибывшего, — здешнего бедолагу и пришлого, — многие в городе заметили. Шли обнявшись, пошатываясь. Ну что ж, ну что ж...

## 10

Наутро выяснилось, что и второй из «двух господ» отбыл в командировку. Беседа на высшем уровне с новым сотрудником, стало быть, откладывалась. Впрочем, так ли она была необходима? Для этого сотрудника, для уровня, а уровни у мидовцев играют большую роль, вполне был достаточен ранг Захара Васильевича Чинова.

— Считай, что беседа по вводу тебя в должность с тобой проведена, — сказал Чинов, когда, захав утром за Знаменским, повез его к месту службы. — Заполнишь личный листок по учету кадров, ну и все пока, ты оформлен.

— И с чего начнется мой трудовой день?— спросил Знаменский.

— С жары,— попытался отшутиться Чижов.— Какая работа, Ростик, когда уже сорок два градуса? А в Каире у тебя там в такую жару работали?

— Нет.

— А мы чем хуже? Закатимся ко мне, ляжем на пол в зашторенной комнате и будем разговоры разговаривать.

— Кейфовать!— подхватил Алексей.

— Но жара эта продлится тут еще два месяца,— сказал Знаменский.— Нет, серьезно, Захар, что у меня будет за работа, каков круг моих обязанностей?

— Все от случая пока. В такую жару к нам делегации не ездят. Ну, а когда начнется сезон визитов, вот тогда мы тебя и запряжем. По всей Туркмении начнешь мотаться, суток не будет хватать. Одна делегация отбывает, другая прибывает. И всем ты нужен. И по линии МИДа, и по линии Общества дружбы с зарубежными странами.

— Фигаро тут, Фигаро там,— сказал Алексей.

— Сам ты Фигаро!— рассердился Чижов.— Сколько раз просил тебя не вмешиваться в чужой разговор. Представляешь, Ростик, этот бойкий товарищ и с иностранцами пытается разговоры разговаривать. Толкует на всех языках, не зная ни одного. Смех и слезы!

— Да, смех и слезы. Выходит, если по совести, ты пригласил меня, Захар, на ничегонеделание? Может, сложить мне вещички и — домой?

— Я пригласил тебя, Ростик, Ростислав Юрьевич, на работу, на штатную должность,— очень серьезно сказал Чижов, поворачиваясь,— он сидел рядом с Алексеем,— близко придвинув свое лицо к лицу Знаменского.— Понимаешь, на работу?

— Понял, понял,— после долгого молчания откликнулся Знаменский. Он прикрыл ладонью глаза, укрывая их от этого невыносимого солнца и от этой истины, которую он разглядел в строго-печальном взгляде друга.— Прости, забываюсь.

Машина въехала в распахнутые решетчатые ворота, обогнула клумбу, остановилась у ступеней очень славного, в два этажа, особнячка.

— Домик Неру!— объявил торжественно Алексей.— Наш офис!

Их никто не встречал. Жара! Да и в доме, когда вошли в довольно просторный холл, никто не вышел навстречу.

Собственно, а кого встречать? Чижев был тут своим, а он, новый здесь сотрудник, если даже допустить, что он — сотрудник, был в таком заранговом ранге, что просто не полагалось его встречать, было бы не протокольным его встречать.

Несколько дверей выходили в холл, на каждой — дощечка с указанием фамилии хозяина кабинета. Все как у людей. Были тут и министр, и заместитель его, была тут и канцелярия министерства. В нее и вошли. Зной царил в этой узкой, прямо на солнце окном, комнате. И в этом зное подремывала пожилая дама. Она ничего не печатала, но руки держала на клавишах пишущей машинки. Встрепенулась, когда отворилась дверь, забежали пальцы, застучали клавиши, чья-то начальственная воля стала превращаться в документ.

— Здравствуйте, Захар Васильевич!— Дама чуть приподняла веки, углядела Знаменского и разом проснулась, любопытством вспыхнули ее поблекшие глаза. И сразу вскинулись руки к разжавшейся прическе и слишком распахнутому воротничку. О, женщины! Ей было больше шестидесяти; все увядшим было в ней, жара извела, но вот вошел молодой и пригожий мужчина, и мгновенная была проведена мобилизация всех сил и средств. Даже успела глянуть на себя в зеркальце, помещенное в выдвинутом ящике стола. Зеркальце подсказало, что надо губы друг о друга потереть, чтобы обрели цвет, что было и сделано.

— Здравствуйте, Лидия Павловна,— сказал Чижев.— Вот наш новый референт, Ростислав Юрьевич Знаменский. Прошу любить и жаловать и выдать товарищу личный листок по учету кадров.

Знаменский подошел к секретарше, взял ее очень измученную машинкой и домашней стиркой-готовкой изморщенной руку и поцеловал. В зеркальце в ящике он увидел ее вздрогнувшие блеклые зрачки, в которых едва теплилась былая голубизна, и увидел лицо, измученное жизнью, некогда наверняка красивое.

— Что вы, что вы!— сказала Лидия Павловна, вырывая, даже пряча за спину руку.— Никто мне здесь...— Она взглянула на него омывшимися глазами.— Какой вы...— Она не нашла слов, но лицо ее оживало, дрогнули, разжимая морщины, губы.— Какой вы...

— А я что говорил?!— торжествовал в дверях Алексей.— Не обманул, Лидочка?! Он — ого! А когда улыбается!.. Ну, все отдай!

Знаменский как раз улыбнулся женщине, дивясь, что вдруг слезы встали у нее в глазах. Отчего вдруг? Его пожалела? Да кто он ей?! Себя пожалела? Вспомнилось что-то? Вот руку ей поцеловал, а она вспомнила... Он продолжал улыбаться ей, дивясь, что и сам на слезы настроился. Вот уж ни к чему! Он быстро распрямился, отошел, сел боком за канцелярский стол в липких сургучовых метках, будто в следах от солнечных смачных поцелуев.

Какая же это мука, оказывается, заполнять личный листок по учету кадров! Сколько таких листков прошло через его руки. Простейшее дело. Он их, как и всякие там автобиографии, весь этот обязательный бумажный набор,— он все это всегда походя одолевал. Оказывается, и это дело стало теперь тягчайшим для него. Пункт седьмой: партийность. Надо вписывать в этот пункт, что исключен из партии. Потом надо будет написать про это же самое в автобиографии. За этим столом с прожженным сукном, испятнанным подтаявшим сургучом, который вдруг отвратительно завонял канцелярией, рука не пошла писать. А в руке был «Золотой Паркер». И сидел за этим столом некий франт заморский, вырядившийся — надо же! — в легчайший, без рукавов пиджак, но все же пиджак, поскольку ехал в офис, выставивший,— торчали ноги, не поместившиеся под столом! — матово-белые туфли, наилегчайшие, заносчивые, явно очень дорогие, те самые, что купил в Брайтоне, самом светском из английских курортов. Он почти не курил, не позволяя себе курить, да и стало модным не позволять себе курить, но тут закурил. Из одного кармана достал коробку «ванкемповских» сигарок, это курево богачей,— нашел что прихватить с собой! — из другого кармана добыл «ронсоновскую» золотую зажигалку,— нашел что прихватить! Закуривая, заметил, как любит, восхищается им Алексей, цену назначая всем его вещичкам джентльменским, и стало ему совсем невмоготу. Он вскочил, сунул все похваляющиеся вещицы в карманы, а анкету протянул Лидии Павловне:

— Жарко! Не могу! Мысли слиплись!

— А и не к спеху,— сказала Лидия Павловна, отводя глаза, не примечая его растерянности.— К концу дня, когда спадет жара, вот тогда и допишите.

— Конечно, конечно,— сказал Чижов, отрываясь от газеты, которую читал, уйдя в угол, где тень была чуть погуще.— Моя вина, что усадил тебя за бумажки в этакую жару. А приказ, Лидия Павловна, отбейте. Мол, принят и все такое.

— Это я мигом!

— Я не прощаюсь, Лидия Павловна,— сказал Знаменский.— Спасибо вам...

— За что же?— Она подняла на него глаза, была занята закладыванием листа.

И вот уже затрещала машинка, заколотились молоточки букв, вбивая в бумажный лист приказ о новой судьбе этого человека, столь нарядного, блистательного, столь поверженного.

Знаменский выскочил в холл, выскочил во двор, на ходу стаскивая влипший в плечи пиджак. Никого вроде на пути не встретил, но встретил. Кто-то вошел в дверь слева, кто-то выглянул из двери справа — его разглядывали. Как же это он умудрился так вырядиться?! О чем думал?! После вчерашнего пустой была голова, он о пустом и подумал, надумав явиться на новую работу, никак себя не роняя, будто ничего в его жизни не произошло. Как это не произошло? А пункт седьмой личного листка по учету кадров? Он напомним. Произошло самое страшное, жизнь его вступила в зону стыда. Стыдно было жить — вот что произошло!

У клумбы с розами, которым дышать было просто нечем, а потому они исходили терпким ароматом, благоухали предсмертно, его ждала Нина Чицова. В наилегчайшем прозрачном платье. В легких, прозрачных туфлях. В широкополой шляпе из соломки. Глаза укрыты громадными кругами темных очков. И еще цветастый зонтик во вскинутой руке. Из дальних стран женщина. Из пальмовых стран. Рядом с ней можно было и не сдирать с плеч, что так и не удалось сделать, этот распихонский пиджак с ярким платочком — и платочек сунул! — в верхнем кармане. Ну зачем, зачем так вырядился?!

— Ниночка! — кинулся он к ней. — Как хорошо, что ты здесь!

## 11

Совсем рядом с «Домиком Неру» начинался парк. Туда Нина и повела Знаменского. Вышли на проспект Свободы, прошли немного, вот и вход с непременными колоннами, и сразу же за входом просто древняя аллея, такие старые, вековые росли на ней тополя. Эти деревья смыкались кронами. Здесь было волгло, дурманно пахла листва, но все же тут было не столь пронзительно жарко. И людей почти

не было. Тихо было. Только пощелкивали сухие выстрелы пневматических ружей из недр паркового тира. Там мальчишки практиковались в стрельбе, гомонили, когда кому-то удавался выстрел.

— Этому парку столько же лет, сколько и Ашхабаду,— сказала Нина.

— А сколько лет Ашхабаду?

— Недавно отмечали столетие.

— Это не возраст для города.

— Но и за эти всего сто лет он уже успел один раз погибнуть. Слышал про страшное здесь землетрясение?

— Слышал. Твой Захар поведал, едва я ступил на эту землю. Смелые люди, сказал, тут живут. Не сбежали, подняли город. Слышал, слышал.

— А что, и смелые. Земля подрагивает тут чуть ли не каждый год. И никто не знает, понимаешь, никто не знает, сколько будет баллов. Пять — пустяки. Семь — страшно. Девять — жертвы, смертельная опасность. Десять — гибель всему. Усек, где мы живем?

— Я и всегда был фаталистом, а теперь... Меня и потянуло сюда, потому что — бах! тарарах! — и нет тебя.

— Тебе так плохо, Ростик? — Нина остановилась, закрыла зонтик, сдернула очки, чтобы поближе можно было заглянуть ему в глаза.

А он, — ну что за человек?! — а он глаза зажмурил, а губы улыбаются. И не понять ничего, дрессированное лицо.

— Выучили тебя, — сказала Нина. — Выдрессировали! А мне вот плохо, и я не улыбаюсь.

— Тебе — легче. А почему тебе плохо? Захар из настоящих, он из надежных. Нет ничего лучше, если рядом с тобой надежный человек.

— И еще, и еще, и еще что-то нужно, — она снова укрыла глаза громадными кругами темных очков, снова раскрыла зонтик, им отгораживаясь, потому что теперь Знаменский на нее глядел.

— Кстати, а где здесь Главпочтамт? — спросил он.

— Думаешь, уже пришло письмо от Лены?

— Мы решили переписываться телеграммами. Трудно ли послать телеграмму? До востребования...

— Пошли. Пересечём парк, минуем сквер, где стоит памятник Ленину, минуем здание Совета Министров, здание банка, крытый рынок, свернем направо — и мы у цели. Востребуй.

— Пошли.

— А она, а Лена, как она теперь с тобой?— тихонько спросила Нина.

— Рассчитывает, что все обойдется.

— Ну понятно, связи. А уж энергии ей не занимать. Они свернули с центральной аллеи на боковую дорожку, прошли мимо корта, на котором какие-то фанаты изнуряли себя под убийственным солнцем, перекидывая, будто обмякший от жары, мяч.

— Я бы не мог рукой пошевелить,— сказал Знаменский.

— А это еще не жарко у нас считается для лета,— сказала Нина.— Ничего, привыкнешь. Человек ко всему привыкает. Я вот привыкла же.

Они миновали скамейку, на которой сидели два очень старых человека, он и она, в одинаковых чесучовых блузах, в одинаковых бесформенных панамах. Муж и жена конечно же. Встретились взглядами, разминулись.

— Представляешь себя таким?— спросила Нина.

— Бог даст, не доживу.

— Да, не хотелось бы.

Знаменский оглянулся. Старые люди о чем-то переговаривались.

— Обсуждают нас, осуждают, может быть,— сказал Знаменский.— Наверно, за то, что так я вырядился. И правы!

— Завидуют, думаю,— сказала Нина.

— Есть чему...

— Со стороны — или не пара? И молодые!— Нина отошла чуть в сторону, глянула на Знаменского, повернулась на каблуках, как бы и себя оглядев, свела его и себя в один взгляд.— Чудо что за пара! Счастливицы! Победители! Знаешь, Ростик, я как вспомню о сыне, так жить не хочется...

Он подошел к ней, обнял за плечи, приподнял ее очки громадные, чтобы можно было заглянуть в глаза.

— Молчи, молчи, молчи!— вырываясь, сказала Нина. Она собралась было заплакать, но вдруг рассмеялась.— А со стороны-то, со стороны... Вот уж обниматься принялись! Одурели от счастья!

Они вышли из парка, молча одолели короткую улицу, в конце которой на тоненьком столбике был водружен крохотный бронзовый бюст Пушкина.

— Откуда он здесь?— спросил Знаменский.— И почему такой уж сверхскромный?

— Этот бюст установлен на деньги гимназисток,— сказала Нина.— Вот этот дом приземистый, мимо которого

идем, тут когда-то была женская гимназия. И знаешь, это один из трех домов, которые устояли во время землетрясения. Еще банк...

— И тюрьма?

— Нет, какой-то еще жилой дом, за постройку которого инженера в свое время посадили. Мол, вредительски истратил деньги на слишком прочные стены.

— Жаль все-таки, что тюрьма не устояла. А то бы прямо библейская история. Город сберег свои деньги и своих разбойников. Но все же почему такой крошечный бюст поэта? Поскупились гимназисточки?

— А мне этот памятник очень нравится. Девочки сложили копейки, именно копейки. Никто не кичился богатством родителей, купцов или крупных чиновников. Нет, сложились по гривеннику, лишив себя порции мороженого. Я этот памятник и этот скверик очень люблю. Как пришла сюда первый раз, сразу подумала: мое место.

— И мое, пожалуй. Ты права, тут славно. Деревья печальные, Пушкин трогательный. Да, и мне теперь придется обживать этот городок.

— Тогда вот и еще одно мое место тебе покажу. Смотри, мы входим в сквер, где стоит памятник Ленину. Смотри, вот он. Подойдем поближе?

— Подойдем.

— Этот памятник не упал во время землетрясения, только мозаичные ковры постамента потрескались. Правда, символично? Не упал Ленин.

— Символично. Но вот ковров уж больно много. Для Ленина. Не находишь?

— Зато он тут тоже, как и Пушкин, очень трогательный. Он не призывает, смотрит, он спрашивает. Мол, как вам тут живется-можется?

— Жарковато, Владимир Ильич, жарковато,— сказал Знаменский и не рискнул вышагнуть на открытое пространство, где стоял Ленин и где просто невыносимым был зной.

Деревья в сквере росли в отступе от памятника, ему тут просторно было. Все так просторно и должно быть этому человеку, обыкновенно, не картинно вставшему тут, о чем-то, и верно, спрашивающему, руку вот приподнявшему, чтобы этим движением помочь своему вопросу. Пожалуй, про это и спрашивал, как, мол, живется-можется? Невыносимо стало Знаменскому стоять здесь и смотреть на Ленина. Жгло солнце, но и жгли мысли. Даже не мысли, а одна всего в тонкий звук вытянувшаяся мысль, даже



не мысль, а этот именно звук истончившийся, сверливший мозг, боль эта в мозгу, то чувство стыда, которое взорвалось в нем, когда присел к столу, чтобы заполнить анкету. И тут ударила эта боль, этот звук ударил, врезаясь в мозг. Смотреть на вопрошающего, чуть пригнувшегося к тебе Ленина было невыносимо.

— Уйдем! Пекло! — сказал Знаменский.

После этой Ленинской площади под солнцем прохладными показались истомленные в зное аллеи старых деревьев, которыми они пошли дальше. В просветах между ветвями виднелись какие-то стены, торжественные проглядывали портики, — они шли через центр, где стояли правительственные здания, величественные среди величественных деревьев, загадочные от этого воздуха, где воедино сошлись и запахи цветов на клумбах, но и горьковатый запах грозной пустыни, нет-нет да и насылавшей на город огненный выдох своих барханов, но и пронзительный, кинжальный ветер с гор, но и запах сомлевшего асфальта, а все вместе — это был воздух города, вставшего на краю пустыни и у подножья гор, города, под которым часто смертоносно дыбилась земля, где жили смелые люди, про то не задумывающиеся, где живут и какие они. И рядом, в двадцати — тридцати километрах отсюда, была граница с Ираном, и солдаты в смешных зеленых панамках, часто попадавшие навстречу, были в черноту опалены солнцем, еще более неумолимым, чем здешнее. Пригранный город. Да, смелые люди.

Миновав чайхану, новенькую, современную, выполненную «под старину», но не из дерева, не из влажной глины, а из бетонных плит, а потому совершенно не манящую в свою бетонную прохладу, миновав вывернутые чашами купола крытого рынка, эти чаши были тоже из бетона — здешний главный архитектор всюду настаивал на этом несокрушимом материале, — миновав переговорный пункт, из раскрытых дверей которого вырывались надрывавшиеся голоса, пытающиеся докричаться до Москвы, Ленинграда, Мары, Ташауза, Кара-Калы, Бахардена, Кушки, — про всю страну выкрикивали голоса, — миновав громадные окна парикмахерской, где подвергались самосожжению женщины под сушильными колпаками, пришли, наконец, на почту, на главный почтамт, который был тоже из беззащитного стекла и неумолимого бетона. Взошли по ступеням. В просторном зале гул стоял от работающих кондиционеров, ветерочки тут проносились. Где-то за

стеной трещали телеграфные аппараты, где-то девичьи голоса вымаливали, выкрикали из далекой дали все те же имена: Москва, Ленинград, Мары, Ташауз... — и радовались, поймав их, и торопили, приказывая: «Говорите! Говорите!»

Почта! Вместилище надежд и разочарований. Теперь ему часто придется бывать здесь, нагибаться вот к этому окошечку с буквой «З», протягивать паспорт.

Знаменский подошел к букве «З», достал паспорт, протянул его молоденькой девушке, которая уже давно заметила эту нарядную пару, из другого мира людей, лишь случайно оказавшихся в ее городе. Все «буквы» заметили их, все девушки в своих окошечках лучами глаз повели их через зал, и каждой «букве», каждой девушке хотелось, чтобы луч-локатор подвел бы эту пару к ней. Зачем? А интересно, что за люди? Вот ведь выдалась этой нарядной женщине счастливая участь. Вон как одета! Вон какой спутник! Ах, какой спутник! Просто принц из сказки!

Итак, принц подошел к букве «З», протянул паспорт. Туркменочка, с выплетенными косичками, строго стянувшими ее маленькую голову, большеглазо поглядела на него, заглянула в раскрытый паспорт, быстро, смуглыми пальчиками перебрала пачку писем и телеграмм в ящике, и Знаменскому показалось, что эти пальчики перебирают для него варианты судьбы. А вдруг?! Когда не везет, отказала удача, черная пошла полоса, только и надежды на это «А вдруг!». Он не ждал никаких добрых вестей, да и что могло поменяться в его судьбе за два-три дня, но здесь, на почте, где в ящичках, как в лотерейных барабанах, заложена судьба, ворохнула сердце надежда.

— Есть! — радостно воскликнула девушка, которой очень хотелось порадовать этого принца. — И еще! — она протянула Знаменскому две телеграммы, улыбнувшись так, такой зажегшей все личико улыбкой, какой бы и он не сумел улыбнуться, этот мастер на улыбки.

— Спасибо, милая! — сказал он и все же рискнул посоревноваться с ней, ответно улыбнувшись.

И так они посверкали друг на друга улыбками, этими знаками своих душ, и одна душа была беспечальной, а другая лишь притворялась.

— Вы ждете перевод? — спросила озабоченно девчушка. Она знала, что мужчины больше всего радуются переводам, но не было ему перевода, она не могла его обра-

довать. А вот телеграммы, она знала, мужчины не любят, телеграммы несут тревогу. Но что может опечалить такого счастливецца? В прекрасной одежде женщина терпеливо ждала его у входа. Такие, как он, получают только счастливые телеграммы.

— Вы артист?— спросила она.— А переводы у нас к вечеру поступают. Загляните. Я вас где видеть могла? В кино?

— Во сне,— сказала ее напарница, тоже туркменка, сидевшая на букве «И». Это была постарше девица, уже и морщинки разочарованья улеглись у губ.

— Ай, Джамал, зачем так говоришь?!— обиделась и возмутилась девчушка, будто подруга выдала ее сокровенную тайну. И дальше заговорила по-туркменски, быстро нанизывая слова, колкие, резкие, как маленькие камушки, летящие с крутой горы. И подруга стала отвечать на туркменском: два камнепада слились и вызвенились, напомнив, что за этими стенами из стекла и бетона близко стоят горы, что где-то рядом грозная лежит пустыня, что в небе яростное повисло солнце, что он, Знаменский, очутился сейчас в стране Туркмении.

Прислушиваясь к этому быстрому, колкому говору, к непонятым, неуступчивым словам, Знаменский медленно шел через зал к Нине, по пути читая телеграммы. Первая, что побольше, была от матери. Она беспокоилась, как сын долетел, как его приняли, она умоляла, чтобы он писал, берег себя, берег себя. Дважды были отпечатаны в телеграмме эти два слова: «Береги себя, береги себя». А дальше следовали в тексте еще два слова, которые на верняка телеграфистка советовала убрать, но отправительница настояла на них. После дважды «Береги себя» телеграфный аппарат отстукал: «Восклицательный знак»,— и в этом, в настойчивости этой, в восклицательном настойчивом знаке был весь ее характер, его матери, ее жизненный напор, отданный ему, ему, только ему, ее единственному сыну, ее надежде и гордости. А вторая телеграмма, от жены, была, напротив, предельно лаконична: «Как ты там» — и все. И никакого, конечно, пропечатанного двумя словами вопросительного знака, который был и не нужен, конечно же, он вытекал из текста. Но и никакой подписи. А вот подпись бы тут пригодилась. Ну хоть это самое наипростейшее, естественное: «Твоя Лена». Не было «твоей Лены», анонимен был вопрос про то, как он там. Чья телеграмма, от кого? А кто его знает!

Он-то знал, что от Лены, но она не подписалась. Стыдится? Таится?

Он подошел к Нине, которая, с покорностью женщин востока, ждала его, тая лицо под широкими полями шляпы.

— От Лены?— спросила она.

— От мамы и от Лены.— Он показал Нине телеграмму жены.— Смотри, даже не подписалась. Как думаешь, почему?

— Деловая... Зачем лишнее слово?..— Нина не знала, что ответить, прятала глаза под широкими полями шляпы.

— Вообще-то, даже два тут полагаются слова: во-первых, «твоя», во-вторых, «Лена». Вот такие вот, Ниночка, мои дела, если правду сказать.

— Я думаю, ты не прав, ты усложняешь.

— А ты говоришь не то, что думаешь, ты утешаешь. Ладно, подожди еще минуточку, я отвечу ей.— Он шагнул было назад в зал, Нина попыталась удержать его:

— Не сейчас, Ростик. Поостынь чуть-чуть.

— Негде тут остывать. Я мигом.

Знаменский отыскал глазами окошко, где принимались телеграммы, быстро подошел к нему, радуясь, что нет очереди, быстро заполнил бланк. После адреса написал всего три слова, сами написались, из-под руки выскользнули: «Сорок три градуса». И все. И никакой, разумеется, подписи.

— А подпись?— спросила женщина в окошке, русская, немолодая, усталоглазая, с потекшими, сомлевшими от жары плечами.

— Все!

— Впрочем, понять можно,— сказала женщина, чуть пробуждаясь, умно всматриваясь в нарядного этого, пригожего и удрученного чем-то мужчину. Углядела она и его спутницу у дверей. Ох-ох-ох, молодые люди... Вам ли печалиться?..

На улице, когда из сквознячков кондиционерных снова погрузились в плотный зной, Знаменский сказал Нине, погордился своей находчивостью:

— Отстукал ей всего три слова: сорок три градуса. Что и соответствует действительности.

— А как подписался?

— Никак.

— Вот спадет жара, и ты тащи ее сюда,— сказала Нина.— Ух, погуляем! Тут замечательно осенью. Закатимся

куда-нибудь. Тут такие места, такие селения в горах... Вы как уговорились, когда ее ждать?

— Никогда, наверное. Разве что на денек-другой. У нее очень плотный график, знаешь ли. Своя карьера. Свои друзья. Как ей вырваться?

— Я бы вырвалась,— сказала Нина, отвернувшись от него, на что-то там заглядевшись.— Смотри, караван верблюдов прибыл в город! Какие важные! Какие прямо царственные! А я бы вырвалась... Пойдем к нам обедать? Или хочешь, пойдем, я покажу тебе наши базары. Вот этот, крытый, называется по старинке «русским», а есть еще «текинский базар», он интереснее, а по воскресеньям есть у нас толкучка. Ты напиши Лене, там можно приобрести старинные украшения из серебра. Редко, но попадаются действительно старинные вещи. Ты напиши, примани женщину. Ты ведь знаешь нас, женщин? А у тебя разве не было своих друзей? Мне рассказывали... Москва гудеть начинала, когда ты в нее возвращался из очередной за- границы. Я, представь, интересовалась, как ты там, Ростик Знаменский, живешь-поживаешь.

— А вот заманивать как раз вас, женщин, и не нужно,— сказал Знаменский.— Это последнее дело, вас заманивать. Смотри, мой приятель идет! Мой здешний внезапный сотоварищ! Тесный, тесный у вас городок!— Он поднял руку, позвал:— Ашир! Ашир! Приостановись! Сейчас, Нина, я тебя познакомлю с бывшим следователем по особо важным делам. Не смотри, что он такой пообносившийся. Пьет! Горе у него! Понимаешь, у нас с ним совпало! И, скажу тебе, умнейший малый!

— Кто? Этот?— Нина заметила в толпе на прибазарной улице, а они по этой толкучечной улице сейчас шли, человека, которому махал Знаменский. Этот человек нерешительно приостановился, явно не обрадовавшись встрече, явно готовый шмыгнуть куда-нибудь и затеряться. И на расстоянии было видно, что он не совсем тверд в своих движениях.

— Ростик, но это же какой-то бродяга,— сказала Нина.

— Пропился, так думаю. Но, поверь, умнейший парень. Да ты сейчас убедишься.

— А вот и нет!— обрадовалась Нина.— Смотри, припустил от нас! Сбежал! Пожалуй, не глуп. Понял, что мне бы было трудно с ним знакомиться.

Действительно, только что был в толпе Ашир, а вот его и нет. Куда подевался? Здесь, среди этих лотков, киосков, лавчонок, жаровень, в снующей толпе, совсем не трудно

было исчезнуть. Пригни только голову, согни спину — и нет тебя.

— Жаль! — искренне огорчился Знаменский. — Мы с ним вчера содержательный вечерок провели. Говорили, говорили, даже легче мне стало.

— Пили, конечно?

— Конечно. А как бы еще могли по душам поговорить?

— Ростик, не кажется ли тебе, что не с таких знакомств надо здесь начинать? — вовсе не укоряя, а лишь заботу свою выказывая, спросила Нина.

— Начинать? Ты считаешь, что я приехал сюда начинать? А не заканчивать? Да вон же он! Ах, паршивец, спрятался в пивнушке! Сейчас я его достану! — Знаменский рванул было, но опомнился, вернулся к Нине, взял ее за руку, поднес руку к губам.

— Прости, Нина, прости великодушно, но меня неудержимо тянет к этому бродяге. Верно, тебе незачем с ним знакомиться, а я побегу. Отпускаешь? Прощаешь?

— Но ты придешь к нам обедать?

— После пивнушки-то? Ниночка, от меня будет дурно пахнуть. Но завтра, завтра — обязательно. Приглашаешь на завтра?

— В любой день, Ростик. Мы с Захаром всегда тебе будем рады. — Она подумала, поколебалась и вдруг помолила: — Ростик, прошу тебя, уйдем отсюда!

Он внимательно поглядел на нее, заглянув под широкие поля шляпы, помедлив, поискав слова, попросил:

— Нина, ты не жалеешь меня... Хуже нет...

— О чем ты?! — Она распрямилась, даже оскорбилась, наиграла, как могла, свое возмущение.

Но он ей не поверил:

— Хуже нет... Так я побежал?

— Беги...

Она проводила глазами его засновавшую в толпе спину, будто окрылившуюся от этого из невесомой ткани пиджака, который сейчас впорхнет в грязное нутро прибазарной пивной, плечи ее, словно озябнув, вздрогнули. Сновавшие здесь люди обтекали ее. Здесь ей не место было. И она торопливо пошла отсюда. Ведь город был глазаст, приметлив, как все азиатские города. С кем шла жена дипломата? Почему вдруг осталась одна? А спутник ее нарядный куда побежал? Ну что ж... Так, так...

В пивной, в павильоне из пластика и стекла, отвратная загустила вонь. Прокисшее пиво, выплесками сохшее на бетонном полу, рыба шелуха по углам, пластик, неистребимо вонючий, — все это липло к взмокшим телам мужчин, смешалось с запахом их пота. Тут и минуты нельзя было продержаться. А вот держались мужички. Даже подолгу держались, потягивая пивко. А иные, грифами или кондорами, сонно сидели у стен на корточках, отдыхали, обратив сонные глаза на улицу. Но чуть появлялись женские ноги, глаза грифов и кондоров просыпались, округлялись, лучились хищным светом.

— Ну и разоделся! — встретил Знаменского Ашир. — А я знал, что ты сюда заглянешь, взял для тебя кружечку. Пей! Подвиньтесь, кунаки!

Он стоял у высокого стола, у залитой пивом и заваленной рыбьими ошметками поверхности из пластика, тошнотно пахнущей. Мужчины, обступившие эту поверхность, сонно присосавшиеся к пиву, неохотно подпустили новенького к столу. Им было не любопытно, кто явился. Они действительно подремывали, сомлев от жары, духоты, уйдя в свои думы. Тут не шумно было. В таком бы последнего разбора портовом шалмане, ну, в Неаполе, в самом-самом паршивом закуте, где так же вот пахло, — запахи запоминаются, — гул бы стоял, ор, смех и брань висели бы в воздухе. Здесь — нет, тихо было, не в бычае тут было орать. Пили пиво, молча, сосредоточенно, отрешенно. Можно бы еще прибавить: истомленно. Ведь если начал пить пиво в такую жару, то уже не остановишься. Знаменский знал об этом.

— Может, не стоит? — Он нерешительно взял кружку, поднес к губам, рыбью унюхав вонь от стекла.

— Ну, не пей!

Знаменский поспешно поставил кружку, отодвинул от себя.

— Может, уйдем отсюда?

— Ну, уйдем, — Ашир взял его кружку, вылил пиво в свою, начал пить, явно без охоты, но допил до дна. — Пошли!

Вышли на шумную улочку, где, оказывается, расчудесный жил запах близкого базара, дыней пахло, виноградом мускатным, дымком жаровень. И не так уж было жарко, оказывается. Если плохо тебе, человек, загляни в еще худшее,

и тогда назад потянет, как к радости. Таков всеобщий закон.

— Как после вчерашнего? Вижу, умеешь пить. А я думал — развалишься. Нет, обучили по заграницам.— Ашир, насмешливые, в прищуре, косил на Знаменского свои угольные, без белков, глаза.— А зачем так вырядился? На службе был? И кто же ты теперь?

— Референт без дела.

— Но в МИДе?

— Да, в вашем.

— Все-таки... А я вот безработный.

— Рассказал бы толком, что все же с тобой стряслось. Галдели, галдели мы вчера, но больше про себя и для себя.

— Правильно говоришь. Для того и пьем, чтобы выговориться, объяснить там что-то. Кому? Себе! Мысли-то рвут башку. Надо их выпустить, надо их в звук превратить. Вот этим вчера и занимались.

— И сегодня займемся?

— И сегодня, если поднесешь. Я — пустой.

— Куда пойдем?

— Лучше бы к тебе, к Дим Димычу. Светлана Андреевна сегодня выходная, раз вчера дежурила. Погляжу на нее. Я в нее влюблен. Вдруг да подсядет к нам. О, она строгая! Не всегда такой была. Ну, какой она была! Ай, какой она была! Но теперь улыбки не допросишься.

— А почему?

— Заинтересовала? Стенка в стенку теперь будете жить. Завидую тебе.

— У нее что же, своей квартиры в Ашхабаде нет?

— Все у нее есть, все, все у нее есть. Нет, я тебе не завидую. Когда такая женщина рядом, только труднее дышать. К ней руку не протянешь. Ты пошутил, а у нее презрение в глазах. Бежать надо от такой. Но, может, подсядет сегодня? Все-таки вы оба русские... Она запрещает мне даже смотреть на нее. Раз закричала на меня, чтобы не смотрел. «Все вы одинаковые!»— крикнула. Я ее понимаю, я ей все могу простить. Я вел ее дело.

— Господи, и у нее что-то не в порядке?!

— А я ее люблю. Слово даю, пошел бы за ней на край света.

— Есть еще и подальше Ашхабада край?— усмехнулся Знаменский.

— Есть. Ну, приглашаешь к себе?



— Пошли. Но тогда надо прихватить что-нибудь.

— Прихватим в «Юбилейной». У меня там буфетчица знакомая. Вел ее дело.

— Буфетчица? Так ты же по особо важным был.

— Женщины, учти, всегда в особо важные влипают дела. Без женщин таких дел и не бывает.

— А у Светланы Андреевны — тоже особо важное было?

— Следователи не болтливый народ, учти. Про себя — можно, про других — молчок. Пешком идти долго, в троллейбусе надо ехать. Пошли к стоянке. Побежали! Вон троллейбус!

На стоянке, когда подбежали, толпился народ, все больше женщины, потные, с большими сумками, хурджумами, из шершавой, жаркой и на глаз ткани. А троллейбус, когда подкатил, когда раздвинулись неохотно его двери, таким жаром дохнул, столько в нем людей было, что сунуться в его нутро показалось Знаменскому делом невозможным.

— Поехали на такси! — ухватил он за рукав Ашира, ринувшегося было к дверям.

— Совсем ты у нас бай, Ростик Юрьевич, — сказал Ашир и вяло поднял руку, шагнув на проезжую часть. — Когда отвыкать начнешь?

Машины пронеслись мимо, не было среди них такси. Но вот и мелькнул зеленый огонек, но тоже промчался мимо.

— А, будем час тут стоять! — сказал Ашир. — Наши таксисты любят сами себя катать.

Но проскочившее такси вдруг остановилось, а потом, — о чудо! — начало пятиться к ним, а водитель, когда машина встала, перегнулся и распахнул дверцу:

— Прошу, Ашир Атаевич!

— А, знаешь меня? — зорко глянул на водителя Ашир. — Поехали, Ростик. Знакомый человек приглашает. Знакомство — великая сила.

Уселись позади водителя, машина рванула, старенький это был драндулет, разболтанный, выцветший и извне и изнутри, но поджарый, горбоносый хозяин был похож на джигита, он и был джигитом, и машина слушалась его, трепетала и рвалась, как старый, а все-таки ахалтекинской породы конь.

— Куда, Ашир Атаевич? — спросил водитель и вдруг быстро, негромко еще что-то спросил по-туркменски.

— К «Юбилейной» подскочи, — сказал Ашир. — Он меня спрашивает, Ростик Юрьевич, почему я такой... Слушай,

друг, сейчас говори со мной по-русски. Он мне сочувствует, я так думаю. Ну, пью, полоса такая.

— Вы вели мое дело, Ашир Атаевич, — оглянулся водитель, глянув вскользь и на Знаменского. Аширу его зоркие, тоже в уголь глаза подарили уважение, по Знаменскому скользнули с любопытством.

— Я так и подумал. Вспомнил тебя. Не твое я тогда дело вел, Чары, ты в чужой арбе оказался. Два года?

— Два.

— Меньше получать мужчине неудобно.

— Спасибо вам, справедливый человек. Все искал вас по городу, в персональных машинах высматривал, думал — в гору пошли, а вы...

— Кто в гору идет, тот и сорваться может. Не жалея, не жалея меня, джигит. Машина почему такая старая?

— Честно работать хочу, потому. Тому дай, тому сунь — тогда на новенькой «Волге» покачу. А два года? Я их не забыл. Слушай, прости, Ашир Атаевич, зачем пьешь? Зачем такой? Нам хорошие люди нужны. Зачем ты так? Прости, пожалуйста.

— Что тебе сказать? Следователь — вредная работа, друг, опасная работа. Попью немножко и остановлюсь.

— Обещаете?!

— Не обещаю. Надеюсь... А тебе, за сочувствие, хочу дать совет. Как бывший следователь. Бывший... — Ашир замолчал, будто забыл, что посулил что-то посоветовать, он замолчал, замкнулся, понурился.

Машина остановилась на тихой, в ухоженных деревьях улице, где по правую руку стоял осанистый современный дом с лоджиями, с внутренним двориком, видимым за нарядной решеткой, где рдели розы, а по левую руку тоже осанистое протянулось здание из бетона и стекла, за которым зелеными зарослями начинался ботанический сад.

Вышли из машины, Знаменский протянул водителю трешку, но он ни Знаменского, ни денег его не заметил, он на Ашира смотрел, все ждал, что тот ему скажет. А тот уже отошел от машины, далеко отошел, идя, пришаркивая, сутуло, и вдруг обернулся, распрямился, крикнул:

— Честный человек, Чары, самый богатый!

Чары, невысокий, сухой, воистину наездник, подобранный, быстрый, вскочил в машину, как в седло, рванул ее с места в карьер, пришпорив и прикрикнув, развернул без всяких правил, промчался мимо Знаменского, радостно чему-то скалясь.

— А деньги?!— Знаменский взмахнул трешкой.  
Промчалась машина, умчалась.

### 13

— Куда?!— крикнула из-за стойки женщина, когда Ашир переступил порог ее владений, а это был зал, стены которого были обшиты деревом, паркет сверкал, а оконные стекла, которых тоже было тут в избытке, были обряжены будто в нарядные юбки, сперва кисейные, а потом парчовые.

После зловонной пивной этот зал показался Знаменскому дворцом. И здесь прохладно было, откуда-то шел ровный, спасительный гул кондиционеров. Вдали, где мерцала стойка и где и стояла строгоголосая женщина, лица которой было не различить,— там в пестрый ряд выстроились вместо привычных бутылок конфетные коробки; трогательные мишки на Севере, ромашки российские, желтое поле колосющейся пшеницы — Родина встала в глазах, сложившись из этих коробок.

Но Ашир спокойно шел, пришаркивая, к стойке.

— Куда?! Куда?!— чуть поубавила голос женщина, все внимательнее всматриваясь в Ашира, даже через стойку перегнулась.— О, аллах! Ашир Атаевич, это вы?..

— Я, я, Роза-джан. Не узнала сперва?

— Да как же я могла вас узнать, Ашир Атаевич?!— Женщина выбежала из-за стойки, кинулась к Аширу, руки сведя ладонями, замерла возле него.— Я слышала, в городе говорили, но... Но я не верила, Ашир Атаевич, я и сейчас не верю. Может быть, вам деньги нужны? Скажите только. Я кольца продам, серьги... Все с себя сниму!..

Это была пожилая, поблекшая женщина, но еще продолжавшая воевать с наступившей старостью: выкрасилась, став красно-рыжей, брови подведены, губы щедро подмазаны. Но ведь жара. И весь этот грим чуть потек, а красно-медная высокая прическа сбилась, устали старые волосы держать фасон. На пальцах кольца, в ушах сережки, на морщинистой шее золотая цепочка, платье из дорогих, сразу видно, хоть и явно жарковатое, не по сезону. А в черных глазах выбелилась и старость, и усталость. И в эти старые глаза сейчас набежали слезы. Лицо женщины, зажив сочувствием, старушечьим становилось под молодым ее гримом.

— Ничего такого продавать не надо, Роза-джан,— попытался улыбнуться Ашир.— А продай-ка ты нам пару бутылочек, какой-нибудь еще закуски на вынос, вот и все. Мой коллега заплатит, деньги у него есть. Пока. Кстати, познакомьтесь. Это, Ростислав Юрьевич, знаменитая наша Роза-джан! Ну, что было, то было, а сейчас она внуков воспитывает и в этом скромном правительственном буфете работает через день. И все — копеечка в копеечку. Столовая Совета Министров этот буфет снабжает, ей оказано высокое доверие. Тут ведь правительственные у нас клиенты. Не смотри на меня так, Роза-джан! А это — наш новый ашхабадец, Ростислав Юрьевич Знаменский. Ну, что было, то было, а сейчас он с нами. Да, да, Розочка, в городе тебе все правильно сказали... Выгнали меня с работы, отказали в доверии, знаешь ли, да, да, говорят, что я взятки брал, да, да... Верить?

— Нет! Это неправда!— Женщина гневно выпрямилась, шагнула даже к дверям, будто кинуться хотела куда-то, чтобы немедленно опровергнуть эту неправду.— Я сама вам предлагала! Знаю, и другие предлагали! Разве вы взяли?! Вы не взяли! Про вас и молва такая шла: «Не берет!» Это неправда! Оговорили вас, Ашир Атаевич! Да, оговорили? Почему?..— Она приблизила к нему свои в затеках туши плачущие глаза.— Почему?..

— Длинный разговор, Роза-джан, ненужный разговор.— Ашир устало подсел к столу, рукой поддержал голову, вдруг устав безмерно.— Дай-ка нам чего-нибудь хлебнуть, иссох совсем.

— Сейчас! Сейчас!— Она кинулась к стойке, рванула дверцу холодильника, спеша, спеша, будто за спасительным кинулась лекарством.

Хлопнула пробка шампанского, вырвавшись к потолку, излилось радостной пеной шампанское в бокалы, да и на пол, покуда несла, и вот запенились бокалы на столе перед Аширом и Знаменским. И они начали глотать этот праздничный напиток, а буфетчица, смаргивая слезы с тушью пополам, со стороны смотрела на них, старую руку с кольцами подведя под подбородок.

— Это с какой такой радости льется тут шампанское?!— раздался громкий, напористый, отчетливо сановный голос.

На лестнице, спускавшейся в буфет из гостиничных покоев, картинно встал полноватый, вернее, дородный мужчина в той загадочной поре, когда, если издали глянуть, и пятьдесят человеку может быть, а может быть и под семь-

десять. Он одет был вольготно, по-домашнему, в какой-то рубашке-апашке, в штанах явно пижамного происхождения, ноги в шлепанцах. А разве он здесь не у себя дома? Сановно, но не избыточно, выпирал из-под рубашки живот, совсем худым и неловко быть, когда обременен ты властью, а то, что это был человек, наделенный властью, в этом усомниться было невозможно. Он так и оделся наипростейшим образом, выходя на люди, что ему дозволена была подобная простота, наперед прощалась ему. Но — лицо... От этих шлепанцев, уверенно попиравших ступени, от этого живота начальственного, слышав голос этот сановный, и лицо ожидалось под стать, округлое, щекастое, увы, самодовольное. Нет, не такое у этого человека было лицо. Неожиданным оно оказалось. Странно смуглое, оливковое, с запавшими щеками, с отеками в подглазьях. Больное лицо. Что — голос? Что — осанка? Как ни оденся, как ни прикинься, а лицо твоё, человек, оно про всё расскажет.

Важно переступая, чуть растянув губы в приветливой в меру улыбке, кивнув коротко хозяйке буфета и еще короче этим двум, что пили шампанское в такую-то жару, зорко, цепко оценив каждого взглядом, не удивившись здесь Знаменскому, то есть человеку, под стать этому месту, и изумившись его сотоварищу, человеку, по внешнему виду для сих мест неприличному, мужчина подошел к буфетной стойке, пальцем маня к себе буфетчицу.

— Роза Халимовна, нарзанчик мой, прошу вас, — он позволил себе благосклонно оглянуться. — Эх, завидую вам, молодые люди!

— Проездом из Байрам-Али? — спросил Ашир.

— Как угадали?

— Да уж угадал. Не пейте нарзан, уважаемый товарищ. Попросите у Розы-джан стаканчик мацони, снимите пенку, там сыворотка будет, вот это и пейте.

— Откуда вам известно, что мне не показан нарзан? Вы врач?

— Да уж известно. Нет, не врач.

— Личным опытом делитесь? Тогда отчего же вы с утра хлещете эту отраву, если у вас почки не в порядке?

— У меня почки в порядке. — Ашир долил себе в стакан, выпил, нарочно утерся рукавом, насмешливо буравя сановного мужчину своими дульцами. — Вот почки у меня в порядке. Сердце — тоже. Легкие — тоже. Желудок — тоже. Счастливый человек, да?

— Вообще-то, именно так, счастливый. — Заинтересо-

вавшись, мужчина подошел к Аширу, разглядывая и его и Знаменского, вдруг отвлекшись от Ашира, а заинтересовавшись больше Знаменским.

— Позвольте, позвольте, а ваше лицо мне знакомо. Разрешите?— Он подсел к их столику, продолжая всматриваться в Знаменского.— Как же, как же... Ну, вот и узнал! Как же, как же...— Он оглянулся, повеселевшим голосом приказал:— Роза Халимовна, еще бутылочку от меня молодым людям! Надо же?! Узнал, узнал... А я, извольте, рискну отведать вашего мацони! Вдруг да то самое! Ростислав Знаменский, если не ошибаюсь?

— Не ошибаетесь,— кивнул Знаменский.— Но я вас, хоть убейте, не могу вспомнить.

— За что вас убивать? Вы меня действительно не знаете. Успех лишает нас зоркости. Вы солировали, я был в толпе. Всякий раз, как встречались. Вы — солист, я — в толпе. Всякий раз.

— Где же это все происходило?— спросил Ашир, буравя своими дульцами.— Ростик, ты вроде бы не оперный певец.

— В посольствах, в посольствах, молодой человек, на приемах, на а ля фуршетах, где копченостей навалом, там как раз, где я просадил свои почки,— оливковоликий трагически поширил глаза, наигрывая печаль и даже ужас, но наигрывать не стоило, печаль и даже ужас на самом деле жили в этих пугающе густо выжелтившихся глазах.

Буфетчица принесла бутылку шампанского и граненый стакан с мацони.

— Правильно Ашир Атаевич говорит,— сказала она.— Мацони от многого может излечить. Или хотя бы облегчить.

— Ашир Атаевич?— глянул на Ашира оливковоликий, сравнивая свое впечатление от него,— по одежке ведь встречаем,— с явно почтительным отношением к нему весьма уважаемой тут хозяйки буфета.— Кстати, позвольте представиться. Александр Григорьевич Самохин, Чрезвычайный и Полномочный Посланник. Учтите, все три слова пишутся с большой буквы. Ну-ка, что за чудодейственная сыворотка?— Он снял ложечкой жирную пленку в стакане, осторожно-осторожно зачерпнул, осторожно-осторожно поднес к вытянувшимся трубочкой губам, с явным трепетом отведал.

— Смелее!— подбодрил его Ашир.— Ручаюсь, что не навредит. И вообще, если уж лечите почки в Байрам-Али,

то и пейте все туркменское. Если не секрет, в какой стране вы Посланник? Я мысленно произнес это слово с большой буквы, верьте мне.

— Ого, занозистый! — по-другому как-то глянул на Ашира Самохин, этот Чрезвычайный и Полномочный Посланник. — Отлетели мои страны, молодой человек, отшумели. Но ранг, звание нам сохраняются. Верно говорю, уважаемый Ростислав? Вас как по батюшке?

— Юрьевич.

— Да, отлетели. А я про вашу историю чуток наслышан, Ростислав Юрьевич. Пошумела Москва. Наслышан. Но мне ли не понять? Молодость, соблазны, куда ни глянь, а ты — сам один, посоветоваться не с кем. Так?

Знаменский не ответил.

— Но... А все-таки, а все-таки... В мое время побольше было строгости, спасительной, скажу вам, строгости. На связи уповали? Угадал?

— Зачем этот разговор, товарищ Посланник? — Знаменский отрешенно глянул на старика, да, старика, — близко к семидесяти было этому человеку с сановной фигурой и больным лицом.

— Не сердитесь на меня, Ростислав Юрьевич! — Самохин просительно положил руку на руку Знаменского. — Я не про вас. Вообще, общие рассуждения. Связи, связи! Престижи! Чего-то не умею по-стариковски понять. Простите. Вот, войну всему этому объявили. Победим ли?..

Рука у него тоже была больная, с выжелтившимися ногтями.

— Я не сержусь, — сказал Знаменский.

— Как мое мацони? — спросил Ашир. — С недельку по стакану утром, по стакану вечером — и жажды нет, и почкам делать нечего. Точно говорю! Ростик, хлебнем еще, раз бутылка стоит, уважим Посланника?

— Не подтрунивайте, не надо, — сказал, вдруг построжав, даже озлившись, Самохин. — Верно, Посланником я был, но и сегодня кое-что еще значу. Так какие служебные обстоятельства занесли вас в столь знойные места, Ростислав Юрьевич? — Голос у него стал строгим, официальным, сановные в нем зазвенели струны. — Тесть пристроил? Помог, конечно же? А я что говорю?!

— В местном МИДе начинаю работать. Что-то вроде референта. Скорее, переводчик, сопроводитель гостей.

— А я что говорю? Все-таки... Вы ведь вне партии пока?

— Да.

— Место, в таком случае, не из плохих. МИД — он везде МИД!

— Но наше мацони помогает почкам, когда печень не раздувается,— негромко сказал Ашир, глядя не на Самохина, а на буфетчицу.— Верно говорю, Роза-джан?

— Любое лекарство так,— сказала буфетчица, утаивая улыбку в морщинах у губ.— Сердитая душа не излечивается.— Она поклонилась мужчинам и направилась к своей стойке, плавно ступая и раскачиваясь, зная, что еще не старуха и что мужчины смотрят ей вслед.

— Но и сегодня кое-что еще значу,— упрямо набычил шею Посланник.

— Никто в этом не сомневается, раз вы остановились в «Юбилейной»,— миролюбиво сказал Ашир.— Тут только для избранных.

— Да, да, именно так, молодой человек, стало быть, заслужил, имею право. Кстати, с кем имею честь?

— Да какая уж честь. Ашир... Местный житель... Вот, познакомились, угощает товарищ Знаменский.

— Да, да, превратности судьбы, понимаю. Ну, а я переброшен на иностранный туризм. Слыхали? Учрежден такой комитет. Весьма нешуточное дело, если вдуматься. Государственный комитет СССР по иностранному туризму. Наш председатель в ранге министра. Наша главная задача — показать страну всему миру. Усекли, молодые люди? Ростислав Юрьевич, вам-то понятно, сколь важна эта работа. Лицо страны показываем.

— Именно, именно!— внезапно очень заинтересовавшись, горячо закивал Ашир.— А разве мало интересного в нашей Туркмении? Вы только в Байрам-Али побывали, Александр Григорьевич?

— Ну, еще в Мары. Возили на экскурсию по земле древнего Мерва, показывали развалины средневекового мавзолея султана Саджара. Впечатляет. Вы думаете, я в Байрам-Али только лечиться ездил? Вот именно, выяснял, а нельзя ли сюда наших туристов направлять.

— Мало!— горячо сказал Ашир.

— Что — мало? Мало где побывал? Я еще согласился на Марыйскую ГРЭС съездить, хотя и не люблю индустрию с черным над собой небом.

— Мало!— еще азартнее сказал Ашир.— Побывать в Туркмении и ничего не увидеть... Ай-ай, нехорошо! Заведовать иностранным туризмом и проскочить через такую



страну... Вай-вай, нехорошо! Ну, хотя бы Краснодарск... Небит-Даг... Кара-Кала...

— Если по вашей Туркмении путешествовать, месяца не хватит.

— Года, дорогой, года! Но я вам только два-три места назвал, которые вам и для дела нужны, и для тела. Для вас, для вас с вашим нефритом.

— У меня нет нефрита, с чего вы взяли?! Предрасположение всего лишь.

— Для вашего предрасположения, согласен. Ведь Краснодарск — про это мало кто знает! — еще целебнее имеет климат, чем Байрам-Али. Да, да, зной и море. Не просто море, а знойное море. А Небит-Даг? Пустыня! Зной! Целебный зной для вас! А Кара-Кала? Ведь это же сухие субтропики! Сухие! Вы понимаете, что это означает для ваших почек? Я уж не говорю, что это родина нашего великого Махтумкули! Побывать в Туркмении и не быть в нашем Михайловском?! Ай-ай, как нехорошо!

— Что с тобой, Ашир? — попытался унять его Знаменский. — Ты прямо как на базаре торгуешь красотами своей Туркмении.

— Почему торгую?! Добрый совет даю! Мацони и в Ашхабаде есть, это так, но от мацони маленькая польза. А от верблюжьего чала вы бы просто на десять лет помолодели, Александр Григорьевич! Пили чал? Нет! Эх, тогда совсем не были в Туркмении! Чал — это чудо! Он все смывает, все промывает и через поры выходит. Только через поры. Это же напиток чабанов, караванщиков. Это же из верблюжьего молока делается! Совсем нежирный, совсем будто прозрачный напиток, но — чудо творит!

— Так, так, так, чал?! — заинтересовался Самохин. — Я слышал о нем, мне говорили. Надо попробовать. В Ашхабаде на базаре он есть?

— Есть, привозят иногда. Но разве это чал?! Он должен быть свежим. Его нельзя далеко везти, он как ваш сибирский омуль, как алма-атинский апорт. Он теряет в пути свои целебные свойства. А где его родина? Где стада верблюдов прямо на шоссе выходят? А вот по дороге из Красноводска в Кара-Кала. Там, только там, дорогой Александр Григорьевич, у чабанов, в любом селении можете получить вы этот чудодейственный напиток в первозданном виде. Воздух! Зной! Море и пустыня лоб в лоб! И чал! Я не шучу, вот ваше место на земле после всех этих ваших банкетных копченостей. С неделю попьете чал, подышите воздухом прикаспийским —

и забудете про свои почки! Я не шучу! Роза-джан, ты все знаешь, я правду говорю?!

— Чал от многого лечит,— отозвалась буфетчица.— А воздух там сухой, это так. Но очень уж жарко... И воды не достать, чтобы руки даже вымыть... Не знаю...

— Вот и хорошо, что жарко! Нам это и нужно! Мало воды? Есть, теперь есть вода. По трубам от Каракумского канала туда воду подвели. Ты отстала от жизни, Роза-джан!

— До Красноводска еще не довели, но до Небит-Дага, верно, довели,— сказала буфетчица.— Я не отстала от жизни, Ашир Атаевич.

— Хорошо, согласен, ты не отстала от жизни! Но в Красноводске есть великолепный опреснитель. В гостинице, особенно в «люксах», всегда есть вода. Я там жил, я знаю. А какой у Красноводской ТЭЦ замечательный пансионат на берегу Каспия — ты про это знаешь? Там один старый армянин сказку сотворил! Весь берег из роз! Виноградники! Гранатовые рощи! Пляж! Теплое море! И нет туристов! Они просто не знают, что существует этот рай! Обидно!

— Да, заманчиво, заманчиво излагаете, молодой человек,— сказал Самохин.— Вы с кем там в доле? Почему вам так нужно, чтобы я туда поехал?

— Вот!— воздел руки Ашир.— О век двадцатый, сомневающийся! С кем я в доле? Какая мне выгода? Ну, есть, есть выгода, согласен.

— Ага!— обрадовался Самохин.— Излагайте, раз заманиваете.

— Ну, во-первых, отрядили бы с вами нашего Ростика,— стал загибать пальцы Ашир.— А ему надо нашу страну посмотреть, если уж он сюда приехал работать. Раз. Ну, во-вторых, этот армянин, что создал пансионат на пустынном берегу, давно нуждается в поддержке, в рекламе, а он мой друг. Два. Ну, а в-третьих, дорогой товарищ, а что, если я хочу, чтобы вы поправились? Я для вас хорошее сделал, вы для меня что-нибудь сделаете. Вот мои выгоды.

— И все?

— Мало этого?

— Ну, я так думаю, еще какое-нибудь порученьице у вас для Ростислава Юрьевича найдется. Угадал? Отвезти что-нибудь, привезти что-нибудь. Угадал? Там икра в Красноводске, так думаю, еще бывает. Угадал? Икра?

— Да, опытный, опытный вы человек, товарищ Посланник!— Ашир даже головой покрутил, восхищаясь.— Горячо, горячо... Там и барашки есть, шкурки. Но вы не о

моей пользе думайте, вы о своей пользе думайте. Там — чал! С большой буквы произношу: Чал! Там сухой воздух! Для кого Байрам-Али, а для кого — Красноводск или Кара-Кала. Свой для каждого микроклимат, отыскать только надо. Рискнете? Рискните, советую! Слетайте на недельку. И по службе вам зачтется. Ну, и Ростик с вами нашу Туркмению поглядит. Согласен, Ростик?

— Там выкупаться можно будет?

— Замечательное море! Замечательный пляж! И никого, почти никого! Это тебе не Ялта, где как на тюленьем лежище! Завидую, просто завидую!

— Вот бы и слетали,— сказал Самохин, полный недоверия, но уже и охваченный тем азартом, который всегда готов вспыхнуть в большом человеке, слышавшем о целебной какой-нибудь травке, о целебном вот воздухе или чале этом, действительно целебном, он и раньше слышал, напиток.

— А на какие шиши? А кто меня пошлет? Кто пустит? Туда, в Кара-Калу, пропуск нужен. Граница с Ираном. Нет, мне туда дорога закрыта. А куда она мне открыта?— Ашир будто рукой смахнул с себя все оживление, вдруг поник, отрешился, отгородился, смолк.

— А что, а что — и слетаем!— сказал, оживляясь, теперь он загорелся, Самохин.— Слетаем, Ростислав Юрьевич? На недельку? Я договорюсь, вас со мной пошлют. Конторы-то у нас родственные.

— Я не против,— сказал Знаменский.— Хоть служба пойдет.

— А в Москве вас всячески отрекомендую, что помогли. Тестю вашему отзвоню. А?! Чем не чал?! Пейте, пейте, молодые люди!— Самохин разлил шампанское по стаканам.— Чал... Да... Надо попробовать... Ну, а пока я с вами мацони чокнусь. Глотну глоточек, Ашир Атаевич, за вашу идею, стало быть! За добрый совет!

— Вот и хорошо,— не поднял головы Ашир. Но руку протянул, взял, обхватил тонкими пальцами стакан, стиснул, дрогнула рука, расплескивая шампанское.

## 14

Ничего не случилось, разговор этот вроде бы ни к чему не обязывал, был не слишком серьезным, напоминал обычный застольный треп, но Знаменский почувствовал, что его опять повели. Всю жизнь так, сколько себя помнит,

с детства еще, когда брали за ручку, чтобы отвести в школу. Он привык. Он давался чьим-то рукам, чьей-то воле. Будто бы решал сам, но и не сам. Его наставляли, ему подсказывали, его вели. Ничего плохого ему не делали. Напротив, напротив. Все шло и даже катилось, как по маслу. В гору шел, только в гору. И помогавшие, ведшие его, облегчали ему восхождение. Он привык. И он был им всем благодарен, должен был быть благодарен,— они желали ему добра. Он такой уродился, что ли, что все желали ему добра. А когда споткнулся, то тут он сам виноват, вот уж тут он сам виноват. Самостоятельность проявил? Увлекся? Забылся? Ну вот...

Они быстро допили шампанское и расстались. Но на прощание Самохин посулил, что завтра же побывает в МИДе, что обо всем договорится, а там и в путь.

— До Красноводска как лучше всего?— спросил он Ашира.

— Только воздухом. Час пути.

— А потом?

— Можно на машине, можно и на вертолете, если уважат Посланника. Вы им объясните там, что для целей иностранного туризма, скажите, что...

— Найду, найду что сказать!— посуловел Самохин.— Учить меня не следует. Ростислав Юрьевич, до завтра! Утречком, покуда эта печь не слишком разгорелась, все и пообедаем.— И удалился, важно переступая по лестнице, издали сановный, самонадеянный.

Знаменский подошел к стойке, улыбнулся сочувственно буфетчице, разглядывая конфетные коробки, столь красочно ныне потеснившие бутылочную рать.

— Что она у тебя пьет, Ашир?— оглянулся он.

— Ничего или всё. Бери, что есть. Не думаю, чтобы она к нам подседа.

— А ничего и нет кроме шампанского,— сказала буфетчица, радостно откликаясь на улыбку Знаменского.— Не пойму, а вы кто? Ну, видела я вас! По телеку?

— Возможно. Мелькал иногда. Отмелькался. Розаджан, соберите нам что-нибудь выпить и закусить на одну даму и троих мужчин,— сказал Знаменский и стал добывать из тесного брючного кармана слипшиеся четвертные.— Сойдет и шампанское. Пьет же наше шампанское из Крыма аж сама английская королева. Ящиками ей шлем.

— Особенно-то деньгами не бросайся,— сказал Ашир, подходя к стойке. Он был какой-то озябший, поник совсем,

будто застольный этот треп действительно был серьезен и даже истомил его.

— Думаешь, этот Самохин клюнул на твое предложение?— спросил Знаменский.

— Полетите, полетите.

— У тебя действительно есть какое-то для меня поручение?

Ашир не ответил. Глянул только быстро и не ответил.

Вернулась из подсобки Роза-джан, неся в вытянутых руках картонный ящик.

— Сколько с нас?— спросил Ашир.

— Да что вы, Ашир Атаевич?!

— Э, нет, дорогая.

— Вы столько для меня сделали... До самой смерти не забуду...

— Так не пойдет, Роза Халимовна. Я не для того тебе столько сделал, чтобы ты по старой дорожке опять пошла.— Злым стало у него лицо.— Почему столько золота на тебе? Откуда?

— Ах, Ашир Атаевич! Ах, какой ты!— Она любовалась им, в его злые глаза заглядывая с любовью.— Вот какой ты! Спасибо, что ты есть! А золото, что золото? Разве ты не знаешь, что старые татарки все драгоценности, что от матери, от бабушки сбереглись, носят на себе? Чтобы не отобрали. Ты знаешь. И у туркменок так. А дома у меня палас дырявый и топчан из неструганных досок. Ты же знаешь...

— Зайду, проверю,— чуть смягчился Ашир.— Слово даю, проверю.

— Ой, заходи! Я тебе ноги у порога вымою! Как отцу родному...

— Ну, ну...

Ящик понес Ашир, не дал его Знаменскому.

— Выпачкаешься,— сказал.

Они шли по тихой улочке, по которой вчера проезжал Знаменский на машине, и улочка открывалась ему по-новому. Глаза невольно выискивали, чему бы тут порадоваться,— ведь ему теперь жить в этих местах. Они прошли мимо школы, большого здания с большими окнами, забранными в решетчатые из бетона узоры по первому этажу. Архитектор полагал, что узоры эти из бетона украсят его школу. Так, наверное, на рисунке и получалось, но встал дом, но грянуло солнце, но налетели из пустыни ветры с колкой пылью, дожди со снегом пролились зимой, и бетонные цветы-узоры угасли, запылились, краска сошла с них,

всякий сор забился в прорези и извивы, и замыслы архитектора, его мечты на бумаге, погребла реальность бытия.

Но зато, когда свернули за угол, где школьный двор открылся и где полно было ребятишек, собравшихся здесь летом, чтобы ехать в пионерский лагерь, замысел другого архитектора восхитил Знаменского. Это были мальчики и девочки из младших классов, тут, на школьном дворе, резвилась человеческая молодежь. Уже были поданы автобусы, мамы и бабушки уже скликали ребят, но дети играли. Девочки были в длинных национальных платьях, тюльпанами разбегались они по двору, мальчики, хоть и в форменных костюмчиках, как-то так приспособили к себе эту форму, что казались не школьниками, а маленькими джигитами, они и прыгали тут, и скакали, будто сидели на лошадях, их главной игрой тут было перепрыгивание через довольно высокую металлическую ограду — туда-назад, туда-назад. Толстая труба ограды была отполирована их телами. Прыжки иные были просто рискованными. Но смотрели на джигитов девочки, перебегая стайками, замирая и дивясь, и надо было рисковать. И мальчики рисковали, чуть ли не цирковые выделывая номера. И вот тут вот и ожили серые стены школы, тут архитектор удивительную явил свою талантливость. Тут и небо было на месте, хоть и палило неистово, тут и горы близкие были очень нужны, уместны, тут и эта площадка, залитая асфальтом, не казалась унылой, а цвела тюльпанами, тут даже обыкновенная труба ограды, над которой метались ловкие тела, не казалась трубой, а была барьером ловкости и мужества. Вот такую школу и запомнят до конца дней своих эти ребятишки, мужать будут, стареть будут, а в глазах их удержится этот двор, это небо, горы, эти милые стены, а в памяти сбережется, что были ловки, смелы, не слышали своего тела, что будто летали они, умели летать. Да, иной тут работал архитектор, иными располагал и материалами, от железной трубы до снежной вершины и знойного неба.

Знаменский обрадовался этому школьному двору, столь близкому от его нового дома. У него не было детей, Лена не хотела обременять себя. А он и не задумывался, нужен ли ему ребенок, мелькали дни, некогда было о чем-то таком, извечно, подумать. Но к ребятишкам тянуло. Где бы ни очутился, всегда заглядывался на таких вот, как они, мелькавших и скакавших. Теперь он сможет иногда бывать здесь, место было из радостных и для глаз, и для души.

Вдали открылась та улочка, на которой стоял дом Дим

Димыча, его теперь обиталище. Там совсем было тихо, дувалы тянулись вровень с кровлями, кроны тополей, сходясь в вышине, выстлали по улочке густую тень, арычная вода позванивала, шла быстро. Вступая сюда, человек вступал в тишину и благодать. И он теперь жил тут. На всех почти дверцах, врезанных в дувалы, в крепостную их толщу, висели бумажки, на которых коряво было начертано: «Квартиры нет». Здесь не сдавали комнат, здесь жили для себя, потаенно, своим миром. А ему вот сдали. Он шел сейчас домой, к себе. Но на этом «к себе» мысль упиралась как бы в стену, в толстый, из вязкого самана дувал. Куда — к себе? Кто там его ждет? И сам ли шел? Вчера его сюда привезли, сегодня его сюда повели. Он вдруг спросил у Ашира, приостановившись:

— О каких эта Роза-джан взятках говорила? Тебя что же, уволили за взятки, Ашир?

И Ашир приостановился.

— Что ж, давай поговорим, — сказал он устало. — Да, считается, что я уволен из прокуратуры за взятки. Почти никто в это не верит, но факт получения мною денег, так сказать, зафиксирован. Не совсем, конечно. Иначе бы я сидел. Почему никто не верит? Тут я не прав. Кто захотел, тот поверил. Нашли в моем служебном сейфе пачку денег, толстую пачку, происхождения которой я не смог объяснить. Подсунули? Но ключ был только у меня. Он был, правда, когда-то и в других руках, у моего предшественника. Но когда это было? Мне надо было сменить замок, но мой предшественник был моим другом. Словом, не совсем убийственный факт, но достаточно убивающий, чтобы можно было прогнать, запятнать, уволить — вот оно, это слово! — за несоответствие! И это еще милосердно! — Ашир не заметил, что перешел на крик. — И это еще спасибо мне надо говорить! Пожалели, с учетом былых заслуг!

— Я не верю, чтобы ты мог взять взятку, — сказал Знаменский. — Ну, не верю. И эта Роза-джан так говорила... А она из бывалых. Подсунули? А кому это нужно было, Ашир?

— Вот! — Ашир вдруг затравленным движением огляделся по сторонам, сникая, сводя голос на шепот. — Вот... Я это и должен установить, дорогой товарищ... — И опять он непонятно себя повел: дурашливо взмахнул руками, плечи как-то свел-передернул, как-то жалко-беспечно, ухмылочкой пьяноватой развел губы, скалясь, будто радуясь. — Но я вот пью-гуляю, горе запиваю! В Ленинграде

долго жил, совсем русским стал! Меня обидели, прогнали — я пью! «Бродяга я!..» — затащил он резко и фальшивя. Он встряхнул ящик, там зазвенели бутылки. — Вот сейчас добавим! Такие дела!

— Ашир, тут же никого нет вокруг, — близко подошел к нему Знаменский.

— Думаешь? Идем, идем, не оглядывайся... — Ашир, не разжимая губ, заговорил, едва расслышал его слова Знаменский: — Не оглядывайся, говорю... И чему вас учили, дипломатов?.. Ты кем был, разведчиком?

— Журналистом, Ашир. Понагляделся ты, смотрю, детективов.

— Ну, ну... А вербовали тебя всерьез или тоже киношному?

— Теперь начинаю понимать, что всерьез.

— Начинаешь понимать... В этом все дело! Понять! Самому! Нас учили дознаваться истины. Отлично! Это когда ты следователь по чужим делам. А когда самого воткнули? — Ашир лихорадочно произносил слова, но все время прислеживал за ними, чтобы не вырвалось бы какое в звук, не сорвалось бы на волю, для чужих ушей. И он все время озирался, хотя на улочке ну никого не было, ну ни единой души. Допекли человека! Теней от деревьев стал страшиться.

— Что ты, Ашир, никого же тут нет, — сказал Знаменский, тоже повнимательней оглядевшись.

— Никого, я вижу, — согласился Ашир. — Никого! А знаешь, какие у нас тут дела недавно отшумели? У нас тут министр юстиции дважды стрелялся — в этой тишине.

— Попал, наконец?

— Не шути про такое! Попал! Думаю, помогли старому человеку... Вот такие дела, а вокруг — никого. Смели половину судей, селем прошлись по МВД, по прокуратуре, а вокруг — никого.

— Когда такой идет разгон, часто достается и невиновным. Это твой случай. Разберутся...

— Другой у меня случай. Другой! Противоположный!

— Ты чего-то недоговариваешь.

— Еще договорю. Теперь уж придется. Пришли! — Ашир остановился у двери перед домом Дим Димыча, ладонью медленно провел по лицу. И удалось ему, стерла ладонь его лихорадку, успокоенным сделалось лицо, приветливым даже, приготавливающимся для чего-то доброго, радостного.

Он толкнул дверь, она легко отворилась, разом открыв гла-



зам дворик перед крыльцом, мир этот мирный со сливовым в фиолетовых плодах деревом, с виноградными лозами, с близкими вдали коричневыми горами. И тот же столик стоял, уйдя ножками в берега поливных канавок, и те же дары земли сошлись на нем, такой сотворив натюрморт, какой не дано бы было написать и великому мастеру, и тот же Дим Димыч тут был, мелькала за деревьями его сутуловатая, деятельная спина, и Светлана Андреевна как раз появилась на ступенях дома, по-домашнему одетая, совсем в простеньком платье и очень, кажется, красивая. Все, о чем уже знали глаза, что и ожидалось, чего и хотелось. Но жило в этой картине и неожиданное. У стола, прямо, большеглазо глядя на входящих, стоял мальчик лет десяти. Он был разительно похож на мать, на эту женщину на ступенях дома. Он был очень серьезный какой-то, совсем не такой, как те мальчишки, что прыгали возле школы, джигитую и хохоча. У него был взрослый взгляд. Он был, как нестеровский Отрок, так же серьезен, задумчив. Показалось Знаменскому, что за отворившейся дверью открылась ему картина на какой-то библейский сюжет, с виноградными лозами на переднем плане и горными вершинами на заднем. А в центре — этот мальчик, большеглазо застывший.

— Чего уставился? Входи! — сказал Ашир и первый переступил порог, весело встряхнув ящик, чтобы зазвенели бутылки. — Светлана-джан-Андреевна, принимай гостей!

Знаменский тоже переступил порог. Дверь за ним притворилась, мир замкнулся на этом дворе, на увиденной им картине. И здесь не просто было, здесь ощущалось какое-то напряжение.

— Здравствуйте, Ростислав Юрьевич, — сказала Светлана. — А это мой сын. — Она сошла с крыльца, подошла к мальчику, коснулась рукой его плеча, наклонилась к нему — и два родных лица подтвердили друг друга. — Дима, вот этот человек, который облетел и объездил весь мир.

Сказав это, она так же серьезно, как сын, посмотрела на Знаменского, зрачки у нее напряглись, она будто ждала чего-то, что тревожило ее, даже угнетало, хотя бестревожны были ее слова, обыкновенны, а мальчик был пригож, ну, серьезен, но пригож, им можно было только гордиться.

Но откуда-то, сперва не понял он откуда, звук протянулся, вымучился звук, будто невнятное кто-то произнес слово, вымучил слово, понять которое было нельзя. Откуда этот странный звук? У мальчика шевелились губы,

трудно, смято. Так это он произнес, выдавил слово? И еще такое же... Он был немым!

— Да, да, у Димы затруденная речь,— сказала Светлана, быстро кивав, как кивают, когда подтверждают нечто само собой разумеющееся, короткой улыбкой сопроводив свои слова, как улыбаются, когда хотят убедить, что ничего особенно печального, непоправимого не произошло.— С ним занимается замечательный логопед. И он обещает... Он уверен... У Димы всего лишь логопатия, речевая недостаточность, а слух у него замечательный. Но, представьте, не желает учиться музыке, все интересы его сосредоточились на географии, на путешествиях, на истории. Я нарекла его Димой в честь нашего Дмитрия Дмитриевича, но я просто подумать тогда не могла, что с именем передается ему и профессия крестного. Вот ведь как бывает!

Она говорила, говорила, совсем иная лицом, чем та, вчерашняя, строгая и сердитоглазая, высокомерная даже, какими умеют показать себя женщины, зная себе цену, читая и презирая эти мужские взгляды, столь наскучившие, столь голые, умея показать свое пренебрежение, свою холодность и высокомерность в миг всего кратчайший, когда проходят мимо, как прошла она мимо вчера. А сейчас совсем иным было ее лицо, оно изменилось от всех этих слов, произносимых — вон как?! — чуть-чуть с запинкой, будто и она сама была не чужда речевой недостаточности, всего чуть-чутьочной этой помехе в жизни. А вчера, те несколько слов, которые она произнесла, сухо сообщая, что идет на дежурство, были произнесены без запинки.

Мальчик снова заговорил, сминая губы, вымучивая в звук непонятные слова. Мать напряженно вслушалась в эти слова, угадывая их мысль, переводя:

— Дима спрашивает, были ли вы в?.. Где, Дима?.. Везувий?..— Мальчик кивнул.— Ты говоришь, Помпей?..— Мальчик кивнул.— Вот, он спрашивает про Помпей. Дался ему этот город, рухнувший в 79 году после рождества Христова. Но, представляете, у него целая папка собрана про этот город и еще Гёркуланум. Книжки, открытки. Дим Димыч подарил. Вот уж и я скоро займусь историей.

Мальчик ждал ответа, не сводя со Знаменского громадных глаз.

— Да, я был там,— сказал Знаменский.— И к кратеру вулкана поднимался, а потом был в городе, который когда-то залил лавой этот Везувий. Там в музее хранятся слепки людей, настигнутых лавой. Там есть дворик патриция,

ну, честное слово, чем-то напоминающий вот этот дворик, где мы сейчас стоим. Такое же небо, угадываются горы, виноградными лозами расписана мозаика стен и пола.— Ах, как сейчас старался Знаменский!— Знаешь, там расчистили от лавы дороги, и когда ступаешь по громадным плитам-камням, которыми они выложены, чувствуешь себя как-то очень странно, будто ты там, в том времени, сын этой земли.— Очень, очень старался Знаменский, пытаюсь угадать, чего ждет от него мальчик.— Там есть амфитеатр, кстати, отлично сохранившийся, где, откуда ни заговори, каждое слово твое слышно...— Да, перестарался Знаменский, умолк виновато.

Но Дима его оплошности не заметил, Дима улыбался радостно и увлеченно, он был ребенком, и ему нравился этот заезжий человек, который так увлеченно ему принялся рассказывать про все то, про что он сам отлично знал, но по открыткам и книжкам, а этот рослый дядя там был, там ходил.

И улыбалась Светлана, радуясь радости сына, счастливой этой минуте.

Подошел Дим Димыч, еще издали кивая. Предовольный был у него вид.

— А в баню ихнюю заглянули, Ростислав Юрьевич?— спросил он.— У них там что-то вроде спортивного зала выходило. И баня и гимнастические упражнения, игры. Умели жить древние! Все проще у них было, на колесницах передвигались — заметили глубокие колеи от грубых колес на дорогах?— но, просто-то просто, а жили, кажись, умнее нас, сложных да быстрых. Природнее жили.

— Да, был и в бане. Нет, там мне не понравилось. Это в Риме бани были гимнастическими залами, а там, в Помпеях, какие-то маленькие, с низкими потолками комнаты, крошечный бассейн, выдолбленный в камне, каким-то подземельем мне показалось это место.

— Ага, вы не учли главного!— обрадовался Дим Димыч.— Зной! Там не только мылись, там спасались от зноя. Нам бы такую баню! Нет, умели, умели жить древние.

— По слухам, пировали без меры,— сказал приунывший Ашир, уныло присевший на свой ящик с бутылками.— Так пировали, что проворонили извержение, хотя их предупреждали, я читал, предупреждали!

— А мы, Ашир, вот здесь вот, вот тут вот,— затрясся у Дим Димыча палец, когда он стал тыкать им себе под ноги,— а мы не проворонили?! Собаки накануне выли, овцы, все

отары за три дня уже сбились в гурты, встали голова к голове и ни с места, а мы — ноль внимания! Нет, люди ничему не умеют научиться! История не учит, а констатирует! Мы — неразумные! Мы — беспечнейшие! Мы... Уж и не знаю, как нас обозвать...

Стало тихо. Да, вот тут, на этой земле, погибли у него двое маленьких детей и в калеку превратилась жена.

— Вы думаете, почему наш мальчик заинтересовался гибелью Помпеи?— снова заговорил Дим Димыч.— А потому, что он ашхабадец. Не важно, что землетрясение наше произошло за многие годы до его появления на свет божий. Не важно! Он на такой же земле живет, как и та — на грозной! Здесь все у нас нешуточное. И мальчик понимает это. Сердцем понимает. Дети умеют понять очень многое. Они умнее нас, если хотите. Взрослея, мы теряем, а не обретаем. Уверен! Теряем, а не обретаем. Они... они ближе к природе...

## 15

Не удалось застолье с горделивой Светланой Андреевной, присевшей у краешка стола, снизошедшей до них. Сломался образ. Иной открылась. И она, иная, не могла быть сейчас рядом с ними, а занялась сыном, который пришел к Дим Димычу, и тот тоже не мог быть с ними, а занялся мальчиком, у них много было общих дел, общих интересов, Дим Димыч был мальчику крестным, а немой этот мальчик был ему из прошлого голосом, памятью его собственных детей, драгоценным был для него гостем.

Уселись вдвоем у столика, вяло попивая теплое и противное шампанское, оказавшееся в картонном ящике Розы-джан.

— Лучше бы там и остались, у Розы,— уныло сказал Ашир.— А то жуем ее плов остывший, который особенно не идет под горячее шампанское. Знаешь, я заметил, ты понравился мальчику. Что я ни делаю, он со мной ни разу не улыбнулся. У тебя талант располагать к себе людей. И даже Светлана,— Ашир понизил голос,— даже она стала смотреть на тебя по-другому. Ты ей свой. Между вами сами по себе ниточки протягиваются. Тут ничего не поделаешь, дорогой, тут ничего не поделаешь. Человечество опутано ниточками, которые тоньше паутины и крепче каната.

Вышла из дома Светлана, ведя сына. Она переоделась, они собирались уходить. Вчерашний строгий костюм был на ней, но не вчерашней она была, сломался образ, смягчился, что-то утратила она в глазах Знаменского, но что-то обрела, поближе ему стала — у него беда, но и у этой женщины беда. Еще какая! И у Дим Димыча вся жизнь из бед, и у Ашира все скверно, — дом этот, люди здесь были под стать ему, одним миром мазаны, ему легче тут дышалось. И горы, и небо, и древняя земля, грозно притихшая, — тут ему и жить, в мазанке этой, а дальше уже и некуда.

— До свидания, Ростислав Юрьевич! — сказала Светлана, вскинув руку. — Дима прощается с вами. Нам пора в интернат. К нашему доктору. До свидания, Ашир!

Ашир вскочил, выпрямился, статным стал, хоть и был в бесформенной одежде.

— До свидания, Светлана Андреевна! Дима, не забывай старого Ашира! — Глаза его осветились, и на смуглое лицо вплыл румянец.

Мать и сын ушли, а Ашир все еще стоял, долго стоял, прислушиваясь к их удаляющимся за дувалом шагам.

— А ты знаешь, Ростислав Юрьевич, что такая женщина, как она, возможно, единственная во всем мире. — Он сел, налил себе, но пить не стал. — Да, да, я не шучу. Вот здесь, вот сейчас, из этой хибарки вышла самая лучшая женщина в мире. Я знаю, что говорю. Я вел ее дело. Я видел ее в унижении. Я видел ее на суде. Я вижу ее рядом с этим мальчиком. Я все знаю про нее. Она — удивительная!

— Ты любишь ее, Ашир?

— Зачем спрашиваешь?

— А за что же ее на суд?

— Это пусть она тебе сама расскажет. Она — расскажет. Вот сына привела. Почему? Как думаешь?

— Я не думал об этом. Сын попросился к Дим Димычу, вот и привела.

— Нет! Она к тебе его привела. Почему?

— Не знаю, Ашир.

— Она не желает, чтобы ты про нее обманывался. Гордая! Вот почему! Нет ничего прекраснее, чем гордая женщина. Мы унижаем своих женщин, но мы хотим, чтобы они были гордыми. Ислам очень противоречив, скажу тебе.

— И ты у нас верующий? — попробовал улыбнуться Знаменский.

— Со мной все в порядке, я не верующий. Но ислам — это не только вера, это и обычаи. Суры Корана, сунны Корана.

Нет другой религии, которая бы так вторгалась в жизнь, в быт человека. Каждый шаг расписан. Каждый поступок оценен. Мы, теперешние, не верим, но мы все еще в плену обычаев, иные из которых совсем не плохи, иные терпимы, но иные — отвратительны. Да вот хотя бы одна недавняя история... Ты выпьешь?

— Нет.

— А я выпью. Горячее шампанское — это нечто. Рассказывать?

— Ты же хочешь рассказать.

— Умный. Да, хочу. Так вот... В одном нашем областном городе, тебе не важно знать, какая это область, — лишнего тебе знать не нужно, — жил да пил один молодой джигит. У-у, какой джигит! Когда он в Ашхабаде работал, весь город его знал, все рестораны гудели. Но — уехал, перевелся в родной город, туда, где родное селение рядом, где родное племя вокруг. Куда меньше Ашхабада город, куда больше простора. Совсем просторно! Ну, совсем, понимаешь, совсем! Жена молодая у него была. Приревновал. Убил! И ее, и любовника! И ничего, оправдали. Понимаешь, совсем просторно! Оправдал наш советский суд. А потому что и в сурах Корана, и в суннах Корана, и у шиитов, и у суннитов изменившую жену велено убить, как шелудивую собаку. Изменившую мужу женщину может и должен побить камнями любой сосед. Так повелевает обычай. От седьмого века. Но и сегодня. Совсем рядом, в Иране, например. Ты спросишь, при чем тут Уголовный кодекс и суры и сунны? А вот об этом и речь. Уголовный кодекс — молодой, наши обычаи — сложились в веках... Когда они шли по базару, их приветствовали, в ресторане им посылали вино. Я затребовав это дело. Оно и издали не показалось мне слишком простым. Я слишком хорошо знал убийцу. Если бы он чтит предписания ислама, он бы не был пьяницей, бабником, картежником, не баловался бы кокнаром или тирьеком, а это — опийный наш наркотик. Одно возражало другому. Зачем такому убивать? Ну, прогони! Вот тут как раз наш кодекс подходит. Прогони, возьми другую, третью, пятую. Тут мы шире ислама. Согласен со мной? А? Выпьешь? Налить?

— Нет.

— Не наскучил мой рассказ?

— Я слушаю.

— Да, я оказался прав в этой истории о ревности, а мы народ ревнивый, каким-то все неясным было, не стыко-

валось в деталях. Я доложил, Верховный суд республики вынес протест по приговору, я сам повел это дело. Для начала наших ревнивцев взяли под стражу. И это было моей ошибкой. И мой протест, и моя активная позиция: Тут я повел себя как мальчишка, как стажер. Убийца был сыном влиятельного в том городе человека. Не велик город, но велик пост. Месяц не прошел, и я узнал, что оба убийцы снова на свободе. Больными оказались. До суда, мол, пусть полетятся. Не велик город, но велик пост. И позор на его голову! Но я и тут повел себя, как мальчишка. Я выпью, пожалуй. Не осуждаешь, что я все время пью? На меня не действует. Сразу выкипает все. Жаль, конечно. Да... И вот тут-то нашли в моем сейфе ту самую толстую пачку денег, о которой я уже говорил. Возможно ли?! В прокуратуре республики?! Такое?! Но пачку подложили! Клянусь тебе! Ты мне веришь?!

— Да.

— Подложили! Но это еще не все. Мне важно было понять, кто это сделал. А тем, кто это сделал, важно было понять, готов ли я уняться или полезу на кинжал. Они ждали, они терпеливо ждали, считая меня умным человеком. А я действовал, я стал распутывать клубок. Но я заторопился, у меня было мало времени. А надо было понять, почему они пошли на такую крайность, на такой риск. Из-за этого ревнивца и гуляки? Ну пусть отсидит два-три года. Нет, из-за него на такой страшный подлог не пошли бы. Меня знают все-таки. Меня в Москве знают, в Ленинграде. Они страшно рисковали. Но — кто они? Но — почему пошли на такое? У меня было мало времени, я спешил, а когда спешишь, открываешься. Я открылся, стало ясно, что я многое успел узнать, понять, что я становлюсь действительно опасным. Те, кому я стал опасен уже всерьез, тоже заторопились. И вот я здесь, перед тобой, Ростик...— Ашир поднялся, держа стакан в руке, сутулый, жалковатый в повисшей рубашке, в этих штанах пузырями. Он, кажется, сейчас нарочно себя таким жалким, будто побитым, подавал, на себя как бы со стороны поглядывая.— Считаешь, что проиграл?

— Считаю, что отобьешься,— не очень уверенно сказал Знаменский.— Правда-то на твоей стороне...

— Красиво, очень красиво говоришь, товарищ. Как в пьесах.— Ашир прошелся туда-сюда по дворику, до виноградных лоз дотронулся ладонью, в небо поглядел, на солнце сквозь свой стакан глянул, прищурившись. Он явно

играл, подтрунивал.— Правда... Ее доказать надо, дорогой товарищ... Добыть... А я, сам видишь, какой я... Ладно, что унижен, я связан, у меня путы на ногах, как у непокорного верблюда.— Он вдруг к Знаменскому наклонился, обдав горячкой своей, жар шел от него, спросил жарким шепотом:— Ты поможешь мне, Ростик?..

Ростик... Ростик... Его вовлекали в какую-то явно рискованную историю, его опять «повели», взяв, даже схватив за руку, а все-то он Ростик, Ростик...

— Мало мне своих забот, Ашир?— Знаменский откачнулся от него, от этого жара в нем.— И что я могу?

— У тебя связи.

— Какие там связи?! Где был, где очутился? Ровня мы!

— Нет, тут ты не прав.— Ашир снова уселся на свое место, спокойным вдруг стал, не пригубив, отставил стакан, насмешливо, колко поглядывая на Знаменского.— У тебя, Ростик, всё куда хуже, чем у меня. У меня совесть чиста. Есть разница?

— Ну и убирайся тогда, если ты такой благополучный! Пей! Гуляй!

— Не злись. И я не пью и не гуляю. Но это хорошо, что ты так думаешь. Пусть и все так думают. А я работаю. Но мне нужна помощь, Ростик. Пойми, я стреножен. Мне шагнуть никуда не дают! Я думал, вот приехал человек, которому надо заслужить доверие, вернуть назад доверие... Я подумал, надо познакомиться с этим человеком... Может быть, не все уже кончено для него?.. Мы познакомились... Ты еще не конченный человек, Ростик... Ты избалованный человек... Ты жил как в сказке... В той, в такой, где нет правил, где все можно... Там не кисельные берега у вас, там вообще нет берегов... Но... К счастью... Я так думаю, насколько знаю людей, а я знаю людей, со сколькими в грязи вывалялся, я думаю, что ты не безнадежен... Я решил, ты согласишься мне помочь...

— Так вот зачем Дим Димыч сдал мне свою комнату? Ну и ну!

— Не злись. У Дим Димыча свои планы касательно и тебя, и меня, и Светланы, и маленького Димы, и вообще вселенной. Он строит души. У меня планы поскромней. Мне нужно, чтобы Ростислав Юрьевич Знаменский слетал через недельку-другую в Москву. На денек. Всего лишь на денек. К себе домой. Навестить жену. Это так естественно. Ну и, заодно, встретился бы там кое с кем из влиятельных своих приятелей. Да что приятели, у тебя же тесть министр.



Вот этот уровень мне и нужен. Мне нужно, чтобы мое письмо дошло до самого верха. Понял?! К Самому! Вот и все, что от тебя требуется, Ростик.

— Сам бы и слетал. Тем более, как ты утверждаешь, тебя в Москве знают.

— Мне нельзя. Чудной человек, совсем, смотрю, наивный человек. Международником был? Совсем, смотрю, наивный международник. Вот тебя и повели.

— И сейчас ведут. Это так, ведут!

— Не злись. Пойми, я на крючке. Каждый мой шаг под присмотром. Ну, полечу, если в самолет пустят, ну, прилечу, если долечу. Кто я? А, этот Ашир Атаев из Ашхабада, выгнанный за взятки! Кто меня выслушает? Жалобщик... Обиженный... Дежурный по прокуратуре возьмет брезгливо письмо, он его и закроет, а то и перешлет сюда, в Ашхабад. И тогда...— Ашир вскрикнул, сжался, обеими руками схватившись за живот, будто кто вонзил ему туда нож. И такая боль развела его губы в яростный оскал, что почудилось: убит человек. Но вот он и снова распрямился, даже ухмыльнулся кривовато, взял стакан, жадно стал пить.

— Тогда пойдешь в ЦК,— сказал Знаменский.— Пробейся на прием. Тут-то тебя действительно каждый знает.

— И каждый знает, что меня еще будут судить, если не пожалеют, знают, что я спиваюсь. Вон какой! Кто станет со мной разговаривать? А вот то, что я пришел в ЦК, а вот про это кое-кто узнает... И тогда!..— Он снова, но уже медленным движением, прижал ладони к животу.— Нет, никуда не денешься, ты мне нужен, Ростик. И еще больше стал нужен, когда подвернулся этот случай с этим Посланником. Удача! Счастливым случай! Если, конечно, ваша поездка состоится. Но думаю, что состоится. Как думаешь?

— Глупые затеи всегда удаются. Этот глупый Посланник, пожалуй, клюнул на твой чал.

— Он не глуп, Ростик, ты ошибаешься. Он просто несчастный, смертельно больной старик. Ах, как ты плохо разбираешься в людях! Баловень! Баловень!

— Ну, хорошо, про Москву мне хоть что-то понятно, но в этой поездке — что я могу для тебя сделать?

— Еще больше, чем в Москве. Мне не хватает сведений. Ты их мне привезешь, тебе их передадут. Я думал, что мне пригодятся твои связи, теперь ты поработаешь у меня и связным.

— Если соглашусь, Ашир.

— Как это? Как это не согласишься? Ты — кто?—

Ашир перегнулся к Знаменскому через стол.— Ты задумывался, кто ты?.. Знаю, задумывался. Все время об этом думаешь. Ты — о своей беде, я — о своей. Но... я же сейчас даю тебе возможность послужить Родине... Громкое слово сказал? Нет, такое самое, какое нужно! Тебе повезло, я считаю. Это опасно, учти. Могут убить, учти. Тебе очень повезло, я считаю!

— Да, увлекательно говоришь.— Улыбка все же и тут пришла к Знаменскому на помощь. Не до улыбок было, а он так широко улыбнулся, что и Ашир не удержал губы, оскалился.

— Ах, какой!— восхитился Ашир.— Ах, баловень, баловень судьбы! Учти, если проболтаешься, если струсишь, меня в одну минуту ликвидируют. А мне нельзя исчезать из жизни. Мне — нельзя! Понял?!

— Что же это все-таки за страсти-мордасти? Торгаши? Всерьез? Взятки? Если это не убийство из-за ревности, то из-за чего же?

— Наркотики, друг, наркотики,— сказал Ашир, осторожно оглядываясь и шепотом.

— Какие еще наркотики? Ты что, в Колумбии, в Сингапуре, в Гонконге?

— Не кричи ты! Тише удивляйся... Я — у нас, я — здесь...

— У нас — наркотики? Торговля наркотиками? Может, скажешь, мафия?

— Может быть... Может быть... Это и выясню.

— Ашир, да меня погонят с такими мыслями! Скажут, свихнулся я у вас от жары. Скажут, связался с сумасшедшим!

— Не кричи, прошу тебя! Да, да, мы привыкли думать, что у нас ничего подобного даже и быть не может. Привыкли так думать... А привыкать ни к чему нельзя. Опасно! Ведь нас атакуют. Гляди, сколько всего понаползло к нам. И ползет, все ползет, наползает. А мы приучили себя думать, что мы всегда вне опасности. Война? Ядерная? Да, про это мы беспокоимся. Но разве эти вещи, вещи, вещи, которые, как вражеские солдаты, заскакивают в наши дома, разве это не военные действия против нас? Ты не спорь, ты послушай. Мы и тебя почти проиграли, такого вот, как ты есть. А ты разве у нас один такой? В рулетку поиграть?! Война это! Сражение! И почти нами проигранное, раз тебя погнала из партии. Почти!

— Да не ори ты!

— Да, да, я забылся. Прости. А эти волли на танцую-

ках, эти извивающиеся тела, зашедшиеся девчонки? И ты думаешь, среди них нет уже тех, кто и с наркотиками познакомился? Есть, есть. Курят всякую самодельщину. Колются. Да, да! Ходят по рукам и порошочки. Мода! Видишь ли, мода! Как у них там, как на Западе! Им можно, а нам нельзя?.. Это проигранные нами сражения, Ростик. Это — война! Не могут развязать ядерную, страшатся, придумывают вот такую вот, ползут, наползают. Мода! И мода может обернуться войной.

— Ты считаешь, что сюда к вам ввозят наркотики? Откуда? Это не так-то просто. Уж я-то знаю. Был момент, проскакивали через нашу страну транзитом, но теперь... Уж тут-то я получше тебя осведомлен. Все каналы пресечены. Досматриваем железно.

— Говори, говори, хорошо говоришь, приятно слушать. Но зачем ввозить? Разве здесь, на нашей земле, никогда не рос мак? Мак! Тише, тише... — Ашир прихлопнул ладонью рот, будто произнес невесть какое страшное слово. И уж совсем перешел на шепот: — И разве морфин, алкалоид опийного мака так уж трудно изготовить? В любой прилично оборудованной аптеке это могут сделать. Разумеется, тайно, в неурочное время. И разве героин, самый страшный из наркотиков, не является синтетическим препаратом, производным морфина? Но он более токсичен, вызывает необратимую наркоманию. Понимаешь, необратимую! И достаточно для какой-нибудь дуры, для какого-нибудь болвана пяти-шести порошочков, десятка самодельных сигарет, чтобы они стали не-об-ра-ти-мы-ми! Понимаешь?! Война! Проигранное сражение!

— Ты не сгущаешь краски, Ашир?

— Вот! Наше любимое выражение! Сгущаешь краски!.. Ах, как мы любим покой! Но война, если уж не ядерная, она в башках у наших врагов, она им нужна, необходима. И они будут искать, выискивать любые лазейки для нее. Мы еще понаглядимся! — Ашир умолк, понурился, он все сказал. Нет, еще не все. Он поднял голову, выпрямился, чтобы еще что-то важное сказать, решающее разговор: — Между прочим, тот ревнивец и убийца был в своем городе директором аптеки. Он, видишь ли, в свое время окончил фармакологический институт. Как окончил? Трудно сказать. Купил, возможно, диплом. Но... у него была аптека, он заведовал аптекой. Между прочим, жена могла знать о его делах. И вот она-то, приревновав, а он давал поводы, могла пригрозить ему разоблачением. И... А мак? У нас есть такие уголки в просторах

наших, где клочок макового поля вполне может затеряться. У нас ли, у соседей наших, в какой-нибудь Каракалпакии, еще где-нибудь. Мы обширная страна. И этот мак у нас может давать три урожая, тем более что для опийного молочка нужен как раз недозревший мак. И даже с воздуха не всегда углядишь, то ли весной, то ли летом, то ли осенью этот маковый лоскуток. Все же я потребовал вертолетный до-смотр. Я — поспешил... — Он замолчал, поник. Вот теперь он все сказал.

## 16

Как говорится, нельзя пошутить, чтобы шутка не обернулась чем-то серьезным. Застольный треп, шутовская затея, а вот уже и выправлена Знаменскому командировка, ему вменено сопровождать ответственного работника Комитета по туризму, ему и билет на самолет вручен. Ключнул на загадочный напиток чал бывший Посланник Самохин. И так увлекся, развил такое ускорение, что уже на следующий день очутился Знаменский в аэропорту, чтобы лететь в Красноводск вместе с Самохиным.

Их отвез туда Алексей, провожал очень обрадованный этой командировкой для друга Захар Чижов. Трое суток прошло — и вот уже нашлась для Ростика работа. Удача!

Летели дневным рейсом, на ТУ-154, летевшим до Москвы, но с посадкой в Красноводске.

Очередь, вытянувшаяся на посадку, напоминала базарный ряд, где торгуют дынями, арбузами и виноградом всех цветов и оттенков. Очередь благоухала, а люди в ней уже успели притомиться и даже не от зноя, а от тяжести своей благоухающей продукции, которую они приволокли в аэропорт в мешках, ящиках, сумках, частью сдав все это в багаж, а частью перетаскивая в руках. Базарная толпа. Даже осы тут появились, всегдашние на базарах в виноградном ряду. От них отмахивались, изнемогая от зноя. А за решеткой ограды медленные протягивались тела лайнеров, этих чудотворящих созданий. Ведь чуть больше трех часов пройдет — и базар здешний, прихватив даже и ос, перекочет в Москву. Или не чудо?

В изнеможенной толпе хорошо чувствовал себя один только Александр Григорьевич Самохин. Во-первых, жара была целебна для него, он в это верил. Во-вторых, он совершил поступок, а это всегда ободряет мужчину. И наконец, он действительно поверил в загадочный этот чал. А вдруг?!

Самохин был оживлен, говорлив, приосанился, молодо поводил своими выжелтившимися глазами, провожая проходивших женщин. Он беседовал с Захаром Чижевым, с ровней себе, предоставив Знаменскому общество водителя Алексея. Дистанция сразу же была установлена. А иначе нельзя. Самохин и билет себе велел выправить в салоне возле кабины летчиков, хотя в этом рейсе и не было первого класса, традиционно полагающегося для дипломатов высоких рангов. А все-таки салон-то первый. И иначе нельзя. Послабил в одном, в другом — и вот уж ты сдвинут, отодвинут. Возможно, об этом и беседовал сейчас Самохин с Захаром Чижевым, втолковывая ему законы устойчивости, остойчивости в житейском море, заодно обсуждая и стати проходящих женщин, подтверждая своим женолюбием свою жизнеспособность. Захар томился, это и издали было видно. Но он был на службе сейчас, он провожал важного гостя, ему надлежало выслушивать и терпеть.

Не терял времени и Алексей. Он таинственно отвел Знаменского в сторонку, спросил, понизив голос:

— Ростислав Юрьевич, а вы, по заграницам ездя, бывали на высокопоставленных приемах? Какие там банкеты?

— В чем дело? Зачем тебе эти банкеты, Алексей?

— Не мне, одному влиятельному человеку нужна консультация.

— Какая же?— Знаменский вполслуха слушал Алексея, высматривая, не покажется ли в толпе Ашир. Он же о каком-то поручении ему вчера толковал, он и затеял эту поездку, подбил старика. Но Ашира не было, а вот-вот начнут впускать в узкий предбанник, где пассажиров станут просвечивать и промагничивать. Это был внутренний рейс, досмотр будет поверхностным, не столь тщательным, как, скажем, на аэродромах Лондона или Парижа, где еще и повелось пассажиров обнюхивать, именно так, собаки стали обнюхивать, особенно если ты не улетаешь, а прилетаешь. Собаки эти были натасканы на наркотики. Так неужели же и у нас?..

— Нет, не верю!— вслух вырвалось у Знаменского.

— Вы о чем?— удивился Алексей.— Я правду говорю, влиятельный человек. И он велел узнать у вас, как правильно рассаживать народ за банкетным столом. Ну, кто в голове, кто по правую, кто по левую. Какой, так сказать, порядок-распорядок.

— Зачем ему это? Он кто, твой человек?— Знаменский вытянул шею. Кажется, или померещилось, через

площадь перед зданием аэропорта, где сейчас плавился асфальт, промелькнула сутуловатая длинноногая тень.

— О, большой в городе человек! — уважительно построжал лицом Алексей. — Зубной техник. Всем у нас, кто при деньгах, зубы в золото обрядил. Юбилей у него. Хочет, чтобы всё, как в лучших домах.

— Зубной техник — это все же не посол, не находишь? — Нет, не появлялся Ашир. А уж отворились двери, уже первые торопыги протиснулись на досмотр. — Да ты спроси Самохина, он же настоящий Посланник.

— Устаревший! — отмахнулся Алексей. — Вы — моднее.

— Ладно, вернусь, расскажу. Мне — пора на посадку.

— Пока хотя бы в общих чертах, — не отставал Алексей, идя следом за Знаменским. — Глядите, он мне одну коронку уже поставил... — Алексей широко открыл рот, пальцем приподнимая губу, показывая новенькую золотую коронку в ряду его отличных, хищномолодых зубов. — А мне еще две нужно. Погонит, если не узнаю.

— Так у тебя же замечательные зубы, дуралей, — сказал Знаменский, еще раз, в последний раз высматривая в толпе Ашира.

— Мода! Мода! Ну что вам стоит намекнуть, Ростислав Юрьевич, где кто сидит. Ведь я у него в руках, зубы-то подпилены.

— Ну, Алексей... Значит, так, посол-дантист, он же хозяин дома, сидит не в голове стола, а посредине. Понял, посредине! Послиха, дантистиха, стало быть, сидит насупротив него. Стол должен быть прямоугольный. Запомнил? — Знаменский уже подходил к дверям, за которыми начинался досмотр. И снова глянул: нет, не было нигде Ашира. — Ну, а гости... — Знаменский вступил в проем дверей. — Вернусь, доскажу. А вообще-то, рассаживайтесь по степени нахальства. Ближе к хозяину и по правую понахальнее. Понял? До встречи, Алексей! Жаль мне твои зубы!

— Что передать дамам, Ростислав Юрьевич?

— Дамам?! А! Передай, чтобы ни в коем случае не подавались моде!

Знаменский махнул, прощаясь, рукой Захару, — их разединила толпа, — и вступил под подкову досмотра, в триумфальную эту арку конца нашего столетия, отмеченного терроризмом, угоном самолетов и вот еще и провозом наркотиков. Но это не у нас, это там, у них. Сгущает краски Ашир! Говорил, пугал, просил помочь, а сам даже не явился.

В самолете Знаменский сел рядом с таким принаряженным

мужчиной, какие только в Латинской Америке могли бы встречаться. Зной, в самолете просто парильня, а сосед и в пиджаке и даже в жилете, и конечно же платочек торчит из кармашка, и галстук не устроился нацепить. Латиноамериканец, и все тут. Но личико российское, лукавое, и хоть и молодое, но уже изморщенное страстями. Знаменский вспомнил себя вчерашнего, каким явился в МИД. И устыдился. Таким же почти и явился. Разве что без жилета и без галстука. Но сегодня он уже иным был. Он в путь отправился в старых джинсах, в свободной рубашке, в башмаках, в которых было хожено-перехожено.

Знаменский рассматривал, но и его рассматривали.

— Рубашечка, гляжу, фирменная, — сказал латиноамериканец. — Джинсы, гляжу, доведены до кондиции. Ох, эта наша простота из валютного магазина! Послушайте, где я вас мог встречать? Кстати, познакомимся, лететь-то три с лишним. Петр Сушков. Кинодраматург. Здесь, в этой печке природной, у меня фильмик запекается. Знаете, совсем неплохая тут студия. С традициями. Иванов-Барков... Алты-Карлиев... Мансуров... Теперь вот братья Нарлиевы... Но где же все-таки, где я мог вас встречать? В доме кино? Нет, не то видение! Иным зрением я вас помню. А? Будем знакомы! — Этот общительнейший кинодраматург протягивал Знаменскому руку, улыбаясь всеми своими жизневедущими морщинками. Что ж, и Знаменский откликнулся улыбкой, врубил свое обаяние.

— Ростислав Юрьевич Калиновский, — назвал он себя, взяв для этого случая девичью фамилию матери. Он так и раньше при случайных знакомствах поступал, чтобы избежать удручающих этих разговоров о его профессии, когда случайный знакомец узнавал, что повстречался с журналистом-международником Ростиславом Знаменским, лицо которого — ах, вот вы кто?! — он видел по телеку, — ну, как же, как же.

— Калиновский?.. Калиновский?.. — задумался кинодраматург Петр Сушков и вдруг хохотнул. — Чуть было не спросил вас, а не родственник ли вы того Кастуся Калиновского, про которого был очень знаменитый некогда фильм смастерен. Так и назывался: «Кастусь Калиновский». Но незапамятных времен лента. Только природный киношник, только вгиковец, а мы во ВГИКе изучали историю кино, может вспомнить этот боевик.

— Кстати, а возможно, и родственник, — сказал Знаменский.

Мог бы не говорить этого, но бес попутал, он все же был тем, кем был, продолжал оставаться самим собой, ну как было не ухватиться за такую великолепную возможность чуть-чуть вот, пусть и перед мимолетным знакомцем, совсем чуть-чуть не похвалиться. Впрочем, это даже не бахвальством было, это истиной было. Его мать была из знатного польского рода Калиновских. Конечно, быльем все это поросло, шляхетство это, но мама гордилась. И дома у них, в их небольшой квартирке в старом доме московском, в двух тесных комнатках, изо всех углов, со всех стен глядели на маленького Ростика, на подрастающего Ростика и на совсем взрослого Ростика его усаые, горделивые прапрадедушки и томные, с осиными талиями прапрабабушки. Шляхта! Может, и не родня вовсе. Как узнать, где добыт портрет, с кого писан. Но мать утверждала, что Ростик похож вот на этого лыцаря и совершенно такие же у него глаза, как вот у этой юной паненки из семнадцатого прославленного века.

— Да, ну?!— изумился Сушков.— Разве Кастусь Калиновский не вымышленный герой?!

— Конечно, нет. Это древний польский род. Были в нем и гетманы, воеводы, были и повстанцы. Как же вы там историю изучали кино, если не знаете, кто у вас вымышленный, а кто доподлинный?

— А какая разница? Мы изучали не историю персонажей, а как фильм сделан. Помнится, в ленте про вашего родственника нас особенно занимал параллельный монтаж при погонях. Это еще от Гриффита пошло, от этого американского реформатора кино. Слышали про такого? Десятые, двадцатые годы нашего века. Заря кинематографа.

— Тот, что открыл Дороти и Лилиан Гиш? После него был Мак Сеннет, кажется. Это тогда началась слава Голливуда, возникли студии «Юниверсэл» и «Метро-Голдвин-Мейер»?

— Господи, да вы же культурнейший человек!— возликовал Петр Сушков.— Кто кроме киношников, да и из нас-то немногие, может знать такое! Вы—кто? Изнываю от любопытства!

— Никто.

— О, инкогнито?! Не хотите, чтобы узнали? И так простенько совсем оделись. Но, увы, и из простого прет. Рубашечка, повторяю, фирменная, джинсы — тоже. Впрочем, не это тряпье вас выдало, оно доступно нынче каждому. Нет, не это вас выдало, дорогой товарищ правнук Кастуся.



— Что же меня выдало?

— Вообще-то, многое. Но прежде всего эти вот часики золотые на вашей руке. Заветные часики с фирменной подковкой на циферблате. «Омега»! И золотая «Омега». Это же номерной экземпляр. Такие, из золота, такие пронзительно плоские, убийственно скромные, внемодные и обморочно дорогие носят на запястьях исключительно миллионеры. Или не так? И вдруг в самолете, следующем из Ашхабада, на руке соседа я вижу такую вот любопытнейшую деталь. Вы, конечно, бывали за границей?

— Бывал.

— А на Капри?

— Был и на Капри.

— Эх, инкогнито! Да кто же из наших, из советских, бывал на этом островке миллионеров?! Единицы! Но взысканные, взысканные единицы.

— Вот вы были.

— Понял вас, сэр. Я не выгляжу слишком уж взысканным. Понял! Да, я был. Но я — киношник. А киношники причудливой судьбы люди. Куда нас только не заносит! Да, был. Собирались снимать фильм о Горьком. Ну, на три дня командировали предполагаемого режиссера и предполагаемого автора сценария. Валюта — в обрез, срок — ничтожный. Мы даже не сумели найти на Капри за эти три дня, а где же там жил Максим Горький. Показали один дом, но внутрь не пустили, на воротах было начертано: «Кани мордачи!» — «Злые собаки». Мы и не сунулись. Показали еще какую-то гостиницу. Жил ли, нет ли, а нам уже уезжать пора. Но все-таки Капри я поглядел. Так вот, на этом курортном островке миллионеров, когда слонялся по улицам, глядя на богатейшие витрины, прикидывая, что могу купить на свои лиры, и убеждаясь, что ровным счетом ничего, ну, ни единой даже безделушечки, обратил я внимание на гулявших там старух. Знаете, этих американок с седыми кудельками и высохшими икрами? Железные старухи! Они бегали по острову как молоденькие. Глазками постреливали на мужчин, честное слово. Но не в этом суть того, что я тогда подметил. А подметил я, что старушки эти были наипростейшим образом одеты, в жалких легоньких платьицах бегали, в чуть ли не в шлепанцах и на босу ногу. Им было так удобней, старому телу вольготней, ведь на Капри была жара. Что удобно, то и надели. Но... — Сушков воздел указательный палец. — Внимание! Внимание! Но... на каждой из этих старушенций, одетых как нищенки,

в ушах ли, на запястьях ли, на подагрических ли их пальцах, висели, надеты или вздеты были целые состояния. Мол, знай наших! Платьишко пятидолларовое — для тела, а браслетик тысяч на сорок долларов — для престижа. Чтобы не спутали, и верно, с какой-нибудь беднячкой. Вот что я тогда подметил. То же самое и с вами... Совсем простенько одет человек, но — «Омега». И золотая, заметьте. А вы говорите — никто!

— Никто, никто, именно так, — покивал, разжигая свою улыбку, Знаменский. — А часы, что ж, подарок жены.

— И где же это раздобываются такие жены? Вы — москвич?

— Да.

— Она будет вас встречать? На «мерседесе» домой покатите, угадал?

— Не угадали, Петр. Я схожу в Красноводске.

— Вон как! Да там же сейчас сто градусов в тени! Причем, замечу, тени нет.

— И все-таки схожу именно там.

— Так, так... Значит, вы еще загадочней, чем я думал. Но все-таки Калиновский?

— Все-таки Калиновский.

— Княжеский род, что ни говори?

— Что ни говори. Мама утверждает, что Калиновские были знатнейшими шляхтичами в одном ряду с Вишневецкими и Потоцкими.

— Да... Но «Омега» не из шестнадцатого века, как я полагаю?

— Тогда вроде этой фирмы еще не было.

— В том-то и дело! Так вы в командировке здесь? И вас погнали в такую наижарчайшую пору? Экстренный случай? Угадал, вы — ревизор?! Ловите жуликов?! Сейчас это модно. Ловят и ловят! Что, в Красноводске какой-то торгаш крупно попался? Вы уж простите меня, что я допытываюсь... Профессия! Сюжетики! Судьбишки! Вот ваша «Омега» — это уже сюжетик. Нет, не ревизор? Да, не похожи, это я так, не подумавши ляпнул. Режиссер? Актер? Тогда бы я вас знал. Все дело в том, дорогой Ростик, ох, простите, что я так, по-приятельски, все дело в том, что если я кого-то хоть раз углядел своими глазками, то это уже навсегда, как фотография. А я вас где-то да углядел. И вот томлюсь, хочу вспомнить. И к тому же «Омега»... Не признаетесь? Не раскроете инкогнито?

Но тут Знаменского выручил радио-женский голос, уве-

домляющий пассажиров, следующих до Краснодарска, что самолет идет на посадку и необходимо пристегнуть ремни.

— Пойду к своему шефу,— сказал, поднимаясь, Знаменский.— Он в первом салоне.

— Сбегаете? Допек я вас?— Сушков поднялся, протянул руку, морщинками бывальыми применшив и без того маленькое и прелюбознательнейшее свое личико.— Простите, молю, но — профессия! А мы еще встретимся! Пароль донер! Нес па?

— Мэй би, мэй би...— подхватив сумку, Знаменский быстро пошел по проходу. Ну и духота в этом самолете! Взмок весь. И уши заложило. Самолет круто шел на посадку. В окошечках замелькала синева, изумительная синева. Это было Каспийское море. Не поверилось, что там, внизу, тоже злобствует зной. Синева эта его утешила, ободрила.

## 17

Позади прибрежная скалистая гряда,— в скалы, теснимый морем, и врезался этот город,— позади немислимое хитросплетение труб громадного нефтеперегонного завода, позади эта чужедальщина для глаз, будто ты где-то вблизи Эр-Риада или Эль-Файюма, и вот уже сидят они в гостиничном ресторане, где никакой чужедальщиной и не пахнет, разве что запах остывшего бараньего жира укоренился тут, а запах этот не из самых приятных. Но на столе перед ними большой графин с мутновато-белым напитком. Это — чал.

— Вот мы и в государстве Чал!— наливая в пиалушку этот мутноватый, жидко изливающийся напиток, провозгласил Самохин. Он осторожно приблизил к губам пиалушку, испил, страшась, коротко сглотив, и замер, ожидая мгновенной смерти или мгновенного исцеления. Но не случилось ни того, ни другого.

— Пейте, пейте, я раздобыл для вас изумительный чал, наисвежайший, от самой красивой верблюдицы! Мне позвонили из Ашхабада и дали указание. Во-первых, показать вам все перспективные курортные места, во-вторых, обеспечить любым транспортом, включая вертолетный, в-третьих, наладить снабжение чалом. Я решил, что «в-третьих» важнее, чем «во-первых» и «во-вторых», ибо через желудок проходят все караванные тропы. Пейте, пейте, наш уважаемый Александр Григорьевич! Смелей, это не девушка! Чал не обманывает!

Кудрявый, весело кругоголовый человек, не шибко молодой, но молодоглазый и улыбчивый, все эти слова произносил с напором, раскатывая в них «р» и сглатывая «л», отчего слова как бы выпархивали из его сочных, смугловато-красных жизнелюбивых губ. Он их встретил в аэропорту, этот человек, торжественно представившийся заведующим всей культурой города — порта Красноводск. Он их и сопроводил в лучшую гостиницу города, — а была ли тут другая? — разместил в лучших номерах, в люксах, разумеется, явно проявив душевную тонкость, ибо и шефу и его помощнику он добыл одинаковые номера. Но тут сыграла роль мгновенная симпатия, которую взаимно ощутили друг к другу и он, и Знаменский, совпали их улыбки и отворились их души. Самохин же был сановен, мало доступен, изнутри надут. Роль играл. Нравилось ему быть начальником. Но чал смягчил его. Все-таки врачеваться же сюда прибыл, а врачуюсь, смягчают.

— Почему, дорогой Меред, вы особенно подчеркнули, что чал от красивой верблюдицы? — спросил Самохин, еще разок коротко сглотнув. — Разве это имеет значение? — Он поставил пиалу, начал вслушиваться в себя, замерев, полузакрыв глаза.

— Громадное! Наигромаднейшее, уважаемый Александр Григорьевич! — Меред не позволил себе улыбнуться, только на Знаменского скосил лукавые глаза, приятельски чуть-чуть ему подмигнув. — Красивое только и лечит! Возьмем, к примеру, ту же девушку... Какая разница, в конце концов, какое у нее лицо? Если вдуматься! Но мы тянемся к красоте, ибо это главный закон гармонии. А гармония, не мне вам объяснять, уважаемые москвичи, главный закон жизни. Я правильно говорю?

— Вы где учились, Меред? — смеясь, спросил Знаменский. — Не на философском ли факультете?

— Выше, выше поднимайте, дорогой Ростислав.

— Может, в академии общественных наук? — спросил Самохин. — У нас? В Москве?

— Выше, выше поднимайте, уважаемый Александр Григорьевич!

— В инспектуре ЦК? — спросил Самохин, повнимательнее глянув на Мереду.

— Это, конечно, совсем высоко! — Меред почтительно свел ладони. — Но я еще выше учился.

— Ну, брат! — радуясь этому веселому малому, наиграл изумление Знаменский. — Разве есть что выше?

— Есть, дорогой! — Меред выждал, округлил глаза,

таинственно понизил голос.— Я у жены учился. И учусь. А она у меня секретарь обкома.— Он развел руки, уронил голову.— Вы знаете, что это за наука — каждый день, каждый день, каждый день? И ночью тоже! Нет, это вам не академия общественных наук! Что академия?! А вообще-то я окончил семилетку и курсы киномехаников.

— Так, так, очень забавно излагаете,— сказал Самохин и позволил себе улыбнуться, тем более что чал, который он потягивал, кажется, начинал завоевывать его доверие.— А теперь определим нашу программу. Я бы хотел прежде всего встретиться с руководством.

— Прежде всего мы встретимся с шурпой,— сказал Меред и молитвенно повел носом.— Слышите благоухание? Несут! Шурпа — это суп, где встретились барашек и козленок. Какой там суп! Это — блаженство! На три пальца огненного жира! Под шурпу можно выпить бутылку водки и никто не заметит, что ты пьян!

— Три пальца жира?!— ужаснулся Самохин.

— А для начала икорка паюсная, рыбка горячего и холодного копчения... Все наше, все дарит нам Седой Каспий! Прошу!

Две официантки с двух подносов сгружали на стол пленительнейшую еду, эти дары Седого Каспия, разом смешавшие свои царственные запахи. Официантки действовали быстро, споро, отмелькали их полные руки, и женщины удалились, отмелькав внушительными бедрами, а на столе, на скучной только что скатерти возникла скатерть-самобранка с яствами.

— Прошу! Скромный завтрак...— Меред даже голову свою круглую и кудрявую вобрал в плечи, таким скромным считал он свое угощение.— На скорую, как в России говорят, руку... Вам что налить, Александр Григорьевич, «кубанскую», «столичную»?

— Но я боюсь жира! Какая там водка?!— Бедный Самохин утратил всю свою сановность.— Мне бы творожку немного...

«Смертельно больной старик...»— вспомнились Знаменскому слова Ашира. И вспомнилась расплавленная площадь перед аэровокзалом, на которой померещился Ашир Атаев. Померещился, не явился. А они вот здесь, слуги его затеи. И чал на столе. Но еще и эта еда замечательная, которая старика страшнее яда.

— Чал все снимет,— сказал Меред.— А страшиться надо только змеиного укуса и предательства друга.

— Из лекций жены?— спросил Знаменский.

— Н-е-е-т! Это народное. Жена меня учит марксизму-ленинизму.

— Да?!— оживился Самохин.— А! Икорки я все же отведаю! Но копченостей — ни за что! И не упрашивайте! Это главные мои враги!

— Главные наши враги — сомнение в своих силах и робость при исполнении желаний!— провозгласил Меред.— Так выпьем же, друзья, чтобы эти враги никогда не мешали нам в ответственный момент!

— Шутник вы, шутник, я гляжу!— Самохин судорожно тер ладони над столом, не решаясь и уже почти решаясь протянуть руку к чему-либо из этих яств.— А! Рюмочку я все же выпью! Крохотульную!

— Чал все снимет,— сказал Меред.

— Да, обучен ты совсем не худо,— сказал Знаменский.— И все жена?

— Зачем про жену спрашиваешь? Нельзя спрашивать про жену! Нет, это еще до нее. Киномеханик — тоже наука. Везде свой человек. Даже грабитель в пути не остановит. Он знает, что человек везет фильм к чабанам. Я прошел большую школу, друзья. Потому я такой веселый, что я такой ученый. А жена, что жена? Я — несчастный человек. Я не могу вас пригласить к себе домой. В туркменском доме хозяин муж. А как я, скажите, могу быть хозяином в своем доме? Нет, конечно, не совсем несчастный человек, но все-таки я немножко неудачно женился. Меня оправдывает только то, что тогда она была всего лишь инструктор райкома комсомола. Выпьем, дорогие москвичи! Мои заботы — не ваши заботы!

— Александр Григорьевич, вам не стоит, пожалуй,— сказал Знаменский, глядя, как мучается старик.

— Да, да! Вы правы, правы!— Самохин отдернул от рюмки руку.— А вы пейте! Пейте! Я хоть посмотрю! Мне легче делается, когда смотрю, как пьют. Будто сам пью! Эх, рыбки золотые, подружки мои заклятые!.. Отгулял, отгулял...

— Слово даю, я не враг вам, чал все снимет,— сказал Меред.— Но лучше не пейте, если не верите. Без веры ни в чем нет радости. А мы давайте выпьем, Ростислав Юрьевич! Какие у вас часы замечательные! «Омега»! Не люблю дорогие вещи. Жена говорит, что дорогая вещь хуже аркана.

— Это из уроков марксизма-ленинизма?— усмехнулся Самохин.

— Именно! У меня замечательная жена! Но я несчастный человек... Поехали!

Они вдвоем выпили, разом опрокинув рюмки, а Самохин схватил свою пиалушку с чалом и стал пить, судорожно глотая. Бедный, бедный старик... Он вдруг вскочил, бодро объявив:

— Идея! Пойду, вздремну часок. Хоть и недолог был полет, но перепад давлений ощутим. К морю спустились, как с горы. Всего часок, и я буду, как огурчик.— Счастливый, что может улепетнуть от этого стола, где все будто помечено было для него скрещенными костями и черепом, Самохин даже помолодел, уверенными стали его движения.— А графинчик с чалом прихвачу. И малюсенький кусочек икорки. Что еще?— Глаза его всматривались и меркли, всматривались и меркли, всюду натываясь на скрещенные кости и череп.— Все! Долой соблазны!— Он подхватил графин, пиалушку, отмахнулся в последний миг от тарелки с икрой и бодро, прямо держась, важно ступая, отбыл.

— Долой соблазны...— Меред долгим взглядом проводил старика.— А если их долой, так зачем тогда жить?— Меред перевел свои навывкате глаза, веселые, смеющиеся, на Знаменского.— Зачем, спрашиваю? Ешьте шурпу, дорогой. Ее надо горячей есть. Все надо горячим есть, что снято с огня, и все надо горячим ощущать, что сжал в ладонях... За соблазны! Чтобы не убежать от них! Никогда! До последнего вздоха!

— Где я? В Грузии?— Знаменскому было легко с этим человеком, у которого уже и седина пробилась в крутых завитках его смоляной шевелюры, которому и жилось, наверное, не просто, томил его этот перепад высот в семейной жизни, но веселость жила в нем не наигранная, приветливость была в нем от души.

— Ты в Туркменистане, дорогой! Про Грузию почти уже все известно, землю роют, чтобы еще что-нибудь узнать. Про нас еще почти ничего не знают. Мы — загадочный народ. Ты в ссылке у нас? Ну, ну, я знаю. Нами получены все сведения — и о Посланнике этом больном и о тебе. Иначе нельзя, вы будете у самой границы. Так вот, ты пока в ссылке у нас. Много русских, еще до революции, так попадали к нам. И многие, очень многие не умели нас понять. Они считали дни, чтобы уехать. Они жили у нас с полузакрытыми глазами. Что можно разглядеть такими глазами? Зной! Песок! Скорпионов и змей! Но те, кто приехал жить, а не отбывать срок наказания, те начинали любить эту суровую землю, нас,

туркмен, начинали любить. И понимать! Мы заслуживаем открытого сердца. Ты как к нам приехал, отбывать или жить?

— Вот и ты, Меред, взял меня за руку и повел,— потускнев, сказал Знаменский.— Все меня учат, все меня учат... Что ж, заслужил. Поделом. А я думал, ты веселый человек, Меред, без учительских этих ноток. Сказалось все-таки влияние жены? Ее наука? Выпьем-ка лучше, раз перешли на «ты». Вот за это и выпьем.

— Обидел тебя? Не хотел. Разве я учил? О, не хотел! Прости великодушно.— Меред, моля о прощении, провел ладонями по лицу и свел их под подбородком. Замер так, нешуточно моля глазами, гася в них веселье, что не легко ему было сделать, ибо веселье, веселость, готовность к смеху укорененно жили в них.

— Прощаю, прощаю. Перетерпеть надо. Полоса!

— А, не простил! Понимаю, тебе трудно. Очень трудно. Думаешь, я не могу понять?

— Не знаю. Ну, понял. Жить-то мне дальше. Я вот про тебя понял, что трудно тебе, хоть ты и шутя жаловался. Но жить-то дальше тебе.

Они глянули друг на друга через влагу глаз, разом вдруг рассмеялись.

— А, тебе тоже нельзя позавидовать!— сказал Меред и покрутил над головой рукой, замысловатое что-то начертал в воздухе.— Жена — дочь министра, скажу, это тоже не подарок!

— Все знаешь про меня.

— Все! А как же? На самую границу повезем. Слушай, а я тоже азартный, в очко однажды двести рублей проиграл. Хотел тельпек еще проиграть, но друг не дал, оттащил в сторону, кушаком связал руки. Он был сильнее меня. У тебя там рядом не было сильного друга? В Каире?

— Все знаешь про меня.

— Почти. Один процент. Девяносто девять процентов не знаю. Никто ни про кого больше одного процента не знает. Согласен? Сами мы про себя знаем, ну на два, ну на три процента. Как поступим через минуту, не знаем. Кого полюбим, кого возненавидим, не знаем. Вот вздрогнет сейчас под нами земля, что станем делать? Не знаем! Может, я тебя спасу, а может, ты меня, когда станут падать стены. Народ — загадка, но и человек — загадка. Согласен?

— Ты такой мудрый, что с тобой даже спорить нет смысла. Один процент, говоришь?



— Ну два, ну, уступаю, три.

— А суры, а суны ваши — там же все расписано.

— О чем ты?! Потому и расписано, что аллах нам не доверяет. Вот он не велел нам пить, а мы пьем. Что аллах? Жена мне запрещает пить, а я пью. Она мне партийный выговор обещает. Я ее собираюсь поцеловать, а она от меня отстраняется — опять, говорит, от тебя этим отвратительным араком несет, смотри, говорит, получишь ты у меня выговор с занесением в учетную карточку. И где, где это говорится, друг?! Я несчастнейший человек!

— Не страшись, чал все снимет.

— А запах? Его не скроешь, выключив торшер... Скажи, тебе понравился Ашир? Сильный человек, да?

— Какой Ашир?— Вся наука, все навыки, вся осторожность, весь этот набор предупредительных в себе сигналов — все сейчас вспомнилось и зазвенело в Знаменском, упреждая, остерегая, призывая к осмотрительности, осторожности, лукавству, умолчанию,— чего там еще?— словом, всему тому, без чего твоя работа за границей, даже если ты вовсе не дипломат, а журналист, не стоит и гроша. Но разве тут была заграница? Разве этот славный малый, весело сейчас его рассматривающий, иностранец? Нет, не заграница, но пограничная зона, заступив которую, можно погубить Ашира Атаева, одним неосторожным словом можно погубить, поскольку этот Ашир Атаев начал, похоже, нешуточный бой с нешуточным противником.— Какой Ашир, дорогой?— И Знаменский с таким недоумением ответно уставился на Мереду, что сам себя про себя похвалил.

— Хорошо ответил!— похвалил его и Меред.— Хорошо глядишь! Притворяешься хорошо. Ну ладно, когда будем уезжать, передам тебе на вокзале письмо для Ашира. Он звонил мне. Из Кара-Калы вы поедете поездом, вот там, на вокзале, и дам тебе письмо.

— Не пойму, о чем ты толкуешь, дорогой Меред?— сказал Знаменский.— Мне никто никаких поручений не давал, никаких писем брать мне не поручено. Ты не спутал чего-нибудь?

— Правильно, правильно отвечаешь!— Меред просто любовался Знаменским.— Письмо я тебе все-таки передам, а ты уж сам решай, куда его деть. Не доверяешь мне? Молодец! Хотя обидно, конечно. Неужели я похож на провокатора?

— Ты похож на очень славного парня, Меред. Но...

— Правильно, правильно отвечаешь. Немного приподни-

му завесу... Совсем немножко... Чтобы ты хоть чуть-чуть поверил мне... Доверие нужно даже не нам с тобой, а этой шурпе. Ее нельзя клебать за одним столом, не доверяя друг другу. В старину враги не садились за один стол, а если садились, не притрагивались к еде, боялись отравы. Недоверие — это отравка.

— Я верю тебе, Меред, но... Действительно, хорош супчик, — Знаменский, обжигаясь, начал есть. — Ну и горяч!

— Чурек бери. Шурпа медленно остывает, жир мешает. Ее надо с хлебом есть, и не спеша глотать. Так вот, наш Ашир собирает сведения, где у нас по Туркмении высаживается мак. Он, понимаешь, карту маковых посевов решил нарисовать. Совсем агрономом стал, когда из прокуратуры прогнали. Ну, а я кое в чем ему тут помогаю. У меня много друзей, во всех наших городах и селениях можно найти моих друзей. Один видел где-то маковое поле, другой видел где-то. Кто в предгорьях, кто в горах, кто где. Возле канала клочок поля, возле кяриза клочок поля — там, тут, тут, там. Карта зачем нужна? Один клочок — пустяк. Пять, десять клочков — пустяк. У нас веками высаживают мак. Пороки не нами сегодня выдуманы. У нас старики и про бел знают, бел — это гашиш. Высевают коноплю, черти, накуриваются до одури. Старики! Месяцами только овцы вокруг! Одиночество, мэканье одно вокруг. А покурил — и гурии к тебе сбегаются. «Что желаете, ага? — вопрошают. — Мы можем омыть ваши ноги, уместить ваши плечи, мы можем...» Есть еще нас... Нас! Скверная штука. Чего там не понамешано. Белая махорка и даже негашеная известь. Суют под язык. Пробирает до пота! Бьет по мозгам! Имеешь возможность попробовать, на каждом нашем базаре продают. Зелененький такой порошок. От зубной боли очень помогает. Наши аксакалы к зубному врачу ни за что не пойдут. На аркане не затащишь. Хуже шайтана для них зубодер. Как позволить, чтобы кто-то залезал тебе в рот, чтобы отнимал частицу тела твоего?! Никогда! Но зубы-то болят у старого человека. И тут помогает нас. Мы его не запрещаем. Да беззубому старику разве что запретишь? Он гораздо ближе к аллаху, чем к районному отделению милиции. Ну, как моя лекция?

— Занятно. Нет, я эту известку пробовать не стану. Мне довольно и шурпы. Весь рот сжег.

— Не спеша, шурпа медленная еда. А есть еще у нас тирьек. Вот он-то и добывается из мака. Из молочка, которое вытекает, когда надрежешь маковую головку, когда

еще не вызрел мак, не почернел. Да, тирьек... Опий, короче говоря. Опиум! Тоже не новость в наших краях. Из Китая, так думаю, к нам пришел этот сизый дымочек. Много веков назад пришел. Тирьек... А тех, кто к нему пристрастился, а он прилипчив, только начни, он тебя не отпустит, ни на миг не отпустит, тех у нас тирьеккешами зовут. Еще встретишь таких. Где-нибудь на базаре, возле базара. Они там подпирают спинами дувалы. Щеки впали, глаза блуждают, руки-ноги не слушаются. Это не пьяницы. Нет, это не пьяницы. И им не до веселья. Это живые покойники. Но что-то они там в своем полузагробном мире находят для себя. Видения их посещают. Накурились или нажевались — вот и жизнь. Другая для них уже невозможна. А тирьек очень дорог. Он строго запрещен у нас. Его можно достать только из-под полы. И дорого надо платить. Вообще, дорого. Сперва все деньги отдай, какие есть, все вещи спусти, какие есть, а потом и жизнь заплатить придется. Вот, дорогой, если коротко, что такое лоскуток земли с зацветающим маком.

— Но если это у вас с незапамятных времен, так чего же вы горячку порете?— сказал Знаменский.— Зачем какие-то вам карты вдруг понадобились?

— С незапамятных времен, ты прав, дорогой. Но эти лоскуты под маком то исчезают, то появляются, то их совсем мало становится, то вдруг много. Приливы и отливы. В чем тут дело? Я объяснить не берусь, у меня семилетка и курсы кинемехаников. И вот, понимаешь, вдруг этих маковых лоскутов у нас сильно прибавилось. Вдруг! Ашир говорит, что столько нам, для наших стариков, для наших несчастных тирьеккешов не нужно. Такого урожая не нужно! Даже если молодые у нас начнут себя губить. Столько не нужно! Ашир считает, что наш тирьек стали вывозить. К вам, в Россию! Спрос появился. Мода! Так считает Ашир. А он неглупый человек, поверь. И ему теперь важно узнать, кто заставляет столько сеять мака. Кто?! И кто вывозит?! Кто?! Вот для этого и нужна Аширу карта. Велеть подавать плов, дорогой? Без плова нет обеда.

— Так мы же всего лишь завтракаем.

— Разговор трудный вышел. После такого разговора нужен плов, чтобы подкрепиться. И больше мы к этому разговору не вернемся, дорогой. Сейчас спустится к нам твой старик, который станет после сна огурчиком, и мы начнем нашу программу. Вы зачем прилетели? Вы прилетели, чтобы осмотреть все перспективно-курортные места в нашей области. Это сегодня тут жарко и пыльно. Но ведь у нас есть

море. И к нам тянут воду Амударьи. А знаешь ли, что она уже в ста километрах, нет, в шестидесяти от Красноводска? Мы увидим эти благословенные трубы, когда полетим в Кара-Кала. Я добыл для вас вертолет. Посланник будет доволен. Мы будем низко лететь, совсем низко, почти касаясь верблюдьих горбов. И мы увидим эти трубы, по которым вернется сюда вода Амударьи. Вернется! Я правду говорю, вернется! Когда-то, совсем недавно, ну, пять, ну, семь столетий назад, здесь была вода, здесь были плодороднейшие поливные земли. Река ушла, ушла жизнь. Теперь она возвращается, наша Аму! Ты представляешь, в какое историческое время мы с тобой живем?! Плов! Вот несут плов! Милые, прекрасные руки ставят нам на стол блюдо плова! Спасибо, женщина! Спасибо, дорогая!

Мелькнули полные руки, проплыли, удаляясь, полные бедра, а на столе заблагоухал плов.

— Даже смотреть на женщин я не могу, дорогой,— сказал Меред, все же проводив глазами полные бедра.— Кто я? Муж секретаря обкома!

— А почему бы не подключить к этой карте твою жену?— спросил Знаменский.— Все-таки секретарь обкома.

— Разве я тебе сказал, что речь идет о нашей области?— насторожился Меред.— Я назвал тебе нашу область?

— Нет, не назвал.

— Мне пишут со всех концов, вот что я говорил. Там — тут, там — тут,— про это я говорил. А где именно — я не говорил.

— Не говорил, не говорил, успокойся. Но все-таки, секретарь обкома.

— Ну и что? Она же не первый, а третий секретарь. Она после первого и второго должна голос подавать. И она женщина. У нас женщины знают свое место. Конечно, дома, когда муж бывший киномеханик, конечно, тут можно... Нет, дорогой, я несчастнейший человек на свете! Выпей, пожалуйста, за меня! И ешь, ешь, хватит разговаривать. Плов надо есть горячим.

Отобедав, они пошли будить Посланника, для которого Меред прихватил со стола целый поднос всякой всячины: тарелку плова, навалом винограда, только что выпеченный

чурек. Нес он и большой чайник с чалом, с гок-чаем, светленьким совсем, горьковатым напитком, который, оказывается, тоже все снимал. И маленький графинчик водки установил на поднос — а вдруг душа потребует?

Высоко неся поднос над головой, умело неся, невысокий, кругловатый, быстрый в своем коротком, плавном шаге, шел по гостиничным лестницам, а потом по коридору Меред, веселый и в походке своей, круглоловкий какой-то. Он был одет наипростейше: рубаха, штаны, сандалеты. Но очень ладно сидела на нем эта одежда, служила, не выпячиваясь, и он не казался бедно одетым. Как ему было удобно, так и оделся. Случится той, он не будет трястись над своими брюками, страшась посадить на них жирное пятно. Случись срочная куда-то командировка, — в зной, в пустыню, на нефтевышку или к чабанам, — и он опять же готов, чтобы трястись в грузовике по пыльной дороге или даже на спине верблюда очутиться, а то и на спине ишака. Он был заряжен на любое дело, с готовностью готовый и к столу, и к дороге, к мгновению перемен. И хотя был он, как отрекомендовался, заведующим всей культурой города-порта Красноводск, он продолжал оставаться все тем же сельским киномехаником, кинокочевником, младшим братом и унаследователем веселого и лукавого Ходжи Насреддина. Можно было понять, глядя на него, за что приглянулся он некой строгой, но конечно же очень красивой девушке, ведь он был так непохож на ее сотоварищей по бюро райкома.

С этим подносом, пьяноватые все-таки, хоть шурпа и чал все снимают, явились они пред очи Посланника. Похоже, вздремнуть ему не удалось, глаза его устало и неодобрительно рассматривали их, молодых этих, здоровых людей, у которых какие-то там были трудности и проблемы, неудачи даже и беды, хотя никаких не было у них проблем и бед, раз они были молоды и здоровы. Главное — здоровы! А они этого не понимали. Еще поймут! Не минует!

Самохин сидел за маленьким письменным столом, тяжело упершись в него локтями. Он ничего не писал и ничего не читал. Он выбрал это место в комнате, потому что оно, пожалуй, единственным было местом, где бы ни висели или ни разостланы были ковры. В такую жару — ковры! Но ведь это был «люкс» и это была гостиница областного центра, славящегося своим ковроделием. Даже кровать была застлана ковроплетным покрывалом. И пол был устлан коврами. Полупустой графин с чалом стоял на письменном столе перед Самохиным.

— Сливаюсь вот,— сказал он.

— Правда, помогает?— радостно спросил Меред.

— Живой пока.

— Без веры пили или с верой?

— С верой, с верой,— вяло сказал Самохин.— Что, пришли по мою душу? Куда-то надо ехать? Что-то надо смотреть? Ох, старый дурень! Как это я дал себя уговорить на эту поездку?! Он не гипнотизер, этот ваш Ашир, Ростислав Юрьевич?

— Ашир Атаев? Это он вас уговорил лететь к нам?— спросил Меред, очень заинтересовавшись.

— Он, он. Сказочник какой-то. Наплел невесть что про ваш чал. Ну, пью. Ну, мутная какая-то жидкость. А дышать-то у вас нечем.

— Ашир вам правду говорил про чал,— сказал Меред, старательно прищуривая глаза, отчего залукавилось его круглое лицо, совсем Насреддином стал.— Но с верой, с верой надо вкушать этот напиток. Без веры вообще ничего нельзя достигнуть. Даже комара нельзя убить, не веря, что попадешь в него. Подкрепитесь, прошу, и поехали. Нас ждут на ТЭЦ. Это — во-первых. Поглядим на опреснители. Морская вода входит, пресная вода выходит. Потом...

— ТЭЦ? Но это же жара в жаре! Там же топки!— На Самохина было тяжело смотреть, так он испугался.— Зачем туристам ТЭЦ?

— Хорошо, подкрепитесь немножко, и покатаем в музей. Второй пункт нашей программы. Музей — это для туристов?

— С кондиционерами, надеюсь?— спросил Самохин, вяло отломив от чурека, вяло принявшись жевать.

— Правду скажу, не помню.— Лицо Мерета перестало лукавиться, могло оно быть и серьезным и даже печальным, оказывается.— У нас очень серьезный музей. Не помню...

И вот они в пути. «Волга» кружит, часто сворачивая, по нешироким, все больше на сход, к морю, улочкам, скучноватым, если правду-то сказать, где редки вязы-карагачи, но они хоть в силе, а деревья помоложе так исчахли от безводья, жары и знойного ветра, что даже их собственная тень от них сбегала.

И вот они въехали на маленькую круглую совсем площадь, просто площадку с единственным могучим вязом у обочины и с домом одноэтажным, приземистым, хмурым, стародавней постройки. Это и был здешний музей.

У карагача, в его тени, сидел молодежавый старик в черном высоком тельпеке, в красном стеганом халате, и ему

не было жарко. Он гордо сидел, зорко поглядывал, сухой был. Он чем-то торговал тут, в мешке у его ног какие-то зернышки зеленели-желтели, в них был утоплен стакан.

Не в дом этот унылый захотелось идти Знаменскому, а к старику величавому подойти. Он так и сделал, пошел от машины к продавцу, как оказалось, фисташек, чтобы поближе разглядеть столь неподвластного зною человека, с таким гордым, даже загадочным лицом, такого невозмутимого. Вот он-то и был истинным хозяином этой суровой земли. Вдруг старик пошевелил коричневыми губами, проговорил нечто невероятное:

— Ты Знаменский?.. Ашира знаешь?..— Старик подождал, когда Знаменский кивнет ему, и тот оторопело кивнул.— Иди, куда пришел, я тебя подожду... Подойдешь потом, купишь фисташки... Иди!..— старик закрыл глаза, отгораживаясь от вопросов.

Знаменский подчинился, повернулся и пошел к музею, от дверей которого ему махал нетерпеливо Меред. Один велел идти, другой велит спешить... И в каждом из этих, велящих, был Ашир Атаев, его из каждого выстреливали глаза. Оторопело пересек Знаменский изнывшую от жары площадку, на которой, ближе к хмурому дому, были воздвигнуты на постаментах из оплавленного солнцем песчаника чьи-то бюсты. Знаменский взгляделся, сложил посеченные ветрами буквы. Это были памятники Шаумяну, Фиолетову, Азизбекову, Джапаридзе. Так вот что это был за музей?! Это были четверо из 26-ти бакинских комиссаров, расстрелянных в восемнадцатом году где-то здесь, поблизости, английскими интервентами. Солнце плавало не плава, склоняясь к морю, эти прямо в тебя смотрящие глаза, твердо, к смерти ужатые губы. Как велик бывает скульптор, который из самых простеньких поделок рук человеческих, призвав к работе солнце и ветер, время и память, превращает такие поделки в величественные творения, в памятники, при одном взгляде на которые у человека сжимается сердце.

С сжавшимся сердцем вошел в дом Знаменский.

Экскурсовод уже начала рассказ. Это была пожилая женщина, в темном не по-летнему платье, отдаленно и близко похожая на Надежду Константиновну Крупскую, какой она запомнилась по фотографиям уже без Ленина. Совсем другая, конечно, женщина, не то совсем лицо, но из той поры.

— Мы с вами, товарищи, находимся в бывшем арестном

доме,— говорила экскурсовод.— Сюда-то и заточили двадцать шесть бакинских комиссаров, когда утром семнадцатого сентября восемнадцатого года пароход «Туркмен» встал на рейде Красноводска и был захвачен англичанами. Товарищ, прошу вас, не останавливайтесь пока у этого макета...— Экскурсовод окликнула Знаменского, который, войдя, сразу натолкнулся на макет в вестибюле, воспроизводивший в объеме и в деталях расстрел двадцати шести — в песках, в пустыне, но где-то рядом, поблизости, реально рядом и поблизости от этого макета.— Мы еще вернемся, товарищ, к тем мгновениям. А пока...

Экскурсовод вошла в зал, и Самохин и Меред пошли за ней, но Знаменский не мог отойти от макета, очень тщательно исполненного, старательно повторявшего картину И. И. Бродского, о чем уведомяла выстуканная на машинке подпись. Но нет, живопись тут исчезла, сюда пришло иное. Сюда пришла истина. Так было. Вот так вот именно страшно все там и происходило, где-то совсем рядом, в песках, неподалеку. Тот же воздух овеял этот макет, что и тогда, там. Те же песчинки сюда залетали. И тот же зной тут царил. Расстреливаемые, в которых уже нацелились стволы, стояли со вскинутыми руками, будто они вышли на митинг, обращались к народу. Они угадали, так встав перед смертью. Они так встали перед Памятью. А эти, стрелявшие, и эти, сбоку стоявшие предатели — офицеры, штатские, батюшка в шляпе, отвернувшиеся от убиваемых,— а эти тоже застыли перед Памятью. И Память сейчас казнила их, а не тех, кого тогда убили. Не нужны были залы, никаких больше не нужно было залов. Этот арестный дом, приземистая могила, и этот макет — Память,— вот и весь музей.

Знаменский повернулся и вышел на улицу. Он продрог в музее, и впервые в Туркмении он обрадовался беспощадному солнцу, чуть лишь его согревшему. Он снова пересек площадку, прощаясь, взгляделся в молодые,— а ведь молодые совсем!— лица. Им, этим легендарным большевикам, действительно легендарным и прекрасным в своем мужестве, в своей вере, прежде всего вере, было даже меньше лет, чем ему, они были моложе. А кто — он? Закатное солнце резко высветило высеченные резцом и ветром лица, в них невозможно было всмотреться, обжигало глаза. А кто — он? Спросилось, но невозможно было ответить на вопрос, в него тоже не удавалось всмотреться.

Знаменский подошел к старику, торгующему фисташками. Смаргивая, поглядел на него, страшась, что и тут жаром об-



даст глаза. Нет, прошло, мир встал на свое место, величественный старик даже слегка улыбался ему, неумело, его тонкие коричневые губы не знали улыбчивого уклада.

— Кулек тебе приготовил,— сказал старик, извлекая из мешка сверток.— Фисташки... Отдашь Аширу... Сам не разворачивай... Ему подарок... Спрячь...

Знаменский взял сверток, который был не кульком, а пакетом, быстро сунул, оглянувшись, в задний брючный карман.

— Не потеряй!— Старик, остерегая, поднял сухой, коричневый палец, погрозил им.

— Не потеряю!— Знаменский пошел от старика, но тот его остановил:

— Рубль отдай!

Знаменский вернулся, извлек из кармана смятую и влажную бумажку, протянул старику. У того насмешливые искорки промелькнули в нацеленных, дульцами, глазах. Совсем как у Ашира были глаза.

— Люди смотрят,— сказал старик.— Что за продавец, которому деньги не отдают?! Иди!..

Знаменский повернулся и пошел. Не к музею, а по крутой улочке стал спускаться, идя на солнце, которое все ближе прикидало к морю, к этому странному тут, беспрохладному морю, такому издали заманчиво-синему.

## 19

Вскоре из музея вышли Самохин и Меред. О чем-то они спорили. Меред настаивал, Самохин отказывался, решительно отмахиваясь. Увидев Знаменского, он торопливо пошел к нему, отмахнувшись и от подкатившей «Волги».

На крутой улочке, высоко взбежавшей, откуда широко был виден город, вжавшийся в скалы и прильнувший к морю, они сошлись, два чужестранца здесь, молча глянули друг на друга, молча стали оглядываться, отыскивая между домами промельки близкой пустыни, тех самых барханов, которые так тщательно были повторены на музейном макете.

— Меня поразил этот музей,— сказал Самохин.— И вас, вижу?

Знаменский кивнул.

— Восемнадцатый год!— Самохин удрученно всматривался в близкую даль, в побежавшие за окраинными до-

мами гребешки барханов.— Шестьдесят шесть лет прошло с тех пор... А допусти их сюда, ведь опять начнут расстреливать. Ничуть не поумнели. Мало им, все им мало. Война продолжается, Ростислав Юрьевич, я так считаю, она и не прерывалась.

— Пожалуй.

— Только хитрее сделалась. А какие люди начинали нашу революцию, какие люди! Жаль, вы не видели их фотографий. Какие лица! Ясные! Честные! Окрыленные! Мы многого достигли, во многом победили, это так, тут спора нет. Но... в чем-то мы и потеряли, по ходу боя, так сказать... Приобвыкли, что ли?.. Когда долго идет война, когда телами в драке сшибаешься, бывает, что и друг у друга враги что-то перенимают. Можно так сказать: их роднит вражда. Парадокс, но это именно так. Поняли меня?

— Это вы обо мне?

— Да что вы?! Вообще рассуждаю. А если близко взглянуть, так и о себе. Разве я не приобвык по заграницам-то? Разве я не понабрался там чужого? Разве я тот, все тот же Санька Самохин, каким начинал в Москве? Классический пролетарий был. Все ступеньки прошел, придя из деревни, всю науку великую рабочего класса. Стране нужны были рабочие, я выучился, стал токарем на «Динамо». Стране нужны были солдаты, я вступил в июле сорок первого в Московское ополчение, а потом курсы кончил офицерские, а потом всю войну — то на фронте, то в госпитале, то на фронте, то в госпитале. А потом, уже тридцатилетним, в институт иностранных языков подался. Вокруг девчонки. Стариком меня считали. Но я учился, вдалбливал в себя английский. Я так рассудил, что раз уж уцелел, кому, как не мне, бывшему солдату, отстаивать наши интересы за мирными столами переговоров. Вот как тогда занесся! И что же, стал дипломатом. Покатил Санька Самохин в дальние страны. К столам переговоров не сразу вдруг подсел, но все-таки... Сбылась мечта? Так?.. Что ж, достиг многого, если со стороны взглянуть. Но... и потерял, потерял... Измельчился... Истаскался... Расслабился... Банкетным недугом занедужил... Нефрит, а он у меня есть, наличествует в полном объеме, — это ведь, Ростислав Юрьевич, именно банкетный недуг. И сколько еще в нас с вами разных недугов, если взглядеться. Понабрались в ближнем бою. Опасная это штука — ближний бой. Вы-то теперь выглядываетесь? Гляжу на вас, изучаю, похоже, что взгляды-

ваетесь. Не унывайте, у вас еще вся жизнь впереди. Даете слово, что не будете унывать?

— Вам это важно, Александр Григорьевич?

— Важно! Вы мне симпатичны. Важно!

— Постараюсь. Но кто я теперь? Хуже чем с нуля начинаю.

— У вас есть время, у вас есть время. Я бы...

Подкатила «Волга», Меред выскочил из машины, взывая, вскинутыми руками, пускаться в путь.

— Программа, программа, уважаемые гости!— Меред всмотрелся в их лица, понял, что о серьезном шел разговор, поубавил напора в голосе.— Я понимаю, после такого музея походить бы, подумать бы, но... программа! Мы ведь с вами вроде туристов. Будущих!

— От ТЭЦ я все-таки отбился, а теперь куда?— уныло спросил Самохин, садясь в машину.

— На старейшее предприятие города, на наш прославленный рыбный комбинат!— Меред плотноядно сверкнул зубами.— Каспий хоть и обмелел, но еще дарит нам свои деликатесы! Нас ждут там вобла — и какая!— и пиво! Я весь высох, честно скажу.

— Это что же, копченая рыба?!— ужаснулся Самохин.— Ни за что!

— Ах, забыл, дорогой!— Меред сокрушенно ударил себя кулаком в грудь, но другой рукой быстренько захлопнул за Знаменским дверцу и подтолкнул водителя, чтобы ехал.

«Волга» покатила, развернувшись, снова миновав крошечную площадь, на которой стояли четыре монумента, а под вязом все еще сидел старик в высоком черном тельпеке, горделивый и загадочный.

— Ни за что!— повторил Самохин.— Даже запах копильни я не переносу! За версту обхожу!

— А как же будущие туристы?— печально спросил Меред, чувствуя, что вобла и пиво ускользают от него.

— Вот они и поедут с вами. А я верю вам на слово. Куда нам еще?

— Тогда к морю. В наш знаменитый пансионат, в зону отдыха ТЭЦ. Там один старик, между прочим, армянин, чудо сотворил. Пункт четвертый нашей программы. Между прочим, там ждет вас свежий чал.

— Поехали в пункт четвертый!— решительно распорядился Самохин.

— Испугаться хоть можно будет?— спросил Знаменский.

— Чудесный пляж! Говорю, чудо! Розарии! Виноградники! Не исключены гурии-мурии!

— Никаких гурий! — строго сказал Самохин. — Никаких мурий! И куда смотрит ваша жена, Меред? Мы к морю катим? — строго глянул он на водителя, вислоусого пожилого украинца, подчеркнуто обрядившегося в вышитую украинскую сорочку без воротника. Был этот водитель молчалив и важен, поскольку вон куда занесла его судьба, в какую даль далекую.

— Побачите, — меланхолично молвил водитель.

Быстро отмелькали за стеклами машины низкорослые, вровень с дувалами, дома, редкими окнами глядевшие на улицу. Вся жизнь — там, во дворе, где, возможно, виноградники, фруктовые деревья и даже фонтанчики притаились и где близко перед глазами море, а обернись — скалы. Там жили люди, которым этот город не мимолетность, а вся их жизнь на земле. Где-то был дом Мерета, где-то был дом этого молчаливого украинца. Тут радовались, тут печалились, тут по-всякому у них было, у людей, живущих на этой уж очень все же суровой земле. Но жили, не сбегали отсюда. Что удерживает человека на такой земле? Привычка? Невозможность поменять судьбу? А рядом пустыня, пески, бескрайние пески. Что все-таки удерживало тут людей? Не эта ли суровость и удерживала? Ведь человек — загадка. Ему не всегда сладкое нужно для жизни. А тут вот мечтой жили. Мечтали о воде, которая все преобразит, сделав эту землю сказочным оазисом. А тут гордились своим Седым Каспием, который, хоть и обмелел, был щедрым все еще на рыбу. А тут традиции революционные жили, тут этот музей стоял, возвышались монументы прекрасноликих людей. И вода вроде бы уже подходит к городу. Та самая Амударья, которая сбегала, поменяв русло, с этой земли, давным-давно, несколько столетий назад, ныне вот возвращалась. По трубам ее вели к Красноводску, совсем рядом эти трубы. Что-то еще будет тут, когда грянет вода?! Скучный городок, хмурый, но затаилась в нем надежда. И тут тихо, гона нет, а за дувалами, если заглянуть, как заглянул он во двор Дим Димыча, может открыться глазам чуть ли не райская картина. Мелькали домики Красноводска, а в глазах встал тот домик, где он теперь жил. Еще недавно не поверил бы, что сможет жить в такой халупе. Смог. И даже потянуло туда, в те стены, к тем голосам, к тем людям. Светлана вспомнилась, ее мальчик, этот Дим Димыч хлопотливый, и потеплело на душе.

Машина выскользнула из города, покатила по удручающе безрадостной дороге, где лента асфальта с множеством заплат из щебенки пролегла по земле, давно превращенной в припортовую свалку. Ржавые трубы, побитые бетонные плиты, кабельные катушки, искореженное железо... И глаза начинали радоваться близким и бесплодным барханам, открывать там и красу и жизнь, когда сравнивали пустыню с этой освоенной людьми, поруганной людьми прибрежной полосой.

— Дорога не для туристов, — сказал Самохин. — Куда вы нас везете, Меред?

— А вы посмотрите на эти трубы, вон на эту ниточку из труб, которая тянется вдоль дороги. — Меред опустил стекло, высунулся, руку протянул, будто хотел погладить эту ниточку из перепятнанных мазутом, явно старых обсадных труб, добытых где-то на нефтьвышках, где отслужили свой срок, и теперь вот зачем-то были соединены в эту самую ниточку. — Вы смотрите, смотрите на эти трубы, не выпускайте из глаз. Клянусь землей своих предков, а они с Мангышлака, все туркмены происходят с Мангышлака, хотя текинцы так не думают, клянусь Мангышлаком, клянусь вам, Александр Григорьевич, что вы, если только я еще немножко вам поклянусь и если наш Петро не будет тащиться со скоростью старой черепахи, которую даже шакал не станет есть, то мы, клянусь вам!.. Э, вот теперь смотрите!

Машина свернула, соскользнула с дороги, миновала обширную лужу заржавленной воды, и вдруг выкатилась, вкатилась в сад. Благоухание роз встретило их, здесь всюду росли розы. Это — сперва. А сразу за розами стеной стояли гранатовые деревья, в ветвях которых еще не рдели, а лишь розовели елочными шарами гранаты. Зато яблоневые деревья, вставшие рядом с гранатовыми, рдели. И на земле было полно яблок, они лежали в живой траве. Эта живая трава была самым невероятным здесь чудом. Нет, и еще что-то таилось, как чудо. Солнце шло на закат, оранжевый, в пепельной дымке круг низко опустился к земле. И там, где плыл этот круг, стояла густая, на глаз прохладная синева. Это было море. Но и это еще не главным тут было чудом. В лицо ударил дух морской, прохлада морская коснулась их, всех обласкав, как счастьем. Вот что было тут главным чудом. Каспий дарил им свою прохладу.

Машина подкатила к легкому домику, от которого было до моря с десяток шагов. Влажный песочек увиделся, на ко-

торый накатывались белые, радостные гребешки. А за ними — синь!

Знаменский выскочил из машины, кинулся к морю. На бегу стянул с себя рубаху, присев, упав на влажный песок, стянул джинсы, разулся, дыша, дыша этим горьким, влажным, морским духом песка, а потом, выпрямившись, с замирающим сердцем шагнул в море. Здесь было сразу глубоко. Он поплыл. И заплакал.

## 20

Он плыл недолго. На берег шла крутая волна. Его подбрасывало, волны пошвыривали им, белые гребешки превратились в пенистые, страшноватые стены. И мешали слезы. Откуда? Как они могли случиться? Он никогда не плакал, разве что в детстве, но и о детских своих слезах забыл. Так жизнь катилась, что слезы в ней не требовались. Даже тогда, недавно, когда все сразу развалилось, когда и пугали, и позорили, и стыдили и когда было и страшно, и стыдно, сухими оставались глаза. Так и должно, если ты мужчина. Да при чем тут это? Он просто не умел плакать, никогда раньше не высекала жизнь в нем слезы, не звала к ним. И вдруг здесь, вдруг выбрызнулись... Допекла жара! Волны захлестывали лицо и уже не понять было, все ли еще он плачет. Но стыдно было перед самим собой и еще как-то странно было, будто эти слезы чем-то и одарили, принесли облегчение. Нельзя жить, сжавшись, а он так теперь жил, сжавшись, все время помня, что с ним стряслось, все время помня, ни на миг не высвобождала его память. Сейчас он разжался, будто сдался, самому себе сдался, на милость самого себя,— вот что это были за слезы.

Он повернулся, выждал накатывающуюся белым гребнем волну, уступил себя ей, и волна подкатила его к самому пляжу и отхлынула, кинула на песок. Он поднялся, пошатываясь, побрел к своей одежде, вспомнил про пакет для Ашира и испугался, что так небрежно бросил его. Но вокруг не было ни души. Вдалеке, в виноградных рядах, важно вышагивал Самохин, сопровождаемый рослым и тучным, белокудрявым стариком. Там с ними был и Меред. А пляж был безлюден. Ни от кого не надо было прятать глаз. Он присел на песок, обсыхая.

А потом был снова обильный стол, шурпа и плов, но и чал и творог для Самохина, стол ломился от дынь, вино-

града, плодов и овощей, выращенных здесь этим вот стариком армянином, были речи, были тосты, все пили за будущее здешних мест, дикого пока побережья Каспия в этих местах, которые, чуть ороси их, вон каким могут райским уголком обернуться. Бросовая, по сути, вода, опресненная морская вода, которая пришла сюда от ТЭЦ по ничтожке бросовых же труб, а какое чудо она сотворила. Пили, конечно, и за старого чудодея, за седоголового армянина, скромно сидевшего с края стола, скромно прижмуривающего свои мудрые глаза. Выпил даже чуть-чуть и Самохин, тоже невеселый, хмуроватый, отрешенный. Ему бы тоже всплакнуть, полегчало бы. Но с чего ему плакать? У него все было в полном порядке. Разве что смертельный недуг им властвовал.

А потом той же дорогой назад. Уже поздний вечер был, когда они вернулись в свою красноводскую гостиницу, разошлись, простившись с Мередом до утра, а рано утром предстояло им лететь на вертолете в Кара-Калу.

— Пробыл для вас вертолет, дело нешуточное! — похвастал Меред. — А как же, и гости нешуточные! Чрезвычайный и Полномочный Посланник по делам международного туризма!..

Войдя в свой номер, Знаменский обнаружил большой пакет из плотного целлофана, до краев набитый золотистой копченой рыбой, отборными, тучнобрюхими лещами. Это явно был дар рыбокомбината, запланированный дар, хоть гости и не явились.

В номере было невероятно душно. И еще этот запах рыбы, горячий запах и назойливый, если ты сыт сверх всякой меры. Знаменский засунул пакет в холодильник и пошел принимать душ. Но вода из кранов не пошла. Никакая, ни горячая, ни холодная. В ванной комнате стояли два ведра с водой — паек на номер «люкс». Был тут и ковшик, плавал в одном из ведер, приглашая им воспользоваться. Знаменский зачерпнул воды, вдруг ощутив себя скупцом. Он только вымыл руки и ополоснул лицо.

В дверь кто-то постучал. Меред вернулся? Знаменский отворил. На пороге возник Самохин, в пижаме, с несчастным лицом. В вытянутых руках он брезгливо нес пакет с копчеными лещами.

— Умоляю, заберите у меня это! — чуть не плача сказал Самохин. — Выбрасывать подарок не посчитал возможным, а держать в номере просто невыносимо.

— И у меня такой же. — Знаменский взял у старика свер-

ток, стал запихивать в холодильник.— Разве у вас нет холодильника в номере?

— Там у меня лекарства, от этой рыбки они бы все провоняли. Можно, я у вас посижу немного? Спать еще рано, да и не усну.

— Прошу вас, Александр Григорьевич. И я не думаю, что легко усну.

— Музей в глазах?— Самохин прошел в комнату, где такой же, как и у него, крошечный стоял письменный стол и где такие же повсюду висели и выстилались ковры. Он огляделся затравленно и подсел к письменному столику, единственной не шершавой и не жаркой тут поверхности.— Эх, чал забыл! Привыкать начинаю к этой мутной жидкости. Самовнушаюсь.

— Принести?

— Не нужно, благодарю. Я ненадолго к вам. Да, музей... А какая земля, страна какая! Тут все строго на тебя глядит. Не почувствовали? А ну, что за человек, каков? Не почувствовали? А знаете почему?

— Нет.

— Приграничная полоса. И дело не в границе государственной как таковой. Дело в том, что места эти всегда были полем боя, полем чьих-то вожделенных интересов. Нефть! Недаром сюда кинулись англичане. О, эти знают, где добывается золото! Прирожденные загребатели чужого! В четырехстах километрах отсюда Иран. А там, лишь чуть подальше от нас, идет война Ирана с Ираком. Религиозная война, бессмысленная по сути, если вообще существует суть у войн. И никакого, знаете ли, двадцатого века. А море какое! Вы искупались, посмели. Я вам страшно позавидовал! Седой Каспий, опасная стихия. А вы нырнули, поплыли. Я даже испугался за вас. Нет, все обошлось. Но вы вернулись какой-то другой. Устрашились все-таки? Заглянули в пучину? Ничего, дружок, я понимаю, вам худо, даже очень худо, но это все-таки не нефрит... запущенный до упора...— Самохин замолчал, побарабанил громко пальцами по поверхности стола, принялся, ловя ненавистный копченый запах, поднимаясь.— Пойду. На улицу, что ли, выйти? Завоняли нам номера наши щедрые хозяева. Пойду.— Он пошел к двери, обернулся, беспомощный и подавленный.— А на улице ветер с моря чуть ли не шквальный. Я смотрел в окно. Носятся тучи песка по улицам. Ну и местечко!

Он ушел. Ветер, ворвавшийся и в гостиницу, сердито прихлопнул за ним дверь.



А ведь мудрый старик. Жалкий и мудрый. На пороге стоящий. На пороге в пучину. Подходить к этому порогу тяжело. Вопросы изводят, так ли прожита жизнь. У него все в порядке, по течению плыл, на берег его не вышвыривало, а он вот изводится. Измельчился... Истаскался... Расслабился... Прав он, это точная мысль, что в ближнем бою враги, будто наобнимавшись, сами того не замечая, перенимают что-то друг от друга, прямо по-родственному перенимают. Точная мысль! Вдруг вспомнилась Знаменскому, — в этой гостинице на краю света, — другая гостиница. Сперва даже не понял, почему вдруг вошло в глаза, извлеклось из памяти это воспоминание. Прыгает наша память. Очень большие скорости часто развивает. То ты тут, то ты за пять тысяч километров отсюда, а через миг, за долю мига, снова здесь, снова на пять тысяч километров назад отлетел. Вдруг вспомнилась Знаменскому вокзальная площадь Хельсинки... Когда это было? Да года три назад. Отозвали поближе к Москве, Лена могла бы часто туда к нему наезжать, всего ночь пути в поезде, вечером голову на подушку, а утром уже чистенькая станция с цветочками в вазонах на перроне и замечательный кофе в чистеньком, благоухающем тут же изготавливаемыми пончиками пристанционном кафе. Как называлась эта станция? У финнов все названия такие замысловатые, что можно язык своротить. Вспомнил! Вайниккала... Да, именно так, Вайниккала... Первая остановка после нашей границы, после станции Лужайка. Долгая остановка, таможенный контроль, проверка виз. Финские таможенники, собственно, только одно досматривают, спиртное. Можно провести две бутылки водки и бутылку сухого вина. Все сверх того — либо отбирают, либо велют вылить при них же. Какая-то милая игра, а не досмотр. Таможенники идут по вагонам, всматриваются в лица. Всех же не обыщешь. И вот они, смотря, высматривают потенциальных провозчиков лишней бутылки. Часто угадывают, психологи как-никак. И тогда показывай им чемоданы. Его ни разу не попросили открыть чемоданы. Служебный паспорт тут роли не играет, корреспондентский аккредитаж — тоже. Досматривают любого, кто покажется предрасположенным к бутылке. Тонкая игра, безобидный досмотр. Но его ни разу не заподозрили, он внушал доверие, можно было предположить, а так оно и было, что он вполне кредитоспособен, чтобы и в Хельсинки, если нужно ему будет, купить эту самую водку. В десять раз дороже? Ну и что? Он может

себе это позволить. Это угадывалось, и финские таможенники уважительно взглядывали на него.

Да, Лужайка... Вайниккала... А почему привокзальная площадь в Хельсинки?.. А потому, что там, в глубине этой площади, стоял старинный, самый старый хельсинский отель, от прошлого века дом. Все прочие дома на площади были много моложе, сверкали большими окнами и витринами, а этот был ммуроглаз, северным был жителем, толстенные стены умели держать тепло, когда еще печами и каминами отапливались гостиничные номера. Вспомнилось, добыла память, как назывался этот отель. «Севра-отель» — так называли его хельсинцы по старинке, хотя надпись по полукружью ротонды над входом в отель была другой. Да, вспомнился этот отель... Здесь, в Красноводске, среди жарких ковров и с пыльной завесой за окнами от ураганного ветра. Но почему он именно вспомнился?..

Знаменский подсел к столу, вторя Самохину, забарабанил пальцами по гладкой поверхности, заметив на столе круглые пятна от стаканов. Этот письменный столик, оснащенный чернильным прибором времен еще довоенных, с бронзовыми крышечками на чернильницах и ручкой с пером, именно с пером, носящем на себе следы чернильной закалимости, наверняка не ведал ни единого письменного усилия своих постояльцев, но зато знал звон стаканов, заливался многожды и водкой, и коньяком и, наверное, думал, что для того и придуман, чтобы на нем распивались крепкие, оставляющие следы напитки.

Да, а сперва была выпивка... А как же, все начинается со звона стаканов, что здесь вот, что там вот. Но не в «Севра-отеле». Сперва не в нем. Смешно вспомнить, решили отобедать в клубе пожарников. В Хельсинки полно этих клубов по профессиям. По сути, обыкновенные ресторанчики. Но все-таки этот вот для студентов, этот для любителей духовой музыки, а есть и для актеров, есть и для землячества, кто из Турку, кто из серединного Куопио, кто из самого северного, заполярного Ивало. Этот, где тогда встретились, был рестораном, полюбившимся пожарниками. Это были весьма состоятельные бизнесмены, два молодых человека, одного с ним возраста, ну, чуть постарше, но один уже совладел крупной обойной фабрикой, а второй был крупным издателем. Был еще и третий. Этот был представлен как человек из рабочих, а ныне профсоюзный деятель. Веселый, рыжебородый, неумолкаемый рассказчик, владевший худо английским, худо французским, худо русским, но смело

управлявшийся всеми тремя языками, смело переводивший, поскольку бизнесмены твердо знали только свой финский, и лишь выпив, загомонили и по-английски, и по-французски, да и по-русски тоже. Русский, как часто выяснялось, когда третья-четвертая шла рюмка, очень многие знали в Финляндии. Память у них усвоила этот язык, но память наша причудлива, часто придерживает свои знания, капризничает, скрывает, хитрит.

Так почему же все-таки выбрали ресторан пожарников? Шутки ради, надо думать. Приглашавшие, видимо, решили продемонстрировать свою фантазию. И кажется, в этом ресторанчике хорошо готовили рыбу. Мол, пожарники все время имеют дело с водой, но и рыба тоже не обходится без воды. Шутники! Впрочем, здесь было тихо, даже безлюдно в тот дневной час, когда они встретились. Надо думать, что эта вот уединенность и определила выбор. Потом-то он понял, что именно в этом было все дело. Сперва, пока были трезвыми, два бизнесмена и один профсоюзный деятель из рабочих соблюдали осторожность. Встречались-то они с советским журналистом, а в Хельсинки нет-нет да и начинали задуть холодные ветры, особенно когда кто-либо из высокопоставленных штатников оказывался визитером города. В те дни в Хельсинки гостил вице-президент Буш.

Итак, обед с двумя молодыми, но состоятельными бизнесменами и одним развеселым профсоюзным деятелем из рабочих. Дань вежливости, любознательности, а возможно, и соображения рекламы, поскольку обедом кормили советского журналиста, а у обоих бизнесменов были с Россией деловые интересы. Ну, а профсоюзный деятель, он же был из рабочих...

Обед как обед, сколько их было, с кем только и где только — не счесть, не упомнить. Этот — упомнился. Вспомнился. Здесь вот, отмелькав памятью с крайнего юга на крайний север, из Средней Азии в северную Европу, а оттуда — назад, в Красноводск. Пять тысяч километров туда, пять тысяч километров сюда, снова туда, снова сюда и снова туда. И все это за миг какой-нибудь. Не со скоростью ли света работает наша память?

Обед как-то сразу удался, весело пошел. Молодые собрались люди за столом, никакой официальной цели у них не было. Знакомство, все ради этого самого знакомства, друг друга познания. Соседи как-никак. Им нравилось к тому же, что человек из России объехал весь мир, что был он европейски воспитан. Они все время дивились всякой ма-

лости в его поведении, восхищались его умелости за столом. Элитарный, это сразу чувствовалось, был этот гость из России. Ему нравилось, что им он нравится, да и славные были парни. Забавные отчасти в своем старании подражать английскому мужскому образцу, сдержанной манере английских джентльменов, а не каких-то там развязных янки. И когда они узнали, что он год провел в Оксфорде, то окончательно влюбились в него, не уставая изумляться, что в советской России есть, оказывается, и такие вот, как он. Словом, обед удался, он раскованно пошел, приятенно, и когда черед блюд подвела их к завершению трапезы, жаль стало расставаться. Да еще и не допито было. Финны медленно расшевеливаются, но уж если расшевелились... Да и дружба же началась... Словом, молодые и заводные хозяева преисполнились желанием продлить общение и чем-либо даже изумить столь симпатичного им гостя. Не закатиться ли куда-нибудь еще, сменив, так сказать, антураж? Осторожность — побоку! Буша с его холодными ветрами — и его побоку! Да здравствует доверие! И — покатили.

И прикатили к «Севра-отелю», по пути рассказав его историю, что это самый респектабельный отель в городе, когда финны хотят побыть сами с собой, что это даже в чем-то закрытый отель, не для иностранцев, с виду даже бедноватый отель, старомодный, с мрачным и не слишком ухоженным холлом. Но внутри там есть такие комнатки... Но все партии из главных именно там проводят свои конференции. Но... словом, они ему там кое-что покажут.

Прикатили...

Ветер за окнами становился ураганным. Сплошной стеной шел по улочкам песок, ворвавшийся из пустыни, барханный, до крови секущий песок. Наверное, и море вздыбилось. Каспий оттого и прозван седым, что этот ветер из пустыни в клочья рвет его, вздымает, вспенивает...

Молодые бизнесмены, да и профсоюзный деятель из рабочих, как оказалось, были очень уважаемы в «Севра-отеле». Едва вошли, едва швейцар распахнул двери, к ним кинулись навстречу и еще какие-то униформы, появился и метрдотель во фраке. Сбегались, кланяясь. Не совсем обычная то была манера поведения в строго демократическом Хельсинки. Восток вспомнился, поясные там поклоны служащих отелей перед богатыми гостями, особенно иностранцами. Но то было на Востоке. Стало быть, он обедал нынче с очень уважаемыми в городе лицами. Он и сам оказался в отблеске их значительности. Метрдотель, прикинув, заго-

ворил с ним по-английски и не ошибся, услышав уверенную, с лондонской накатливой невнятицей, ответную фразу. Англичанин! Метрдотель был рад приветствовать в своем отеле именно англичанина. Этот отель был в английском духе. И вообще, в Хельсинки особенно уважают англичан, их благовоспитанность, сдержанность. Совсем иное дело гости из Штатов, которых сейчас полно в городе. Немножко шумнее, чем хотелось бы, не правда ли? Метрдотель был счастлив приветствовать гостя из Британии. Кстати, английская королева с супругом, когда она была с визитом в Хельсинки, посетила их отель. Осталась фотография их посещения. Большая честь, не правда ли? У их отеля давняя история. И даже историческая история. Генерал Юденич имел тут штаб в пору, когда его войска наступали на Петроград. Этот зал с белым камином, он так и называется «залом Юденича», сохранен и поныне в неизменном виде. Все это метрдотель рассказывал англичанину Знаменскому, на не слишком хорошем английском, но из хорошо затверженного, это была его обычная информация для почетных гостей. Рассказывая, он вел их куда-то, отдавая на ходу короткие распоряжения возникавшим и исчезающим официантам. Они сразу попали не в парадные помещения, они продвигались узенькими коридорами, поднимались по крутым узким лестницам, они шли в тайное тайных отеля. И куда шли, все таинственней и торжественней становились лица молодых бизнесменов и их друга, профсоюзного деятеля из рабочих. Они просто взволнованными становились, их лица.

В узких коридорах лампочки горели тускло, в темно-коричневых стенах тут жила стародавняя пыль, въевшаяся в обшивку. Не со времен ли Юденича пыль? Он, помнится, напрягся, начал было притормаживать. Но потом журналистская любознательность возобладала, да и спутники его были милейшими людьми, в их планы входило развлечь его, ну, изумить, но и только. Пожалуй, он был поопытнее их, пожив и поработав на Ближнем Востоке, побольше их повидал. Стриптизом каким-нибудь решили угостить, заставив раздеться перед ними неловких и застенчивых северяночек? Вот уж удивят его! Это после Парижа и Каира...

А ветер за окнами все ураганнее делался, он ударял в стекла кулаками песка, сотрясал рамы, и кондиционер в спальне, задыхаясь, жалобно присвистывал. Душно стало, просто невмоготу. И трудно, медленно стало вспоминаться, притормаживать стал Знаменский свою память, будто там,

в узких, пыльных коридорах, на узких лесенках «Севроателя» начал он упираться и притормаживать, решив повернуть к выходу. Но ведь не повернул. Его вели, и он шел.

Память притормозила, помедлила, дала ему поглядеть за окна в эту мглу из песка, дала ему прислушаться к колотящимся в стекла кулакам, и снова повела его в тайную тайных хельсинского отеля, где он покорялся чужой воле, бесечно уверовавший всем опытом своей жизни, что ничего худого с ним не случится.

Вошли. Метрдотель торжественно распахнул дверь и замер, потеснившись, чтобы не мешать гостям.

Комната, куда они вошли, была обыкновенным банкетным кабинетом, из небольших, когда к столу собираются человек десять — двенадцать. И это был запущенный, явно редко посещаемый кабинет. Все в нем в полумрак было погружено, из-за задернутых штор сочился пыльный и коричневый от пыли свет. А когда шторы были разведены одним из суетившихся официантов, то глазам открылись старые, обшитые деревом стены, пыльные, потрескавшиеся, утратившие свой цвет, и открылся стол, на сукне которого пестрели древние пятна, вмиг, правда, исчезнувшие под крахмальной скатертью, которую торопливо накинул на стол другой из суетившихся официантов. И вот уже появились, встав толпой у края стола, маленькие, золотоярлычные бутылочки пива, появились под фигурно заломленными салфетками тарелки с миндалем в россыпи горячей соли, призывно зазвенели бокалы, пробуждаясь и побуждая взять их в руки. Официанты исчезли, метрдотель исчез, стало тихо, как в храме. И лица его новых знакомых, авторов этой наиобыкновеннейшей затеи попить пивка после обеда, ну пусть даже дорогого пивка, в каком-то дорогом ресторане, а вот лица его хозяев вдруг стали даже не торжественными, а напряглись, помрачнели, или нет — важно насупились. С чего бы? Ни яств волшебных, ни вин заморских, столь здесь дорогих, и даже ни намека на стриптиз — какой уж там стриптиз в такой сумрачной комнате? И все? Пивком его решили угостить? Он огляделся, понимая, что чего-то еще не углядел здесь, что неспроста все-таки так напряглись, насупились, заважничали эти три молодых финна. Огляделся и увидел на одной из стен фотографии. Не разобрать было, чьи это были портреты, а это были портреты. Он подошел поближе, чтобы разглядеть. Фотографии были вытянуты в шеренгу. Эта шеренга прерывалась посредине небольшой нишей, в которой стояла маленькая, но в полный рост

скульптура, вырезанная из темного дерева. Он взгляделся, слыша напрягшуюся за спиной тишину. На фотографиях-портретах были одни только мужчины, кто в штатском, кто в военном. Твердые воротнички, старомодная повязь галстуков, а у военных старомодные, кончиками вверх, усы и френчи, каких теперь не носят.

Стоп! Ринулась память назад, сюда, вот в этот город, на улицах которого сейчас хозяйничала пустыня, песком тараня окна и стены, завихриваясь смерчами на площадях. И на той площади, где стоят четверо из гранита, сейчас сплетаются смерчевые столбы, выстрелами хлопая от ударов о гранит.

Фотографии и фотографии... Из одного времени люди, повязанные одной историей и одной эпохой, столь похожие старомодными воротничками и повязью галстуков. Музей и музей! Но только в воротничках и галстуках их сходство, а дальше — различие, противоположность, вражда, ненависть, смертельное противоборство. Музей и музей... Здесь и там, в той коричневой комнате «Севра-отеля». Так вот что добыла ему память?! Ко времени... К месту... Память, о, память наша умеет стучать нас лбом в стену!

Так что же это были за люди на тех фотографиях? Кто же это был изваян там из дерева и, как святой в церковном притворе, помещен в нишу? Память снова, вмиг отмахав пять тысяч километров, примчала его к стене в той комнате, напомнила ему, как он вчитывался тогда, близко наклоняясь, к надписи под фотографиями и скульптуркой. На трех языках были надписи: на финском, на немецком, на английском. Эрфурт... Рангел... Рюти... Вальдек... Гейндрихс... Диттел... В дереве же был изваян Маннергейм... То были люди войны, то были враги, а иные и просто гитлеровцы, которых и врагами невозможно назвать, ибо они хуже врагов, им нет названия, хоть на финском, хоть на немецком, хоть на английском.

А что же было дальше? Вот в этом-то и вся суть: что же было дальше?

А ничего, ничего особенного. Стали пить пиво. Да, разговор прервался, почти прервался, стал труден. Он вспомнил себя там, сейчас, здесь вспомнил. Ему было трудно, вспомнил, что было трудно, хотелось подняться и уйти, он вспомнил, что ему хотелось это сделать. Но он не поднялся и не ушел. Что удержало? То, что он был гостем? То, что он был в чужой стране, живущей по своим законам и со своими кумирами? Но хозяева его нарушили правило гостепри-

имства. Они не должны были тащить его в свою коричневую комнату. Это была их вера, а не его. И все же он не ушел, хотя и замкнулся,— он помнит! Не ушел, хотя ему там было противно до тошноты,— он помнит!— до тошноты. Не ушел...

А они, а Шаумян, Азизбеков, Фиолетов, Джапаридзе, все двадцать шесть, а они бы в той комнате остались? Ни на минуту! Ни за что! Ни ради никакой дипломатии! Они бы ушли! Разгневанные и презирающие! Но... Но... Но их бы и не привели в ту комнату! Не посмели б!

Вот к чему подвела его память, сравнивая и тыкая лбом в стену: его привести туда посмели. Посмели!

Но и это не все. Дальше вспоминать? Что ж, пошли, Память, дальше... Где и вспоминать, как не здесь, где так трудно дышать от урагана за окнами. Когда и вспоминать, как не сейчас, когда отлетел ты уже не памятью, а судьбой. Пошли, пошли дальше...

А дальше было вот что... Попили пивка, хмурые и молчаливо рассорившиеся, похрустели соленым миндалем, потомились от молчания и ушли из этой коричневой комнаты, прогорклой от пыли. Расстались на улице? Нет. Хозяевам страстно захотелось загладить свою вину, они просто умоляли его не покидать их с досадой в сердце. А когда финн хочет загладить свою вину, когда он хочет быть уж совсем беспредельно гостеприимным, он приглашает к себе домой «на сауну». Не в сауну при каком-нибудь отеле или учреждении, что дело обычное и даже почти обязательное, а «на сауну» к себе домой. Выше этого нет гостеприимства. Это означает, что будет и сауна конечно же, но будет питоперепито, будет и разговор по душам с беспредельной откровенностью, какой так редок у молчаливых и скрытных финнов. Как было отказать? Покатили.

Да и нужно было, важно было понять, что толкнуло их, этих финнов, удачливых и жизнерадостных, на столь дикий, мрачный поступок. Ему тогда казалось, он уговорил себя в этом, что, побыв с ними, он их сумеет понять. В пути, он помнит, он все время думал, ну что за люди это, что их толкнуло потащить его в ту комнату? Бравата? Им ли мечтать о черной поре войны и фашизма, столь влюбленных в жизнь? Да, скорее всего, бравата. И он решил, ему захотелось в это поверить, что он столкнулся всего лишь с бравадой. Но чтобы поверить, надо проверить. Он и ехал с ними в гости к одному из них, чтобы проверить. Так ли уж трудно уговорить себя на безрассудство, на бесконтроль-



ность, призвав на помощь рассудительность и самоконтроль. Это хитрая штука — самоуговаривание. В чем хочешь можешь самоуговориться. Он ехал с ними, чтобы понять их. Впрочем, опыт, каким он разжился в последние годы, вполне уверенно сулил ему, что все сложится как нельзя лучше, все обойдется.

Они ехали домой к тому из двух бизнесменов, кто был крупным издателем и, кажется, и сам пописывал, его звали Арво. Вот и еще один довод в пользу поездки: он ехал к коллеге, и уж дома у него он во всем разберется, поглядев его книжечки, картинки на стенах, какие-то еще фотографии увидев. Писатели, журналисты очень откровенны в своем домашнем обиходе, любят похвастать, открывая себя, того не желая. Вот тут-то он и распоймет этого Арво.

Дом у Арво был замечательный. Это был дом, обладающий тем редким секретом, так построенный, так обставленный, в котором хочется жить. Вошел в него и понял, что тебе тут хочется жить. Почему? Трудно объяснить, в этом и секрет такого дома. Уют в доме Арво был симпатичен, комфорт не угнетал своей похвальбой, было много старых и честных книг.

При доме был сад, совсем крошечный, а все-таки сад, с какой-то даже таинственностью, глубиной. Этот дом, конечно же, был рассчитан на семью, но он был пуст, хотя угадывались в этих стенах дети, будто слышались их захлебывающиеся беспечною голоса, угадывалась хозяйка, женщина, чьей волей расставлялась мебель, выбиралась обои, находилось место всякой мелочи. Но дом был пуст, если не считать старушки-домработницы, а возможно, просто соседки, приглядывающей за порядком. В большом этом доме Арво жил один. Ах вот что?.. Одиночество?..

— Семья на озерах, на юге?— спросил он у другого бизнесмена, которого звали Раймо, рассчитывая, что тот подтвердит его догадку.

— Он расстался с семьей,— шепнул в ответ Раймо, а бородач сделал таинственное лицо, давая понять, что все тут не просто, совсем не просто.

Итак, его первая же догадка подтвердилась. Арво жил один, он был одинок, а одиночество чудит с человеком.

Возобновилось застолье, но настороженность, возникшая там, в коричневой комнате отеля, сидела рядом с ними и, как некая хмуристая дама, закинув ногу на ногу, пронзительно поглядывая, покуривая, пускала им дым в лицо.

Было решено затопить сауну. Мигом сбегал Арво за коротенькими аккуратными березовыми полешками, ловко растапливать печь. Сауна в доме помещалась в подвале, но это был прекрасно оборудованный подвал, с комнатой для отдыха, обшитой сосновыми, сучковатыми и смолянистыми досками, жившими еще лесным духом. А сауна, тоже забранная в молодое дерево, набирала тут жар не с помощью электричества, а от печки, в которой мигом занялись, затрещали березовые чурки. Вскоре эта печка накалилась, привыкшая к каждодневной своей горячей работе. И выплеснут был первый ковш на плоский верх, первый легкий парок коснулся голов, это была и сауна и русская парилка, здесь было все просто и понятно, хороша была сауна у Арво. Но и здесь, где бы в самый раз пожить в бездумье, позволить себе расслабиться, доверившись легкому березовому жару, но и здесь настороженность не оставила их.

Казалось, сидит эта дама, накинув белую как саван простыню себе на плечи и бедра, сидит на нижней ступеньке и пытливо, скептически поглядывает на них — голых и смущенных.

Из-за двери раздался голос старухи уборщицы, она звала Арво, сообщала, что кто-то к нему приехал.

Арво сорвался с самого верха, в вихре пара вылетел из сауны, мелькнув нагишом мимо старухи.

— О, началось! — хмыкнул рыжебородый. — Стюардесса явилась!.. — Он пояснил ему: — Это целая история... Война... мир... Вот прилетела...

Ах вот что?! Несчастливая любовь?! Чего только не творит с человеком несчастливая любовь...

Сауна прервалась. Они быстро оделись и поднялись в гостиную. Там, посреди гостиной, стояла молодая женщина в голубом жакетике, с синей шапочкой, короной приколотой к закрученной пепельной косе. Она, казалось, никак не могла понять, зачем здесь очутилась. У нее было выточенно-красивое и очень невеселое лицо, отрешенное. Арво стоял у стены, прижавшись к ней спиной, застывший, смятенный, на себя непохожий. Он был всего лишь в банной простыне. Но был он не смешон в этом наряде, босой, с мокрыми волосами. Он показался гладиатором, только что пораженным мечом. Ах вот что?! Вот как тут у него, у этого хваткого бизнесмена, жизнь оборачивается?!

Гости были забыты, эти двое их не замечали, и гости покинули этот дом, тихонько ступая, будто уходили от больных.

— Финны любят трагически,— пояснил ему Реймо, а рыжебородый закивал, похмыкивая. Он предложил:

— Я отвезу вас в гостиницу. Вы где, в «Президенте» все еще? Квартиру еще не сняли?

— Нет, все еще в «Президенте».

Покатили. Минут через пять подкатили к «Президенту», новенькому, из стекла и металла отелю. Можно бы было и распрощаться. Но рыжебородый увязался за ним. Обойный бизнесмен отвязался, распростился, а этот, профсоюзный деятель из рабочих, толстый и веселый, чуть что и принимающийся хохотать, никак не хотел его покинуть, звал еще выпить, еще добавить.

Ну, в каком-то баре выпили, добавили. Еще куда-то переместились,— здесь, в этом отеле, полно было баров, больших и маленьких,— еще добавили. Почему-то очутились на этаже, где громадный висел портрет президента Кекконена, который был написан Ильей Глазуновым, и рыжебородый, похохатывая, рассказал историю этого портрета и почему он здесь очутился. Президент Кекконен ни слова не сказал, понравился ли ему портрет или нет, он только велел подарить его отелю «Президент». Он пошутил очень по-фински, он сказал: «Этот президент должен пребывать в отеле «Президент».

— О, наш Урхо очень умный человек!— похохатывая, сказал рыжебородый.— Добавим?! Мы должны выпить за его здоровье! Ты прав, ты совершенно прав, нам незачем было вести тебя в ту комнату! Я был против! Но вот за Урхо Калева Кекконена мы должны выпить!

И он повел его, затаскивая в лифт, в стальную просторную кабину со стальными могучими дверями, смыкающимися тяжело и непреклонно.

Они очутились в холле отеля. В просторном, как улица в торговой части города. Тут было все. Был бар, были магазинчики, была тут даже рулетка, небольшой стол, из таких, какие устанавливаются в барах океанских лайнеров. Не Монте-Карло, а все-таки рулетка, а все-таки можно и здесь пополировать кровь, рискнув сотней-другой марок. Рыжебородому обязательно захотелось рискнуть. Завелся человек. Финны, если уж заведутся, их трудно остановить. Рискнул и сразу же просадил все жетоны, купленные им на сто марок. Купил несколько жетонов и он. Помнится, купил, чтобы отделаться от рыжебородого, настаивавшего, напивавшего, как все пьяные люди. Поставил, не думая о выигрыше, лишь бы отвязаться. Поставил на самую ненавистную для

себя цифру одиннадцать. Он почему-то ненавидел эту цифру. Рулетка была пушена, шарик поскакал, заметался и вкатился в лунку с цифрой одиннадцать. Выиграл! Рыжебородый был просто счастлив. Он ликовал, кричал, вскидывая руки, хохотал. Их обступили. И снова он небрежно поставил на ту же ненавистную цифру одиннадцать, только чтобы отделаться. Шарик поскакал, заметался, совсем лениво покатился и снова закатился в лунку с цифрой одиннадцать. Это было невероятно! Целая груда жетонов перешла к нему. Но не он обрадовался, а рыжебородый. Этот ликовал. И уже толпа порядочная ротозеев собралась. Надо было уходить. Это было инстинктивным у него, когда надо было уходить. Жаль, инстинкт этот, наука эта сработала тогда чуток с запозданием. Да, жаль...

Наутро его зачем-то вызвал к себе Посол. Так, какая-то маленькая понадобилась ему информация. Спросил, как ему тут живется, не скучно ли в строгом Хельсинки после шумного Каира? Поулыбались друг другу, пошутили. Посол был из очень славных, симпатичнейший. Прошел войну от звонка до звонка, но не казался старым. Был сухощав, спортивен. Лицо явно примонголенное, он был из Сибири родом.

Вот и все. Да, вот и все, что вернула ему память, здесь поговорив с ним, в этой комнате, где было трудно дышать, потому что за окнами свирепствовал ураган, иссушив и без того сухой воздух. Вот и все...

Да, а еще через два-три дня его снова вызвали в посольство и уже не Посол, а советник по культуре, милейший тоже парень, добрый приятель и тоже из МГИМО, сухогато уведомил его, — на службе сухогатость уместна, — что его отзывают срочно в Москву.

Ну и что?.. Он тогда не придавал этому значения... И прав был. В Москве его долго не продержали. Вскоре он снова очутился на своем Ближнем Востоке.

Вот и все. Ветер за окнами неистовствовал, в смертельную загоняя тоску.

## 21

Маленький вертолет, скользя по барханам диковинной тенью, низко шел над песками. После вчерашнего урагана, вздыбившего тут все, до неба подкинувшего смерчевые столбы, пустыня отдыхала, ее парило, она наново укладывала свои барханные морщины, громадные шары

верблюжьей колючки неприкаянно замерли, не ведая, куда их занесло. Вахтовый вертолет, добытый Мередом у нефтяников, придерживаясь курса асфальтовой дороги, но идя сбоку, заскакивая тенью в пески, был так обычен тут, что верблюды, пасшиеся у шоссе, даже голов не поднимали, не шарахались от странной, несущейся тени, вообще считали эту неуклюжую, громадную и очень шумную птицу вполне своим существом. Меред не обманул, обещая, что можно будет почти касаться рукой спин верблюдов, так низко пойдет вертолет. Верно, совсем низко вел молоденький, азартный пилот машину, все можно было разглядеть на коричневой равнине песка, всякую малую тропку, насвежо проложенную каким-то трепетным, мелькающим существом, тушканчиком, может быть, ящерицей, а может быть, и змеей. Пустыня жила своей жизнью, давно приняв вертолет вместе с его тенью и яростным шумом мотора с посвистом лопастей в свой мир. В свой мир были приняты и вшагнувшие в пески буровые вышки, то тут, то там выглядывавшие из-за барханов. В свой мир уже начинали принимать здесь бесконечный протяг из труб, укладываемых в траншею, извиристую, как змея, если только возможны многокилометровые змеи.

Меред забыл о своих спутниках, он приник к окну, отодвинул стекло, ветер сразу же слезы высек из его глаз, но Меред смотрел, смотрел, чуть что не вываливаясь в окно, и что-то кричал, безмерно счастливый, кричал или пел, ветер сминал его слова, сносил звук, закручивал в общий рокот и посвист мотора и лопастей. Меред был счастлив. Он, наверное, все же пел, а не кричал, он пел от счастья, переполнявшего его. Трубы, трубы тянулись через пустыню, трубы, по которым совсем скоро пойдет вода. Вода! Он пел, конечно же, а не кричал. И если можно бы было разобрать в вертолетном треске слова его песни, то это были бы слова о воде, о чуде, которое сотворит вода в этих бесплодных песках, о счастье его, Мереди, что он дожил до этих дней, когда снова пришла сюда вода, на бесплодную эту землю, но некогда плодоносную.

— Вот он, счастливый человек! — громко, чтобы пересилить шум мотора, сказал Самохин, кивнув Знаменскому на Мереди. И все так же громко продолжил: — Я задумываюсь, там ли я искал свое счастье в жизни?! Все чаще задумываюсь!.. Дурно спали эту ночь?! А я так и совсем не спал! Думал, не тайфун ли какой-нибудь накинудся на Краснодарск! Страшная штука, эти тайфуны! Не довелось испы-

тать?! А я, знаете ли, два года прослужил в консульстве на Яве! Рай, просто рай, а не земля! Но тайфуны!.. Никакого рая не захочешь, когда ветерок начинает дуть со скоростью в двести километров! Все сносит! Дома летают в воздухе! И самое страшное, что необъяснимый схватывает тебя страх! Ну, просто свихиваешься от страха! Именно, необъяснимый страх, то есть человек не может сам себе объяснить, что происходит! Мозг отказывается понять! Оттого и ужас! Подобное же состояние испытываешь, когда начинается землетрясение! Не доводилось испытать?! Теперь испытаете! В сейсмическую зону переселились! А я разок попал! Господи, это даже страшнее страха, страшнее тайфуна! В Японии тогда служил, представлял в Иокогаме! Перепугался, знаете ли, на всю жизнь!— Он говорил, выкрикивал, о чем-то страшном выкрикивал, но губы у него благодушно шевелились, он был доволен чем-то, в хорошем, благодушном пребывал настроении. Похоже, разглагольствуя сейчас, он тоже пел, это его была песня, исторгшаяся из души, возникшая из чувства полета, из радости полета, тоже, видимо, совершенно необъяснимого чувства.

А вот Знаменский так и не выбрался из вчерашней тоски. Не летелось ему сейчас, не смотрелось на диво пустыни, диво труб, которые вот-вот грянут тут водой, на семь веков покинувшей эти места.

— Ростик, дорогой, смотри, белый верблюжонок!— обернул к нему сияющее лицо Меред.— Это к счастью! Добрая примета! Хорошим пловом нас будут встречать!— И он опять усунулся в окно, опять завопил свою песню счастья.

Короткая остановка в Небит-Даге, где вертолет заправился горючим для трехсоткилометрового броска к Кара-Кале. На площадке, под навесом, уже ждал их стол, так щедро заваленный дынями и многоцветным виноградом, что чудо земных этих даров перестало казаться чудом, становясь обыкновенностью. Столько было всего, что ни к чему уже не тянулась рука. И это заметил мудрый и хорошо себя нынче чувствующий старик.

— Замечали, Ростислав Юрьевич, когда столь щедр стол, то и азарта нет вкусить от щедрот?— сказал Самохин.— Человеку необходимо создать ситуацию, когда бы он мог пожадничать. Скорей, скорей чтобы схватить! Самый лучший кусок!

Но тут ему на отдельном столике вынесли графин с чаем, и милая, очень смущающаяся девушка, вся увешанная старинными украшениями из серебра, в шапочке в сереб-

ряных бляшках, в длинном синем платье до пят, вся сокрытая да еще и лицо почти сокрыв согнутой в локте рукой, вдруг так глянула на старика, блеснув глазами и зубами, что он замер, осекся и влюбился.

— Остаюсь!— шепнул он, тараща глаза. И остался бы, ей-богу, шутка уже не шутка, когда такие сверкнут глаза, но сморгнул, глянул, а девушки уже нет, только столик с мутным чалом в графине стоял перед ним, да пиалушка зеленая ждала, когда он ее наполнит. И все вспомнилось, нефрит вспомнился, отлетела радость.

Встречавшие, солидные, хотя и молодые хозяева города, уговаривали Самохина остаться на часок, поглядеть город, который был просто замечательным, ведь он же возник в пустыне, а вон теперь какие тут дома, какие прижились деревья, но Самохин был непреклонен. Он отхлебнул чала и заспешил.

— Город ваш замечательный, согласен, но он не войдет в зону туризма,— сказал Самохин.— Посмотрим с воздуха. Нам надо засветло попасть в сухие субтропики, в Кара-Калу. Как-нибудь в другой раз...

Знаменский отошел чуть в сторону, отстранился от разговора, да его никто и не уговаривал остаться, про него сразу тут поняли, что он не более как сопровождающее лицо. Либо поняли, догадались,— догадливый народ эти молодые градоправители,— либо заранее были извещены о нем, как извещен был Меред, зона-то приграничная, тут каждый человек учтен и примечен. А он так и держался, как сопровождающий, хоть на шаг да позади Самохина. А сейчас и просто отошел в сторонку, сойдя с асфальтовой полосы, мягкой, почти вязкой, сразу же ступив в пустыню, в пески, в барханную до горизонта рябь. Тут вокруг все было резко обозначено, резко поделено. Вот — новое, вот — старое, вернее, древнее, просто даже библейское, добиблейское, существовавшее в миг сотворения мира. Тогда именно так и было. Убийственно пекло солнце, на которое невозможно было поднять глаза, до горизонта тянулись застывшими волнами барханы, неподвижными казались в далеком мареве верблюды, эти странники вечности, но тут, если на тысячелетия мерить, еще недавние пришельцы. Несколько бетонных плит вертолетной площадки, домик из сырца с оплавившейся крышей, потекшей гудроном, какие-то чахлые деревца с железными листочками, изнемогшие машины, сбжавшиеся под незримую тень домика и деревьев, люди у столика с плодами и сосудами — это все было нереальным

тут, странным, принесенным лишь на миг каким-то причудой-ветром, чтобы через миг и сгинуть. Реальным, навечным тут были барханы, зной, эти верблюды, парящие в мареве.

К Знаменскому, возникнув ниоткуда, как шар из колючек, подкатился старик в черном халате и узорчатой черно-белой тюбетейке. Нет, это был не старик. Крепкозубым оказался, когда разжал тонкие губы. И просверлили Знаменского зоркие, узкими щелочками, глаза. Подкатился, уставился, сверкнул узко зубами, спросил тонким голосом, странно-распевно произнося русские слова:

— Зачем приехал? Песок считать?

— Сопровождаю,— сказал Знаменский.

— Этот больной бурдюк?— сверкнул белесой полоской зубов человек в тюбетейке.

— Не понял.— Знаменский решил повернуться к тюбетейке спиной, но не повернулся. Глаза из-под тюбетейки — удержали. Была в их взгляде-дуплете сила, наглая, бесцеремонная, вязали движения эти буравящие глаза.

— Прикрывает тебя, так?

— Не понял.

— Я понял. Его туша, а твои глаза и уши. Иди, зовут. Ты из Москвы?

Знаменский промолчал, медленно, трудно, как если бы отдирали от плеч что-то липкое, как мы во сне отдираем, освобождаясь от настырных глаз.

— Не пожалели человека, пригнали к нам в такую жару! А в Москве сейчас прохлада! Вах, не жалеют у нас людей!— Голос за спиной глумился, истончаясь, язвил, человек в тюбетейке шел по пятам. И вдруг умолк, едва Знаменский ступил на бетон вертолетной площадки. Знаменский оглянулся. За спиной тянулись барханы, плыли в мареве верблюды, будто свершая очень торжественный танец, и не было никакого человека в тюбетейке. Нырнул, должно быть, в ряды встречающих, растворился.

И вот они снова в воздухе, и помрачневший Самохин печально смотрит на пронсящуюся рядом с вертолетной тенью землю, на этих игрушечных славных верблюдов, таких тут красивых, созвучных с пустыней, и прощается, прощается со всем этим миром окрест, понимая, все время помня свою беду и понимая, что другого-то раза уже не будет.

Слева открылись холмы и предгорья Копетдага. Все вверх и вверх идущие гряды. Где уже выжелтившиеся холмы,



где черновато-коричневые скалы, где убеженные от солнца глубокие темно-зеленые расщелины, где, если совсем вверх глянуть, снежные, избывающие тайнички,— загадочный и влекущий мир.

— А знаешь, Ростик, дорогой,— снова обернулся от окна Меред,— а у нас тут в горах страшные бандиты прячутся! Сбегают сюда от правосудия! Месяцами живут, грабя чабанов! Попробуй, отыщи их тут! Ну, конечно, в конце концов их ловят. Я бы тоже сбежал сюда, если бы был бандитом!— Он снова усунулся в окно, но лицо его успело опечалиться, песню горланить он не стал.

В Кара-Кале, на крошечном вертолетном аэродроме, прильнувшем к крутящейся, обмелевшей горной речке, их встречал маленький, пряменький летчик с большими усами. С Мередом он обнялся. Они потоптались немного, стараясь один другого приподнять от избытка чувств. Меред был куда потяжелее летчика, но летная сила одержала верх, и маленький летчик по-борцовски, изловчившись, высоко поднял круглого Мереду, а потом мягко, нежно опустил на землю. С гостями летчик поздоровался по-военному сдержанно: отдал честь Самохину, чуть кивнул Знаменскому.

— Добро пожаловать,— сказал он и, будто усомнившись, что его поняли, перевел:— Салам алейкум.

Дорога в город была дорогой через сад, где рощи миндалевых и фисташковых деревьев сменяли аккуратные ряды виноградников, а потом шли высокие стволы ореховых деревьев с зелеными, еще на себя не похожими грецкими орехами, а потом шли яблоневые сады, но везде, вперемешку, стояли гранатовые невысокие круглокронные деревья, тоже пока не с красными, а с розоватыми плодами. Вдали начинались горные гряды, вблизи то появлялась, то исчезала речка, шурша водой по каменистому, обмелевшему руслу. И небо тут было не пустым, не казалось яростным зевом раскаленной печи, а бежали по нему легкие облака, похожие на многоголовую отару.

— Вот это вот для туристов местечко!— сказал Самохин и грустно огляделся.— Рай...

Быстро промелькнули одноэтажные дома городка, загороженные ветвями, а потому загадочные, мелькнули и два три дома из стекла и бетона, которых деревья не могли загородить, а потому эти дома показались тут голыми, не к месту, случайно забредшими. Машина, а они ехали на везде-

ходе, а еще один вездеход их сопровождал, что говорило не столько об уважении к приехавшим, сколько о повседневности забот этого райского уголка, столь близко отстоящего от государственной границы, машина их въехала в ворота, открывшиеся, покотившиеся на колесиках, и очутилась в квадрате двора, где все было четко расставлено. Справа стояло большое сливовое дерево, слева пяток старых яблонь, очень ухоженных, белоствольных, а прямо, позади круглой клумбы с российскими анютиными глазками, вытянулся белый одноэтажный дом с веселенькими занавесочками на окнах.

— Дом для почетных гостей,— сказал усатый летчик.— Имеется душ, в комнатах работают вентиляторы, сторож или его жена приготовят вам чай, кипятик тут круглосточно, в столовой вам накрыт стол, а вам,— он глянул на Самохина,— подготовлен чал. Отдыхайте. Через два часа я заеду за вами, покажу наши достопримечательности, а потом повезу во Дворец культуры. Соберется городской актив. Ждем от вас, товарищ Самохин, рассказа о перспективах нашего края, желательно, чтобы вы и о международном положении нам рассказали, поскольку ваш опыт Чрезвычайного и Полномочного Посланника для нас будет очень интересен.— Летчик, произнося звание Самохина, с большой буквы обозначил каждое слово, уважительно и строго глядя на старика. Говорил летчик очень чисто по-русски, но жил в его русском акцент, свой распев был, который отличался от акцента Мереда, мягче, легче текли слова, пусть даже официальные и казенные.

— Вы не туркмен?— спросил Самохин.

— Азербайджанец, товарищ Посланник.

— Да не зовите меня Посланником,— слабо запротестовал Самохин, легонько отмахнувшись рукой, будто отмахивался от бывшего, но не очень настойчиво, поскольку жизнь-то у него в былом была, а не в нынешнем дне.— Кстати, о международном положении мог бы лучше меня поведать мой спутник Ростислав Юрьевич Знаменский. Он международник по профессии.

— Да, да...— Летчик коротко глянул на Знаменского и отвел глаза.— Мы ждем вашего доклада, товарищ Самохин.— Он козырнул, легко выпрыгнул из машины и снова козырнул, когда Самохин ступил на землю. Этот почет был адресован только ему, Знаменского летчик просто не замечал.

— Меред,— сказал летчик.— Я поехал, хозяйничай. Но помни заповедь аллаха!

— Угощающий, дорогой, да разделит трапезу с гостем!— живо отозвался Меред.— Ты про это? Пусть Посланник и Докладчик пьют свой чал, а мы, презренные, можем и нарушить одну из сур Корана. Кто с нас взыщет, с презреннейших? Кстати, Ибрагим Мехти оглы Мамедов! Смотрю, большим ты начальником стал! Официальным стал!

Летчик чуть усмехнулся диковатыми, зоркими глазками, вскочил в машину, по-военному указал протянутой рукой маршрут. Машина рванулась, развернулась, выскочила за ворота. Машина сопровождения — следом. И ворота покатались на колесиках, смыкая железные створы.

## 22

Неведомо, какие у этого городка были достопримечательности, а вот семья сторожа при доме для почетных гостей, вот она была достопримечательной. Она состояла из главы семьи, пожилого туркмена, громадного и очень уж подсушенного солнцем, из его супруги, в отличие от мужа тучноватой, но с молодым и даже пригожим лицом, которое эта женщина не прятала ни за платком и ни за локтем, потому что ей было некогда заниматься игрой в прятки, а некогда ей было блюсти обычай, потому что у нее было до дюжины ребятишек, погодков, видимо, самым старшим из которых было лет четырнадцать — тринадцать, а самый младший еще покоился на материнских руках. Вот эти ребятишки и были достопримечательностью. Они как раз отправились с матерью по каким-то делам в город. Все, весь выводок. Мать шла впереди, плавная, горделивая, по-балетному ставя ноги в мягких чувяках, будто чуть-чуть она при-танцовывала, и самый маленький спал у нее на руках, покачивая черной головкой в такт материнским шагам. Мать шла впереди, ничуть не заботясь об остальной своей детворе. Пройдя через калитку, она пошла по узкой дорожке и даже ни разу не оглянулась. Знаменский, которому не отдыhalось, давно уже бродил за воротами, хмурый и оскорбленный, обиженный летчиком, хотя вполне можно было понять летчика, если учесть, что тут, на границе, все, кому следовало, о нем уже всё знали. Ясное дело, трудно было предположить, что его попросят выступить перед местным активом. Спасибо, что вообще пустили

сюда, в приграничный город. Все так, но обида не рас­суждает, она гложет душу. И Знаменский, покинув Само­хина, подсевшего к своему чалу, покинув Мереду, который принялся было его уверять, что этот Ибрагим Мехти оглы славный парень и что не следует на него обижаться, вышел из дома, вышел за железные ворота, побрел по улочке, без цели, отгоняя мысли, не замечая жары. И вот ступила за ворота эта мать-героиня. Да, на бархатном фиолетовом жилете, который она надела поверх красного до пят платья, среди обычных украшений туркменки, множества всяких бляшек и кругляшек из серебра, еще посверкивала золо­том звездочка материнского героинства. Вышла на улицу мать, и потянулись следом ее ребяташки. И на них-то и загляделся Знаменский. Нельзя было не заглядеться. Один за другим, один за другим, вытянувшись в цепочку, шли дети. Старший вел младшего, младший еще более младшего и так по нисходящей до замыкающего, который едва ковылял, едва попевал, года два ему было, но все же не отставал, подтягиваемый ведомым, которому было года три, которого подтягивала девочка лет четырех. В том-то и суть была всего этого шествия братьев и сестер, что они подтягивали друг друга, помогали друг другу и каждый отвечал за младшего, у каждого или каждой был свой подо­печный. И так до нисходящего. За нисходящим медленно выступала большая собака неведомой породы, рыжая и хму­рая. Страж! А мать ни разу не оглянулась. Она плыла, легко, по-балетному переступая, хоть и тучновата была, гордо шла и ни разу не оглянулась, веря своим ребятам, доверяя каждому каждого.

Знаменский смотрел на это шествие и оттаивал. Обме­лела в нем обида. И вдруг сказалось вслух:

— Все правильно... Все правильно...

Вскоре подкатил на могучем вездеходе маленький летчик с большими усами и повез их удивлять.

Сперва он привез их к берегу горной речки, которая из последних сил добывала и подносила воду этой долине, и все, что росло тут, пышно, ярко и плодоносно,— все было обязано этой речке, ее неустанности, ее высокому чувству служения. Она казалась живым существом, так напрягалась, так пробивалась через преграды, из камней, так вдруг радостно принималась звенеть своими ручейками, упорными, живыми.

— Сумбар!— уважительно произнес летчик.— Ее и на подробной карте не всегда найдешь. Но эта река нас-

тоящий друг. Я, когда падаю духом, хожу к ней, стою вот тут на берегу. Нет ничего выше друга.

— А ты, оказывается, иногда падаешь духом? — спросил Меред.

— Слушай, куда судьба загнала? Это не моя земля, это твоя земля. Почему, скажи, я должен учить людей летать в этом небе?

— Плохо тебе здесь? Ассом стал. Усы отрастил.

— Слушай, кому тут нужны мои усы? Ваши женщины смотрят на таких круглолицых, курносых и безусых, как ты. Что за вкус?! Но женщины странный народ.

— О вкусах не спорят, дорогой, — сказал Меред. — Ты в стране иомудов. Да, мы курносые. Но ты зря завидуешь мне. Я тоже иногда хочу постоять на берегу этой речки.

Друзья шутили, лукавые их глазки посмеивались, но рядом жила река, в трудной, упорной, непрерывной пребывая работе, но рядом были горы, иные, чем в Ашхабаде, потому что действительно были рядом, а те, там, были далекими и лишь казались близкими, и рядом была граница, но вокруг, обступая, стояли из рая деревья, гранатовые, миндалевые, фисташковые, но где-то по соседней улице шли сейчас, растянувшись вереницей, взявшись за руки, двенадцать ребятишек, а впереди шла мать, а позади шла собака-сторож — и все это было столь серьезно, величественно и извечно, что и в шуточных словах двух приятелей чудилась Знаменскому какая-то притчевая значительность, хотя все дело, наверно, было не в словах, не в людях, не в мире окрест, а в нем самом, в той короткой и строгой мысли, которая пронзила его: «Все правильно... Все правильно...»

Следующей достопримечательностью, куда летчик привез их, была опытная станция Всесоюзного института растениеводства. Еще в машине летчик начал читать лекцию, важничая и топорща усы.

— Этой станции больше пятидесяти лет, — сообщил он. Основана русской женщиной. Художницей, представьте. Приехала на этюды сюда и осталась. И поменяла судьбу. Замечательная, изумительная женщина. Я упросил ее, она вас примет.

— Почему же надо было упрашивать? — обиделся Самохин. Был он молчалив и сосредоточен, видно, загодя готовился к своему выступлению перед активом города. И на реке и в машине по пути на станцию он то и дело вскидывал голову, чему-то величественному улыбался, руки вдруг разво-

дил. Наверняка уже толкал свою речь, пока безмолвную, репетировал.

— Она у нас очень занятой человек,— сказал Меред.— Простим ее, она не очень одобрительно встречает всякие делегации, особенно туристов. Но простим ее, она вырастила более шестисот сортов опытного, сортового винограда. Под ее руководством тут ведется громадная работа по отбору, акклиматизации и селекции новых субтропических культур.

— Ты будешь говорить или я буду говорить?— теперь обиделся летчик.

— Я буду говорить, дорогой Ибрагим Мехти оглы,— сказал Меред, вытянутой ладонью отстраняя возражения.— Это моя земля!

— Но я над ней летаю. Я ближе к аллаху!

— Но я здесь родился. И тоже, когда служил в армии, охранял ее.

— Главным образом, полагаю, на гауптвахте.

— Угадал. Туркмены, дорогой, плохие солдаты, но они хорошие воины. Так вот... Здесь создана коллекция плодовых растений, насчитывающая сотни сортов винограда, слив, абрикосов, алычи, яблонь, груш, вишен, черешен...— Меред прервал рассказ.— Мы это все попробуем, друзья! Да... И здесь выращиваются субтропические плодовые культуры, только на этой земле, и учтите, на туркменской земле. Перечисли эти культуры, Ибрагим Мехти оглы, разрешаю.

— Что, слюна мешает говорить? Хорошо, я выручу тебя. Вот перечень субтропических плодовых, которые родит земля моего друга Мереди. Это — инжир, гранат, маслины, хурма, фисташки, миндаль, финики, да, да, финики! Что еще? А, грецкий орех, который падает с дерева прямо вам на голову.

— И часто раскалывается от этого прикосновения,— сказал Меред.— И падает на ладонь уже в раскрытом виде. Ешь не хочу!

— Но далеко не всякая голова умеет раскалывать грецкий орех,— сказал летчик.— Тут нужна круглая голова, с короткой стрижкой.

— Намекаешь, дорогой?

— Намекаю, дорогой.

Ехали-ехали, в какие-то неказистые ворота въехали и вдруг очутились в тенистой аллее, нет, на дороге в лесу, но только лес этот был из могучих ореховых деревьев,

в ветвях которых нависли в зеленых еще пока чехлах орехи. Машина ехала, ехала, сворачивала, и всякий раз, за каждым поворотом открывались глазам все новые уголки сказочного леса — миндалевого, фисташкового, яблоневого, алычового...

Но вот машина остановилась. Дальше пошли пешком, входя в неоглядные ряды и дали виноградников. Целые улицы виноградных лоз. Многоцветные улицы, а были и одноцветные. Одна улица — фиолетовая, другая — зеленая в желтизну, третья — розовая, четвертая — почти красная. А на маленькой, строго круглой площадке, куда сходились многие из этих улиц и где стояла водоразливная колонка, изливавшаяся тонкой струей, их ждал стол, обыкновенный дощатый стол, на котором слились гроздьями все сорта, все цвета виноградные и над которым прозрачной синевой подернулся воздух, мускатным пронизанный ароматом. И еще был тут стол, где горками высились миндаль, фисташки и орехи из прошлогоднего урожая. Возле этих столов на брезентовом раскладном стульчике сидела старая, грузная женщина, в кофте навывпуск, в стародавней, из былого, панаме, с вычерневшимся от старости янтарным ожерельем на шее, с уставшими руками, покоящимися на коленях. Сюда бы кустик крыжовника, сюда бы ей за спину вишенку, заборчик из старых досок, заросший малиной, сюда бы одну-единственную хотя бы старую березу с их дачного участка, и поверил бы Знаменский, что его мать тут сидит, кинулся бы к ней, поверив бы в чудо, что вот очутилась здесь. Он и шагнул к этой женщине порывисто. Она подняла на него усталые, умные глаза. Всмотрелась, покивала ему.

— Вы похожи на мою мать,— сказал Знаменский, склоняясь, целуя ей руку, тяжелую, рабочую руку садовника.

— Мне рассказывали о тебе,— сказала старая женщина совсем негромко, чтобы только он услышал.— Не горюй. Я тоже была несчастлива, когда очутилась на этой земле. Неприкаянной была. Этюдики? Что этюдики?! Все мы что-то там такое изначальное рисуем в жизни. Но рисует-то жизнь...— Она поднялась.— Ну что ж, друзья, добро пожаловать в туркменские субтропики. Вот они у нас какие... Пошли, покажу вам совсем новые сорта, кара-калинские, одному я уж и имя, кажется, нашла: «Эюд»...— И пошла, трудно ступая, но и привычно ступая по взрыхленной, бугристой земле между виноградными шпалерами.

Знаменский не пошел вместе со всеми, остался тут,

чтобы побыть одному. Снова пришли к нему эти слова, эта пронзительная мысль, как боль, вырвавшаяся вслух. Он и сейчас их произнес вслух:

— Все правильно... Все правильно...

А потом был серпентарий, знаменитый на весь Советский Союз змеепитомник, про который и в «Правде» писали, и по телевидению его показывали. Знаменский вспомнил эту передачу «В мире животных», бывая в Москве, он старался не пропускать эту передачу, ему симпатичны были ведущие ее люди, искренне влюбленные в своих зверей и зверушек; а он-то знал, что искренность не наиграешь по телевизору. Так-то оно так, но он-то, выступая, был искренен, ему говорили, что он располагал к себе, внушал доверие, а он вот где очутился со своей искренностью.

Прославленный глава змеепитомника, смелоликий, явно ковбойского облика, если судить по вестернам, русский с проседью мужчина лет сорока, был откровенно не рад очередным визитерам. Похоже, наскучила ему эта слава, как наскучивает она герою бесконечного сериала, которому и по улице уже нельзя пройти неузнанному. Он был томен, загадочен, молчалив и даже слегка грубоват, счастливо не ведая, что один к одному подражает киногероям, что суровость его от позы, а не от природы.

Ну, показал он свое хозяйство, вольеры, в которых сейчас змей не было, они сейчас в пустыне пребывали, в естественном, так сказать, своем регионе. Их там осенью и отловят опять, вернут в неволю, «доить» начнут, выкачивая из-под зубов крошечные капельки яда, целебного, но и смертельного, смотря как им распорядиться. Словом, некая ферма, где и дойка, и выпас, и отгон, и пригон стада. Ну, рассказал, что стадо-то отлавливать всякий раз надо со страхом в сердце, не простое это дело, потери каждый год случаются, то одного, то двух змееловов, бесстрашных парней, между прочим, терять приходится, но привыкли они тут, такая работа, так что вот и все о себе, граждане ротозеи. Да, а еще показал пяток змей, трех гюрз и двух кобр, которые еще оставались в питомнике. Под занавес был продемонстрирован коронный здесь номер. Он вынес в руках громадную кобру, близко к себе неся, вровень были их головы, его, прославленного смельчака, и кобры, прославленной убийцы. Тут полагалось всем ротозеям-визитерам ужаснуться, шарахнуться и проникнуться почтительным уважением перед таким бесстрашием.



Но на сей раз вышла осечка с этим номером. Знаменский знал, много раз в своих поездках по Востоку наблюдая подобные сценки, что кобра не ударит, если не раздуты ее щеки, что эта змея страшна, но прямодушна, что ли, и она предупреждает своих врагов, мол, «иду на вы!» раздутием щек. Он подошел к змеелову, горделиво несшему кобру, встал рядом, убедившись, что кобра не зла, не раздувается, встал совсем рядом, лицом еще ближе придвинувшись к кобре, чем сам прославленный змеелов. Рисковал, конечно. Но он и любил риск. Он сейчас себя вспомнил недавнего, озорство в нем выиграло. Противен он был себе, притихший. Сейчас он себе хоть на миг да понравился, сам себе вспомнился. И радостно стало от этих возгласов испуганных и Самохина, и Мерета, даже и самолюбивого усатого летчика. Он демонстрировал себя, чуть сверх меры подзадержавшись лицом к лицу с коброй, которая, похуже, начала просыпаться. Но змеелов лица не отводил, не отводил и Знаменский. Глаза в глаза встретились. Один все знал про змей, и змея была у него в руках, он ее чувствовал, дрожь ее тела нарастающую осязал, а другой почти ничего не знал про змей, на восточных базарах их наблюдал, ну, в таких же вот змеепитомниках, он не знал змей, он вступал в зону серьезного риска, но ему и важно было побыть в этой зоне, где оживало в нем самоуважение, где он просыпаться начинал, как бы выбираясь из слишком затянувшегося кошмара. Глаза в глаза стояли эти двое, а между ними слабо покачивала прекрасной, грозной головой кобра, в миг один могущая убить. Первым опомнился змеелов. В конце концов, это был для него всего лишь спектакль. Ну, нашелся человек, либо знающий змеиные повадки, либо просто глупый, пижон, так сказать, из тех, что лезут, не зная брода. Змеелов опомнился и даже подыграл Знаменскому, испуганно крутанув змеиное тело, ловко упрятав змею в холщовый мешок, который висел у него на поясе. Он все это проделал с мастерством фокусника, но делая испуганные глаза. Он даже одарил Знаменского восхищенной улыбкой, похвалив:

— Ну, парень!— Спросил тихонько:— Знаешь или сдуру? Укус кобры в лицо никакими препаратами не снять. Это — смерть.— Знаменский отозвался ему такой своей самой из самых улыбкой, так радостно ему сейчас было, легко, мальчишески легко, что змеелов смягчился, позабыл про скуку и важность, по-мужски принял этого пижона в свой суровый мирок. Он сказал, как одарил:

— Поступай к нам, парень. Возьмем.

— Может, и поступлю,— сказал Знаменский.— Не исключено.

К ним осторожно приблизился Самохин.

— Что за номера, Ростислав Юрьевич?— недовольно спросил он.— Недоставало мне еще отвечать за укушенного зятя.

Отомстил старик! Напомнил! Трудно ему было стерпеть, что вот такое возможно молодечество в поверженном и униженном. Совсем не из худших стариков старик, но трудно уступать лидерство, наблюдать, как кем-то при тебе восхищаются, кем-то, кто в явном подчинении у тебя, да еще и в опале. Старость охотнее привечает неудачливых из молодых. Старость любит пожалеть, недолюбливает азартных. Азарт — ведь это молодость, жизнестойкость, когда ни тебе нефрита, ни тебе цирроза и всяких там инфарктов миокарды.

Но и молодые, Меред и усатый маленький летчик, но и они отчего-то опечалились. Позавидовали его безрассудству? Может быть, может быть... Смелость почти всегда сродни с безрассудством, но потому и пленительна.

— Скажи, дорогой, ты знал, что к кобре можно подойти, когда она не надулась?— стал допытывать Меред.— Опыт был? Обучил Восток?

Знаменский молчал, улыбался.

— Опыт опытом, а и я струхнул,— сказал знаменитый змеелов, страшно довольный, что может поддержать этого парня, этого приезжего, который, похоже, сильно досадил Мереду и летчику, здешним мужикам, многое знавшим про змей, но струхнувшим вот.— Интуиция у человека, я так думаю. Seriously зову, переходи к нам. Много наперво не обещаю, а три куска за сезон возьмешь. И гуляй потом! Хоть в Сочи, хоть в Ялте! Змееловом быть — нужна смелость. Наш талант — смелость. А смелость от интуиции, я так думаю. Авиатор, я верно рассуждаю?

— Верно, но только отчасти,— сказал летчик.— Интуиция нужна, конечно. Обязательна! Но, как говорит наш начальник, информация мать интуиции. Поехали, друзья! Интуиция, но прежде всего мои наручные часы мне подсказывают, что народ уже собрался во Дворце культуры, что вас уже ждут, товарищ Самохин!

Прощаясь, глаза в глаза снова встретились Знаменский и змеелов.

— Что, в черной полосе обретаешься?— спросил змеелов.

— Угадал,— сказал Знаменский. Этот змеелов ему начал нравиться, да он сейчас и не актерствовал, он сочувствовал.

— А то оставайся, от души говорю. Ну их!

— Не могу.

— Понял. Если что, приезжай. Анкеты у меня не заполняют, у нас в пески идут, с уловочкой и мешочком холщовым. Простое дело. А?!

Они постояли, крепко тиская руки,— у змеелова рука была в грубых, рваных шрамах,— покивали друг другу и расстались, довольные друг другом.

## 23

На Посланника во Дворце культуры собрался весь город. Афиша громадная была вывешена у входа, перечислявшая все былые и нынешние ранги Самохина. У входа, когда подъехали, толпился народ, чтобы встретить важного и знаменитого гостя. Это были юные девушки, тюльпанами платьев расцветившие скучные ступени Дома культуры, вот только теперь, когда сошлись сюда эти девушки, ставшего напоминать дворец. Сюда приехали и пограничники, в черноту загоревшие, в своих забавных зеленых панамках, такие сильные и прочные парни, служившие на такой границе, где служба особенно трудна и строга. И они были взведенными, как боевые курки. Даже ухаживали они за девушками-тюльпанами как-то порывисто, дерзко. Взглядывали-поглядывали, все в миг умея углядеть, хотя девушки клонили под этими взглядами головки, укрывали согнутыми локтями лица. Так поступали тут и русские девушки, переняв обычай, который был обычаем и их прабабок, он им, нынешним, здесь пригодился. На этих из бетона ступенях древнее возрождалось кокетство, древняя же и повадка вернулась — молниеносно приглядывать себе невест.

Важный Самохин проследовал во дворец, а Знаменский не пошел туда. Его и не позвали. Он остался в толпе молодых. Девушки украдкой поглядывали на него, решая, молодой он еще или уже старый. Тот отсвет азарта, когда близко придвинулся к кобре, еще жил в его глазах, и девушки углядели этот блеск, решили, что он все же молодой еще. Он понял, что он им стал интересен. А

зоркие, взведенные парни тоже свое про него поняли, прикинув на всякий случай, как его побыстрее скрутить и кинуть, если что. Кажется, и парни решили, что он все же сразу не даст себя скрутить и кинуть. Он понял это по негасшему интересу в их ястребиных глазах. Хорошо ему стало в этой молодой толпе. Здесь и воздух был особенный.

Но тут задрезжал звонок, совсем по-школьному, и парни и девушки, вчерашние ведь школьники и школьницы, кинулись в дом.

Знаменский остался один на площадке перед Домом культуры. Наскочил с гор ветерок, снес в сторону фисташковую шелуху и конфетные бумажки, унес, отнял у него и этот воздух молодой. Одиноко стало. Обида вернулась. Томящая вернулась безысходность.

— Зачем здесь стоять?— На ступенях появился маленький усатый летчик. Он четко отщелкал каблуками по ступеням, он все делал четко и встал перед Знаменским, вскинув голову, чтобы в глаза ему заглянуть.— Я тоже решил эту лекцию не слушать. И вашу бы не стал слушать. Почему? А потому, что я сам каждый день себе лекции читаю. Что такое наши мысли, наши размышления? Лекции! Только аудитория не очень большая. Ты — говоришь, ты — слушаешь. Ты — задаешь вопрос, ты — отвечаешь. Ты — объяснял и ничего не понял, ты — слушал и тоже ничего не понял. Зачем нам здесь стоять и нюхать пыль? Пошли на Сумбар.— Он не стал ждать согласия Знаменского, твердо взял его под руку, повлек за собой, все вскидывая голову, чтобы видеть глаза очень уж рослого для него собеседника.— Обидел я вас? Зря обижаетесь на такую ерунду. У вас теперь строгая полоса. По трудной тропе идете. Что ни миг, возможен камнепад. Один проскочил, другой проскочил, третий впереди. Тут уж не до комариных укусов, их просто не замечаешь. Все лицо в кровяных насосах, а ты этого не замечаешь, ты на скалы смотришь, на камушки проклятые, не шевельнулся ли какой.

— Очередная лекция?— спросил Знаменский.— Только теперь уж на аудиторию?

— Согласен, говорю, как лекцию читаю. Не умеем мы разговаривать. На поучения все нас тянет. Прости, дорогой.

— Вы кем здесь?

— Так... Вертолетчик. «Орлята учатся летать!..» А я — учу...

— И я вам интересен? Ползающий...

— И вертолетчики, бывает, падают, и тогда... А вот и Сумбар! Слышите, какой воздух?!

— И воздух слышу и тишину учуюл.

— Верно, тут тихо, хотя тут шумно, река с камнями разговаривает. Все притираются друг к другу. Век за веком. А что им век — воде и камням? Мгновение! Это мы на земле кратковременные.

— Мотыльки еще кратковременней.

— Да, им еще хуже. Но у них, наверное, другое лето-счисление. Час идет за десятилетие. Как знать, возможно, им повеселей живется, а? Вы женаты, Ростислав Юрьевич?

— Да.

— А я все собираюсь.— Летчик извлек из заднего кармана брюк бумажник, раскрыл его, показывая Знаменскому фотографию очень милой и очень глазастой, а она еще и подвела глаза, девушки, бережно укрытой за целлофаном.— Нравится?

— Красивая.

— Именно! Боюсь красивых. Не очень им доверяю.

— Что за проблема? Некрасивых куда больше.

— А некрасивая мне не нужна. Прямо какой-то Гамлет перед вами. Поверите? А годы идут.— Летчик все еще держал перед Знаменским свой пухлый бумажник, любовался хорошеньким личиком, даря эту радость и собеседнику. Любуясь и даже чуть-чуть губами причмокивая, он проговорил, как бы между прочим:— Между прочим, маленькая у меня просьба к вам...— Летчик закинул голову, всмотрелся в Знаменского, даже на цыпочки привстал, чтобы ближе поглядеть ему в глаза.— Вот это письмо...— Летчик достал из бумажника конверт.— Прошу вас передать это письмо Аширу Атаеву...

Сумбар шумел, притиралась река к камням. И век назад тут так было, и три века назад. И кто-то кому-то тут когда-то передавал письмо...

— Почему вы решили, что я знаю какого-то Ашира Атаева?— спросил Знаменский, вдруг почувствовав страшную усталость, плечи, ноги заломило от усталости, и грозным стал шум на реке.

— Я не решил, я знаю.— Летчик так и стоял с раскрытым бумажником, но смотрел он не на фотографию смазливой девушки, а на Знаменского смотрел, вскинув голову.

— Откуда сии сведения?— Знаменский глаз не отводил, но ему это разглядывание летчика было в тягость.— И зачем я вам, учителю орлят?

— Не доверяешь? Это хорошо.— Летчик захлопнул бумажник, но письмо зажал между пальцами, письмо вслед за бумажником не спрятал.— Хорошо, что не доверяешь. Тогда послушай еще одну мою лекцию... Какой день все время читаю лекции, хотя и ненавижу это занятие. Итак, тема лекции...— Он снова взял Знаменского под руку, подвел поближе к воде, к шуму речному, он оглянулся разок-другой, сделал это по-звериному как-то, когда глаза оглядываются будто, а не голова, лицо оглядывается будто, а затылок неподвижен.— О наркотиках будет моя лекция, уважаемый...

— Про мак, может быть, про плантации мака?— спросил Знаменский.— Но его в этих местах сеяли и три века назад.

— В этих местах не сеяли, тут не та роза ветров. Мак очень капризное растение, если разводить его не для пирогов с маком, а для извлечения из него опиума.— Летчик снова глянул-оглянулся, застыв затылком.

— Я, поверьте, не наркоман, Ибрагим Мехти оглы.

— Я — тоже. Ашир, между прочим, раза два попробовал. Он любит до всего дойти сам. Отличный парень. Я учился у него самбо.

— Вот и поговорим о самбо. Я тоже, между прочим, занимался самбо.

— Так, как он? Не думаю. У вас сильные руки, но это руки игрока в теннис. У самбиста железные руки. Вы потрогайте мои. Потрогайте, потрогайте.— Летчик вскинул руку, а Знаменский сжал ее пальцами, чтобы отвязаться. Действительно, рука у маленького летчика была как из железа, пальцы ушиблись.

— Да, натренировались,— сказал он.— Учителю орлят и нужно.

— Тут вы правы. Но речь не обо мне. Речь о следователе Ашире Атаевиче Атаеве. Ему сейчас нужны факты, сокрушительные факты. Иначе, без таких фактов, могут подловить, перехватить руку, швырнуть на ковер. Это в спорте, а в жизни... Пример сам Ашир Атаев. Он поторопился, он начал действовать без должной подготовки. Обстоятельства вынудили? Да, конечно. Но кинули его, ударили о землю. Спасибо, что живым остался. И вот теперь, травмированный, он начинает группироваться для нового броска. Может быть, единственного броска. Либо — либо! Факты! Ему нужны факты! Прошу вас, отвезите ему это письмо.

— Лучше бы было поручить это Самохину,— сказал Знаменский.— Он отыскал бы вашего Ашира Атаева, ему это легче сделать, чем мне. Атаев в Ашхабаде живет, как я понимаю?

— А, очень все понимаешь! Молодец! Хорошо вас учили, оказывается, в вашем институте. Молодцы! Ну, ладно, пойдем дальше... Что может знать про мак, про этот скромный аленький мак какой-то тоже скромный вертолетчик, если тем более в этих местах этот мак не произрастает?

— Ничего!— сказал Знаменский.

— Все!— мотнул головой маленький летчик.— Почти все! Конечно, в масштабе моих погон. Но мои погоны, еще чьи-то, еще и еще чьи-то и уложим этими погонами всю карту. И кое-где, совсем кое-где, да и отыщется крошечное поле мака, чтобы можно было его обозначить на карте. Где погоны, где чья-то ладонь, где только палец один, но мы обшарим всю карту. Всю! А подробная карта — это факт, это даже сокрушительный факт. Ему нужна подробная карта, нашему Аширу.

— Вы себе противоречите, Ибрагим Мехти оглы. Вы же сами сказали, что здесь у вас мак не высевают.

— Но у меня есть средства связи, уважаемый Ростислав Юрьевич. Современнейшие средства связи. Туда полетел, сюда полетел, здесь очутился, там оказался. Многого я не могу, я только пара погон на этой карте. Но это уже кое-что. Думаете, в моем родном Азербайджане нет маковых делянок?— Он запел, подражая Рашиду Бейбутову:— Есть!.. Есть у меня!... Кокнар! Тирьек! Один черт!

— Странные у вас тут дела делаются,— сказал Знаменский.— Подключили бы руководство, специальные службы.

— Очень умно говорите! — восхитился летчик.— Приятно слушать. А мы их и подключим. Имея факты. Только тогда, с фактами на руках. Почему не раньше? А мы не знаем, кто нам поверит, а кто нас прогонит. Ашира нашего прогнали. Вам этого мало? Вы что, не знаете, что есть, существует такое отвратительное животное, имя которому — Честь мундира?! Это опасное животное! Хуже носорога, который, как известно, страдает близорукостью. Как так?! У нас?! Какой-то мак?! Какой-то наркотик?! У нас хлопок, дорогой товарищ! У нас первое место в республике! Вы, кажется, вздумали на нас клеветать, дорогой товарищ, не совсем дорогой товарищ, совсем не дорогой товарищ! А что там у вас у самого делается, дорогой, не совсем дорогой? Ага, у вас

в сейфе служебном пачка денег обнаружилась?! Громадная сумма?! Кто дал?! Почему взяли?! Вы — взяточник, как выясняется?! Опиум вам мешает?! Вам партийный билет мешает! Вон отсюда! И благодарите аллаха, что мы пожалели вас, учитывая вашу большую семью и сравнительно молодые годы! Вот так... Вы осторожничайте, я хвалю вас за это, но разве я мало вам сказал?

— Мало! У нас в стране этот товар не пойдет. Я не настолько наивен, чтобы не допускать, что кто-то, где-то да покуривает у нас, глотает таблетки, даже колетса. Но это единицы. Дурачье! Модничающее дурачье! У нас и в былые времена, как и ныне, существовали и есть эти самые — а ля! Столичная накипь, не более. Так было, так будет. В Москве я недавно даже какое-то подобие панков приметил. Горстка грязно-бритых парней и девчонок. Горстка! На Западе — это эпидемия, у нас — единичные случаи. И тут я не ошибаюсь, не привьется.

— Дай-то бог, дай-то аллах! Всем богам готов поклониться, чтобы ваши наивные предположения сбылись. Да, да, наивные. А забавно, столько лет колесит человек по границам, а такой, оказывается, наивный. Вам ставят в упрек, что игранули там на рулеточке, а вы, смотрю, совершенно светлый товарищ. У них — да, у нас — нет. А вы со мной искренни, Ростислав Юрьевич? Может, это вы все еще темните со мной? Тогда — молодец, тогда — хвалю. Не хмурьтесь, не сердитесь, я не хочу вас обидеть. И я буду счастлив, если вы окажетесь правы, если этот мерзкий товар у нас не пойдет. Между прочим, пока что это товар, всего лишь опийный сырец, идет в Москве по двадцать тысяч рублей за килограмм. После переработки, когда подмешают там что-то, этот килограмм в цене почти удваивается. И это факт. Никому не нужный товар, а в цене золота. Спрос случаен, единичен, а преступный бизнес дает громадные доходы. Как понять, дорогой? А кассеты с порнографическими фильмами — тоже мода для единиц? А поп-музыка, когда все нервы натянуты, а иные и перетянуты, — это что? И все это вместе, порнография, исступленные звуки и исступление тел, наркотический допинг — все это вместе и есть тот товар, который хотят нам навязать, внедрить в нашу страну, причем, рассчитывая не на единицы, нет, не на единицы. И те, кто навязывает нам этот товар, — господа с опытом. Они просчитаются, верю, они просчитаются, но они — рассчитывают. У них там это уже бедствие. Вот они и хотят навязать нам свое бедствие и навязать в пол-



ном объеме. Мода родит спрос, как известно. Наркотики, героин, а он из опиума, дарят молодому дураку вседозволенность. А жить трудно, а мир сложен. И сложности мира тоже иногда не знают границ. Я вычеркиваю слово дурак, я заменяю его на слово — незащищенный. Опытom жизни. Опыт! Его нажить надо. Он — защита. Но пока его нет, мы можем наделать много глупостей, ошибок, иные из которых уже не исправить.

— Вижу, не устаете воспитывать меня. Но я уже понял, понял.

— Я не про вас. Сейчас разговор не вас касается. Впрочем, и вас и меня, если угодно. Я вовсе не защищен от множества ошибок, я их и сотворял. Аллах свидетель! И не обижайтесь на меня, Ростислав Юрьевич. В серьезное дело мы с вами влезли. Тут уж не до обид.

— Учтите, я ни в какое ваше дело не влез.

— Влезли! Обязаны! И хватит темнить. Да, так вот, чтобы укоренилась мода, нужен товар. Много товару. В Пакистане производят, в Турции производят, в Иране производят. Опийный треугольник — эти три страны. Но ведь мы-то рядом. Те же земли, то же солнце. Маку все равно, по какую сторону границы произрастать на древней земле своего обитания. Так отчего же не создать треугольник опийный и у нас? У них есть, и у нас будет. У них гибнут молодые, пусть и у нас гибнут молодые. Очень даже хорошо, если у нас начнут гибнуть молодые, если эта горестная проблема перекинется и к нам. Мода появилась, спрос на товар начался. Что нужно сделать? Нужно обойти границу, таможду, досмотр. А это можно сделать, провезя через границу не товар, а идею. Идею изготовления наркотиков у нас дома. Идеи же, как вы понимаете, тоже не ведают границ. Внедри идею в чью-либо слабую голову, какому-либо алчному человеку — и дело сделано. Это, дорогой, диверсия, и громадных размеров. Это провокация ЦРУ, дорогой, учреждения, которое можно назвать самым нашим преданным врагом. И это они, церэушники, скрещивают тут корысть с диверсией. Прервем лекцию? Хватит?

— Черт с вами, давайте ваше письмо, — устало сказал Знаменский, вслушиваясь в шум реки, в ее извечный спор с камнями, все спорит да спорит, не притомилась. — Ладно, попробую отыскать в Ашхабаде вашего Ашира Атаева.

— Ай, молодец! — снова восхитился маленький летчик и снова глазами и кожей глянул по сторонам. — Бери! — он

протянул неприметным движением конверт Знаменскому.— Сумбар нас не выдаст! Фу, утомил ты меня, товарищ международник! Нагулялись? Вернулись?

— Вернулись,— сказал Знаменский, всовывая конверт в задний карман брюк, туда же, где лежал пакет старого туркмена, продавца фисташек.

## 24

Кара-Кала была родиной великого Махтумкули, он родился неподалеку, в селении Геркез. Там теперь был памятник поэту и недавно открыли музей его имени. Вот куда следует проложить путь для иностранных туристов. Недолгий путь по горной дороге,—а как красива эта дорога!— и ты, человек, отринув сегодняшние суетные заботы, медленно подходишь к изваянному из гранита Задумавшемуся. О чем его мысли? Не слагает ли он стихи, наполненные такой живой силой, что и через двести пятьдесят лет они трогают душу, суетную нашу душу?

Они возвращались после доклада Самохина, отказавшись от машины, шли пешком, радуясь горной прохладе, волнами набегавшей на город, и что ни волна свежего воздуха, то новый в ней привкус. Виноградники касались губ мускатом, миндалевые рощи горьковатой сладостью, сами горы касались губ снежной влагой. Самохин молчал, отдыхал, он был похож, пыхтящий, на паровоз, прошедший долгий и трудный путь и вот тормозящий, спускающий пары, остывающий.

А Меред, молитвенно повествуя о своем Махтумкули, к кому на поклон предстояло им завтра рано утром отправляться, чувствуя какое-то непонятное безразличие Самохина к своим словам, решил стихи ему прочесть великого поэта. Меред, читая, забежал вперед, обернулся к Самохину и Знаменскому, пятясь, пошел, читая:

Туркмены! Если бы мы дружно жить могли,  
Мы осушили б Нил, мы б на Кульзум пришли,  
Теке, иомуд, гоклен, языр и алили,—  
Все пять — должны мы стать единою семьей!

Меред, пятясь, ждал, как откликнется на эти строки, столь горячо им произнесенные, Самохин. Никак он не откликнулся, он дышал, отдыхал. Спросил вдруг:

— Я не слишком усложнил свой рассказ, Меред? Народ меня понял?

— Конечно, понял! Или...— Он снова начал читать:

Единой семьей живут племена,  
Для гоя расстелена скатерть одна,  
Высокая доля отчизне дана,  
И тает гранит пред войсками Туркмении.

Меред выждал, пятясь, но опять не услышал ни слова от Самохина, понравились ли ему стихи Махтумкули. Молчал и Знаменский, слушая, как ветер волнами идет с гор, как неподалеку шумит, шуршит камнями Сумбар, глядя, как гаснут то тут, то там за деревьями огоньки в домах, но зато вспыхивают то тут, то там крупные, странно большие звезды в небе.

— Эти стихи тут родились, на этой земле, в это веришь,— сказал Знаменский, пожалев Мереду. Но он не фальшивил, сказал, что подумалось, и Меред благодарно ему поклонился, как на Востоке кланяются, коснувшись пальцами земли.

Шедший сбоку и поодаль летчик ускорил шаг, подошел к Мереду и, потеснив плечом, занял его место. И тоже обернулся, пошел, пятясь.

— А есть и такие стихи,— сказал он.— Поэта Зелили. Тоже на этой земле жил и творил. Чуть поближе к нам. Конец восемнадцатого и середина девятнадцатого. Меред, если забуду, подскажешь.

Летчик вскинул руки, вздернул голову, начал нараспев:

О, друзья! Бедняка в нашем веке  
Не считают за человека,  
Взятка стала доходом бека,  
Правосудие — ремесло.  
Гнет мой стан тегива тугая,  
Тесной стала земля родная.  
Зелили! В наше время бай  
Точно змеи шипят кругом.

— Кстати, о змеях,— сказал Самохин.— Не заползут они к нам в окна во время сна? Тут ведь их среда обитания...

— Не исключено!— обозлившись, сказал Меред.— Нет, Ибрагим Мехти оглы, не лучшее стихотворение Зелили ты затвердил.

— Ты ведаешь культурой.

— Так как же нам быть?— спросил Самохин.— Спать с закрытыми окнами?

— Ну, заползет гюрза, ну, уползет,— насмешливо сказал Меред, не простиив старику его невнимания к прекрасным стихам.— Главное, не задеть ее во сне, не придавить. Змеи мстят лишь за обиду.

— Задача!— озаботился Самохин.— Кстати, Меред, завтра мы прямым ходом едем к поезду, в Кызыл-Арват. Там, кажется, проходит железная дорога на Ашхабад?

— Там. А как же Геркез?

— А зачем нам туда ехать? Совершенно ясно, что это вполне туристический объект. Тут нет вопросов.

— А вам лично не интересно?

— Очень интересно. Но еще одна бессонная ночь меня страшит. Домой, домой! Я и так уже накатался и натрясся.

— Тогда, действительно, вопросов нет,— сказал Меред, резко повернувшись, он все еще, по забывчивости, шел задом наперед.

Поскрипывая, покатались на колесиках ворота, впуская их во двор дома для почетных гостей. В доме горели окна за приветливыми занавесками и все окна были распахнуты.

— А что, если они еще до нас напоззли?— спросил Самохин.— Окна-то открыты.

— Судьба!— сказал Меред.— Ну, укусит! Собираетесь вечно жить, товарищ Посланник? Между прочим, укусы змеи хороший выход из положения. Согласен, Ибрагим Мехти оглы? Одиннадцать всего секунд — и нет вопросов.

— За одиннадцать секунд можно кучу дел переделать,— сказал летчик.— Влюбиться можно, между прочим.

— Между прочим,— сказал Знаменский,— одиннадцать — это самая ненавистная для меня цифра.

— А для меня — двадцать два,— сказал Меред.— А для вас, Александр Григорьевич?

— Шестьдесят девять, мои молодые друзья,— печально сказал Самохин.— Не сердитесь на меня, Меред. Шестьдесят девять — это не подарок.

— Что вы, что вы?!— Меред смягчился, засуетился, кинулся к одному из окон, заглянул в него.— А графинчик с чалом уже вас ждет, Александр Григорьевич! Ибрагим, а нас что ждет?!

— Сон, сон, приятель. Это тебе не Париж и не Краснодарск, тут танцовщиц тебе не будет. И вина не будет. Мы совсем рядом с аятоллой находимся. Забыл? Что он велит

делать с теми, кто нарушает Коран? Он велит их бить палками.

— Но его палки нам не страшны, граница-то на замке.

— На замке, на замке. Именно! И потому-то это тебе не Красноводск. Перебьешься. Спокойной ночи. Друзья!— Маленький летчик козырнул, четко повернулся, четко зашагал за ворота, страшно довольный собой.

Знаменский в дом не пошел, остался во дворе. А Самохин, поддерживаемый под руку Мередом, идя осторожно, нащупывающим шагом, ибо змеи могли быть повсюду, вскоре замелькал в освещенном окне, створки которого тотчас же с шумом захлопнулись. Старика ждала душная, бессонная ночь.

Здесь было тихо, разом будто вызвездилось небо. Ветер шелестел листьями яблонь, и стало слышно, как яблоки падают в рыхлую землю, и снова донеслась издалека неустанная работа реки, день за днем, ночь за ночью и век за веком перетирающей камни.

В самой глубине двора, в противоположной от ворот стороне, стоял у высокого дувала дом сторожа, где жили те самые двенадцать ребятишек, их величаявая мама, их сохлый, большерукий отец и рыжий пес, охранитель семейства. Там светился в окне огонек в синеву. Знаменский пошел туда, угадав по синему отблеску, что там включен телевизор. Как-то не верилось, что там сейчас смотрят телевизор. Здесь, в горах, у реки Сумбар позабылся этот телевизор, это повсеместное мерцание, столь много значившее еще недавно в его жизни.

Но нет, так и есть, семья смотрела телевизор. Дом состоял из двух частей. Из небольшой комнаты и, видимо, кухни и громадной, как барак, комнаты, вытянувшейся вдоль дувала. Там-то, в этой комнате, светился в синеву квадрат окна. Знаменский подошел, заглянув в окно. Вся ребятня, от старших до малышей, расположившись кто где, но на полу, конечно же, на коврах, на подушках, на одеялах, а в комнате кроме телевизора, тоже стоящего на полу, никакой вообще не было мебели, все смотрели сейчас на экран. И мать тут была, и отец, и пес, мгновенно поднявший тяжелую голову, едва Знаменский подошел к окну.

Тотчас поднялся глава семьи и вышел во двор, зная, что собака зря не насторожится. Он увидел Знаменского, не удивился, не обрадовался, не засуетился, а просто шире распахнул дверь, предлагая войти. Знаменский вошел. У порога целая выставка стоптанных сандалет открылась. Боль-

ших, маленьких, совсем крошечных. Разулся и Знаменский, в носках пошел по старому ковру, поклонившись хозяйке дома, всей ребятне и собаке тоже, которая встретила его изучающим взглядом, но, поизучав, успокоилась и снова опустила голову на лапы. А Знаменский, отыскав свободное место у стены, сел на ковер, спиной оперся о стену и стал смотреть на экран. Там что-то очень интересное происходило, светился экран в уставившихся на него ребячьих глазах, так распахнутых, что они сами стали маленькими экранами, в них можно было разглядеть, если взглядеться, происходящее на экране телевизора. А там шел мультфильм. Уже поздно было, в Москве дети уже спали, а здесь, по «Орбите», детям еще досказывали вчерашнюю сказку. Это была русская сказка. В ней полно было снега, высоченные сугробы. А здесь, за стенами комнаты, ступи только во двор, жар обдаст от прокалившейся за день земли. Медведь и маленькая девочка подружились на экране. Девочка заблудилась в лесу, среди этих диковинных деревьев с колючими ветками. Девочку подкарауливала со всех сторон опасность, волк лязгал зубами, лисица плела интриги, скверная старая ворона накаркивала беду. Но не бойтесь, ребята, не страшитесь, медведь выручит маленькую девочку, он ее друг. Она только что, не испугавшись, выручила его, подошла, разжала, — как только силенок хватило! — капкан, сковавший его лапу, вернула ему свободу. А он теперь проводит ее домой, охранит от всех опасностей. Так и должно быть. Друзья проверяются в беде. Зря, волк, шелкаешь зубами, зря, лисица, путаешь следы и зря, охотник, взводишь курки, приближаясь к капкану. Друзья выручили друг друга. Ничего не страшно, когда есть у тебя друг.

Вспыхнул экран, закончив эту мудрую историю, а ребятки в комнате радостно загалдели, захлопали в ладоши. И их величественная мама тоже раз-другой свела ладони, скупно улыбнулся, радуясь за девочку, их строгий отец. Кажется, улыбнулся и пес, приподняв голову.

А на экран выплыла знакомая, очень знакомая ему милая и молодая женщина. У него с ней чуть было любовь не началась. И началась бы, если б куда-то срочно не отбыл, в какую-то из горячих точек планеты, чтобы там, улычиво и смело ведя себя, сообщить о событиях, случившихся за тысячи километров от Москвы. А когда вернулся, узнал, что эта милая женщина, умеющая улыбаться не хуже его, — вон как сейчас расцвела улыбкой! — вышла замуж. Кажется, в третий раз. И все по восходящей

идя. За какого-то космонавта, кажется, вышла. Космонавтов с каждым годом становилось все больше, их жениховский ранг несколько, разумеется, снижался, но все-таки...

Вспыхнул свет, и ребятишки обратили внимание на гостя. И тотчас узнали его. Не все, но почти все. Только самые маленькие не узнали, потому что в их телевизионном мире он уже не мерцал. Но большинство узнало. И знавшие стали радостно кивать ему, махать, указывая руками и ручонками на экран телевизора, возбужденно говоря что-то родителям. Странно, никто в Ашхабаде его не узнал, не сопоставил его нынешнего с этим вот экраном, этой метой славы всенародной. Он был несопоставим для взрослых, такой, каким стал, с тем, кем был. Иные и задумывались, мол, где могли его встретить, отчего лицо его знакомо им, но и только. Экран телевизора и он в нем — такое им в голову, в зрение их не вмещалось. А ребятишки вот мигом узнали. Сразу же. Они привыкли к чудесам. Жили в такое время, когда все везде могли очутиться. Вот снег сейчас к ним пришел. А вот пришел и сидит у стеночки человек из телевизионного ящика. Взял и вышел из ящика и вошел в их дом.

А теперь взял и поднялся, поклонился, обулся и вышел из их дома. Ничего особенного... Обыкновенное чудо. Обыкновенная радость.

Знаменский вышел в темноту и в яркое свечение непривычно больших, близких звезд. Новые звуки пришли в ночной город. В близких горах пробудилась жизнь. Там подвывали шакалы, не смея еще спуститься в город, выжидая, когда он окончательно уснет. Это был такой город, где у канав можно было встретить не собак, а шакалов, где над крышами, закрывая небо крыльями, мог пролететь, косо садясь, орел, где в шорохе листвы могла поднять точеную головку гюрза, молниеносная эта смерть, где, неслышно ступая, двигались патрули пограничников, где, особенно ночью, слышны были звуки жизни «с той стороны», а там, хоть всего лишь обмелевшая речка делила стороны, там по-иному звучала жизнь, вскрикивала, плакала и даже радовалась по-иному, хотя там и там жили туркмены.

Окно в комнате Самохина светилось. Не спал старик. Знаменский решил не заходить к нему. Он к самому себе сейчас зашел, в недавнее свое. В темноте ночи ярко светился в его глазах экран телевизора, вспыхиваями шла в этом экране его былая жизнь. Былая жизнь...

Наутро рванули на вездеходе в Кызыл-Арват. Мчались по пыльной, тряской дороге, как участники какого-нибудь ралли. Но вездеход тряски не страшился, а Самохин, схваченный вдруг нетерпением, с готовностью страдал, лишь бы скорей, скорей. Пospели. За три минуты до отправления примчались к отходящему на Ашхабад поезду. Быстро попрощались, крепко обнявшись, но не целуясь, к счастью, этот целовальный обычай в Средней Азии не прижился. Обнялся Знаменский с усатым летчиком, который зачем-то погрозил ему строго пальцем.

— Вы о чем?— спросил Знаменский.

— Вообще! Будем друзьями, надеюсь? Ждем вас в Кара-Кале. Такой это у нас городок, кто раз побывал, еще побывает.

Обнялся Знаменский и с Мередом. И когда обнимался, почувствовал, как тот сует ему в задний карман брюк какой-то пакет, туда же сует, где уже лежали конверт летчика и пакет старого туркмена, продавца фисташек. Меред совал свой конверт, таясь ото всех, таясь и от летчика. Вон оно что, они работали на Ашира поврозь!

— Не потеряй!— шепнул Меред.— Буду в Ашхабаде, найду. Эх, вырваться бы!— эти слова он сказал громко и для всех.

— Скорей, скорей!— торопил Самохин. Он уже простился, уже поднялся на ступени вагона.

И вот они в пути. Странно тоненьким голоском покрикивал приземистый, промасленный тепловозик, похожий на большого жука. За окнами вагона пустыня, верблюжья колючка, ветер крутил барханы. Вагон был старый, еще с довоенной, наверное, поры бегал, он скрипел и постанывал. В вагоне было тесно, он был забит мешками с дынями, ящиками с виноградом. Владельцы этого товара, который скоро очутится на ашхабадских базарах, охотнее сидели на полу, чем на лавках. Поджали ноги и сидели молчаливые, важные, очень картинные в своих халатах, тельпеках, с лицами вовсе не торговцев, а суровых воинов. Это — мужчины. А у женщин лица все же были сокрыты, хоть и не укрыты. Конечно, ни у кого паранджи не было и в помине, но так они как-то спустили платки, так как-то держали, согнув в локте руки, что лиц их было не видно. Только глаза громадные посверкивали, рассматривая украдкой.

— Заехали мы с вами, Ростислав Юрьевич!..— Самохин близко придвинулся к Знаменскому.— Воистину на край



света... А зачем? Или был все же смысл?..— Самохин всмотрелся в Знаменского, допытывался взглядом, умно и зорко глядел.

Знаменский ничего не ответил, только улыбнулся.

— Ну-ну,— покивал старик.— Ну-ну...— Он устало закрыл глаза, застыл болезненно-оливковым лицом.

Жук-тепловозик отозвался вместо Знаменского, что-то загадочное прокричав тоненьким, пронзительным голоском. Жара в песках разгоралась, разжигало там солнце свой костер-пекло.

## 25

Он — дома. Эта комнатенка, вросшая в землю, его дом. Он еще не привык здесь ни к чему, а уже поверил, что это его дом, и сейчас был рад ему, всему здесь, особенно этим крошечным окошкам, за которыми близко стояли горы. Он теперь их и поближе узнал. Все тот же Копетдаг, но с противоположной стороны. Слетал, сбегал, чтобы поглядеть поближе, а теперь вернулся, отдалился, но все равно они перед глазами — эти горы, и с ними каждое утро можно будет глазами перемольвливаться, а то и помолиться на них, на извечные их лики.

В комнате у него произошли кое-какие перемены. Он не успел обжить ее, а теперь она показалась обжитой. Это, конечно же, Светлана ко всему тут прикоснулась, Дим Димыч так бы не мог прибрать стол, он у него был завален папками, картами, а теперь звал к своему крошечному, расчищенному простору: мол, подсаживайся, журналист Знаменский, давай, пиши, послужу тебе. И старенькая тахта приободрилась, куда-то подевала свои бугры, став не диваном тут для всех, а постелью для него, здесь поселившегося. Он не успел, улетая в Красноводск, выложить вещи из чемоданов, чемоданы так и стояли у стены, в ряд встав, готовые кинуться снова в путь, но в комнату уже вселился, хоть и утлый и узкий, но все же шкаф, чтобы туда перекочевали вещи из чемоданов, если все же останется он здесь, в этой комнате, жить. Чемоданы, барственные тут и чужие, призывали покинуть эти убогие стены и как можно быстрее. Прибранный столик, шкаф, тахта, застланная женщиной, предлагали остаться. А куда ему было уходить? Он присел на стул у стола, провел рукой по столу, прикидывая, как

тут будет его пишущей машинке, плоской «Эрике», быстро поднялся, раскрыл самый большой чемодан, где была машинка, достал ее и поставил на стол. Достал еще из чемодана один за другим два магнитофона, побольше и поменьше, два «Сони», о них корреспонденты пели, переиначив старинную солдатскую песню: «Наши жены — «Сони» заряжены». Эти ящики тоже нашли свое место на столе. Что еще? Надо бы бумагу выложить, ручки. А зачем? Он разве слетал в Красноводск, побывал в Кара-Кале, чтобы отписаться потом? Кто он? Зачем он? Забылся, выволок все машинки, а они ему не нужны, как и он сам никому не нужен. Он снова сел к столу, раздумав обживать его, злясь на себя, что забылся, выволок вот свое прошлое из чемодана.

В дверях встал Дим Димыч, обряженный в фартучек, с кухонным полотенцем через плечо, спросил:

— Вы как себя приучили после дальней дороги, сперва поесть или сперва под душ? Воду в бак я налил доверху.

— Сперва под душ,— сказал Знаменский, поднимаясь.— Это Светлана Андреевна тут руки приложила? А где она?

— Сегодня утром вернулась домой. Побыла у меня, чтобы отдышаться, и вернулась. Она часто так в последнее время поступает. Глотнет воздуха — и снова на дно.

— Жаль... А почему на дно? Как это понять?

— Не удалась семейная жизнь у девочки, вот как это понять. Муж, кстати, профессор, медик, наисквернейший человек. Мать мужа, свекровь, стало быть, наисквернейшая из старух. А я все же крестный ее мальчика. Вот ко мне и сбегает. Ну, вставайте под душ. Сейчас наш Ашир примчится. Нужны вы ему. Или полюбились? Как он вам?

— Мне он нравится. Полагаю, умный человек. И жизнь знает.

— Умный... Знает... Вам бы с ним встретиться, когда он был в форме. Стремительный. Сверкающий. Не узнать совсем человека. Разжалованный... Какое слово убийственное. Вдумайтесь, вслушайтесь в это слово: разжалованный...

— А зачем мне вдумываться или вслушиваться, Дим Димыч, когда я сам поселился в этом слове?— Знаменский даже повеселел, так невесело стало на душе. Просто хоть смейся над самим собой, так скверно все. Он и улыбнулся, от души улыбнулся, наигорчайшие выкладывая у губ морщинки. Они, эти морщинки, в такие минуты на наших лицах

и укореняются. Вчера не было зарубки, сегодня, гляди, появилась.

— Нет, Ростислав Юрьевич, вы в этом слове не поселились,— несогласно мотнул головой Дим Димыч.— Я для вас еще слова не нашел, Вы транзитный пассажир на станции Несчастье. Вызволят. А Ашира некому. Разве что сам... А как? Разжалованному-то? Тут все поостроже, чем у вас. Согласитесь, поостроже. А, легок на помине, явился сокол!

Послышались быстрые шаги, и в комнату, минуя посторолившегося Дим Димыча, вбежал Ашир, глазами-дульцами вперившись в Знаменского. А если бы не эти глаза, не опаленное нетерпением лицо, то показалось бы, что в комнату вбежал ну просто бродяга, опустившийся какой-то тип, уже с утра где-то набравшийся.

Ашир ничего не спросил вслух, глазами спросил, а Знаменский ничего не сказал вслух, глазами ответил. Молча обменялись они рукопожатием, постояли рядом, и Знаменский, теперь знавший, что Ашир самбист, даже мастер спорта, не удержался и дотронулся пальцами до его руки у плеча, обрадовавшись, что ушиб пальцы, что этот, будто бы опустившийся человек был из железа выкованным.

Дим Димыч исчез из дверного пролета и чем-то там гремел во дворе, нарочно гремел, чтобы отгородиться от их разговора.

— Как же так, друг?— упрекая, спросил Знаменский.— Ни о чем меня не предупредил. Я всякий раз натыкался на неожиданность.

— Вот и хорошо.

— В аэропорту я ждал, ждал тебя. Даже показалось, что ты в последнюю минуту примчался. Нет, померещилось.

— Почему померещилось? Я был там. Примчался, именно. Понимаешь, свежее пиво в аэропортовский буфет привезли...

— Ну, знаешь ли!

— Знаю, знаю. А ты вот знаешь ли, что сидел в самолете с человеком, у которого в пижонской сумке под сиденьем было килограммов десять опийного сырца? Ты запах не почувствовал? Воняет это зелье какой-то нелюдской вонью. Сладкой тухлятиной воняет, тошнотный запах.

— Нет, ничего такого я не почувствовал.

— Упаковали, постарались. Человеческий нос грубый инструмент, а собак на внутренних рейсах наши службы

контроля еще не завели. Беспечничаем. Все та же песня: «У нас?! Как можно?! Быть этого не может, потому что не может быть никогда!»

— И с кем же я там сидел? Ты что, заглядывал в салон с пивной кружкой в руке?

— Именно. Я дальнорядный. А сидел ты со сценаристом Петром Сушковым. Нарядный такой и сверхнарядный. Лицо моложавое, но морщинок сверх меры. Может, и сам уже приохотился? Наверняка! Пустой малый!

— Да, человек, сидевший со мной рядом, представился сценаристом и назвался Петром Сушковым.

— Все правильно сказал, не соврал. И сценарист, и Петр, и Сушков. А вот про то, что под ногами в сумке у него десять килограммов вони и распада, а про это он тебе не сказал. Он не сказал, ты не учуял.

— Нюх слабоват.

— Верно, слабоват. И сейчас, Ростик, эти десять килограммов, поделенные всего-то на пять-шесть грамм в порции, уже начали убивать твоих москвичей, все больше молодых дурней и дур. Прикинь, сколько это порций!— Ашир выпрямился, вскинула его ярость.— Ты прикинь, ты посчитай! Голова кругом идет! А разве он один у них?

— Схватил бы его, отволлок бы в милицию, у тебя силенок бы хватило. Вот тебе и факт. Убийственный!

— Да, факт. Один. Но я бы засветился. Понял? На единственном факте я бы вычеркнул себя из расследования. Не-е-т! Я больше торопиться себе не позволю! Привез?

— Да.— Знаменский извлек из кармана три пакета, ужавшиеся, слипшиеся, протянул их Аширу.

Ашир взял эти пакеты, разлепил, снова сложил, а потом сунул их в ящик письменного стола.

— Они останутся в твоей комнате, Ростик. Мне с ними по улицам ходить нельзя. Я стал прозрачным. И дом у меня стал прозрачным. Это кусочки карты, которую я хочу нарисовать, когда соберу все кусочки. Дим Димыч обещал мне нарисовать эту карту. Он в курсе. Нельзя, невозможно работать в одиночку. Мне, как ты заметил, помогают. И вот когда мы сложим нашу карту, ты отвезешь ее в Москву. Готовься, тянуть с этим мы не будем. Карта! Я складываю карту! Вот она и убьет их! Пошли есть. И выпить хочется.

— Не пойму, ты все же пьяница или следователь? Кто же пьет в такую жару и в самый полдень?

— Я, Ростик, спивающийся бывший следователь, выгнан-

ный и опозоренный. Понял? Ты думаешь, зачем я сюда примчался? А затем, что тут нашел пристанище один московский неудачник, у которого еще есть денежки и с которым можно их пропить по-быстрому. Понял? Неудачники, мы с тобой неудачники, а неудачников тянет друг к дружке, чтобы вместе пить и слезы лить. Пошли, подтвердим версию!

— Я бы сперва душ все же принял.

— Ошибка! Неудачники, такие, как мы, не следят за собой, им достаточно, что следят за ними.

— Я все же приму, слипся весь, устал.

— Пили там много? Это хорошо. Как там мой Меред? Как поживает маленький майор? Крепкие ребята?

— А этот старик в тельпеке, продавец фисташек, кто он?

— Так он фисташки для конспирации надумал продавать?! Вот голова! Сказать тебе, кто он такой?.. Скажу, не поверишь! Ладно, пошли есть и пить, потом скажу, не все сразу. Ну, голова! Вот голова! — Ашир повеселел, услышав про этого старика, продавца фисташек. — Фисташки, говоришь, продавал? И дорого взял с тебя?

— Рубль потребовал.

— Замечательный старик! Герой! Ладно, приоткрою его. Знатный чабан. Герой, не соврал, Герой Социалистического Труда. Ну, пошли, пошли! Тебе к воде, мне к водке! Нет, мы их сделаем! С такими ребятами? Клянусь, мы их сделаем!

## 26

Только уселись за стол, как примчался Алексей, который лишь час назад встречал Самохина и Знаменского на вокзале, развез их — Самохина в «Юбилейную», а Знаменского — домой. Примчался, чтобы немедленно доставить Знаменского к Захару Васильевичу Чижову.

— Начальство срочно требует! — встав в калитке, объявил Алексей, жадно взглядывая на углый столик под виноградными лозами, такой приманчивый бутылочкой посреди даров земных. — Подлая у меня профессия, я вам скажу! — Алексей не смаргивая глядел, опечаливаясь все больше. — Сейчас бы тяпнуть стопаря, захрустеть бы чем-ничем, но нельзя! Баранка! Она хуже кандалов! Помчались, Ростислав Юрьевич! Что-то стряслось! Захар Васильевич мрачнее тучи!

Только из-под душа, еще не обсохнув, куска не успев съесть, покатил Знаменский на зов начальства.

— Я вижу, сдружились вы с этим бывшим следователем, — сказал Алексей. — Как судьба играет человеком, ай-яй-яй! Кем был и кем стал! Популярнейшей был в городе личностью. Все наши хапуги, завидев его, трястись начинали. И что же? Брал, оказывается. Вот спивается теперь. Совесть замучила. Но, конечно, с ним не заскучаешь. Острый человек. А Лана вам кланяется, Ростислав Юрьевич. Зацепили вы ее.

Хоть и плохо еще ориентировался в городе Знаменский, но дорога в МИД была очень проста, шла напрямик по проспекту Свободы, мимо запомнившегося парка, после которого и надо было свернуть вправо, развернуться — и вот и прибыли. Но Алексей вел машину какой-то другой дорогой, тоже показавшейся знакомой, тут все дороги были породнены деревьями, и все же куда-то не туда вез.

— Мы не в МИД? — спросил Знаменский.

— Захар Васильевич велел к себе домой доставить. Он как туча, а наша Нина свет-Павловна еще мрачнее. Вы там, в Кара-Кале, не учинили чего-нибудь, Ростислав Юрьевич? — Алексей снял даже руки с руля, покрутил ими, изобразив нечто фривольно-замысловатое. — А? Да-мы, а?!

— Кобры там, а не дамы. — Знаменский протянул руку к баранке, с наслаждением приняв в ладонь упругий ход машины, выправил чуть этот ход. Так и повел, Алексей не мешал ему, не перехватывал руль, с понятием был человек. Едва коснувшись руля, стал Знаменский узнавать дорогу, водительскую обретая память.

— Тормози, приехали.

— Есть, капитан!

Захар Чижов встретил друга возле дома. Они обнялись, будто после долгой разлуки. Обнявшись, и в калитку вошли. Захар помалкивал, Знаменский ни о чем его не спрашивал.

Недели не прошло, как он был здесь, а сколько сразу приметилось перемен в этом крошечном саду. Все тут будто шагнуло в другой цвет, ну словно повзрослели деревья и виноградник, в зрелость вступили, в глубину.

— Похоже, солнце у вас творит чудеса, — сказал Знаменский.

— Похоже, похоже... Здравствуй, Ростик. — Из дома вышла Нина. Неожиданная какая-то, строголикая. На него и взглянула и не взглянула, мимо прошел взгляд, так только

женщины умеют глядеть, когда гnevаются. Но разве он в чем-то перед ней провинился?

— Ниночка, и тебя тоже не узнать.— Знаменский подошел к ней, поцеловал руку, наигрывая светскость, взглянул улыбочиво. Нет, она ответно не улыбнулась, она и вправду гневалась.

— Что случилось, друзья?— спросил Знаменский, недоумевая.

— Как тебе сказать...— Захару явно было не по себе.— Ты завтракал, Ростик?

— Только было начал, как был вами затребован, шеф.

— Вот и хорошо, позавтракаем вместе.

— Ох уж эта мужская консолидация!— вздохнула Нина.— Готов даже подряд два завтрака съесть во имя дружбы. Да не тяни ты, Захар! Конечно, будет ему завтрак, но сперва он должен получить выволочку. Надо же, донжуан проклятый! Едва приехал, едва свалился к нам со всеми своими неприятностями, как уже у него амуры начались! Господи, что за человек?! Бедная Лена...

— Нина, о чем ты? Захар, что она несет?

— Ах, он не знает! Ах, он не догадывается! Захар, может быть, объяснишь товарищу...

— Да что тут объяснять?...— Захар томился, видно было, что ему тягостен предстоящий разговор, он тянул, не начинал, озаботился вдруг, что вода в канавке сбилась с пути, закружилась, наткнувшись на обсыпавшуюся землю, и он кинулся выручать воду, схватил кетмень и начал расчищать завал.— Видишь ли, Ростик...— Захар пошел вдоль арыка, расчищая его дальше, за дерево зашел, взрыхлил вокруг землю, раз уж кетмень в руках.— Видишь ли, Ростик... На тебя поступила жалоба... Точнее сказать, донос... Но за подписью, вот беда...— Под одним деревом землю он взрыхлил, но надо было и под другим взрыхлить, раз уж кетмень в руках.— Совсем запустил сад!— пожаловался Захар, которого теперь даже не видно было, отгородили его деревья. Впрочем, слова его еще можно было разобрать:— Понимаешь, если бы это была анонимка, я бы ее просто порвал и бросил в корзину...— доносилось из-за деревьев.— Но это не анонимка, это заявление. И за подписью, и с указанием звания, и даже с указанием партийного стажа. Что прикажешь мне делать?

— Окучивать сад, Захар!— сказала Нина.— Окучивать и окучивать! Теперь я знаю, как тебя заставить окучивать наш сад!

— Вот ты сердисься,— издалека донесся голос Захара.— А мне каково?

Он вернулся. Несчастный, с вымокшими ботинками, облепленный какой-то паутиной, волоча за собой кетмень.

— Захар, прошу тебя, не бросай кетмень,— язвительно сказала Нина.— В конце концов ты всегда сможешь работать садовником.

— Я, кажется, подвел вас, друзья?— спросил Знаменский.— Но даю вам слово, я не знаю за собой никакой вины.

— Нас подвел?— переспросила Нина.— Начнем с того, что ты себя подвел. Ну, хорошо, скажу я, коль скоро муж мой дипломатически переквалифицировался в садовники. О, дипломаты! Нет, о, мужчины! Итак, Ростик, как выяснилось, ты поселился в доме, где живет одна весьма знаменитая в городе дама. Вернее, не то чтобы живет, но иногда ночует. Хозяин этого дома, говорят, что он весьма странный тип, ее какой-то родственник, и вот она... Согласна, доктор Светлана Андреевна просто прелестная женщина. Но, Ростик... Что ты знаешь про нее?..

— Нина!— Захар вышагнул вперед и кетменем ударил оземь.— Нина, прошу тебя, не будем касаться чужой судьбы! Как можно, Нина? Ростик, всё дело в том, что муж этой женщины, видимо, из породы отвратительных ревнивцев. Словом, он написал нам заявлёние, требуя..

— Иногда ревнуют не без повода,— тихонько обронила Нина.

— Это его дело! Вызывай на дуэль, черт побери!— взорвался Захар, смешно, как рапирой, взмахнув кетменем.

— А это мысль,— сказала Нина.— Ведь Ростик у нас шляхетских кровей. Верно, Ростик, вызывай ревнивого мужа на дуэль. Впрочем, он старик, не принято фехтовать со стариками. Но Захар, мой Захар-то каков! Я тобой восхищаюсь, Чижов, из деревни Чижи, Смоленской губернии. Бретер! Дуэлянт! Bravo, Захар!

— Что с тобой, Нина?— удивленно поглядел на жену Чижов.

— А то, мои милые, что эта женщина действительно может сыграть роковую роль в судьбе Ростика, да и в твоей, мой дуэлянт-муженек. Это роковая женщина, а город у нас не так уж велик, у нас все про всё знают, даже я, хоть мы тут недавно, все про всех знаю. Да, согласна, муж у нее не из симпатичных личностей. Но он подобрал ее после суда, он подобрал ее, когда она ждала ребенка от другого, он загорочил ее собой, а у нее была репутация хуже некуда.



Тут, Ростик, лет двенадцать назад был громкий, громчайший процесс по медицинскому институту. Веселились студенточки со своими педагогами. Медики! Циники! Одна так довеселилась, что отравила мужа и его отца. Мешали они ей веселиться! Вот такие дела. По этому процессу, а его в городе помнят, многих девиц таскали. Была там и твоя Светлана, Ростик. Шла по списку слишком веселившихся. Ну, оправдали, ждала женщина ребенка, но... Но вот что это за женщина, Ростислав Юрьевич. И ты, едва приехав, едва...

— Да, вот что это за женщина...— Знаменский смотрел на Нину, дивясь ей. Ведь это же их Ниночка-блондиночка была перед ним, славная, милая, беззаботная, отзывчивая,— что там еще?— добрая, веселая, заводная,— что там еще? Все ушло! Совсем она, полное сходство, но другая.— Да, Ниночка-блондиночка... Ну я пошел, Захар?

— Иди. Считаю, что я переговорил с тобой официально. Письмо мы, разумеется, закроем. Слушай, съехал бы ты с этой квартиры. Там и неприглядно очень. Знаешь, поживи пока у нас, мы тебе найдем не спеша что-либо попримечнее. Нина, ты согласна? Приглашаешь?

Пойми их, этих женщин, эта суровая обличительница сейчас плакала, уткнувшись лицом в ладони, рыдания сводили ей плечи.

— Сын... не может забыть сына...— шепнул Чижов Знаменскому, который уходил, чтобы удержать его, и тотчас кинулся к жене:— Нина? Ну, что ты, Ниночка? Ну, умоляю тебя!

Но тут требовательно зазвонил из дома телефон, пронзительно и настойчиво, суля какие-то неприятности, и Захар кинулся в дом, схватил трубку.

— Да?! Слушаю?!— Он надолго замолчал, слушал. Потом произнес всего одно слово: «Еду!»— и повесил трубку.

Он вышел из дома, добитый новым известием. Уныло глянул на жену, на Знаменского, разведя руки, будто на нем была вина, сообщил:

— Умер Александр Григорьевич Самохин... Острая сердечная недостаточность... Час от часу не легче...

Знаменский вышел за калитку следом за выбежавшим на улицу Чижовым, который его с собой в машину не позвал,

только рукой махнул, как-то неопределенно, словно бы извиняясь, словно бы прощаясь. Мол, сам понимаешь, не до тебя. Знаменский понимал. Машина умчалась, а Знаменский побрел по узкой полоске, прерывистой и углой, которую можно было назвать тут тенью и которая теснилась к стенам домов, по ней не просто было ступать. Но все пространство за этой полоской было из расплавленного чего-то, казалось лентой жидкого металла, спущенного из домны. Жгло солнце, и жгла жалость к старику. Открылось, мгновенно стало ясным, что это был хороший человек, что он был умен, был добр. И он знал, что смерть близка, он знал. Неужели, когда смерть совсем близко подходит, человек ее видит? Не эту, в белом балахоне и с косой, чепуха это, а что-то иное, а что-то такое, что говорит ему: готовься, пора уходить. Не облик, а голос. И человек начинает готовиться. Или пытается сбежать от этого голоса, кидается в панику, напрасную и постыдную. Самохин не паниковал, он заторопился немного, но чтобы домой поспеть, чтобы не в дороге... Жаль старика. Не надо было его тащить в поездку, сманивать на какой-то там чудодейственный чал. Но, может быть, эти два последних в его жизни дня были для него не пустыми, не суетой, в какой он жил, все цепляясь за службу, за кресло, все по нисходящей? Он в музее Двадцати Шести побывал. Он на Каспийское море взглянул. Он летел над древней землей, так широко ее увидев, но и так близко от нее, что все морщины углядел, и трубы, по которым вернулась на эту землю вода. Он слышал, как пел от счастья Меред, сын этой земли. Он слушал, как шумит, перетирая камни, Сумбар. Он... Жаль старика... Но лучше так, лучше закрыть глаза, еще помнящие заросли миндаля, не открыть их, чем... Было жаль самого себя. Он шел по лезвию тени, ударяясь плечом о стены домов и дувалов, и если бы мог, он бы заплакал, как там, на Каспии, когда поплыл, но слез не было, они в нем высохли. Было жаль Светлану, ее всего жальче было жаль. Вон оно как?! Вон как обошлась с ней жизнь?! И все обминает, добивает. Люди беспощадны, забывчивы, подозрительны, их тешит чужая беда, а когда человек, которому не повезло, — ну, не повезло! — хочет поднять, хотя бы приподнять голову, люди противятся этому, бьют по твоей голове, им важно, чтобы неудача твоя длилась, им так хочется, им так радостней жить. Вот она истина! Где он жил? Как он жил? Что знал о жизни? Вот теперь ему покажут, что это

за штука — жизни! Надо было уезжать отсюда. Вот и все с Ашхабадом. Заявление поступило не на него, оно поступило на нее. Доклеветовали ее. Ах, Ниночка-блондиночка, кто бы мог подумать...

Знаменский решился, пересек проспект Свободы, как в пламень вступив, кинулся к подкатившему троллейбусу, вскочил в него, вшагнул, как на самую верхнюю ступень парилки мы вшагиваем, страхась немедленно же свариться. Не сварился, многотерпелив человек, оказывается. Но все, все с этим городом, где зной мог бы хоть злобу из людей выпарить, но нет, не выпарил. Так зачем же ему этот город? Сейчас сложит чемоданчики, они и не разложены, напишет письмецо Захару и — назад, в Москву, где какая-никакая, а жена, где мать... Вот, припекло, и вспомнил мать, которой так еще и не успел ответить на ее телеграмму. А если б зашел на почту, то и письмо бы там от нее получил. Одно, а то и два и даже три. Вспомнил... И еще разок вспомнил, когда увидел старую женщину, там, в Кара-Кале, которая сказала ему какие-то очень важные слова. Какие? А, вот эти: «Но рисует-то жизнь...»

— Все правильно, все правильно... — Опять эти слова вырвались, проговорились у него вслух.

— Тогда сходите, если все правильно, — подтолкнул его какой-то сохлый старичок в пенсне из прошлого века, с седенькой бородкой клином из минувшего же столетия.

Как раз троллейбус остановился, раздвинул створки, и Знаменский сошел, пришлось сойти, его подталкивали, им управляли. И даже, обернувшись, помог старичку ступить на землю, протянув ему руку.

— Вам не жарко? — спросил.

— Переносу, — сказал старичок. — Благодарствую. — Он зорко глянул на Знаменского. — Узнал вас. Вы человек телевидения.

Да, дети и старики — самый зоркий народ.

— А вы, простите, чей человек? Как вас занесло в это пекло?

— Смешно сказать, любовь! — старичок церемонно поклонился и засеменял по солнцепеку, демонстративно пренебрегая тенью.

Побрел дальше и Знаменский. До дома Дим Димыча теперь было близко, но надо было опять пересекать проспект. Что ж, пересек, не уstraшилсЯ зноЯ, чем он хуже старичка.

Вот и школа, возле которой он останавливался, чтобы

посмотреть, как прыгают через железную ограду мальчишки. Когда это было? Очень давно, показалось, что очень давно, но начал считать дни — и вышло, что совсем недавно. Мальчишек сейчас тут не было. Лето. Каникулы. Где-то у воды прыгают. Школьный двор был пуст и печален. Все школы мира без детей отвратительно пусты и удручающе печальны. И не потому, что их худо строят. Иные из школ хорошо строят, но без детей они все равно пусты и печальны. А тот барак в Кара-Кале, ведь барак же, где целая дюжина ребятишек смотрела телевизор, — он запомнился прекрасным залом, потому что там были дети.

На столбе у школьных ворот заметил Знаменский какую-то бумажку, только лишь приклеенную к столбу, еще не выжженную. Он подошел поближе, прочел: «Даю уроки любознательным». И все. А дальше адрес и подпись. Адрес указывал на тот дом, куда он шел, подпись была такая: «Д. Д. Коноплин, картограф». Так вот он чем занимается, Д. Д. Коноплин, этот весьма странный тип, как отзывалась о нем Нина, он дает уроки любознательным. Эх, Ниночка-блондиночка!..

Знаменский свернул в переулок, двигаясь по указанному адресу. Он и еще одну такую бумажку на столбе обнаружил. А вдали и еще виднелся столб с такой же беленькой, не выжженной бумажкой. Его квартирохозяин, Д. Д. Коноплин, вел его от столба к столбу, будто взяв за руку. Ну что же, он тоже сейчас объявит себя любознательным.

Знаменский вошел во двор, увидел непечатую бутылку, нетронутый натюрморт. Ни Дим Димыча, ни Ашира тут не было. Он вошел в дом, заглянул в одну комнату, в другую. Вот они, нашлись. Они стояли над письменным столом, на котором была разостлана карта, странно похожая на лоскутное одеяло, сшитое из разрисованных маками крошечных лоскутов.

— Здесь дают уроки любознательным?! — громко спросил Знаменский.

— Здесь, здесь, — не отрываясь от карты, рисуя на ней тонкой кисточкой очередной маковый цветок, отзывался Дим Димыч. — А мы уже заждались.

— Что там у тебя стряслось? — спросил Ашир.

— Муж Светланы Андреевны написал донос, что я... Словом, мне надо съезжать от вас, дорогой Дим Димыч. И

вообще, уезжаю, друзья. Не прижился в ваших благословенных краях.

— Пойти, что ли, убить его?— серьезно задумался Ашир.— Зачем земле такой человек?

— Ашир, умер Александр Григорьевич Самохин,— сказал Знаменский.— Сердце...

— Так!— Ашир распрямился.— Так! Не зря жил... Не знаю, как все свои шестьдесят девять лет, но два дня из них не зря жил.

— А ты жестокий человек, Ашир,— сказал Знаменский.

— Война, дорогой. Ты, я слышал, уезжать собрался? Я еще не все сведения собрал. Подождешь.

— Не смогу.

— Война, дорогой. Подождешь. А все-таки жаль старика. Поверь, я честно думал, что чал продлит ему жизнь. Да... Пошли, выпьем, у вас ведь принято пить за упокой. Честно выпьем. Пошли.

Они вышли во двор, встали у стола, Ашир всю бутылку до дна разлил по трем стаканам.

— До дна!— приказал.— За его два главных дня в жизни! Они выпили. До дна.

## 28

Что за день?! Снова примчался Алексей, встал в калитке, завистливо глянул на стол и с удовольствием объявил:

— Ростислав Юрьевич, начальство требует. Срочно!

— От меня водкой разит,— сказал Знаменский.— Еще начнут выговаривать, как мальчишке. Впрочем, есть выход...— Он быстро пошел в дом, так порывисто наклонившись, что Ашир, хотевший было его остановить, безнадежно махнул рукой.

— Пошел писать заявление об уходе,— сказал он.— Нельзя таким пить, слишком решительными делаются. А им что? Наломают дров, а родственнички и дружки выручат. Вседозволенность!..

— Не осуждай его,— сказал Дим Димыч.— Он не ради себя...

Верно, Знаменский сейчас писал заявление об уходе. Не присаживаясь к столу, который вот и послужил ему, Знаменский быстро начертил на листке бумаги несколько слов. Его «Золотой Паркер», угретый в кармане, жир-

но и охотно выводил слова. Знаменский подписался, сложил листок вчетверо и, прощаясь, глянул в окно на горы. В дневном мареве они были едва различимы.

— Все!— громко произнес Знаменский, показав горам листок, и пошел из дома.

Во дворе он попал в перекрестие взглядов — неодобрительного, сочувствующего, любопытствующего. Он подошел к Алексею, к любопытствующему, вручил ему свой листок.

— Доставь!— и вернулся к столу.— Есть еще что выпить?

— А на словах ничего не будет?— спросил Алексей.

— Нет,— сказал Знаменский.— И ответа не нужно. Послание исчерпывает вопрос. Поезжай, дружочек.

— Ростислав Юрьевич, надейтесь на меня, я вас провожу,— сказал Алексей.— Вы когда? Сегодня? Завтра?

— Поезжай, поезжай,— сказал Ашир.— Зачем ему спешить? Мы поьем еще немножко, погуляем. Куда спешить? Мы свободные люди. Одного уволили, другой уволился, третий на пенсии. Самые свободные люди на свете! Завидуешь, Алексей? Сочувствую тебе, но помочь не могу. Привет!

— А может, не отвозить эту бумажку?— осторожно помахал листком Алексей.— Скажу, что не нашел вас. А, Ростислав Юрьевич?

— Вези, вези, он не передумает,— сказал Ашир.— Мы народ решительный. Вези!

— Жаль...— Алексей медленно ступил за порог.— Думал, поживете у нас, порезвимся...— Калитка медленно затворилась за ним, и почти сразу же взревел мотор и рванулась машина, доля с водителем его досаду и печаль.

— Счастливый человек!— сказал Ашир.— Кому что, а ему бы только резвиться! Совсем счастливый человек. До тошноты. Я пойду, друзья. Ростислав Юрьевич, сразу вдруг не уезжайте. Если хотите, это приказ. Ростик, дорогой, и не пей больше, прошу тебя. Обещаешь?— Он обнял Знаменского, близко заглянул в глаза, в несчастные его глаза несчастными своими глазами.— Друг, нам сейчас надо трезвыми быть.

— Обещаю...

Ашир ушел. Знаменский и Дим Димыч остались вдвоем.

— Что там он понаписал в своем омерзительном заявлении?— спросил Дим Димыч.

— Мне его не показали. А на словах...— Знаменский оборвал фразу.

— А на словах рассказали о нашумевшем в городе процессе, когда судили преподавателей и студентов медицинского института?

— Да.

— Суд бывает правый и неправый. Судить следовало соблазнительей, а не соблазненных. Девочки... Что они понимали в жизни? Им казалось, что они вступили в непрерывный праздник, а они вступили в непролазную грязь.

— Не продолжайте, Дмитрий Дмитриевич. Я не судья. Вот уж кто не судья. Но раз заговорили, спрошу все же... Почему она не уйдет от этого человека, который, видимо, ей ненавистен? Как-то не складывается образ...

— Да, она гордая. И давно бы ушла. И уехала бы отсюда. Давным-давно. Сын держит. Мальчик не знает, что этот скверный человек не родной ему отец. Это последняя ниточка, которая все держит. Конечно, вот-вот оборвется, но держит. Светлана страшится за мальчика с его нервной системой, что ее разрыв с мужем отразится на нем. И еще одно обстоятельство. Здесь у нас в городе работает замечательный логопед. К нему сюда свозят детей со всей страны. Светлана верит, что он вылечит Диму. И есть сдвиги. Таковы обстоятельства, дорогой Ростислав Юрьевич. Не мы правим жизнью, нами правит жизнь.

— Да, да, но рисует-то жизнь...

— Именно! Бога отвергли, так тогда, скажите, в чьих же руках наша жизнь? Чьи мы данники, чьи избранники? Обстоятельств? Ну, пусть будет так. Бога нет, есть обстоятельства. Я иначе думаю, но я в меньшинстве.

— Помогают вам ваши молитвы?

— Нет... Не знаю... Кто про это знает?.. И дело не в молитвах, дело в делах, нами делаемых. Вот вы, один из многих, один из отвергших его, вы сейчас приобщились к делу, ему угодному. Суть в этом!

— Приобщился. Завтра всего неделя, как я здесь, и завтра меня не будет.

— Завтра неделя, говорите?— Дим Димыч построжал, палец к небу возвел.— Бог, как известно, сотворил человека на шестой день!— Он скривил губы, побуждая их к улыбке, мол, шутит он, мол, он тут все шуточки шутил, но улыбка не удалась ему.

За воротами послышался шум остановившейся машины,

хлопнула дверца, распахнулась калитка, в прямоугольнике которой встала Светлана Андреевна. Она была в белом докторском халате, а за спиной у нее белела машина «скорой помощи», и когда Светлана вошла во двор, красный крест на машине как бы вписался в открывшийся прямоугольник.

— А вот и я,— сказала Светлана. Она легко пошла через дворик, стараясь не попасть тонкими каблуками в щели между камнями и кирпичами, вымостившими землю. Она не поздоровалась со Знаменским, прошла мимо него, взглядывая, разглядывая, но забыв кивнуть. Красивая, ловко подпоясанная, в нарядных, праздничных туфельках, да и причесана она была очень тщательно, как причесываются женщины, изготавливаясь идти в театр или в гости. Не понять было, что сейчас на душе у нее, весела ли, озабочена ли. Разгоряченное было лицо, с вытемнившимися, решительными глазами. Она вошла в садик Дим Димыча, рукой провела по извившейся старой, шершавой лозе, рукой провела по стволу тоже старой и шершавой сливы, вскинув руку, будто притронулась ладонью к склону горы, погладила его. Вдруг обернулась, порывисто подошла к Знаменскому, ладонью проведя по его плечу. Сказала, взглянув ему в глаза:

— Я все знаю... У нас такой город... Сперва подружка, работающая в вашей конторе, принесла новость, что Зотов...— Она помолчала, искала слова:— Зотов, ну, это тот человек, который написал о нас с вами... Господи, человек!.. А только что на проспекте нашу машину нагнал Алексей, обогнал и крикнул мне, что вы увольняетесь. Он даже бумажкой в воздухе помахал. Вы это из-за меня, Ростислав Юрьевич? Меняете судьбу? Все перечеркиваете?

Знаменский молчал, дивясь лицу этой женщины, разгоравшемуся в нем азарту, ее глазам, перекрашивающимся из серых в синеву в темно-огненные.

— Так мы с вами любовники, Ростислав Юрьевич?— Она совсем близко к нему придвинулась, закидывая голову, чтобы совсем близко всмотреться.— Зачем вы уезжаете?! Он этого и добивался! Добился! Но все, все, теперь все!— Она обернулась к Дим Димычу:— Крестный, вечером я перееду к тебе, принимаешь? Дима пока в интернате, за лето я что-нибудь придумаю. Мне давно обещают комнату. Приютишь меня, крестный?

— Значит, решила, рвешь последнюю ниточку?—



Дим Димыч хотел было обрадоваться, но сник.— А Дима?  
— Он догадывается, он даже знает, но молчит, щадит меня. Он такой, он старше своих лет, он умеет уже щадить. Ничего, мы заживем с ним вдвоем. Он вылечится, и мы уедем, уедем, уедем!— Она вдруг сердито, этими темными в пламень глазами, поглядела на Знаменского.— А вы зачем уезжаете? Из-за мерзкого доноса? Благородничаете?! Вот уж чего не следовало делать! Он только будет радоваться, ликовать! И разве мы с вами согрешили хоть в помыслах своих?! Отвечайте, вы хоть раз единый взглянули на меня, как на женщину?! Вас сковала беда, вы ослепли от нее! Вы все время в себя смотрите! Вам не до женщин! Оставайтесь! Зачем вы это сделали?! Вас натаскали на джентльмена, вот вы и совершили поступок! Натасканный, вы натасканный, вы ненастоящий!

— Светланочка, успокойся, прошу тебя!— помолил Дим Димыч.— Ну зачем ты так?!

— Я все время смотрю на вас как на женщину,— растерявшись, оправдываясь, сказал Знаменский.— В первый же миг, как увидел. Подумал, какая красавица.

— Правда?— Она усмехнулась.

— Подумал, что у вас очень красивые ноги. Знаете, мы ведь сразу смотрим на ноги.

— Правда?— Она смягчилась, пригасли огоньки в ее все еще темных глазах.

— Что я болтаю?!— в отчаянии схватился за голову Знаменский. Он попытался улыбнуться, к спасительной своей прибегнув улыбке, и она выручила его. Заулыбался во всю ширь, ослепительно, беспечно, легкомысленно, благожелательно, открыто, доверчиво — выберите, что вам подходит.

— Вы славный,— сказала Светлана.— Такой же несчастный, как я, но я злая, а вы славный, не доколотила вас еще жизнь. И не нужно, не нужно! Верно, уезжайте! Ну нас!— Вдруг снова азартом вспыхнули ее глаза, но добрее становясь, возвращаясь в синеву.— Придумала! Надумала! Мы покажем им себя! Ну, прошу вас!.. Вы обещаете, если я попрошу вас, не отказываться?! Не пугайтесь, это не страшное что-то!

— Обещаю. О чем бы ни попросили, если только не попросите остаться.

— Остаться?.. Нет, я о пустяке вас попрошу. Сегодня вечером, когда я перееду сюда, пойдемте вместе в парк. Погуляем там по аллее. И все.

— И все?

— Да. Но это все же поступок, Ростислав Юрьевич. Летом, в жару, в нашем парке прогуливаются не только мальчишки и девчонки, там весь город сходится подышать. Ходят, разглядывают друг друга. И мы с вами пройдемся. Нате, смотрите! Сделайте это для меня!

— Решено!— Знаменский попятился, шаркнул ногой, поклонился, не сгибая стана, а как подобает, кивком глубоким, руки опустил, слегка округлив.— Прошу вас, Светлана Андреевна, оказать мне честь...

Она рассмеялась, кивнула и пошла к машине.

— До вечера!— крикнула уже с улицы.

Хлопнула дверца, заурчал мотор, мимо калитки мелькнул красный крест.

— Вот такая она у нас,— сказал Дим Димыч и гордясь, и печальсь, и тревожась.— Этот парк... Что выдумала?! Там одно хулиганье по вечерам. А вы чужой в городе. Бога ради, хоть не наряжайтесь, как птица какаду!..

Ну что за день?! Снова послышался за воротами шум останавливающейся машины, снова распахнулась калитка, и в ее прямоугольнике встал Захар Чижов.

— Ростик, нам надо поговорить,— сказал он.

— Говори, Захар. Но только не о том, чтобы я остался. Все с этим. Спасибо тебе за помощь, но не вышло, не прижился я тут.

— Проходите, садитесь,— сказал Дим Димыч.— Я не буду вам мешать, исчезаю.— Он поспешно зашагал в дом.

Чижов вошел во двор, осмотрелся печальными глазами.

— Не надо было тебе сюда переезжать, Ростик. Пожил бы у нас, а потом пробили бы тебе квартиру.

— И зажил бы по-натасканному... Нет, Захар, я рад, что поселился здесь, вот с этим убежавшим Дим Димычем познакомился. Я рад, что побывал в Красноводске, в Кара-Кале... И тебе я рад, Захар, что такой ты у нас... Тебя еще судьба друга заботит... Я рад...

— Ну, радоваться нам нечему, Ростик. Да... Итак, уезжаешь?

— Уезжаю. Не сию минуту, побуду еще немного, но совсем немного, и назад. Боюсь, мой тесть меня не похвалит, да и Лена не похвалит. Что ж, ну что ж...

— Еще до того, как ты подал заявление об уходе,— сказал Захар, отчего-то не смея поднять глаз на друга,— понимаешь, еще когда ты был нашим сотрудником, начальство решило, что ты будешь сопровождать гроб с телом Само-

хина в Москву. Что говорить, хуже поручения трудно придумать, но... И потом, ты был с ним последние дни... А теперь не знаю как и быть... Ты вправе отказаться...

— Его отправляют самолетом?— спросил Знаменский.

— Да.

— Когда надо лететь?

— Завтра же, к вечеру, как только завершим все формальности. Из Москвы пришла правительственная телеграмма. Посланник все-таки... Надо еще гроб достать. Цинковый, кажется. Никакой лед в такую жару не поможет. Но ты вправе отказаться, Ростик. Уволился, и все! Поделом, не копайтесь в грязных заявлениях!

— Хорошо, я провожу Александра Григорьевича Самохина, Чрезвычайного и Полномочного Посланника, в его последний путь домой,— сказал Знаменский и строго выпрямился.— Это мой долг перед ним. Знаешь, Захар, он был хорошим человеком. Он мне сочувствовал. Мы там с ним серьезно поговорили. Жаль...

— А я думал, суетный старик, отравленный ядком тщеславия,— сказал Захар.— Рад, что ошибся. Тебе виднее, хотя два дня велик ли срок.

— Велик. Два дня — это треть того срока, который понадобился богу, чтобы сотворить мир и даже человека.

— Вижу, тебя тут слегка уже распропагандировали,— улыбнулся Захар.— Я поехал, Ростик. Алексей будет поддерживать с тобой связь. Ну и домик! Даже телефона нет. До завтра, Ростик!

— До завтра.

Снова отворилась и затворилась калитка, провожая Захара, снова зашумел мотор рванувшейся машины, и стало тихо. Ну и день! Но день этот еще не кончился, он длился, он еще подойдет к вечеру, подойдет к ночи, шестой этот день.

А вечером, едва стемнело, а здесь, в предгорьях Копетдага, сразу вдруг темнело, будто солнце, сорвавшись, падало за горы, приехала Светлана. Она подкатила к дому, но из машины не вышла, посигналила, чтобы кто-нибудь вышел ее встретить. В доме был только Знаменский, Дим Димыч куда-то умчался по делам, и Знаменский вышел на сигнал.

Он не знал, кто сигналит, но и знал. Она только могла так просигналить. А как? Объяснить бы не смог, но понял, что это она. Все эти часы он ждал ее, слоняясь по дому. Вещи свои он не стал укладывать в дорогу, наоборот,

он выложил из чемоданов все наряды, не зная, что же ему надеть для похода в парк. Дим Димыч не советовал наряжаться, и он был прав, но хотелось нарядиться. Для нее. А может, для себя? Ему еще отвыкать да отвыкать от былого. И он повесил на спинку стула свой белый смокинг с короткими рукавами, который ему сшили в Каире, повесил на спинку другого стула крахмальную сорочку с воротом с отогнутыми углами, чопорную рубашку для галстука бабочкой, он и бабочку эту добыл, положил на этот скромный столик, на котором цвела сейчас загадочная карта, похожая на лоскутное одеяло, затканное красными маками. Его бабочка, тоже красная и с белыми крапинками, сразу прижилась на маковом поле, будто крылышками взмахнула. Он достал брюки из синей невесомости, которые купил в Мадриде, долго выбирал башмаки, выстроив их в ряд на полу. И что ни пара, то улицы, улицы вспоминались, города, даже страны. Но не верилось, что он был там, ходил там. Не верилось. Принял душ, побрился, попробовал почитать, но не читалось. Он ждал. И воздух в доме ждал. Сам дом ждал. По нему сквознячки погуливали, где-то что-то все время шорохом оживало. Сад ждал. Деревья настожились, к листьям листья приложив ладонями, чтобы лучше слышать.

И вот она приехала, посигналила. Он выбежал к ней навстречу. Светлана сидела в нарядном, стального цвета, «Москвиче» модели «Люкс», о чем уведомляли сверкающие буквы. Его «мерседес» был вишневого цвета. Вспомнился и забылся, разверилось, что есть у него эта машина. Куда-то уж очень далеко укатила она от него. За этот Копетдаг и дальше, дальше — в какую-то невозвратность, в ненужность, в непонятность.

А этот маленький «Москвич», такой трогательно ухоженный, такой трогательно бахвалящийся своим «люксовым» исполнением, он не убавил в его глазах Светлану, он что-то даже прибавил к ней, заносчивый штришок к ее характеру приложил. Ей надо было быть заносчивой. Нате! Смотрите!

Она привезла свои вещи, несколько чемоданов, которые он принялся таскать в дом, еще хорошенько не разглядев ее самою. Чемоданы были из дорогих. Нате! Смотрите! Совсем счастливая женщина, ведь совсем счастливая женщина, — такая машина, такие чемоданы...

И вот она вошла в дом, эта счастливая женщина, переступила порог его комнаты. Да, она была прекрасна.

Еще как-то иначе причесалась, чем днем, еще как-то иначе светились ее глаза, теперь уж совсем непонятно. Совсем просто была она одета, но это была угаданная простота, такая, что метит женщину высокого вкуса. Она тотчас углядела его смокинг, бабочку, выстроившиеся в ряд туфли.

— А тут сразу два Знаменских,— сказала она.— Но люб мне этот.— Она притронулась рукой к его плечу, у нее была холодная ладонь.— Сразу поедем или чуть побудем вдвоем?— спросила она.

— Чуть побудем.

— А что будем делать?— Обе ее руки теперь лежали у него на плечах, холодя их. Она закинула голову, чтобы заглянуть ему в глаза.— Милый... Светлый мой... Возьми меня...— Сказала и отошла от него, и стала, вскинув, закинув руки, снимать с себя свое совсем прозрачное платье, которое, оказывается, было не прозрачным, скрывало ее, такую ее. Она раздевалась перед ним, не стыдясь, потому что видела, что он слепнет.

Она шепнула, обернувшись к нему, к ней вдруг чуть-чутьное вернулось ее заикание:

— Люб-имый... Све-етлый мой...

Темно было в этой жалкой комнатке, но с вызвездившимися окнами, где мужчина и женщина, слив неистовый стук своих сердец, спасали друг друга от отчаяния. Темно было, а потому не было этих жалких стен, а были звезды и угадывались горы.

Когда они поднялись и стали одеваться, собираясь в парк, она не стала его уговаривать, чтобы не надевал свои пижонские одежды. Напротив, она сама помогла ему нацепить эту вызывающую бабочку, сняв ее с макового поля.

— Пусть теперь разглядывают нас,— сказала.— Теперь, когда мы сами себе поверили, все нам поверят.

— Почему?— спросил он.

— Что — почему?..— Свет уже был зажжен, и он увидел, как потемнели ее глаза.— Хочешь понять, почему я?.. Хорошо, я тебе отвечу... Потому... Потому... Потому...

Покинув дом Дим Димыча, Ашир побрел по улице, чувствуя, что совсем доколочен зноем и тем, что был все-

таки пьян, а пьяным быть ему было нельзя, и он все время себя поверял, одергивал, измучивая этим.

К вечеру сгустились сумерки, и Ашир вдруг заметил на асфальте свою тень. И ужаснулся. Достиг желаемого! Действительно, более жалкого человека, чем обладатель этой тени, придумать было невозможно. Спившийся бродяга только и мог породить такую тень. Даже асфальт его брезговал, не позволяя к себе по-настоящему приникнуть, как бы оттесняя плечом к арыку. Тень ползла по зыбкой, замусоренной воде, горбилась и дробилась, распадаясь среди окурков. Как нарочно, арык в этом месте нес особенно грязную воду, собирал тут городской мусор, натекал им на асфальт. Да, тень бродяги была тут к месту. Замер Ашир, попытался распрямиться, ужаснувшись за себя. Он-то распрямился, но тень ему уже не покорилась, ушла под пену из мусора, закружило ее. Решил подождать, когда сползет пена, так и стоял, распрямившийся, ждал испуганно, что тень не распрямится. Распрямилась все-таки, когда сошла пена. Но все равно от жалкого человека пролегла по воде тень. Ну, распрямился, но ведь из последних сил. И покачивалась эта тень, клонило ее из стороны в сторону. Добился своего! Сам себя ужаснулся, собственной тени. Рад? Ведь как здорово прикинулся! Рад, очень рад, до спазм в горле обрадовался.

— Добился своего! — хрипло произнес и поймал себя на том, что вслух произнес эти слова. А что, такие, как он, с такой вот тенью, часто сами с собой вслух беседуют, так вот жестикулируя, как зажестикулировала тень.— Добился, добился своего. Но... не слишком ли далеко ты отплыл от берега, Ашир? А, Ашир?..

Скрипнули тормоза, близко и зло. Ашир поднял глаза. Белая «Волга», сверкая новизной, обдала его жаром радиатора, наехав новеньким колесом на его тень. И брызнула тень замусоренной водой своему хозяину в лицо, забрызгала его рубашу. Ашир ладонью утер лицо, глянул из-под пальцев на водителя. Узнал. И свел пальцы, загородил глаза. Так и стоял, закрыв ладонью глаза, ждал, когда машина отъедет. Но водитель заглушил мотор и тоже чего-то ждал. Смотрел, разглядывал этого в жалкой одежде человека, до лба обрызганного мутной водой.

— Не обижайся, Ашир, случайно вышло.

Ашир отвел руку от глаз, стал водить ладонью по рубаше, стирая с нее грязь.

— Все пьешь, Ашир? — Чуть дрогнули полные, жизнелю-

бивые губы водителя, тронувшись в сочувственной улыбке, но перехотели так улыбаться, двинулись уголками вниз, опускаясь в пренебрежение, в брезгливость, и остановились, явно осторожничая. Замкнулось лицо этого осанистого человека, плотно сидевшего за рулем, едва видным под могучими, с разведенными пальцами руками.

А Ашир все разглаживал рубаху, не поднимая глаза, в которых закипала ярость. Он боялся, что эта ярость выплеснется, он гасил ее, сжимая веки.

— Ну, пей, пей, раз так вышло. Совет хочу тебе дать...

— Какой?

— Если нужна помощь, если нет денег, к старым друзьям надо идти за поддержкой, а не к новым, старый друг лучше новых двух. Я даже перевел ее на туркменский. Вслушайся... Вдумайся...— Жизнелюбивые губы отвердели, обретая свой язык, голос у говорившего стал иным, обретая свой звук. И как-то сразу заважничал этот человек, палец, поучая, поднял, погрозил пальцем Аширу. И стронул машину, снял с тормоза, и она начала двигаться еще до включенного мотора. А палец все продолжал грозить Аширу. И этот палец, мотавшийся перед глазами, раздернул ему веки, за которыми затаивалась ярость. Не смог, не сдержался Ашир, выкрикнул свою ярость. Он ее выкрикнул по-туркменски, из горла добыв звук, будто нож выхватил, будто слил удар со вскриком. Но осанистый тоже выхватил свой нож-вскрик. Они разминулись, обменявшись этими ударами ярости. Укатила машина. Ашир продышался, побрел дальше. Шел и все встряхивал головой, осуждая себя, осуждая, осуждая себя: «А, зачем сказал?!» Он эту фразу то по-русски произносил, то по-туркменски, с одного языка перебрасывая на другой, как перебрасывает кузнец с ладони на ладонь еще не остывшую подкову. «А, зачем сказал?! Зачем про ключ напомнил?!»

Люди, шедшие навстречу, шарахались от Ашира.

Тщательно замкнув дверь, Знаменский и Светлана пустились в путь, и Светлана настояла, чтобы он вел машину. Что там какой-то «мерседес», когда рядом в «Москвиче» такая женщина. Не было прекраснее машины, чем этот «Москвич», не было счастливее человека, чем он.

Они выехали на проспект Свободы, и путь их был прям и прост. Этот парк он знал, туда привела его Нина Чижова, этот парк был на проспекте Свободы и выходил одной из своих сторон к «Домику Неру», где в какой-то там папочке, в каком-то там ящике канцелярского стола лежит заявление-донос, сделавшее его счастливым. Вот как бывает.

Он не сразу повел машину в парк, он чуть-чуть поколесил: проехал мимо скверика с крохотной головой Пушкина, трогательного этого памятника, воздвигнутого на гривенники гимназисток, проехал мимо сквера, где стоял Ленин, не призывающий, а спрашивающий: как вам тут жижется-можется. Он — прощался. Светлана не мешала ему колесить, понимая, догадываясь, зачем это ему нужно. Сбоку поглядывала на него, восхищалась им, радовалась ему, гордилась, но и мрачнела, тоже прощаясь.

А вот и парк. Вот и аллея старых деревьев, сходящихся в вышине кронами. Да, тут было людно. Тут прогуливались. Парамы, по трое, по четверо, целыми компаниями. Все молодые чаще лица, но вдруг и старички встречались, смешноватые парочки, допотопные совсем, а если говорить про этот город, то доземлетрясенческие.

— Знаешь, а я им завидую, этим старичкам,— сказала Светлана. Они шли, руки соединив, как многие тут шли, пальцы в пальцы. Но тут так шли молодые, совсем молодые, ничего не таившие. Но и они сейчас ничего не таили.— Вот прожили вместе жизнь... Я их всех знаю. Что ни пара, целый роман. Просто, чтобы легко было, никто из них не прожил.

— Ба, знакомые все лица!— сказал Знаменский.

Навстречу им шли Алексей, Лара и Лана. Широко шли, громко, весело беседуя. Алексей вел своих дам под руки, но они повыше его были и они не с ним были, ни та, ни другая, он, этот коренастый, всего лишь сопровождал их, охранял, веселил какими-то байками, но они были свободны в своем выборе. Вот так они шли, свободные, раскрепощенные, знающие себе цену. И вдруг увидели Светлану и Знаменского. Миг всего им нужен был, этим рослым, победоносным, ярко и модно одетым молодым женщинам, чтобы все понять про Светлану и Знаменского. Кинулись было к ним, но остановились, но потом, потеснившись, прошли мимо, уступая дорогу. Они поняли: у этих все серьезно. Лана все же сказала, но без вызова, не подшучивая, даже печально прозвучали слова:



— Ростислав Юрьевич, а ведь и я тоже Светлана.

Алексей ничего не сказал, развел и свел только руки, разведя и сведя своих дам.

Разминулись. Где-то рядом очень громко и беспомощно усердствовал оркестр, больше уповая не на инструменты, а на дружные вскрики музыкантов, которые глоток не щадили. Где-то рядом происходили танцы.

Здесь, на аллее, прохаживались, а где-то рядом метались и кружились, так взбив пыль с воздухом, что фонари над танцевальной площадкой меркли, раскачиваясь.

Светлана шла, прямо, высоко держа голову, глазами, губами откликаясь тем, кто с ней здоровался. С ней здоровались многие. Ее тут знали все. И чего только эти все о ней не знали?! Всѣ?! А вот и не все. Она сейчас для всех тут была новостью, она была счастлива. И все, глядя на нее, на ее спутника, мимолетно, невзначай будто глянув, понимали, что у них, у этой пары, все серьезно, что судьбой тут повеивает. Мимолетний взгляд многое видит, особенно когда от него ничего и не утаивают. А они не утаивали. Шли, сплетя пальцы, шли, как самые молодые тут, и только потому, что были они слишком уж нарядны, заморскими какими-то были, их возраст угадывался, их вызов был очевиден.

— Потанцуем?— спросила Светлана.

— Потанцуем.

Они свернули с аллеи, идя на крик и грохот, вступая в мир иной.

Да, на затертом до черного блеска асфальтовом пятачке был иной мир. Это был остров неистовых. Что тут творилось! Тут все крутилось, металось, клубилось, тут все тела взмокли от пота и все тела казались одним громадным телом, сверкающим глазами, зубами, откровенно себя показывающим. Парни тут были все одинаково одеты — впившиеся джинсы, до пупа распахнутые рубахи с закатанными рукавами. Они и вообще казались одинаковыми, уснувшими какими-то. Но тела их метались, но губы прыгали. И женщины тут были одинаково одеты, как бы по-разному они ни оделись, собираясь на танцы. Их юбочки были взметаны, их кофточки, блузки, та малость, что облекала их груди, все сдвинулось, раздвинулось, они одеты были тут в самих себя. И метались, топтались, спутав, смешав твист, рок, шейк и что-то еще, во что горазды были тела.

— Не страшно?— спросила Светлана.

— А про что тут играют?

Они начали танцевать, вступив в толпу неистовствующих, как входят в волну.

Ну, как они танцевали? Нет, не под эту музыку, которая сама себя ударила в лоб. У них своя началась музыка. Пожалуй, они танцевали вальс. Медленно ступали, медленно кружились. Никто им не мешал, толпа-волна раздвигалась на их пути. И здесь эти двое были новостью. Такие сюда не заглядывали. Многие тут узнали докторшу. Танцующие стали замедлять свои метания, стали вторить этим, вальсирующим, но не умея так, и совсем останавливались. Смотрели. И музыка стала выравниваться, оркестранты, эти ашхабадские битлы, уняли глотки, будто устали, задумались. Перестали качаться тени от фонарей.

Но все это недолго длилось, просветление это. Какое-то вдруг началось движение в самом темном углу площадки. В середину круга внезапно выскочили несколько расхристанных парней, явно не из танцующих, страшноватых каких-то, с пьяно-сонными поширенными глазами, с красными, как от прорези ножа, губами. Они выскочили, чтобы потеснить Знаменского и Светлану, они и начали их теснить.

— Тирьеккеши!— шепнула Знаменскому Светлана. Она испугалась.— Только не связывайся с ними! Уступи им! Уйдем!— Она потянула его к ограде, в толпу.

Но расхристанные парни, среди которых коноводил маленький, черно заросший и узколобый совсем молодой человек, не отступились от них, надвигались на них, замыкая в кольцо.

Вдруг из-за спины у Знаменского вынырнул Ашир. Подоспел! Друг! Он шепнул, утягивая, заслоня Светлану:

— Это они! Выползли! Тебя засветили в поездке! Уводи Светлану!

Узколобый увидел Ашира и оскалил шакальи зубы, радуясь удаче:

— И этот тут! Поучим!

Круг замкнулся. Танцующие были отмечены. Круг замкнулся. Все дальнейшее произошло мгновенно, но как при замедленной киносъемке, когда делается все таким запоминающимся, таким разъятым на движения. Узколобый слишком близко оказался возле Светланы. Зловонием пахнуло от его оскалившихся клыков. Знаменский ударил в этот оскалившийся рот. Попал, свалил. Но тут же подскочил еще кто-то, сверкнув в зажатой ладони

крошечным, не страшным кончиком ножа. Страшно вскрикнула Светлана. Крошечный, совсем не страшный кончик ножа мелькнул, невзначай как бы коснувшись Знаменского. Большого он не успел, этот нож, руку с ним железно перехватил Ашир.

А дальше было вот что. Дальше Ашир начал кидать этих расхристанных. Он показывал тут всем, как это надо делать. Один на дюжину. Он давал урок по самбо. Его тело ликовало, металось и ликовало. А Знаменский стал оседать, ноги перестали держать.

— Не дам! Не дам! Не дам!— кричала Светлана, подхватывая его.

А Ашир кидал их, кидал их. Он был страшен. Он был беспощаден. Он был прекрасен. Падавшие вокруг него отползали, кто мог, скуля, вжимаясь в асфальт. Вдруг узколобый, тоже отползший, приподнялся на локте, выдернул что-то из заднего кармана брюк и чем-то прицелился в Ашира. В замедленном кино все замерло. Раздался выстрел. Ашир вздрогнул, задумался и стал падать. И снова началось кино, теперь уже не замедленное. Замелькали кадры, заверещали милицейские свистки, люди, которые в этом парке блюли порядок, вбежали на танцплощадку.

Знаменский высвободился из рук Светланы. Она обрадовалась, отпуская его, оглядывая его, веря, что нож не задел его, страшась разувериться в этом. Боли не было, только кружилась голова и не своими были ноги, когда Знаменский пошел к Аширу. Дошел, наклонился, кольнуло в боку, он упал на колени. Ашир был жив, но смерть белесой полосой растекалась по его лицу. Он узнал Знаменского, успел сказать ему:

— Они выползли... Факт... убийственный...— Вздрогнули его глаза-дульца, закрыли их веки. Ашир Атаев умер.

Знаменский еще не понял этого, он хотел приподнять голову друга и обессилел, упал на бок.

Светлана кинулась к нему. Ни слезинки не было в ее отчаявшихся глазах. Она вспомнила профессию. И она начала сражаться за него. Руки нашли его рану, пальцы ощупали. А губы шептали, запекшиеся, вытончившиеся:

— Не дам! Не дам! Не дам!

Откуда-то выскочил Дим Димыч,— и он тут был,— кинулся к ним, к Знаменскому и Светлане, упал на колени возле Знаменского, к небу поднял глаза.

Выскочил на площадку Алексей. Подбежал, гримасничая,

чтобы не заплакать. Втроем они понесли бегом Знаменского, пробежали по аллее через расступающуюся, замершую толпу, выбежали к машине, Светлана кинулась за руль, помчались.

А потом был больничный коридор, по которому, сцепив пальцы, ходила Светлана, все время не отводя глаз от двери в палату. Набегали на глаза слезы, она их не смаргивала. Она была не одна. На скамье сидели, замерев, Дим Димыч, Алексей, рубаха которого была испятнана кровью; были тут и Лана с Ларой, заплаканные, постаревшие.

Отворилась дверь из палаты, и молодой, очень порывистый, даже в шаге победоносный хирург вышел в коридор.

— Будет жить! — сказал он, подходя к Светлане, у которой повисли руки. — Кто-то отвел удар. Везучий он у тебя, Светланушка!..

## ЭПИЛОГ (о Знаменском)

Осень. Благословенная пора, когда не жарко в этом знойном городе, когда переводят люди дух и начинают гордиться и восхищаться своим городом, столь обильным плодами, столь щедрым на долгое и ласковое, зиму прихватывающее тепло.

Осень, благословенная осень... И в один из ее благословенных дней у здания школы, где мальчишки прыгали через железную ограду двора, остановился исхудавший, высокий мужчина, по-местному вольготно одетый — выцветшие брюки, просторная рубашка, запыленные сандалеты. Это был Знаменский. Он постоял, посмотрел, как прыгают мальчишки, улыбаясь их смелости. Чуть грустно улыбаясь почему-то. Вспомнил себя тут недавнего, поэтому? Постоял, посмотрел, повспоминал и пошел дальше. Но вскоре остановился. У столба остановился, на котором уцелела, хоть и сильно выцвела, бумажка, сообщающая, что картограф Д. Д. Коноплин «Дает уроки любознательным».

Знаменский прочитал это объявление, потом достал из нагрудного кармана свой замечательный «Золотой Паркер» и приписал на бумажке пониже: «Даю уроки английского и французского. Могу подготовить для поступления в институт иностранных языков и институт междуна-

ных отношений (МГИМО). Адрес — тот же. Р. Ю. Знаменский».

Потом он перешел к другому столбу, где ветер трепал выцветший листок, и то же самое написал и на этом листке. Потом пошел дальше, приближаясь к своему дому.

*Ашхабад — Москва, 1984—1985 гг.*

## СОДЕРЖАНИЕ

ЗМЕЕЛОВ . . . . .	3
ПОСЛЕДНИЙ ПЕРЕУЛОК . . . . .	159
ДАЮ УРОКИ . . . . .	303

**Лазарь Викторович Карелин**

**ТРИ РОМАНА**

Редактор **С. Баймухаметов**  
Художник **Т. Самигулин**  
Художественный редактор **О. Червецова**  
Технический редактор **Н. Ганина**  
Корректоры **Г. Панова, Т. Люборец**

ИБ № 4769

Сдано в набор 26.12.86. Подписано к печати 14.08.87 А07642. Формат 84×108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>. Гарнитура литер. Печать офсетная. Бумага офс. № 2. Усл. печ. л. 26,04. Усл. кр.-отт. 52,08. Уч.-изд. л. 28,47. Доп. тираж 100 000 экз. Заказ 344. Цена 2 р. 20 к.

Издательство «Современник» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли и Союза писателей РСФСР. 123007, Москва, Хорошевское шоссе, 62

Полиграфическое предприятие «Современник» Росполиграфпрома Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 445043, Тольятти, Южное шоссе, 30



**Карелин Л. В.**

**К22** Три романа: Романы.— М.: Современник, 1987.—  
493 с.

Читателю хорошо знакомы романы Лазаря Карелина «Змеелов» и «Последний переулок». Кроме них в книгу входит и новый роман — «Даю уроки», заключающий эту своеобразную трилогию. Автор верен главной своей теме: утверждению высоких нравственных норм нашей жизни, духовному разоблачению приобретательства и приспособленчества.

**К**  $\frac{47020102000 - 270}{M106(03) - 87}$  143 — 87

**БК84Р7**  
**Р2**